А.Ф. КОНИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ




ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А.Ф. КОНИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р 1
К 64

*Составление,
вступительная статья
и комментарии*
Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова

К $\frac{4702010100—1793}{080(02)—89}$ 1793—89

«ТОЛЬКО В ТВОРЧЕСТВЕ ЕСТЬ РАДОСТЬ — ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПРАХ И СУЕТА»

Он прожил 83 года. Большая жизнь. А сделано, быть может, на целых три. Известный на всю страну юрист. Выдающийся ученый-правовед. Литератор, отмеченный премией, присуждавшейся знаменитым писателям России. И званиями-регалиями не обделен: чин второго класса, «ваше высокопревосходительство», шитый золотом красный мундир сенатора положен; «самим» Столыпиным зван министром юстиции — отказался.

Дух захватывает, как высоко взлетел! Увидел бы отец — скромный драматург, публицист, неистовый поклонник Мельпомены. Мама бы увидела — невеликая актриса провинциальных и столичных подмостков... Семьей так и не обзавелся, потомства не оставил славный человек Анатолий Федорович Кони: всего себя отдавал делу... Нет, не службе — *служению* народу своему, стране своей.

От министерского портфеля отказался, а грянул в 17-м Октябрь — без колебаний, без боли и обид словно отстранил за ненужностью и «класс» чиновный и класс дворянский, к коим принадлежал по выслуге, и, хромой, немощный, взял свои «костыльки» и пошел читать лекции о Толстом и Некрасове, об этике общежития, о задачах и обязанностях подлинного демократа, «слуги, а не лакея правосудия» красноармейцам и матросам Петрограда, учащейся и рабочей молодежи, которая валом валила на его выступления, учителям или фельдшерам заезжим, в жизни не видевшим столицы, не слышавшим его — «живую историю» родины.

Происхождения Кони, по-видимому, был «иноземного». Из Австро-Венгрии или Германии дальние предки приехали служить в Россию да тут и осели. Анатолий Федорович числил себя русским и православным, верующим был, впрочем, отнюдь не истовым, без ханжества церковного.

«С младых ногтей» в жизни Анатолия, увидевшего свет 29 января (4 февраля) 1844 года в столице, устроилось так, чтобы вырос ребенок нравственно чистым, высокообразованным, интеллектуальным. У Федора Алексеевича и Ирины Семеновны (урожденной Юрьевой, по сцене Сандуновой) было два сына, росли в одинаковых условиях. Но вот старший, Евгений, очень способный гуманитарий, мягкий до слабодушия, безвольный, худо распорядился своей судьбою: растратил казенные деньги, за что попал под суд, умер, так и не смыв позора уголовно наказуемого деяния.

Анатолий с характером был мальчик. Добр, покладист, дружески настроен к сверстникам, однако тверд и самостоятелен, обижать себя, тем более третировать не позволял никому.

Отец, истово последовательный кантианец, воспитывал сыновей по наставлениям любимого, высокочтимого философа, самого следовавшего собственным правилам: личность должна пройти четыре ступени совершенства — в дисциплине, труде, поведении, нравственности. Для Анатолия Федоровича всю его жизнь «по Канту» не существовало дистанции между живым словом и претворением его в такое же действенное дело: этим он разнился от брата, воспринявшего одну лишь схоластически понятую и принятую теорию, горячо внедряемую в сыновей отцом неразлучно с практикой.

Если в отце билось для Анатолия «единственное, глубоко и бескорыстно привязанное сердце, которому не раз приходилось страдать от моих, быть может, и справедливых, но больных для него рассуждений» [1], напишет брату тотчас после смерти отца, то в «бесценной маменьке» находил сын бесконечную доброту и привязанность, сердце артистическое и художественное. В 26 лет, еще до ухода на сцену, она издала сборник рассказов, обнаруживших в их авторе нерядовой писательский талант, сотрудничала в периодических изданиях, где печатались ее повести о жизни и быте простых людей — обитателей России и Малороссии (она была родом с Полтавщины). Талантливо проявила себя Ирина Сандунова также на сценических подмостках столиц и провинции — главным образом в амплуа комических девиц, дам, а позднее и старух.

На Анатолия родители, особенно отец, оказали громадное воспитательное влияние — и словами, и делами. Кони никогда не забудет характерный эпизод из детства: «Жил у нас лакей Фока... Человек огромного роста. Он меня любил чрезвычайно... Не могу припомнить по какому случаю мне показалось, что он меня обидел, и я, в пылу гнева, назвал его дураком. Это услышал отец из своего кабинета и, войдя, больно наказал меня, и позвав затем Фоку, приказал мне стать перед ним на колени и просить прощения. Когда я это исполнил, Фока не выдержал, тоже упал передо мною на колени, мы оба обнялись и оба зарыдали на весь дом» [2].

Петербургский дом Кони — учителя истории, а затем писателя, редактора-издателя «Литературной газеты», журнала «Репертуар и Пантеон» — не богатством, не знатным хлебосольством привлекал именитых и скромных, непрославившихся литераторов и актеров. Д. В. Григорович в литературных воспоминаниях помянет его теплым словом: «Приветливостью и добротою успел победить мою робость к редакторам и литературным авторитетам... Это был небольшого роста, худощавый человек, в черном, как смоль, парике, с черными, быстрыми, умными глазами, смотревшими сквозь стекла золотых очков» [3]. А главное — это был человек передовых общественных позиций, сторонник демократизации русской сцены, «крестный отец», опора, светлый друг, «первопечатник» многих русских литераторов: Надежды Хвощинской-Зайончковской и Ивана Лажечникова, Михаила Михайлова и Николая Некрасова, Григоровича, Полонского, Бенедиктова и многих других.

---

[1] Высоцкий С. Кони.— М., 1988. С. 184.
[2] Кони А. Ф. На жизненном пути. СПБ, 1912. Т. I. С. 655.
[3] Григорович Д. В. Литературные воспоминания.— М., 1987. Сс. 74, 65.

Зато был сей кроткий человек непримиримым к недругам типа Фаддея Булгарина, Осипа Сенковского и К°. Тут уже дело касалось исповедуемых им принципов — гражданских, моральных, и он был несгибаем. Принадлежал Федор Алексеевич к тем мужчинам, которых женщина, жена, мать его детей, несмотря на разлад, а потом и разъезд, любит до своей смерти. Такая незаурядная женщина, как Ирина Сандунова, любила своего непутевого ненакопителя, доброго, умного, талантливого, но бесхарактерного и легкомысленного, как считала, обожая до самой кончины своей в 80 лет (1891).

Сын пошел в отца — сердечный с друзьями, а в исповедуемых принципах с чужим лагерем непреклонен как истый российский интеллигент. Сын пошел в мать — умный, неутомимый в добром отношении к хорошим людям.

Вместе с семьей и гимназией Анатолия сформировало время, в котором он жил. Еще гимназистом старших классов он жадно читал отечественную и зарубежную литературу (порой в подлинниках на немецком, французском, итальянском), без устали посещал лекции выдающихся ученых — историков, литераторов, социологов столичного университета. «Вступление в юность,— с удовлетворением признавал Анатолий Федорович,— (16—20 лет) совпало для меня с удивительным расцветом русской литературы в конце 50-х и начале 60-х годов» [1]. В родительском доме он близко узнал многих из деятелей литературы и искусства той переломной для России поры: Иван Иванович Лажечников, недальняя родня, частый гость на литературно-артистических вечерах у Кони; Владимир Рафаилович Зотов, одержимый литератор, журналист, просветитель, бессребреник; подававший великие надежды и блистательно их оправдавший Николай Алексеевич Некрасов, что написал однажды Кони-отцу: «Всем обязан Вам».

Не очень ошибемся, если скажем, что Анатолий Кони-гимназист, а потом студент, формировался под влиянием общественных перемен в стране, могучего потока литературы, для которой с середины пятидесятых ослабли цензурные запретительства. А главное воздействие оказали на юношу реформы: освобождение крестьян, Судебная и Земская. Первая коснулась гражданских струн души 17-летного мужающего гимназиста, неоднократно наблюдавшего с одинаковым чувством гнева разнообразно мрачные картины предсмертного крепостничества, вторая прямо связывалась с избранной им (хоть и не вдруг) профессией служителя законности. Не уставал повторять хвалы реформам и молодой Кони, и в расцвете деятельности, и на закате ее «совсем уже поздним жизненным «вечером». Он вообще принадлежал к личностям, не меняющим убеждений в зависимости от царствований, реакции или подъема освободительной борьбы. И вместе с тем с таким же неистовым бесстрашием, безоглядностью сражался Анатолий Федорович с трусливой, переменчивой политикой контрреформ, всеми «зигзагами» трех царствований в политике, в реформации отсталой страны, в разжигании племенной, межнациональной розни...

Николай I умер в 1855-м. Очень скоро царелюбивый сенат дарует ему почетное прозвание «Незабвенного». Кони 11 лет, он учится в Анненшуле — немецкой школе, из которой вынесет блистательное знание языков, любовь к литературе — не только родной русской, но и других народов, в частности немецкого.

---

[1] «Памяти Анатолия Федоровича Кони» — М.— Л., 1929. С. 34.

Скончавшийся император в числе «доблестей» имел одну, которая стяжала ему ненависть общества: воистину зверское отношение к инакомыслящим интеллигентам — журналистам, философам, особенно писателям. «Этот царь,— саркастически заметит М. Горький,— был каким-то ненасытным пожирателем литераторов, он истребил и изувечил их едва не меньше, чем Иван Грозный бояр. Умный человек, он превосходно понимал силу литературы... внимательно читая все журналы той поры, сам указывал цензуре ее промахи, был страшно напуган событиями 1848 года и немедленно начал принимать экстренные меры к подавлению в России всякой жизни» [1].

Литература по праву занимала первое место, брала первое слово в освободительной борьбе. А. С. Хомяков воистину кровью сердца написал стихотворение «Россия» еще при жизни «Незабвенного» — о жгучей необходимости обновления великой страны:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Близкий идейно и душевно к А. Ф. Кони академик историк С. Ф. Платонов скажет очень точно об истоках формирования коневской личности, «природы» его: «Она обратилась в яркий и красивый характер под влиянием, во-первых, той среды, в которой он воспитывался, а во-вторых, той эпохи, в которую он начал свой жизненный путь» [2].

Расцвет деятельности Кони пришелся на правление Александра II, «Освободителя» (1855—1881), его сына Александра III — палача народовольцев и «Миротворца» (1881—1894), в ужасе прятавшегося от революционеров в Гатчине, и отчасти на последнего из Романовых Николая II (1894—1917), начавшего царствование с жуткой Ходынки и из трех ведшихся при нем войн две — против японцев и германцев—проигравшего, но победившего в 1905—1907 гг. собственный трудовой народ ..

Императору Николаю I наследовал Александр II, ретроград по воспитанию, который понимал: прежний застойный курс чреват новой пугачевщиной, поэтому нужно освобождать крестьян «сверху». Когда ему говорили, что обществу необходима гласность так же, как земля мужику, отвечал по-романовски витиевато, уклончиво: он-то согласен, «только у нас дурное направление», и оттого надобно гасить «стремления, которые несогласны с видами правительства». И тут же добавлял: «я не хочу стеснительных мер» [3]. Так шараханьем, зигзагами плыл государственный корабль к Первому марта. За 26 лет царствования остановлены жестокими политическими мерами две мощные попытки революционных народников добиться гражданских свобод. После «великой реформы», обывательски, не по-государственному испуганный, как отец, призраком народной революции («мужиками с дубьем», по выражению Чернышевского), царь вел

[1] Горький М. История русской литературы.— М , 1939. С. 197.
[2] Памяти Анатолия Федоровича Кони.— М.— Л., 1929. Сс. 12—13.
[3] Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II.— М., 1909. Сс. 13, 24.

трусливую политику контрреформ, призванных затормозить развитие великой страны. Так между «оттепелями» и «замораживанием» и правил Александр II, а Кони прощал это «Освободителю».

Воспитанный на Тургеневе, Гончарове, лучших творениях Писемского и Мельникова-Печерского, Анатолий нетерпеливо рвался в университет — к учебе без шор, инспекторского догляда, хотя с гимназией ему повезло — одобрялись занятия литературою, велся рукописный журнал «Заря» с зовущим эпиграфом «Товарищ, верь, взойдет она...». Путь в юриспруденцию оказался непрямым: сначала был физико-математический факультет Петербургской «альма-матер», а после закрытия университета из-за студенческих волнений милостивая судьба привела-таки будущего служителя российского права на юридический факультет уже Московского университета.

Общественный подъем после смерти «Незабвенного», «великая реформа», начавшаяся борьба передовых слоев общества за политические, гражданские свободы застали Анатолия Кони «на переломе» — сначала он выбрал жизненной специальностью математику, потом «переметнулся» в юриспруденцию. Последняя профессия в пору подъема освободительной борьбы и подготовки Судебной реформы стала, как и писательская, «престижной», боевой, все более завоевывала нравственные и гражданские позиции в обществе, к тому же граничила с любезными с детства сердцу Анатолия литературой и искусством. Служитель Фемиды просто обязан был быть человеком общественным, властителем аудитории, владеть в совершенстве пером и словом. Нигде А. Ф. Кони не объяснил причин столь позднего перехода своего от математики к юриспруденции — об этом можно строить одни предположения. Возможно, для молодого человека какую-то роль в выборе сыграли желание быть активно полезным народу и обществу в роли «совестного судии» и резко возросший авторитет профессии.

Известные нам факты биографии показывают, как трудно было устоять студенту-математику закрытого университета перед «напором» других — уже социально-общественных, созвучных времени наук. Писатель и публицист Иван Прыжов свидетельствует: профессора Костомаров, Стасюлевич, Кавелин, Спасович, Пыпин, Утин, Сухомлинов и другие столичные историки и правоведы «в полном смысле слова осаждены слушателями»; собираются сотенные аудитории: «студенты, офицеры разных ведомств, множество вольных слушателей» [1].

«Когда читает Костомаров, давка... С каким наслаждением, я думаю, читают профессора, особенно Костомаров, который читает стоя и без всяких тетрадок, следовательно, видит всю залу! Среди толпы.., занятой одной мыслью о науке — уверяю — я не слыхал других разговоров; ваши глаза с наслаждением останавливаются на мелькающих там и сям головках то с русыми, то с черными кудрями... вся эта светлая, свежая семья есть передовая цепь застрельщиков будущей великой армии русского просвещенного общества»... [2].

Среди этих сотен, в стане рыцарей отечественной культуры и науки, нашел свое место — на всю жизнь — Анатолий Федорович, оставшийся навсегда «шестидесятником». Возможно, если б не свободоборческие, реформаторские, просвещенческие 60-е, стал бы Кони математиком или физиком, судя по его личности, не рядовым.

---

[1] Прыжов И. Г. Петербург и Москва. СПБ, 1860. С. 2.
[2] Там же. Сс. 2 — 10.

Но такого блистательного жизненного пути, каким он прошел юристом и литератором, у него не было бы. Точные науки, очевидно, не сулили ему поиски правды и справедливости, ставшие характерной чертой 60-х годов, и они закономерно определили путь Анатолия Кони. Юриспруденция и литература отныне стали главными в его жизни предметами познания и любви.

Став студентом-юристом, Анатолий не изменил себе в одном важном жизненном пункте: отказался от материальной помощи родителей (отец и мать, к этому времени уже разошедшиеся, не имели наследственных капиталов, тем не менее все-таки могли бы материально помогать сыну — «своекоштному студенту»), и вовсе не из-за отсутствия между ними любви, а потому что по-пуритански считал необходимым содержать себя сам, уметь стоять на собственных ногах, а учитель истории, литературы, математики, естественных наук из него получался превосходный.

С какой необыкновенной жаждой знаний, с каким неистощимым неистовством набросился Анатолий Кони на науку. В ту пору в обоих столичных университетах подвизался цвет отечественной науки — о многих из них благодарный ученик со временем создаст яркие статьи-исследования или мемуары. Среди них Никита Иванович Крылов — «наставник в лучшем смысле слова», прилагавший римское право к «явлениям и складу русской жизни» с мастерством большого таланта; и Борис Николаевич Чичерин, читавший государственное право и историю политических учений с убежденностью истинного поборника правосудия, либеральных идей; и знаменитый профессор уголовного права Владимир Данилович Спасович; и историк Сергей Михайлович Соловьев; и Федор Иванович Буслаев, который вел факультатив по памятникам древней русской письменности.

Находил Анатолий время не только для обязательных и необязательных лекций в университете, изматывающего репетиторства, для заседаний Общества любителей российской словесности, товарищеских порой полуночных чаепитий, встреч с знаменитыми и малоизвестными актерами и литераторами. Студенческий кружок, частично создавшийся из бывших питомцев прикрытого столичного университета, жил интересной жизнью — да иначе Анатолий Кони никогда не умел. Сюда среди других входил будущий знаменитый историк Василий Ключевский (интересно, ярко напишет о нем Кони в мемуарах); на студенческий «огонек» являлся известный уже поэт Аполлон Майков, читал благодарной и взыскательной аудитории еще не публиковавшиеся стихи; частенько охотно бывал Анатолий в доме престарелого родственника прозаика Лажечникова, автора воистину бессмертного «Ледяного дома», человека не менее интересного, чем его «четверговые» гости — автор русской лингвистической жемчужины Владимир Даль, историк Михаил Погодин, бытописатель Алексей Писемский.

Последнего Анатолий узнал и полюбил еще до переезда писателя в Москву. Весной шестидесятого радостным изумленным гимназистом Анатолий, приведенный отцом, лицезрел в спектакле «Ревизор» необычных актеров-любителей. Поставлена комедия была в благотворительных целях Литературным фондом. Хлестакова играл поэт-переводчик Петр Вейнберг, ораву купцов, «аршинников, самоварников» составляли Тургенев, Островский, Некрасов, Григорович, Майков, Дружинин, Василий Курочкин, отец Анатолия; играла тут и мама; Достоевский взял роль почтмейстера. Выделялся же из всех Алексей Феофилактович Писемский. Почти полвека спустя у Кони не стерлось впечатление об игре Писемского и в «Ревизоре», и в спек-

такле «Женитьба», где он взял роль Подколесина. «Он был превосходен в обеих ролях,— напишет автор воспоминаний, почитавший артистизм коренной писательской чертою.— Чувствовалось, что он воспринял и воплотил бессмертные гоголевские типы не с книжным лишь пониманием, а на основании личных наблюдений и житейских встреч. Особенно удался ему в этом отношении Сквозник-Дмухановский. До сих пор мне с особенной яркостью вспоминается городничий-Писемский в его разговоре с Осипом...» [1].

Созданы воспоминания о Писемском в 1908 году, однако думается, что уже в год общения — 1865-й — студент-юрист воспринимал литературные творения замечательного писателя России нераздельно от получаемой профессии. В одно из посещений Писемский читал первоначальную редакцию своей новой драмы «Бывые соколы» без цензурных поправок. Драма на юного Кони и его ровесников-слушателей подействовала столь сильно, что они, «когда он кончил, только выразительно пожали его похолодевшую руку, не находя слов, чтобы выразить то глубокое впечатление, которое произвела... его драма в связи с его мастерской передачей» [2]. Потрясали «трагизм сюжета» и «яркие до грубости реальные краски»: то и другое было близко правоведу Кони. В этой драме оказался необходимый для юриста и писателя симбиоз — был «скован воедино тяжкий и неизбежный рок античной трагедии с мрачными проявлениями русской жизни, выросшей на почве крепостного права» [3]. Кони считал иные места драмы по силе психологического воздействия равными шекспировским вещам. «Я помню сцену,— расскажет Кони-юрист,— где жена, заподозрив связь своего мужа с дочерью, берет последнюю за руку и в присутствии мужа, окинув ее внимательным взглядом, говорит ей тоном, не допускающим возражения: «Ты беременна!» Дочь выносит пристальный взгляд матери и отвечает решительно: «Да!» — «От него?» — спрашивает мать, указывая дочери на ее отца. «От него»,— отвечает спокойно дочь» [4]. Последующая редакция пьесы, как привычно метко и образно подмечает Кони, словно выварена в щелоке, «который выел все краски и на все наложил серенький колорит. Самый сюжет был изменен, смягчен и все его острые углы обточены неохотною и потерявшею к своему произведению любовь рукою» [5].

Борцом за правду, причем воителем бесстрашным, безоглядным, Анатолий Кони был с юных лет. И сквозь этот магический для него кристалл рассматривал каждого из многого множества людей, с кем сводила его непростая судьба «двойного» поборника правды — юриста и литератора.

Достаточно хотя бы обратиться к истории с его диссертацией.

Важнейшие после освободительной, Судебная и Земская реформы выпали на 1864 год; Анатолий Федорович получил диплом в 1865-м. На последнем курсе, глубоко изучив ряд зарубежных и отечественных авторов, он открыл для себя малоизученную проблему, по которой вознамерился написать кандидатскую диссертацию, назвав ее «О праве необходимой обороны». Она живо отвечала новым

---

[1] Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8-ми тт.— М., 1968. Т. 6. С. 240.
[2] Там же. С. 244.
[3] Там же. Сс. 244—245.
[4] и [5] Там же. С. 245.

веяниям, как бы поддерживая и раздувая только что зажженный Реформою «огонь настоящего правосудия» [1].

С жадностью отыскивал диссертант материалы, а потом «засел за писание и проводил за ним почти все вечера, памятные мне и досих пор по невыразимой сладости первого самостоятельного научного труда» [2]. Молодому ученому, готовому посвятить себя «идейному служению великим началам правосудия, вещающим о себе со страниц судебных уставов» [3], едва исполнился 21 год.

Решением ректора и постановлением университетского совета диссертация была, как незаурядная работа (наряду со столь же талантливой работой Ключевского), напечатана в 1-м томе «Приложения к Московским университетским известиям» [4]. Почти одновременно Анатолий Кони получил очень лестное предложение от ректора профессора С. И. Баршева разделить с ним курс чтения уголовного права.

Кони вспомнит: «несмотря на тогдашнюю решительность моего характера» [5], отказался. Хотя его ждало профессорство, поездка за границу, а главное, ему уже стали ведомы «те тайные радости, которые испытала моя душа во время писания кандидатского сочинения», и они «грозили» «обратиться в хронические» [6]. И тем не менее он отказался — то был характер, и это был поступок личности! Он почел себя не подготовленным к чтению лекций своим вчерашним товарищам. Так объяснял, «забыв» о другой причине — реакционности Баршева... Сорвалась также поездка за рубеж — ужесточились порядки после каракозовского выстрела, появилось в их числе знаменитое, по Глебу Успенскому, «средствие» «тащить и не пущать».

Анатолий Кони был готов для практической деятельности юриста, очень для него притягательной. Но судьба чуть было не обошлась с ним круто.

Осенью 1866 года его пригласил Делянов, товарищ министра народного просвещения — умный и ловкий чиновник, умевший угадывать желания и взгляды начальства из верхних эшелонов власти. По диссертации всемогущее Управление по делам печати уже завело «дело» на молодого ученого. Начинающееся преследование было вызвано «сигналом» чиновника особых поручений с иезуитской для должности фамилией Смирный при еще более могущественном Министерстве внутренних дел. Налицо была явная крамола: Кони рассматривает условия применения права необходимой обороны — страшно сказать! — «против лиц, облеченных властью», основывает свое мнение на том, что «достоинство государственной власти нисколько не потерпит от подобного права и скорее значительно выиграет, если она будет строгою блюстительницей закона и будет одинаково смотреть на всех отступников от закона, невзирая на их общественное положение». Автора доносного резюме особенно поразили выводы диссертанта: «Власть не может требовать уважения к закону, когда сама его не уважает...» [7].

---

[1] Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. 1864—1914.— М., 1914. С. 17.

[2] и [3] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 7. С. 109.

[4] На современный лад — нечто вроде «ученых записок».

[5] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 7. С. 111.

[6] Там же. С. 110.

[7] Кони А. Ф. Юбилейный сборник. Сс. 76—77.

Анатолий Федорович в условиях начавшейся правительственно-чиновничьей реакции не подвергся «карательной мере» ни от Министерства внутренних дел, ни от Делянова только лишь потому, что тираж работы был зело невелик (50 экземпляров), и в таком количестве не мог нанести урона империи: судебное преследование возбуждать было признано «неудобным».

Уже в этой ранней работе можно увидеть характерные чеканные, пусть несколько тяжеловесные, образные, яркие коневские стилевые конструкции: «...Употребление личных сил может быть допущено только при отсутствии помощи со стороны общественной власти». И далее: «Народ, правительство которого стремится нарушить его государственное устройство, имеет в силу правового основания необходимой обороны право революции, право восстания» [1].

Не следует преувеличивать социальную значимость сих слов — то не был клич к революционному освобождению, то был либеральный (в духе Кони) призыв к строжайшему выполнению законности. Но не забудем, что слово «либерал» в корне имеет слово «свобода»: в данном контексте имелось в виду необходимая гражданам, государству свобода от насилия.

Итак, осенью 1865 года с коллежского секретаря началась служба Анатолия Федоровича Кони богине справедливости. За свой более чем полувековой служебный путь он был товарищем прокурора в Харькове, Петербурге, прокурором губернским в Самаре и окружным в Казани, в столице же стал вице-директором уголовного департамента Министерства юстиции. 24 декабря 1877 года получил пост председателя Санктпетербургского окружного суда и высокое звание статского советника (соответствующее в армии полковничьему). А завершилась деятельность юриста Кони в конце Семнадцатого, когда в связи с решением Совнаркома РСФСР об упразднении Государственного совета и всех чинов и званий царского строя Анатолий Федорович был уволен с должности члена этого совета, перестал быть действительным тайным советником и сенатором.

Что и говорить — блестящая карьера, репутация строгого, мудрого, нелицеприятного служителя одного только бога — Закона.

А между тем близилась иного окраса пора для Кони — «звездный» день 31 марта 1878 года. После него в высших сферах Анатолий Федорович навсегда получил прозвище «красный Кони», заслужил недоверие или неприязнь, если не ненависть, всех истовых монархистов империи и всех трех последних российских императоров.

31 марта с особенной силой проявилось его весьма значительное законознание и нисколько не меньшие гражданское мужество и твердость в исполнении своего профессионального долга.

Летом 1877 года столичный градоначальник Ф. Ф. Трепов, найдя пустячный повод, приказал наказать розгами подследственного Дома предварительного заключения Боголюбова. Такого революционные народники снести не могли: политического подвергнуть телесному наказанию! В разных краях страны готовилось оружие мщения. Но всех опередила капитанская дочка Вера Засулич: 24 января, спрятав тяжелый шестиствольный «бульдог» в сумочку, она вслед за подачей бумаги с прошением выстрелила в оскорбителя товарища ее по освободительной борьбе, которого никогда в глаза не видела.

Врагов у Трепова было предостаточно даже в «сферах», не говоря уже о податных людях столицы, которые не прощали ему карье-

[1] Кони А. Ф. Юбилейный сборник. Сс. 205, 294.

ризма, хамства, казнокрадства, склонности к скуловоротству. Посетивший пострадавшего сводного брата (Трепов был побочным сыном Николая I), хорошо осведомленный о «седом ворюге Федьке», царь весьма холодно обошелся с ним. Но суд над Засулич должен был состояться и, по замыслу верховной власти, предавалась она суду присяжных: народ должен наказать террористку, это подняло бы престиж «любимой народом» власти, павший после военных неудач в войне с турками, в борьбе с молодежью на «процессе 193-х».

На Кони возлагались особые надежды. Министр граф Пален, не хватавший звезд с неба, заверил царя, что суд присяжных под председательством Кони «закатает мерзавку». «Либералу» даже была милостиво дана аудиенция царем, после нее, полагал Пален, процесс Кони «проведет успешно» и обвинительный приговор обеспечен Засулич.

Вышло наоборот: она была присяжными оправдана и тотчас после их приговора освобождена по распоряжению Кони, успела скрыться раньше, чем жандармский специальный наряд сумел выполнить приказ о ее задержании.

На Кони посыпались обвинения высоких инстанций, а лишившийся поста Пален с глуповатой откровенностью заявил, что от него ждали «услуги и содействия обвинению», на что получил немедленно очень «коневский» ответ: нечего ждать от председателя суда «не юридической, а политической деятельности»[1]. И даже повода для кассации не дал вопреки желанию тогда еще не отстраненного министра. Мнение царя и Палена, что он подсказал присяжным оправдательный приговор, было лживой передержкой. Бойцовский характер председательствующего выявился в том, что, взвешивая доводы за и против осуждения, он не исключил оправдательный приговор: вы судите живого человека, женщину, она мстила не за себя, но за сотоварища, поступок ее бескорыстен... И — «нет, не виновна!»

Значит, виновным в глазах правящих оказывался Кони. Травля реакционеров больно задевала душу, но совесть была чиста. Почти десять лет продолжалась опала. И только в середине 80-х Кони получил заметный пост обер-прокурора уголовно-кассационного департамента сената и смог снова влиять на судьбы людей, несправедливо осужденных, отменяя или смягчая жестокие приговоры провинциальных судов. Одним из славных дел, в котором он совместно с Короленко выступил в защиту ложно обвиненных в человеческом жертвоприношении вотяков, было неутверждение сенатом жуткого обвинения целой национальности в каннибализме. Тогда же, по горячим следам процесса над Засулич, Кони написал большую яркую статью о нем, но опубликовать ее, являющуюся по сути обвинительным актом всему бесправию царского суда и всевластию бездарных чинуш разных рангов, не представлялось возможным. Понимая это, автор читал фрагменты лишь близким людям. «Воспоминания о деле Веры Засулич» были опубликованы только после Октября[2].

В конце 90-х годов Кони покинул пост обер-прокурора, но остался сенатором при том же департаменте.

Именно в эту пору он активно берется за перо. Кони-литератор все более «побеждал» Кони-юриста. В 1896 году увидела свет преинтереснейшая его книга «За последние годы». Коллеги, прогрессивно настроенные прокуроры, судьи, адвокаты, литераторы, историки давали высокую оценку этому произведению. Читанный им курс по

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. Сс. 85—86.
[2] Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич.— М., 1933.

кафедре уголовного судопроизводства в Александровском лицее вызвал к жизни новую работу известнейшего и популярнейшего ученого «Нравственные начала в уголовном процессе».

Семьи у Анатолия Федоровича не было. Несколько привязанностей не увенчались браком. С горечью писал Кони другу в начале 1900-х годов: «...у меня нет *личной жизни,* и я бы ужаснулся своего одиночества среди окружающей мерзости, нравственного запустения, если бы мне не было *некогда;* у меня нет личного мира, куда бы я мог уходить от всякой лжи и гадости, от всего того, что заставляет меня радоваться тому, что в иные минуты заставляет печально сжиматься сердце,— тому, что я не отец, что у меня нет детей, которым предстояло бы это пугающее меня будущее» [1]. Уныние навевало бессилие что-либо исправить в мире повсеместной «приниженности и холопства», «кругового обмана», тотального «бесправия». «Как не болеть сердцу, видя все это» [2].

Выход был найден — обращение к современникам, апелляция к потомкам. Так стали появляться статьи и воспоминания Кони о лучших из лучших людей русской, российской интеллигенции, ее духовном авангарде — писателях, деятелях юриспруденции, журналистах, историках. О тех, для кого и настоящее, и грядущее родной страны было зачастую дороже собственного благополучия, карьеры, самой жизни.

И вот в 1898 году — появление первой из большой серии работ маститого юриста, литератора, общественного деятеля, в течение всей своей жизни, с мальчишеских лет и до глубокой старости общавшегося со знаменитыми и незнаменитыми писателями России. Это очерк-исследование об Иване Федоровиче Горбунове, ныне почти забытом, а в свою пору весьма популярном в народе и обществе актере и литераторе. Очерк, как это часто бывало у Кони, родился из его лекции, прочитанной в январе того же года сначала в Доме юстиции в Петербурге, а затем в столичном Русском литературном обществе и в зале Соляного городка, последняя в пользу крестьян голодающих губерний. Напечатано было произведение в доработанном и расширенном виде в журнале М. М. Стасюлевича «Вестник Европы», где впоследствии и появлялись коневские критико-биографические работы. Как и подавляющее большинство его статей и воспоминаний о литераторах, очерк являет собою цельный органичный сплав исследовательско-критического и мемуарного начал. Разрабатывая и углубляя жанр историко-литературного очерка, Кони создает ряд произведений о писателях — предшественниках нынешней эпохи. Результатом устных его выступлений стали, например, статья «Нравственный облик Пушкина» и ряд других работ о великом поэте, исследования об В. Ф. Одоевском, разносторонне одаренном литераторе и композиторе, очерки о великом поэте Лермонтове или скромной поэтессе сороковых—пятидесятых годов Каролине Павловой.

Для личности Кони характерно товарищеское, сердечное отношение зачастую даже к неблизким ему людям, кого он любил, чье творчество ценил. Так, после смерти Горбунова в 1895 году Анатолий Федорович засел за подготовку к печати его произведений, стал редактором всех трех изданий трехтомника, сопроводил его в качестве вступительной статьи своим очерком. Современники и новые поколения читателей благодаря стараниям Кони — составителя и редактора получали на протяжении ряда лет начала нового века произ-

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 89.
[2] Там же. Сс. 99—100.

ведения этого самобытного писателя и актера, с колоссальным успехом выступавшего с чтением своих глубоко народных рассказов или сцен. В творениях Горбунова Кони на первый план, как их неоспоримое достоинство, выдвигает «поразительную жизненность изображений», в них проявляется «не равнодушный и спокойный, а с чутко настроенною душою, умеющею переживать то, что он изображает», «вполне народный художник» [1]. И «глубокий артист».

Надо отметить, что в характеристиках писателей, скорее всего невольно, Кони показывает свою собственную личность, ее склонности, симпатии либо неприязнь. Как узнается этот характер в строках о других, как раскрывается в них душа самого Анатолия Федоровича: «Русского человека, им описываемого и выводимого, Горбунов глубоко понимал и любил горячо, без фраз и подчеркиваний, любил потому, что жалел». Сколько за Кони-юристом спасенных от несправедливости человеческих душ и даже жизней! Разве не дал автор в этих прочувствованных строках и свою характеристику? Говоря о Горбунове, он будто и свое сокровенное выкладывает: жалеть, любить надо простого человека с его незаслуженно тяжкою долей; гуманизм, демократизм самого Кони — литератора, как и юриста, были непоказными, истинными, глубинными — и оттого *самой высокой пробы*. «У простого русского человека,— отмечает каждодневно встречающийся с народом в трудных специфических условиях карательных учреждений юрист-демократ,— *жалеть* синоним *любви*... Так любил народ и Горбунов, не идеализируя его и не замалчивая его недостатков» [2].

Очень близка в Горбунове самому Кони его творческая самостоятельность, свойственная только «истинному художнику»: «правдописатель, но не льстец своих слушателей, не слуга их преходящих и изменчивых вкусов, не соискатель дешевого успеха...» [3].

Еще одна примечательная особенность, пожалуй, всех коневских очерков-воспоминаний. В них нередко художественные образы рассматриваются словно бы через особое «цветное» стекло и не кем иным, как юристом. Тогда специальное внимание автор сосредоточивает на тех вещах, в которых показана, как у Горбунова, психология толпы, когда она охвачена «одним чувством, мыслью, стремлением» [4], часто далеко не похвальным. А то свойственны ей «быстро сменяющиеся настроения противоположного характера» [5], в том числе под влиянием привычно грозного полицейского окрика, которому так же привычно-покорно подчиняться обывателю — и в единственном числе, и в толпе ему подобных... Не пройдет автор очерка мимо драм и из жизни интеллигенции. Читательское внимание и сочувствие заострится на «одной из картин скорбной жизни столичного образованного пролетариата» [6] в лице голодной, беззащитной девушки «с добрыми глазами», оказавшейся на глухом купеческом подворье с его первобытными нравами... И страшно нам вместе с автором-юристом за будущность этой труженицы, как не менее горько за разбитую жизнь другой, «втоптанной в разврат, среди бездушной столичной суеты...» [7]. И несть числа горчайшим судьбам героинь и героев

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. Сс. 137, 138.
[2] Там же. С. 138.
[3] Там же. С. 139.
[4] и [5] Там же. С. 187.
[6] и [7] Там же. С. 180.

писателя-демократа Горбунова, о котором неравнодушно, страстно, заинтересованно поведал юрист-литератор Кони, смело выдвигающий на видное место гражданскую позицию Горбунова-актера.

В лице этого человека русское общество, пишет Кони, «лишилось редкого художника, в труде которого сочувствие народу и знание народа переплетались неразрывно» [1].

Кони не любил собственные юбилеи и еще больше чужую юбилейщину, но сильнее было желание, чтобы хороших русских людей — в их числе писателей — не забывало общество. Одним из очерков он хотел почтить память несправедливо забываемого писателя Григоровича. «Памяти Д. В. Григоровича (1822—1922)» — это одна из последних работ Кони-литератора, сохранившего, впрочем, творческую работоспособность до самой кончины.

Анатолий Федорович высоко ценил в русском писателе черту, четко обозначенную Некрасовым: гражданином быть обязан!

Таким гражданином прошел весь свой жизненный путь сам Кони, вопреки коронной чиновничьей деятельности, вознесшей его по служебным заслугам высоко, но не сумевшей заставить отказаться от исповедуемых принципов. Вот и в Дмитрии Васильевиче Григоровиче видит автор воспоминаний родственные черты. Он даже (с этим можно согласиться или поспорить) антикрепостнические произведения Григоровича («Он окунулся в самую глубину этого ига» и в читателях вызвал «чувства печали и гнева») поставил выше «Записок охотника» (Тургенев же, по мнению автора, сумел лишь «возбудить в мало-мальски отзывчивом коллективном читателе чувства жалости и стыда») [2]. Можно сказать, Григорович совершил гражданский подвиг.

Такой же как вышеупомянутый, «условно юбилейный» характер имеет очерк Кони «А. Н. Островский», написанный в 1923 году к столетию великого драматурга. В этих «отрывочных воспоминаниях» Анатолий Федорович настойчиво выдвигает на первый план главного героя всех пьес — правду. Интересную, своеобычную мысль проводит автор (что тоже характерно для Кони-мемуариста, вообще-то врага парадоксов): у двух литературных единомышленников, двух друзей, столь несхожих,— Островского и Писемского — их творения «Горькая судьбина» и «Грех да беда» «были в нравственном отношении провозвестниками будущей «Власти тьмы» [3] — произведения и вовсе далекого от манеры этих художников. Глубину проникновения Кони в идею выдающихся произведений отечественной словесности остается лишь благодарно сопоставить с тонкостью его анализа и умением несколькими энергичными мазками, яркими эпизодами, одной-двумя неповторимыми деталями создать портрет писателя. В этом отношении характерны последние, зрелые, неувядаемо сильные коневские очерки-воспоминания, посвященные и Островскому, и Писемскому, и еще, пожалуй, Петру Дмитриевичу Боборыкину.

Как мемуарист Анатолий Федорович работал активно не менее четверти столетия, начав горбуновской «прелюдией». В начале века Кони взялся за очень важные для его мировоззрения и творчества воспоминания о корифеях русской литературы XIX столетия — впоследствии они вошли в многотомный труд его «На жизненном пу-

---

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 239.
[2] Там же. С. 128.
[3] Там же. С. 254.

ти»[1]. Среди этих имен Некрасов, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Лев Толстой, Короленко — «совесть России» эпохи войн и революций.

Статья Кони о Некрасове, быть может, с особенной отчетливостью выделяет одну приметную сторону мировоззрения юриста-литератора: борьба в нем либерала и демократа часто, очень часто давала одержать верх последнему. В борьбе за поэта, которая и в первой четверти века продолжалась, Кони внес свою лепту, решительно взяв его под свою защиту от злых клеветников или неумных «почитателей таланта», «допускавших» в великом народном певце эдакую «червоточинку», «ржавчину», которая как-то снижала, приближала его к обывательскому уровню, позволяла шепотком, с ухмылочкой кинуть в него комочком грязи...

Анатолий Кони еще мальчиком увидел поэта впервые, потом уже зрелым человеком близко был знаком с ним, и не только проникся уважением и обожанием, но «профессионально» одарил Некрасова (как мы знаем, и некоторых других писателей — Толстого, Достоевского, Полонского) сюжетом, который в творении певца горя народного воплотился в жемчужину — эпизод «о холопе примерном — Якове верном».

Кони присуще умение создать запоминающийся образ писателя-современника. Причем достигается это не концентрацией массы мелких, часто «дробных» частиц жизни, быта, характера, а уменьем отыскать и ярко раскрыть главенствующую черту личности выдающейся, неповторимые черты творчества, особенность нравственных устоев. Вот образ великого Льва Толстого: за его словом мемуаристу чувствуется «биение сердца», и, пожалуй, Кони ставил это выше «отрывистой бранчливости» Щедрина, «сдержанной страстности» Достоевского, «изысканной», но «поддельной простоты» Лескова. У Толстого — в разговоре — для Кони «роскошная ткань мыслей, образов и чувств». А у Тургенева — неотразимый контраст могучего художнического таланта и горькое и такое человечески понятное неумение преодолеть в себе обыкновенную и высокую человеческую «слабость» — любовь к женщине, в сущности, очень далекой от него... Вот Короленко, неистовый в защите «иноплеменных» братьев, третируемых «инородцами», способными точить чужую кровь. Или «странный» Боборыкин, не признанный современниками летописец огромной эпохи. И самый младший из современников, неизлечимо больной Чехов, одержимо рвущийся в сахалинскую каторжную даль... В отличие от речи Толстого речь Гончарова для Кони напоминает картины Рубенса, «написанные опытною в своей работе рукою, сочными и чистыми красками с одинаковой тщательностью изображавшею и широкое очертание целого, и мелкие подробности частностей».

Несколько слов об очерке о журнале «Вестник Европы».

Возникает вопрос: ну, а тех, кого мы припечатывали прозвищем «либералы»,— они, что же, неправому, самодержавному режиму служили? А если подойти к вопросу с другой стороны? Были «выходцы», перебежчики из разных лагерей общества (интеллигентами их назвать нельзя — интеллигентность подразумевает идейную и нравственную чистоплотность) — их называли ренегатами. Они «рекрутировались» и из радикалов, и демократов, и либералов — правда, всегда с прибавкою «бывший». Достаточно вспомнить Каткова, Буренина, Суворина, Тихомирова... Но кто возьмет смелость сказать: несть им числа... Они все на виду, неотмытые отщепенцы.

---

[1] Кони А. Ф. На жизненном пути. Тт. I, II. СПБ, 1912; т. III, ч. I. Ревель—Берлин, 1922; т. IV. Ревель—Берлин, 1923; т. V. Л , 1929.

Но вернемся к либералам. Куда пошел «гроза либералов» неуступчивый Салтыков-Щедрин после закрытия «Отечественных записок», куда потянулись его сотоварищи по боевому органу революционной демократии? Тот же умеренно-либеральный «Вестник Европы» многих приютил, либерально-народнические «Русская мысль», «Северный вестник», газета профессоров либерального толка «Русские ведомости». *Они* приняли «красных» авторов, не испугались — того же нераскаявшегося сурового старика Щедрина, революционных демократов Шелгунова и Каронина-Петропавловского, народолюбов Златовратского или Михайловского. Были либералы, но были и либералы, в которых демократизма чистой пробы хватало.

Таким был верный автор и сотрудник стасюлевичевского «Вестника Европы» А. Ф. Кони. Стасюлевич, отвечавший перед обществом за его детище, которое он вел сорок два года, был более осторожен, чем его многолетний друг, но, по приводимому Кони в очерке о журнале высказыванию Ламартина, не уставал бороться с «холодной жестокостью ложной системы» [1], с ее, по коневскому заключению, «тщетным и утопическим желанием остановить ход истории»... [2] И можно согласиться с автором воспоминаний о «Вестнике Европы», что это был «большой корабль» в нашей журналистике, и по выражению Петра I, путь журнал совершал, «не рабствуя лицеприятию, не болезнуя враждою и не пленяяся страстями» [3]. К чести «Вестника», он настойчиво отстаивал реформы в их изначальном, «шестидесятническом» духе, чем и был близок и дорог Кони, равно как и «капитан» корабля Михаил Матвеевич Стасюлевич, известный ученый-историк и журнальный деятель, ныне незаслуженно позабытый.

Надо отметить особенную черту юриста Кони — подлинно русского интеллигента, не только носителя высокой гражданской и нравственной смелости в защите, отстаивании прав писателей на уважение общества, не только в добросердечном стремлении отдать замечательные жизненные сюжеты, которые они жадно, неутоленно брали у их щедрого владельца,— но была еще одна воистину завидная, несокрушимая особенность в характере, поведении, литературной, профессиональной деятельности Анатолия Федоровича.

Кони, юрист и литератор, добровольным часовым стал на рубеже обновляющейся жизни, когда, как он отметил в интересной статье — воспоминании о Гончарове, эта «русская жизнь, пробуждаясь от многолетнего сна и застоя, являла не одну прозу. Из ее недр слышался призыв к развитию... личности, деятельной борьбе с косностью» [4].

Думается, что Шестидесятые с их молодым порывом к обновлению, когда только движение вперед спасительно для России, помогли 73-летнему Кони принять Октябрьскую революцию. Недаром в конце своей жизни (умер в 1927 году) он произнесет фразу, вместившую все его понимание истории Отечества — с революционными взрывами, реакционными провалами большого, всесветного значения: даже если большевики уйдут — большевизм останется [5]. Вера в народ, который сумеет выбрать дорогу в будущее,— одна из причин, толкнувших Кони на активное сотрудничество с Советской властью, властью, как признавал, огромных масс».

Однако не стоит считать, что Кони в своих позициях всегда в

---

[1] и [2] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 7. С. 222.
[3] Там же. С. 223.
[4] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 286.
[5] Высоцкий С. Кони. С. 392.

рядах демократов, передовых, что уклоняется от споров с радикалами начала века, народническими последователями, рыцарски вступаясь, например, за писателя в очерке-воспоминании о Гончарове. А ведь ему приходилось оспаривать мнение «великих теней», «неприкасаемое» в глазах прогрессивных демократических слоев русской дореволюционной интеллигенции (вспомним настойчивые напоминания Ленина в его работах этой поры о громадной важности демократизма). Так вот Кони, во имя справедливости, не боясь прослыть «ретроградом», оспаривает давнюю резкую критику гончаровского «Обрыва» и Щедриным, и Шелгуновым, и Скабичевским... «Года минули, страсти улеглись?» Нет, не только это: упреки (как Тургеневу за «Отцов и детей», Достоевскому за «Преступление и наказание» — и их брал под защиту Кони-мемуарист) в клевете на молодое поколение, в воспевании крепостного права, даже в непонимании русского народа — неправомерны, вызваны горячностью, накалом литературной борьбы, часто принимавшей острые политико-мировоззренческие формы (достаточно назвать заголовки отзывов упомянутых критиков в «Отечественных записках» и «Деле»: «Уличная философия», «Талантливая бесталанность», «Старая правда ..»)

Но, с другой стороны, «либерал» Кони с потаенным одобрением отметит гордое поведение Тургенева, «либерала-постепеновца» с ретроградом Катковым, только что «разоблачившим» писателя за материальную помощь Петру Лаврову и его революционному органу «Вперед». Тот же «либерал» с восторгом отзовется о тургеневском «Пороге», который высоко поднял в глазах передового общества престиж героев-революционеров. Какие слова найдет Кони для отклика на знаменитые стихотворения в прозе и в первую очередь для «Порога»: «...Я,— призна́ется,— провел всю ночь, читая и несколько раз перечитывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему более удивляться,— могучей ли прелести русского языка или яркости картин и трогательной нежности образов»[1] (очерк «Тургенев»).

А какое мастерство являет Кони в создании портрета своих героев, например, того же Тургенева: его облик «вводит» нас в мир великой души (порой слабой, но все равно — великой) писателя-гражданина, обладателя могучего таланта. Все в личности художника, по Кони, взаимосвязано, в том числе и сила чувства, которая стала его слабостью... (кстати, автор от издания к изданию снимает негативизм в отношении своем к Полине Виардо). Вот какие слова найдет к портрету Ивана Сергеевича:

«Как сейчас вижу крупную фигуру писателя, сыгравшего такую влиятельную роль в действенном и нравственном развитии людей моего поколения, познакомившего их с несравненной красотой русского слова и давшего им много незабвенных минут душевного умиления,— вижу его седины с прядью, спускавшеюся на лоб, его милое, русское, мужичье, как у Л. Н Толстого, лицо, с которым мало гармонировало шелковое кашне, обмотанное по французскому обычаю вокруг шеи, слышу его мягкий «бабий» голос, тоже мало соответствовавший его большому росту и крупному сложению»[2]. Мы видим, как особый, «коневский» лиризм сочетается с четкой характеристикой места писателя в общественной жизни, где не скрываемо отношение автора к своему герою, а равно и высоко изначально обозначена его роль в культурной, просветительской жизни России.

---

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 315.

[2] Там же. Сс. 301—302.

Очень типичная для Кони портретная, гражданская, художническая характеристика, где словам тесно, а мыслям просторно.

Верен Анатолий Федорович и своему способу показа личности каждого писателя, приглушая или вовсе устраняя из своего рассказа негативное, второстепенное, снижающее образ выдающегося художника (например, отношение Гончарова к Тургеневу). В то же время в тех случаях, когда речь идет о реакционных фигурах, сатира, даже сарказм Кони безжалостен, точен, и даже «политически» уничтожающе заострен. Вот Катков к поре пушкинских праздников 1880 года, «в это время уже резко порвавший с упованиями и традициями передовой части русского общества и начавший свою пагубную проповедь исключительного культа голой власти, как самодовлеющей цели, как власти an und für sich» [1].

Зато в очерке о любимом им Толстом Кони с одобрением приводит высказывание его, что самодержавие, далекое от народа и враждебно-чуждое народу, рухнет «в один прекрасный день, как глиняная статуя» [2]. Российская действительность неотвратимо шла к историческому катаклизму, к гибели строя, у которого Кони состоял на службе многие десятилетия и который считал антинародным, бессудным, обреченным, но не видел выхода.

Вот в этом был настоящий идеализм либерала, дальше которого он не пошел; жизнь новая пришла к нему, но врасплох не застала, не отшвырнула. Весь запас демократизма, выразившийся в деятельной любви к народу и обществу, к своей России, Кони мобилизовал для того, чтобы найти себя в новом обществе. И нашел.

Он пришел — добровольно — к новой власти, к новым людям с бесценным словом русского гуманиста, патриота, гражданина.

Произошло то, что должно было произойти с честным российским интеллигентом. «Блестящий либерал» (Луначарский) оказался понятым теми, к кому он явился со своим словом русского просветителя, отдал недюжинный нестареющий талант писателя, правоведа, оратора, лектора.

Каждая новая коневская лекция, будь то о народности поэзии или о проблеме преступления и наказания в творчестве Достоевского, об ораторском искусстве или о путешествии по литературному Петербургу пятидесятилетней давности, не похожа на предыдущую,— это вдохновенные творческие импровизации. Кони не позволяет себе повторяться — к очередному выступлению готовится тщательно, чтоб была какая-то новинка: использует необъятный свой архив и громадную библиотеку, перечитывая произведения того писателя, о котором предстоит поведать неизменно благодарной аудитории из студенческой, рабочей, учащейся или военной молодежи; либо слушателями его оказываются престарелые участники освободительной борьбы, маститые и молодые ученые Петрограда, рафинированные взыскательные интеллигенты, учителя или актеры, собранные «по ведомству наркомпроса Луначарского»... И всегда холодный нетопленый зал провожает лектора неизменно горячими аплодисментами, а слушают так, что в напряженную тишину с улицы доносятся ее звуки: перезвоны трамваев, топот боевого или продотрядовского строя, а то и хлопок выстрела. И когда гремела война и белые стояли у самого города, и когда она закончилась, но вдруг ударила тревога Кронштадта, и когда настали

---

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 313; в себе и для себя *(нем.)*.
[2] Там же. С. 474.

мирные, но все же несытые и вместе с тем страстные времена тяги к знаниям и культуре,— как нуждались в Кони бессчетные, забитые до отказа новыми неожиданными слушателями аудитории.

И вот по заледенелым улицам Петрограда, с великим трудом, но с не менее великим упорством движется на костылях (а часто и с книгами) невысокий, скромно одетый старик. Он пересекает Неву по мосту, плещет черная вода реки, непокорной, как и этот город, который Анатолий Федорович знает и любит точно родное, близкое существо. С залива или с Ладоги дуют ледяные или сырые ветры. Старик присаживается и снова идет — что движет им? Его ждут люди взбунтовавшегося мира, которых он хочет понять и которые, послушав его, тоже страстно захотят узнать о нем больше, чем услышали,— и гурьбой пойдут его провожать, понесут книги, пакетик с пайком, поддержат, чтобы не оскользнулся. А он все будет говорить им всем-всем, urbi et orbi [1], он любил повторять латинскую поговорку, простые и мудрые слова о жизни, как ее прожить честно и нравственно, как выбрать себе путь среди обыкновенных людей и необыкновенных событий.

...В Швейцарии тепло, сытно, благоустроенно, но там — чужбина. В ряде стран ему обеспечен радушный прием, лечение, быть может, университетская кафедра, издание трудов, однако Родина здесь, и не старая Россия недалеких, равнодушных к народным бедам царей, а мятежная, обновляющаяся Россия Советская, понятная и незнакомая: в солдатских изношенных сапогах, в пробитых ветром худых рабочих пальтишках.

В зале будет пахнуть сырыми шинелями, мокрыми бушлатами его завороженных слушателей, и из них кто-то украдкой, сменившийся с караула, станет жевать пайковый хлебный кусочек... Старика Кони тоже оделят скудным пайком. В пайке будет «солдатское» довольствие — сухая вобла, или крупа, или кусок «черняшки»... До слез дорог Анатолию Федоровичу этот его воистину *народный* гонорар.

Разве этот 75-летний старый человек, с молодым задором отшагавший на костылях полгорода, которого язык не повернется назвать стариком, так молоды его глаза — не по-солдатски верно, точно несменяемый часовой, стоит у истоков народного просвещения, служит ему всей нестареющей творческой душою.

Идите, Анатолий Федорович, мы — потомки — с уважением и благодарностью смотрим вслед. И с благоговейным интересом принимаемся за чтение Ваших воспоминаний о знаменитых людях «золотого века» России, ее духовной элиты — великих ее гражданах и выдающихся художниках.

«Только в творчестве есть радость — все остальное прах и суета» [2],— высказал он одну из заветных мыслей своих.

А не становится ли для последовательно творческих натур акт перехода из одной эпохи в другую фактором подлинного творчества? Когда человеческая личность оказывается способной творить не столько для старого, отживающего режима, сколько для нового, нарождающегося строя, за которым Анатолий Федорович Кони провидчески разгадал будущее...

Георгий Миронов,
Леонид Миронов.

---

[1] «городу и миру» — дословно.

[2] Савина М. и Кони А. Переписка, 1883—1915.— Л., М., 1938. С. 58.



ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ КОНИ

(К столетию дня его рождения)



марта настоящего года исполнилось сто лет со дня рождения (1809 г.) писателя и известного журналиста тридцатых и сороковых годов Федора Алексеевича Кони.

До 15-летнего возраста он воспитывался дома под исключительным влиянием своей матери Аграфены Никитичны, а затем поступил в «воспитательно-учебное заведение для благородного юношества», содержавшееся известным педагогом Леопольдом Чермаком. В 1826 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, блиставший в то время такими замечательными профессорами, как знаменитый анатом Лодер и клиницист Мудров. Медицина, однако, мало привлекала его, и он, наряду с лекциями по избранному им факультету, посещал с особою любовью разнообразные чтения на словесном, или, как он тогда назывался, философском факультете. Эти чтения и знакомства в подлиннике с лучшими произведениями западной драматической литературы оказали решающее влияние на направление его деятельности, и хотя он и получил звание лекаря, но никогда практически медициной не занимался, интересуясь однако ее успехами и следя за развитием медицинских знаний. Еще на студенческой скамье перевел он драму Виктора Дюканжа (автора известной «Жизни игрока») «Смерть Калхаса», данную в 1829 году на московской императорской сцене, причем главные роли исполнялись Мочаловым и Репиной. Успех этой пьесы, производившей сильное впечатление на зрителей, обратил на молодого переводчика особое внимание просвещенного и предан-

ного делу директора театров Ф. Ф. Кокошкина. Его советы и указания, поддержанные настояниями А. Д. Галахова, с которым Ф. А. Кони был связан тесной дружбой и переписывался до самой смерти, побудили его окончательно посвятить себя драматической литературе и изучению истории и истории искусства.

С 1832 по 1837 год были им изданы и шли, с постоянным успехом на сцене, шесть переделанных им с французского водевилей, снабженных оригинальными куплетами, переделанная с немецкого оперетка «Студент, хорист и артист» и пять оригинальных пьес: драма «Тереза», водевили: «Иван Савельич», «Женишок-Горбунок» и «Титулярные советники в домашнем быту», а также комедия «В тихом омуте черти водятся», имевшая большой успех в Москве, где главную роль в пьесе играла известная московская актриса Львова-Синецкая, и в Петербурге. Одновременно с занятиями для сцены Кони стал работать и на педагогическом поприще, поступив на службу учителем истории в первый московский кадетский корпус.

В 1836 году он переселился в Петербург, где занял должность преподавателя истории во Втором кадетском корпусе и «наставника-наблюдателя» по русской и всеобщей истории в Дворянском полку — учебном заведении, куда переводились кадеты из губернских кадетских корпусов. Делом преподавания Кони занимался с большой любовью. Из воспоминаний бывших воспитанников Дворянского полка видно, что ученики старших классов ценили живые его уроки, хранили литографированные по ним записки и в промежутки уроков вступали со своим молодым учителем в оживленный обмен мыслей по литературным вопросам. Результатом педагогических занятий Кони была учебная книга, в двух томах, на русском, французском и немецком языках, под названием «Живописный мир или взгляд на природу, науки, искусства и человека», изданная в 1839 году в Гельсингфорсе и принятая в качестве руководства в военно-учебных заведениях. Вместе с тем, занятия историей привели Кони к большому и серьезному сочинению — к «Истории Фридриха Великого», вышедшей в 1844 году и составляющей большой том с прекрасными политипажами.

Книга эта, написанная с большим уменьем, возбуждающая в читателе неослабевающий интерес к личности и жизни Фридриха II и основанная на изучении многих ино-

странных источников и дел нашего архива генерального штаба, являлась, по своему времени, выдающимся трудом и быстро разошлась в количестве 5 тыс. экземпляров.

Издание ее было повторено в 1857 году, ныне эта книга составляет библиографическую редкость.

«История Фридриха Великого» обратила на себя внимание и за границей. Иенский университет, ознакомясь в 1846 году с подробным разбором этой книги и переводом некоторых ее глав, сделанными библиотекарем прусского короля Шнейдером, возвел автора в степень доктора философии. «За особенное удовольствие считаю, как декан философского факультета Иенского университета,— писал ему известный ученый, профессор Эйхштедт,— сообщить вам лестное суждение нашего факультета о вашем прекрасном сочинении, которое представляет многие новые исторические воззрения на эпоху и блестящее их развитие, как равно и верные очертания характеров,— и переслать Вам диплом на почетное звание доктора». Другим большим трудом Ф. А. Кони в этой области был изданный в 1849 году сделанный им перевод истории консульства и империи Тьера, снабженный многими примечаниями для русских читателей, подробным введением и превосходными гравюрами на стали. Знаменитый государственный человек Франции был тронут переводом своего обширного и задушевного труда на русский язык и благодарил переводчика и издателя очень теплым письмом, в котором выразил радость, что ему пришлось предстать пред русскими читателями с работой, которой он посвятил лучшие годы своей жизни.

Служебные и ученые занятия не отвлекали, однако, Ф. А. Кони от излюбленной им драматической деятельности — и с 1837 года по 1857 год он написал еще ряд водевилей и комедий («Деловой человек», «Петербургские квартиры», «Всякий черт Иван Иванович», «Беда от сердца и горе от ума» и др.), драматическую хронику «Архип Осипов», с прологом в стихах и эпилогом, и перевел около десяти различных пьес и, между прочим, «Клавиго» Гёте. Большая часть этих произведений, проникнутых добродушным юмором, рисующих комические стороны бытовой жизни среднего слоя петербургского населения и часто задевающих в форме веселого куплета такие явления современной им русской жизни (раболепное чиновничество, взяточничество, бездушие крепостных отношений), которых, по цензурным условиям, нельзя

было коснуться строгим словом негодующего осуждения, имела большой успех на сцене, исполнялась лучшими артистами с большой охотой, составляла одну из приманок бенефисных спектаклей и долго держалась в репертуаре. Отживший ныне свой век водевиль, сменившийся, едва ли с пользой для сценического искусства, опереткою и фарсом, соответствовал неприхотливым, но и более здоровым вкусам театральной публики второй четверти XIX столетия. В нем искали легкую комедию нравов, без нравоучительных или тягостных выводов, искали источник искреннего смеха и возбуждающих веселость, но не чувственность, сцен и положений. В ряду лучших русских водевилистов того времени — Ленского, Каратыгина 2-го, Григорьева, Писарева и др.— Кони занимает одно из выдающихся мест. Белинский, вообще сурово относившийся к водевилю, отдал в разборе «Петербургских квартир» справедливость остроумию Кони и жизненности выводимых им типов. Необходимой принадлежностью водевиля были куплеты, и потому в пьесах Кони они встречаются во множестве. Но, кроме этого легкого и незамысловатого рода произведений, он написал довольно много стихотворений, в которых искреннее чувство и поэтические образы облечены нередко в красивую форму. Некоторые его вещи долгое время пользовались большой известностью на Руси, будучи положены на музыку, распевались в отдаленнейших ее уголках. Таковы его «Романс» («Рано, цветик, рано ты в поле распустился...») и в особенности «Баркарола» («Гондольер молодой, взор мой полон огня...»). Из разбросанных в различных изданиях стихотворений его надо отметить: «Сеньор и плебеянка», сцены из итальянской жизни XVII столетия — «Вещие сны», большую балладу в народном стиле — «Я умер», «Вышитый цветок» и один из лучших переводов «Альпухары» Мицкевича. Юмор Кони не всегда, впрочем, был безобиден и, выражаясь в колких, попадавших в цель эпиграммах, иногда, по мнению В. Р. Зотова, доходил до высокой сатиры. Таковы его ямб «Не жди, чтобы цвела страна...» и «Биография благородного человека», долгое время не могшая появиться в печати.

По указаниям Я. К. Грота, с которым Кони близко сошелся во время печатанья «Живописного мира», последний написал несколько баллад на народные скандинавские темы и перевел балладу Эленшлегера «Агнета», а также ряд старинных шведских народных песен.

Главнейшим призванием Кони была, однако, журналистика. Ей посвятил он все свои силы, упорно уклоняясь от заманчивых предложений поступить на службу. Он вышел в отставку из Дворянского полка в 1848 году и лишь в последние годы жизни принял на себя служебную работу в комиссии по исследованию железнодорожного дела в России,— да и то в качестве частного лица,— высоко ставя звание и тернистый путь русского литератора и тщательно оберегая свою личную свободу и независимость своих мнений. Цензурные и общественные условия конца сороковых и первой половины пятидесятых годов делали положение русского журналиста крайне тяжелым, заставляя его тратить — и очень часто совершенно бесплодно — массу сил для устранения неожиданных, и нередко совершенно нелепых, цензурных препятствий. Заслуга, в отношении русского общественного просвещения, тех, кто в эти годы, гнушаясь грязными приемами и закулисными сношениями Булгарина и не прибегая к двусмысленному глумлению Сенковского, стоял на своем редакторском посту среди упорного труда и ежедневных огорчений, несомненна. Она может, по всей справедливости, быть признана и за Кони, во всей журнальной, редакторской и издательской деятельности которого настойчиво проведено стремление развивать в читателях уважение к духовным приобретениям человечества, любовь к искусству в его разнообразных проявлениях и интерес к его истории и месту среди движущих сил общественного развития. Начав свои очерки из области сценического искусства на страницах «Северной пчелы», Кони вскоре резко разошелся со взглядами и приемами Булгарина и, работая в «Литературной газете», с 1840 года, сделался издателем художественно-литературного журнала «Пантеон», а в 1841 году, сверх того, преемником Краевского по редакторству «Литературной газеты», которой заведовал до конца 1843 года. В обоих этих изданиях Кони поместил ряд очерков по истории искусства, и в особенности театра и его видных представителей («Физиология театра», «Придворный театр Наполеона в Москве», «Воспоминания о театре Медокса», «Датский поэт Адам Эленшлегер», «Характеристика Евгения Скриба», «Биография Рашели» и др.). В 1843 году «Пантеон» и «Репертуар русской сцены», издаваемый Песоцким, слились в одно издание под названием «Репертуар и Пантеон русского и всех европейских театров»,

в котором Кони принимал деятельное участие, дав целый ряд статей и биографий, стремившихся воссоздать в живых очерках, по нетронутым до него источникам и материалам, прошлое нашего сценического искусства и оценить значение его деятелей. Так, между прочим, им напечатаны: «Начала оперы, драмы и балета в России», «Театральные мечтания» и «Галерея русских художников», представляющая биографии Дмитревского, Плавильщикова, Рязанцева, Кокошкина, Рубини, Дюра и характеристики личности и творчества певца Лаврова, Мочалова, Василия Каратыгина и автора «Аскольдовой могилы» Верстовского.

Рядом с этим шли статьи о Гофмане и первом представлении моцартовского «Дон-Жуана», об Ал. Дюма-отце, о Розе Шери, о певце Марио, очерки по истории балов и маскарадов и т. д.

«Галерея русских художников» содержала много теоретических положений и практических замечаний об условиях сценического исполнения, о необходимых требованиях, обращаемых к артисту, и о различных школах игры у нас и на Западе. Эти замечания не утратили своего значения и до сих пор, а вдумчивое отношение Кони к истории развития сценического искусства, заставившее его возобновить в памяти читателей образы забытых или забываемых служителей этого искусства, сохранило для этой истории много интересных бытовых картин и личных воспоминаний. С 1852 года Кони принял на себя издание и исключительное редакторство журнала, под первоначальным названием «Пантеон», преобразованного им по образцу больших литературных журналов с преобладающим отделом истории и теории искусств и с рядом ежемесячных художественных приложений — портретов замечательных деятелей, гравюр, картинок мод и музыкальных пьес. Обновленный «Пантеон» велся Кони по строго выдержанной системе, представляя наряду с серьезными литературными произведениями самый подробный и разносторонний отчет о том, что делается во всех отраслях искусства. Сам редактор продолжал на его страницах свои исследования по истории театра и вел тщательную критическую летопись всему, дававшемуся на петербургских сценах. Проповедуя принципы московской сценической школы, названной им школой «духовного проявления» в противоположность направлению «пластического проявления», привитого петербургской

сцене Каратыгиным, он предъявлял к артистам серьезные требования и ратовал против искусственно приподнятого тона и вычурности в игре, которыми восхищалась избранная публика Александринского театра. Кони предпринял также на страницах «Пантеона» остроумный и настойчивый поход против псевдопатриотических и ходульных драм Кукольника, встречавших шумное покровительство со стороны Булгарина и Сенковского и представлявших, по словам Кони, «угодничество перед публикой и притом не перед разумным ее меньшинством, а перед оглушаемым трескучими фразами большинством». Он умел привлечь к участию в журнале многие литературные силы и дать в нем место первым талантливым опытам людей, занявших впоследствии выдающееся положение в нашей литературе. В «Пантеоне» дебютировали повестью «Чайка» Кохановская и стихотворениями Хвощинская (Зайончковская), известная впоследствии под псевдонимом Крестовского; в нем помещал свои воспоминания и драматические произведения Лажечников и сотрудничали: Григорович, Полонский, Щербина, графиня Ростопчина, М. И. Михайлов, Мей, Бенедиктов, Кроль, Греков, Толбин (автор талантливых очерков из жизни бедного петербургского люда), князь Кугушев, Афанасьев-Чужбинский и др. Разнообразию переводного и оригинального отдела изящной словесности в «Пантеоне» соответствовало и содержание отдела искусств, в котором, независимо от перевода исследований и статей Гизо и Чарльза Ламба (о Шекспире) и др., помещен был ряд интереснейших статей Серова о музыке и ее главнейших представителях, вместе с письмами его к Улыбышеву о Моцарте и Бетховене,— и этюды о выдающихся русских художниках Федотове, Егорове и др. С первых месяцев своего появления «Пантеон» начал пользоваться большим успехом и его книжки стали проникать в глухие уголки России, занося туда, вместе с занимательным материалом для чтения, здравые взгляды на искусство и интерес к нему. Обширные и талантливые статьи по русской этнографии Шпилевского и о геологических и географических исследованиях и астрономических открытиях Новосильского придавали ему и некоторый научный оттенок. Эта сторона журнала послужила поводом к избранию редактора в члены Географического общества. Крымская война, привлекшая горячее внимание общества к театру военных действий, имела роковое значение

для журнала. Как «художественно-литературному» изданию, ему не было предоставлено право перепечатывать из «Русского инвалида» — тогдашнего единственного в этом отношении источника — известий о ходе войны, и это в значительной степени охладило внимание к нему публики. Журнал боролся, сколько мог, оставаясь верным своей программе, но средства на издание истощились, а новые веяния в литературе, захватившие коренные вопросы русского общественного устройства, отодвигали на задний план вопросы искусства — и к 1857 году «Пантеон» прекратился. Ф. А. Кони не оставлял, однако, литературных занятий до конца, был деятельным сотрудником Энциклопедического словаря, задуманного в начале шестидесятых годов, по очень широкой программе, кружком русских писателей, и продолжал писать о театре. Так, в 1864 году в журнале «Русская сцена» был помещен ряд больших его статей под заглавием «Русский театр, его судьба и его историки». Его драматические произведения были изданы в 1871 году в четырех томах. Разносторонне образованный человек, говоривший свободно на нескольких иностранных языках, Кони по складу своих мыслей примыкал к так называемым людям сороковых годов, со многими из которых — и между прочим, с Н. И. Пироговым — он завязал дружеские связи еще на школьной скамье. Он с восторгом приветствовал великие начинания Александра II, к которому обратил после 4 апреля 1866 г. глубоко прочувствованные стихи. В личной жизни это был приветливый, отзывчивый и добрый человек, идеалист и романтик, испытавший благодаря этому немало горьких минут, но до гроба сохранивший доверие к людям и горячую веру в великое будущее родины. После него осталась обширная переписка с выдающимися писателями и учеными тридцатых и сороковых годов, содержащая в себе интересные данные для истории цензуры и журнального дела за это время. Он скончался 25 января 1879 г. от воспаления легких. Вдова его — Ирина Семеновна, урожденная Юрьева, написавшая для «Пантеона» ряд повестей и проявившая в спектаклях в пользу Литературного фонда в 1861 году значительный, по словам воспоминаний П. И. Вейнберга, драматический талант, пережила мужа на 12 лет. Из детей его от этого брака остался до настоящего времени в живых лишь один сын.

ИРИНА СЕМЕНОВНА КОНИ

Кони Ирина Семеновна — по сцене Сандунова, актриса и писательница, родилась 5 мая 1811 года в семействе помещика Полтавской губернии Юрьева, умерла 24 сентября 1891 г. в Москве, где воспитывалась и провела свои молодые и преклонные годы. В 1837 г. под влиянием и по совету своего родственника, известного писателя А. Ф. Вельтмана, вступила на литературное поприще, издав сборник рассказов о «простых случаях жизни» под названием «Повести девицы Юрьевой»—и вслед за тем поступила на императорскую сцену, на которой — сначала в Москве, а потом с выходом замуж за Федора Алексеевича Кони, в Петербурге — оставалась более 15 лет, с талантом и тонким пониманием исполняя преимущественно комические женские роли. Сотрудничая в «Литературной газете» Краевского, «Репертуаре и Пантеоне» и «Пантеоне» (1852—1856) своего мужа, она поместила в них под фамилией Юрьевой ряд повестей («Воля и доля», «Сапожный снаряд», «Целковый», «Пуля-дура», «Цыганка», «Купеческая дочка»), посвященных описанию столкновений между светскими условностями и житейскою правдою и фактов из жизни незаметных, но глубоко чувствующих людей. К этим, написанным простым и вместе красивым языком и проникнутым теплою верою в лучшие стороны человека, рассказам Кони присоединила уже в начале шестидесятых годов два очерка «Морская пена» и «Новый управитель», напечатанные в журнале «Самообразование». Она же переделала в 1850 г. с французского драму «Порыв и страсть». Покинув сцену, Кони продолжала служить драматическому искусству, помогая своим опытом и знаниями устройству спектаклей с благотворительными целями и сама приняв участие в устроенных в начале 60-х годов в Петербурге Литературным фондом спектаклях, в которых играли выдающиеся писатели — Тургенев, Писемский и др. Исполнение ею ролей Кабанихи в «Грозе», свахи в «Женитьбе» и городничихи в «Ревизоре» дало ей, судя по воспоминаниям П. И. Вейнберга, возможность проявить выдающийся талант.— До конца дней своих сохранила она искренний интерес ко всему и отзывчивость на всякое горе, оставив в обширном кругу знавших ее прочные воспоминания о живости своего ума и горячности сердца, не поддавшихся ни глубокой старости, ни недугам.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ

И. И. Лажечников и А. Ф. Вельтман

Во время моего студенчества и некоторое время затем мне приходилось водить знакомство с такими москвичами, которые оставили свой заметный след в родном искусстве и литературе. Назову из них Верстовского (автора «Аскольдовой могилы»), Лажечникова, Вельтмана и знаменитого ветерана московской сцены М. С. Щепкина...

Ивана Ивановича Лажечникова я увидал впервые в половине пятидесятых годов у моего отца, связанного с ним старыми дружескими отношениями. Я уже успел прочесть «Басурмана», «Последнего Новика» и «Ледяной дом» и был под сильным впечатлением этих, замечательных для своего времени, романов, которые выгодно отличаются и от слезливой чувствительности произведений Загоскина и от многих из позднейших исторических повестей, где живое изображение лиц и страстей приносится обыкновенно в жертву археологическим и этнографическим подробностям.

Лажечников писал свой роман в такое время, когда на Руси, по отношению к настоящей действительности, в юбилейных и ученых работах (других не существовало) не допускалось ничего, кроме умиления и официального показного восторга,— а по отношению к прошлому требовалось умолчание о его темных сторонах и во всяком случае полное отсутствие каких-либо выводов, которые напрашивались сами собою. Автор «Ледяного дома» понимал, что там, где нельзя делать в печати выводов, их должны заменять картины. В этом смысле роман Лажечникова представлял богатое поле для представления себе характера и значения потех ничем не обузданной власти, которая обращалась к отданному во власть временщику народу лишь за средствами и живым материалом для этих потех, предоставляя запуганному населению столицы любоваться бесчеловеческим и длительным мучительством свадебной ночи придворного шута и карлицы-калмычки. Конечно, прекрасный образ Волынского, с любовью написанный автором «Ледяного дома», не полон,— о темных сторонах службы и деятельности кабинет-министра императрицы Анны Иоанновны умолчано, и из борьбы его с Бироном вытравлены лич-

ные побуждения. По отношению к своему герою и его единомышленникам Лажечников стал в положение свидетеля, которому, по словам Спасовича, председатели ассизов будто бы предлагают поклясться «dire la vérité, la pure vérité, rien que la vérité», но никогда не прибавляют: «toute la vérité» [1]. Трогательно описывая казнь последних, автор умалчивает о том, что они на пытке оговорили Волынского, но, несомненно, он глядел на этот гнусный способ добывания признания глазами Екатерины II, высказанном ею в завещании 1765 года по делу Артемия Волынского, а тщательное исследование казанского профессора Корсакова (1876 год) о Волынском, рисующее его в настоящем свете, не могло быть известно Лажечникову. Быть может, это объясняется и общим оптимистическим направлением Лажечникова, проявление которого мне приходилось подмечать не раз, но во всяком случае нельзя не признать, что Бирон, Волынский, Остерман, Эйхлер и другие написаны живыми и сочными красками и остаются жить в памяти читателя, а эпиграф из Рылеева к последней главе первого издания («Отец семейства! приведи к могиле мученика сына: да закипит в его груди святая ревность гражданина!»), весьма, по тогдашнему времени, смелый, указывает и на движущую идею романа. Недаром «Ледяной дом» так повлиял на восприимчивого и талантливого Валерия Ивановича Якобия, что он увековечил его в замечательной картине, которая как бы сошла, во всех подробностях, со страниц романа. Тут и лежащая в постели мужеподобная, грузная, с тупым лицом Анна Иоанновна и сидящий в соседстве с нею, в небрежной позе, надменный и властный фаворит; его жена, прислуживающая государыне; и прыгающий чрез спину князя Голицына шут, и подносящий свои стихи Тредьяковский, и остановившийся в дверях негодующий Волынский. Понятно, с каким чувством смотрел я на автора — подвижного старика, невысокого роста, с зачесанными на средину головы редкими седыми волосами, мягкими и добрыми чертами лица, с молодыми светло-серыми, почти голубыми глазами и живою речью. Мне не раз приходилось присутствовать при его жалобах на тяжесть своего служебного положения. Дело в том, что горячий сердцем и увле-

---

[1] «Говорить правду, чистую правду, только правду» [но никогда не прибавляют:] «всю правду» *(фр.)*.

кающийся старый романист не мог переносить одиночества, и семейная жизнь была для него насущною необходимостью. Второго апреля 1853 года он писал моему отцу: «В моем молчании не извиняюсь: меня постигло ужасное несчастье, которое сокрушило всю мою жизнь. Четвертого ноября прошлого года скончалась моя добрая подруга, подарившая мне 32 года счастья. Болезнь ее была мучительна; сердце мое изныло, смотря на ее ужасные страдания, продолжавшиеся несколько месяцев. Преданная всю жизнь богу, религиозная как первобытная христианка, любившая ближнего до самоотвержения, знавшая одну только страсть—страсть к мужу,— эта превосходная, святая женщина кончила жизнь как мученица. Если нет другой жизни, так что же и на что добродетель в здешней?..» Но уже 4 августа того же года он прислал письмо, ярко его самого характеризующее. «Вы удивитесь,— писал он,— если я вам скажу, что я — шестидесятилетний старик — женился на двадцатидвухлетней девушке. Кажется, это последний мой роман. Каков будет его конец — богу известно!.. Зная, как безрассудны союзы при таком неравенстве лет, я сам на такой решился! Обстоятельства, устроенные невидимою рукою провидения, романическая голова, пыл юноши, несмотря на мои годы,— всё это привело меня к этой развязке. Покуда я блаженствую... а там... да будет, что угодно вышнему!..»

Когда Лажечников женился, он был тверским вице-губернатором, через год он перебрался на ту же должность в Витебск, где ему не нравилось, несмотря на очень хороший отзыв его о губернаторе Игнатьеве. Через год он вышел в отставку и поселился у себя, в маленьком имении. Еще ранее, в 1852 году, после смерти Загоскина, сделанного, как казалось многим, за заслуги в качестве исторического романиста, управляющим московскими казенными театрами, Лажечников желал заменить его в этой должности и обратился по чьему-то настойчивому и лукавому совету к директору канцелярии министра двора. Ему было высокомерно объяснено, что сочинение романов для службы по ведомству двора не имеет никакой цены и что на месте директора театров самое важное счетная часть, а литература правильному ее ведéнию может лишь повредить... В 1856 году, чтобы дослужить два года до пенсии, он вновь поступил на службу цензором Петербургского цензурного комитета. Ему

самому приходилось страдать от подозрительности цензуры николаевского времени, которая под влиянием заявления Булгарина, что Лажечников «осмеливается изображать Иоанна III, законодателя, зиждителя Москвы и основателя самодержавия на Руси — эгоистом», стала делать препятствия ко второму изданию «Ледяного дома» и считать этот роман подлежащим запрещению. Но с новым царствованием цензурные строгости фактически были ослаблены, и одновременно с этим струя жизни, несколько освобожденной от прежнего гнета, забила в литературе с особой силой. Однако цензурные ножницы и красный карандаш, не отложенные принципиально в сторону, а лишь несколько притупившиеся, по временам стали по требованиям высшего учебного начальства (тогда цензура была в ведомстве просвещения) приводиться в действие. Лажечникову выпало на долю цензуровать «Современник» и иметь частые и тягостные для доброго старика объяснения с Чернышевским, иногда оканчивавшиеся у цензора слезами по уходе от него «урезанного» публициста. На эту печальную сторону своего положения он и жаловался своему приятелю, не раз испытавшему на себе и на своем журнале («Пантеон»), что значат красные чернила на корректуре. Не надо забывать при этом, что имя Лажечникова тесно связано с биографическими сведениями о Белинском. Личность истинно гуманного, отзывчивого и чуткого ко всему, в чем таились нравственные и умственные силы, писателя, умевшего до глубокой старости сохранить юношеский жар сердца и веру в добро,— неоднократно появляется на жизненном пути великого русского критика. Еще в 1823 году, ревизуя Чембарское уездное училище, Лажечников подметил не по летам развитой разум и замечательные способности в двенадцатилетнем сыне местного штаб-лекаря Белинском и, в восторге от его ответов, подарил ему книгу с соответствующею надписью, принятую «без особенного радостного увлечения, как должную дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства». С тех пор Лажечников принимал живое участие в Белинском: хлопотал об облегчении поступления его в университет, искренно восхищался его первыми шагами на литературном поприще, переписывался с ним, отыскивал его в приезды свои в Москву, оставив описание «бельэтажа», в котором, в крайней бедности, над кузницей и в непосредственном соседстве с

прачечной, жил и работал один из благороднейших представителей духовных сил России,— и, наконец, когда стало возможно говорить печатно о Белинском,— один из первых напечатал свои воспоминания о нем, проникнутые любовью и восторженным уважением... Многие наши писатели служили в цензурном ведомстве. Тютчеву, Майкову, Полонскому пришлось служить в цензуре иностранной. Там почти не возникало острых вопросов, и им едва ли приходилось чувствовать глубокий душевный разлад при исполнении своих, столь зависевших от посторонних указаний и настроений, обязанностей. Но в цензуре внутренней дело обстояло иначе, и недаром даже Гончаров, несмотря на весь свой авторитет, при первой возможности вышел в отставку. У Лажечникова от второго брака пошли дети (к началу шестидесятых годов их было уже трое), и над ним тяготел начет, о котором я скажу ниже. Чтобы обеспечить вновь создавшуюся семью, надо было во что бы то ни стало выслужить пенсию. Но как только это было достигнуто, он немедленно вышел в отставку уже окончательно и оставил Петербург для милой его сердцу Москвы.

Лажечников иногда прибегал к стихотворной форме. В 1817 году, будучи еще совсем молодым человеком, он издал первые опыты в стихах и прозе, столь незрелые, что, по собственному признанию, увидев их в печати и устыдясь, поспешил истребить все экземпляры этой книги. Затем, уже в сороковых годах, он написал белыми стихами две исторические драмы — «Опричник» и «Христиерн II и Густав Ваза». И в частной жизни он нередко прибегал к выражению своих мыслей стихами. Относясь ко мне очень ласково, он написал мне в альбом, когда мне было двенадцать лет, стихотворение «Молись», в котором тоже явственно сквозят гуманные взгляды и чувства автора. Вот оно:

Молись, дитя! молись... творя молитву,
Не обдели ты ею никого:
Ни матерь, ни отца, ни близких сердцу,
Ни их врагов, во тьме кругом ходящих,
Ни сирого, ни бедную вдову,
Ни богача, погрязшего в грехах...

В Москве он жил долгое время у Смоленского рынка, в Ружейном переулке. Встреченный им с особой приветливостью, я, насколько позволяли занятия, изредка, по воскресеньям, посещал его до переезда моего в Харь-

ков в 1867 году. Несмотря на свои семьдесят с лишком лет (он родился в 1792 году), он всем живо интересовался: то пылал гневом на разные явления в литературе, не подходившие ко взглядам романиста старой школы, то теплился умилением пред начавшимися «великими реформами» нового царствования. Особенно приводили его в восхищение обнародованные в 1862 году основные начала судебного преобразования. В разговоре и в переписке со мною он возмущался Писаревым, который «хлещет зря кого ни попало, не разбирая, Милль ли то, Пушкин или Маколей. Точно одна из наших широких натур, вроде молодчика из богатых купчиков, бросающих бутылкою в картину знаменитого художника». «Кто не признает в Писареве ума? — писал он в 1866 году, когда я пытался защитить пред ним яркого критика.— А между тем на что он тратит его? И Герострат был не дурак». Враждебное отношение старика к Писареву распространялось и на «Русское слово», где последний был самым выдающимся сотрудником.

Журналу своему, с понятьем узким,
Какое хочешь имя дай:
Ослиный рев, собачий лай,
Но только словом русским
Его никак не называй,—

писал он в том же году, продолжая возражать мне. Понемногу он стал сурово относиться и к таким литературным произведениям, которые, казалось бы, могли во многих отношениях удовлетворить его эстетическому вкусу. Он удивлялся успеху «Князя Серебряного», говоря, что этот роман ничем не лучше лубочных произведений вроде «Клятвы при гробе господнем», и находил, что «Дым» оскорбляет его патриотизм рассуждениями Потугина и разговорами генералов под дубом. «Завязка и развязка романа — стары, Тургенев напоминает Марлинского (sic[1]). «Дым» показывает, что талант maestro[2] сгорел, остался один дым»,— писал он. Вообще к беллетристам половины шестидесятых годов он относился очень критически, делая исключение лишь для П. Д. Боборыкина, роман которого «В чужом поле» ему очень нравился. Особенно жестоко обрушивался он на Всеволода Крестовского за очень нашумевший тогда роман «Петербургские трущобы»... Сам он в эти годы написал весьма

[1] Так! *(лат.)*.
[2] Выдающегося мастера в области искусства *(ит.)*.

слабый роман «Внучка панцирного боярина» и послал в «Отечественные записки», заранее соглашаясь на некоторые вычеркивания, которые признает нужным сделать редактор Краевский. Долго ждал он ответа, пока не получил свою рукопись назад не с обычной краткой «резолюцией» редакции, а с целым критическим рассуждением, в котором бедному старику, пережившему себя, доказывалось noir sur blanc[1], что и его талант сгорел, и остался один дым. Он был глубоко этим оскорблен и был неистощим в словесных выражениях своего негодования. Не менее неистощимым был он в своих воспоминаниях о войнах 1812 и 1813 годов. Он весь воспламенялся, когда рассказывал, как очевидец, о картине опустошенной и истребленной пожаром Москвы, о вступлении наших войск в Париж и о битве под Кульмом 17 августа 1813 года, где русской гвардии в числе восьми тысяч человек пришлось бороться с корпусом Вандамма, в пять раз сильнейшим, и где проявили удивительное мужество и стойкость Ермолов и Остерман-Толстой, причем последний, при котором двадцатитрехлетний Лажечников был адъютантом, потерял руку. К памяти Остермана-Толстого он относился с благоговением, считая его одним из замечательнейших людей, встреченных им в жизни.

Но было одно, что омрачало все его воспоминания, ложилось тяжким бременем на его сердце и заставляло тревожно задумываться над будущностью семьи. Во время вице-губернаторства в Твери он, по доверчивости к тому, что в Приказе общественного призрения, где постоянно председательствовал губернатор, всё в порядке, не обнаружил, при временном исполнении должности последнего, систематических злоупотреблений и подлогов, много лет практиковавшихся целой шайкой служащих в приказе. Когда проделки последних были, наконец, открыты,— большинство из них умерло, и бедный Лажечников был присужден к ежегодному вычету из скромной пенсии половины, то есть 750 рублей. Он жаловался, протестовал, писал объяснительные записки и надеялся, что дело будет пересмотрено. «Дай бог, чтоб я еще дожил до этого времени,— писал он мне 1 января 1866 года,— и мог добиться, чтоб оградить жену и детей от этого вычета. А если умру, то будьте, прошу вас, моим адвокатом...» Надежду, что с открытием новых судов я непременно поступлю в адвокатуру и приму на себя его

[1] Черным по белому *(фр.)*.

защиту, он высказывал не раз и в разговорах со мною. Его добрые светлые глаза затуманивались, когда он говорил о своем деле,— и невольный тяжелый вздох обличал, какой камень лежит у него на душе...

Перейдя на службу в Харьков, я продолжал переписываться с ним, но боевая судебная жизнь в только что открытом судебном округе, лишая меня возможности быть аккуратным корреспондентом, мало-помалу ослабила эту переписку. Притом мы часто расходились во взглядах: он весь жил в прошлом, я же, имея счастие участвовать в осуществлении на практике реформы правосудия, горячо и со светлыми надеждами смотрел на будущее и слишком был поглощен в этом отношении нашими судебными «злобами дня». В мае 1869 года праздновался в Москве пятидесятилетний юбилей его деятельности, на котором, он, однако, по болезненному своему состоянию, не присутствовал. Послав ему поздравительную телеграмму, я рассчитывал увидеться с ним, когда придется возвращаться из-за границы, куда меня посылали вследствие сильного кровохаркания. Тут произошло со мною нечто, могущее подать повод к разным «телепатическим» выводам. Я выехал из Харькова в товарном вагоне строившейся Курско-Харьково-Азовской железной дороги, сидя на кучах балластного песку вместе с знаменитым скрипачом Хенрихом Венявским. От Орла, однако, было уже правильное сообщение. Заснув в вагоне, я увидел во сне с необыкновенной реальностью Лажечникова. Он стоял предо мною, держал меня за руки, смотрел мне в глаза с нежным и грустным чувством, а потом стал от меня отдаляться, не сводя с меня взора и о чем-то настойчиво и убедительно меня прося. Но слов его я разобрать не мог, ибо он говорил тем «невнятным языком», о котором упоминает Пушкин в неискаженном последними редакциями чудном своем «Воспоминании». Проснувшись, я почувствовал справедливое угрызение совести за то, что я несколько отдалился душевно от доброго старика, который всегда относился ко мне с нежным вниманием и которому, как романисту, я был обязан столькими хорошими часами в отрочестве. Но в моем молодом сердце «змеи сердечной угрызенья» продолжаются, к сожалению, не долго, и я заснул опять. И снова увидел я тот же самый сон с еще большей яркостью, чем в первый раз. Тогда я решил во что бы то ни стало разыскать и обнять старика. В Москве мне предстояло

остаться с утра до вечера 26 июня, и я, перевезя свои вещи на Николаевский вокзал, тотчас же отправился в адресный стол, чтобы узнать, где живет Лажечников. Но узнать ничего не пришлось, так как это было воскресенье. Огорченный, я пошел бродить по улицам дорогой мне по воспоминаниям Москвы, побывал в университете и, выйдя затем на Поварскую, направился в зоологический сад на Пресню. Я шел задумавшись и опустив голову, но в одном месте на Поварской, где подъезд старинного дома пересекал тротуар и заставлял делать обход, я невольно должен был поднять голову... и что же я увидел?! На дверях крыльца была медная доска с надписью: «Иван Иванович Лажечников». С радостным чувством позвонил я. Мне отворила старая няня и на вопрос мой, можно ли видеть Ивана Ивановича, сказала: «Пожалуйте, они в зале». Весело и быстро прошел я сени, вошел в маленькую переднюю и вступил в залу... В правом углу на столе лежало тело Лажечникова с тем радостно-изумленным выражением желтого воскового лица, которое так свойственно многим умершим и которого, к слову сказать, я никогда не видел у самоубийц. Когда я несколько оправился от горестной неожиданности, старуха няня, вошедшая вслед за мною, объяснила мне, что Иван Иванович скончался три часа назад тихо и почти безболезненно и пред смертью всё вспоминал обо мне и сожалел, что меня давно не видел. «Будь он здесь,— говорил он,— я бы его попросил защитить мою семью по делу о начете. Ах, как жаль, что его нет!». «А вот вы, батюшка, и пришли,— прибавила няня,— да только поздно...» Да! поздно... И мой сон получил для меня особый смысл и значение.

Мне нередко приходилось бывать и у другого популярного романиста тридцатых и сороковых годов — Александра Фомича Вельтмана, человека чрезвычайно оригинального, поразительно разнообразно начитанного, глубокого знатока санскритского языка и источников по истории первых столетий [нашей эры]. Талантливый пересказчик «Слова о полку Игореве» и автор самых фантастических сочинений — сказок, в которых проза переплетена со стихами, археологических исследований, повестей, выдержавших множество изданий («Приключения, почерпнутые из моря житейского», каждая часть которых представляла самостоятельное целое), филологических изысканий и очерков древней

русской письменности,— он выработал себе и облюбовал целую теорию о том, что в четвертом веке существовала Русь испанская, мавританская и киевская, что гунны были славяне и что Аттила был великим князем киевским. Он напечатал об этом ряд статей с картами, словарями и таблицами и серьезно доказывал, с очевидными — но не для него — натяжками, что слово гунн произошло от Quenae, Chueni, Kunae и переходит естественно и постепенно в кыяне, а оттуда уже недалеко и до киян, то есть киевлян. Но областью, особенно привлекавшею его ум и чувство, было всё относящееся до Индостана в его прошедшем и настоящем. На стенах его обширного кабинета висели картины из жизни туземцев Индии, и в минуты отдыха, в теплом халате и с длинной трубкой жукова табаку, всегда серьезный и углубленный в себя, он оживлялся в беседе о факирах, индийских магах и, в особенности, о буддизме, основы которого им были изучены основательно, что в то время было большою редкостью. Несомненно, что в наши дни он был бы ярким адептом теософии и горячо приветствовал бы ту вспышку веротерпимости, благодаря которой в Петербурге начал возникать буддийский храм. Вельтман был в дружеских отношениях с Погодиным, хотя и подсмеивался над некоторыми странностями и привычками редактора «Москвитянина», в котором был одно время деятельным сотрудником. Погодин платил ему тем же, дав, между прочим, следующую яркую и справедливую, но ядовитую его характеристику как писателя: «С живым, пылким, необузданным воображением, которое с равною легкостью уносилось в облака или опускалось в глубь земли, переплывало моря и прыгало через горы,— Вельтман был страшно предан разысканиям в самом темном периоде истории. Колонновожатый в молодости, указывавший полкам их позиции и квартиры, он в старости остался тем же колонновожатым. Гуннами, готами, вандалами, лангобардами и герулами помыкал он еще гораздо смелее и решительнее, чем Бородинским или Тарутинским полками. Направо! Налево! Марш! Лангобарды, что стали на дороге, посторонитесь, дайте место аварам! Вот так! Герулы, назад, маркоманны — вперед! Наконец, ему в Европе стало мало места, он захватил Азию и переменил пути монголов, поместив их в Грузию и заставив оттуда прийти в Европу через Кавказ, а не через Урал».

Жена Вельтмана, Елена Ивановна,— страстно его любившая и ухаживавшая за ним, как за малым ребенком,— была тоже писательницею. Ее главное произведение, большой роман «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой», несмотря на старомодное название, составляет ценный вклад в историческую беллетристику, являясь плодом долгого и добросовестного изучения источников. Сухая, высокого роста, с умными глазами и решительною, убежденною речью, она являлась центром кружка, собиравшегося в обширном кабинете казенной квартиры на углу Левшинского и Денежного переулка, которую занимал Вельтман по должности директора Оружейной палаты. В этом кабинете, среди облаков жукова табаку, раз в неделю по четвергам сходились старые сослуживцы Вельтмана по военной службе в турецкую войну и по знаменитой в свое время школе колонновожатых,— его верный друг Горчаков, военные сенаторы Колюбакин и фон дер Ховен, писатели Чаев, Даль, Снегирев, старик Погодин и многие другие. В моих воспоминаниях о встрече со Скобелевым я описал сцену, происшедшую в этом кабинете в 1863 году с М. П. Погодиным, теперь же скажу, что особенно интересным мне представлялся Колюбакин. Заслуженный генерал говорил очень громко и властно, и первое впечатление, производимое им, было не в его пользу. Слово «бурбон» невольно просилось на язык. Но когда я попривык к его «командному голосу», вслушался в его живые и красочные воспоминания о боевой жизни, прислушался к меткости и справедливости делаемых им оценок людям и событиям, убедился в независимости его взглядов и понял тонкий юмор, который он умел облекать в грубоватую форму,— я почувствовал к нему большую симпатию, которая усилилась впоследствии, когда я убедился, с какою добросовестностью и готовностью учиться новому делу этот почтенный старик принялся за осуществление в своем департаменте сената Правил 1865 года о публичном судопроизводстве, предшествовавших введению Судебных уставов. Я помню одну из его острот, повторявшихся в Москве. Когда вышло «Довольно» Тургенева,— этот крик души, наболевшей от вольного и невольного непонимания творческих замыслов и побуждений художника,— князь Одоевский, трогательный оптимист и восторженный поклонник сил и постепенно раскрываемых тайн природы, опол-

чился против «унылости» Тургенева в горячей и длинной статье «Недовольно!» Он читал ее в заседании Общества любителей российской словесности с большим увлечением. Бывший в числе слушателей Колюбакин наконец затосковал и после заседания воскликнул: «Каков наш Одоевский! так и валяет картечью в соловья!..» К слову сказать, с начала шестидесятых годов это общество стало выходить из своего вынужденного молчания и подавленности. Его заседания очень интересовали и студентов, тем более что на них дебатировались весьма горячо вопросы о русско-польских отношениях, волновавшие общество в 1863—1864 годах ввиду польского восстания и дипломатического вмешательства Западной Европы. По этому поводу неоднократно выступал М. П. Погодин со свойственною ему оригинальностью речи, называя Наполеона III не иначе, как Бонапартом, и возглашая, что «пора ремонтировать для него помещение в Лонгвуде». Живая речь ораторов сильно действовала на восприимчивых слушателей,— и каждое заседание вызывало среди них долгие толки и обсуждения. У меня особенно остались в памяти два заседания: одно — в котором Писемский мастерски читал отрывки из только что оконченного им «Взбаламученного моря», и другое— посвященное памяти скончавшегося Шевырева. В отзывах об усопшем строго было соблюдено сомнительного достоинства римское правило: «de mortuis nil nisi bonum»[1],— и темные стороны в характере Шевырева тщательно обойдены. И здесь был как бы осуществлен указанный Спасовичем прием французских председателей, приглашающих «dire la pure vérité, mais pas toute la vérité». Одного из ораторов связывали с Шевыревым старая, многолетняя, испытанная дружба и единство научного направления. Это был Погодин. Слово его дышало искренним чувством и неподдельною скорбью. Было трогательно видеть этого старика, поминающего так горячо друга трудовых лет на недлинном уже пути к собственной могиле. Когда он стал читать предсмертное письмо Шевырева и дошел до стихов (передаю приблизительно, по памяти): «когда болит душа, когда слабеет плоть,— в часы тяжелой жизни битвы — не дай мне, мой спаситель и господь, познать бессилие молитвы!..» — голос его задрожал, оборвался, он заплакал и, безнадежно махнув рукою, сел на свое место.

[1] О мертвых только хорошее (*лат.*).

У Вельтмана нередко бывал один из его товарищей по школе колонновожатых и турецкому походу, заслуженный воин и впоследствии писатель, воспоминания которого о старых служебных нравах всегда были полны живого интереса. Увлекающийся и настойчивый в своих увлечениях, он был всецело поглощен спиритизмом и с торжественной уверенностью в действительность своего сношения с миром духов рассказывал о тех сообщениях, которые они ему делают посредством пишущего миниатюрного столика с укрепленным в нем карандашом. Медиумическою силою обладала его дочь, красивая и серьезная девушка лет двадцати, и на нее он ссылался обыкновенно в подтверждение и разъяснение своих сообщений, так как стоило ей, по словам отца, положить руки на столик, как он начинал поскрипывать и затем двигаться по бумаге, выводя свои прорицания и ответы. Старика слушали с почтительным вниманием, не лишенным затаенного сомнения. Раза два, присутствуя при его рассказах, я подметил мимолетное страдальческое выражение на прекрасном лице его дочери, а однажды, зайдя к Елене Ивановне и застав их вдвоем, я был поражен тою скорбью, которою, казалось, было проникнуто всё существо молодой девушки. Обменявшись со своей собеседницей несколькими фразами, смысл которых был мне неясен, она ушла с поникшей головою и затуманенным взором, сопровождаемая горячими словами Елены Ивановны,— женщины вообще очень сдержанной,— в которых звучало не только утешение, но и отрицание чьей-то вины. Когда мы остались одни, я спросил о причине убитого вида девушки. Елена Ивановна тяжело вздохнула и сказала мне: «Это ужасная драма!» — объяснив, что, когда все увлекались в начале пятидесятых годов столоверчением и пишущими столиками, привлекая к этому и детей, наш бедный старик позволил своей, тогда десятилетней, дочери тоже попробовать свою силу и, когда опыт оказался удачным, стал ее постоянно призывать к манипуляциям со столиком, приходя в восторг от ответов и радуясь удивлению окружающих. А у девочки было лишь желание пошутить, обратившееся затем в тщеславную привычку вызывать внимание и восхищение окружающих. Так прошло несколько лет, в течение которых старик до того уверовал в подлинность этих фальсифицированных записей и так погрузился в приписывание набору слов глубокого мистического значения, что это стало его второй жизнью, под-

держивало его бодрость, наполняло его тайной радостью. Но вот настало время, когда легкомысленная и шаловливая девочка обратилась во взрослую девушку и сознала, в какую опасную игру она играет, обманывая отца. Негодование на себя, сознание своей виновности в шутке, которая постоянно грозила принять размеры жестокости, отвращение к столоверчению охватили молодую душу. Но отступать уже было нельзя! Жизнь отца, больного и слабого, впечатлительного и уверовавшего, оказалась столь тесно сплетенной с ежедневным обращением к спиритическим записям, что открыть ему истину — значило бы нанести ему смертельную сердечную рану и разбить задним числом содержание почти десяти предшествующих лет. Он мог не перенести этого удара. Оставалось продолжать с ужасом и отвращением и поддерживать старика в его иллюзиях. И несчастная девушка несла этот тайный крест, боясь упасть под его тяжестью и сказать всё... Она посвятила в свои страдания Елену Ивановну, приходя по временам искать у нее утешения и поддержки... С тех пор прошло более пятидесяти лет. Старик давно скончался, но трагический образ бедной девушки, начавшей детской шалостью и вынужденной продолжать упорным ежедневным насилием над собою, не выходит у меня из памяти.

ПАМЯТИ Д. В. ГРИГОРОВИЧА

(1822—1922)

Конец прошлого и начало нынешнего года ознаменовались всесторонним чествованием Достоевского и Некрасова по случаю 100-летия обоих и 40-летия со смерти первого из них. Однако есть в русской литературе и другие имена, которые не должны быть забываемы в те или другие годовщины. Так, в 1921 году исполнилось 40-летие со смерти выдающегося русского писателя Писемского, во многих отношениях явившегося по характеру и содержанию своего творчества прямым преемником Гоголя. Так, 1 апреля нынешнего года минуло 100 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича. По яркости художественных образов и силе вдохновения у Некрасова и по глубине анализа душевных состояний у Достоевского сравнивать с ними Григоровича невозможно. Но Некрасов, обращаясь к художнику слова, сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Какую службу в качестве «гражданина» сослужили России Некрасов как певец «горя народного» и Достоевский как заступник за «униженных и оскорбленных» излишне говорить. Еще бо́льшая заслуга признается за Тургеневым. Его «Записки охотника» справедливо считаются одним из первых этапов на пути осознания русским обществом невозможности дальнейшего существования крепостного права. Но именно в этом отношении гражданская заслуга Григоровича несомненно еще выше. Несмотря на горячие строки Радищева, на трогательные указания Пнина, несмотря на многозначительное содержание трех повестей Н. Ф. Павлова, появившихся в 1835 году, русское общество «im Grossen und Ganzen»[1] не только спокойно *сживалось* с крепостным правом, но и *вживалось* в него, как в необходимую основу всего общественного строя. Упоминая о простом русском человеке или с юмористической стороны (гоголевские дядя Миняй и дядя Митяй) или в виде аксессуара для театральных представлений, причем в афишах после перечислений действующих лиц подчас упоминались «гости и пейзане», авторы как бы подражали известному полицейскому воз-

---

[1] В общем и целом *(нем.)*.

гласу на уличных сборищах: «Публика — вперед! Народ — назад!». Тургенев первый показал русского крестьянина, умевшего и при тяжких условиях крепостной неволи сохранить трогательные черты, нарисовал его душевный облик, берущий за сердце и волнующий читателя. Он заставил последнего невольно задаваться вопросом: всё ли благополучно в судьбе носителя этого привлекательного образа и догадываться, в какие тяжкие условия поставлен «сеятель и хранитель» русской земли, «клейменной,— по позднейшему выражению Хомякова,— игом рабства». Один из русских критиков справедливо замечает, что Тургенев «собрал с крестьянской нивы, где растут чертополох и репейник, только благоуханные цветы и составил из них чудный букет». Но Григорович пошел другим путем. Он окунулся в самую глубину этого ига, нарисовал условия его осуществления и несения, и если Тургенев умел возбудить в мало-мальски отзывчивом коллективном читателе чувства жалости и стыда, то Григорович возбудил чувства печали и гнева. Со своими произведениями, рисующими крепостной быт, Тургенев и Григорович выступили почти одновременно, но цикл «Записок охотника», начавшийся печатанием в 1846 году («Хорь и Калиныч»), закончился лишь к 1849 году, тогда как в 1846 и 47 годах уже появились повести Григоровича «Деревня» и «Антон Горемыка», произведшие глубокое впечатление. Недаром Белинский, стесняемый цензурными условиями, писал по поводу последнего произведения: «Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли *грустные* и *важные»,* весьма ясно давая понять, о чем и о каком невыносимом порядке вещей говорят эти мысли. Недаром, вспоминал Салтыков-Щедрин, что Антон Горемыка вызывает «первые разумные слезы человечности».

Значение заслуги Григоровича характеризуется и отношением к нему цензуры. Благодушно пропускавшая отдельные очерки из «Записок охотника» и лишь впоследствии спохватившаяся, когда они были собраны воедино, цензура неминуемо запретила бы «Антона Горемыку», не сумей цензор Никитенко убедить автора переделать конец и обратить героя из доведенного до отчаяния мстителя в идущего в Сибирь ссыльного. Подозрительное отношение к Григоровичу, вероятно, под влиянием запоздалого сознания значения его двух повестей продолжалось и в первой половине пятидесятых годов. Для пропуска

его «Проселочных дорог»—большого бытового романа с оригинальным отсутствием любовной интриги — ему было предъявлено требование вставить целую страницу с указанием на совершенно вымышленные им, а не почерпнутые из действительной жизни типы и обстоятельства. Предпринятое им совместно с Некрасовым издание сатирического журнала «Зубоскал» не было разрешено, потому что в программе было выражено — horribile dictu! [1] — намерение «смеяться над тем, что кажется смешно».

По знакомству с бытом и разговорной речью крестьян, по полному и без всяких преувеличений реализму, по глубокому чувству сострадания первые сочинения Григоровича и до сих пор не лишены историко-бытового значения. И с художественной точки зрения они заслуживают внимания. Описания злополучной жизни сироты, по отношению к которой даже доброе побуждение барина устроить ее судьбу заставляет вспомнить слова Лизы из «Горя от ума»: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» — и трогательный конец ее похорон пьяным истязателем-мужем, с бегущею за дровнями осиротевшей девочкой — и до сих пор звучат печальной и несомненной житейской правдой. Тою же правдой проникнут и рассказ, с рядом характерных подробностей, о непрерывной цепи бедствий Антона Горемыки вследствие условий крепостного права. Замечательно, что Григорович как бы разделил с Тургеневым задачу обрисовки наступившего разлада между отцами и детьми, избрав только другую область наблюдений. В его «Рыбаках» с чрезвычайным предвидением последствий указывается этот разлад между пахарем-отцом и городским фабричным сыном и намечается разлагающее влияние фабричных нравов на простой и во многом патриархальный быт сельского населения.

В жизни и даже внешности Григоровича и Тургенева было много общего: у обоих безотрадное детство и невеселая юность. Внук погибшего на гильотине роялиста, на дочери которого женился русский помещик, рано умерший, Григорович обладал чисто французской живостью, общительностью и тем видом упорной настойчивости, которая определяется словом «ténacite» [2]. Отзывчивый, впечатлительный и разносторонний, он умел, однако, при-

---

[1] Страшно сказать *(лат.)*.
[2] Стойкость *(фр.)*.

нявшись за какой-нибудь труд, вносить в выполнение его большое внимание и тщательное ознакомление с источниками и данными, эти его свойства и сказались в изучении им крестьянского быта и народного языка, хотя в детстве и отрочестве он почти не говорил по-русски и был воспитан бабушкой, вовсе не знавшей русского языка, и иностранкой Монигетти, педагогические приемы которой сводились главным образом к наказаниям воспитанников, когда (и очень часто), по ее словам, «горчица вступала ей в голову». Отданный затем в инженерное училище, он пережил тягостные впечатления от отвратительного обычая «цуканья» старшими воспитанниками младших, внедрившегося в наши закрытые учебные заведения, причем единственным его заступником являлся будущий герой Шипки — Радецкий. Дружба с товарищем по училищу Достоевским развила в нем любовь к литературе, а гнев великого князя Михаила Павловича, которому он, по рассеянности, не отдал чести на улице, был отчасти причиной того, что из будущего рядового инженера он сделался выдающимся писателем.

Влияние Достоевского, знакомство с Некрасовым и вдумчивая наблюдательность над разными явлениями городской жизни толкнули его на литературный труд, и его первые произведения — «Петербургские шарманщики» и «Петербургские углы» — отразили на себе эту наблюдательность, свойственный автору безобидный юмор и трогательное сочувствие к бедным и незаметным людям. Богатые подробности тяжести жизни шарманщиков и заключительная картина рассказа о возвращающемся, под полные грусти звуки «Лучинушки», в свой далекий холодный угол, шарманщике-итальянце, которому грезится ясное небо родины, едва ли совершенно отошли в прошлое Петербурга. Если бы, однако, Григорович пошел по этой дороге, поспешно изготовляя мелкие рассказы, скудно оплачиваемые (тогда высший писательский гонорар составлял 40 рублей с печатного листа и лишь к шестидесятым годам поднялся до 60), то он, конечно, разменялся бы на мелкую монету, но судьба готовила ему другую задачу, как бы говоря ему словами поэта: «Иные ждут тебя страданья, других восторгов глубина». Он уехал на несколько лет в деревню, и результатом его пребывания в ней был «Антон Горемыка» и такое описание крестьянского быта, на которое Л. Н. Толстой указывал как на единственно правильное и образцовое.

Ко времени освобождения крестьян Григорович мог считать свою гражданскую задачу завершенной и обратился к изображению наших житейских типов в среде культурного класса и преимущественно светского общества. Пред нами проходят длинной вереницей помещики, чиновники и финансисты и ярко расстилается жизнь так называемого «большого света» с ее пустотой, условностью, лживой чувствительностью и отчужденностью от народа. Прервав затем свое писательство надолго, Григорович вернулся к нему пред концом своей жизни в двух повестях: «Гуттаперчевый мальчик» и «Акробаты благотворительности». В первой из них он клеймит бессознательную жестокость общества, допускающую его терпеть существование опасных для жизни акробатических представлений и наслаждаться ими. В его несчастном «Гуттаперчевом мальчике» ярки и, к сожалению, вполне согласованы с действительностью фигуры скотоподобного гиганта акробата Беккерса и заразительно веселого клоуна Эдвардса, у которого под рыжим париком, размалеванным лицом и огромными бабочками на груди и спине бьется теплое и скорбное сердце, ищущее себе забвения в запое. Во второй дышат жизнью картины лицемерного сочувствия к несчастным, служащего честолюбивым мечтам светских дам, суетному тщеславию сановников и услужливо почтительному исканию карьеры предприимчивыми молодыми людьми. Нельзя не упомянуть также его «Скучных людей», как бы в соответствии с «Русскими лгунами» Писемского, в остроумной классификации которых во всей силе сказался его наблюдательный юмор, разделивший скучных людей на *весельчаков* и *унылых,* с целым рядом тонко подмеченных в жизни разновидностей.

Чуждый зависти и крайнего самомнения, способный сознаваться в своих промахах и ошибках, дружелюбно, вопреки господствующим нравам, отзывавшийся о товарищах по перу, Григорович умел признать и горячо приветствовать талант в Чехове, когда к последнему относились еще свысока и небрежно. На одобрительное письмо Григоровича Чехов отвечал «доброму, горячо любимому благовестителю» обещанием и надеждою «выбраться» на свою дорогу...

Односторонняя критика шестидесятых годов, забывая заслуги Григоровича, смотрела на него довольно сурово, упрекая его за растянутость его произведений и за то, что

некоторые чувства в области любовных отношений, приписываемые им русским крестьянам, не соответствуют прозаической действительности и написаны во вкусе Жорж Занд из той же области. Первый упрек справедлив. Если описания природы у Григоровича превосходны и могут стать наравне с тургеневскими, то диалоги и подробности обстановки у него местами очень растянуты. По-видимому, он забывал известные слова художника Федотова, советовавшего руководиться в творчестве тем же, чем в изготовлении наливки: «вино, ягоды и сахар есть, но надо дать им настояться». Григорович, благодаря живости своего темперамента, не давал себе настояться. Второй упрек несправедлив и обличает незнакомство с общечеловеческими чертами в таких замечательных произведениях Жорж Занд, как «La mare au diable» и «La petite Fadette»[1], которые, как и все, что она писала, останутся ценными литературными памятниками, несмотря на усилия представителей французского натурализма, переходящего в порнографию, свести творчество великой писательницы «на нет».

Высокий, седой в последние годы, с прядью волос, падавшей, как у Тургенева, на лоб, он во многом его напоминал в увлекательной прелести рассказов и отчасти в живости движений, их сопровождавших. Блестящий собеседник, приковывавший к себе общее внимание и овладевавший им всецело, он в некоторых вызывал сомнения в действительности существования того, что он рассказывал. Ложные друзья не раз пробовали набросить тень таких сомнений и на Тургенева. Оба они, однако, не извращали истины, и то, что смущало некоторых слушателей, было результатом отмечаемой некоторыми психологами «мечтательной лжи». Детям свойственно в живой игре творческого воображения переходить от мысли, что какое-нибудь обстоятельство *«могло быть»*, к тому, что оно *«должно было быть»*, и, наконец, к уверенности, что оно *«было»*. У людей с художественно настроенным воображением этот процесс иногда совершается обратно: сначала мысль сосредоточивается на том, что *было* в действительности, а затем к основной постройке невольно и, может быть, бессознательно приделываются украшающие орнаменты, представляющие ее в некоторых подробностях такою, какою она *могла* бы быть. Постепенно память притупляется, вымысел начинает казаться пере-

[1] «Чертова лужа» и «Маленькая Фадетта» *(фр)*.

житою действительностью и ретроспективное внимание уже не в состоянии отличить настоящего фундамента от последующих пристроек и надстроек. Темперамент Григоровича заставлял его воспринимать разные обстоятельства и события с особой впечатлительностью. На похоронах Тургенева, которого он сердечно любил, у края могилы он стал говорить прощальное слово, но вдруг изменился в лице, заплакал и, горестно махнув дрожащею рукой, замолк...

Есть за Григоровичем и другая заслуга. Считая свою беллетристическую песенку спетой, он не погрузился в «немое бездействие печали», но горячо отдался служению родному искусству не только веским и вдумчивым словом, но и трудом, в котором проявил настоящую «деятельную любовь». Об этом свидетельствуют как интереснейший подробный очерк английской живописи с блестящей характеристикой печали в сатирических картинах знаменитого Гогорта, так и горячая проповедь развития у нас, по примеру Запада и преимущественно Франции, художественного образования в приложении к промышленности. Много работы и забот вложил он в создание и организацию Общества поощрения художеств и при нем рисовальных классов, библиотеки и замечательного музея, и много хлопот ему стоило устроить пожалование этому Обществу в собственность дома на Большой Морской. Вот почему русское культурное общество имеет теперь полное основание помянуть Григоровича добрым и благодарным словом.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Сто лет назад, в годину грома и молний Отечественной войны, у нас родились два человека, которым суждено было сыграть выдающуюся роль в родной словесности. Оба горячо и каждый по-своему любили Россию. Один, твердый во взглядах на её призвание и нужды и стойкий в проведении в жизнь своих убеждений, сыпал, как кремень, при каждом прикосновении с действительностью искры ума, таланта, любви, негодования... Это был Герцен. А другой был тот, в чью память мы собрались здесь сегодня и кого хотим помянуть. Замечательно, что в тот же год в Англии родился Диккенс, столь любимый современными ему поколениями русских читателей и во многом сходный с Гончаровым в приемах и объеме своего творчества. Только что говоривший на этой кафедре академик Овсянико-Куликовский уже сказал нам о художнике великой силы, о бытописателе, умевшем в ярком образе отметить такое присущее нашей жизни явление, как обломовщина. Но рядом и в неразрывной связи с творчеством писателя стоит его личность. На ней хочу я преимущественно остановиться, хотя бы и в кратком очерке. На это дает мне право давнее знакомство с Гончаровым, которого я видел и слышал в первый раз еще вскоре по возвращении его из кругосветного плавания. В начале семидесятых годов я снова встретился с ним и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни. В моем жилище хранится толстая пачка его писем, полных живого и глубокого интереса, а со стен на меня смотрят Вера с Марком Волоховым и Марфинька в оригинальных рисунках Трутовского с посвящением их автору «Обрыва», завещанные мне последним. С мыслью о Гончарове связывается у меня благородное воспоминание о впечатлениях юных лет в незабвенные для русской литературы времена, когда в конце пятидесятых годов, как из рога изобилия, сыпались чудные художественные произведения, когда появились «Дворянское гнездо» и «Накануне», «Тысяча душ» и «Обломов», «Горькая судьбина» и «Гроза».

Не могу, однако, не коснуться свойств, условий и содержания его творчества. Обращаясь к *свойству* послед-

него, необходимо отметить его крайний субъективизм, т. е. тот личный характер, которым оно всецело проникнуто. Произведения Гончарова прежде всего — изображение и отражение его житейских переживаний. Он сам сказал: «Что не выросло и не созрело во мне самом, чем я сам не жил, то недоступно моему перу; я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало». Поэтому его личность тесно связана с его творчеством, и на последнем постепенно отражается все, что трогало его душу, как теплое воспоминание, как яркая действительность или как захватывающая его мысль и внимание картина. Говоря однажды о Толстом, он писал Валуеву, что Толстой набрасывает на жизнь широкую сеть и в нее захватывает разнообразные явления и множество лиц. Но то же самое можно сказать и о нем самом. Зорко приглядываясь и чутко прислушиваясь к образам и звукам «прираставшей» к нему жизни, он переживал их в душе, и потому в его произведениях чувствуется не меньше «сердца горестных замет», чем «ума холодных наблюдений»; потому в них под прозрачной тканью вымысла видятся, как и у Толстого, частые автобиографические подробности. Вообще, если искать сравнения между крупными русскими писателями, то Гончаров ближе других подходит к Толстому, и у него, как у Толстого, почти отсутствует юмор. Изображая жизнь, он, конечно, не мог не отмечать вызывающих улыбку или смех людей, встречавшихся ему на жизненном пути или перевоплощаемых им в своих произведениях. Обломовский Захар, вестовой на «Палладе», «слуги» содержат в себе черты неподдельного комизма. Но это лишь плод тонкой наблюдательности Гончарова. Там же, где он пытался создавать сложные комические положения, это ему не удавалось. Достаточно припомнить слабый в художественном отношении и почти карикатурный образ Крицкой в «Обрыве». Написав большой юмористический рассказ «Иван Саввич Поджабрин», Гончаров потом сам от него открещивался и не допускал перепечатки его в полном собрании своих сочинений. У него, как и у Толстого (Толстого первой половины его творчества), нет в произведениях политических или общественных вопросов, которые ставились бы или разрешались автором. И это потому, что Толстого более всего интересовала нравственная природа человека вообще, независимо от условий, в которых ей суждено проявляться, а Гончаров стремился изобразить националь-

ную природу русского человека, народные его свойства, независимо от того или иного общественного положения. Поэтому, вероятно, Гончаров менее других выдающихся русских писателей был понятен иностранцам, и лишь много лет спустя после его кончины на него обратил внимание германской публики талантливый писатель Евгений Цабель, а уже в самые последние годы им стала заниматься и восхищаться итальянская критика. Может быть, некоторым сходством в творчестве объясняется и то особенно теплое чувство, с которым отзывался при мне Толстой о Гончарове в 1887 году в Ясной Поляне, прося меня передать ему сердечный привет и выражение особой симпатии, несмотря на весьма малое с ним личное знакомство.

Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была *выношенность* его произведений, благодаря которой «Обломов» и «Обрыв»— в особенности второй — писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер, отрывков. Так, «Обломову» за несколько лет предшествовал «Сон Обломова», а «Обрыву»— тоже за много лет — «Софья Николаевна Беловодова». Он точно следовал рецепту замечательного художника-живописца Федотова: в деле искусства надо дать себе настояться; художник-наблюдатель — то же, что бутыль с наливой: вино есть ягоды есть — нужно только уметь разлить вовремя. Медлительному, но творческому духу Гончарова была несвойственна лихорадочная потребность высказываться по возможности немедленно, и этим в значительной степени объясняется гораздо меньший успех «Обрыва» сравнительно с двумя первыми его романами: русская жизнь опередила медлительную отзывчивость художника. Ему было свойственно страдальчески переживать тяжелые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в себе, падал духом, бросал написанное и принимался за начатое произведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара своей фантазии. Так, он писал в 1868 году М. М. Стасюлевичу: «Морально вы осмысливали мой труд («Обрыв»), предсказывая его значение, и поселили и во мне, вместо крайней недоверчивости к себе самому, некоторую уверенность к написанному и бодрость — идти дальше. Я смелее гляжу вперед — и плодом этого то, что все остальное... стоит готовое у меня в голове, как будто то̀, что крылось так долго где-то внутри меня, вдруг

высыпало, как сыпь, наружу. Ах, если б уж совсем в течение лета нарвало и прорвалось. Как это нужно! Тогда бы я оправдался и перед публикой в долгом молчании...». «Перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы Райского, с железным крестом, обвитым терние». В том же году он писал тому же: «У меня мечты, желания и молитвы Райского кончаются, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины, России, наконец, божества и любви... Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов». Но он, однако, знал цену этих мук творчества. Когда в половине восьмидесятых годов почетный академик К. Р. сообщил ему, что трудится над большой поэмой, которая стоит ему неимоверных усилий, то радостных мгновений, то минут отчаяния, он отвечал: «Вот эти-то минуты отчаяния и суть залоги творчества! Это глубоко радует меня... Если б их не было, а было одно только доброе и прекрасное, тогда хоть перо клади».

К *условиям* творчества Гончарова, кроме его медлительности, относилась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки. Поэтому рабочая сторона творчества доставалась ему тяжело. «Я служу искусству, как запряженный вол»,— писал он Тургеневу. Вспоминая свою литературную деятельность, он сказал мне в 1880 году: «Помните, что говорит у Пушкина старый цыган Алеко: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя», вот так и я пишу — горестно и трудно, а другим оно дается шутя». Эта «горестная и трудная» работа для успеха своего нуждалась и в особой обстановке С одной стороны, он — русский человек до мозга костей — не был способен к размеренному, распределенному на порции труду — по столько-то страниц в день, как это делал, например, Золя, а с другой стороны, когда внешние обстоятельства и личное настроение склады-

вались гармонически, он был способен работать запоем. Из письма его к С. А. Никитенко в 1868 году из Киссингена оказывается, что он, засев за «Обрыв» после разных колебаний, написал в две недели своим убористым и мелким почерком 62 листа кругом, что должно составить от 12 до 14 печатных листов. При этом, однако, он нуждался в абсолютной тишине. «В работе моей,— писал он Стасюлевичу из Мариенбада,— мне нужна простая комната... с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное, чтобы туда не проникал никакой внешний звук, чтобы могильная тишина была вокруг и чтоб я мог вглядываться, вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная в моей комнате и только!» А затем он извещал Стасюлевича, что против него поселилась какая-то «чертова кукла» и повергла его в полное бездействие почти непрерывной в течение дня игрой на фортепиано.

К условиям творчества Гончарова надо отнести отсутствие полной свободы для литературных занятий. Он не был обеспечен материально, как Толстой и Тургенев, а этого обеспечения литературный труд, даже в самом разгаре писательства Гончарова, давать не мог даже для скромной жизни. Достаточно сказать, что за уступку авторского права на все свои сочинения в половине восьмидесятых годов он получил всего 16 тысяч рублей. Современные гонорары писателям, далеко не имеющим значения Гончарова, показались бы в то время совершенно баснословными. Поэтому ему приходилось служить и, следовательно, отдавать значительную часть своего времени государственной службе. Ему пришлось занимать место цензора, быть редактором официальной «Северной почты» и окончить службу по выслуге скромной пенсии в звании члена главного управления по делам печати. К своим служебным обязанностям он относился, как человек строгого долга, глубоко добросовестно в смысле труда и с благородной самостоятельностью мнений, всегда направленных на защиту мысли, дарований и правды. Это было не легко и требовало усиленной письменной работы. В записках Никитенко содержатся неоднократные указания на его деятельность в этом именно смысле. Обнародованные в последнее время доклады его в Главном управлении показывают, с какой настойчивой убедительностью и искусством приходилось ему оберегать литературную ниву от того, чтобы она не обра-

тилась в «поле, усеянное мертвыми костями». А между тем его думу и душу тянуло к писательству. Он сам говорит о своих первых впечатлениях на этом поприще: «Чтение и писание выработало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщили мне практику, т. е. я присматривался к взглядам, направлениям и т. д. *Тут* я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел — не без грусти — какое беспредельное и глубокое море литература, со страхом понял, что литературу, если он претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и на всю жизнь!..»

Наконец, на творчество его влияли и физические недуги. Нервная восприимчивость, сидячая по необходимости жизнь и сильная склонность к простуде отражались на его настроении иногда в чрезвычайно сильной степени. До чего это доходило — видно из письма его к Стасюлевичу в 1868 году из Киссингена: «Подул холод,— пишет он,— нашли тучи — и все это легло мне на душу, и опять наверх всплыли мутные подонки, опять я бросил перо, повесил голову и стал видеть наяву скверные, преследующие меня сны! Опять дружеские лица стали превращаться в врагов, кивать на меня из-за угла... Мне опять стало душно, захотелось и в воду, и в огонь, и в Новый свет бежать, и даже уйти совсем на тот свет... Писать ли дальше?»

Переходя к *содержанию* творчества, мы видим в нем полное подтверждение заявления Гончарова о том, что он писал только то, что переживал, что чувствовал, что сам близко видел и знал. Поэтому главнейшие его произведения не имеют в себе ничего условного, отвлеченного или фантастического и вообще ничего или почти ничего сочиненного. Это все художественные отклики на жизнь, почерпнутые из реальной действительности. Сначала в них содержится личное переживание — «Обыкновенная история», затем рисуется типическое явление русской жизни — «обломовщина»,— наконец, в «Обрыве» развертывается обширная бытовая картина с выхваченными из жизни лицами, группирующимися вокруг «бабушки», за которою автору видится другая великая бабушка — Россия. Содержание «Обыкновенной истории» несложно: недаром она обыкновенная. Маменькин сы-

нок, идеалист и романтик, явившись в Петербург к прозаическому и положительному дяде, горячо — более на словах, чем на деле — воюет за жизнь, какою он ее себе представлял, против жизни, какая ему является в действительности, и под конец не только признает себя побежденным, но и смеется вместе с дядей над своими заблуждениями. Спор с дядей переходит довольно быстро в согласный дуэт, гармонию которого нарушает лишь скорбный образ дядиной жены, вянущей и угасающей в атмосфере роскоши и бездушного довольства призрачными благами жизни. Но не представляет ли этот роман — особенно в первой его части — личные переживания Гончарова и нечто *приросшее* к ним? Ведь и он родился в мирном уголке, где жизнь текла лениво и почти неслышно.

...«Самая наружность родного города,— пишет он в своих воспоминаниях,— не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары, с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мостовой прохожий. Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающиеся на улице лица. «Нам нечего делать! — зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас,— мы не торопимся, живем — хлеб жуем да небо коптим!» Те же воспоминания говорят нам, как пошли затем годы учения в Москве — тоже спокойно, без сучка и задоринки, все было патриархально и просто, ходили в университет, как к источнику за водой, запасались учением, кто как мог, и, кончив свои годы, расходились. Московские уголки и затишье, отдаленные от шума и сует, были удобны тем, что студенты жили каждый своей особой жизнью, не отвлекаясь от занятий ничем посторонним, а затем наступил возврат в родную Обломовку.

«Меня охватило,— рассказывает Гончаров,— как паром, домашнее баловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлу-

ки, к родным, и поймут, что я на первых порах весь отдался самой неге ухода, внимательности. Домашние мешают пожелать чего-нибудь; все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда — и все не наглядятся на меня».

Там, в этой обстановке, среди неприхотливого dolce far niente[1], забывая немногое, чему научился теоретически, и лениво предаваясь маниловским мечтам, Гончаров мог бы войти в обычную колею обломовщины... Но натура его, богато одаренная и возвышенная, энергическая и живая, с этим примириться не могла. Он жаждал новизны и чувствовал, что «даль зовет». Этой далью на первое время был Петербург, город, где, по мнению немецкого писателя, «улицы всегда мокры, а сердца всегда сухи», город, уподобляемый громадной кузнице, в которой почти неизбежно или обожжешься, или замараешься. Здесь Гончарову пришлось позабыть привольное житье в родных палестинах. Оказалось нужным начать учиться вновь и переучиваться и пробиваться среди новых встреч и отношений. В письмах и воспоминаниях его об этом времени подчас слышится, что для него столица сыграла роль Адуева-старшего. Вот почему, когда представился случай уехать вокруг света, он, уже обжившийся в Петербурге, уже занявший видное место в литературе, с радостью ухватился за возможность его покинуть и освежить свои впечатления.

«Обыкновенная история» была своего рода эпопеей личности, приходящей в столкновение с прозой жизни. Но русская жизнь, пробуждаясь от многолетнего сна и застоя, являла не одну прозу. Из ее недр слышался призыв к развитию этой личности, к деятельности, к борьбе с косностью. На этот зов жизни Гончаров отозвался другой эпопеей, но в более широких рамках распространенного явления природы русского человека. И это был — Обломов. Но жизнь шла вперед. В ней происходила борьба старого с новым, чувствовался перелом, и было очевидно, что старый быт уходит. Гончаров никогда не отрицал темных сторон этого быта, но он умел ценить и любить его добрые патриархальные стороны, и совершав-

---

[1] Блаженное безделье *(ит.)*.

шийся на его глазах перелом не мог не вызвать в нем любящего прощального взгляда на то доброе, что уходило из русской жизни безвозвратно. Да и «сеть» не могла оставаться праздной, и он решился закинуть ее в знакомом ему уголке родины. Он сам говорит об «Обрыве»: «На многих пигмеях, в крошечном озере, отразилось состояние брожения, в котором находилась Россия, и происходившая борьба старого с новым. Я следил за отражением этой борьбы на знакомом мне уголке, на знакомых лицах». Настоящей героиней романа, конечно, является Вера, и около нее, в лучах ее образа бледнеет центральная фигура всего повествования — Райский. В изображении Веры слышатся житейские переживания самого Гончарова. Между петербургской светской девицей тех годов, когда Гончаров приехал в столицу и стал наблюдать, и Верой шестидесятых годов — целая пропасть. Одна — Наденька из «Обыкновенной истории», кисейная барышня и красивая «букашка», безвольно подчиняющаяся окружающему укладу и указке старших; другая — по объяснению самого автора, жертва «в борьбе старой жизни с новою... Она сама знала, что отжило в старой, и давно тосковала, искала свежей, осмысленной жизни, хотела сознательно найти и принять новую правду». Одна—вся в рутине прошлого, другая—на пороге неизвестного, но манящего будущего, и между ними в лице Ольги из «Обломова» — чистое и гордое существо с ее бесплодной жертвой и торжественным «никогда!», разбивающимся о нравственную дряблость Ильи Ильича. В возвышенном образе Веры, готовой на жертву безусловно, со всею полнотою любви, и горячо отвергающей условную любовь «на срок», Гончаров изобразил свой идеал русской женщины. Он явился глубоким и горячим защитником равноправия в любви и в оценке того, что принято называть «падением женщины». В своих малоизвестных заметках, напечатанных в «Русском обозрении» 1895 года, Гончаров подробно разъясняет эту сторону своего «Обрыва»: «Меня давно с молоду занимал один из важных, вопиющих, по своей несправедливости вопросов: это вопрос о так называемом *падении* женщин. Меня всегда поражали: во-первых — грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых — несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось,— тогда как о падении мужчин вовсе не существует никакого

вопроса... *Падение* женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествующими обстоятельствами: ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбой виновной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры — ничто не извиняет жертву, и она теряет все женские права на всю жизнь, и нередко, в безнадежности и отчаянии, скользит дальше по тому же пути. Между тем общество битком набито такими женщинами, которых решетка тюрьмы, то есть страх, строгость узды, а иногда еще хуже — расчет на выгоды,— уберегали от *факта,* но которые тысячу раз падали и до замужества, и в замужестве, тратя все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной игре кокетства, легкомыслия, праздного тасканья, притворных нежностей, взглядов и т. п., куда уходит все, что есть умного, тонкого, честного и правдивого в женщине. Мужчины тоже со своей стороны поддерживают это и топят молодость в чаду разгула страстей и всякой нетрезвости, а потом гордо являются к брачному венцу, с болезненным или изношенным организмом, последствиями которого награждают девственную подругу и свое потомство,— как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе необязательна». Таким образом, еще в шестидесятых годах вопрос о добрачном целомудрии мужчин, разработанный скандинавскими писателями и в особенности Бьернстерне-Бьернсоном в его «Перчатке», был поставлен в русской литературе, т. е. с лишком сорок лет назад, Гончаровым.

Наряду с такими драгоценными вкладами в нашу словесность, как «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», в литературные произведения Гончарова вкраплены необыкновенно живые воспоминания, полные ярких красок и живой наблюдательности. Таковы, например, «Слуги» и в особенности «Фрегат «Паллада». Сюда же надо отнести блестящий критический анализ «Горя от ума» — «Мильон терзаний», содержащий в себе никем до сих пор не превзойденную по тонкости и глубине оценку Чацкого, который «сломлен *количеством* старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар *качеством* силы свежей». Но если бы Гончаров написал лишь одного «Обломова», то и этого было бы достаточно, чтобы признать за ним непререкаемое право на одно из самых выдающихся мест в первом ряду русских писателей. Его Обло-

мов так же бессмертен, как Чичиков, и так же, как он, меняет обличье и обстановку, оставаясь одним и тем же в существе. Современный Чичиков, конечно, давно уже продал и, вероятно, весьма выгодно свою бричку и расстался с Селифаном. Он ездит в купе первого класса скорых поездов, состоит членом какой-нибудь торговой компании или кредитного товарищества и промышляет не мертвыми душами, а искусственно вздутыми акциями для составления фиктивного складочного капитала «общества прикосновения к чужой собственности», как выражался покойный Горбунов. И Обломов уже не лежит на диване и не пререкается с Захаром. Он восседает в законодательных или бюрократических креслах и своей апатией, боязнью всякого почина и ленивым непротивлением злу сводит *на нет* вопиющие запросы жизни и потребности страны,— или же уселся на бесплодно и бесцельно накопленном богатстве, не чувствуя никакого побуждения прийти на помощь развитию производительных сил родины, постепенно отдаваемой в эксплуатацию иностранцам.

Нужно ли говорить о прекрасном языке Гончарова, богатом красками, сильном и сочном? Если сравнивать писателя с художником-живописцем, то широкая кисть Гончарова скорее всего напоминает Рубенса, как нежные и пленительные контуры Тургенева напоминают письмо Рафаэля, а яркие образы Толстого — «светотень» Рембрандта.

Оценка литературной деятельности Гончарова была не всегда одинакова. Он испытал и общее, почти восторженное признание, и холодность невнимания, и тупость непонимания, и то, что называется succés d'estime[1]. Приветствуемый, хотя и не без некоторых оговорок, Белинским, автор «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Фрегата Паллады» сделался любимцем читателей и за свои произведения и за тот внутренний смысл Обломова, который был указан и разъяснен Добролюбовым. Но «Софья Николаевна Беловодова» была принята холодно, а к «Обрыву» критика отнеслась во многих случаях с суровостью совершенно незаслуженного разочарования. Нашлись рецензенты, силившиеся дать почувствовать «маститому» автору, что Тарпейская скала находится недалеко от Капитолия. Ему не пришлось, подобно Тургене-

---

[1] Успех, обусловленный уважением к автору, а не достоинствами его произведения *(фр.)*.

ву за «Отцов и детей» и Достоевскому за «Преступление и наказание», выслушать тупые и злобные упреки в оклеветании молодого поколения,— это было бы в конце шестидесятых годов уже устарелым приемом,— но пришлось узнать, что он певец крепостного права, что он не понимает и совершенно не знает русского человека и русской жизни, и наряду с этим выслушать упрек в том, что, рисуя образ своей «бабушки», он дошел до того, что «даже не пощадил ее святых седин».

К этим внешним терниям, язвившим его впечатлительную душу («с такой натурой, как моя,— писал он Стасюлевичу,— нужна не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей»), присоединялись и другие, внутренние, коренившиеся в болезненном настроении этой души. Среди них первое место занимало жившее в ней чувство к Тургеневу, если и не прямо враждебное, то во всяком случае полное крайнего недоверия, смешанного с какою-то смутною боязнью. О причинах разлада двух видных русских художников существует много легенд, но ни одна из них не уясняет основного источника этого разлада. О зависти здесь не могло быть и речи: каждый из них представлял большую самодовлеющую величину, и Гончаров не отрицал крупного таланта Тургенева. Некоторые предполагали, что разлад начался после того, как в Базарове Гончаров усмотрел предвосхищение созревшего у него образа Марка Волохова, с которым он познакомил Тургенева в конце пятидесятых годов, когда они еще встречались за границей. С этого будто бы времени начались жалобы Гончарова на то, что Тургенев — непосредственно и через знакомых — выпытывает у него сюжеты задуманных произведений и пользуется ими для себя и для своих иностранных литературных друзей. Такая более чем странная причина разлада во всяком случае должна была возникнуть гораздо ранее появления «Отцов и детей», так как еще в 1860 году в «Искре» (№ 19 от 20 мая) напечатано было стихотворение *Обличительного поэта* (Д. Минаева) «Парнасский приговор», в котором русский писатель, «вялый и ленивый, неподвижный, как Обломов, встав безмолвно и угрюмо, окруженный тучей гномов», приносит богам жалобу на собрата и говорит: «Он, как я, писатель старый, издал он роман недавно, где сюжет и план рассказа у меня украл бесславно... У меня герой в чахотке; у него портрет того же; у меня Елена имя; у него — Елена тоже. У него все лица так же,

как в моем романе, ходят, пьют, болтают, спят и любят»... Парнасский суд решает обречь виновного играть немую роль купца в «Ревизоре» (зимою 1859—60 года в спектаклях, устроенных Литературным фондом в Пассаже, Тургенев действительно появился в группе купцов, которым городничий — Писемский — говорит: «Жаловаться, аршинники, самоварники?!»), а жалобщика обрекает поехать путешествовать вокруг света для написания в дороге нового творения. Отсюда видно, что о жалобах Гончарова на Тургенева было известно уже в начале 1860 года. Быть может, это ревнивое отношение к произведениям Тургенева явилось у Гончарова и раньше, так как в одном из писем к Никитенко он намекает, что бабушка Татьяна Марковна в «Обрыве» была задумана гораздо раньше, чем тетушка Лизы, Марфа Тимофеевна, в «Дворянском гнезде». В письме к Тургеневу от 28 марта 1859 г. он писал: «Сцене бабушки и внучки вы дружески и великодушно пожертвовали довольно слабой сценой вашей повести». Таким образом, по-видимому, ревнивый разлад с Тургеневым начался давно и притом без всякого основания, так как однородные явления жизни, воспринимаемые самостоятельными художниками, могли создавать в их душе сходные в существе, различные во внешних проявлениях образы. А ввиду глубины их таланта и творческой силы, ни один из них не нуждался в каких-либо заимствованиях. Известно, что Тургенев, в силу каких-то неуловимых особенностей и мягкости своего характера, вызывал у некоторых сомнение в своей искренности и этими своими свойствами возбуждал против себя. Достаточно припомнить злобный памфлет Достоевского в «Бесах», ссору Тургенева с Толстым, отзыв о нем Додэ в «Trente ans de Paris» [1]. Чем-нибудь из этих своих свойств он, вероятно, бессознательно уязвил и Гончарова, и на этой почве у последнего выросла так называемая навязчивая идея, подобная той, которой, как ныне оказывается, страдал драматург Стриндберг. Такая идея, как известно, сначала является лишь временами, отгоняемая рассудком, но затем рассудок перестает с нею бороться, и она овладевает вполне сознанием своей жертвы и образует своего рода безумный круг представлений, в котором уже все ей подчиняется и ею внушается... Так было и с Гончаровым, который вообще отличался мнительностью. Это состояние его, как видно из писем

[1] «Тридцать лет Парижа» *(фр.)*.

к С. А. Никитенко, дошло до своего апогея в 1869 году, когда под влиянием встреч за границей с какими-то русскими дамами, которые, догадываясь о его больном месте, бередили своими намеками его душевную рану и «для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар», он даже хотел прекратить печатание «Обрыва», содержание которого будто бы уже передано Ауэрбаху и будет использовано последним в его новом романе. Под влиянием этого состояния он написал в 1868 году Стасюлевичу: «Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, добрые намерения руководили мной, и как много теплой любви... к людям и к своей стране разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его обитателях и т. д. ... И вдруг, не только безучастие, а какой-то злой смех, глухая вражда вместо ласки и участия — еще до появления труда приветствуют меня!.. Хочется мне скорее кончить и отдать вам, чтобы поскорее покраснели хоть немного те, которые, ничего во мне не понимая и не допуская никакой исключительности в натуре, ничего не нашли другого, кроме злого и грубого смеха, да еще предали меня заживо в чужие руки на глумление и на съедение». В другом письме он пишет: «Хочется сказать в Райском все, что я говорил вам о себе лично... Вы... знаете, какой я дикий, какой я сумасшедший...— а я больной, загнанный, затравленный, не понятный никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера... Жду утешения только от своего труда: если кончу его, этим и успокоюсь и больше ничем — и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь»... Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1880 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью «Обломова», я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. «Такой совет мне мог бы дать,— сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров,— лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!» Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг... После смерти Тургенева эта болезненная мнительность прошла. Гончаров перестал иносказательно говорить о Тургеневе и в отзывах стал отдавать

ему справедливость. Так, уже через год после кончины последнего, он писал почетному академику К. Р.: «Тургенев... воспел, т. е. описал русскую природу и деревенский быт в небольших картинах и очерках («Записки охотника»), как никто!», а в 1887 году, говоря о «безбрежном, неисчерпаемом океане поэзии», писал, что в него надо «чутко всматриваться, вслушиваться с замирающим сердцем... заключать точные приметы поэзии в стих или прозу (это все равно: стоит вспомнить тургеневские стихотворения в прозе)»...

Те, кто встречал лишь изредка Гончарова или предполагал найти в нем живое воплощение одного из его наиболее ярких образов, охотно отождествляли его с Обломовым, тем более, что его грузная фигура, медлительная походка и спокойный, слегка апатичный взор красивых серо-голубых глаз давали к этому некоторый повод. Но в действительности это было не так. Под спокойным обличьем Гончарова укрывалось от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова — задумчивой лени и ленивого безделья — в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником. Его переписка могла бы составить целые томы, так как он поддерживал корреспонденцию с близкими знакомыми часто и аккуратно, причем письма его представляют прекрасные образцы того эпистолярного рода, который был привычен людям тридцатых и сороковых годов. Это была неторопливая беседа человека, который не только хочет подробно и искренно поделиться своими мыслями и чувствами и рассказать о том, что с ним происходит, но и вызвать своего собеседника рядом вопросов, участливого внимания и милых шуток на такое же повествование. Современный человек почти уже не знает подобных писем. Все свелось к деловой краткости и телефонному или, вернее, телеграфному стилю для того, что называется «констатированием фактов». Среди деловой суеты и нервномятущейся жизни всем стало некогда, и старый «обмен мыслей» заменился лаконичностью открытого письма. Один мой знакомый, большой поклонник того, что называется в искусстве l'élimination du superflu[1], даже проектировал шутя писание на открытках, отправляемых друзьям, родным и знакомым не по деловым поводам, одного лишь своего уменьшитель-

[1] Устранение излишнего *(фр.)*.

ного имени. Он рассуждал так: когда и откуда писано письмо — видно из штемпеля; что писавший думал об адресате — ясно из того, что он к нему пишет; из этого же видно, что он делал, когда изготовлял письмо; из того же видно, что он здоров, ибо только известие о серьезной болезни может тревожить близких людей, и, наконец, уменьшительное имя, привычное для них, должно указывать на неизменность и теплоту добрых отношений. Не таковы были письма Гончарова. Написанные мелким почерком, с массой приписок, они в своей совокупности рисовали Гончарова во всех проявлениях его сложной духовной природы и, конечно, стоили ему немалых труда и времени. Не говоря уже об обычном тяжелом и скучном труде цензора, который он выполнял со свойственной ему щепетильной добросовестностью, он много и внимательно читал, и отзывы его в беседах о выдающихся произведениях изящной, а иногда и научной литературы указывали на ту глубокую вдумчивость, с которой он не раз подвергал внутренней проверке прочитанное, прежде чем высказать о нем свое обоснованное мнение. Нужно ли затем говорить о его сочинениях, из которых главные написаны в двадцатилетний период, с 1847 по 1867 год, и составляют восемь неоднократно переработанных с начала до конца толстых томов?

Точно так же неверно представление о квиетизме Гончарова. Внешнее спокойствие, любовь к уединению шли у него рядом с глубокою внутреннею отзывчивостью на различные явления общественной и частной жизни. Разборчивый в друзьях и не очень податливый на поспешное сближение, он не торопился следовать нашей мало похвальной и приводящей к горьким разочарованиям привычке открывать чуть не каждому встречному свой внутренний мир. Он знал, что в храм своей души следует пускать посетителей с большою осмотрительностью, из боязни, чтобы, войдя туда с холодным любопытством, они не оставили там грязных следов и не набросали папиросных окурков. Не раз в последние годы своей жизни, сторонясь от новых и случайных знакомств, он многозначительно цитировал слова Пушкина: «А старость ходит осторожно и подозрительно глядит». Но к скорбям и радостям тех, в дружбу кого он уверовал, он умел относиться с живым сочувствием, со словом горячего и настойчивого ободрения, с деликатным участием оценивая и освещая их душевные переживания. В интимной дру-

жеской беседе он оживлялся и преображался. Молчаливый и скупой на слова в большом обществе, он становился разговорчив вдвоем, и его живое слово, образное и изящное, лилось свободно и широко. Но все шумное, назойливое, все имевшее плохо прикрытый характер допроса, его и раздражало, и пугало, заставляя быстро уходить в свою скорлупу и поспешно отделываться от собеседника общими местами. Активное участие в каких-либо торжествах всегда его страшило, и он отбивался от него всеми способами. Так уклонился он от участия в московских и петербургских празднествах, связанных с открытием в 1880 году памятника Пушкину в Москве, несмотря на то, что не менее Тургенева преклонялся перед великим поэтом и благоговел перед его памятью. Я не могу забыть одного из его воспоминаний, рассказанных им мне в том же 1880 году, во время одной из долгих вечерних прогулок по Рижскому взморью. «Пушкина я видел впервые,— говорил он,— в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его матовое, суженное внизу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос, врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи все: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений,— все сводилось к нему, все исходило от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником — «переводчиком» при министерстве внутренних дел. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал *он*. И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собою, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хо-

телось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери... Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: «Погас огонь на алтаре», но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить...»

В том же 1880 году, летом, члены рижского русского певческого и литературного общества «Баян» совершали свой обычный ежегодный праздничный выезд в Дуббельн и, пользуясь пребыванием в последнем Гончарова, П. Д. Боборыкина и меня, пригласили нас на свой праздничный обед с музыкой и речами. Иван Александрович был этим приглашением совершенно выбит из колеи, написал старшинам письмо, умоляя «пощадить и простить» его, утром в день выезда «Баяна» из Риги телеграфировал о том же, боясь, что заказное письмо могло не дойти, а когда на реке Аа показался украшенный флагами пароход с участниками «выезда», то, опасаясь, что его могут прийти уговаривать, поспешно ушел на берег моря и проскитался там один, пока пускавшиеся с отходившего обратно парохода ракеты не указали ему, что опасное для него торжество окончилось.

Когда возникла мысль о его литературном юбилее, Гончаров пришел в болезненное волнение, убедительно и настойчиво отговаривая всех, кто мог быть прикосновенен к организации этого празднования, оставить всякую мысль об этом, угрожая, в нарушение своего сложившегося житейского обихода, покинуть среди зимы Петербург и уехать, «куда глаза глядят», оставив юбилейное чествование без виновника торжества. Только после неоднократных попыток и с большим трудом удалось уговорить его принять самый тесный кружок его друзей по «Вестнику Европы», поднесших ему мраморные столовые часы с бронзовым изображением Марфиньки из «Обрыва» и воздержавшихся, щадя старика, от всяких приветственных речей. И этот же, как он сам себя называл, «угрюмый нелюдим» бывал жив, остроумен и даже весел, когда оставался вдвоем или в самом небольшом кружке. Таким я помню его во время долгих прогулок по берегу моря на рижском штранде и в Усть-Нарове, когда прелесть его ярких воспоминаний и рассказов заставляла его спутника забывать свою усталость. Между этими

воспоминаниями было много таких, которые не вошли во «Фрегат «Палладу». Живая наблюдательность искрилась в них; нежная любовь к русскому человеку и глубокое понимание его милых и оригинальных свойств проникали их. Особенно помнится мне его рассказ о наших матросиках, которые покатывались со смеху, указывая пальцами на голые колена двух неподвижно стоявших у одного из дворцов часовых в шотландском костюме, красных от гнева, но покорных дисциплине. «Что вы тут делаете? — спросил их Гончаров: — чему смеетесь?» — «Да ты посмотри, ваше благородие, королева-то им штанов не дала!». Или другой рассказ о том, как в окрестностях Капштадта, подойдя к кучке матросов, что-то любопытно разглядывавших, он увидел на ладони одного из них огромного скорпиона, тщетно силившегося пробить ядовитым хвостом толстый сплошной мозоль на ладони руки, привыкшей лазить по вантам. «Что ты? Брось! Брось! — воскликнул Гончаров: — он тебя до смерти укусит!» — «Укусит? — недоверчиво спросил матрос, презрительно скосив глаза на скорпиона: — Этакая-то сволочь? Тьфу!» — и он бросил скорпиона на землю и раздавил его необутой для прохлады ногой. Был между этими рассказами один, который, кажется, не оставил следа в истории Крымской войны по скромности и сдержанности участников. Когда в далеком Японском море адмиралом Путятиным было получено на «Палладе» известие об объявленной России Францией и Англией войне, он созвал к себе в каюту Посьета и, сколько мне помнится, Лесовского и, в присутствии Гончарова, связав их обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная невозможность для парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от него, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться.

Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими многолетними обедами вдвоем в «Hôtel de France», у Полицейского моста, и в кружке сотрудников «Вестника Европы» за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу вызывал особое внимание слушателей своими экскурсиями в область литературы или искусства. Скрестив перед собою пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск. Так продолжалось

многие-многие годы, но не без перерывов. Эти перерывы совпадали с приездами в Петербург Тургенева, во время которых Гончаров избегал бывать на обедах у Стасюлевича. Однажды, во время такого перерыва, на мой вопрос, когда же мы увидимся в Галерной, он с некоторым замешательством ответил: «Да вот все никак не могу собраться: все что-нибудь да помешает», и, очевидно, сознавая, что такое объяснение идет вразрез с его регулярной и размеренной жизнью, прибавил, помолчав: «Чеченец ходит за рекой».

Гончаров не любил вспоминать о своей внутренней жизни в прошлом, но из того, что он всегда описывал свою жизнь и то, что к ней прирастало, можно заключить, что он в полной мере испытал то чувство, которое возбуждали его Ольга и Вера, эти превосходные олицетворения того, что Гете называл das ewig Weibliche[1]. Едва ли он был мучеником своей любви, как Тургенев, или пережил какую-либо тяжелую в этом отношении драму... Он говорил, по крайней мере, что в словах пушкинского Мефистофеля, упрекающего Фауста за то, что «хитро так в деве простодушной он грезы сердца возбуждал», содержится поучительный завет всякому честному человеку. Но бури в этой жизни, без сомнения, были. Он называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по этому поводу слова Пушкина о «мучительных снах», повторяя: «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет». «После страстей,— писал он,— остается дым, смрад, а счастья нет! Воспоминания — один стыд и рванье волос. Страсть — несчастье. Ее надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе,— но она необходима в будничной, серой жизни, как гроза в природе. Это — другая жизнь среди жизни». Во всяком случае, когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое. Но сердце у него было нежное и любящее. Это был капитал, который не мог оставаться без употребления и должен был быть пущен в оборот. Человеку бывает нужно, необходимо уйти от тоски одиночества, от края мрачной пропасти глубокого разочарования в людях и в самом себе в какую-либо привязанность. Так случилось и с Гончаровым.

В течение многих лет у него служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и усердный курляндский уроженец. В конце шестидесятых годов

[1] Вечноженственное *(нем.)*.

он умер скоропостижно, и Иван Александрович, соболезнуя положению его вдовы с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, предоставив ей маленькое помещение через площадку лестницы своей квартиры, и заменил ею умершего ее мужа в домашнем услужении при своем маленьком хозяйстве старого холостяка. С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особенно к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за которым он следил с исключительным вниманием. Возможность дать им средства, чтобы подышать свежим воздухом и укрепить свои силы где-нибудь на даче или на берегу моря, сердечно радовала старика, которому в этом нередко помогали дочери его старого друга А. В. Никитенко. И в этой вполне бескорыстной привязанности Гончаров дошел до крайних пределов. Заботы о детях, их мысли, чувства, привычки, складывавшиеся особенности характера, шутливые и нежные прозвища, им даваемые, наполняли его жизнь, вплетались в его беседу. Внимание к ним, ласка Сани (так звали старшую из них) вызывали горячую благодарность с его стороны. Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни...

С половины восьмидесятых годов жизнь Гончарова пошла заметно на убыль, в особенности после того, как он ослеп на один глаз вследствие кровоизлияния, причинившего ему тяжкие до слез страдания. Он побледнел и похудел, почерк его стал хотя и крупнее, но неразборчивее, и он по целым неделям не выходил из своей малоуютной и темноватой квартиры на Моховой, в которой прожил тридцать лет. На летнее время далекий и любимый Дуббельн сменился более близкой Усть-Наровой, а затем и Петергофом: угасающего автора «Фрегата «Паллады» продолжало тянуть к морю. Но с тех пор, как смерть, очевидно, уже недалекая, простерла над ним свое черное крыло и своим дыханием помрачила его зрение и затем ослабила его слух, он просветлел духом и проникся ко всем примирением и прощением, словно не желая унести в недалекий гроб свой какие-либо тяжелые чувства. Он стал трогателен в своем несчастии и, выражаясь словами его любимого поэта, «прост и добр душой не-

злобной». В этом уединении, принимая только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем приголубленной им семьи, он ждал кончины со спокойствием усталого от жизни и верующего человека. «Я с умилением смотрю,— писал он мне в 1887 году,— на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенке в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго — и видят в жизни и над жизнью высоко только крест и евангелие, одному этому верят и на одно надеются... «Это глупые, блаженные»,— говорят мудрецы-мыслители. Нет...— это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных». В 1889 году с ним произошел легкий удар, от которого, однако, он оправлялся с трудом, а в ночь на 15 сентября 1891 г. он тихо угас, не перенеся воспаления легких. Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и, при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет! Я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил»...

На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла всем нам неизбежная *обыкновенная история,* его друзья — Стасюлевич и я — выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор *Обломова...* на краю *обрыва...* Но сегодня наша мысль переносится от этой могилы к колыбели Гончарова, и мы благодарим судьбу, зажегшую на небе русского слова и русской мысли светоч его великого дарования.

ТУРГЕНЕВ

В первый раз я близко встретился с Тургеневым в 1874 году, в один из его кратковременных приездов в Петербург. Его вообще интересовали наши новые суды, а затем особое его внимание остановил на себе разбиравшийся в этом году при моем участии, в качестве прокурора, громкий, по личности участников, процесс об убийстве помещика одной из северных губерний, соблазнившего доверчивую девушку и устроившего затем брак ее со своим хорошим знакомым, от которого он скрыл свои предшествовавшие отношения к невесте [...]

Переписка участников этой драмы, дневник жены и личность убийцы, обладавшего в частной и общественной жизни многими симпатичными и даже трогательными свойствами, представляли чрезвычайно интересный материал для глубокого и тонкого наблюдателя и изобразителя жизни, каким был Тургенев. Он хотел познакомиться с некоторыми подробностями дела и со взглядом на него человека, которому выпало на долю разбирать эту житейскую драму пред судом. Покойный Виктор Павлович Гаевский привел Тургенева ко мне в окружной суд и познакомил нас. Как сейчас вижу крупную фигуру писателя, сыгравшего такую влиятельную роль в умственном и нравственном развитии людей моего поколения, познакомившего их с несравненной красотой русского слова и давшего им много незабвенных минут душевного умиления,— вижу его седины с прядью, спускавшеюся на лоб, его милое, русское, мужичье, как у Л. Н. Толстого, лицо с которым мало гармонировало шелковое кашне, обмотанное по французскому обычаю вокруг шеи, слышу его мягкий «бабий» голос, тоже мало соответствовавший его большому росту и крупному сложению. Я объяснил ему все, что его интересовало в этом деле, прения по которому он признавал заслуживавшими перевода на французский язык, а затем, уже не помню по какому поводу, разговор перешел на другие темы. Коснулся он, между прочим, Герцена, о котором Тургенев говорил с особой теплотой. [...]

Когда Гаевский напомнил, что Иван Сергеевич хотел бы посмотреть самое производство суда с присяжными, я послал узнать, какие дела слушаются в этот день в обоих уголовных отделениях суда. Оказалось, что там, как

будто нарочно, разбирательство шло при закрытых дверях и что в одном рассмотрение дела уже кончалось, в другом еще продолжалось судебное следствие. Я повел Тургенева в это последнее отделение и, оставив его на минуту с Гаевским, вошел в залу заседания, чтобы попросить товарища председателя разрешить ему присутствовать при разборе дела. Но этот тупой формалист заявил мне, что это невозможно, так как Тургенев не чин судебного ведомства, и что он может дозволить ему присутствовать лишь в том случае, если подсудимый — отставной солдат, обвинявшийся в растлении 8-летней девочки,— заявит, что просит его допустить в залу, как своего родственника. В надежде, что Тургенев, вероятно, почетный мировой судья у себя в Орловской губернии, я обратился к нему с вопросом об этом, но получил отрицательный ответ. Мне, однако, трудно было этому поверить, и я послал в свой кабинет за списком чинов министерства юстиции, в котором, к великой моей радости и к не меньшему удивлению самого Тургенева, оказалось, что он давно уже почетный мировой судья и даже по двум уездам. Он добродушно рассмеялся, заметив, что это с ним случается не в первый раз и что точно так же он совершенно случайно узнал о том, что состоит членом-корреспондентом Академии Наук по Отделению русского языка и словесности. Я увидел в этом нашу обычную халатность: даже желая почтить человека, мы обыкновенно не умеем этого доделать до конца...

Введенный мною в «места за судьями» залы заседания, Тургенев чрезвычайно внимательно следил за всеми подробностями процесса. Когда был объявлен перерыв и судьи ушли в свою совещательную комнату, я привел туда Тургенева (Гаевский уехал раньше) и познакомил его с товарищем председателя и членами суда. В составе судей был старейший член суда, почтенный старик-труженик, горячо преданный своему делу, но, кроме этого дела, ничем не интересовавшийся. Он имел привычку брюзжать, говорить в заседаниях сам с собою и обращаться к свидетелям и участвующим в деле с вопросами, поражавшими своей неожиданной наивностью, причем вечно куда-то торопился, прерывая иногда на полуслове свою отрывистую речь. «Позвольте вас познакомить с Иваном Сергеевичем Тургеневым,— сказал я ему и прибавил, обращаясь к нашему гостю,— а это один из старейших членов нашего суда NN». Тургенев любезно про-

тянул руку, мой «старейший» небрежно подал свою и сказал, мельком взглянув на Тургенева: «Гм! Тургенев? Гм! Тургенев? Это вы были председателем казенной палаты в... — и он назвал какой-то губернский город.— «Нет, не был»,— удивленно ответил Тургенев.— «Гм! А я слышал об одном Тургеневе, который был председателем казенной палаты».— «Это наш известный писатель»,— сказал я вполголоса.— «Гм! Писатель? Не знаю...» — и он обратился к проходившему помощнику секретаря с каким-то поручением.

В следующий приезд Тургенева я встречал его у М. М. Стасюлевича и не мог достаточно налюбоваться его манерой рассказывать с изящной простотой и выпуклостью, причем он иногда чрезвычайно оживлялся.

Я помню его рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при Пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его «Стихотворений в прозе»: «Стой! Каким я теперь тебя вижу, останься навсегда в моей памяти!» Это желание, по-видимому, ощутил сильнее всех сам хозяин и тотчас же привел его в исполнение зависящими от него способами. Он немедленно увел рассказчика в свой кабинет и запер его там, объявив, что не выпустит его, покуда тот не напишет все, что рассказал. Так произошла статья Тургенева: «О Пергамских раскопках», очень интересная и содержательная, но, к сожалению, все-таки не могущая воспроизвести того огня, которым был проникнут устный рассказ. Раза два, придя перед обедом, Тургенев посвящал небольшой кружок в свои сновидения и предчувствия. Это были целые повествования, проникнутые по большей части мрачной поэзией, за которою невольно слышался, как и во всех его последних произведениях, а также в старых — «Призраках» и «Довольно» — ужас перед неизбежностью надвигающейся смерти. В его рассказах о предчувствиях большую роль, как и у Пушкина, играли «суеверные приметы», к которым он очень был склонен, несмотря на свои пантеистические взгляды.

Зимою 1879 года Тургенев был проездом в Петербурге и жил довольно долго в меблированных комнатах на углу тогдашней Малой Морской и Невского. Старые, односторонние, предвзятые и подчас продиктованные личным нерасположением и завистью, нападки на автора «Отцов и детей», вызвавшие у него крик души в его «Довольно», давно прекратились, и снова симпатии всего, что было лучшего в русском мыслящем обществе, обратились к нему. Особенно восторженно относилась к нему молодежь. Ему приходилось убеждаться в заслуженном внимании и теплом отношении общества почти на каждом шагу, и он сам с милой улыбкой внутреннего удовлетворения говорил, что русское общество *его простило*. В этот свой приезд он очень мучился припадками подагры и однажды просидел несколько дней безвыходно в тяжелых страданиях, к которым относился, впрочем, с большим юмором, выгодно отличаясь в этом отношении от многих весьма развитых людей, которые не могут удержаться, чтобы прежде всего не нагрузить своего собеседника или посетителя целой массой сведений о своих болезненных ощущениях, достоинствах врачей и качествах прописанных медикаментов. Придя к нему вместе с покойным А. И. Урусовым, мы встретили у него Салтыкова-Щедрина и присутствовали при их, поразившей нас своей дипломатичностью, беседе, что так мало вязалось с бранчивой повадкой знаменитого сатирика. Было очевидно, что есть много литературных, а может быть, и житейских вопросов, по которым они резко расходились во мнениях. Но было интересно слышать, как они оба тщательно обходили эти вопросы не только сами, но даже и тогда, когда их возбуждал Урусов.

В конце января этого года скончался мой отец — старый литератор тридцатых и сороковых годов и редактор-издатель журнала «Пантеон»,— главным образом посвященного искусству и преимущественно театру, вследствие чего покойный был в хороших отношениях со многими выдающимися артистами того времени. В бумагах его, среди писем Мочалова, Щепкина, Мартынова и Каратыгина, оказался большой дагерротипный портрет Полины Виардо-Гарсия с любезною надписью. Она изображена на нем в костюме начала пятидесятых годов, в гладкой прическе с пробором посредине, закрывающей наполовину уши, и с «височками». Крупные черты ее некрасивого лица, с толстыми губами и энергическим подбородком,

тем не менее привлекательны, благодаря прекрасным большим тёмным глазам с глубоким выражением. Среди этих же бумаг я нашел стихотворение забытого теперь поэта Мятлева, автора «Сенсаций госпожи Курдюковой дан лентранже» [1], пользовавшихся в свое непритязательное время некоторой славой и представляющих скучную, в конце концов, смесь «французского с нижегородским». В таком же роде было и это его стихотворение, помеченное 1843 годом. Вот оно:

Что за вер-до, что за вер-до,—
Напрасно так певицу называют.
Неужели не понимают,
Какой небесный в ней кадо? [2]
Скорее слушая сирену,
Шампанского игру и пену,
Припомним мы. Так высоко
И самый лучший вёв Клико [3]
Не залетит, не унесется,
Как песнь ее, когда зальется
Соловушкою.— Э, времан [4],
Пред ней водица и Креман!
Она в Сомнамбуле, в Отелло —
Заткнет за пояс Монтебелло,
А про Моет и Силлери
То даже и не говори!

По времени оно относилось к тем годам, когда впервые появилась на петербургской оперной сцене Виардо и когда с нею познакомился Тургенев, сразу подпавший под обаяние ее чудного голоса и всей ее властной личности. Восторг, ею возбуждаемый в слушателях, нашел себе выражение в приведенных стихах Мятлева, но для массы слушателей Виардо он был, конечно, преходящим, тогда как в душу Тургенева этот восторг вошел до самой сокровенной ее глубины и остался там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого «однолюба» и, быть может, в некоторых отношениях исказив то, чем эта жизнь могла бы быть. Несомненно, что описание Тургеневым внезапно налетевшей на некоторых из его героев любви, вырвавшей, подобно буре, из сердца их слабые ростки других чувств,— и те скорбные, меланхолические ноты, которые

---

[1] За границей (*фр.*).
[2] Дар (cadeau — *фр.*).
[3] «Вдова (veuve — *фр.*) Клико» — знаменитая в то время марка шампанского.
[4] Eh vraiment — и поистине (*фр*).

звучат в описаниях душевного состояния этих героев в «Вешних водах», «Дыме» и «Переписке», имеют автобиографический источник. Недаром он писал, в 1873 году, госпоже Комманвиль: «Votre jugement sur «Les Eaux du Printemps» est parfaitement juste; quant à la seconde partie, qui n'est ni bien motivée, ni bien nécessaire, je me suis laissé entraîner par des souvenirs» [1]. Замечательно, что более чем через 35 лет после первых встреч с Виардо — в сентябре 1879 года — Тургенев начал одно из своих чудных «стихотворений в прозе» словами: «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною; но первый стих остался у меня в памяти: «Как хороши, как свежи были розы». Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча; я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит: «Как хороши, как свежи были розы». Оказывается, что забытое Тургеневым и слышанное им *где-то* и *когда-то* стихотворение принадлежало Мятлеву и было напечатано в 1843 году под названием «Розы». Вот начальная строфа этого произведения, звучавшая чрез три с половиной десятилетия своим первым стихом в памяти незабвенного художника, вместе с Мятлевым восхищавшегося Виардо-Гарсией:

«Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!»

В этот свой приезд Тургенев снова часто бывал у М. М. Стасюлевича и много рассказывал с большим оживлением и жизненной бодростью в голосе и взоре. Выше всех и краше всего для него был Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилением, приводя обширные цитаты и комментируя их с особой глубиной и оригинальностью. В этом сходился он с Гончаровым, который также благоговел перед Пушкиным и знал наизусть не только множество его стихов, но и выдающиеся места его прозы. На почве преклонения перед Пушкиным произошел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Ка-

[1] Ваше суждение о «Вешних водах» совершенно справедливо, что же касается второй части, недостаточно обоснованной и не вполне необходимой, то я позволил себе увлечься воспоминаниями *(фр.)*.

велина ропщущий, негодующий и страдающий Лермонтов был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова. Он с любовью останавливался на указаниях Пушкина на источники и условия поэтического творчества, поражался их верностью и глубиной и с восторгом цитировал изображение Пушкиным прилива вдохновения, благодаря которому душа поэта становится полна «смятения и звуков». В словах его с очевидностью звучало, что и он в своем творчестве не раз испытал такое смятение.

Почти всегда в бодром настроении духа, он бывал в это время неистощим в рассказах из своей жизни и своих наблюдений. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города — кажется, Обояни или Мценска — вместе с известным по «Запискам охотника» Ермолаем, он встретил одного из местных мещан, которому Ермолай поклонился, как знакомому. «Что это,— спросил Тургенев, когда тот прошел мимо,— лицо-то у него как расцарапано, даже кровь сочится!» — «И впрямь! — ответил Ермолай,— спросить надо. Эй! Семеныч, подожди малость!» И когда они оба подошли к остановившемуся, то Ермолай сказал ему: «Что это у тебя лик-то какой: весь в царапинах?» Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, вразумительным тоном сказал: «Жена встретила!» В другой раз, описывая свое студенческое житье в Петербурге, Тургенев, с удивительной живостью подражая голосу своей квартирной хозяйки-немки, передавал, как она, слушая его ропот на судьбу, не баловавшую его получением денег из отчего дома, говаривала ему: «Эх, Иван Сергеевич, не надо быть грустный, man soll nicht traurig sein; жисть — это как мух: пренеприятный наксеком! Что делайт! Тэрпэйт надо!»

Когда настал день отъезда Тургенева, то, желая доставить ему удовольствие и в то же время избавить его от каких-либо личных объяснений, я послал ему портрет Виардо, принадлежавший моему отцу. Но он успел мне ответить. «Любезнейший Анатолий Федорович! — писал он мне 18 марта 1879 г.,— я не хочу уехать из России, не поблагодарив вас за ваш для меня весьма драгоценный подарок. Дагерротип моей старинной приятельницы, пере-

носят меня за тридцать лет назад, оживляет для меня то *незабвенное* время. Примите еще раз мое искреннее спасибо. Позвольте дружески пожать вашу руку и уверить вас в чувствах неизменного уважения преданного вам Ив. Тургенева».

Летом того же года мне пришлось быть в Париже одновременно с М. М. Стасюлевичем и его супругой. Тургенев жил в это время там (Rue de Douai, № 4), и Стасюлевич пригласил нас обоих завтракать к Вуазену, где готовили каких-то особенных куропаток, очень расхваливаемых Иваном Сергеевичем. Было условлено, что я заеду за Тургеневым, и мы вместе в назначенный час приедем к Вуазену. На мой звонок мне отворил весьма неприветливый concièrge[1] и, узнав мою фамилию, указал мне на верхний этаж, куда вела лестница темного дерева с широким пролетом в середине, и отрывисто сказал мне: «Vous êtes admis»[2]. Проходя мимо дверей того этажа, который у нас называется бельэтажем, я услышал за ними чей-то довольно резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, прерываемые по временам чьими-то замечаниями. Наверху меня встретил Иван Сергеевич и ввел в свое помещение, состоявшее из двух комнат. На нем была старая, довольно потертая бархатная куртка. Царившая в комнатах «оброшенность» неприятно поразила меня. На маленьком закрытом рояле и положенных на него нотах лежал густой слой пыли. Штора старинного прямого образца одним из своих верхних углов оторвалась от палки, к которой была прикреплена, и висела поперек окна, загораживая отчасти свет, очевидно, уже давно, так как и на ее складках замечался такой же слой пыли. Расхаживая, во время разговора с хозяином, по комнате, я не мог не заметить, что в соседней небольшой спальне все было в беспорядке и не убрано, несмотря на то, что был уже второй час дня. Мне невольно вспомнился стих Некрасова: «Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен» ...Видя, что оживленная беседа с Тургеневым, очень интересовавшимся событиями и ходом дела на родине, может нас задержать, я напомнил ему, что нас ждут. «Да, да,— заторопился он,— сейчас я оденусь!» — и через минуту вошел в темно-сером пальто из какой-то материи, напоминавшей толстую парусину. Продолжая говорить, он хотел застегнуться и машиналь-

---

[1] Привратник *(фр.)*.
[2] Вас примут *(фр.)*.

но искал пуговицу, которой уже давно на этом месте не было. «Вы напрасно ищете пуговицу,— заметил я, смеясь,— ее нет!» — «Ах! — воскликнул он,— и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую»,— и он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступавшая наружу подкладка. Он добродушно улыбнулся и, махнув рукою, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать. Когда, спускаясь с лестницы, мы стали приближаться к дверям бельэтажа, за ними раздались звуки сильного контральто, тоже, как казалось, передававшие какое-то вокальное упражнение. Тургенев вдруг замолк, шепнул мне: «Ш-ш!» — и сменил свои тяжелые шаги тихой поступью, а затем остановился против дверей, быстрым движением взял меня ниже локтя своей большою, покрытой редкими черными волосами рукою и сказал мне, показывая глазами на дверь: «Какой голос! До сих пор!» Я не могу забыть ни выражения его лица, ни звука его голоса в эту минуту: такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выражались в них... За завтраком он был очень весел, много рассказывал о Золя и о Додэ и ядовито подсмеивался над первым из них, когда я обратил его внимание на то, что одна из последних корреспонденций Золя в «Вестнике Европы» о наводнениях в долине Луары есть в сущности повторение того, что рассказано автором в одном из ранних его произведений в «Contes à Ninon», под названием «Histoire du grand Méderic». «Да, да,— сказал он,— Золя не прочь быть именинником и на Онуфрия и на Антона!» Под конец наша собеседница как-то затронула вопрос о браке и шутливо просила Тургенева убедить меня наложить на себя брачные узы. Тургенев заговорил не тотчас и как бы задумался, а потом поднял на меня глаза и сказал серьезным и горячим тоном: «Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе, как милостыню, и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!» Все это было сказано с таким плохо затаенным страданием, что мы невольно переглянулись. Тургенев это заметил и вдруг стал собираться уходить, по-видимому, недовольный вырвавшимся у него за-

явлением. Мы стали его удерживать, но он сказал: «Нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь m-me Viardot больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку». И, запахнув свое пальто, он торопливо распростился с нами и ушел. Впоследствии, просматривая его письма к Флоберу и прочитав письмо от 17 августа 1877 г., где говорится: «Caen? pourquoi Caen? direz-vous, mon cher vieux. Que diable veut dire Caen! Ah, voilà! Les dames de la famille Viardot doivent passer quinze jours au bord de la mer, soit à Luc, soid à St. Aubin, et l'on m'a envoyé en avant pour trouver quelque chose» [1],— я вспомнил слова Тургенева за нашим завтраком.

Лет двенадцать тому назад я передал свои впечатления от этой встречи с Тургеневым покойному Борису Николаевичу Чичерину, и он вспомнил, что однажды при нем и при Тургеневе, в первой половине шестидесятых годов, зашел разговор о необходимости выходить из фальшивых положений, оправдывая тем изречение Александра Дюма-сына: «On traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans» [2].— «Вы думаете?! — с грустной иронией воскликнул Тургенев,— из фальшивых положений не выходят! Нет-с, не выходят! Из них выйти нельзя!»...

В последний раз я видел его в Москве, в июне 1880 года, на открытии памятника Пушкину. Это открытие было одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но во всяком случае более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха —и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Мне пришлось в нем участвовать в качестве представителя Петербургского юридического общества и

---

[1] «Кан? Почему Кан? — спросите вы, мой дорогой старина? Что означает, черт возьми, этот Кан? Ну, вот! Дамы из семейства Виардо должны провести пятнадцать дней на берегу моря, в Люке или в Сент-Обене — и меня послали вперед подыскать что-нибудь подходящее» *(фр.)*.

[2] «Из ложного положения выходят, в нем не остаются» *(фр.)*.

начать испытывать прекрасные впечатления, им вызванные, с самого момента выезда в Москву. Дело в том, что открытие памятника было первоначально назначено на 26 мая, но смерть императрицы Марии Александровны заставила отнести это открытие на 2 июня, а какое-то недоразумение при вторичном докладе о том председателя комиссии по сооружению памятника, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, вызвало новую отсрочку до 6 июня. Между тем управление Николаевской железной дороги объявило об отправлении экстренного удешевленного поезда в Москву и обратно для желающих присутствовать при открытии памятника. К 24 мая на поезд записалась масса народу. Когда последовала отсрочка, большинство тех, кого поездка интересовала исключительно своею дешевизной, а в Москву привлекали личные дела, отказалось от взятия записанных на себя билетов, хотя все-таки осталось довольно много желавших ехать. Но после второй отсрочки записавшимися на поезд оказались исключительно ехавшие для участия в открытии памятника. Поэтому поезд, отправившийся из Петербурга 4 июня в четыре часа, носил совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие видные представители литературы и искусства и депутаты от различных обществ и учреждений. Общность цели скоро сблизила всех в одном радостном ощущении того, что впоследствии А. Н. Островский назвал в своей речи «праздником на нашей улице». Хорошему настроению соответствовал прекрасный летний день, сменившийся теплым и ясным лунным вечером. В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в длинном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании «Фауста», «Скупого рыцаря», отрывков из «Медного всадника», писем и объяснений Онегина и Татьяны, «Египетских ночей», диалога между Моцартом и Сальери. Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину вагона выступил Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднеств и начинавшееся словами: «Пушкин — это старой няни сказка». За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением ad

hoc[1],— и все мы встретили, после этого поэтического всенощного бдения, восходящее солнце растроганные и умиленные.

В день приезда в Москву последовал торжественный прием депутаций в зале городской думы и чтение адресов и приветствий, причем вследствие того, что Юридические общества прислали представителей, не озаботясь снабдить их адресами, я прочел петербургский адрес, как приветствие от *всех* русских Юридических обществ, в группе представителей которых общее внимание привлекала доктор прав Лейпцигского университета Анна Михайловна Евреинова. На другой день, с утра, Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания: городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и, под восторженные крики «ура» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков.

Через час, в обширной актовой зале университета, наполненной так, что яблоку было негде упасть, состоялось торжественное заседание. На кафедру взошел ректор университета, Н. С. Тихонравов, и с обычным легким косноязычием объявил, что университет, по случаю великого праздника русского просвещения, избрал в свои почетные члены председателя комиссии по сооружению памятника, академика Якова Карловича Грота и Павла Васильевича Анненкова, так много содействовавшего распространению и критической разработке творений

[1] К данному случаю *(лат.)*.

Пушкина. Единодушные рукоплескания приветствовали эти заявления. «Затем,— сказал Тихонравов,— университет счел своим долгом просить принять это почетное звание нашего знаме...», но ему не дали договорить Точно электрическая искра пробежала по зале, возбудив во всех одно и то же представление и заставив в сердце каждого прозвучать одно и то же имя. Неописуемый взрыв рукоплесканий и приветственных криков внезапно возник в обширной зале и бурными волнами стал носиться по ней. Тургенев встал, растерянно улыбаясь и низко наклоняя свою седую голову с падающею на лоб прядью волос. К нему теснились, жали ему руки, кричали ему ласковые слова и, когда до него, наконец, добрался министр народного просвещения Сабуров и обнял его, утихавший было шум поднялся с новой силой. В лице своих лучших представителей русское мыслящее общество как бы венчало в нем достойнейшего из современных ему преемников Пушкина. Лишь появившийся на кафедре Ключевский, начавший свою замечательную речь о героях произведений Пушкина, заставил утихнуть общее восторженное волнение.

В тот же день на обеде, данном городом членам депутаций, произошел эпизод, вызвавший в то время много толков. На обеде, после неизбежных тостов, должны были говорить Аксаков и Катков. Между представителями петербургских литературных кругов стала пропагандироваться мысль о демонстративном выходе из залы, как только начнет говорить редактор «Московских ведомостей», в это время уже резко порвавший с упованиями и традициями передовой части русского общества и начавший свою пагубную проповедь исключительного культа голой власти, как самодовлеющей цели, как власти an und für sich [1]. Но когда, после красивой речи Аксакова, встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — никто не только не ушел, но большинство — временно примиренное — двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого, перед тем, он допустил жестоко «изобличать» и язвить на страницах своей газеты за денежную помощь, оказанную им бедствовавшему Бакунину. Тургенев отвечал легким на-

[1] В себе и для себя *(нем.)*.

клонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бакал ладонью руки. После обеда я подошел к Тургеневу одновременно с поэтом Майковым. «Эх, Иван Сергеевич,— сказал последний с мягким упреком,— ну, зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!» — «Ну, нет,— живо отвечал Иван Сергеевич,— я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!»

Вечером, в зале дворянского собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли пред горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навыкате, Писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, чтобы особенно искусно, «Последнюю тучку рассеянной бури», но на третьем стихе запнулся, очевидно, его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе, и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева,— весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками «браво». На следующий день, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в том же дворянском собрании, Иван Сергеевич читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый накануне памятник, простой русский чело-

век ответит: «Учителю!» — снова вызвали бурную овацию[...]

С этих пор я больше не видел Тургенева, но получал от него из Парижа поклоны через М. М. Стасюлевича. Он разрешил последнему показать мне осенью 1882 года в рукописи «Стихотворения в прозе». Среди них были ненапечатанный тогда «Порог» (разговор Судьбы с русской девушкой) и полная добродушного юмора вещица, кончавшаяся словами: «но не спорь с Владимиром Стасовым», шумным и яростным спорщиком, приводившим Тургенева в отчаяние своими нападками на Пушкина. Она, сколько мне известно, не была никогда напечатана, а «Порог» Тургенев сам просил Стасюлевича выкинуть, говоря в своем письме: «Чрез этот «Порог» вы можете споткнуться... особенно если его пропустят, а потому лучше подождать». Рукопись дана была мне поздно вечером, и я провел всю ночь, читая и несколько раз перечитывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему более удивляться,— могучей ли прелести русского языка, или яркости картин и трогательной нежности образов. Я высказал все это в письме к Стасюлевичу, выразив лишь сомнение, правильно ли в «Конце света» употреблено слово «круч» вместо «круча», а он, как оказалось, послал мое письмо в подлиннике Тургеневу. «Спасибо за сообщенное мне письмо К.,— писал ему 25 октября 1882 года Иван Сергеевич.— Очень оно меня тронуло, и я буду хранить его, как документ. И «круч» — и «круча» существуют; но круча, я думаю, грамматически правильнее».

Менее чем через год Иван Сергеевич опочил, после тяжких страданий, а 27 сентября 1883 г. грандиозная похоронная процессия с венками и эмблемами с трогательными, благодарственными надписями проводила его дорогой прах на Волково кладбище и опустила в землю в том месте, где через два года упокоился и Кавелин[...]

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Когда, по случаю исполнившегося 25-летия со дня смерти и 90-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, Академия Наук возложила на меня обязанность сказать слово в память покойного писателя, я был в немалом затруднении. Что можно сказать нового о художнике слова, который был не только глубоким выразителем дум, чувств и надежд русского человека, но и обаятельным изобразителем его быта, его душевных свойств и той серой, но милой сердцу природы, среди которой ему приходится жить?! Не все ли по этому поводу уже сказано в отдельных очерках, целых лекциях, курсах и критических статьях? И можно ли вообще что-либо прибавить к оценке, сделанной на одре болезни знаменитым Тэном, который, ввиду уже близкой смерти, находил наслаждение в слушании повестей Тургенева и определял его как художника, наиболее совершенного между теми, кто писал после греков,— с которым никто не может сравниться в строгом выборе материала, в правильности и скульптурной красоте форм, причем каждая из его маленьких повестей напоминает безупречную античную камею? Можно бы, пожалуй, разработать вопросы об отношении Тургенева к нашей текущей жизни и о том, в чем состоят и чем являются для нас его нравственные заветы. Но эта задача выпала на долю моего товарища по Академии Н. А. Котляревского, и мы только что слышали, как тонко и вдумчиво он ее осуществил. Одно обстоятельство выводит меня, однако, из затруднения. Перелистывая письма Тургенева к Некрасову, я нахожу между ними, в относящихся к первой половине пятидесятых годов, письмо с вопросом Тургенева редактору «Современника» о том, кто такой автор «Детства и отрочества» и что за человек тот Л. Н. Т., к которому следует отнестись с особенным вниманием, потому что это — «талант надежный» А в 1847 году Гоголь пишет Анненкову: «Изобразите мне портрет Тургенева, чтобы я получил о нем понятие, как о *человеке;* как писателя, я уже отчасти его знаю· сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем». Вот — и выход из моего раздумья. Можно попробовать установить представление о Тургеневе, как о личности, заглянуть в его душевный мир и в его отраже-

ние на окружающей общественной среде, т. е. взглянуть на Тургенева как на человека в частной жизни и в работе на пользу родине.

Для этого в нашем распоряжении довольно много материала: прежде всего автобиографические данные, содержащиеся в сочинениях Тургенева,— затем различные воспоминания о нем,— его письма, болтливые рассказы *друзей* и отзывы *врагов*. Последних у Тургенева было немало, что и понятно относительно человека с таким дарованием, которое не могло не возбуждать зависти и злоречия. Притом — как сказал князю Вяземскому Киселев — «человек ведь не червонец, чтобы его *все любили*». Еще Пушкин верно заметил, что «ум, любя простор,— теснит» — и «пылких душ неосторожность самолюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит». Это действие ума и пылкой души простирается иногда не на одну ничтожность, так как узкое и мелкое самолюбие, к несчастию, бывает свойственно и очень крупным людям. Мягкий и доверчивый по характеру и образу действий, Тургенев, однако, не поступался своими искренними убеждениями и серьезно выработанными взглядами и не склонял свою выю без критики перед теми, кто претендовал на общее признание. Он не был никогда «жрецом минутного, поклонником успеха». Недаром его очень часто изображают в воспоминаниях — оживленно спорящим, и нередко в ироническом тоне. Логические и нравственные уродливости в людях, встречаемых им на жизненном пути, воспринятые его впечатлительным умом, выливались у него в форму насмешливых прозвищ, эпиграмм и крылатых словечек, которые затем с поспешным злорадством разносились разными дружественными вестовщиками по адресу. В этом отношении Тургенев мог сказать про себя словами русской поговорки: «Язык мой — враг мой» — и не в том смысле, как это говорил про себя один чиновник, блестящая карьера которого была испорчена вследствие опалы, постигшей его принципала. «Уста мои — враги мои!» — восклицал он в горести, а на недоумевающий вопрос вразумительно отвечал: «Тридцать лет *не ту* руку лобызали» . От мстительной оценки и необоснованных укоров со стороны врагов теперь почти ничего и не осталось, кроме воспоминаний об упорной подозрительности Гончарова, развившейся на почве болезненного настроения, и нескольких страниц в «Бесах» Достоевского, имеющих вид злобного памфлета, не делающего чести его великому автору.

Но зато *друзья* вполне осуществляли по отношению к Тургеневу испанскую поговорку: «Избави меня бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Ему мало приходилось от них слышать слов одобрения и ободрения в трудные минуты жизни, когда так нужно бывает найти дружескую опору. Изящное определение дружбы, сделанное Шиллером: «O Du! Du die alle Wunden heilest, der Freundschaft zarte, liebe Hand» [1], далеко не вполне было применимо к Тургеневу. Его *заграничные* друзья были скорее приятелями, не имея с ним ни общего прошлого, ни языка, ни пережитого, а его *русские* друзья... их рука подчас бывала совсем не нежной и не только не залечивала душевных ран, но с холодным любопытством копалась в них и «к первее наложенным» прилагала новые раны, с торопливым участием и словами бесплодного негодования сообщая о всем том, что способно было больно уязвить душу писателя. Конечно, были исключения, но даже лучшие из друзей «разъясняли» ему менторским тоном недостатки и промахи в его произведениях, наводя этим его на напрасные сомнения в себе. Таков, например, был тот из лучших его друзей, который находил, что удивительная по отделке, цельности и жизненности глава о «Фимушке и Фомушке» в «Нови» заставляет чувствовать напряжение, излишек головной работы, даже робость и должна быть признана неуместной, с чем смиренно соглашался обескураженный Тургенев. Экспансивный и доверчивый по натуре, Тургенев легко и, по-видимому, поспешно завязывал отношения близкой дружбы с людьми, которые не всегда этого стоили, очевидно, забывая, что слишком тесная дружба с теми, с кем не съедено пуда соли, бывает похожа на тонкую и хорошую гравюру, которую слишком часто держишь в руках, захватывая ее борты пальцами и незаметно портя ее первоначальную красоту. В приливах незаслуженной откровенности Тургенев не щадил себя и даже любил изображать себя в смешном виде или затруднительном положении. Он забывал совет Талейрана: «Никогда не говори о себе дурно: друзья и без того достаточно о тебе наговорят». Вследствие этого «друзья» зачастую судили его не по возвышенным минутам проявления его духовной природы, а по мелочам, промахам и настроениям ежедневности. Не только Головачева-Панаева, сводившая с ним,

[1] О, ты! Ты, которая исцеляешь все раны, нежная, милая рука дружбы (*нем.*).

в недостоверных по самой своей форме воспоминаниях, счеты уязвленного и озлобленного самолюбия, но и Анненков, и даже Фет, мемуары которого представляют удивительное смешение идеалов Скалозуба с истинной поэзией — и тихой грусти крепостника о невозвратном с философскими афоризмами,— не щадят его. Когда сопоставляешь такие воспоминания с полными трогательной откровенности письмами Тургенева к их авторам, то невольно приходит на ум тот умудренный жизнью человек, который подписывал свои письма словами *«преданный Вам...»,* объясняя опущение твердого знака тем, что до поры, до времени он обыкновенно не знает, предан ли он тому, *кому* пишет, или предан *тем,* кому пишет.

Драгоценный материал для суждения о Тургеневе дают его письма. В них не только сказывается великий русский писатель со своими печалями и страданиями, с отношением к родине, к жизни и смерти, к искусству и творчеству и, наконец, к самому себе и друзьям, но и блестит его юмор и тихо светится задушевная грусть, сопровождавшая его, по-видимому, всю жизнь. Тут нет ничего сочиненного или придуманного, нет присущего пишущим для публики самолюбования и желания выразиться поумней и покрасивей.

Это совершенно интимные письма, набросанные наскоро и переполненные множеством подробностей, не имеющих никакого общего интереса или значения. В них Тургенев, говоря о том или другом, незаметно для себя *свидетельствует* о самом себе.

Говоря об общественной деятельности или, вернее, об общественных заслугах Тургенева, невольно приходится остановиться на его детстве и ранней молодости. Они были очень тяжелы, без теплого привета, без ласки и внимательного отношения к восприимчивой душе ребенка и к впечатлительному сердцу отрока. Он имел полное право сказать словами Некрасова: «Ничем я в детстве не пленен — и никому не благодарен!» В карамазовской до известной степени обстановке помещичьей усадьбы в Спасском-Лутовинове царила жестоко и всевластно мать Тургенева, невольное воспоминание о которой сквозит в его словах о помещице в «Муму»: «День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи».

Отец писателя «красавец-мужчина», поправивший свои дела женитьбой на богатой некрасивой девушке,

был человек равнодушный ко всему и в том числе к детям. Ограничась относительно их ролью чистокровного производителя, он покорно склонял свою выю под иго жены. Его совершенно обезличила и обезволила эта женщина — обездоленная, обозленная, мстительная, виртуозная по части жестоких оскорблений подвластным — будут ли это дети или дворовые — и сводившая на измученной и подавленной душе и на спине своих крепостных свои счеты с судьбою, пославшей ей угрюмую и тяжелую молодость. Бесхитростные воспоминания Житовой содержат ряд картин, рисующих то утонченное сладострастие мучительства окружающих, которым она вознаграждала себя за отсутствие любви и ласки в молодости. Крепостное право отражалось не на одних крестьянах: оно наносило удары и вверх, и в стороны, принижая одних, растлевая других, оскорбляя третьих. К последним принадлежал Тургенев. Ежедневные мелкие и крупные злоупотребления помещичьей властью оставляли в его душе незаживавшие нравственные рубцы и, наконец, переполнили его сердце праведным гневом. Этот гнев нашел себе могучего союзника в великом таланте писателя и помешал ему, подобно многим из его современников, искать утешения в философской формуле, что «все существующее разумно» или отдаться безмятежному служению «чистому искусству». Сквозь «шепот, робкое дыханье» ему слышались заглушенные рыдания и стоны людей, обращенных в вещи, которыми можно торговать и уплачивать карточные долги. Поэтому, когда он стал «и звуков и смятенья полн», это смятение вызывалось в нем не «трелями соловья и серебром и колыханием сонного ручья», а созерцанием рабского ига, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия, а звуки эти были голосом сильнейшего негодования. Объясняя свое раннее (в 1847 г.) *бегство* за границу, Тургенев сам говорит: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва».

Но вопрос о готовности на эту борьбу писателя теми чудными средствами, которые были даны ему судьбою, влек за собою другой: «*Как* бороться?» Крепостное право, несмотря на свое безобразие, было не только одним из «устоев» современного ему общественного устройства, имевшим по своему значению право войти в качестве четвертого члена в пресловутую трехчленную формулу Уварова, но представлялось глубоким бытовым и органическим явлением. Оно было сильно не только само по себе, но и помощью неожиданных союзников извне. Если нельзя считать серьезными и искренними предположения об его уничтожении со стороны Александра I в те минуты, когда «сфинкс, неразгаданный до гроба», начинал сентиментально «любить человечество» и после того, как, заступившись за *черных* невольников на Лондонском конгрессе, вспомнил, что и у него в России существуют *белые* невольники,— то совсем нельзя того же сказать про императора Николая I. Последний искренне желал освободить Россию от позора, который, как бы в насмешку над справедливостью, носил название *права.* «Я не понимаю,— говорил он,— каким образом *человек* сделался *вещью,* и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством — с другой. Этому должно положить конец!» Он ясно сознавал тот вред материальный и нравственный, который причиняла всему государственному организму такая внутренняя язва. Но общее настроение окружающих, возросших среди беззаботных выгод и удобств дарового труда,— раболепные уверения, что все обстоит и будет еще долго обстоять благополучно,— наряду с искусственно преувеличенными опасениями, высказываемыми со смелостью своекорыстия,— и, наконец, в особенности, тревожные впечатления, вызванные неожиданным внешним союзником крепостного права — западноевропейскими событиями 1848 и 1849 гг.,— парализовали волю монарха, окутывая ее сомнениями и колебаниями. Он, всегда уверенный в своей силе и властный, не только избегал решительных мер в борьбе с рабовладением, но и не высказывался вполне определенно об *упразднении* крепостного права, говоря обыкновенно с доверенными лицами лишь о его *преобразовании.* Несомненно, что он *желал* видеть Россию освобожденною от крепостного ига, но *захотеть* этого и в таком смысле проявить прямо и бесповоротно свою волю — не находил в себе решимости.

Поэтому все его царствование прошло в отдельных мерах, обсуждение которых было обставлено строжайшею «келейностью» и которыми предполагалось достигнуть *смягчения* не совместимого ни с человеческим, ни с государственным достоинством порядка. Но ничего цельного, пролагающего новые пути для народной жизни, сделано не было. Со своими великодушными желаниями государь был почти совершенно одинок среди сплотившихся вокруг него заступников существующего крепостного строя. Поэтому нападать на крепостное право, рисуя обратную сторону, т. е. глубокое бесправие массы и широкое поле для возможности злоупотреблений, было бесполезно; обращаться к уму читателей и к тому, что составляет fundamentum regnorum [1] к необходимости справедливости в отношениях между членами государства, т. е. действовать логическими доводами или взывать к совести — не стоило: зло слишком глубоко въелось и стало большинству казаться естественным и, как законы природы, непреложным явлением. Для восприятия логических доводов нужен отзывчивый и непредубежденный ум, а совесть... как часто и в отдельных лицах, и в целых общественных слоях она спит или, в лучшем случае, дремлет! *Оставалось действовать на чувство.* И так как большинство мыслит образами, то в этой области и надо было почерпнуть оружие для своего воинствующего творчества.

Недаром Гоголь советовал: «Заговори... с обществом, наместо самых жарких рассуждений... живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, и двери сердец растворяются сами... к принятью их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела». Поэтому и воевать следовало *художественными образами,* почерпнутыми из крепостного быта и нравов.

Чем же связать, проникнуть и одухотворить эти образы? *Ненавистью?..* Но для того, чтобы проповедь ненависти нашла себе благоприятную в обществе почву, необходимо, чтобы самая ненависть была уже в зачатках посеяна в массе лиц и во всяком случае подготовлена предшествующим презрением к тому или другому явлению, потому что «le mépris c'est la haine en repos» [2].

---

[1] Основу государства *(лат.)*.
[2] Презрение — это ненависть в состоянии покоя *(фр.)*.

Только в этом случае задача художника или публициста собрать рассеянную ненависть воедино и дать ей кристаллизоваться вокруг одного представления — может быть успешна... Или призвать «музу пламенной сатиры»?.. Но если часто «difficile est satiram non scribere» [1], то у нас в то время, когда Тургенев выступил против крепостного права, было гораздо чаще «difficile satiram scribere» [2], потому что цензура того времени была подозрительна и труслива, тупа и невежественна. Оставалось чувство, противоположное ненависти: *любовь*, которою так много можно взять там, где бессильны или недопустимы проклятия негодования. Вооруженный этою любовью, как бы следуя будущим словам Некрасова: «Иди к униженным, иди к обиженным и будь им друг!», выступил Тургенев на обличение крепостного права. Эта любовь к крепостному человеку — к крестьянину и дворовому,— ничем не задуваемая, яркая и согревающая, светится на всех страницах «Записок охотника». Она вливается в душу читателя и несомненно заставила многих добрых и порядочных, но близоруких или ослепленных людей прозреть и, почувствовав в каждом из незаметных героев «Записок охотника» брата, почуять в крепостном складе жизни своего нравственного врага. Такой смысл имели эти и близкие к ним по содержанию, незабвенные рассказы и для вдумчивых людей со стороны. Достаточно сказать, что Карлейль называл «Муму» самою трогательною повестью в свете. Влияние «Записок охотника» и этой повести было равносильно их значению. Есть слова, вырывающиеся из сердца и заставляющие бессильно опустить руки; есть другие, вливающие в него благотворное чувство обновления. К первым относятся роковые — *поздно и тщетно;* ко вторым — *жалко и стыдно*. «Записки охотника» вонзились, как стрела, в сердце читателей: последним сделалось жалко, им стало стыдно... Но, к счастию, еще не было поздно. Есть несомненное свидетельство, что наследник престола читал «Записки охотника» и правильно оценил вложенную в них мысль. Он сам об этом впоследствии приказал передать Тургеневу. Конечно, не одно это чтение подвигло Александра II на великое дело освобождения крестьян, но Тургенев имел полное основание сказать про велико-

---

[1] Трудно не написать сатиру (*лат.*).
[2] Трудно написать сатиру (*лат.*).

душное решение государя, принятое вопреки всевозможным противодействиям, настойчиво и решительно — «моего тут меду капля есть» — и капля большая. «Теперь все это,— писал в 1862 году Салтыков-Щедрин,— какой-то тяжкий и страшный кошмар... в котором и давящие и давимые были равно ужасны... кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно!» Я радуюсь привести эти слова нашего сатирика теперь, сегодня, в скорбный день, когда многострадальный образ Александра II с особой яркостью возникает пред всеми, кто знает, кто сам видел то, что он сделал для России и чем она ему обязана. Но и заслуга Тургенева, как идейного подготовителя великого дела — не может и не должна быть забыта. Он имел полное право плакать умиленными слезами душевного удовлетворения на молебне, заказанном им в Париже по поводу 19 февраля 1861 г., вместе со стариком-декабристом князем Волконским. «Для твоего памятника,— сказал, провожая прах Тургенева в Россию Эдмонд Абу,— достаточно будет обрывка цепи, брошенного на могильную плиту; твое честное самолюбие было бы удовлетворено таким мавзолеем, и этот символ громко говорил бы о том, что ты сделал для своей родины».

Эта общественная заслуга нашего писателя имела и другую сторону. Подрастающее молодое поколение в больших русских городах и в особенности в Петербурге — дети чиновников, купцов, людей свободных профессий и т. д. — получали очень смутное (а подчас и никакого) представление о народе в тесном смысле слова. Редкое соприкосновение с извозчиками и людьми отхожих промыслов не могло дать им ясного представления о русском крестьянине и бесправных условиях его быта. Им рассказывались анекдоты про «мужика» и вместе с тем внушалось, что огромная крестьянская масса может и должна быть довольна своим внутренним благоденствием и попечительной о нем заботой, а для внешних врагов представляет в себе неисчерпаемый источник «побед и одоления». На сцене и в текущей литературе, за исключением Григоровича и отчасти Даля, крестьянин играл лишь эпизодическую и не заставлявшую задумываться роль, а псевдонародный язык, которым говорили изредка выводимые в рассказах и повестях «простолюдины», напоминал деланный язык прокламаций графа

Ростопчина, которыми он думал успокоить московских жителей при надвинувшейся на Москву опасности, накануне вступления Наполеона. А в театральных афишах была даже, после перечисления действующих лиц, особая рубрика, носившая название «гости и пейзане». Благодаря этому умышленному, а подчас и бессознательному закрыванию глаз на действительность, городская молодежь, не принадлежавшая к помещичьему классу, в сущности не была знакома с крестьянином и не ведала ничего о его страданиях. А между тем эта молодежь в огромном большинстве шла на службу и, наполняя столичные департаменты и канцелярии, в своей совокупности представляла того «столоначальника», который, по горестному сознанию императора Николая I, «управлял Россией». Правда, из этой молодежи вышел и Николай Милютин, тот, по выражению Некрасова, «кузнец-гражданин», который так много поработал в деле уничтожения крепостного права. Но он воспитывался в исключительных условиях и сам был исключительным человеком. Тургенев, а вслед за ним и Некрасов познакомили эту молодежь с «сеятелем и хранителем» русской земли, дали возможность заглянуть в его душу, оценить тот тихий свет, который в ней горит, несмотря на кору невежества, понять его скорби и полюбить его!

Когда над русской землей прозвучал благовест освобождения крестьян, Тургенев мог бы сказать себе: «Ныне отпущаеши»... Но он знал, что говорить это еще рано, что крепостное право пустило слишком глубокие, развращающие все слои общества корни, и что мы im Grossen und Ganzen[1] сделаны из плохой глины: нагреваемся очень скоро, но жар хранить умеем недолго. Он понимал, что изменение нравов и впитанных рядом поколений взглядов почти всегда — и притом значительно — отстает от законодательных преобразований, и в перестроенном наскоро здании остаются старые, лишь на время притихшие жильцы. Горький опыт учит, что между самыми благодетельными мерами и не только бюрократической, но и общественной средою существует глухой разлад, трудно уловимый в частностях, но больно ощутимый в целом. Иногда такая мера, такой необходимый почин не встречают, по-видимому, никакого противодействия; пред ними все расступается, и, рас-

[1] В общем и целом *(нем.)*.

секая смелым ударом то или другое явление, они доходят до самого его дна, казалось бы, бесповоротно покончив с его существованием. Но это лишь кажется: посмотришь, а сверху уже снова все слилось в липкую и вязкую, как кисель, массу, и от разрыва не осталось и следа. Недаром Салтыков тревожно спрашивал, где гарантия в нашем быту тому, что крепостное право не продолжало бы существовать: «В нравах, что ли? — спрашивал он.— Но разве неизвестно, что славяне имеют нрав веселый, легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве неизвестно, что слезы, которые при этом капают, капают внутрь... на сердце, и все накипают... покуда не перекипят совершенно?» И Тургенев не успокоился, а с зорким пером в руке принялся следить за вибрионом крепостничества, указывая на него русскому читателю. Рисуя в «Дыме» и «Нови» злобное шипение и готовность на тайные козни против великих реформ Александра II, он влагал в уста некоторым из своих героев такие речи: «Надо переделать все сделанное... и 19 февраля — насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas[1], и когда омрачение овладевает даже высшими умами, должно предостерегать, должно говорить с почтительной твердостью: воротитесь, воротитесь назад»!.. Рисуя рядом с этим в той же «Нови» хождение в народ, он скорбел о бесплодной растрате сил частью нашей молодежи для достижения неясных в способе своего осуществления целей, среди равнодушия одних, злорадства других и непонимания третьих, но он не отрицал в этой части искреннего желания помочь народу и, изображая болезненное проявление общественной потребности, не находившей себе нормального исхода, умел отнестись к жертвам такого положения не с бездушным осуждением, а с пониманием и состраданием вдумчивого художника. Убежденный поклонник постепенного общественного развития, без судорожных прыжков вперед и боязливых отступлений назад, мягкий по складу своей души, Тургенев никогда не впадал в рабскую лесть ни пред толпой, ни пред отдельными группами или лицами. В его сочинениях, затрагивающих иногда очень острые вопросы современности, господствует если можно так выразиться, *художественное правосудие*. И он, с одинаково глубоким беспристрастием, наряду с Кукшиной, Сухан-

---

[1] Или ты патриот, или нет *(фр.)*.

чиковой и Губаревым, изображал покрытую внешним лаком цивилизации группу под дубом Баден-Бадена и Калломейцева из «Нови». Напротив, своими творениями он со всею силою своего таланта предостерегал против лукавого льстеца, который, по словам Пушкина, «горе на царя накличет», «из его державных прав одну лишь милость ограничит». Друзья Тургенева не без ехидства указывали на женские свойства его натуры. Да, это было в некоторых отношениях верно; он был похож на простую русскую женщину, им так чудесно описанную, которая нередко на вопрос, любит ли она, отвечает: «Известно, жалею». Он умел ставить себя на место каждого, сливаясь со всем сущим в чувстве общей солидарности. Достаточно припомнить его обезьянку на корабле в «Стихотворениях в прозе». Но если разум его умел все *понимать*, его любящее женское сердце умело *жалеть*.

Однако любовь Тургенева к русскому человеку и к русской земле, так нежно и красиво выраженная, например, в «Деревне» его «Стихотворений в прозе», не была слепою, способною видеть одни лишь достоинства и упорно закрывать глаза на недостатки. Этим он выгодно отличался от современных ему славянофилов, нападавших на его «западничество». Он сам шутя называл себя немцем и вооружался против мистических представлений об исключительном призвании русского человека, отыскивая в его жизни и свойствах трезвую правду и не утешая себя восторженным представлением о нем «im Werden» [1]. Человек всею душою русский, он был чужд слепого культа «своего», который часто переходит в пагубный шовинизм. Любить отечество — не значит страдать патриотической близорукостью. Устами своего Потугина в «Дыме» Тургенев говорит: «Люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину». Когда, однажды, за товарищеским обедом в Париже французские писатели стали рассуждать об отличительных коренных свойствах европейских рас, Тургенев резко противопоставил холодному культу *права* у человека латинского племени *человечность* русских людей. В своем «Гамлете» и «Дон-Кихоте» он безусловно становится на сторону последнего, на сторону Alonzo el bueno [2], приветствуя в нем это название, как символ его неустанной борьбы со злом. Но его смущает безволие русского чело-

---

[1] В развитии, в становлении *(нем.)*.

[2] Алонзо добрый *(исп.)*.

века и затрата им больших природных сил на пустяки,— отсутствие настойчивости и выдержки — и практическое оправдание им в жизни горестного изречения о том, что «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Он с горечью отмечает, что жизнь русского развитого человека наполняет не творческая деятельность, не жажда созидания, не esprit de combativité[1], а разлагающий анализ, «ковырянье» в собственной душе и удовлетворение одними «бескрылыми желаниями». Он рисует ряд лиц, махнувших на все рукой: Каратаева, лишнего человека Чулкатурина, Гамлета Щигровского уезда, Рудина, Лаврецкого с его «догорающею бесполезною жизнью», Берсенева, пишущего тяжелым, с обилием иностранных слов, языком «о некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» в то время, как Россия «в судах полна неправды черной». Им он противополагает людей, умеющих не только желать, но и хотеть, будет ли то бедный восторженный служитель искусства Лемм или энергичный, одушевленный ясной и высокой целью Инсаров... Его любимый герой был Базаров — фигура, по его словам, сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная и честная. Он горячо желал внушить читателю любовь к нему, несмотря на всю его грубость, сухость и резкость, ибо создавал его с любовью и чуткостью необыкновенной и до того сроднился с ним, что в течение двух месяцев вел дневник своего героя, где старался выяснить самому себе то, как отнесся бы такой человек к различным крупным и мелким обстоятельствам жизни. А когда он писал страницы о смерти Базарова, он не мог удержаться от слез.

Но если Тургенев с сомнением покачивал головой, взирая на слагавшиеся у него в душе образы русских мужчин, то к русской женщине он относился с гораздо большим доверием и возлагал на ее душевные силы великое упование. Можно без преувеличения сказать, что ему принадлежит первое место среди изобразителей русской женщины и толкователей ее душевного строя. Впервые русскую женщину показал нам Пушкин. Бедная Лиза Карамзина, «прекрасная душою и телом», нежная и чувствительная поселянка, утопившаяся после того, как «мрак вечера питал желания» Эраста, «богатого дворянина с изрядным разумом и добрым сердцем, и никакой луч не мог осветить его заблуждения»,— кроме имени и

[1] Боевой дух (*фр.*).

внешней обстановки, ничего не имела в себе национального и типического. Не создал русской женщины и Гоголь, несмотря на обещание показать ее во всем блеске душевной красоты. Его Уленька второй части «Мертвых душ» — не живое лицо. Чудесна Татьяна, вся озаренная лучами ума и сердца великого поэта, но она, по условиям жизни и воспитанию, принадлежит к одному лишь слою общества. Она — олицетворение долга, которому приносится бесхитростно и вместе величаво в жертву личное счастье. «Но,— говорит она Онегину,— я другому отдана; я буду век ему верна». Общество шло, однако, вперед, личность завоевывала себе новые права, и быть «отданной» — из общего правила становилось исключением: на место покорного принятия своего «жребия» явился свободный выбор по влечению сердца. И Лиза Калитина в «Дворянском гнезде» тоже приносит себя в жертву долгу, но понимает его уже гораздо шире, чем Татьяна. Но и на этом «чистейшей прелести чистейшем образце» нельзя было остановиться. Изменявшийся склад общества, подмечаемый и часто предчувствуемый Тургеневым, звал женщину за пределы ее прежних прекрасных самих по себе задач: иногда исцелять, часто облегчать и всегда утешать. Открывалась область не одной пассивной и сострадательной любви, но область любви деятельной, когда приходится стать по отношению к избраннику сердца товарищем, другом и опорою в житейской борьбе — стать тем, что в старину образно называлось «потрудилицей и сослужебницей». И Тургенев рисует целый ряд очаровательных женских образов, исполненных этой деятельной любви. Стоит вспомнить его Елену, Марианну, героиню «Живых мощей» и многих других его рассказов. Андреевский в своем стихотворении «На смерть Тургенева» совершенно справедливо говорит, что «он дал впервые проводницу — сынам проснувшейся страны,— на смелый труд из тишины он вызвал русскую девицу и был он друг ее мечты, души глубокий познаватель,— ее стыдливой красоты неподражаемый ваятель». Тургенев показал в русской женщине все задатки духовного равноправия с мужчиной, признав которые и дав им свободное развитие, следует открыть ей широкий путь к гражданскому равноправию в общественном быту и к праву на всякий труд, который не противоречит ее физической природе.

Но не одним *содержанием* богато наследие, оставленное Тургеневым: в нем заключаются и драгоценные уро-

ки литературного творчества и оценка его орудий. «К живописи,— говорит он в одном из своих писем,— применяется то же, что и к литературе,— ко всякому искусству: кто все детали передает — пропал; надо уметь схватывать одни *характеристические* детали. В *этом одном* и состоит *талант* и даже то, что называется творчеством». В его советах начинающим писателям и мнениях, приводимых Гонкуром, всегда звучит проповедь устранения всего излишнего, l'élimination du superflu, а его собственные произведения являются образцом сжатости и силы. «Нельзя поэзию намазывать толстым слоем, как масло,— говорит он в письмах к Пичу,— немцы делают две огромные ошибки в своих рассказах: первая — несносное мотивирование, а вторая — проклятая идеализация действительности. Описывайте правду просто и поэтично: идеальное проявится само собою». Негодуя на мораль, приделанную французским переводчиком к его «Первой любви», он восклицает: «Такие рефлективные пережевывания мыслей совсем не в моей натуре; они напоминают мне кудахтанье курицы после того, как она снесла яйцо. Это в высшей степени бесполезно и запутывает только дело». Таким образом, разделяя взгляд Гоголя, что со словом надо обращаться честно, он находил, что со словом надо обращаться и *скупо*. Каждый, читавший его произведения, конечно, согласится, что он владел не только тайной художественного внушения, но и имел дар внушения нравственного. Это уменье волновать сердца не одною красотою, но и совестью своего таланта, составляет его великую заслугу. С некоторых пор искусство вступило на скользкий путь. Прежде оно изображало страсти, теперь оно стремится изображать пороки. Таким образом, естественное проявление человеческой природы заменяется ее извращениями. Невольно приходится вспомнить то, что сказал Гете про величайшего изобразителя человеческих страстей — Шекспира, который «предлагает нам золотые яблоки в серебряных чашах; чаши-то, пожалуй, и остались, но наполняют их ныне картофелем». Тургенев не шел по этому пути и отсюда — целомудрие его изображений, в которых он как бы следовал итальянскому правилу: «Da dir poco e far pensar assai»[1]. Стоит припомнить ночную сцену между Лаврецким и Лизой в саду или приход Елены к Инсарову и представить себе, что бы сделал

[1] Сказать мало, но дать достаточную пищу мысли (*исп.*).

из этого какой-нибудь развязный современный порнограф.

Тургенев считал своим учителем Пушкина и говорил о нем с увлечением, с гордым одушевлением, ревниво ограждая его от сопоставления с кем-либо. Мне помнится его восхищение тем, как Пушкин в нескольких словах умел изобразить душевное настроение поэта, когда им овладевает вдохновение и, оставив детей ничтожных мира, он бежит в широкошумные дубравы — «и звуков, и смятенья полн». «Тот, кто испытал на себе прилив такого вдохновения,— говорил Тургенев,— тот знает, что ярче и сильнее нельзя изобразить вызываемое им состояние души, как то сделал великий русский поэт. *Смятение,* именно *смятение!!»* Он не мог хладнокровно читать вслух вещей Пушкина. Один из слышавших его на публичном чтении в Париже рассказывает, что при чтении «Цыган» в голосе Тургенева послышалось волнение; фигура его сгорбилась, лицо побледнело; увлеченный и растроганный, он, казалось, забыл и о публике, и обо всем на свете... Последнюю сцену он прочел почти шепотом. Когда он кончил и сошел со сцены, руки его дрожали, и он, кажется, плакал...

И *русскому языку* сослужил он великую службу. Язык каждого народа — его лучшее достояние, его святыня. «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», когда статуя Марса станет оставленным символом, а двери храма Януса закроются навсегда, тогда, конечно, земным божеством народа станет его язык. Такое именно боготворящее преклонение пред русским языком обнаруживал Тургенев, говоря: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбе моей родины — ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». И как владел он этим языком! Нельзя, например, не прийти в восхищение от удивительного, точно высеченного во мраморе языка «Песни торжествующей любви». Мне думается, что ни в одном из чьих-либо произведений на русском языке не доведено до такого совершенства соответствие слов и выражений смыслу содержания и не связаны так тесно мысль и осуществление ее в живом слове. Спокойный, сжатый, почти летописный язык начала рассказа сменяется, как только появляется загадочная фигура Муция, языком, в котором слышится тревога, и слова следуют одно за другим, как удары горячечного пульса... Но сходит со сцены

на время Муций, и снова в языке наступает успокоение, окончательно сменяемое, со вторичным появлением Муция, удивительной образностью, силой и мрачной красотой слова, чтобы завершиться примирительными аккордами, в самом конце которых, однако, снова звучит тревожная нота. «Берегите наш русский язык, завещанный Пушкиным,— восклицает Тургенев,— не обращайте могучего рычага в подпорки». Этот завет его следует особенно помнить теперь, когда к русскому языку проявляется подчас отношение как к несчастной жертве «общественного темперамента», причем его вынуждают, подобно ей, переносить неуважительное обращение ремесленников пера и служить растленной фантазии психопатов искусства.

Тургенев не был жрецом чистого искусства, витающего в области фантазии, далеко от тревожных и загадочных вопросов текущей действительности. В своих произведениях он нередко подходит к *научным* вопросам из области психологии и даже психиатрии, к болезненным общественным явлениям, над которыми задумывается социолог. Во всеоружии своего поэтического творчества он затрагивает в своем художественном вымысле научные вопросы, выходящие за пределы поэтического вдохновения. Его интересует то, что в современной психиатрии называется *навязчивыми идеями,* властно, неотвязно и пагубно овладевающими потерявшею свое равновесие душою. Таков «Рассказ отца Алексея», представляющий удивительную по своей верности, почти клиническую картину возникновения и развития подобных идей. Болезненные сны, предчувствия и галлюцинации находят себе тонкое изображение в «Кларе Милич» и «Собаке»; внушение и гипноз нарисованы удивительными чертами в «Песни торжествующей любви» и, наконец, печальная и грозная болезнь нашего времени, с одинаковой силой развернувшая свое черное крыло над людским несчастием, безнадежностью, отчаянием и слабой волею, одинаково поражающая и людей усталых от жизни и ее еще не познавших — *самоубийство* — не раз выступает на страницах его произведений.

Переходя от общественной и литературной деятельности Тургенева к его *личности и жизни,* я живо представляю его себе — высокого ростом, с крупными чертами «мужицкого», как и у Льва Толстого, лица, с нависшей на лоб прядью седых волос. Вся его повадка имела харак-

тер силы и достоинства. М. М. Ковалевский, видевший его впервые в 1872 году, был поражен его внешностью, напоминавшею престарелого и усталого льва. Особенно привлекали его глаза: столько в них было мягкости, доброты, сочувствия и жалости к людям! По словам Писемского, они напоминали глаза умирающей газели. Описывая его в своем дневнике, Гонкур говорит: «Это очаровательный колосс, ласковый седой гигант, имеющий вид доброго горного или лесного духа. Он прекрасен, величаво и чрезвычайно прекрасен, с небесной голубизною в глазах» («C'est un colosse charmant, un doux géant aux cheveux blancs, qui a l'air d'un bienveillant génie d'une montagne ou d'une forêt Il est beau, grandement beau, énormement beau, avec du bleu ciel dans les yeux»). Но голос его, высокий и мягкий, с легким пришепетыванием, похожий на женский или, по замечанию Гонкура, на детский — la parole enfantine[1], мало вязался с его могучей фигурой. Конечно, этот недостаток скоро забывался под влиянием очарования его устных рассказов, в которых слышалось творчество удивительного художника, переживавшего все, что говорил, с таким увлечением, что нередко он вскакивал с места и в лицах представлял каждую фигуру.

Мягкий и доверчивый в отношениях к людям, уступчивый до слабости и чрезмерной снисходительности, он страшился возможности *огорчить* и потому никогда не решался *отказать*. Это ставило его не раз в неловкие и тягостные положения и давало повод его друзьям повторять отзыв одного из них: «А ведь Иван Сергеевич — бабье порядочное». Но преобладающим его свойством была доброта. Она была написана на его лице, а ведь лица похожи на жилища: по иным видно, что внутри холодно и темно. Светом и теплом веяло от милого лица Тургенева, обрамленного густою раннею сединою. Это преобладающее свойство его сказывалось в разных проявлениях его личности. Так, прежде всего, ему было чуждо чувство зависти к чужому таланту или успехам, столь часто встречающееся даже у выдающихся писателей, имеющих свой собственный вес и значение. В письмах его рассыпано искреннее восхищение пред важнейшими произведениями Островского, Достоевского, Григоровича, Гончарова и Льва Толстого. Он восторженно отзывался, несмотря на лично холодные отношения с Толстым, о «Войне и мире». «Мое суждение о нем,— писал он Пичу,— непоколебимо:

[1] Детский говор *(фр.)*.

это величайший современный эпос». А между тем он предъявлял к литературным произведениям большие требования. Достаточно просмотреть его критические замечания на стихи Полонского, которого он признавал, однако, истинным поэтом,— вспомнить суровый отзыв о стихотворениях Некрасова или заявление, что стихи графа А. К. Толстого ему в рот не лезут: до того в них все безжизненно-величаво, правильно и неверно. Расходясь во вкусах и идеалах с Чернышевским, с каким уважением к личному характеру и уму этого публициста относился он в своих письмах. Рядом с этим выливалось у него и чувство прощения причиненных ему горьких разочарований и холодно обдуманных, беспричинных обид. Старый друг Некрасов, поддавшись злобе дня, вынудил его печатать «Отцов и детей» не в старом гостеприимном «Современнике», а у Каткова, и поместил у себя ругательную критическую статью против автора «Отцов и детей», к которой по справедливости применима эпиграмма Пушкина об «усыпительном зоиле». А между тем, каким примирительным и глубоко трогательным аккордом звучит «Последнее свидание» в «Стихотворениях в прозе», свидание с умирающим Некрасовым, и с каким участием и сочувствием отзывается Тургенев в письме к Полонскому об авторе злобного памфлета на Кармазинова, читающего свою повесть «Merci» (т. е. «Довольно») в «Бесах».

Следует прощать и можно забывать, но это очень часто приводит к повторению того, что было забыто. Да и поспешное забвение не соответствует серьезному отношению к людям, поступки которых редко являются чуждою их натуре случайностью, а почти всегда бывают результатом основной черты характера. Поэтому надо *прощать* в жизни многое, но *не забывать* ничего. Так поступал и Тургенев, доброта которого не была слепой и безоглядной. Он это доказал своим отношением к клеветавшему на него в своей газете Каткову, проявленным во время торжественного обеда в день открытия памятника Пушкину в Москве.

Едва ли нужно говорить о том, как широко, великодушно и деликатно приходил он на помощь множеству всякого рода нуждающихся, неудачников и горемык, растрачивая на эту помощь средства, в которых часто нуждался сам, испытывая при этом очень часто на себе справедливость скептического афоризма одного из своих приятелей о том, что «ни одно доброе дело не остается без на-

казания». Сообщая в 1874 году Пичу о невозможности приобрести рекомендуемую ему картину бедного художника, он пишет: «У меня теперь в руках было больше денег, чем обыкновенно, но я, разумеется, не замедлил их выбросить в окошко». Но не только его деньги иногда очень бесцеремонно занимались или путем прозрачных намеков выпрашивались у него лично всяким, стучавшим в его окошко,— его время, его драгоценное для родного слова время, безжалостно расхищалось разными бездарными или самомнящими истеричками, требовавшими его отзывов о своих «творениях» и затем изливавшими на него свои жалкие обвинения в «непонимании» и «лукавстве». Можно бы привести массу примеров того, как он щадил самолюбие тех, кому помогал, стараясь остаться в тени или даже вовсе безвестным. Достаточно указать на его хлопоты о том, чтобы бедная и больная учащаяся девушка пользовалась советами знаменитого парижского врача, для чего он ездил к алчному французу и внес ему значительный гонорар за несколько приемов вперед, уверив в то же время больную, что у этого врача можно ограничиться платой в несколько франков. Так же восприимчив был он и к общественным бедствиям. Стон боли и негодования вырывается у него, когда он читает о кукуевской катастрофе и о погибших при ней. Он посылает в 1874 году в сборник «Складчина», изданный в пользу голодающих Самарской губернии, не страницу, не отрывок, а целую повесть «Живые мощи», вспоминая при этом огромный тульский голод 1841 года и про изумленный ответ старика-крестьянина на вопрос, были ли тогда беспорядки и грабежи: «Какие, батюшка, беспорядки! Ты и так богом наказан, а тут ты еще грешить станешь!»

Из этих же свойств его характера вытекало и настойчивое желание не быть в тягость окружающим и, поддерживая в себе бодрое настроение, вселять его и в других. В этом отношении к нему могли быть применены слова князя Одоевского: «Жизнь доброго человека есть доброе дело в жизни других людей». Письма к Полонскому, впадавшему в уныние от житейских невзгод, полны ободрений. «Это неумно,— пишет он по поводу жалоб своего друга на судьбу,— надо всячески стараться держаться на поверхности, особенно в наши годы, а то глупая житейская волна сейчас затопит. Бодрись, брат!» Однажды, не совладав с собою и приподняв пред Полонским завесу над своими душевными скорбями, он в следующем затем

письме горячо упрекал себя, что посягнул таким образом на его спокойствие. «Не следует показывать даже другу свои тайные раны... Особенно мне следовало воздержаться при мысли, что письмо мое было адресовано человеку, у которого собственного действительного горя и страдания вдоволь». Он примирился с жизнью и не делал себе по отношению к ней никаких иллюзий. Для него ее смысл был не в личном счастье, а в исполнении своего долга. Он сам говорит: «Жизнь только того не обманывает, кто не размышляет о ней и, ничего от нее не требуя, спокойно принимает ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Надо идти вперед пока можно, а подкосятся ноги — сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады; и они далеко не уйдут». И в другом месте: «Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были,— исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща». Ему представлялось поэтому — и эта мысль сквозит во многих его произведениях,— что если человек и не может быть, как это часто говорят, назван кузнецом своего счастья, то во всяком случае он часто сам кует свое несчастие. По его мнению, прав был тот крестьянин, который ему однажды сказал: «Коли человек сам бы себя не истреблял — кто его истребить может!» Поэтому вот его советы и правила жизни: не истребляй себя, будь терпелив, не падай духом и люби людей, невзирая ни на что. Он любил вспоминать, как ему — тогда еще студенту Петербургского университета — говаривала квартирная хозяйка — немка, слыша его ропот на судьбу, не баловавшую его присылкой денег из отчего дома: «Эх, Иван Сергеевич, нэ надо быть грустный, man soll nicht traurig sein; жисть — это есть как мух,— пренеприятный наксеком. Что дэлайт! тэрпэйт надо!» В проникнутые мрачной поэзией словесные рассказы его в кружке близких знакомых о своих снах и предчувствиях довольно явственно вплеталось ощущение ужаса перед неизбежностью смерти, то чувство, которое так сильно звучит в «Призраках» и некоторых последних его произведениях, например, в «Старухе». Но и с этим чувством он боролся, стараясь победить его и восклицая: «И пусть надо мною вьется *мой* ястреб: мы еще повоюем, черт возьми!»

Почти все письма, на которые мне приходится ссы-

латься, написаны из-за границы, где Тургенев провел значительную часть своей жизни,— и здесь мы встречаемся с упреком, который так часто делали нашему писателю, видя в его отсутствии с родины — отсутствие любви к России и «тоски по родине». Но прежде всего — отсутствие не значит разрыв и отчуждение, и дай бог, чтобы все упрекающие его, взятые вместе, так служили духовным интересам своего отечества, как это делал Тургенев. Тоска по родине! Как злоупотребляют этими словами! Как забывают про целые периоды, когда с полным основанием человек развитой может и даже должен чувствовать тоску *по* родине *на* родине! Да и что могла ему дать жизнь в отечестве в то время, когда, после ареста и ссылки в деревню за некролог Гоголя, он получил возможность надолго уехать в Германию, с которою был связан дорогими воспоминаниями о годах своего философского образования? Он не мог не видеть, подобно Ивану Аксакову, за блестящей «фасадностью» России гражданской «мерзости запустения» и духовной нищеты, которые ставили перед ней не в первый и не в последний раз роковую альтернативу возрождения или гибели. Мы знаем, что сделал он для возрождения ее и насколько удобнее ему было для этого, подобно Гоголю, взглянуть на Россию из своего «прекрасного далека». Не поступать же ему было на службу под начальство каких-нибудь выслужившихся канцеляристов, не скрывавших своего презрения к «ученым»! Не делаться же болтливым членом кружка, «ein кружок in der Stadt Moskau»[1], не жить же в деревне, задыхаясь в атмосфере окружающего крепостничества, или, наконец, примирив литературу с табелью о рангах, найти тихое пристанище в тогдашнем цензурном ведомстве. Со справедливой гордостью он мог сказать словами Некрасова: «Пусть ропот укоризны за мною по пятам бежал: не небесам чужой отчизны — я песни родине слагал».

Но зачем не вернулся он, когда в России просветлело и дышать стало легче, когда зажурчала мертвая дотоле жизнь общества, и перед ним стали открываться широкие горизонты и возникать благородные задачи? Здесь мы подходим к тому, что может быть по справедливости названо драмой его жизни. Не праздное любопытство влечет заглянуть в нее, не желание насильственно раскрывать двери частной жизни. Нет! Любовь к незабвенному

[1] «Кружок в городе Москве» *(нем.)*.

писателю, желание понять его отсутствие с обновлявшейся родины побуждают к этому, а напечатанные письма и недостойная окраска его личности, допущенная близкими к нему людьми, почти обязывают к этому. Наука о человеческой душе знает навязчивые идеи, о которых я уже упоминал, и навязчивые состояния, подробно описанные нашим психиатром Бехтеревым. Внимательное изучение выдающихся писателей указывает, что у некоторых из них бывали представления, очевидно коренившиеся в каком-нибудь сильном и глубоком впечатлении их жизни. Такие представления, властно возникая в душе, часто и настойчиво вплетались в их произведения. Можно бы привести к тому множество примеров. Достаточно указать на частое и однообразное, хотя и прекрасное повторение картины лунной ночи у Пушкина, или на одну и ту же картину у Достоевского, картину уединенной пыльной дороги, надвигающихся сумерок, налетающего вихрем ветерка, так часто предшествующую у него какому-нибудь потрясающему эпизоду, в котором участвуют отец и маленький сын, будет ли то сон Раскольникова или слезы Илюшечки над поруганным отцом — или у того же писателя — нарастание шума бессвязных голосов надвигающейся толпы, которая вот-вот войдет. Подобное навязчивое представление можно уловить и у Тургенева. Припомним «Переписку», «Вешние воды» и «Дым». В них в сущности один и тот же сюжет: пред человеком добрым и благородным, но слабым и впечатлительным открывается спокойная семейная жизнь с любимой искренно и нежно девушкой — и вдруг, в лице чарующей женщины, уже изведавшей жизнь и ее соблазны, в его существование вторгается всепобеждающая страсть и становится на пороге новой жизни, все в ней разрушая и подчиняя себе самого человека до унижения, до потери собственного достоинства, почти до полного безличия... Так налетевший ураган среди казавшегося безоблачным неба сразу разрушает почти доконченную постройку и, разметав сложенный в ней очаг, в своем бурном вихре увлекает и самого строителя. «Как собака... я уже не мог жить нигде, где она не жила,— я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины»,— говорит у Тургенева один из таких захваченных ураганом людей. Вспомните Санина, героя «Вешних вод», и его отъезд из Висбадена, — на узенькой скамеечке коляски, в ногах у господина Полозова и его хищной супруги,— все, что он испытывает, когда

пылающий гневом Панталеоне грозит ему и кричит: «Codardo! Infame traditore!»[1], а пудель Тарталья лает, «и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением». И затем долгие годы в Париже и все унижения и муки раба, которому не позволяют ни ревновать, ни жаловаться.

Что Тургенев вложил в изображение этих положений и душевных мук частицу пережитого, видно не только из глубины того чувства и той надрывающей душу скорби, которые слишком сильно звучат в них, чтобы быть проявлениями исключительно объективного творчества, но и из его письма Флоберу, в котором он говорит по поводу «Вешних вод»: «Je me suis entralné par des souvenirs»[2]. Вот почему его общий вывод о том, что в сущности представляет собою любовь, есть не только результат его «ума холодных наблюдений», но и «сердца горестных замет». «Любовь,— по его определению,— вовсе не чувство. Это болезнь души и тела. Она не развивается постепенно,— в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить. В ней нет равенства и так называемого свободного единения душ. В ней одно лицо — раб, а другое властелин — и сама она цепь, и цепь тяжелая».

В начале сороковых годов на петербургской оперной сцене выступила знаменитая певица Полина Виардо-Гарсиа, о чарующем голосе и удивительном искусстве пения которой с единодушным восторгом отзываются все современники [...] Под обаяние ее чудного голоса и всей ее властной личности подпал в 1843 году Тургенев и на всю жизнь. «Эта привязанность,— писал он Авдееву,— срослась с моей жизнью, и без нее я был бы как без воздуха». Всякое известие об успехах Виардо было для него настоящим праздником. «Когда слышишь ее,— говорит он Пичу,— то по спине проходит холодная дрожь, и плачешь слезами восторга». Вот как описывает очевидец музыкальное утро, устроенное ею уже в самые последние годы жизни Тургенева: «Голос ее, далеко не свежий и немного грубоватый, не очень понравился публике, она хлопала только из вежливости, но Иван Сергеевич, бывший когда-то свидетелем триумфов великой артистки, был и теперь еще, вероятно, под обаянием этих воспоминаний. Он пришел в самый искренний восторг. Его лицо раскраснелось, глаза горели, пряди волос падали в беспорядке на его

[1] «Трус! Гнусный предатель!» *(ит.)*.
[2] «Я был увлечен воспоминаниями» *(фр.)*.

лоб. Он хлопал дольше и громче всех и, обернувшись к публике, повторял: «Какова старушка, какова!» [...]

Тургенев, по его собственному выражению, был *однолюб,* и любовь, роковой характер которой он так кратко и сильно определил, захватила и связала его волю, сконцентрировала его чувство и ввела его в заколдованный круг неотразимого влияния властной и выдающейся женщины. Он отдал себя — свое время и сердце — всецело семье госпожи Виардо. Его дружеские письма к немецкому критику Пичу, которого он шутя называл ботаническим именем Pietschius amabilis grandiflorus semper virens[1], переполнены теплыми отзывами о дочерях госпожи Виардо и даже о ее сыне, скрипаче Поле, несмотря на то, что он «ужасно неотесан и подчас невыносим», нежными заботами об их удобствах и удовольствиях,— постоянными тревогами о малейшем нездоровье госпожи Виардо и восторженными сообщениями о вокальных успехах «этой чудной женщины». Жалуясь на свое скверное настроение, «серое с желтоватыми пятнышками», на жестокие приступы подагры и на разные житейские неприятности, Тургенев не забывал никогда прибавить, что, к счастью, вся семья Виардо благополучна или все в ней идет хорошо, а это в конце концов самое главное...

— Ну, и что же? — могут нам сказать.— Ведь он был счастлив в этом заколдованном кругу! — Едва ли можно ответить на это: «Да, был!» К сожалению, он сам, трогательно избегая личных упреков и до гроба оставаясь верным владычице своего сердца, давал, однако, поводы думать, что этот заколдованный круг дал ему очень немногое и, быть может, лишил его многого, необходимого его нежной душе. Его письма к друзьям представляют в этом отношении весьма важный материал. Печаль по отсутствию своей собственной семьи начинает сквозить в них довольно рано. Уже в конце 1856 года он жалуется на то, что осужден на одинокую *цыганскую* жизнь; что ему не свить своего гнезда, а между тем он слишком стар, чтобы не иметь такого; что он словно *вывихнутый* из жизни и в чужом воздухе разлагается, как мерзлая рыба при оттепели. В 1857 году он пишет Некрасову из Парижа: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня... Но поступить иначе было невозможно. Впрочем, результатом этой глупости будет, вероятно, то, что я раньше приеду в Петербург, чем

[1] Милый Пич, вечно молодой *(лат.)*.

предполагал. Нет, уж точно: этак жить нельзя! Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет — ну и не надо никакого... Боже мой! Как мне хочется поскорее в Россию! Довольно, довольно, полно!» А в 1858 году он пишет: «До скорого свидания... Повторяю тебе, не сомневайся во мне... Прочтя слово Париж, ты, пожалуй, подумаешь: «Врет он, там и останется». На это скажу тебе одно: одной особы тогда в Париже *не будет*... Во всяком случае, если я буду жив, я в конце мая в Петербурге; *никакие* силы не удержат меня здесь более. Полно — перестань, ты заплатил безумству дань!» В 1861 году он пишет Колбасину, в письме которого усмотрел намеки на намерение его жениться: «Я вижу, что тут должна быть замешана женщина — и *хорошо* замешана». И гораздо позже, в 1879 году, он пишет Л. Н. Толстому: «Радуюсь вашему домашнему благополучию... Точно, тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее — и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь — да и не желаю скоро вернуться». И рядом с этим приходится видеть, какими прочными цепями и как подчас безжалостно он окован. Его «не отпускают» в 1861 году в Россию, где только что совершилось освобождение крестьян и куда его страстно влечет, так что «лихорадка колотит и досада душит». В 1868 году его настоятельно призывают в Баден-Баден из Парижа от одра умирающего друга — Герцена и запрещают вернуться назад. И в том же 1868 году, там же, в Баден-Бадене, он, находивший, что «человек, который считает себя писателем и пишет больше, чем на одном своем родном языке,— несчастный, жалкий и бездарный субъект», сочиняет три французских либретто к опереткам госпожи Виардо и двенадцать раз выступает в качестве Людоеда, в рыжем парике на почтенных сединах, в домашних спектаклях в ее доме перед — как он выражается — *чрезвычайными* особами. Что это давалось ему нелегко, видно из его письма к Пичу, в котором он говорит: «Должен... сознаться, что когда я в роли «паши» лежал на земле и видел, как на неподвижных губах Вашей надменной кронпринцессы медленно скользила легкая усмешка презрения — что-то во мне дрогнуло! Даже при моем слабом уважении к собственной персоне, мне представилось, что дело зашло уж слишком далеко». В письмах к Борисову в 1871 году из Парижа он говорит:

«Здесь я еще оглядеться не успел. Сам я слег, а Виардо на несколько дней уехали погостить к друзьям на берег моря. Таким образом я очутился вдруг почти один в этом страшнейшем городище! Но мне было недурно; я отдохнул. Только две ночи были скверные. Ну, да это все ничего!» А в 1878 году он — шестидесятилетний старик — пишет Флоберу, что дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря и послали его разыскивать для них что-нибудь подходящее. Если к этим ссылкам добавить рассказ одного из друзей писателя, приехавшего после долгой разлуки повидать monsieur Tourgeneuf (так звала его прислуга Виардо) в St. Germain,— о его сконфуженном виде, когда на его повторную просьбу прислать что-либо, чтобы угостить приезжего, ему отвечали через лакея решительным отказом, так что пришлось ограничиться предложением стакана воды с оказавшимся под рукою сахаром,— или рассказ другого посетителя, изумленного раздавшимся вслед Тургеневу из окна дома Виардо резким, повелительным и не стесненным ничем окриком «Jean!» — то станет особенно понятною переданная покойным Борисом Николаевичем Чичериным одна из бесед его с Тургеневым в первой половине шестидесятых годов. Чичерин заговорил как-то о необходимости выходить из фальшивых положений в жизни, т. е. о том, что так кратко выразил Александр Дюма-сын, сказавший: «On traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans»[1]. «Вы думаете?! — с грустной иронией воскликнул Тургенев — из фальшивых положений не выходят! Нет-с, не выходят! Из них выйти нельзя!»

Заканчивая эту полосу в личной жизни Тургенева, я невольно обращаюсь к воспоминанию о встречах с ним в Париже осенью 1879 года. Я вижу пред собою его две небольшие комнатки в верхнем этаже дома на Rue de Douai[2], неприбранные, заброшенные, неуютные,— его летнее пальто с оторвавшимися и непришитыми пуговицами, я слышу его торопливое заявление в кружке близких знакомых о том, что он должен их оставить, так как вследствие болезни дочери госпожи Виардо ему, может быть, придется сходить в аптеку или съездить за доктором...

---

[1] «Из двусмысленного положения выходят; в нем не остаются» *(фр.)*.

[2] Улице Дуэ *(фр.)*.

Таковы были условия личной жизни дорогого нам писателя. Едва ли кто-нибудь признает их завидными... Но по смерти его ждало нечто еще менее завидное. У госпожи Виардо есть дочь Луиза, по мужу Геррит, и на нее, конечно, тоже распространялись заботы Тургенева. Он чуть не поссорился с Пичем за промедление в доставлении перевода с либретто к ее опере, в Веймаре; он пережил много волнений и забот вследствие ее тяжелых родов и поместил ее в своей квартире, сам перебравшись в две маленькие комнатки. И вот эта-то самая госпожа Геррит-Виардо весною 1907 года напечатала в одной из влиятельных и весьма распространенных газет — «Frankfurter Zeitung»,— всегда отличавшейся, как, впрочем, и вся немецкая пресса, большим уважением к творчеству и памяти Тургенева, поразительное письмо. В нем говорится, что Тургенев, прожив тридцать лет в доме Виардо с полным комфортом, за все это время не платил и даже не пытался платить хозяевам, хотя последние были бы весьма не прочь от этого. «Тургенев,— пишет госпожа Геррит,— умер после полуторагодичной болезни: ему и в голову не пришло поблагодарить *нас* за в высшей степени тяжелый, утомительный и дорогой уход за ним, завещав нам хотя бы часть своего крупного состояния. Его миллионы (!!!) унаследовала старая кузина, которой он никогда не знал, и у которой без того были свои миллионы»... Оставляя в стороне фантастические миллионы, измышленные госпожой Геррит под влиянием расходившегося денежного аппетита, дозволительно сделать несколько фактических поправок к ее письму. Так, по удостоверению вдовы Я. П. Полонского — близкого друга Тургенева,— последний, при выходе замуж другой дочери Виардо — Марианны — продал часть своего имения и вырученную сумму дал ей в приданое. Семейству Виардо он оставил всю, очень крупную сумму, полученную при покупке у него права литературной собственности на его произведения. Этой же семье, по свидетельству М. М. Стасюлевича, было предназначено все, что будет выручено от продажи остальной части *родового* имущества, и лишь смерть Тургенева помешала русскому консулу засвидетельствовать подпись умирающего на данной с этой целью доверенности. В 1870 году Тургенев пишет Маслову: «В человеческой жизни бог волен — и если б я внезапно окочурился, то ты должен знать, что оставленные у тебя на сохранение акции мною куплены для моей ми-

лой Клавдии Виардо и потому должны быть — в случае какой-нибудь катастрофы — доставлены госпоже Полине Виардо в город Баден-Баден. Я совершенно здоров — но осторожность никогда не мешает». «Милый друг Иван Ильич,— пишет он Маслову через два года: — из тридцати тысяч рублей, оставшихся на твоих руках после покупки акций, будь так любезен и вышли мне сюда... пять тысяч... А на пять тысяч купи еще акций — по-прежнему на имя госпожи Виардо»... В 1874 году просит Маслова прислать денег, продав купоны от его, Тургенева, бумаг, так как курс хороший, а ему, по случаю свадьбы дочери госпожи Виардо, Клавдии, «приходится порядком расходовать».

Нужно ли говорить, что и помимо всего этого нравственный облик Тургенева является отрицанием самой возможности того, что вышло из-под злоречивого пера третьей дочери госпожи Виардо. Можно лишь удивляться, что эта дама, по-видимому, «знобимая,— по прекрасному выражению Пушкина,— стяжанья лихорадкой», ждала почти четверть века, чтобы заявить о своем недуге и начать пред немецкой публикой оплакивать поруганные русским прихлебателем интересы своей семьи. Но есть нечто, внушающее еще большее удивление. Молчание — знак согласия, а сама госпожа Полина Виардо, столь чувствительно письменно благодарившая после смерти Тургенева «дорогих ей русских, истинных друзей ее дорогого и незабвенного Тургенева»,— молчит! Она, тогда же писавшая Людвигу Пичу: «Ах, дорогой друг, это слишком, слишком много горя для одного сердца! Не понимаю, как мое еще не разорвалось!.. Боже мой, какое страдание!» — молчит... Таким образом, заключительным аккордом грустной повести о личной жизни Тургенева является попытка почтенного семейства, отнявшего у него родину и близость друзей, отнять и доброе имя и из человека-альтруиста в слове и деле сделать жалкого приживальщика, заплатившего за оказанные ему благодеяния лишь рыжим париком на забаву чрезвычайных гостей и побегушками для исполнения поручений...

Но не одна личная жизнь Тургенева заключала в себе элементы драмы. Они нашлись и в его жизни общественной. Появление его лучшего по законченности, глубине и неподражаемой красоте романа «Отцы и дети» было встречено влиятельной критикой начала шестидесятых годов со слепой враждебностью. Ее близоруким предста-

вителям показалось, что Тургенев недостаточно клонит свою голову пред тогдашними кумирами. Пошлое обвинение в «клевете на молодое поколение» было пущено в ход, а сам автор приравнен к «мракобесному» издателю «Домашней беседы» Аскоченскому и назван «Асмодеем нашего времени». Лишь в чуткой душе Писарева яркий образ Базарова нашел себе правильную оценку, да Достоевский, по словам самого Тургенева, прозрел правдивость и значительность нового произведения. Большой художник, Тургенев, несмотря на внешнюю выдержку и кажущееся равнодушие, не мог развить в себе олимпийского спокойствия своего великого учителя Пушкина и сказать себе: «Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник». Он несомненно страдал и как художник, и как человек, которому, по благородному почину некоторых критиков, толпа злорадных невежд, живущих чужим умом, приписывала самые низменные побуждения. «Может ли оставаться спокойным,— говорит Брайт в одной из своих блестящих речей,— человек, достойный любви и уважения, когда он сознает возбуждаемую против него ненависть и слышит острое шипение клеветы, которую нельзя поймать и раздавить, как змею, ползущую во тьме». Тургенев сам писал Пичу уже в 1869 году: «Русской молодежи внушили, что тип Базарова — обидная карикатура и памфлет. Из-за Базарова меня забросали и забрасывают грязью, оскорблениями, ругательствами». В 1876 году он говорил Полонскому по поводу «Нови»: «Если за «Отцов и детей» меня били палками, за «Новь» меня будут лупить бревнами — и точно так же с обеих сторон». Глубоко опечаленный, он даже решился навсегда оставить писательство, простившись с читателями в своем глубоко поэтическом «Довольно». Но выполнить до конца свою решимость он не мог. Творческая натура слишком властно предъявляла свои требования, а явления общественной жизни настойчиво призывали его подать голос. Так появились «Дым» и в 1877 году — «Новь». За весь этот период, начиная с 1862 года, Тургенев, жадно читаемый за границей, испытывал на родине справедливость евангельского изречения о том, что «несть пророка в отечестве своем», и стоял как бы в тени, подвергаясь, по собственному выражению, снисходительному презрению господ рецензентов.

Желание бросить литературную деятельность жило в нем все это время. После первой части «Нови», встреченной в печати и публике холодно, он просил Полонского приостановить свое окончательное суждение до появления второй части и заявлял, что «во всяком случае и какое бы ни сложилось решительное мнение публики, это уже, конечно, моя последняя работа. Довольно, довольно». Он в 1877 году извещал Поля Линдау, что отложил перо с намерением никогда больше не брать его в руки, и это решение непоколебимо. Но в конце семидесятых годов устарелые, односторонние, предвзятые нападки на автора «Отцов и детей» совершенно прекратились, и снова симпатии всего, что было лучшего в русском мыслящем обществе, обратились к нему. Особенно восторженно относилась к нему молодежь. Ему приходилось убеждаться в заслуженном внимании и теплом отношении общества почти на каждом шагу, и он сам с милой улыбкой внутреннего удовлетворения говорил, что русское общество его *простило*. Это внимание и отношение достигли своего апогея в 1880 году во время пушкинских празднеств в Москве, когда каждое выступление его сопровождалось восторженными овациями. Не только избрание его в почетные члены Московского университета и заключительные слова его речи в Обществе любителей российской словесности о том, что настанет время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый памятник, простой русский человек сознательно ответит: «Учителю»,— вызвали бурный взрыв рукоплесканий и приветственных криков, но то же самое повторялось с особой силой и тогда, когда на литературном вечере в дворянском собрании Писемский снял с бюста Пушкина лавровый венок и сделал вид, что возлагает его на голову Тургенева. В среде своих лучших представителей русское общество как бы венчало в Москве в его лице достойнейшего из современных ему преемников Пушкина. Все это оживило Тургенева и вернуло ему прежнюю бодрость, несмотря на то, что он уже за несколько лет раньше сравнивал себя и Полонского с двумя черепками давно разбитого сосуда. Уже в начале 1881 года он пишет: «Я теперь... намерен работать. Сперва кончу второй отрывок из «Воспоминаний своих и чужих»... а потом примусь за другую, небольшую, но по содержанию драматическую вещь, которая вертится у меня в голове... Неужели из старого, засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки?». Эти листья и ветви

были: «Отчаянный», «Стихотворения в прозе» (Senilia) и «Клара Милич» — названные им в письме к Пичу «последними вздохами старика».

Писательская судьба Тургенева и Достоевского была во многом сходная. Оба они имели общепризнанный успех после первых своих произведений, а затем величайший из романов Достоевского «Преступление и наказание» был встречен поверхностными отзывами, злобным шипением и даже бессмысленными утверждениями, что будто бы многострадальный автор «Мертвого дома» написал «донос на молодежь». И ему, подобно Тургеневу, пришлось долго ждать оценки своих позднейших произведений и общего восторженного признания, с необыкновенной силой проявившегося во время тех же пушкинских празднеств в 1880 году. Но затем судьба была более жестока к Тургеневу. Достоевский умер почти сразу, страдая очень недолго, а к Тургеневу подступил медленный мучительный недуг, в течение трех лет ежедневно все более и более явственно напоминая о близости могилы и давая осязательное основание тому страху смерти, который издавна мучил Тургенева. Еще в 1872 году он писал Пичу: «Мы катимся под гору, под гору — и вот она уже слепая, немая, серая, холодная, нелепая, ненасытная, вечная ночь». Та яма, пятно, могила, о которой он так потрясающе говорит в «Старухе» — с 1881 года «сама шла, ползла на него», неотвратимо и без остановки...

Страдания его особенно обострились с начала 1882 года. Уже в мае он пишет Полонским: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, вероятно, уже никогда не увижу»; в июне, называя себя «человеком похеренным» и «моллюском, ведущим жизнь устрицы», он просит утешить его присылкою сиреневого цветка из родного Спасского, а в декабре с безнадежным отчаянием восклицает: «Меня не только тянет, меня рвет в Россию». С этого времени письма его, среди трогательных воспоминаний о родине и теплых забот о гостивших в далеком Спасском друзьях, содержат в себе описания жестоких мучений, причиняемых ему недугом. Тут целый арсенал пыток: и бессонница от боли, преодолеваемая лишь впрыскиванием морфия, и невозможность не только ходить, но и стоять более нескольких минут без помощи какой-то машинки, и разные невыносимые страдания в груди, сердце и печени. Болезнь, как коршун Прометея, все глубже и

глубже вонзает свой клюв в изможденное тело страдальца. И письма становятся все короче, отрывистее. Они пишутся уже не совсем разборчивым почерком, вместо ясного и твердого, карандашом или даже постороннею рукою. И все заканчивается письмом от 12 мая 1883 г. Вот оно: «Давно я не писал к вам, любезные друзья мои, да и о чем было писать! Болезнь не только не ослабевает, она усиливается. Страдания постоянные, невыносимые, надежды никакой! Жажда смерти все растет, и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали осуществления желания вашего друга. Обнимаю вас всех». Но еще около трех месяцев продолжала играть смерть со своей жертвой, как кошка с мышью.

Если, однако, личная жизнь для Тургенева перестала существовать и обратилась в сплошное страдание, то мысли его оставались верны тому высокому делу творчества, которое было его призванием. Римляне говорили: «Caesarem licet stantem mori!»[1]. Но и литература имеет своих цезарей, и одним из них был умиравший Тургенев. Он выпрямился пред кончиной во весь свой духовный рост и, уже отрешившись от всего личного, земного, обратил свою мысль на судьбы родного, дорогого ему слова. Собрав последние силы, дрожащею рукою, карандашом написал он *последнее* свое письмо — письмо к Льву Николаевичу Толстому: я «был и есмь... на смертном одре... Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я бы был счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует! Я же человек конченый... Друг мой, великий писатель русской земли — внемлите моей просьбе!.. Не могу больше... Устал!».

22 августа он скончался в Буживале, потеряв сознание за два дня до этого. Его лицо, по свидетельству очевидцев, приняло величавое спокойствие смерти. Сдвинутые брови придавали ему строгий вид. Но вскоре к нему вернулось его доброе и кроткое выражение лица. Мы не знаем, были ли связаны его последние сознательные минуты с нежным и искренним, а не показным вниманием, но грустно думать, что около него не было родной души, не было близкого русского человека, который на его:

[1] «Цезарю надлежит умирать стоя!» *(лат.)*.

«Не могу больше, устал!» ответил бы утешительными словами лучшего из его преемников, тоже умершего вдали от родины: «Дядя Ваня, мы отдохнем!.. Мы отдохнем...»

Кончая и благодарно преклоняясь перед памятью Тургенева за все, что он оставил нам,— за все высокие и чистые чувства, которые он умел возбуждать,— за то неоценимое художественное наслаждение, которое он дал нам вкусить в своих незабвенных творениях, я невольно обращаюсь с мыслью и к другому великому русскому писателю. Творения Достоевского представляются мне глубокой шахтой, прорытой в самые недра человеческой души, со сложными подземными ходами, в конце которых таится золото сердечных движений и слезы умиления и сочувствия людскому несчастью. А Тургенев в своих творениях напоминает мне готический храм, глубоко заложенные в землю стены которого стремятся вверх, чаруя взор своими цветными лучистыми окнами, изящными пролетами и кружевной резьбой и, переходя в стройные башни, смело поднимаются в ясное небо, в небо возвышенных стремлений, благородства мысли и чувства, в небо нравственного идеала.

САВИНА И ТУРГЕНЕВ

8 сентября 1915 г. русская сцена понесла тяжкую и глубокую потерю: скончалась Мария Гавриловна Савина. Для тех, кто имел счастливую возможность слышать и созерцать ее игру, любоваться тонкими и нежными оттенками ее исполнения и уносить, благодаря ей, в душе своей яркий и иногда вполне самобытный, созданный ею, образ,— ее кончина была огромным лишением в области нравственного и эстетического наслаждения, доставляемого театром. Для Савиной сцена была любимым поприщем для самостоятельного творчества, не ограничивающегося умелым и достоверным изображением того, что задумано автором. Она стремилась в олицетворение созданного автором образа вложить свое личное проникновение духовной сущности и бытовых условий этого образа. Становясь истолковательницей автора публике, она нередко своим пониманием внутреннего мира изображаемого лица уясняла самому автору то, что им,— быть может, бессознательно,— было вложено в это лицо, как *возможность,* и обращала эту возможность в *действительность.* Эта способность проникновения, свойственная лишь великим артистам, распространялась у Савиной не только на изображаемую личность с ее страданиями и страстями, с ее сердечными муками и душевной чистотой, но и на всю среду, обстановку, бытовые и исторические условия, под влиянием которых жила и развивалась эта личность. Благодаря этой, если можно так выразиться, «ретроспективной интуиции», в исполнении Савиной чудилось и виделось давно минувшее время со всеми своими особенностями, а также необычное по вдумчивости понимание характерных свойств настоящего, не только не испытанного, но и не виденного ею. Какой бы женский образ она ни создавала, зрителя всегда поражала бытовая или историческая жизненность последнего. Ему приходилось невольно преклониться пред умом, знанием и талантом артистки, умеющей с одинаковой силой и чуткостью воплотить ряд самых разнообразных женских типов в их ярких переживаниях, начиная с горемычного, но гордого существа, порвавшего с недавним настоящим во имя неясного и для нее неосуществимого будущего, и кончая «жертвой общественного темперамента», со всеми ее ухватками...

Для тех же, кто имел радость бывать в личном общении с Савиной, кто знал ее не только по сцене, но и в частной жизни, ее уход «за грань земного кругозора» был двойной и горестной утратой. В ее лице из их духовного обихода ушла обладательница ума, тонкого и проницательного, способного, благодаря широкому развитию на почве неустанного самообразования, все понимать и перерабатывать,— обладательница образного, красочного и точного слова для выражения изящной, в своем художественном обличии, мысли, не лишенной по временам иронии и затаенной насмешки. Все это, в соединении с пленительной внешностью и в особенности с удивительными по живости выражения, блеску и внутреннему огню глазами Савиной, заставляло крайне дорожить беседой с нею и пребыванием в одном с нею обществе, которое она своим присутствием всегда умела оживлять и поднимать от часто пошлой обыденности в область искусства и общих вопросов. К последним она относилась очень отзывчиво и была в этом отношении выдающимся деятелем в области общественной благотворительности. Охотно и широко расходуя свое слабое здоровье и жертвуя скудными часами необходимого отдыха, она постоянно участвовала в разных благотворительных чтениях и концертах, устраивала спектакли в пользу больных артистов или семей умерших, стучалась в двери влиятельных лиц с просьбами об облегчении участи тех, кого сбили с пути несчастно сложившиеся условия жизни. Ей обязано своим устройством убежище для престарелых сценических деятелей в Петрограде и при ее деятельном, сердечном и неизменном участии возник и процветал приют для детей артистов. Нужда и трудные обстоятельства ее товарищей по артистическому оружию встречали в ней всегда сочувственный и деятельный отклик, как бы далеко ни стояли от нее по своему сценическому положению эти товарищи. Вот почему на похоронах Савиной, у ее отверстой могилы, общее сочувствие всех окружающих вызвали трогательные слова одного из артистов: «Когда прозвучит труба последнего суда и русские артисты предстанут пред вечного судью со своими несчастиями, слабостями, испытаниями и слезами,— Савина станет в их ряды и скажет: «И я с ними и за них!»...

Интерес, вызываемый ее талантом и ее личностью, привлекал в круг ее знакомых, как и следовало ожидать, многих представителей литературы, и притом наиболее

выдающихся. Достаточно назвать Тургенева, Гончарова... Творения первого она особенно любила и, когда ставилось «Дворянское гнездо», в переделке Вейнберга для сцены, она, готовившаяся играть роль Лизы,— и как игравшая! — «пережила», по ее словам, «все муки ада», стараясь олицетворить этот чудный образ достойно «памяти Ивана Сергеевича» и считала свою попытку «дерзкою» и даже «чудовищною», утешая себя лишь тем, что публика хоть услышит чудный язык Тургенева. Кроме увлечения произведениями Тургенева и им самим, насколько он в них сказывался, Савину связывала с писателем и ее страстная любовь к природе, которою она, живя всю жизнь в бутафорском лесу и дыша «пылью... кулис», восхищалась, «до умиления, до слез». А кто же лучше Тургенева умел захватывать читателя именно картинами природы?!..

После первой встречи с Тургеневым у Савиной возникли с ним самые теплые отношения и частая переписка. Ее письма, после смерти нашего знаменитого писателя в Париже, в 1883 году, не были, как это обычно делается, возвращены ей; но его письма сохранены ею с благоговейным вниманием, «как святыня». Известность выдающегося артиста, как воплотителя житейских и поэтических образов, имеет одну завидную особенность: она не сопряжена с нравственной ответственностью и не влечет за собою ни строгого осуждения прозревшего человечества, ни суда истории, ни угрызений совести, напоминающей о средствах, которыми иногда куплена слава полководца, политика, властителя. Но она, вместе с тем, временна и непрочна За известного деятеля на поприще других искусств или в области государственной говорят неприкосновенная целость их творческих трудов или бесчисленные исторические и житейские последствия их дел. Иногда непризнанная или скупо отмеренная современниками слава такого деятеля растет и расширяется, подобно звукам индийского гонга. Но не такова судьба сценического деятеля. Его известность поддерживается почти исключительно живыми свидетелями того, как прочно или глубоко влиял он на зрителей и слушателей; совокупность их однородных впечатлений и воспоминаний создает конкретный облик артиста. Но когда они уходят, а за ними следуют и те, кому они передали свои непосредственные ощущения, живое представление об артисте начинает быстро сглаживаться, теряя свою яркость, и гром-

кие имена людей, потрясавших сердца,— имена Кина, Гаррика, Тальмы,— ничего ясного и определенного не говорят последующим поколениям. Известность носителей этих имен принимается на веру, так сказать, в кредит. Имя артиста переживает дело его творчества; в других областях нередко дело переживает имя.

В истории русского театра имя Савиной навсегда займет видное место. Но хотелось бы, чтобы как можно дольше сохранились жизненные черты ее облика, не только как артистки, но и как живого человека. Для этого, конечно, желательно сберечь воспоминания о ней, оценки ее таланта и деятельности, характеристики и т. д. Любящая рука супруга собрала в этом смысле многое и создала богатый по содержанию и проникающему его чувству сборник в двух томах, под названием: «Кончина М. Г. Савиной».

Есть, однако, нечто более драгоценное, более непосредственное, чем всякого рода статьи и мемуары: *письма.* В них, если они не предназначаются для печати, пишущий высказывается обыкновенно с большей откровенностью и решительностью, так сказать, по горячим следам возникших у него мыслей и чувств, не заботясь о форме и имея в виду лишь того, к кому он пишет. В этом смысле чрезвычайно ценна и интересна может быть переписка двух лиц между собою; но и письма лишь одного из них, если это человек выдающийся, рисует очень часто не только его, но и того, кому он пишет, причем образ последнего может выступать особенно ярко. Излишне указывать на многочисленные собрания таких односторонних по источнику и двусторонних по вызываемому ими впечатлению писем. Достаточно указать хотя бы на письма Мирабо к Софии Моннье, «Lettres à une inconnue» («Письма к неизвестной») Проспера Мериме или письма Самарина к баронессе Раден. Исходя из таких соображений, Анатолий Евграфович Молчанов, обладатель и хранитель писем Тургенева к Савиной, решил опубликовать их, приняв на себя труд снабжения их необходимыми выносками, примечаниями и комментариями. Теперь, когда, ввиду наступающего столетнего юбилея со дня рождения Тургенева, мысль невольно обращается к нему, письма эти как нельзя более кстати. Интересные и полные искреннего чувства и блеска, они дают возможность вглядеться в одну из страниц жизни нашего незабвенного писателя. Но прежде чем обратиться

к этой странице и вполне ее понять, приходится хоть в самых общих чертах коснуться личности и творчества Тургенева.

Вдумчивый созерцатель, отразивший художественно-правдиво в своих чудесных по форме и языку произведениях современную ему русскую жизнь с ее типическими представителями и бытовым укладом, Тургенев навсегда занял одно из первых мест не только в области литературного творчества, но и в истории нравственного развития современного ему русского общества. Эти произведения, вызывавшие при своем появлении горячую критическую оценку, производили на читателей глубокое впечатление, оставляя в их душе неизгладимый след, вследствие проникавшей их человечности, и притом не отвлеченной, а вложенной в изображение действительной жизни. Главнейшие действующие лица, выводимые Тургеневым в самых разнообразных житейских положениях и отношениях, врезывались в память, как живые, и оставляли в ней свои характерные черты, дававшие возможность связывать с их именем, подобно именам Чичикова или Обломова, мысль о переживаниях, испытанных русской действительностью. Рудин и Базаров сделались именами нарицательными, которыми вызывалось совершенно определенное представление о душевном складе целого ряда лиц в тот или другой период русской жизни,— в сороковые годы застоя и подавления всякой общественной деятельности,— в шестидесятые годы — так называемой «эпохи великих реформ» — и в семидесятые годы обострения взглядов и направлений между противоположными лагерями. Оставаясь в содержании и форме своих произведений реалистом в настоящем смысле этого слова, Тургенев умел вкладывать в них душу и приемы поэта и, глубоко трогая читателя их заключительными аккордами, вызывать в нем настроение, часто близкое к умилению. Подобное этому впечатление и поныне производят его удивительные описания природы, проникнутые таинственной гармонией между нею и душевными настроениями. Отмечая в большинстве своих героев многие прекрасные свойства русского человека, он рисовал слабость и нередко полное отсутствие в нем воли и вялость характера, выражающиеся в наклонности *желать* и неспособности *хотеть*. Этим

«заеденным ковырянием» в своей душе он противополагал лишь одного Базарова и стремился внушить читателю симпатию к этому своему излюбленному представителю честной и грубой прямоты. К русской женщине Тургенев относился с гораздо большим доверием и возлагал на ее душевные силы великое упование. Ему принадлежит первое место среди изобразителей русской женщины и толкователей ее душевного строя [...]

Считая отличительным признаком таланта и даже вообще самостоятельного творчества устранение в произведении всего излишнего, Тургенев был всегда против передачи подробностей, в ущерб характеристическим чертам, почему его изложение является образцом сжатости и силы. Его завидное свойство владеть тайною не только художественного, но и нравственного внушения и уменье волновать не одною красотою, но и совестью своего таланта, сказывалось в скупой сдержанности его описаний в сценах любви. Там, где иной развязный писатель, привыкший, вместо страстей, изображать пороки, написал бы целые страницы плохо прикрытой или лживо оправдываемой порнографии, Тургенев ограничивался лишь несколькими, свободными от житейской грязи, строками.

Он не был служителем «искусства для искусства» в том узком смысле, в каком его понимали у нас многие, старавшиеся в исключительном поклонении самодовлеющему значению искусства отгородиться от нарушающей их эгоистическую безмятежность «злобы дня». В то же время он был и противником односторонней тенденции, которая, по точному своему смыслу, противоречит «достижению» в творчестве. Не предвзятая, навязанная, а иногда и угодливая пред властью или вкусами толпы идея владела им при создании его произведений, а личный опыт, вынесенный из вдумчивого созерцания жизни в различных ее проявлениях, из внимательного изучения характерных особенностей людей, встреченных им на жизненном пути. Он сам говорил, что никогда не исходил от *идеи,* подгоняя к ней действительность, а брался за авторское перо лишь тогда, когда *образ,* создавшийся под влиянием наблюдений над отдельными личностями или событиями в их житейском разнообразии, вставал пред ним, как ясный и целостный, и властно влек его к творчеству. Он не втискивал в заранее заготовленную, иногда мучительно придуманную,

фабулу плохо прикрытые вымышленными именами портреты живых лиц, а из сопоставления сложившихся у него готовых образов в различных житейских положениях создавал с тонким художественным и психологическим чутьем содержание своих произведений. Из большинства живых представлений, одушевляющих эти произведения, везде звучал голос его собственной непреклонной любви к людям, к правде, к душевной красоте. Он сознавал, что горькая действительность часто идет вразрез с утилитарным оптимизмом, проповедующим, не без натяжек, *пользу* добра, а потому в произведениях его выступает не польза, а *красота* добра, доставляющая нравственное наслаждение, которое, в свою очередь, способствует оздоровлению души. Проповедь этой красоты, не в отвлеченных рассуждениях, а в дышащих правдивостью изображениях, составляет один из выдающихся мотивов его произведений. Этому соответствовала, во многих своих проявлениях, и личная жизнь Тургенева. Мягкий в отношениях, доверчивый к людям, несмотря на неоднократный горький опыт, Тургенев бывал уступчив до слабости во всем, что не имело принципиального характера. Возможность огорчить отказом ставила его нередко в неловкие и тягостные положения. Он мог бы, с полным основанием, подписаться под последними словами умирающего Гладстона: «Доброта, доброта — вот что главное!» Она была написана на его обрамленном раннею густою сединою лице, от которого веяло светом и теплом. И осуществлял он эту доброту с трогательною стыдливостью, скрывая по возможности от тех, кому творил добро, свою в их пользу жертву временем, деньгами, тягостными хлопотами. Вот почему он часто сам нуждался в необходимых средствах и вынужден был работать даже в преклонные годы по вечерам, отдавая все дневные часы на выслушивание жалоб на судьбу, просьб о помощи и бездарных сочинений многочисленных посетителей и посетительниц, из которых некоторые потом на него же и клеветали, подобно той кропательнице фельетонов, которая печатно заявляла, что Тургенев принимал в ней живое участие в Париже, чтобы выпытывать у нее темы для своих сочинений. Он писал друзьям и в редакции близких ему журналов и газет, рекомендуя им начинающих авторов, невольно преувеличивая, движимый желанием помочь, сомнительные достоинства их произведений,— прибегал к «pia fraus» (благочестивой лжи), выдавая особо нуждав-

шимся между ними деньги, якобы полученные за их принятые для печати труды, умоляя редакции «не выдать его»,— ездил к знаменитому парижскому врачу, чтобы уплатить ему крупный гонорар за лечение бедной больной девушки, уверив последнюю, что ей следует платить лишь несколько франков,— назначил всю плату за исполнение своих драматических произведений нуждавшейся жене своего приятеля,— отдавал свои, довольно крупные, произведения в разные благотворительные сборники — и т. д. Умея соединять объективную справедливость с милосердием, он находил,— в своей жизни осуществляя это,— что человеку следует научиться, при виде действительного падения или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать без тайного самоуслаждения собственной силой, со всяческим смирением и пониманием естественности, почти неизбежности вины. Поэтому для него «безобразие самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродетели» было едва ли не противней «откровенного безобразия порока». Во многих его произведениях чувствуется его вера в возможность нравственного искупления вины и сочувствие подвигу, который с этой целью совершает иногда павший, но не дурной русский человек.

Один из выдающихся мотивов в творчестве и письмах Тургенева — это скорбь души, смущенной бесплодностью и безнадежностью жизни. В первых произведениях его — и отчасти в поэме «Параша» — еще сквозит ощущение радости жизни и молодых надежд, а в «Стихотворениях в прозе» («Посещение», «Лазурное царство», «Как хороши, как свежи были розы») слышится больной вздох при воспоминании об этой радости и надеждах. В 1873 году, пятидесяти пяти лет от роду, находя, что похвалы и порицания его таланту мало трогают его, «как тень, бегущая от дыма», он прибавляет: «За несколько недель молодости, самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости—отдал бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если б я был им». Почти во всех тех из остальных произведений, где автор по опыту и наблюдениям приходит к *личным* выводам о цели и смысле жизни, проходит грустный и даже безотрадный взгляд на нее. «Пока можно обманываться и не стыдно лгать»,— говорит он,— «можно жить и не стыдно надеяться», но стоит частичной истине стать нам доступной,— человеку остается, «чтобы не погрязнуть в тине самозаб-

вения и самопрезрения, спокойно отвернуться от всего и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее доступное ему достоинство — достоинство сознания собственного ничтожества».— «Тайный смысл и разгадка жизни есть постоянное отречение; она только того не обманывает, кто не размышляет о ней и ничего от нее не требует; нужно спокойно принимать ее немногие дары, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут». Он писал Флоберу: «Après quarante ans il n'y a qu'un seul mot qui compose le fond de la vie: *renoncer»* [1]. А в одном из своих русских писем, указывая на тяжесть жизни после сорока лет, причем человек несколько успокаивается лишь под влиянием холодка, веющего от могилы, он вспоминает петербургскую старуху-немку, которая говаривала: *«Жисть* подобно есть мух: *пренеприятный наксеком;* надо терпейть». В 1877 году он пишет тому же Флоберу: «A soixante ans la vie devient absolument personnelle et défensive contre la mort; et cette exagération de personnalité fait qu'elle cesse d'avoir de l'intérêt même pour la personne en question» [2]. Мрачные стороны жизни постоянно останавливали на себе его внимание, и он удивлялся, что существуют писатели, которые жалуются, что все *сюжеты исчерпаны.* «Как подумаешь,—пишет он Ж. А. Полонской за год до смерти,— куда ни ступи, куда ни повернись — в жизни драма».

При таком взгляде на жизнь, который, конечно, явился результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», утешением могло бы служить сознание ее преходящего значения ввиду загробного существования. На помощь в борьбе с унынием и безнадежностью могло бы явиться чувство веры, но его у Тургенева не было. Он не кичился этим, как многие из его современников, не отступал пред силой сомнений и не был способен быть полувером,— одним из тех многих, о ком народная поговорка метко говорит: «Духом к небу парит, а ножками в аду перебирает». Он пишет госпоже Ламберт: «Земное все прах и тлен,— и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру —

[1] «После сорока лет единственное слово, которое составляет сущность жизни, есть о т р е ч е н и е» *(фр.).*

[2] «В шестьдесят лет жизнь становится безусловно личной и оборонительной против смерти; и это преувеличение собственной личности делает то, что она теряет интерес даже для данного лица» *(фр.).*

имеет все и ничего потерять не может».— «Почему вы полагаете,— пишет он в другой раз,— что Полинька... не ходит в церковь? Я не только «не отнял бога у нее» — но я сам с ней хожу в церковь. Я бы себе не позволил такого посягательства на ее свободу — и если я не христианин— это мое личное дело — пожалуй, мое личное несчастье». Не веруя в загробное существование души, он считал и бессмертие обезличенного духа равносильным нирване. Черная бездна небытия и белая бездна, в которой тонет все, что составляло индивидуальную личность, были для него равносильными отрицательными понятиями, а с переходом души в иной мир, с сохранением своих личных свойств и груза житейского прошлого не соглашался его разум. В «Стихотворениях в прозе» и в последних строках «Отцов и детей» мелькают намеки на пантеизм автора; но и этот взгляд на слияние с природой, при котором смерть не уничтожает составных частей, а лишь разрешает их от прежнего единства, давая им существовать при иных условиях, нигде не выражен им с твердой определенностью. Поэтому в глазах Тургенева земная жизнь, со своей «холодной необходимостью и естественностью страданий и смерти», несмотря на прочувствованные им печальные ее стороны, была альфой и омегой существования. За нею виднелась лишь, как роковой и неизбежный конец всего,— смерть.

В этом коренится другой выдающийся мотив творчества у Тургенева, проходящий, как красная нить, в большинстве его произведений: это — страх смерти и ужас и отвращение, вызываемые мыслью о ней. Она не являлась ему, как Баратынскому, в виде «светозарной красы», в чьей руке «олива мира, а не губящая коса», и не обещала ему «разрешения всех загадок»... «Курносая гадина»,— по выражению Шопенгауэра,— смерть представлялась Тургеневу как что-то тяжелое, мрачное, «изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы»... неизъяснимо противное в своем «приникании к земле», как «паук... к пойманной мухе»,— веющее «тлетворным», гнилым «холодком», от которого «тошнит на сердце и в глазах темнеет и волосы встают дыбом»... «Как грозный мрак, чернеющий впереди», вызывая мучительное содрогание при одной мысли о ней, она посылает болезни, как свои визитные карточки,— летает между людьми, как страшное насекомое, возбуждающее ужас и отвращение,— заставляет человека метаться, «как заяц на угонках», при виде

«ползущей, плывущей на него могилы, этой ужасной ямы», которой нельзя никак избежать,— и с ужасом глядеть на стоящую за его плечами старуху, своею зловещей усмешкой молчаливо говорящую: «Не уйдешь!»... Представление о смерти, о разложении безжалостно преследует Тургенева. Вместо лиц бойкой и оживленной толпы, наполняющей роскошную залу и восхищающейся «божественной и бессмертной» певицей, ему чудится «мертвенная белизна черепов», «шары обессмысленных глаз» и «синеватое олово обнаженных десен и скул»... Рекомендуя старику, переживающему темные, тяжелые дни, уйти в светлые воспоминания прошлого, он советует «бедняку» быть осторожным и *не глядеть вперед*. Не глядеть потому, что впереди неизбежная смерть, которая «подкрадывается к человеку воровски, высасывает из него понемногу ум, дух, любовь к красоте,— все, что составляет сущность его», оставляя на время жить одно тело. Пишущему эти строки приходилось не раз сходиться с Тургеневым за субботними обедами у редактора-издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича. Тургенев приходил обыкновенно раньше и в тесном кружке близких знакомых рассказывал о своих снах и предчувствиях. В его словах и вызываемых им образах явственно чувствовался ужас пред неотвратимостью смерти, пред тем, что над ним «кружит его ястреб». Эти рассказы во многом, по содержанию и внушаемому ими чувству, как будто подсказывали последние главы «Клары Милич», тогда еще не появившейся в свет.

Но если Тургенева тревожила и удручала неминуемость смерти, то уменье умирать безропотно и достойно он очень ценил. С удивлением и, можно сказать, с некоторой завистью отмечает он, как спокойно ждет смерти русский человек, как отдается ей холодно и просто, «словно обряд совершает»... Джиакомо Леопарди, так во многом сходный с Тургеневым,— и в условиях своего детства и молодости, и в своем взгляде на тщету и суетность жизни и на мимолетность призрачного счастья,— считает, что на свете есть лишь две прекрасные вещи: любовь и смерть (la gentilezza di morir).

Мы знаем, как относился Тургенев к последней из этих прекрасных вещей. Посмотрим на его отношение к первой. «Любовь сильнее смерти и страха смерти! — восклицает он за пять лет до своей кончины,— только ею, только любовью держится и движется жизнь». Недаром

отвел он ей такую господствующую и исчерпывающую роль в своих произведениях, сделав ее стержнем, вокруг которого вращаются все события и лица его рассказов. Богатые по содержанию, чудесные по форме страницы посвящены им описанию возникновения и развития любви, то бурной и почти внезапной, то тихо и таинственно зреющей в глубине еще не отдающего себе отчета сердца. Но общий вывод его печален... «Любовь,— по его определению,— вовсе не чувство. Это болезнь души и тела. Она не развивается постепенно,— в ней нельзя сомневаться, с нею нельзя хитрить. В ней нет равенства и так называемого свободного единения душ. В ней одно лицо — раб, а другое — властелин, и сама она — цепь, и цепь тяжелая». Такой взгляд на любовь встречается у Тургенева не раз. Ракитин в комедии «Месяц в деревне», некоторыми сторонами своей личности напоминающий автора, говорит студенту Беляеву, думающему, что быть любимым женщиной, которую любишь, великое счастье: «Всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь... Вы, может быть, еще узнаете, как эти нежные ручки умеют пытать, с какой ласковой заботливостью они по частичкам раздирают сердце... Вы будете, как больной, жаждать покоя, самого бессмысленного, самого пошлого покоя, будете завидовать всякому свободному и беззаботному человеку. Вы узнаете, что значит быть порабощенным — и как постыдно и томительно это рабство... и какие пустячки покупаются такою дорогою ценою»... Неподражаемый в своем мастерстве изобразитель женщины — и преимущественно девушки — в ее чистой, доверчивой, самоотверженной и верной до конца любви, Тургенев не мог в то же время отрешиться от двух образов, представлявшихся ему с той настойчивостью, с которой иногда преследуют человека так называемые *навязчивые* слова, мысли, картины. В целом ряде произведений, разделенных большими промежутками времени, он рисует слабовольного, нерешительного человека, которому «кажется», что он искренно полюбил и вызвал любящий отклик в другой душе, и затем пугающегося этого чувства или почти без сопротивления отдающегося малодушно другому, всегда более низменному чувству, налетающему внезапно и победительно. И рядом он, так сказать, иллюстрирует свой взгляд на любовь, как на болезнь, изображая властную и сильную своей красотой женщину,

с «ястребиными глазами, выражающими одну безжалостную тупость и сытость победы» над обращенным в постыдное и безысходное рабство мужчиной. Эти два образа, в различной окраске, но единые по замыслу, с особой яркостью проходят — то вместе, то поодиночке — в «Переписке», «Дыме», «Вешних водах», «Асе», «Рудине», «Фаусте» и т. д. В первых трех из них в сущности один и тот же сюжет: перед человеком, добрым и благородным, но слабым и впечатлительным, открывается спокойная семейная жизнь с любимой искренно и нежно девушкой; и вдруг в лице чарующей женщины, уже изведавшей жизнь и ее соблазны, в его существование вторгается всепобеждающая страсть и становится на пороге новой жизни, все в ней разрушая и подчиняя себе самого человека до унижения, до потери им собственного достоинства, почти до полного обезличения... Так налетевший ураган среди казавшегося безоблачным неба сразу разрушает почти доконченную постройку и, разметав сложенный в ней очаг, в своем бурном вихре увлекает и самого строителя. «Как собака, я не мог жить нигде, где она не жила,— я оторвался от всего дорогого, от родины»,— говорит у Тургенева один из таких захваченных ураганом людей. То же происходит и с Саниным, героем «Вешних вод». Достаточно напомнить его отъезд из Висбадена,— на узенькой скамеечке коляски, в ногах у господина Полозова и его хищной супруги,— и все, что он испытывает, когда пылающий гневом Пантелеоне грозит ему и кричит: «Codardo! Infame traditore!»[1], а пудель Тарталья лает, и «самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением». И, затем, долгие годы в Париже, и все унижения и муки раба, которому не позволяют ни ревновать, ни жаловаться...

Было бы неосновательно и недостойно копаться в личной жизни Тургенева, отыскивая в ней,—как это делалось некоторыми любителями у нас,— обстоятельства и положения, лично пережитые им и послужившие несомненной фактической опорой для этих картин в его произведениях, подобно прообразу Вертера у Гете. Зоркий наблюдатель, глубокий мыслитель и удивительный художник, Тургенев,— как уже сказано выше,— из проходившей перед ним жизни брал ее отдельные проявления, как кусочки мозаики, и складывал из них целую печальную картину или цельный образ, создавая которые, он

[1] Трус! Гнусный предатель! *(ит.)*

исходил не из голой фактической действительности, но из открывавшейся перед ним возможности. Он рисовал психологический или бытовой этюд, а не снимал фотографию — и этим именно, кроме таланта, отличался от некоторых из наших писателей, которые свою простую и точную до всех мелочей и оттенков светопись считают художественным реализмом. Образы Тургенева слагались у него по частям и зрели долго, постепенно завладевая им и приобретая в его представлении такую жизненность, что он составлял формуляры действующих лиц и вел дневник Базарова, а над страницами, в которых описывается его смерть, плакал. Несомненно, однако, что в кусочки мозаики входили подчас и личные скорбные чувства художника. Так, его тяготило одиночество, отсутствие личной семьи... Он чувствовал потребность своею жизнью «пугливо *прижаться* к другой жизни» и завидовал приютившимся под навесом во время грозы двум голубям, которые нахохлились оба и чувствуют каждый своим крылом крыло соседа. «Хорошо им! — восклицает он.— И мне хорошо, глядя на них, хоть я и один, один, как всегда!» Ему хочется своего очага, разделенного с любимой женщиной, около которого осуществляются «блаженная прелесть однообразия и сходства нынешнего дня со вчерашним», полная «бестревожности». Уже с 1856 года в своих письмах он говорит, что осужден на цыганскую жизнь и одиночество бессемейного бобыля, которому нигде и никогда не свить себе гнезда. Он советует в 1860 году Колбасину жениться непременно, послушав совета холостяка, который знает, как горько им быть. В одном из писем к Флоберу он приводит слова столь ценимой им Жорж Занд: «Le solitaire n'est que l'ombre d'un mortel, et celui qui n'est point aimé est seul partout et avec tous»[1]. А в 1861 году, поздравляя Анненкова с женитьбой, пишет: «Слава богу! Свил себе человек гнездо, вошел в пристань — не все мы, стало быть, еще пропали! То, о чем я всегда мечтал для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовал образ Лаврецкого,— свершилось над Вами...».

Мысль о браке долго не покидала Тургенева, хотя и была мечтой из разряда «бескрылых желаний», о которых говорит Пушкин. Лишь однажды мечта эта была близка к осуществлению по отношению к его дальней

[1] «Одинокий — только тень человека, и тот, кто никем не любим,— один всюду и со всеми» *(фр.)*.

родственнице О. А. Тургеневой, но так и осталась «бескрылым желанием». Замечательно, что, за исключением счастливой четы стариков Базаровых и такой же четы Фимушки и Фомушки, в произведениях у Тургенева почти не встречается счастливых браков. Наблюдательный глаз художника, очевидно, подметил, что спокойный и прочный по внешности семейный союз очень часто таит в себе тягостный компромисс, при котором о счастье нечего и думать, и что слова Гиппократа: «Брак — лихорадка навыворот: он начинается жаром, а кончается ознобом» и Монтеня: «Счастливое супружество всего скорее мыслимо между слепой женой и глухим мужем», не совершенно лишены основания. Если отбросить те связи молодости,— когда в Тургеневе лишь «кровь кипела» и был «сил избыток», и где, употребляя его же выражение, любовь «и не ночевала»,— и не останавливаться на его мимолетных увлечениях изящными светскими девушками, которых он сам, шутя, называл своими «пассиями», то приходится признать, что вся его жизнь, за исключением двух эпизодов, о которых речь будет ниже, была, в смысле жизни сердца, наполнена несокрушимой, восторженной привязанностью к одной замечательной, богато одаренной женщине.

В начале сороковых годов на Петербургской оперной сцене выступила знаменитая певица Полина Виардо-Гарсиа («проклятая цыганка», по отзыву матери Тургенева), о чарующем голосе и удивительном искусстве пения которой с единодушным восхищением отзываются все современники[...] Близкий друг Тургенева Полонский в конце семидесятых годов так описывает в своем послании Тургеневу впечатление, которое производил он, слушая пение Виардо:

«Но чу! Гремят рукоплесканья! — Ты дрогнул... жадное вниманье,— приподнимаешь складки лба,— как будто что тебя толкнуло...— Ты тяжело привстал со стула,— прижал к глазам лорнет двойной — и... побледнел: она выходит. Она вошла... — Она поет... О, это вкрадчивое пенье! — В нем пламя скрыто, нет спасенья.— Восторг, похожий на испуг,— уже захватывает дух.— Ты замер...»

Привязанность к Виардо обессилила и связала его волю, сконцентрировала его чувство и ввела его в заколдованный круг неотразимого влияния властной и выдающейся женщины. Он отдал себя, свое время и сердце всецело ей и всей ее семье[...] Находя подчас, что с этой

привязанностью надо кончить, что довольно «платить безумству дань» и «сидеть на краешке чужого гнезда», он этого сделать был не в состоянии. Сила годами сложившегося обаяния, прочно внедрившегося в его чуткую душу художника,— сила постоянно поддерживаемого восхищения и, наконец, многолетней привычки удерживала его именно на этом «краешке». Эта привязанность обрекла его, великого русского писателя, на сочинение французских либретто к операм Виардо и составление объявлений для «Journal de St.-Pétersbourg» о том, что «l'illustre (ou la célèbre) cantatrice P. V. vient de publier un album»[1] и т. д.,— на исполнение ее мелких и крупных, совершенно прозаических поручений,— на выступления в роли Людоеда, в рыжем парике на почтенных сединах, пред «чрезвычайными особами», удостоивавшими посещать домашние спектакли Виардо в Баден-Бадене. Она же вызывала ряд очень крупных материальных жертв Тургенева в пользу двух дочерей Виардо — Клавдии и Марианны — и оставление этому семейству большой суммы, полученной им за купленное у него право собственности на его сочинения... В редкие посещения родины он готов был, покорно и без возражений, лететь по первому призыву в Париж, или, наоборот, явившись по такому же призыву из Парижа в Баден-Баден, подчиниться требованию не возвращаться туда, где умирал его друг Герцен...

Представляя себе неприглядную роль, которую подчас приходилось Тургеневу играть в отношениях его к Виардо и ее семейству, было бы, однако, несправедливо думать, что на его долю не выпадало и часов своеобразного, возвышенного счастья. Ощущение этого счастья не могло быть, по их личным свойствам и по условиям их житейской обстановки, тем длительным и непрерывным, о котором он тщетно мечтал, но оно было — и щедро оплачивало различные проявления привязанности Тургенева. Восприимчивая и нежная, одухотворенная и отзывчивая натура последнего жаждала художественного удовлетворения; он умел ценить вдохновение и разделять его; ему бесконечно было дорого воплощение высшего творчества в живом существе, недосягаемом в области своего призвания, и в то же время близком, доступном ежедневному общению... Тайна поэзии жизни и любви, от-

[1] «Известная (или знаменитая) певица Полина Виардо только что издала альбом» (*фр.*).

крываемая искусством, создающая для такого существа «мгновения бессмертия», приводила в восторг Тургенева. Все это он находил у Виардо и в ней. «Стой! — восклицает он.— Останься навсегда в моей памяти такою, какою я теперь тебя вижу, когда с губ твоих сорвался последний вдохновенный звук, глаза не блестят и не сверкают, а меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую тебе удалось выразить»... Даже когда ему хотелось в половине шестидесятых годов сказать всему, из чего слагалась современная ему жизнь: «Довольно!» — он обращается к «дорогой незабвенной подруге» и, признавая ее власть над собою, сладостно чувствует тяготение ее руки на своей склоненной голове. Недаром кончал он многие письма к Виардо обращением: «Gott segne Sie tausend mal, liebes, teueres Wesen, das Beste, was es auf der Erde gibt, vielgeliebte...»[1].

Помимо указанных минут высокого наслаждения, искупающих многие тяжелые мелочи жизни, Тургенев, несомненно, встречал со стороны Виардо частое дружеское внимание, сочувствие своим трудам и понимание их значения. Он читал с нею «Детство» Толстого, на русском языке. Она замечала и исправляла некоторые анахронизмы в его повестях, незаметно для него проскользнувшие. Наконец, она помогала ему советами в деле воспитания его дочери и в тягостных заботах об этой несчастной женщине, когда ее муж оказался корыстным и буйным негодяем. Вдали от родины, он вовсе не находился в положении человека, которому, по выражению Достоевского, «некуда больше идти»... В семье Виардо он не был *гостем,* а был *своим,*— был не только умиленным почитателем высокодаровитой, образованной и умной женщины, но и другом ее и ее мужа, послужившего своими трудами ознакомлению французской публики с произведениями русского писателя. «Мужчины, пережившие свою молодость,— говорит Вольтер,— почти все нуждаются в обществе приветливой женщины, и ничто так не побуждает к деятельности, как иметь свидетелем и своим судьею любимую женщину, уважением которой дорожишь». Этой нужде удовлетворяла дружба Тургенева с Виардо. Благодаря ей он познакомился и сошелся с Жорж Занд и многими выдающимися французскими писателями, художниками и артистами. В свою очередь,

[1] «Да благословит Вас бог тысячу раз, милое, дорогое существо,— лучшее, что есть на свете,— возлюбленная...» *(нем.).*

зная, как эти люди ценили Тургенева, Виардо, конечно, гордилась тем, что под ее крылом приютился такой человек — и к приманке своего пения присоединяла присутствие знаменитого русского писателя. Но несомненно, что на его горячую привязанность она отвечала в течение многих лет лишь дружбой — этой *любовью без крыльев* (l'amour sans ailes), появление которых составляет загадку судьбы каждого человека, в которой никого винить не приходится.

Одной дружбы, как бы возвышенна она ни была, для полноты личного счастья или даже для полноты существования,— мало. Сердце требует не одного участия и сочувствия, но и ласки — и притом обоюдной, требует исключительного отношения к другому существу, жажды его присутствия, ощущения его близости. В молодости человек в оценке своего чувства часто заблуждается, принимая огонек физической страсти за подлинную любовь или разменивая свое чувство на мелкую монету нетребовательных увлечений; в зрелом возрасте, становясь тем, что в старину определялось словом «средовек», он более разборчив в своих чувствах и сознает их истинное значение и цену... А в старости потребность любви, неудовлетворенная за предшествующую жизнь, в связи с душевной болью об ушедшей бесплодно молодости, вспыхивает и разгорается с особой силой. Недаром говорит Тютчев: «О, как на склоне наших лет,— нежней мы любим и суеверней...— пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность.— О, ты, последняя любовь,— блаженство ты и безнадежность...». Для такой именно любви раскрывалось старческое сердце Тургенева. Несмотря на его убеждение, что человек должен обращаться сам с собою строго и даже грубо, недоверчиво (письма к госпоже Ламберт), ему хотелось верить, что и другое, милое ему, существо своим сердцем ему «весть подает». Он писал госпоже Ламберт: «В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать,— и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызывать к жизни то, что еще не созрело». Поэтому в последнее десятилетие своей жизни он дважды находился во власти чувства, не похожего на одностороннее восхищение, за которое платят одним дружеским расположением,— чувства, гораздо более сильного и ост-

рого Таковы были его отношения к баронессе Ю. П. Вревской, в 1874—1877 годах, начавшиеся дружбой и признанием с его стороны, что ближайшее знакомство с нею оставило глубокий след в его душе и дало ему почувствовать, что в его жизни стало одним существом больше, к которому он искренно привязался. Но вскоре это «несколько странное, но хорошее чувство» переходит у него в «дружескую любовь», а в последнюю настойчиво вторгается страсть, так что ему становится жутко при мысли о возможности быть прижатым любимым другом к сердцу не по-братски... Быть может, несмотря на желание Тургенева поскорее «спокойно вплыть в пристань старости», его amitié amoureuse[1] разыгралась бы больше и сильнее, глубже захватила бы его сердце, но вмешалась давняя его неприятельница — смерть — и унесла самоотверженную девушку с нежным, кротким сердцем, пошедшую в сестры милосердия и погибшую, при полном отсутствии ухода, от тифа в разоренной болгарской деревушке. На ее безвременную могилу Тургенев возложил «поздний цветок» стихотворением в прозе «Памяти Ю. П. Вревской»... Однако потребность любить, приласкаться и отогреться в разделенном чувстве не покидала его. Для него, бедного старика, «опасающегося заглядывать вперед», было недостаточно осеннего солнца, которое, как говорится у Некрасова, «стоит, не грея, на лазури, а летом и сквозь сумрак бури бросает животворный луч...». Таково солнце дружбы, а ему необходимо было солнце любви, с его животворным лучом. Пусть тучи ревности, недоразумений, сомнений застилают по временам этот луч, пусть нередко среди надвинутого ими сумрака проливаются дождем слезы преходящих и кажущихся охлаждений — это ничего!.. Стоит проглянуть яркому лучу — и он согреет еще сильней прежнего, и еще приветней покажется все окружающее...

17 января 1879 г. на сцене Александринского театра, в бенефис Марии Гавриловны Савиной, была поставлена комедия Тургенева «Месяц в деревне», написанная им в 1850 году. Простая, по-видимому, история, представленная в ней, полна психологического интереса. Обыденная и весьма не редкая тема развита автором с тончайшей наблюдательностью над глубокими переживани-

[1] Влюбленная дружба *(фр.)*.

ями женской души. В сцене борьбы долга с чувством,— прочно сложившегося уклада жизни с нежданно-негаданно налетевшею страстью,— тяжелого решения с внезапной нерешительностью,— чувства долголетней дружбы с безотчетным и безоглядным стремлением к разрыву с недавним прошлым — Тургенев показал себя великим мастером. Зритель и слушатель застают спокойную, уравновешенную жизнь в одном из «дворянских гнезд», среди которой теплится чистая, немного романтическая, построенная на отвлеченностях и сходстве эстетических вкусов, дружба хозяйки дома с «другом дома»,— а к концу комедии пред нами разыгрывается житейская драма, разбивающая сердце девушки и сладкие, хотя и смутные, надежды выносливого и преданного друга. Душевные переживания хозяйки дома — Натальи Петровны,— влюбившейся в течение месяца в молодого студента, учителя ее сына, и теряющей,— под влиянием бросившегося ей в голову вина страсти, не испытанной дотоле,— не только самообладание, но даже и жалость к юной и бедной сироте — Верочке — создали, в глазах Тургенева, ей первенствующее место среди сценических исполнительниц его труда. Личность Верочки, которая под влиянием постепенно, подобно цветку, распустившейся в сердце ее любви к милому, жизнерадостному студенту — Беляеву — в течение месяца из ребенка обращается в душевно взрослую женщину, вдруг понявшую лукавство и хитросплетения своей неожиданной соперницы,— оставлена была Тургеневым, при мысли о ее сценическом воплощении, на втором плане. Но Савина, талант которой к концу семидесятых годов уже успел вполне расправить свои широкие крылья, глубоко вдумалась в произведение Тургенева и нашла, что роль Верочки не только равносильна роли Натальи Петровны, но, пожалуй, и превосходит ее по задаче, даваемой артисту-художнику. Чувство Верочки к Беляеву выше и чище вспышки страсти у Натальи Петровны,— и когда автор, оканчивая комедию и избегая избитого морализирования, показывает замужнюю женщину остановившеюся, не по своей воле, на краю обрыва, а душевно возмужавшую девушку уносящею свое опустошенное сердце в болотную тину «брачного сопряжения»,— все симпатии и зрителя, и воплотителя ее образа на сцене — на стороне Верочки. Поэтому Савина и взяла роль Верочки. Узнав об этом, Тургенев был удивлен и спросил артистку: «Что же там играть?» А за-

тем, когда впервые увидел на сцене, что создала из этого, лишь намеченного, образа Савина, он воскликнул, пристально вглядываясь в лицо артистки в ее театральной уборной: «Верочка... Неужели эту Верочку я написал?!.. Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне...» И он сразу признал большой талант в артистке, умевшей разработать и углубить этот образ, перенеся центр тяжести пьесы с томимой однообразием и эпикурейской безмятежностью зрелой женщины на почти еще девочку, в белом передничке, с заплетенной косой и большим бумажным змеем в руках,— и показать, сколько добра и самопожертвования может таить в себе такое юное, впервые раскрывшееся для любви сердце... На другой день после присутствия на представлении «Месяца в деревне» Тургеневу, встречаемому горячими овациями публики, представился случай вновь убедиться в отзывчивом на замысел автора и творческом понимании его произведений Савиной. Ему пришлось с нею вместе читать на литературном вечере в пользу Литературного фонда диалог графа Любина и Дарьи Ивановны Ступендьевой из его комедии «Провинциалка», требующей особой тонкости игры со стороны последней, умело, хитро и быстро обращающей холодного петербургского сановника во влюбленного и угодливого старика. Кто видел Савину в «Провинциалке» — не мог не поразиться ее интонациями, игрою ее лица, то томным, то торжествующим блеском ее глаз именно в разговоре с графом,— тот может себе представить Тургенева при виде *такого* исполнения. Недаром Достоевский сказал ей в этот вечер: «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости,— прибавив не без яду,— а старичок-то пришепётывает».

С этого времени начинается ближайшее личное знакомство Тургенева с Савиной. Она, очевидно, произвела на него сильное впечатление, не только как изящная в своей отзывчивости женщина, но и как чуткая артистка, знающая цену и свойства своего дарования и умеющая его применять со всей его силой к горячо ею любимому искусству. Письма к ней и свидания с нею потянулись длинной чередой. Первые очень скоро вышли из рамок условной вежливости, приняли задушевный тон и вскоре стали отражать в себе нарастающую привязанность Тургенева, которую с полным основанием можно назвать любовью. В глазах его Савина, вероятно, имела не мень-

ше блестящих достоинств, чем Виардо. И она возбуждала восторг публики, и ей иногда хотелось сказать во вдохновенные минуты ее творчества: «Стой! Какою я теперь вижу, останься навсегда такою в моей памяти...»— и с нею можно было делиться своими мечтами и планами, замыслами и откровенным мнением о своих современниках. Но она была, сверх того, своя, родная, русская, которой, конечно, были более понятны и близки чувства и мысли Тургенева по отношению к России, к ее народу и его языку. И, наконец,— чего уже не было *там,*— она блистала и очаровывала своей молодостью. Во время первых представлений «Месяца в деревне» ей было всего 25 лет, а знакомство с нею Тургенева совпало с тем временем в его жизни, когда русская публика его, как он говорил, «простила», и он, приезжая на родину, повсюду был встречаем выражениями общей восторженной любви. Это его молодило, вливало в него новую бодрость. Отложивший вскоре после «Призраков» и «Довольно» перо с непоколебимым решением никогда больше не брать его в руки, он почувствовал, что литературная жилка в нем вновь зашевелилась, и спрашивал себя: «Неужели из старого, засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки?...» А между тем старость вступала в свои права и напоминала о «судьбой отсчитанных днях». Вирхов как-то сказал, что на каждый день после шестидесяти лет надо смотреть, как на данный «на чаёк» по божьей милости... Тургеневу в 1879 году шел шестьдесят первый год: жизнь его близилась к концу, как бы примиряя его с собой трогающими звуками общего признания, и возвращала его к тому, что уже казалось навсегда умершим. Недаром в том же 1879 году он написал: «На мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души — и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня». Там, назади, где горел этот огонь, жили воспоминания о неудовлетворенной сердечной жажде полного и равносильного чувства — и жажда эта, при новом подъеме душевных сил, почувствовалась опять. Любовь к «равнодушной» природе, как бы она ни была сильна, любовь к человечеству в ее отвлеченности — не могут удовлетворить такую жажду. Не утолит ее и сознание благорасположения коллективного существа — толпы, публики, общества. Оно ведь очень изменчиво: путь в Капитолий не должен

устранять мысль о Тарпейской скале... Нужна встреча с живым, индивидуальным существом, на котором гармонически сойдутся и сплетутся затаенные сердечные мечты. Нет сомнений, что в сердце Тургенева не раз стучалась надежда встретить и осуществить столько раз воспетую им любовь, и ему приходили на память слова боготворимого им Пушкина:

И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И он полюбил Савину. Не только в содержании писем его, в подписях под ними, но даже и в обращениях в их заголовке можно проследить развитие охватившего Тургенева чувства, с его приливами и временными отливами, с вызываемыми им мечтами и убивающею их безнадежностью. Так, в письмах, адресованных всегда «милой» или «милейшей» Марии Гавриловне, встречаются обращения: к «милому другу», к «душе моей», «моей голубушке», «милой умнице», к «прелестной кошечке», «сизокрылой голубке». Они подписаны сначала — «искренне преданным», который скоро сменяется — «душевно преданным», «искренним», «старым», «неизменным», «верным другом», а затем — «любящим» и «искренне любящим» ту, которой адресованы письма. Уже через полгода после знакомства с Савиной, причем он все лето провел за границей, Тургенев в октябре 1879 года пишет Савиной, что целует ее руки с «нежным полуотеческим, полу... другим чувством». В первый же день своего следующего приезда в Россию, 1 февраля 1880 г., он пишет Савиной о своем желании свидеться и шлет в течение шести недель двенадцать писем, в которых, между прочим, просит, несмотря на свое нездоровье, препятствующее выходу из дому, достать ему билет на бенефис Нильского за какие угодно деньги, лишь бы видеть ее в новой роли, и подшучивает над собою, говоря: «Старцам здорово быть без ума и совсем свихнуться». За это время чувство его испытывает некоторые уколы, не встречая соответствующего по горячности отклика, так что 15 февраля он выражает надежду: «Авось, величественность смягчится»; 30 марта — новый прилив нежности и поднесение Марии Гавриловне, в день ее рождения, маленького золотого браслета, надпись внутри которого должна напоминать о Тургеневе. Но затем снова, по его словам, выходят между ними разные «дипломатические тон-

кости и экивоки». Желая, однако, расстаться *приятелями,* он зовет ее вечером на чашку чаю, чтобы побеседовать *по-старому, по-дружески.* Беседа такой и была, так как уже через день, из Москвы, вечером в день приезда, Тургенев спешит написать, что из всех петербургских воспоминаний (а вспомнить было что) самым дорогим и хорошим осталась его корреспондентка, которую он просит верить в его искреннюю дружбу, прибавляя, что настроение его духа несколько грустное, но это все пройдет. Через неделю, отвечая Савиной, он пишет в один и тот же день два письма («вот старый как расписался»,— острит он над собою), в которых говорит, что чувствует, как искренно полюбил Марию Гавриловну, «ставшую в его жизни чем-то таким, с чем он уже никогда не расстанется». Через три дня в новом письме он мечтает о том, какие «два неповторяемые дня» пришлось бы прожить ему в Спасском-Лутовинове, если бы она осуществила свое предположение заехать туда по дороге на гастроли в Одессу. «О Вас я думаю часто,— пишет он,— чаще, чем бы следовало. Вы глубоко вошли в мою душу. Долго и нежно целую Ваши руки. Я *люблю* Вас». Мечты его так и остались мечтами, но он провожал Савину от Мценска до Орла, где его подбивала «отчаянная» мысль — схватить свою мимолетную спутницу и унести из вагона, вынудив тем остаться на сутки, но «к сожалению, благоразумие восторжествовало». Говоря об этом, он остроумно импровизирует корреспонденцию, которая могла бы явиться в газетах под заглавием: «Скандал в Орловском вокзале».

Письма, от 17 и 19 мая 1880 г., проникнуты недоумением пред силой чувства, внушенного Савиной, тихой грустью и страстной нежностью — и первое из них припечатано пушкинским кольцом-талисманом. Что ни делает в эти дни Тургенев, о чем ни думает, «где-то на дне души его звучит одна и та же нота», вызывающая в нем неотвязную мысль о том, что «час, проведенный в вагоне, когда он чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады»,— что «дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно-чудесное, захлопнулась навсегда», так как «вся его жизнь уже назади»... Эта «захлопнувшаяся дверь» отразилась на настроении Тургенева, так что, когда в августе того же года Савина была в Париже, он остался недоволен свиданием с нею,

причем они «сошлись и разошлись, как вежливые незнакомцы». Собираясь навестить ее в определенный час, он даже предполагал, что она может не оказаться дома, предпочитая проститься с ним издали. Эта «если не размолвка, то разлука», не обещающая *прежних* свиданий или, быть может, «встречи не иначе, как в театре», сопровождалась перерывами в переписке. Она была, очевидно, вызвана встречей Тургеневым,— который «не мог стереть неизгладимый след, оставленный Савиной в его жизни»,— ее будущего супруга — Н. Н. Всеволожского. Несколько месяцев продолжается внешнее охлаждение между ними, письма редки и коротки; но затем, узнав о плохом состоянии здоровья Савиной, Тургенев в ряде писем из Парижа зовет ее приехать погостить летом в Спасском, уверенный, что она поправится на черноземной почве, где он будет ее «носить на руках»,— и прежняя нежность снова сквозит в его письмах. «Милая Мария Гавриловна,— пишет он по поводу ее заявления, что она его крепко целует,— я Вас очень люблю — гораздо больше, чем бы следовало, но я в этом не виноват!»...

Пребывание Савиной в Спасском, одновременно с семейством поэта Полонского, было праздником для Тургенева, да и для всех. Читая своим гостям, еще в рукописи, «Песнь торжествующей любви», совершая с ними прогулку в лес, чтобы слушать «ночные голоса», он изучил ближе, в повседневном общении, свою гостью, в честь которой комната, ею занимаемая, была названа «Савинской». «Я еще короче узнал Вас в эти дни,— писал ей Тургенев,— со всеми Вашими хорошими и слабыми сторонами—и именно потому еще крепче привязался; Вы имеете во мне друга, которому можете довериться».— «Вы очень привлекательны и очень умны, что не всегда совпадает»,— прибавляет он, целуя ее «с нежностью — ну, если не отца, так дяди»... Савина уехала из Спасского 18 июля 1881 г., а 10 августа Тургенев получил он нее письмо из Перми, от 29 июля, давшее ему повод думать, что она выходит замуж за Всеволожского. Отвечая лучшими пожеланиями счастья и бодрости, он говорит о неизменности своих чувств и прибавляет: «Поглядел бы я на Вас в ту минуту, когда провозглашали многолетие невесте! Во-первых, Ваше лицо всегда приятно видеть, а во-вторых, оно должно было быть особенно интересным — именно тогда. Когда мы увидимся (если увидимся), Вы мне все это расскажете с той тонкой и худо-

жественной правдивостью, которая Вам свойственна — и с той милой доверчивостью, которую я заслуживаю — не как учитель (с маленьким или с большим У), а как лучший Ваш друг»...

Итак, остается одна *дружба.* Для взаимной любви нет уже более места — и печальная неодолимая привычка к «краешку чужого гнезда», как могучий магнит, снова тянет Тургенева в Париж. «Что касается до меня,— пишет он через десять дней,— то я хоть телесно еще в Спасском, но мысленно уже *там* — и чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской»... Но через два месяца, когда известия о предстоящем браке Савиной еще не подтверждаются, услужливое воображение рисует ему целый день, который можно бы провести в Венеции или Риме двум чужестранцам — «высокому, неуклюжему, беловолосому и длинноногому, но очень довольному» — и «стройненькой барыне, с удивительными черными глазами и такими же волосами... быть может, тоже довольной». И во всех последующих письмах вплоть до апреля 1882 года, когда Тургенев заболевает тяжкой, измучившей его болезнью, сведшей его через полтора года в могилу, звучит та же нежность любви, прикрываемой названием дружбы. Но когда безнадежность его состояния (о чем его предупредительно извещали его деликатные московские так называемые «друзья») становится и для него очевидной, когда он окончательно «присмирел духом», стал «похеренным человеком» и «глядит в гроб, а не в розовую будущность»,— он дает волю своему истинному чувству, заявляя Савиной, что, крепко ее любя и будучи к ней привязан более, чем когда-либо, он «знает наверное, что столкнись их жизни раньше»... и не кончает фразы. «Я не меняюсь в своих привязанностях и до конца сохраню к Вам те же чувства»,— пишет он в письме за полгода до своей смерти, вспыхивая в своей любви к ней в последний раз, как потухающая лампада.

Независимо от этих переливов чувства письма Тургенева показывают, как близко принимал он к сердцу интересы Савиной, с каким заботливым вниманием и тревогой относился он к ее здоровью, как раздражало его бюрократическое бездушие в пользовании ее дарованиями, как делился он с нею своими воспоминаниями, художественными впечатлениями и переживаемым лично. И среди всего этого наряду с нотами восхищения наруж-

ной прелестью Савиной звучат ноты затаенной скорби и иронии над самим собою. Он интересуется временем подписания и содержанием ее контрактов с дирекцией театров и ее отношениями к представителям последней; его возмущает «неслыханная» эксплуатация ее сил, вследствие которой она должна играть по два раза в день на двух театрах, и генеральское отношение к ней начальника репертуара. Писем Савиной к Тургеневу о том, что его так возмущало, нет. Они или остались у Виардо, или же, что всего вероятнее, попали вместе со многими бумагами Тургенева к Анненкову, взявшемуся их разбирать и возбуждавшему, ввиду своего старческого маразма, опасения за их надлежащую сохранность. Но у пишущего эти строки есть письма Савиной, дающие возможность представить себе то, что она писала Тургеневу.

Сценическая деятельность Савиной, несомненно, не была свободна от периодов крайнего напряжения сил, вызывавшего физическое и душевное переутомление. Если ее талант был ценим публикой и печатью, то, по-видимому, ее непосредственное начальство смотрело на нее иногда с точки зрения хозяина или нанимателя. Отсюда являлось переобременение ее ролями и выступлениями, тяжело отражавшееся на ее силах и настроении. Еще известный художник Федотов высказал такой оригинальный афоризм: «В деле искусства надо дать себе настояться: артист-наблюдатель — то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть — нужно только уметь разливать вовремя». А Жорж Занд говорит: «En fait d'art il n'y a qu' une règle, qu'une loi: montrer et émouvoir»[1]. Поэтому понятно в серьезной артистке желание дать себе «настояться» и иметь возможность обдумать, что именно надо «montrer» и чем «émouvoir». В письмах Савина часто жалуется на одурение от непосильной работы. Она пишет мне в 1883 году: «Да, я на этой неделе играю *девять раз,* а бог дал семь дней только. Масленая началась у меня с октября. На будущей неделе тоже. И после спектакля (когда кончаю рано) авторы читают у меня пьесы, или меня привозят без чувств, как всю прошлую неделю». В 1887 году: «Милую дирекцию очень потревожили мои провинциальные лавры, и она отомстила мне по-своему. Из Саратова я выехала 31-го и, приехав сюда 2 сентября, узнала, что 1-го на афише стояло «Ук-

[1] «В искусстве есть только одно правило, один закон: показывать и трогать» *(фр.).*

рощение строптивой» и снято по моей «внезапной болезни», а 2-го прямо из вагона я должна была играть «Соловушку». Управляющий репертуаром на взрыв моего негодования хладнокровно заявил, что хотел на афише поставить: «За неявкой г-жи Савиной». Точно я хористка, за которой присылают и посылают петь, ни с чем не сообразуясь. Сравнение, конечно, дерзкое с моей стороны, но поступок этот сильно напоминает горбуновского генерала Дитятина, упорно называющего Ивана Сергеевича: «Коллежский секретарь Иван Тургенев». Приехала я простуженная, но сразу стала играть и репетировать». В 1902 году: «Благодаря тому, что дирекция превратила меня в «конку» Александринского театра, я лишена возможности быть где-нибудь, кроме репетиций и спектаклей: качусь по рельсам одного и того же пути, не имея времени оглядеться...»

Вследствие всего этого на высокодаровитую артистку находили минуты мрачного раздумья, вызывавшие желание покинуть сцену. «Чему я не рад,— пишет ей Тургенев в конце 1882 года из Парижа, в ответ на ее письмо,— так это тем дрязгам, которые, по-видимому, опутали Вас, по возвращении в Петербург, «на арену Вашей деятельности», говоря высоким слогом. Что это, помилуйте, Вы даже об отставке упомянули!.. Убежден, что это было в Вас лишь минутной вспышкой раздражения — и теперь от этого и следа не осталось. Вы должны остаться на сцене до тех пор, пока со свойственным Вам талантом не будете исполнять роли «благородных старух», т. е. еще лет сорок...» Что мысль об отставке приходила ей в голову не раз, свидетельствует одно из ее писем ко мне, уже в конце девяностых годов. В нем, отдавшись «духу уныния», она говорила, что твердо решилась оставить сцену и, наконец, получить возможность думать, читать, отдыхать и отдаться воспоминаниям о прошлой своей сценической деятельности. Письмо имело довольно решительный характер. В своем ответе я напоминал ей, что талант обязывает служить искусству до конца, пока есть силы чувствовать его в себе и применять, и что всякая служба обществу сопряжена со всем тем, о чем так страстно говорит Гамлет в своем монологе «Быть или не быть», почему разочарования, досада и негодование бывают неизбежны. Но не надо им давать овладевать собою, памятуя слова поэта: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». Сцена — большой

корабль, и артистка, обладающая таким даром, как она, должна плыть с ним, покуда ей не изменят силы... Обыкновенно аккуратная в переписке, Мария Гавриловна ничего мне не ответила, и я предполагал, что она рассердилась на мои непрошеные наставления. Но через неделю, вечером, я нашел у себя на столе пакет с ее большим кабинетным портретом, с надписью на нем: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля»... Это был ее ответ.

И по отношению к здоровью Савиной участливая забота Тургенева выразилась не в бесплодных словах сострадания и сочувствия. Он приходил ей на помощь деятельной любовью. Уже сам страдая физически, за год до смерти, он ездит к знаменитому невропатологу Шарко, хлопочет об устройстве у него прибывшей в Париж больной Савиной и берет на себя неприятное дело распорядиться «отставкой» доктора, не внушающего ей доверия, таким образом, чтобы она и физиономии последнего больше не увидела. С тревогой следит он, по письмам, о состоянии ее здоровья в Меране и радуется ее намерению отдохнуть в Италии и, особенно рекомендуя ей Флоренцию, вспоминает попутно свое давнее пребывание в этом поэтическом, пленительном городе, «в который он был влюблен», причем восклицает многозначительно: «Ох, уж эти мне каменные красавицы!» Его заботит, наконец, состояние нервов Савиной, с которыми нужна крайняя осторожность, особливо после пережитых ею похорон Достоевского, столько раз выступавшего с нею на литературно-благотворительных вечерах. Похороны Достоевского, в которых участвовали и представители русской драматической труппы вместе с Савиной, были настоящим общественным событием, дотоле невиданным[...] Все это не могло не подействовать на впечатлительную Савину и должно было отразиться на ее нервах и силах после приподнятого нравственно настроения и физического утомления. Савина, конечно, писала Тургеневу о своем участии в похоронах Достоевского.

Тургенева живо интересует каждое выступление в новой роли выдающейся артистки, которую он сравнивал с Рашелью по силе дарования. Ему было жаль, что он — не драматический писатель, чтобы создать для нее роль. Он делился с нею своими наблюдениями над игрою других артистов и сообщал свои сжатые и меткие отзывы о некоторых новых пьесах, как например, о «Лакомом ку-

сочке», «из рук вон плохой пьесе, состоящей из кусочков французской тафтицы, сшитых суровыми российскими нитками». Ему хотелось бы, в шутливом гневе, «живьем в землю зарыть» одну известную артистку, которая положительно невыносима: «кривляется и жеманится так, так фальшивит и с таким противным заигрыванием и апломбом», и он сердился на своих соотчичей, которые «дурачатся по поводу несносной Сары Бернар, у которой только и есть, что прелестный голос — а все остальное: ложь, холод, кривлянье и противнейший парижский шик». Его, наконец, тревожит намерение Савиной выступить в трагедии в стихах, так как, по его мнению, она стихи читает, «словно боясь их», и «произносит их с каким-то уважением к ним», впадая в «дикцию», а «не с той естественностью, которая ей присуща», тогда как «со стихами не нужно церемониться, а только сохранять размер».— «Вы видите,— кончает он свои дружеские замечания, написанные на одре тяжких страданий,— я даже к Вам могу относиться критически». Савина, очевидно, «приняла к исполнению» предсмертный завет Тургенева, так как трудно себе представить что-либо более жизненное и вместе изящное, чем чтение ею своего любимого, прекрасного стихотворения Полонского «Отрочество». Постоянно извещая Савину о своих литературных трудах, Тургенев сообщает о работе, приготовляемой им к празднованию открытия памятника Пушкину в Москве, об «ужасной кутерьме», предшествовавшей открытию, и о великолепной удаче этого праздника, посылая ей — *ей одной* — экземпляр своей, еще не появившейся в печати речи о Пушкине[...]

Нужно ли говорить, что образ Савиной все время носился перед Тургеневым во всей своей чарующей прелести, со своими «красивыми и интересными» руками, которые он нежно целует «и в спинку, и в ладонь», с «умным до прелести лбом», с прекрасными глазами, взоры которых, устремленные на чтеца (как это было в Спасском, где он читал ей наиболее интимные части «Стихотворений в прозе», не вошедшие в число напечатанных), «и жгут, и ласкают»...

Когда автор «Месяца в деревне» пришел впервые посмотреть на не ожиданную им Верочку,— она, в восторге от его похвалы и удивления, бросилась к нему на шею и поцеловала его. Это же повторилось и в Спасском, за обедом, в день годовщины свадьбы друзей Тургенева —

Полонских. Эти поцелуи часто всплывают в его памяти, переплетаясь с цитированием слов гоголевского Поприщина и шутливою ревностью к Скобелеву,— всплывают даже и тогда, когда, снедаемый мучительным недугом, проводя страдальческие ночи, он считает себя «полуживым» человеком [...].

Смерть Тургенева была тяжелым испытанием для Савиной. Он будил в ней лучшие чувства души не только, как во многих из своих читателей, своими сочинениями, но и своим личным к ней отношением, исполненным доверия, позволявшего заглянуть и в его душу. Собрание его писем к разным лицам, изданное в 1884 году Литературным фондом, показывает, что он далеко не всем — и вообще скупо отворял врата в храм своей души. Он знал, конечно, по горькому опыту, что в большей части случаев люди мало ценят такое доверие, хотя иногда и добиваются его — и, зачастую легкомысленно побродив в этом храме, наплевав на пол и разбросав окурки, покидают его, даже не затворив за собою дверей... Сознание, что его «нет боле!» — что, оставшись навсегда в литературе, которой он служил до самого своего мучительного конца, он, как лично ей близкий, дорогой человек, ушел навсегда,— не могло не заставлять ее страдать искренне и глубоко. Когда она воплощала или развивала по-своему на сцене художественные образы, созданные Тургеневым, и чувствовала, что многие из окружающих не могут оценить всей тонкости ее игры, всей глубины ее понимания, когда у нее подчас опускались руки при встрече с самодовольным невежеством, интригующей бездарностью и житейской пошлостью,— она могла говорить себе: «Он бы понял, он бы оценил, он бы разделил мои чистые творческие восторги» — и мысленно обращаться к величавым сединам этой незабвенной фигуры. Нужды нет, что его не было около нее, что их разделяло огромное пространство! Уже одно то, что где-то есть Тургенев, с его нежностью и лаской, с его участием и заботой, что он существует,— должно было служить ей утешением и отрадой. И вот — его нет нигде, к нему нельзя ни обратиться с его же повелительно-нежным восклицанием: «Стой!», ни, протянув к нему руки на чужбину, сказать ему — другу и товарищу по служению искусству: «Приди!»... Ее душевное состояние видно, между прочим, из ее писем ко мне. Тургенев скончался 22 августа 1883 г., в то время, когда еще Савиной не было в Петер-

бурге, но уже 29-го августа она пишет: «Не на радость вернулась я в Петербург, Анатолий Федорович! — «Этого давно ждали»,— говорят кругом. И я ждала — и, тем не менее, не верю, не хочу, не могу верить... Мне почему-то казалось, что он приедет умереть — именно умереть — *домой,* что я увижу его еще раз — и непременно в Спасском, в его любимом Спасском... Я так надеялась, я так была уверена в этом... С Вами первым я говорю о нем,— Вы поняли, Вы вспомнили обо мне, Вы все поймете. Я даже не благодарю за Ваше письмо,— я ничего не могу теперь. Я не плачу, я ничем не умею выразить моего горя... Эта роль труднее «Марьи Антоновны» — и в настоящую минуту у меня совсем нет публики. *Его,* даже далекого *его,* нет. Все, что слышу, читаю эти дни, кажется таким мелким, ничтожным — и к чему все это? Это не эгоизм с моей стороны. Конечно, есть люди, чувствующие глубже моего утрату, но все это мне кажется мало. Мне кажется, что я ослепла наполовину или сплю летаргическим сном: слышу, чувствую — и не могу крикнуть. Всю ночь сегодня я перечитывала дорогие письма — четыре последние года его жизни... Сейчас еду на панихиду: я буду молиться тому, в кого *он* не верил. Я никогда не теряла дорогих, близких и не испытывала чувства утешения в молитве. Я даже не могу себе представить, о чем я буду молиться сейчас. Любопытные взгляды, банальные вопросы, а, может быть, даже соболезнования. Отчего все подобное, относящееся к *нему,* кажется мне оскорбительным?..» 30 августа: «Сегодня я отслужила раннюю (чтобы никого не встретить) обедню в Лавре и, наконец, могла заплакать». 11 сентября: «Вчера я была в Казанском соборе и, понятно, не могла не плакать. Хотя я стояла за толпой, в темном углу, закутанная вуалью, и никто меня видеть не мог, тем не менее, кому-то понадобилось сообщить в газетах о моем волнении. Кажется, это переходит за пределы моей сценической деятельности? Неужели актер всегда и везде принадлежит публике?!. Решила не быть на похоронах. Не потому, чтобы я жалела своих слез, а чтобы не дать повода заподозрить меня в притворстве и тем оскорбить память дорогого покойного. Я придумала средство проститься с ним и для этого сделаю все, даже невозможное!»...

Она все-таки — и совершенно основательно — отказалась от своей мысли не быть на похоронах, но уехала, как только начались довольно бесцветные речи над мо-

гилой. Ей, очевидно, было тяжело остаться до конца, после того, как дорогой прах уже приняла «немая и глупая яма, которая даже не знает, что она хоронит»,— как писал когда-то Флоберу Тургенев по поводу похорон Жорж Занд. Притом надо было беречь силы для шедшего в тот же вечер в Александринском театре «Месяца в деревне», чтобы внести в свое исполнение роли Верочки ту же «проникновенность», которая за четыре года назад так поразила того, над чьим прахом только что возвысился могильный холм под бесчисленными венками... На другой день ей пришлось участвовать в вечере, посвященном памяти Тургенева. Она, как значилось в программе, выбрала для чтения «Свидание» из «Записок охотника», но передумала и прочла трогательно и с заметным волнением последнюю главу из «Фауста», содержавшую в себе как бы завет усопшего. В общем, однако, этот вечер не был удачным. Он слишком затянулся, чтения некоторых из участников были слишком длинны,— «вертлюшок» (выражение Тургенева в одном из писем к Савиной) Григорович читал «Стихотворения в прозе» *своими словами,* со странным несоблюдением тона и смысла этих перлов тургеневской музы, а Анненков, «лучший друг» Тургенева, заставил своими анекдотами из жизни покойного вспомнить справедливость испанской поговорки, гласящей: «Избави нас бог от друзей, а с врагами мы сами справимся»...

Прошло четверть века. В большой зале Академии Наук создалась трудами любящих светлое прошлое нашей словесности Тургеневская выставка. На ней было собрано все, касающееся жизни, творчества и личных отношений незабвенного для современников писателя,— все, что только можно было собрать, начиная с листка записной книжечки его матери о рождении 28 октября 1818 г., в 12 часов дня, сына Ивана, 12-ти вершков ростом, и кончая знаменитым диваном «самосоном», из Спасского, и охотничьим ружьем...

Перед большим и лучшим портретом Тургенева постоянно обновлялся роскошный букет свежих роз, как символ неувядающих воспоминаний. Эти розы привозила ежедневно Мария Гавриловна Савина...

ПОХОРОНЫ ТУРГЕНЕВА

В стенах Петербурга было несколько похорон, не официального, так сказать, предустановленного характера, а таких, в которых непосредственно выразилось общественное сочувствие к почившему. Таковы были, во второй половине прошлого века, похороны глубоко талантливого артиста А. Е. Мартынова в 1860 году, Н. А. Некрасова в 1877 году, Ф. М. Достоевского в 1881 году и И. С. Тургенева в 1883 году. Похороны Достоевского были из них самые внушительные, потому что состоялись на третий день после кончины великого писателя, когда впечатление, произведенное ее совершенной неожиданностью, было особенно сильно, а грандиозно-трогательная обстановка похорон состоялась почти без всяких приготовлений. Но и похороны Тургенева оставили у всех очевидцев сильное впечатление, как наглядная дань уважения к любимому писателю и выражение скорби о нем. Этим похоронам предшествовали погребальные церемонии в Париже, отличавшиеся особой и искренней торжественностью. На станции Северной железной дороги была устроена траурная часовня (chapelle ardente), производившая, по отзывам очевидцев, величественное впечатление. Среди четырехсот собравшихся проститься с телом было не менее ста французов, и между ними носители славных и выдающихся имен во французской литературе и искусстве. Тут были между прочими: Ренан, Эдмонд Абу, Жюль Симон, Эмиль Ожье, Золя, Додэ, Жюльетта Адан, любимец Петербурга артист Дьедонэ и композитор Масснэ. Первым, с кафедры, обитой черным сукном, говорил Эрнест Ренан. В его красноречивой (несмотря на престарелость оратора) речи было несколько глубоких и прекрасных мест. Он характеризовал Тургенева как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать,— ее назревшие потребности, идущие вразрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с

нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка. По своим чувствам, по характеру своего творчества Тургенев был сыном своего народа, того народа, появлению которого на авансцене мира Ренан придавал особое значение. Но над народами стоит человечество. По своему широкому миросозерцанию, кроткому, жизнерадостному, сострадательному, Тургенев принадлежал всему человечеству, и в нем жило слово мира, правды, любви и свободы. «Прости, великий и дорогой друг,— закончил свою речь Ренан; — лишь прах твой покидает нас, но твой духовный образ остается с нами». Ту же мысль об общечеловечности произведений Тургенева проводил в своей речи от имени французских литераторов Эдмонд Абу, подчеркнув в ней особое значение «Записок охотника» и сказав, что для славы умершего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите.

В Берлине,— быть может, оттого, что прусские власти находились в натянутых отношениях с Россией, выразившихся в разных мерах Бисмарка, имевших характер маленьких репрессалий,— произошло странное недоразумение, про которое французы сказали бы, что «c'est un incident soigneusement préparé»[1]. Быть может, однако, и русские люди, хотевшие почтить Тургенева, оказались неосведомленными точно, по обычной нашей непредусмотрительности. Прибытие вагона с телом Тургенева ожидалось на Потсдамском вокзале, куда его неоднократно и приходили встречать с венками русские и немецкие почитатели усопшего, причем на их вопросы станционное начальство отзывалось незнанием о времени прибытия, а некоторые даже высказывали предположение, что этот дорогой для многих прах уже проследовал в Россию. Между тем тело прибыло на второстепенный Лертский вокзал и сдано было в экспедицию товаров большой скорости, а 24 сентября (12 сентября) утром перевезено на возу на вокзал Силезской железной дороги и оттуда отправлено в Россию.

Следование праха Тургенева по России, очевидно, очень тревожило министра внутренних дел — графа Д. А. Толстого и директора департамента полиции — Плеве, и они принимали меры, чтобы свести к minimum'у предполагаемые многолюдные встречи поезда с гробом на

[1] «Тщательно подготовленный инцидент» *(фр.)*.

станциях железной дороги и устранить служение при этом панихид и литий. По этому поводу был оживленный обмен телеграмм с местными губернаторами, которым предлагалось «воздействовать» на учреждения и отдельных лиц, желавших почтить память покойного депутациями и надгробными словами. Ездивший в Вержболово, чтобы принять печальный и дорогой груз, М. М. Стасюлевич, в журнале которого («Вестник Европы») Тургенев печатал все свои главные произведения после «Отцов и детей», в письмах жене и в рассказах близким выражал негодование на мытарства, испытанные им по пути в Петербург, когда ввиду разных препятствий и усиленной торопливости станционного начальства можно было, по его словам, подумать, что он везет не тело великого писателя, а Соловья-разбойника. Ему приходилось вести настоящую борьбу, чтобы воспрепятствовать в Вержболове переносу ящика с гробом на три дня в сарай, как простую кладь, и — за недопущением панихид — торопиться с краткими литиями, рискуя не раз остаться на станции, едва успев запереть траурный вагон и вскакивая в поезд на ходу. Тем не менее, почти всюду при остановках на пути ожидали многочисленные поклонники усопшего с венками. На одной из станций публика, желавшая проникнуть в вагон для прощания, так теснилась, а времени было так мало, что Стасюлевич просил дать ему кого-нибудь из детей, чтобы ребенок простился за всех. Это трогательное предложение было исполнено.

В Петербурге были сделаны многие распоряжения со стороны высшей администрации и градоначальника, вызвавшие раболепные похвалы в некоторых газетах,— распоряжения, в которых, за мерами для соблюдения уличного порядка, чувствовалось ожидание каких-то беспорядков с политической окраской. Были мобилизованы большие отряды явных и тайных агентов для участия в процессии и назначен усиленный наряд полиции на кладбище, на которое с утра погребения уже никто не допускался,— и заготовлен «на случай потребности» полицейский резерв. На могиле были допущены лишь те речи, которые предварительно «будут заявлены» градоначальнику. Последний, в лице Грессера, пропустил мимо себя всю процессию, сидя с решительным и властным видом на коне, на пересечении Загородного проспекта и Гороховой ул., а затем проехал на кладбище, где оставался до самого конца, предложив затем публике расходиться.

Еще ранее он, очевидно, вовсе не разделяя взглядов Эдмонда Абу на роль и значение творца «Записок охотника» в великом деле освобождения крестьян, распорядился снять с венка, привезенного князем Бебутовым от тифлисской Городской думы, укрепленный на нем обрывок цепи, а самого Бебутова выслать из Петербурга. Несмотря на все это, прием гроба в Петербурге и следование его на Волково кладбище представляли необычные зрелища по своей красоте, величавому характеру и полнейшему, добровольному и единодушному соблюдению порядка. Непрерывная цепь 176-ти депутаций от литературы, от газет и журналов, ученых, просветительных и художественных обществ и учреждений, от учебных заведений, от земств, сибиряков, поляков и болгар заняла пространство в несколько верст, привлекая сочувственное и нередко растроганное внимание громадной публики, запрудившей тротуары,— несомыми депутациями изящными, великолепными венками и хоругвями с многозначительными надписями. Так, был венок «Автору «Муму» от общества покровительства животным; венок с повторением слов, сказанных больным Тургеневым художнику Боголюбову: «Живите и любите людей, как я их любил», от товарищества передвижных выставок; венок с надписью «Любовь сильнее смерти» от педагогических женских курсов. Особенно выделялся венок с надписью «Незабвенному учителю правды и нравственной красоты» от Петербургского юридического общества... Депутация от драматических курсов любителей сценического искусства принесла огромную лиру из свежих цветов с порванными серебряными струнами. С этим венком были связаны следующие оригинальные стихи Коровякова, в которых были названы главнейшие произведения Тургенева в связи с его кончиной и погребением: «*Стучит* земля о крышку гробовую,— И *дым* кадил восходит к небесам.— Покинул нас *певец,* печать немую — Рок приложил к пророческим устам.— *Довольно* ты страдал, и тьма могилы — *Затишьем* сладостным явилася тебе.— Покинул нас певец, и творческие силы — Навеки скованы в глубоком сне.— Ты *накануне* часа рокового — На родину рвался ей верною душой,— *И лес, и степь,* красы села родного — Как *призраки,* маня, носились над тобой.— Но пробил час, горячее желанье — Унес ты в хладный гроб с собой,— И вот теперь последнее *свиданье* — Нам только смерть устроила с тобой.— Прими ж цветы, что шлют Руси поля! — Их *Бе-*

жин луг взрастил, их *Новь* вскормила! — Их *дети и отцы*, вся родина твоя,— Как *вешнею водой*, слезами оросила». Яркий, тихий, солнечный день, какие иногда бывают в Петербурге в половине сентября, придавал особую внушительную красоту всей картине.

На могиле, к которой гроб был пронесен между выстроившимися шпалерами держателями хоругвий и венков, были произнесены, по заранее составленному расписанию, три речи. Я слышал их, хотя первая была произнесена очень слабым голосом. Ректор университета А. Н. Бекетов, указывая на свет, доходящий до нас от отдаленных звезд через тысячи лет, быть может, давно уже переставших существовать, отметил, что эти светила нельзя назвать погибшими, потому что, хотя материя их и распалась, но силы, оживлявшие их, продолжают действовать бесконечно, превращая воспринятый свет в новые силы. Это физическое представление о бессмертии должно быть распространено и на силы духовные, колеблющие миллионы сердец еще долго после распадения заключавшей их в себе материальной оболочки. Вверенная Тургеневу частица божественного огня, освободившись от своих земных оков, вольными струями будет разливаться между людьми, содействуя мирному вершению наших судеб на пути к прогрессу. Речь была заключена обращением к памяти Тургенева: «Покойся в мире, и пусть твоя кончина побудит нас обратиться с новой силой к науке, перед которой ты так благоговел, к искусству, которому ты служил с таким самоотвержением, и пусть найдем мы в этом настоящее утешение в скорби, причиненной нам твоей утратой». Московский профессор С. А. Муромцев — впоследствии первый председатель Государственной думы — сказал прочувствованное слово о связи Тургенева с Московским университетом и его неизменной верности убеждениям своей молодости, в чем содержался источник благотворного влияния великого художника в течение всей его жизни. Д. В. Григорович, разделивший в старые годы с Тургеневым благородную задачу тронуть сердца читателей тяжелым положением русского крестьянина, подавленного крепостным правом, и подготовить падение последнего, указал в своей речи на особое значение Тургенева, так высоко поднявшего звание русского литератора и завещавшего ему правдиво и честно служить своему призванию. Григорович очень волновался, говоря свою речь, и в слезах окончил ее прощанием с до-

рогим, незабвенным другом, прощанием — до скорого свидания...

Весть о смерти Тургенева произвела сильное впечатление во всех просвещенных кругах русской земли, почувствовавших глубину утраты. Об этом свидетельствуют ряд состоявшихся постановлений отдельных обществ, городских дум, земских собраний и заявления разных лиц, появившиеся в газетах. Конечно, не обошлось без некоторых странностей. Так, гласный петербургской городской думы, торговец коровьим маслом Абатуров и его единомышленник Кульков резко выразились за отклонение всяких предложений о чествовании Тургенева, потому что «наше дело торговое, а он из писателей, ну и бог с ним!» Были и факты противоположного свойства. Особую оригинальность в этом отношении представляет присылка московским купцом Ситниковым в редакцию «Новостей» для употребления при предстоящем отпевании Тургенева дорогого бархатного ковра, с объяснением, что хотя это должно бы быть делом родственников, но не родной ли Тургенев всем, не воспитывал ли он каждого из нас: «Все спешат,— говорилось в письме Ситникова,— почтить память покойного писателя. Но где же купцы? Когда же их будет интересовать и трогать то, что интересует и трогает других? Когда они будут жить целой, богатой, довольной семьей, а не в отдельных нравственно бедных лачугах? Желая почтить память покойного дорогого мне писателя, с произведениями которого я не расставался со школьной скамьи, я буду счастлив, если будет принята посылаемая мною в память его жертва от трудов моих». Это было как бы ответом на заявления, подобные сделанному представителями «дела торгового».

Горячо откликнулись на потерю Московское и Петербургское юридические общества. В первом из них, в особом заседании, посвященном памяти покойного, по выслушании блестящей речи В. М. Пржевальского, было постановлено отправить к похоронам усопшего особую депутацию для возложения венка. Весь правовой порядок человеческого общества, по словам Пржевальского, зиждется на двух, дорогих для каждого юриста, началах: свободе и справедливости, без осуществления которых невозможен никакой истинный прогресс. Им всю жизнь посвящал свои силы Тургенев, справедливо названный Белинским сыном нашего времени, носящим в груди своей все скорби и вопросы его. Напоминая Аннибаловскую

клятву Тургенева на борьбу с крепостным правом, Пржевальский сказал, что она была выполнена с горячею верою убежденного человека, с тихою скорбью наболевшего сердца и с дивным талантом великого художника. Указывая на эту общественную заслугу Тургенева, Пржевальский напоминал и другую, по отношению к русской женщине, «выкинутой из круга общественной деятельности, подавленной окружающей средой и ее предрассудками, ищущей выхода, томимой жаждою дела и осужденной на мучительное бездействие». Тургенев представил высоко поэтические образцы того, чем может быть русская женщина.

Еще раньше совет Петербургского юридического общества выработал постановление, в котором было высказано, что в лице почившего великого писателя русское общество утратило человека, высокая деятельность которого неразрывно связана с пробуждением и развитием в обществе сознания необходимости прекращения крепостного права, темные стороны которого изображены незабвенными и высокохудожественными чертами в «Записках охотника». Глубокий знаток, поклонник и любитель родного языка, Тургенев показал, до какой степени совершенства может быть он доведен, и раскрыл, с неподражаемым искусством, все его богатство и глубину. Служа русскому слову,— он всю свою жизнь служил и делу нравственного развития и духовного совершенствования общества. Из живых образов, одушевлявших его произведения, всегда звучал голос любви к людям, к правде, к душевной красоте, всегда звучал призыв к самоусовершенствованию и просвещению. Юридическое общество даже и в кругу своей специальности не может не преклониться с уважением пред этими сторонами его деятельности. Судебная реформа, вызвавшая к жизни юридическое общество и придавшая особый смысл его существованию, была естественным, органическим последствием крестьянской реформы, не будучи ни мыслима, ни возможна до осуществления последней. Эта реформа, упразднив господство в суде бумаги, вызвала развитие живой речи, являющейся тем лучшим орудием отправления правосудия, чем яснее, образнее, точнее родной язык, которому так много послужил Тургенев. Судебная реформа потребовала усердных, развитых, гуманных деятелей, сознающих, что судьбою указаны им, в круге их деятельности, нравственно-просветительные задачи. Нельзя поэтому не

вспомнить с чувством особой благодарности о поэте и гражданине, который умел ставить такие задачи и освещать их всеми лучами своего чудного таланта.

Нужно ли говорить, что ни «Московские ведомости», ни «Гражданин», редактор которого, князь Мещерский, в год кончины Тургенева вошел в особую, своеобразную милость и силу,— не почтили ни одним словом его память, и венки их, конечно, блистали своим отсутствием на похоронах. У Каткова были старые счеты с Тургеневым, который перестал печатать свои произведения в «Русском вестнике» после того, как редактор вздумал исправлять по-своему «Отцов и детей» и даже вычеркивать из них целые страницы. Еще при жизни Тургенева появилась в «Московских ведомостях» коварная и далеко не безопасная для Тургенева статья «иногороднего обывателя», обличавшая будто бы его «кувыркание пред молодежью», с намеками на его политическую неблагонадежность. Статья принадлежала ныне забытому писателю, легковесные романы которого очень ценились в светских гостиных. Когда на эту статью в «Московских ведомостях» появилось несколько сочувственных ей ссылок, Тургенев, в письме к Стасюлевичу от 2 января 1880 г., охарактеризовал ее автора как человека, «от младых ногтей заслужившего репутацию виртуоза в деле низкопоклонства и «кувырканья» сперва добровольного и затем уже и невольного, как человека, которому ни терять, ни бояться нечего, так как его имя стало нарицательным, и он не из числа тех, кого дозволительно потребовать к ответу»... В том же 1880 году в Москве, будучи на обеде, данном городским обществом депутациям, прибывшим на открытие памятника Пушкину, я видел, как Катков, после своей речи, протянул бокал сидевшему против него Тургеневу, который наклонил голову и своего бокала ему не протянул,— а когда чрез несколько минут затем Катков повторил свое движение, Тургенев снова на него не ответил и покрыл свой бокал ладонью. Этого ему, очевидно, не простил Катков и устроил своеобразные по нем поминки, перепечатав пред похоронами в Петербурге из газеты «Justice» появившееся за *девятнадцать дней* пред этим письмо политического эмигранта Лаврова о том, что Тургенев в течение трех лет снабжал его 500 франками на издание в Лондоне журнала революционного характера.

Катков не мог не знать, что в некоторых и весьма притом влиятельных кругах его «разоблачения» бросят тень

на дорогого писателя и заставят строго взглянуть на учиняемые чествования его памяти. Этого именно и желал, по объяснению Стасюлевича, Лавров, сказавший, что не находит возможным стесняться в выборе средств, и считавший, со своей точки зрения, письмо в «Justice» искусным маневром, вследствие которого последуют распоряжения, способные глубоко огорчить все образованное общество и в России, и в Европе.

Похороны Тургенева вызвали напечатание в газетах целого ряда стихов, посвященных его памяти. Наиболее удачными из них можно признать стихи покойного Андреевского с их трогательным концом: «Ты к нам желал на север дикий — Укрыться с юга на покой: — Сойди же в грудь земли родной,— Наш вечно милый и великий! — Здесь тишина... здесь лучший друг,— Здесь все товарищи вокруг... Сюда пришли, пришли без счета — Слагать венки на этот свод,— И чуть от церкви, с поворота,— К тебе завидят узкий ход,— Какое нежное волненье — Невольно каждый ощутит!..— И сколько раз благословенье — Твою могилу осенит!»

На другой день после похорон, в зале городского Кредитного общества состоялся вечер, посвященный литературным поминкам по Тургеневе. Пред собравшейся в большом числе публикой, среди которой было много дам, многие из которых пришли в траурных костюмах, сказал вступительное слово Стасюлевич, назвавший Тургенева вещим человеком, в высоком и художественном значении этого слова. Особенное впечатление на этих поминках произвели талантливое чтение М. Г. Савиной отрывка из «Фауста», В. Н. Давыдовым из «Певцов», а также чтение Кавелиным «Довольно», проникнутое глубоким чувством, которое сказалось волнением чтеца, мешавшим ему по временам продолжать свое чтение. Речь П. В. Анненкова, усмотревшего в Тургеневе, под внешней оболочкой добродушия, сильный характер и сильную волю, была очень бесцветна, а Григорович, читавший четыре «Стихотворения в прозе», вероятно, излишне полагаясь на свою память, отдельные места этих перлов русского языка изложил своими словами.

Общество любителей российской словесности при Московском университете тоже хотело почтить память Тургенева публичным заседанием. Газетное известие, что в нем предполагает произнести речь Л. Н. Толстой *, всполошило начальника Главного управления по делам печа-

ти Феоктистова, считавшего, что Толстой «человек сумасшедший, от которого всего можно ожидать». По его почину, вследствие требования министра Толстого, московским генерал-губернатором «по соглашению» (?) с председателем Общества, предположенное заседание было «вовсе устранено» под вымышленным предлогом неподготовленности речей желавшими участвовать в нем.

Молчание одного из старейших и самого видного из русских литературных обществ о смерти Тургенева вызвало в свое время негодующий отзыв П. Д. Боборыкина о постыдно-равнодушном отношении москвичей к этой утрате. Он, очевидно, не знал о подвиге Феоктистова. Последний не ограничился этим. В Пушкинском доме при Академии Наук хранятся воспоминания его о Тургеневе и главных членах его дружеского кружка. К характерным указаниям этих воспоминаний надо, однако, относиться весьма осторожно. Либерал начала шестидесятых годов, постепенно менявший окраску по мере развития своей служебной карьеры, Феоктистов ко времени писания своих воспоминаний очевидно «сжег все то, чему поклонялся,— поклонился тому, что сжигал» («Дворянское гнездо»). Поклонился он и Каткову позднейших годов, стал смотреть на многое его глазами и вторить его ядовитым инсинуациям на Тургенева, обвиняя последнего, без всяких фактических указаний, в стремлении поддержать свою литературную популярность поступлением «в хвост» людей крайнего направления, которым он, в сущности, не сочувствовал. По-видимому, Феоктистов был не прочь считать и Тургенева человеком, «от которого всего можно ожидать». Остается лишь мысленно поблагодарить его за объединение в своем, омраченном недоброжелательством, представлении великого писателя земли русской и Тургенева, переписка которых на краю могилы последнего так многозначительна и трогательна...

О смерти Тургенева Стасюлевич — гласный петербургской Городской думы и председатель училищной комиссии — сообщил в тот же день по телеграфу городскому голове, и на другой день в заседании думы И. И. Глазунов, обратясь к собравшимся гласным, сказал им: «Вчера, 23 августа, близ Парижа скончался один из самых выдающихся русских писателей И. С. Тургенев, в лице которого русское общество понесло невознаградимую утрату. Знаменитый автор «Записок охотника» окончательное

образование получил в Петербургском университете, и первые его произведения написаны в Петербурге. Незадолго до своей смерти он говорил посетившим его русским приятелям, что желал бы возвратиться в Россию, а если этого не случится и ему пришлось бы умереть на чужбине, то ему хотелось бы, чтобы его прах был перевезен в Петербург и похоронен на Волковом кладбище. Поэтому жители Петербурга, которых мы — представители, должны, независимо от всей России, надлежащим образом почтить память покойного». В благоговейном молчании все присутствующие встали со своих мест, а затем издатель-редактор «Русской старины» Михаил Иванович Семевский указал на громадное воспитательное значение сочинений Тургенева, на которых выросло два поколения русского общества, давших ряд самоотверженных тружеников, откликнувшихся на призыв к великим реформам шестидесятых годов и в особенности подготовивших легший в их основание акт 19 февраля 1861 г.

Результатом этого заседания было постановление о принятии на счет города расходов в сумме 3000 рублей по перевезению тела Тургенева от Вержболова в Петербург и по его погребению, с тем что если от этой суммы образуется остаток, то присоединить его к сбору, который, по всему вероятию, будет делаться на устройство памятника; об учреждении стипендии в университете имени Тургенева и об открытии двух городских училищ в его память.

На это постановление думы градоначальник Грессер, ссылаясь на 140 статью городового положения, принес уже после похорон Тургенева протест в особое присутствие по городским делам, находя, что постановление думы об этом расходе в 3000 рублей не имеет никакого отношения к пользам города и его обывателей. Особое присутствие по городским делам, составлявшее инстанцию для пересмотра постановлений думы и относящихся до нее распоряжений градоначальника, было составлено весьма оригинально, как я уже подробно указывал на это в первом томе «На жизненном пути». В него входили два независимых по своему положению члена — представители земства и мирового института, затем городской голова, обыкновенно не согласный с протестом градоначальника на постановление думы, составлявшееся под его председательством, и три представителя администрации: председатель присутствия — градоначальник, конечно, всегда

согласный со своим собственным протестом, затем его помощник и председатель казенной палаты. Наконец, в состав присутствия входило лицо прокурорского надзора окружного суда, от голоса которого зависело в сущности и окончательное решение присутствия. Таким образом, почти по всем вопросам, возникавшим по делу, заранее, если только представитель прокуратуры не имел надлежащей широты взгляда и стойкости, было обеспечено большинство в пользу протеста. Так случилось и в данном случае. Меньшинство присутствия доказывало, что понятие о пользе города и его обывателей не должно суживаться до исключительно материальной пользы, что «не единым хлебом жив будет человек», имеющий, кроме тела, еще и душу, и что в жизни государства, города и каждого отдельного человека бывают моменты, когда необходимо удовлетворить чисто духовной или душевной потребности. Они указывали, что пользе города, о которой говорится в статье 140 городового положения, не противоречат расходы, которые, не делая ущерба благосостоянию и благоустройству столицы, в то же время показывают, что ее население живет одной жизнью со всем отечеством, не оставаясь глухим и равнодушным к народным нуждам и бедствиям, к радостям и торжествам и к полезным государственным и общественным деятелям. Но большинство — градоначальник Грессер, его помощник, управляющий казенной палатой и товарищ прокурора — решило отменить постановление Городской думы.

Замечательно, что это решение состоялось, несмотря на приведенные меньшинством справки о том, что, начиная с 1861 года, думой без всякого возражения и сопротивления со стороны административной власти пожертвованы 9000 рублей на устройство православных храмов в западных губерниях; на войну с Турцией — миллион; на добровольный флот — сто тысяч; на пособие пострадавшим от пожара жителям Оренбурга — 10 000 рублей; пострадавшим от неурожая жителям Самарской губернии — 50 тысяч и на изготовление дипломов на звание почетного гражданина Петербурга северо-американскому представителю Фоксу — 1200 рублей, путешественнику Пржевальскому — 1500 рублей и генерал-адъютанту Радецкому — 3000 рублей и что в том же 1883 году тем же градоначальником Грессером дума приглашена была произвести расход для чествования памяти поэта Жуковско-

го. К этим указаниям можно было бы добавить не встретившие никаких возражений с точки зрения «пользы и нужд» расходы города на прием «иностранных гостей», на съезды статистический, медицинский и другие и на внушаемые самой администрацией расходы для иллюминации города в торжественные дни.

Решение особого присутствия городом было обжаловано сенату. Городское управление указывало, что принятие похорон Тургенева на счет города удовлетворяло духовную потребность городского населения, которое не могло не сознавать нравственного долга уважения к памяти великого писателя и глубокой признательности учителю, сеявшему слова правды и воспитавшему деятелей, трудами которых городское общество, как единица всего государства, воспользовалось к великому своему благу. Этой жалобой город вступил в область трудно вообразимого канцелярского порядка обсуждения дел сенатом старого устройства, не тронутого судебной реформой и просуществовавшего в ненормальных условиях деятельности до переворота 1917 года. В силу закона, недоверчиво построенного на чуждых потребностям жизни, чисто формальных соображениях для окончательного решения дел в департаментах сената, за исключением кассационных, устроенных совершенно иначе, требовалось единогласие, или, по крайней мере, две трети голосов всех присутствующих. В противном случае обер-прокурор должен был давать согласительное предложение, но если и после выслушания такового не составилось большинства двух третей, то дело переходило в общее собрание, и если в многолюдном его заседании снова не составилось двух третей или большинства, а также если с состоявшимся решением не согласен тот из министров, к ведомству которого относилось разбираемое дело, то оно поступало на рассмотрение консультации при министерстве юстиции. Мнение консультации докладывалось министру юстиции, и руководясь им, он давал общему собранию согласительное предложение с целью получения большинства в две трети голосов. Когда же при новом слушании дела в общем собрании такого большинства не состоялось, то дело слушалось в одном из департаментов Государственного совета старого устройства и оттуда переходило в общее собрание этого учреждения, разные мнения которого представлялись в особой мемории на высочайшее усмотрение и на окончательное решение по воле монарха.

Результатом всех этих деловых мытарств была необыкновенная медлительность в движении подлежавших разрешению вопросов, которым приходилось протискиваться сквозь Кавдинское ущелье и выходить из него уже тогда, когда вопрос потерял всю остроту, а из решителей его иногда более половины переселилось в лучший мир. Мне лично в качестве сенатора первого общего собрания приходилось участвовать в решении дел, тянувшихся двадцать, двадцать один, двадцать три и одно даже тридцать шесть лет.

В этом сложном механизме, как будто предназначенном тормозить всякий жизненный вопрос, судьба жалобы городского управления по поводу похорон Тургенева была самая печальная. В первом департаменте, куда она поступила на рассмотрение таких широкомыслящих деятелей, как стойкий страж закона В. А. Арцимович, глубокий знаток городского хозяйства и преемник Николая Милютина по выработке городового положения 1870 года А. Д. Шумахер и представитель истинного правосудия А. А. Сабуров, состоялось решение, которым было признано, что градоначальник, не указывая, что постановление думы противно закону или сделано в ущерб обязательных для города расходов, не имел повода приносить протест в городское присутствие, куда поступали лишь незаконные определения Городских дум.

На это решение министр внутренних дел, приснопамятный граф Д. А. Толстой, принес отзыв, в котором, не останавливаясь *на этот раз* на вопросе, *удобно ли и допустимо ли* в общих правительственных видах, чтобы общественные управления являлись выразителями разнообразных чувств и желаний своих доверителей, предложил оставить жалобу без последствий. При этом он, очевидно, не обратил внимания на то, что министерство, во главе которого он стоял, по доходившим до него делам, считало расходование городских средств на содержание театров и музыкантов вполне законным, так как оно предназначено для развлечения публики в видах нравственных и даже политических. Арцимович, Сабуров и Шумахер остались при своем мнении, и министр юстиции поручил обер-прокурору перенести это дело в общее собрание. Это было 25 апреля 1884 г. В общем собрании сената к постановлению первого департамента присоединился ряд лиц, в числе которых был бывший секретарь редакционного комитета по освобождению крестьян, ученый географ

П. П. Семенов (впоследствии Тян-Шанский) и остроумный Барыков, лишенный впоследствии получаемой им аренды за то, что предлагал поместить в «Положение о земских начальниках» статью: «Окончание курса в университете не может служить препятствием к занятию должности земского начальника». Группа в 13 человек признала жалобу заслуживающею уважения, указав, между прочим, что расход в 3 тысячи на похороны Тургенева, по поводу которых поднято столько шуму, составляет лишь одну двухтысячную часть общего бюджета города, что, очевидно, не может иметь никакого влияния на задержки удовлетворения материальных его потребностей. 13 других лиц, находя расход, произведенный думой, незаконным, оставляли жалобу без уважения, а 3 лица считали нужным, кроме того, разъяснить думе незаконность ее действий. Так как двух третей не состоялось, то министр юстиции Муравьев уже 5 февраля 1894 г., т. е. почти через 10 лет после постановления думы, предложил общему собранию все дело прекратить, не входя в рассмотрение всех возбужденных по нему вопросов, так как с тех пор издано в 1892 году новое городовое положение. За этот период времени скончалось 13 сенаторов, заседавших в общем собрании, а из остальных 6 остались при прежнем мнении, вследствие чего это дело было перенесено в Государственный совет, где слушалось в заседании соединенных департаментов 19 декабря 1894 г., т. е. более чем через 11 лет после смерти И. С. Тургенева, и где тоже не состоялось единогласия, так как один из членов Совета, особо рекомендованный вниманию власти издателем «Гражданина» князем Мещерским, бывший черниговский губернатор Анастасьев, настойчивый ходатай об открытии мощей Феодосия Черниговского и одновременно с этим отличавшийся крутыми расправами с крестьянами,— что подало повод пустым светским остроумцам уподоблять его шампанскому и называть его «Anastasieff sec»[1],— горячо ратовал за признание постановления думы совершенно незаконным. Однако 17 членов соединенных департаментов Совета, находя протест градоначальника принесенным несвоевременно, уже после того, как похороны Тургенева состоялись, постановили передать дело на уважение общего собрания Государственного со-

---

[1] Сухое *(фр.)*; здесь игра слов; созвучие с русским глаголом *«сечь»*.

вета, где оно, наконец, и успокоилось в архивной пыли.

Не так медлили с устранением вредных примеров, вызванных похоронами И. С. Тургенева, граф Д. А. Толстой и православное ведомство, по-видимому, усмотревшие в «преднесении» пред гробом почивших общественных деятелей венков с эмблемами и надписями нечто, идущее вразрез с показным смирением и однообразным благолепием обычных похорон, и поспешившие окончательным воспрещением такого преднесения. С тех пор живые и осмысленные группы почитателей умершего деятеля заменились дрогами с пирамидальным деревянным возвышением, на котором укрепляются без системы и последовательности принесенные венки.

«Мы ленивы и нелюбопытны»,— сказал Пушкин. К этому с полным основанием можно бы прибавить: «и неблагодарны». Издавна у нас «вчерашний день» очень быстро заволакивается туманом и ничего не говорит забывчивому, одностороннему и ленивому мышлению, а день грядущий представляется лишь как повторение мелких и личных житейских приспособлений. Мы накаляемся иногда очень быстро и горячо, но очень скоро остываем, и нередко имя того, по поводу смерти которого раздавались безнадежные укоры безжалостной судьбе, причинившей «невознаградимую утрату», вызывает недоумевающий или вопросительный взгляд. Достаточно сказать, что у нас до сих пор нет биографии целого ряда замечательных деятелей во всех областях общественной жизни и что лучшая по богатству содержания книга о таком выдающемся писателе, как И. А. Гончаров, создавший в Обломове бессмертный наряду с гоголевским Чичиковым тип русского человека, написана иностранцем Мазоном по-французски.

Говоря о Тургеневе, столь громко оплаканном в 1883 году, невольно хочется спросить: «А где же памятник ему? Тот памятник, на постановку которого, «по всем вероятиям», петербургская дума ассигновала остатки от расхода на погребение?» Его нет, но зато в одном из больших губернских городов, по сообщению газет, которому просто не хочется верить, улица, известная местным жителям как главный приют домов терпимости, была названа Тургеневской... Сельская школа, основанная в Спасском-Лутовинове Тургеневым и содержавшаяся им с заботливой любовью, была упразднена чрез год после его смерти и лишь чрез десять лет затем заменена церков-

нoприходской школой, в библиотеке которой, к изумлению сотрудника «Русских ведомостей», не оказалось сочинений Ивана Сергеевича, а портрет его с украшениями с похоронного венка бесследно исчез из студенческой столовой Петербургского университета, закрытой в 1887 году.

Действительное и серьезное любопытство, о котором говорит Пушкин, конечно, выражается в интересе к прошлой деятельности выдающегося человека, к ее влиянию на общество в смысле его развития, к оценке идеалов и образов, начертанных в произведениях писателя, и к вытекающим из этой оценки выводам. Но великий наш поэт был далек от того, чтобы упрекать нас в отсутствии мелочного, низменного и пошлого любопытства, которое жадно стремится «расковыривать» частную жизнь человека, послужившего обществу, и, находя в ней, по большей части, недостоверные теневые стороны, захлебываясь от рабского восторга, отмечает: «а ведь вот что он был», «вот какие вещи о нем сообщают», «вот какие свойства в нем оказались»... Говоря о любителях щекотливых разоблачений относительно выдающихся людей, в сознании собственного ничтожества радующихся унижению высокого и слабостям могучего, потому что он *«мал, как мы, он мерзок, как мы»,* Пушкин восклицает: «Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе!». То же самое говорит и Маколей, характеризуя людей, копавшихся в семейной жизни Байрона и испытывавших особое наслаждение от возможности «стащить человека с высокого пьедестала в свою собственную грязь».

Таким образом для выдающегося общественного, научного или литературного деятеля создается особая «privilegium odiosum»[1]. Простому смертному, по отношению к его частной жизни, не грозят обыкновенно никакие заглядывания и розыски с целью его публичного посрамления. Но тот, кто отдал лучшие и нередко страдальческие стороны своей жизни служению обществу, а иногда и всему человечеству, обрекается на злорадное разглядывание интимнейших сторон его жизни с целью их оглашения. Такому огласителю, забывающему, *что и как* сделал умерший деятель на общую пользу или раз-

---

[1] Тягостная привилегия *(лат.)*.

витие, хочется сказать словами Боровиковского (на смерть Некрасова); «Ты сосчитал на солнце пятна — и проглядел его лучи!» Несомненно, что личность выдающегося деятеля может интересовать, но из нее должно брать те стороны, которые отразились на его трудах, вдохновении, ученых работах или были их движущими побуждениями. Достаточно в этом отношении указать хотя бы на воспоминания Эккермана о Гете, Босвеля о Джонсоне.

К сожалению, у нас любопытство совсем другого качества развито довольно сильно. Стоит припомнить злостно поспешные «разоблачения» относительно Некрасова, появившиеся почти вслед за его страдальческой кончиной, или злобные и недостоверные,— по самой своей подозрительной по прошествии многих лет точности в подробностях,— воспоминания г-жи Головачевой-Панаевой о Тургеневе и его друзьях или, уже не помню чьи, «раскопки» относительно посещения юным Добролюбовым какого-то дома терпимости... или постыдные, по отзыву иностранной печати, воспоминания дочери Достоевского об интимных подробностях жизни ее отца.

Любопытство этого рода не миновало своим милостивым вниманием и Тургенева, вопреки его мнению, что «смерть имеет очищающую и примиряющую силу: клевета и зависть, вражда и недоразумения — все смолкает перед самою обыкновенною могилой».

Зависть, вражда и недоразумения при жизни были ему отпущены «мерою полною, утрясенною», как говорится в Писании. Достаточно указать хотя бы на обвинения его в «клевете на молодое поколение» после появления «Отцов и детей» или на статью «Асмодей нашего времени», в которой господин Антонович сравнивал Тургенева с кликушествующим ретроградом Аскоченским, возбуждая против него общественное мнение, как возбуждал последнее через несколько лет против Некрасова, редактора «Современника», на страницах которого прежде подвизался против разошедшегося с Некрасовым Тургенева.

Нужно ли говорить о дышащем ненавистью изображении Тургенева в «Бесах», под именем писателя Кармазинова, изображении, составляющем темную и печальную страницу в творчестве Достоевского, нашедшую себе ласковый приют у Каткова, не постеснявшегося, од-

нако, выкинуть целую потрясающую по своей силе главу из того же романа.

Но все это было при жизни Тургенева, и он имел возможность относиться к таким выходкам с презрением или во временном унынии решаться бросить перо и сказать себе: «довольно!» — или выступить в самозащиту, или, наконец, не обращать на все это внимания, уповая на очищающую и примиряющую силу смерти.

Вскоре после смерти Тургенева «Новое время», еще недавно присоединившееся к проявлениям уважения и любви к покойному, нашло возможным поместить в четырех своих нумерах воспоминания о нем А. А. Виницкой. Эти воспоминания, имеющие характер проникнутого злобным раздражением доклада сыскного агента, страдающего неврастенией, начинаются выражением желания «подогреть остывающий энтузиазм сторонников незыблемой репутации» Тургенева и затем представляют его в самом отталкивающем виде как в повадке, так и с нравственной стороны, эксплуатирующим время и доверие молодой писательницы. Затем стали появляться по временам отрывочные воспоминания друзей, ставивших Тургеневу «всякое лыко в строку» и умышленно вменявших ему в вину свойственную ему неспособность или деликатное нежелание говорить людям в глаза обидные для них резкости. Тургенев часто не щадил себя в своих беседах, забывая старое правило житейской мудрости: «Не говори худо о себе, твои «друзья» об этом позаботятся» — и испанскую поговорку: «Избави меня бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь».

Он бывал резок в отзывах о людях и о произведениях их, недостатки которых, иногда под первым впечатлением, бросались ему в глаза,— но эта резкость проявлялась лишь в беседах с друзьями и близкими и никогда не выносилась на печатные страницы с молчаливым злорадным предложением: «полюбуйтесь!»

На этом материале при лицемерном расшаркивании пред талантом Тургенева, как на благодарной почве, посеяны и взращены отзывы, напоминающие слова: «я правду (?) об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Пальма первенства в этой «дружеской работе», без сомнения, принадлежит Фету. Крепостник и порицатель «великих реформ» и «слабости цензуры», удивительным образом соединявший в себе философские знания и понимание и чудный поэтический дар со строе-

выми идеалами кавалерийского штаб-ротмистра и страстным вожделением променять известное имя Фета на ничего не говорящее имя Шеншина, с получением вдобавок к последнему камергерского ключа,— Фет издал в 1890 году в двух томах свои воспоминания, всемерно омрачающие память «своего друга», как человека, с которым он однако, находился в частной переписке и с которым, несмотря на некоторые размолвки, «примирился (?)» незадолго до его смерти.

Воспоминания Фета и Панаевой-Головачевой составили главнейший арсенал для изображения Тургенева, через 25 лет по его смерти, в самом непривлекательном виде, в особом «Опыте историко-психологического исследования», в котором собраны, без критики источников, все недоброжелательные отзывы о нем. В них, рядом с вспышками раздражения на то, что он «виляет демократическими ляжками» и что у него «нет спинного хребта», ему, по-видимому, ставится в укор и то, что он был чрезвычайно чистоплотен, менял два раза в день белье и ежедневно фуфайку, подолгу причесывался, вытирался губкой с одеколоном, садясь писать, приводил в порядок все бумаги на столе и, «точно нянька», прибирал разбросанные вещи гостящих у него детей, и, наконец, даже то, что слуга его не топил комнат и воровал чай. К этим печальным свойствам присоединялось его болезненное самомнение, выражавшееся в желании *лечь у ног Пушкина,* по своеобразной логике «историко-психолога» доказывающее, что «преисполненный ложной скромности» Тургенев ставил себя *наравне* с Пушкиным, считая себя одного достойным лечь с ним рядом. Стоит прочесть внимательно все произведения Тургенева, припомнить его выступления на московских пушкинских торжествах в 1880 году или прислушаться к отголоскам его горячих споров в литературных кружках о значении Пушкина, чтобы видеть, как недосягаемо высоко ставил он последнего и как далек он был от мысли равнять себя с ним. В его желании выражалось лишь восторженное отношение к великому поэту, которому он стольким, по собственному признанию, был обязан в развитии своего творчества и своих общественных взглядов. Такое же отношение к Пушкину было и у другого выдающегося русского писателя — И. А. Гончарова, говорившего, что при известии о его смерти он «плакал, как о смерти любимой женщины,— нет, это неверно,— о смерти матери,— да, мате-

ри!» Да и давно ли на нашем точном и образном языке выражение *«лечь у ног»* считается однозначащим с *«лечь рядом»?*

Так продолжались моральные похороны Тургенева многие годы после его смерти. Хочется надеяться, что теперь они окончены и что краски, наложенные этим надгробным красноречием на личность человека, так много давшего людям и на своей родине и за ее рубежом, «спадут ветхой чешуей». Хочется думать, что Тургеневское общество не пойдет этим путем и своими работами углубит и расширит понимание и изучение *творений* Тургенева в их отношении к разнообразным сторонам жизни...

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

Литературным фондом были поставлены «Ревизор» и «Женитьба», причем Хлестакова и Кочкарева играл П. И. Вейнберг; группу «аршинников, самоварников», являющихся с жалобой к ревизору, составляли Тургенев, Островский, Дружинин и другие, а городничего и Подколесина играл Алексей Феофилактович Писемский. Он был превосходен в обеих ролях. Чувствовалось, что он воспринял и воплотил бессмертные гоголевские типы не с книжным лишь пониманием, а на основании личных наблюдений и житейских встреч. Особенно удался ему в этом отношении Сквозник-Дмухановский. До сих пор мне с особенной яркостью вспоминается городничий — Писемский в его разговоре с Осипом, которого с удивительным талантом играл студент Ловягин, чья ранняя смерть лишила русскую сцену будущего несомненного украшения.

Личное наше знакомство началось в Москве, куда Писемский переселился, устав идти «против течения», редактируя «Библиотеку для чтения» и возбудив против себя ожесточенное, но в значительной степени справедливое, литературное гонение своими фельетонами под псевдонимом Никиты Безрылова, с грубой беспощадностью осмеивавшими почти все без разбора проявления пробудившейся общественной мысли. В Москве, дав по своим противникам последний залп в талантливом, но весьма тенденциозном романе «Взбаламученное море», в котором, по его мнению, «была тщательно собрана вся ложь нашей русской жизни», он успокоился и вошел в свою настоящую колею художника-бытописателя. Его главными произведениями были драма «Горькая судьбина», справедливо оцененная критикой и не утратившая своего художественного достоинства и до настоящего времени, и роман «Тысяча душ». Последний был мастерским изображением того, как жила и какими способами и приемами управлялась русская провинция до эпохи великих реформ. В нем Писемский являлся суровым обличителем той, по выражению Хомякова, «мерзости» и «лжи тлетворной», которыми был полон общественный уклад того времени,— обличителем не словами гнева и негодования, а правдивыми, животрепе-

щущими образами. Он был также и моралистом. Вся разбитая жизнь Калиновича, сломанного сплоченною силою мелких людишек, с которыми он возымел самоуверенную смелость бороться, служит — под пером Писемского — ярким предостережением тем, кто думает,— а таких бывает немало среди людей далеко не дурных,— что общеполезная деятельность может искупить своим успехом грехи, учиненные для достижения ее возможности. На меня «Тысяча душ» произвела в свое время очень сильное впечатление, да и до сих пор, ознакомясь в моей служебной жизни в провинции с отголосками многого, изображенного в романе, я думаю, что последний по праву должен стоять на первом месте после «Мертвых душ». Поэтому я с удовольствием воспользовался случаем познакомиться с Писемским.

В последнем все было своеобразно: и манера говорить «по-костромски», с ударением на «о», и произнесением «ае», как «а» (он говорил вместо думает, делает, гуляет — думат, делат, гулят), и огромная голова в черных вихрах, с широким лбом, с большими, навыкате темными глазами и крупными чертами лица, со всклокоченной короткой бородой. Вся его наружность, «неладно скроенная, но плотно сшитая», его манера скашивать в сторону желчный и беспокойный взор имела в себе что-то отдаленно напоминавшее молодого быка. Во всем, что он говорил, слышался сильный, непосредственный ум, чудесно воспринимавший и понимавший прозаическую сторону жизни,— решительно, хотя и без злобы, отодвигавший и разрушавший все лживые декорации и условные украшения, которыми прикрывалась эта проза. К этому присоединялось глубокое знание народной жизни и безобидный юмор, огоньки которого постоянно вспыхивали в его рассказе. Он был большой хлебосол и любил собирать у себя молодежь, к которой умел относиться без всякой рисовки, просто и сердечно. В доме у него было тепло и уютно, чему в особенности способствовала его жена, уравновешенному и возвышенному душевному строю которой соответствовала прекрасная наружность красивой и здоровой русской женщины. Несомненно, что в жизни увлекающегося, невоздержанного и слабого характером Писемского жена его Екатерина Павловна (дочь писателя Свиньина) имела благотворное влияние. Изобразив ее в Евпраксии «Взбаламученного моря», он сам признал это и отдал дань искреннего ува-

жения ее нравственным качествам, хотя и назвал ее «ледешком». С таким же чувством относились к ней и все, кто ее знал и кто понимал, что ее жизненная задача была не из легких и что на душе приветливой, умной и с виду спокойной хозяйки не раз бывало очень и очень тяжело. Немалую заботу должны были доставлять ей и странности мужа: его крайняя мнительность по отношению к людям и к своему здоровью, а также, в некоторых случаях, комическая боязливость. Так, например, он страшно боялся собак. Ему стоило увидеть на своем пути хотя бы самого смиренного и скромного по размерам пса, чтобы с испугом повернуть назад, несмотря ни на какую необходимость идти в избранном направлении.

Покойный Горбунов, очень любивший Писемского и ценивший в нем большое знание народа, рассказывал мне о своей поездке с ним, летом 1855 года, во время Крымской войны, на корабль генерал-адмирала, стоявший на кронштадтском рейде в виду неприятельской эскадры. Писемский был в отличном расположении духа и от любезного приема великим князем Константином Николаевичем, и от общества моряков, и от трапезы, которую он оценил, как знаток. Поэтому он с особым удовольствием стал читать собравшимся под тентом на палубе отрывки из не напечатанного еще своего романа «Тысяча душ». Вдруг с моря послышались звуки отдаленных выстрелов. Писемский побледнел, остановился, с испугом поднял брови и дрожащим голосом, в котором звучало отчаяние, спросил великого князя: «Началось?!» Хотя его старались успокоить, объясняя, что это лишь салют англо-французской эскадры идущему с запада кораблю, но он отвечал на это недоверчивым и угрюмым взглядом, кое-как дочитал до первого места, на котором можно было оборвать чтение, и стал торопить Горбунова отъездом, говоря, что у него в Петербурге неотложное дело. Он успокоился только поздно вечером, по прибытии в Петербург, сойдя на берег с парохода, в буфете которого старался придать себе мужества искусственными средствами. Около этого времени появились в «Современнике» «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, по поводу которых Тургенев, спрашивая Некрасова о том, кто такой автор, писал: «Это — талант надежный!» Отрывки из этих рассказов пришлось прослушать где-то и Писемскому, окончившему в это время такую замечательную вещь, как «Тысяча душ». По словам

Горбунова, он мрачно поглядел на него и сказал: «Этот офицеришка всех нас заклюет! Хоть бросай перо!»

В Москве у Писемского, во время моего студенчества, мне приходилось бывать обыкновенно раз в две недели на Басманной и на Пресне, вместе с моими покойными товарищами Куликовым и Кирпичниковым (впоследствии известным профессором Московского университета). Вечер тянулся часто довольно скучно, так как большинство играло в карты, но рано подававшийся ужин вознаграждал за эту скуку, и мы жадно внимали интереснейшим рассказам и воспоминаниям хозяина и его обычных посетителей — А. Н. Островского и скульптора Рамазанова — и поучительным спорам между ними. Последние часто касались Шекспира, значение и смысл произведений которого выяснялись при этом всесторонне. Эти пиршества мысли оканчивались поздно, и мы расходились с сожалением. Иногда Писемский советовал нам, и в особенности Кирпичникову, жившему на краю города, остаться ночевать, ввиду того, что в это время в Москве по ночам «пошаливали». Мы, однако, от этого уклонялись...— «Неужели вы не боитесь?!» — однажды спросил Писемский Кирпичникова — высокого и сутулого силача. «А чего бояться?» — ответил Кирпичников. «Да ведь вас ограбят!» — «Нет, я этого не боюсь! Я боюсь другого: я боюсь, как бы я кого не ограбил!» — смеясь, сказал Кирпичников.

Особенно яркое воспоминание оставила во мне поездка к Писемскому вместе с Куликовым в августе 1865 года. Он жил тогда в одной из дачных окрестностей Москвы, кажется в Давыдкове, на небольшой даче с мезонином старинного образца, полукруглое окно которого выходило на церковь и бывший пред нею большой луг. В мезонине, куда нам пришлось подняться по крутой деревянной лестнице, нас встретил очень приветливо хозяин, прямо спросивший нас: «Вы чего хотите: пойти погулять или послушать мою новую драму «Бывые соколы»?» Конечно, мы избрали второе, тем более что достаточно утомились от путешествия по пыльной дороге на старинных московских дрожках, называвшихся «калибером», или «гитарой», и представлявших из себя, при длинном пути, орудие добровольной пытки.

Писемский был в халате, широко распахнутом на груди над расстегнутой на верхние пуговицы рубашкой. Его могучая выя, всклокоченная голова и все его неприхотливое одеяние придавали ему несколько дикий характер. Он

начал немедленно читать, щурясь по временам от косых лучей заходящего солнца, заглядывавших в окно. Читал он, как всегда, превосходно, все более и более увлекаясь стремлением дать в голосе и интонациях живое изображение действующих лиц. К концу первого действия он стал декламировать на память, лишь изредка заглядывая в рукопись и, так сказать, играя свое произведение. В промежутки между действиями он сидел молча, с задумчивым и подчас мрачным видом, понурив голову и видимо торопясь отдохнуть. Мы тоже сидели молча, как зачарованные, чувствуя, что всякие вопросы и разговоры обыденного содержания были бы неуместны и шли бы вразрез с настроением автора, которое постепенно заражало и охватывало нас. А солнце все спускалось, лучи его заиграли на потолке, наконец, оно ушло за лес, и стали быстро наступать августовские сумерки. Тьма сгущалась, а Писемский продолжал читать или, вернее, играть свою драму. Один из нас сделал движение, чтобы зажечь свечи, но Писемский сердито взглянул и сделал повелительный жест рукой, как бы говоривший: «Сиди и слушай!» Он кончил, когда уже было почти совсем темно. Лишь постепенно привыкшие к этой темноте глаза наши могли различать его крупную фигуру... Он уже не сидел, а стоял у стола и говорил последний монолог пьяницы-актера в одной из трущоб московской «Грачевки», начинавшийся и кончавшийся словами: «Люди вы бедные,— люди вы скверные!» Мы не решались прервать молчания и тогда, когда он кончил, только выразительно пожали его похолодевшую руку, не находя слов, чтобы выразить то глубокое впечатление, которое произвела на нас его драма в связи с его мастерской передачей.

Я никогда впоследствии не читал и не слышал ничего, что бы производило такое потрясающее впечатление трагизмом своего сюжета и яркими, до грубости реальными, красками. В этой драме был соединен и, так сказать, скован воедино тяжкий и неизбежный рок античной трагедии с мрачными проявлениями русской жизни, выросшей на почве крепостного права. Жестокость и чувственность, сильные характеры и едва мерцающие, условные понятия о добре и зле, насилие и восторженное самозабвение — были переплетены между собой в грубую ткань, в одно и то же время привлекая и отталкивая зрителя, волнуя его и умиляя. Откровенность некоторых сцен, совершенно необычная в то время, напоминала по своей манере иные

места в шекспировских хрониках. Я помню сцену, где жена, заподозрив связь своего мужа с дочерью, берет последнюю за руку и в присутствии мужа, окинув ее внимательным взором, говорит ей тоном, не допускающим возражения: «Ты беременна!» Дочь выносит пристальный взгляд матери и отвечает решительно:«Да!» — «От него?» — спрашивает мать, показывая дочери на ее отца. «От него»,— отвечает спокойно дочь. По тогдашним цензурным условиям такая пьеса, конечно, не могла появиться не только на сцене, но и в печати. И действительно, когда через много лет я прочел в печати «Бывых соколов», я не нашел в них даже отдаленного сходства с тем, что мы слышали от Писемского в памятный августовский вечер. То, что он нам читал тогда, было словно положено в щелок, который выел все краски и на все наложил один серенький колорит. Самый сюжет был изменен, смягчен и все его острые углы обточены неохотною и потерявшею к своему произведению любовь рукою. Контуры типических, властных и суровых лиц оказались очерченными слабее и далеко не производили прежнего впечатления. Исчез и монолог актера. Едва ли сохранилась первоначальная рукопись «Бывых соколов» при том разгроме семьи Писемского, который произвела судьба. И об этом нельзя не пожалеть: теперь эта вещь могла бы быть напечатана целиком и показать, что модным в наше время резким откровенностям сюжета может соответствовать редкая в наше время глубина житейской правды...

— Ну, теперь идите пить чай к жене,— сказал нам Писемский,— а я приду немного спустя.— Внизу, у чайного стола с кипящим самоваром и закусками, нас встретила Екатерина Павловна и стала расспрашивать о впечатлении, произведенном чтением, но затем, заслышав шаги спускавшегося вниз мужа, прервала нас, сказав: «Пожалуйста, не будем об этом говорить: он слишком много над этим задумывается...»

Писемский вошел в просторном летнем платье, но без галстука. Расспрашивая Куликова о его семейных делах, он отстранил рукой налитый ему стакан чаю и, налив большую рюмку водки, выпил ее залпом, ничем не закусив. Через несколько минут он повторил то же самое и угрюмо замолчал, неохотно отвечая на вопросы. Через десять минут он выпил третью рюмку. Я взглянул вопросительно на бедную Екатерину Павловну. Она с печальной улыбкой в ответ мне пожала плечами и с затаенным страданием посмотрела на мужа.

— Алексей Феофилактович,— сказал я,— зачем вы это делаете? Ведь это вам вредно.

Он тяжело посмотрел на меня и снова протянул руку к графину.

— В самом деле,— зачем? — присоединился ко мне Куликов.— Вспомните, как вы бывали больны в Петербурге.

Писемский молчаливо налил четвертую рюмку, «опрокинул» ее, взял маленький кусочек хлеба и, помолчав, вдруг оживленным и вместе жалобным голосом, с очевидным волнением, сказал, обращаясь к моему приятелю: «Понимаешь ты, я без этого не засну! Не могу я спать без этого. Они — вот те, о ком я вам читал, не дают мне спать. Стоят вокруг меня и предо мной всю ночь и смотрят на меня,— и живут и не дают мне заснуть! И не могу я без этого— понимаешь?» Он тряхнул косматой головой, как бы стараясь освободиться от созданных его творчеством образов... и потянулся к пятой рюмке.

Последние годы жизни Писемского в Москве были омрачены серьезной болезнью жены и тяжкой неотступностью мысли о загадочном самоубийстве младшего сына, лишившего себя жизни в Петербурге, где он и начинал службу, и оставившего, вместо всякого объяснения, тщательно составленный список своих вещей и маленьких, почти грошовых, долгов. Проездом через Москву в 1880 году я посетил Алексея Феофилактовича. Он очень «подался», был одет более чем небрежно, и нервные слезы постоянно навертывались на его глаза, хотя он и старался казаться спокойным. Перед ним стояло, несмотря на ранний час, красное вино, а сквозь расстегнутый ворот рубашки виднелся шнурок, на котором обыкновенно носят нательный крест или образок. Последнее до того шло вразрез с его «вольнодумным» отношением к религиозным обрядам и обычаям, что я, на его сетования о том, как все изменилось и в нас и вокруг нас, невольно сказал ему, показывая глазами на этот шнурок: «Вот ведь и это у вас новое!» Он грустно улыбнулся и, обращаясь к старшему сыну, сидевшему тут же, молчаливому и болезненно-апатичному, сказал ему: «Понимаешь! Он думает, что это ладанка. А это...— и он полез рукой за пазуху,— это... мундштук для папирос. Я стал стар и забывчив, все их теряю или не помню, где положил,— приходится искать. Вот я привязал на шнурок, да и ношу на шее. Так оно удобней!»

Он скончался за неделю до̀ Достоевского, в 1881 году.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

(Отрывочные воспоминания)

Несмотря на признаваемое мною огромное художественное и общественное значение произведений А. Н. Островского и неизгладимое впечатление, оставленное во мне некоторыми из них в сценическом исполнении, мои личные воспоминания о нем весьма невелики. Моя сознательная юность совпала со второю половиной пятидесятых годов прошлого столетия, со временем особого оживления литературы после леденящего гнета последнего десятилетия перед тем. В обществе жило и с каждым днем расширялось предчувствие неизбежности великих реформ, которые должны были коснуться уклада русской бытовой жизни, заглянув в ту область, которая заслонялась тем, что Иван Аксаков метко назвал общественной и государственной «фасадностью». Первая и главнейшая из этих реформ — отмена крепостного права, с каждым днем приобретала реальную осуществимость, а в области словесности каждый год приносил произведения, составляющие до сих пор драгоценные перлы нашей литературы. Достаточно указать на «Обломова» в полном виде, на «Дворянское гнездо», «Рудина», «Тысячу душ» Писемского и др. С того времени прошло более чем шестьдесят лет, но и до сих пор, после многого пережитого в той же области, мне светят и меня греют воспоминания о тех далеких днях, когда приходилось с нетерпеливым и жадным волнением добывать и раскрывать книжку журнала, где бывали помещены такие произведения. Они рисовали и уясняли нам, молодежи, многие стороны уходившей в прошлое действительности и своими яркими красками давали почувствовать желанное и, казалось, так возможное светлое будущее родины. Имена Тургенева, Гончарова, Некрасова были нам особенно дороги, но Островский был довольно чужд. Этому было несколько причин. Те его пьесы, которые изредка приходилось видеть на сцене в Петербурге, давались без серьезного к ним отношения, с крайними преувеличениями их комического оттенка, причем одна из лучших его комедий, создавшая ему громкую известность — «Свои люди — сочтемся», была допущена на сцену лишь в самом конце пятидесятых годов, и притом с искаженным, по цензурным соображениям, концом. Бы-

товая драма медленно завоевывала себе театральные подмостки, приучившие публику к представлениям ложнопатриотического характера, к сентиментальной мелодраме и к водевилю, постепенно уступившему место оперетке, едва ли содействовавшей развитию вкуса зрителей. Того глубокого понимания смысла и значения произведений Островского, какой представляла московская сцена, тут не было и в помине. Из-за потешно и часто карикатурно представленных положений в среде, весьма далекой от петербургской бюрократической жизни, не выглядывала, несмотря на присущую ей своеобразность, человеческая личность с ее глубокими, то мрачными, то трогательными, свойствами в ее житейском укладе. Вместе с тем почти исключительное сотрудничество Островского в «Москвитянине», его близость с «молодой редакцией» последнего и восторженные отзывы со стороны так мало понятого в свое время Аполлона Григорьева, очень не нравились петербургской критике, ставившей на первый план не художественность, а публицистическое направление произведений. Старый московский горячий спор западников и славянофилов принимал здесь новую форму, и близость Островского со славянофильским кружком — «ein кружок... in der Stadt Moskau»[1] — считалась признаком отсталости и равнодушия к общественным интересам, размеры и свойства служения которым, а не художественная разработка житейской правды служили мерилом для оценки писателя. Голос Григорьева, вдумчивого сторонника Островского, был для петербургской критики голосом вопиющего в пустыне. До появления «Грозы» сочувственные отзывы о произведениях Островского встречались редко среди пренебрежительных, а подчас даже и ругательных рецензий. Даже такая глубоко прочувствованная и содержательная вещь, как «Бедность не порок», была встречена глашатаями «истинных», то есть, в сущности, исключительно публицистических задач литературы, весьма неодобрительно. Автору «ставилось на вид», что он не ограничился бичующим изображением «самодурства», а позволил себе под обличьем падшего и порочного русского человека раскрыть душу живу и найти в ней божью искру любви и сострадания, считая, как он сам выразился в письме к Погодину, что для права «исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее».

---

[1] «В городе Москве» *(нем.)*.

Особенно отличался в этом отношении поэт Щербина — «грек Нежинский, но не Милетски», с которым одно время носились некоторые круги петербургского общества и в особенности усердные почитатели вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого, у которого, слегка заикаясь, Щербина стал ярым противником старика Погодина, Аполлона Григорьева и Островского. Его сатирические стихотворения ходили по рукам во множестве списков и разносили неверное и крайне недоброжелательное об упомянутых литературных деятелях представление, злорадно повторяемое людьми, не дававшими себе труда основательно познакомиться с произведениями ядовито уязвляемого Щербиной автора... В моем собрании автографов писателей есть написанное характерным крупным почерком Щербины «Послание к некоемому бессребренному старцу Михаилу (Погодину), отправляющемуся на казенный счет изучать монголов на месте» и стихотворение «Пред бюстом автора гостинодворских комедий»; среди бумаг покойного профессора Бориса НиколаевичаЧичерина я нашел автограф Щербины — «Сказание о некоем боголюбивом юноше и святоше Тертии» (Филиппове), и в этом сказании Островский называется стяжавшим себе по справедливости наименование «гостинодворского Коцебу», а во втором из этих пасквилей, написанном после чтения в «Москвитянине» стихотворения А. Григорьева «Искусство и правда», автор, обращаясь к Островскому, которого именует «трибуном невежества и пьянства адвокатом», «чей жалкий идеал пропойца Торцов», говорит: «Тебе сплели венок из листьев белены, и пенник, и дурман несут на твой треножник лишь «Москвитянина» безумные сыны да с круга спившийся бессмысленный художник».

Появление «Грозы» произвело, однако, решительный поворот в отношении печати и общества к Островскому. Добролюбов, еще и раньше ценивший Островского как изобразителя и обличителя самодурства, произвел сильное впечатление своей статьею «Луч света в темном царстве», которая читалась с жадностью и заставляла приступить к серьезной переоценке прежнего критического отношения к Островскому. Еще большее впечатление производила «Гроза» на сцене, где к исполнению ее были привлечены лучшие силы Александринского театра. Было видно, что к постановке ее все участники — артисты, режиссер и декораторы — отнеслись с особой любовью.

Линская была удивительная Кабанова, холодом веяло от нее, от каждого ее слова и движения. Снеткова создала цельный и поэтический образ Катерины, а сцена ночного свидания Кудряша — Горбунова с Варварой — Левкеевой была проведена ими с такой жизненной правдой и эстетическим чутьем, что заставляла совершенно забывать, что находишься в театре, а не притаился сам теплою весеннею ночью на нависшем над Волгою берегу в густой листве, в которой свистит и щелкает настоящий соловей. Но выше всего был Мартынов, драматический талант которого, столь неожиданно расцветший, тут проявился во всей своей силе. На месте актера, одно появление которого еще недавно, в каком-нибудь нелепом водевиле, вроде «Дон Ронуда де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть», возбуждало громкий, заранее готовый смех зрительной залы,— вырос человек, властно и неотразимо заглядывающий в самую глубину потрясенного сердца зрителя. Роль молодого Кабанова была апогеем славы Мартынова, она же была и его лебединой песнью. Я еще вижу его, как живого, над трупом несчастной жены, с непередаваемым выражением в лице и голосе, бросающим старой Кабановой упрек: «Это вы ее погубили, маменька, вы».

Переехав после закрытия Петербургского университета в 1861 году в Москву, я мог наслаждаться, насколько позволяли мои скудные студенческие средства, зрелищем настоящего исполнения произведений Островского, которое было достойно их художественной обработки и внутреннего смысла. Без глубокой благодарности не могу я вспомнить Садовского и Шумского, Рассказова, Акимову, Косицкую и других, составлявших истинное и непревзойденное украшение московской сцены. Их игра была не только ярким личным воплощением образов, созданных автором, но и живою непосредственною связью между артистом и зрителем. Не могу забыть впечатления, произведенного на меня и на многих из тогдашней студенческой молодежи «Доходным местом». Перед нами, будущими юристами, в заманчивых чертах рисовалась грядущая Судебная реформа, но большинство из нас не имело случая и возможности узреть воочию душевный склад и повадку деятелей еще существовавшего суда с его приказным строем и теми свойствами, которые дали Хомякову право воскликнуть: «В судах черна неправдой черной»... Нравственные мучения и колебания Жадова и про-

поведь пляшущего Юсова не могли не вызывать желания стать работником в том новом суде, который искоренит черную неправду.. И как осязательно и наглядно для мало-мальски чуткого молодого сердца страдал незабвенный Жадов — Шумский! Какое негодование вызывала самодовольная фигура Юсова — Садовского, желающего плясать на улице, пред всем народом, потому что он — мздоимец и лихоимец — объявляет, что «душу имеет чисту». Как было не любить и не ставить высоко автора, который, найдя понимающих его замыслы исполнителей, умел в «Шутниках» Шумскому дать возможность сказать поворачивающим душу полушепотом свое трагическое: «пошутили», а Садовскому раскрыть весь ужас положения бедной девушки, покровительственно гладя ее волосы и с особым многозначительным выражением говоря ей: «ко мне в экономки»... Обаятельное впечатление, производимое на меня пьесами Островского в московском исполнении и истолковании, усиливалось еще и тем, что я на собственном опыте, давая уроки в купеческих домах, на Малой Якиманке, у Николы-на-Ямах и т. п., изведал всю справедливость тех картин и образов, которые провозглашались в Петербурге как карикатура. В моих воспоминаниях студенческого времени я говорю об этом подробно. Теперь же скажу только, что мне не раз, слушая и видя многое, что совершалось и говорилось в суде, приходилось спрашивать себя: «Да не отрывок ли это из какой-нибудь неизвестной мне комедии Островского, разыгрываемый опытными любителями?» Сколько раз чувствовал я, что Островский поэтому имеет полное право повторить по отношению к себе те слова, которыми Л. Н. Толстой заключает вторую часть своих «Севастопольских рассказов»: «Герой же моей повести, которого я ...старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — *правда*».

Не все, впрочем, и в Москве относились к Островскому с справедливым признанием его таланта и заслуг пред русской драматической литературой. Особенно меня поразил в этом отношении выдающийся и тонкий артист Михаил Семенович Щепкин. Я несколько раз был у него — старого приятеля моего отца, на 3-й Мещанской улице, и слушал его исполненные интереса и глубоких артистических замечаний рассказы, воспоминания и чтение стихотворений Шевченко. Я помню его восторженные слезы при отзывах о Гарибальди, по поводу которого он при-

водил ходивший на Украине слух, что будто бы предки итальянского героя были «запорожцами и назывались Загребайло». Я был раз свидетелем удивительного по своей оригинальности объяснения его о том, как играть Отелло, со знаменитым трагиком негром Айра Олдриджем, посетившим его в сопровождении шумливого Кетчера в качестве переводчика. В сетованиях о том, что ему пришлось покинуть сцену вследствие преклонного возраста, Щепкин коснулся, не помню по какому поводу, «Грозы» Островского и неожиданно поразил меня, сказав, что по отношению к этой пьесе он разделяет мнение Галахова, считавшегося некоторыми в то время за авторитет в оценке драматических произведений. Мнение же это состояло в том, что Академии Наук не следовало присуждать Островскому Уваровскую премию за эту драму,— за произведение, на представление которого нельзя идти порядочному семейству и куда, конечно, сам граф Уваров никогда бы не повел свою дочь. «Народная драма»,—говорил Щепкин,— должна соответствовать народным воззрениям, и потому странно, что Островский выставляет как идеал женщину, решившуюся всенародно объявить себя распутною. Да и Дикой неправдоподобен и карикатурен. Нельзя выставлять в условиях современности самодура действующим беспрепятственно в такое время, когда никто его самодурству уже не покорится». Так сильно влияли на взгляды замечательного и глубокого артиста, умевшего создать незабываемые образы Фамусова и городничего, устарелые традиции условного искусства. Резкое осуждение Островскому, наводнявшему сцену своими комедиями, пришлось мне слышать и от автора «Аскольдовой могилы», Верстовского.

Личные встречи мои с А. Н. Островским были нечасты. Мне приходилось видеть его у Алексея Феофилактовича Писемского, переселившегося в Москву, на Пресню, после неудачного редактирования в Петербурге «Библиотеки для чтения» и оскорбительного шума, поднятого вокруг его имени по поводу бестактных фельетонов под псевдонимом «Никита Безрылов», огульно осмеивавших разные либеральные общественные начинания. Еще недавно прославляемый за свой замечательный роман «Тысяча душ» и драму «Горькая судьбина», увенчанную Уваровской премией, он сделался мишенью для самых резких нападений, доходивших до вызова его на дуэль. Давши некоторую отповедь своим литературным противникам в романе

«Взбаламученное море», в котором, по его мнению, «была тщательно собрана вся ложь нашей русской жизни», он успокоился и вновь приобрел утраченную на время объективность художника-бытописателя.

Писемский был гостеприимный человек и по временам звал меня и моих товарищей по университету — Куликова (сына режиссера Александринского театра) и Кирпичникова (впоследствии известного профессора) обедать и проводить у него вечер, причем иногда превосходно читал или, вернее, играл, отрывки из своих произведений. У него мы часто встречали Островского. С ним Писемский был в дружеских отношениях. Их соединяло основательное знание разных сторон русской жизни и общность взглядов на душевные свойства русского человека. Их «Горькая судьбина» и «Грех да беда» были в нравственном отношении провозвестниками будущей «Власти тьмы». Островский в свое время пригласил Писемского дебютировать в «Москвитянине» сразу снискавшей ему известность повестью «Тюфяк» и всегда интересовался мнениями Писемского, с которым бывал в откровенной переписке. Застольные и вечерние беседы у Писемского были для нас и интересны и поучительны. Часто они состояли из рассуждений о задачах искусства, причем деятельное и горячее участие в спорах о них принимал известный скульптор Рамазанов. Мне особенно памятны беседы о Шекспире и Сервантесе, которыми чрезвычайно восхищался Писемский. К сожалению, я не записал подробное содержание этих бесед, но ясно помню, что Островский указывал на все величие бессмертных творений английского гения. Мы слушали его жадно, и ему, видимо, нравилось наше напряженное внимание. Самой глубокою из трагедий Шекспира он тогда считал «Короля Лира». Анализируя по этому поводу человеческие страсти как материал для драматического произведения, он находил, что каждая из них имеет своего представителя в отдельных образах, разработанных Шекспиром, и что судьба каждого из них есть изображение неизбежного конца, которым роковым образом завершается развитие той или другой страсти. Гораздо позже, изучая Шекспира и знакомясь с трудами его немецких толкователей, я нашел ту же мысль у немецкого критика Крейзига.

Излишне говорить, что наши беседы оживлялись воспоминаниями собеседников из личной жизни и грубоватыми, но остроумными шутками Писемского.

В половине семидесятых годов я встретил Островского за обедом у Некрасова Он был молчалив и показался мне чем-то озабоченным. Мне пришлось видеть его снова в Москве в июне 1880 года при открытии памятника Пушкину. Радостный и добрый, он принимал участие во всех видах чествования великого поэта. На обеде, данном городом депутатам от разных учреждений и обществ, мне (привезшему адрес от Петербургского юридического общества) пришлось услышать в его речи горячо сказанное от лица литературы крылатое слово: «Сегодня на нашей улице праздник». Он находился в группе выдающихся писателей, вышедшей на третий день празднества на эстраду дворянского собрания с лавровым венком для увенчания бюста Пушкина, причем его друг, Писемский, при общем одобрении, снял на время этот венок с бюста и возложил на Тургенева...

В последний раз я видел Островского за два года до его кончины в редакции «Вестника Европы». Он жаловался на усталость, и на лице его лежала какая-то тень, как будто его уже слегка коснулась смерть своим крылом. Но он был очень оживлен и с иронией повествовал о своих прошлых цензурных злоключениях, указывая, что «знаменитое» Третье отделение за время своего существования очень косо смотрело на него, считая его драматические произведения систематическими и последовательными нападениями на купечество, дворянство и чиновничество. Разговор перешел на Салтыкова-Щедрина, и Островский отзывался о нем самым восторженным образом, заявляя, что считает его не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему.

Излишне говорить о заслугах Островского в истории русского драматического искусства. Они уже давно всеми признаны. Но у него есть и другая заслуга пред русской историей вообще: ученому исследователю нашей прошлой бытовой жизни он дал в своих драмах и комедиях драгоценный и содержательный материал для освещения одной из сторон целого периода именно этой жизни.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. Рядом с восторженным изображением его, как «печальника горя народного», существуют отзывы о нем, как о тенденциозном стихотворце, в произведениях которого «поэзия и не ночевала», как о лицемере, негодующее слово которого шло вразрез с черствостью его сердца и своекорыстием. Здесь не место разбирать его произведения и доказывать при этом, как односторонни, пристрастны и несправедливы такие взгляды на его творчество и личность. Достаточно указать на задачу, поставленную им всякому общественному деятелю своим заветом: «Иди к униженным, иди к обиженным — там нужен ты», которому он и сам следовал, будя в читателе негодование на мрачные и жестокие стороны крепостного права, рекрутчины и бюрократического бездушия. Он знакомил так называемое «общество» и городскую молодежь с русским сельским бытом и, хотя и разными с Тургеневым приемами, вызывал в ней сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил. Нужно ли говорить о красоте, сжатости и выразительности его языка, о богатстве глубоких по содержанию прилагательных, рисующих целые картины, об искусных звукоподражаниях, о ярких образах, щедрою рукою рассыпанных в его произведениях? Можно ли забыть о тяжких впечатлениях его детства, протекшего «средь буйных дикарей», под звон цепей каторжников, проходивших «по Владимирке», и унылое пение бурлаков на Волге, и в частых горьких слезах, разделяемых им со страдалицей матерью, воспетой им с такой захватывающей скорбью?

Все это не входит, однако, в задачу настоящего очерка: хочется поделиться с читателями простыми личными воспоминаниями, касающимися Некрасова.

Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи, да она и не успела еще развернуться во всю свою ширь, я уже интересовался им по рассказам своего отца, издателя-редактора «Литературной газеты» в 1840—1841 годах и «Пантеона и репертуара» с 1843 почти вплоть по 1851

год, когда последний журнал был переименован в «Пантеон» и очень расширил свою литературно-художественную программу. Время издания «Литературной газеты» совпало с годами тяжелых испытаний и крайних лишений в жизни Некрасова. Ему приходилось очень бедствовать, подчас подолгу голодать и на себе испытывать ту нищету, бесприютность и неуверенность в завтрашнем дне, которые отразились на содержании многих его стихотворений. Он, очевидно, знал по личному опыту, как тяжко проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников, им изданных. Существовать приходилось изо дня в день составлением книжек для мелких издателей-торгашей и торопливым писанием на заказанные темы о чем придется и как придется. В этот период его жизни с ним познакомился редактор «Литературной газеты» и предложил ему в своем издании хороший по тогдашним временам заработок, ценя молодого писателя, давая ему иногда по целым неделям приют у себя и оберегая его от возвращения к привычкам бродячей и бездомной жизни.

В письме из Ярославля от 16 августа 1841 г., по поводу какого-то недоразумения, вызванного сплетнями одного из «добрых приятелей» Некрасова, он писал моему отцу: «Неужели Вы почитаете меня до такой степени испорченным и низким... Я помню, *что* был я назад два года, как я жил... я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи вашей. ...Я не стыжусь признаться, что всем обязан Вам: иначе бы я не написал этих строк, которые навсегда могли бы остаться для меня уликою». Большая часть работ Некрасова в «Литературной газете» была подписана псевдонимом «Перепельский». Себя и редактора он изобразил в «Водевильных сценах из журнальной жизни» под именем Пельского и Семячко и вложил в уста последнего следующее profession de foi[1] по поводу приемов тогдашней газетной травли, руководимой знаменитым в своем роде Булгариным: «Я литератор, а не торговка с рынка. Я ... не намерен ... пятнать страницы моей газеты тою ржавчиною литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами». Когда Некрасов вышел на широкую литературную дорогу, его добрые отношения с моим отцом продолжались, хотя видались они довольно редко.

---

[1] «Символ веры» *(букв.)* - изложение своих убеждений *(фр.)*.

В первый раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор — почему уже, не помню — коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. «Эх, отец! — сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам),— ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?..» — окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только что схороненного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: «Пускай умру — печали мало, одно страшит мой ум больной, чтобы и смерть не разыграла — обидной шутки надо мной»,— говорил он, и казалось, что это — замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати «Русские женщины», и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая, волновался и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он, которого так часто упрекали в неискренности, прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую, и в особенности за Трубецкую, те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение «Недавнее время»), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном

доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она, по-видимому, не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которою начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь «на дно». Поэтому «борьба за существование» меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, *надорванность* его молодости. Недаром говорил он про себя: «Праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда...»

Мы возвращались как-то, летом 1873 года, вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает «Кому на Руси жить хорошо», он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. «Постоянно будить надо,— без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут»,— прибавил он. «Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов,— сказал я.— Вот, например, хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей...»

— А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? — спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось про-

вести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губернии и в Бельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 года «на кондициях» в Пронском уезде Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки. Почти все время, свободное от уроков и от беседы с хозяйкой дома — умной и очень образованной женщиной, бывшей в переписке со многими выдающимися людьми Западной Европы, я проводил на селе, живо интересуясь только что совершившимся переломом в крестьянском быту под влиянием великой реформы 19 февраля и внимательно прислушиваясь к постепенно умолкавшим отголоскам недавних крепостных отношений. С чувством теплого уважения вспоминаю я прекрасную личность мирового посредника первого призыва, отставного майора Федюкина, одного из тех благороднейших деятелей, которые внезапно появились в России под благовест освобождения и нередко беспощадно к себе и бескорыстно вложили всю душу свою в новое дело. И, как контраст ему, рисуется в моих воспоминаниях местная молодая титулованная помещица, вечно воевавшая с ненавистным ей Федюкиным, со злобной настойчивостью преследовавшая своих крепостных за каждую охапку хвороста, собранную в ее лесу, и за каждый, как выражался мировой посредник, «намек на потраву». Она привозила по временам в Панькино откуда-то добываемый ею герценовский «Колокол» и с ликованием читала в нем резкие и язвительные выходки против императора Александра II. Когда однажды я заметил ей крайнее несоответствие ее домашнего образа действий и негодования на Федюкина, часто становившегося на сторону крестьян,— с восхищением перед упомянутыми выходками, она пожала плечами с выражением презрительного сожаления о моем умственном неразвитии и решительно отрезала мне: «Никакого несоответствия нет, и удивляться нечему! Мне нравится, когда *его* ругают, поделом *ему!* Зачем он освободил крестьян и позволил разным Федюкиным помогать нас грабить!..»

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходах, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, «подвывая» волков, на что он был большой мастер, и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда «приходил француз». Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне «барина» и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. «Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука?» — полюбопытствовал он узнать. «Двадцать рублей».— «В год?» — «Нет, в месяц».— «Ой ли?! Да за что же это так много?» — «Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен».— «Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа?» — «Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю».— «С ними?!» — сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: «Врешь ты, родимый!..» Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время — но, конечно, не в семье Драшусовых — смотрели на учителя.

«А где ж ты там, парень, живешь? — спросил он меня в другой раз.— В господском доме?» — «Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо: тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю».— «В бане? — задумчиво сказал старик.— И тебе не боязно? *Она-то* по ночам не ходит? Не пужает тебя?» — «Кто она? Какая она?» — «Да ведь тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела и другое разное такое — совсем со свету сживала. Та возьми да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и «коронили» — значит, потрошили. А к чему это — неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!» Выслушав это, я понял, по-

чему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крылечке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что днем любила заходить ко мне и побеседовать с *учителем*. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере — человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач-кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, не находимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, *прощенный* барином, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чёртово городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом,— как рассказывал в первые мину-

ты после пережитого барин,— отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. «Нет! — отвечал ему кучер,— не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю...» И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричащего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довезти меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: «Я этим рассказом воспользуюсь»,— а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: «О Якове верном — холопе примерном», прося сообщить, «так ли?». Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и через месяц получил от него отдельный оттиск той части «Кому на Руси жить хорошо», в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников «Отечественных записок», где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный «друг писателей» Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны ввиду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: «А сколько вам, Михаил Александрович, лет?» — он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: «L'état c'est moi!» [1]. За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных, издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя в те времена, когда «жизнь была так коротка для песен этой лиры,— от типографского станка до

---

[1] Буквально: «Государство — это я» *(фр.)*. Здесь игра слов: L'état (государство) произносится как русское «лета».

цензорской квартиры!» и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами, и говорившему: «Сойдет-де и так»,— «Это кровь ... проливается! Кровь моя,— ты дурак!..»

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: «Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать»,— и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтействе, он сказал: «После моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и, помолившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. «Ведь вот,— сказала она,— шпионина, а душу в себе имеет человечью!» Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь в себе против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении «Суд». У меня сохранилось его письмо от 3 апреля 1873 г. «Разрешите, пожалуйста,— писал он,— *должны ли мы* напечатать прилагаемое объяснение судьи Загибалова? И может ли выйти что-либо неприятное для ре-

дактора (в случае, если б мир[овой] судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу) или нет? ... Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. .. Ответ ваш необходим *сегодня*. ... Очень обяжете. ... Искренно преданный Вам Н. Некрасов».

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь главным образом на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. «Calomniez, calomniez — il en restera toujours quelque chose!» [1] По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колемине, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. Ввиду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить на основании 512-й статьи XIV тома арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть, с дурным и злорадным умыслом, уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы гибельно отразиться на средствах для издания «Отечественных записок», как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я подробно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колемине и выяснил

[1] «Клевещите, клевещите — что-нибудь да останется!» *(фр.)*

ему *что именнно* разумеет закон под словами «устройство игорного дома» и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущею его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

Рассказы о «нечистой игре» Некрасова были несомненной клеветою,— такою же, как стремление представить его бессердечным эгоистом и человеком, двулично драпирующимся в тогу друга народа и служителя «музы мести и печали», в то время, когда до народных скорбей ему в сущности нет никакого дела, и он, широко тратя легко достающиеся деньги на себя, остается глух и слеп к чужому горю и несчастью. Из рассказов ряда писателей, а также его сестры, женщины правдивой до суровости, мне были известны нередкие случаи проявления им доброты и даже великодушной незлобивости по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзывчивая готовность «подвязывать крылья» начинающим даровитым людям и его трогательная нежность к сестре служат лучшим опровержением шипенья злобы, которая и при жизни его и по смерти прикрывалась услужливыми словами «говорят, что...». «Несть человек, аще поживет и не согрешит. Ты един кроме греха...» — говорится в чудном ритуале нашей панихиды. Не «прегрешения» важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться. Стоит вспомнить вырывавшиеся из глубины души Некрасова, орошенные внутренними слезами, крики, которыми он оплакивал случаи своего кратковременного падения или минутного малодушия, когда ему приходилось сознавать, что «погрузился ... в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей» и что «ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой...» — стоит их вспомнить, чтобы видеть, что он был человеком искренним.

Последние скорбные стихи были отголоском глубоко уязвивших Некрасова нареканий по поводу его стихотворного приветствия графу Муравьеву-Виленскому, диктаторская власть которого грозила в 1866 году прекращением наиболее выдающихся журналов. Слишком доверчиво полагаясь на умягчающее влияние своего поступка на сурового «усмирителя», Некрасов жестоко ошибся. «Современник», коего он был редактором, и «Русское слово» окончили свое существование, но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.

Тот, кто наблюдал жизнь, кому приходилось иметь дело с живыми людьми, должен, мне кажется, признать, что существует большая разница между человеком дурным и человеком, впавшим в порочную слабость или увлеченным страстью. Нередко под оболочкой почти безупречной «умеренности и аккуратности», дающей повод к лицемерному самолюбованию, таится несомненно дурной человек и, наоборот, иной игрок, пьяница или «явный прелюбодей», которого наши старые судопроизводственные законы не допускали даже до свидетельства на суде, вне пределов своей порочной склонности бывают людьми великодушными, благородными и добрыми, в особенности добрыми. Недаром Достоевскому приписываются слова, что у нас добрые люди обыкновенно пьяные люди и пьяные люди почти всегда добрые люди... Литературные и нравственные заслуги Некрасова пред русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже если бы они и были точно доказаны. Это прекрасно выразил покойный Боровиковский в стихах «Его судьям», в которых, обращаясь к непреклонному моралисту, сующему «с миной величавой, его ошибок скорбный лист», он говорит: «Ты сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи!...»

Во время долгой и тяжкой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием.

В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: «Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает *некогда*. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово — одно из самых ужасных. Петербург — это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших — и тоже бесплодных — жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю — а, оглядываясь назад, нахожу, что нам *всё и всегда было некогда*. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только *умирать есть время...*»

Хотя и давно ожиданная, вследствие сообщений газет о трудной операции, произведенной Бильротом, и о тяжких страданиях, смерть Некрасова произвела в Петербурге, да и во многих местах России, сильное впечатление, заставила встрепенуться во многих любовь к угасшему и вызвала неподдельное чувство боли, заставив на время смолкнуть наветы недругов и злобные шуточки лицемерных друзей. Это настроение нашло себе яркое выражение в прекрасных стихах того же Боровиковского, написанных накануне похорон и начинавшихся словами:

Смолкли поэта уста благородные...

Самые похороны были очень многолюдны и, сколько помнится,— были вторыми неофициальными похоронами в Петербурге, в которых — после торжественных похорон знаменитого артиста Мартынова 13 сентября 1860 г. — приняли участие с горячим порывом самые разнообразные круги общества. Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое активное восприятие основного мотива его поэзии. Надо, впрочем, заметить, что по торжественности и внешнему, свободно установленному, порядку эти похороны значительно уступали то-

му, что пришлось впоследствии видеть при похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. Мне вспоминается вечер 30 декабря 1877 г.,— день похорон Некрасова,— проведенный в доме редактора «Вестника Европы». Все были полны одним чувством, но с особой силой оно сказывалось у Кавелина — большого поклонника покойного поэта, любившего его «за каплю крови, общую с народом»

Русский человек до мозга костей, знаток быта и глубокий исследователь явлений истории своего народа, Кавелин нежно и беззаветно любил этот народ. Он светло смотрел вперед, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. «Да, я оптимист,— говаривал он с тихою и уверенною радостью во взоре,— я верю, что какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество, простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию». Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия,— но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. «Эти недостатки — недостатки молодости, не перебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень»,— говаривал он... «Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить,— без этого жить нельзя!» Он часто доказывал, что о народе следует судить не по его нравам и привычкам, а по его идеалам,— и с удовольствием повторял процитированное пред ним однажды изречение Монтескье: «Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs...» [1].

Всякий истинный слуга народа был ему дорог. Понятно, как ему, с этой точки зрения, был близок усопший поэт. Он умел так настроить и направить довольно многочисленный кружок, что весь вечер был всецело посвящен памяти усопшего. В растроганном настроении внимали все Кавелину, читавшему слегка дрожащим голосом и с влажными глазами «Тишину» и «Несчастных», в кото-

---

[1] «Народ честен в своих стремлениях, но не в своих нравах...» *(фр.)*.

рых с такой силой и красотой вылилась любовь Некрасова к родине и к русскому человеку.

Первым пунктом завещания Некрасова, составленного в январе 1877 года и утвержденного Петербургским окружным судом 20 января 1878 г., в бытность мою председателем этого суда, все авторские права, рукописи и частные письма к нему разных лиц завещаны в собственность Анне Алексеевне Буткевич, а именье близ села Чудово при усадьбе «Лука» оставлено в собственность жене с тем, чтобы она выделила из него половину незастроенной земли брату завещателя, Константину. Анна Алексеевна купила у вдовы брата доставшуюся ей усадьбу с землею. В этой усадьбе проводил покойный часто подолгу время в последние десять лет своей жизни, охотясь и работая; здесь, между прочим, написал он значительную часть своей поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анна Алексеевна относилась с благоговением к памяти брата и издала его стихотворения в 1879 году в четырех томах, в подготовку которых к печати вложила много любви и личного труда. В 1881 году она повторила издание в одном большом и компактном томе. Она умерла в 1882 году, и все три года ее жизни, прошедшие после смерти брата, были сплошным служением его памяти. В эти годы я сильнее прежнего сблизился с ней, в особенности после того, как мне удалось вывести ее из довольно затруднительного положения, вызванного ее несколько запутанными личными и семейными отношениями. «Получив ваше письмо,— писала она мне в апреле 1879 года,— я хотела сейчас ехать к вам, чтобы лично поблагодарить вас за спокойствие, которое вы мне устроили, но боязнь отвлечь вас от занятий удержала меня от демонстрации моей радости. Вы связали оказанную вами услугу с воспоминанием о моем брате... Да! В этом вы заменили мне его, и вы не поверите, каким вы стали дорогим для меня человеком». Она разбирала со мною бумаги и черновые наброски стихотворений брата. В двадцатых числах января 1882 года она заболела тяжелым плевритом и, пригласив меня к себе, просила быть ее душеприказчиком и позаботиться об устройстве в «Луке» училища в память брата. Слабое пожатие ее горячечной руки было последним для меня в ее жизни, которая угасла 20 февраля.

С грустным чувством приходится завершить мои отрывочные воспоминания повествованием о судьбе заду-

манного Анною Алексеевной увековечения памяти ее брата.

Согласно ее завещанию, на устройство и содержание этого училища должны были быть переданы мне деньги, вырученные книжным складом Стасюлевича от продажи изданных ею сочинений брата. Весною 1882 года я вступил в сношения с новгородским земством о передаче ему по дарственной записи усадьбы «Лука» со всею находящеюся в ней движимостью, с условием устроить в ней школу имени Некрасова, при обещании представителей земства сохранить в неприкосновенном виде его кабинет с письменным столом, креслом и превосходным портретом работы Ге. Земство приняло пожертвование с благодарностью и вскоре ассигновало на поддержание школы пятьсот рублей ежегодно, но затем начались разные затруднения и проволочки как относительно типа школы и ее назначения, так и относительно большего ее материального обеспечения. Для увеличения последнего я принял на себя ходатайство пред министром государственных имуществ М. Н. Островским об удовлетворении просьбы земства о ежегодной субсидии этой школе, если она будет сельскохозяйственного типа. Островскому, который в это время круто стал отрешаться от своих прежних взглядов и литературных симпатий, не было симпатично название школы, но после некоторых колебаний он согласился, и школе со дня ее открытия было назначено пособие в тысячу рублей ежегодно. Затем, вследствие новых заявлений земства о недостаточности средств, я вошел в 1884 году в сношение с А. А. Краевским и М. Е. Салтыковым о передаче новгородскому земству шести тысяч шестисот семидесяти трех рублей, собранных редакцией «Отечественных записок» на устройство школы в память Некрасова в месте его родины. Я был уверен, что эти деньги вместе с арендной платой с земли при «Луке», субсидиями от министерства государственных имуществ и от земства и с 4500 рублями, вырученными от продажи сочинений Некрасова, могут, наконец, обеспечить существование некрасовской школы. К сожалению, какой-то злой рок тяготел над открытием этой школы, которая в проекте переделывалась из сельскохозяйственной в ремесленную и наоборот и предназначалась к открытию то в «Луке», то в имении одного из местных помещиков, а в действительности не была открыта в течение девяти лет. Это побудило меня обра-

титься к председателю губернской земской управы с письмом следующего содержания: «Милостивый государь! Вследствие состоявшегося в 1882 году между мною, как душеприказчиком вдовы полковника Анны Алексеевны Буткевич, и представителями новгородского губернского и уездного земства соглашения, мною было передано земству для устройства школы в память Н. А. Некрасова завещанное госпожою Буткевич имение, состоящее из дома и 82 десятин земли при усадьбе «Лука», близ Чудова, и препровождены затем 11 173 рубля серебром. При возникшей по поводу устройства этой школы переписке между мною и господами председателями губернской и уездной земских управ я неоднократно высказывал, что, в качестве душеприказчика А. А. Буткевич, я не имею никаких возражений ни против типа или характера школы, ни против местности, в которой земству угодно будет ее открыть, озабочиваясь лишь скорейшим выполнением желаний завещательницы, хотевшей связать память о своем брате с посильною пользой народному образованию в местности, где последний часто живал и создал многие из своих поэтических произведений. К сожалению, однако, школа имени Некрасова до настоящего времени не учреждена, а появляющиеся в повременных изданиях известия заставляют предполагать, что при настоящем положении вопроса нельзя даже и предвидеть с точностью времени ее открытия, несмотря на то, что помимо земли и дома, на этот предмет у земства имеется уже капитал, превышающий четырнадцать тысяч рублей серебром. Не считая себя вправе входить в обсуждение причин и условий такого неблагоприятного для осуществления воли госпожи Буткевич положения дела, я не могу, однако, оставлять обязанности, возложенной ею на меня, неисполненною и ограничиться одним лишь формальным исполнением ее воли путем передачи ее имения и завещанных ею средств земству, тем более, что 6673 рубля испрошены мною у господ Салтыкова и Краевского именно для устройства задуманной госпожою Буткевич школы. Поэтому и ввиду предстоящего губернского земского собрания имею честь обратиться к вам с покорнейшею просьбой оказать зависящее с вашей стороны содействие — *к безотлагательному и действительному разрешению вопроса о некрасовской школе* — или же, буде новгородское земство считает принятые на себя по дарственной записи 1883 года обязательства *невыполни-*

мыми,— к возбуждению вопроса о возвращении мне всего, предоставленного для устройства школы, дабы я мог передать эти средства министерству народного просвещения с тою же целью».

Наконец, в 1892 году Некрасовская сельскохозяйственная школа была открыта при доме поэта в «Луке», причем из вещей Некрасова, вследствие плохого надзора, как удостоверял в «С.-Петербургских ведомостях» за 1902 год Жилкин, остался в доме лишь его портрет. По последующим известиям, если верить корреспонденции «С.-Петербургских ведомостей», в 1904 году школа находилась в таком неприглядном виде, что очередное уездное земское собрание постановило: признать школу в настоящем ее виде нежелательною и поручить управе разработать вопрос или о реорганизации ее, или о совершенном закрытии, передав портрет поэта в Музей императора Александра III и заменив его копией. В 1906 году— школа закрыта вовсе, а усадьба Некрасова сдана в аренду подрядчику рабочей артели с ближайшей плитной ломки...

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

Я просил нашего председателя разрешить мне выйти из пределов программы сегодняшнего заседания Юридического общества, чтобы сказать несколько слов в память человека, пред гробом которого в эти последние дни пролито столько искренних слез и чей прах был предметом такого величавого выражения скорби. Я не опасаюсь, что меня спросят: «Какое отношение может иметь *Федор Михайлович Достоевский* к собранию юристов?» — и не думаю, поэтому, что слово мое будет сочтено неуместным... Слово о великом художнике, который умел властно и глубоко затрагивать затаенные и нередко подолгу молчаливые струны сердца, не может быть неуместным в среде деятелей, посвятивших себя изучению норм, отражающих на себе душевную потребность людей в справедливости и искание наилучшего ее осуществления. Наше общество не должно составлять замкнутую корпорацию, чуждую всему выходящему из пределов узкой специальности,— мы соединились здесь не с тем, чтобы, уединившись от жизни и тщательно закрыв уши на шум и вечное движение волн живой действительности, толковать лишь о наших технических вопросах. Те темы, которые мы разрабатываем за последнее время, те вопросы, о которых говорят некоторые из нас пред вами, служили бы лучшим опровержением противоположного взгляда, если бы он мог найти себе место между нами... И когда за стенами нашего собрания происходит явление, возбуждающее общее внимание и скорбь, когда после обильной трудом и душевными тревогами жизни закрывает глаза человек, подходивший к вопросам, составляющим нашу специальность, со своей собственной, особой, оригинальной художественно-психологической стороны,— мы имеем право — нет! более, чем право,— мы *обязаны* помянуть его и хоть в немногих словах вспомнить, *как* относился он к этим вопросам.

Три вопроса, неравных по объему, но равносильных по значению, возникают пред человеком, который, познакомясь в теории с уголовным правом, впервые касается на практике обширной и темной области действий, называемых преступлением. Прежде всего является вопрос о *живом содержании* преступления,— не как отвлеченного

понятия о нарушении норм, а как конкретного, осязательного явления. Теория дает общие положения, указывает руководящие начала, определяет состав каждого преступления,— но его сокровенное содержание не вмещается в ее рамки. Совокупность влияний, порождающих преступление, и та внутренняя борьба, которая должна происходить в человеке между волею и страстью, между совестью и влечением, прежде чем он решится на роковой шаг,— ускользают от теории. Она может наметить лишь стадии в развитии преступления, указать станции на его пути, определить самый путь — может сказать: «это приготовление», «а это уж покушение», «а вот это совершение»,— но она не в силах развернуть пред нами картину внутренней движущей силы преступления и того сцепления нравственных частиц, в которых эта сила встречает себе противодействие. И вопрос о внутреннем содержании преступления, о том — каким образом порочная наклонность, ложная идея, страсть победили и страх наказания, и привычку подчиняться условиям общественного быта — остается открытым пред юристом, в помощь которому является одна теория права. Она указывает ему на преступление как на проявление вражды против общественного порядка, описывает подробно свойства и вооружение врага и по большей части оставляет его лицом к лицу с неизбежным жизненным вопросом о том, как дошел этот враг до того, чтобы сделаться таковым.

Затем вырастает вопрос о *наказании* в том виде, в каком оно существует в *действительности,*— вопрос не о той указанной в кодексе *poena,* которая не может быть sine lege[1], а о настоящей каре, обусловленной историею и бытом страны. Теория дает точные указания, как *должно быть* организовано наказание, и рисует целую схему карательных мер и учреждений, существующих в стране, но жизнь наполняет отдельные клеточки этой схемы своим содержанием, и без знакомства с этим содержанием мыслящий юрист обойтись не может.

Наконец, когда он познакомился с практическим осуществлением теоретически изображенного наказания, у него невольно рождается новый вопрос,— важный по нравственному свойству своему, по свету, который бросает он на всю уголовную деятельность. Человек, совершивший преступление, наказан, буйная воля внешним обра-

---

[1] Наказание без закона *(лат.)*.

зом сломлена и придавлена уголовною карою,— но этим далеко не все исчерпано. Он не хотел подчиняться условиям общежития, совершая преступление,— где же доказательства, что он захочет сознательно, а не насильственно, со злобою или презрением, подчиняться и последствиям нарушения этих условий? Отрицая общественный порядок, он может, в самом себе, не признавать никакого значения и, по возможности, влияния за уголовною карою, налагаемою обществом. Как причина этой кары — преступление — было совершено вопреки требованиям общества, так и вызванный им результат внутренней работы в душе виновника может произойти независимо от этой кары, даже вопреки ей... У него, у этого виновника, может оказаться *свое наказание*. Постановленное неумолимым и непрерывающимся внутренним судом, это свое наказание может явиться гораздо раньше законной кары и существовать еще долго после отбытия ее. Окончание его, примирение с собою, может наступить вне всякой зависимости от срока или от давности. И пред вопросом о том, как слагается и как и в каких проявлениях осуществляется это *свое* наказание, невольно остановится юрист. Для него будет ясно, что чем более гармонии, соответствия между этими poena scripta и poena nata [1], тем жизненнее и целесообразнее система наказаний, тем лучше исполняет она свою задачу—вкладывать исправительное в карательную форму. Для него станет несомненною непригодность такого наказания, между обветшалым существом которого и внутренним миром наказуемого вырыта целая пропасть...

Наша старая уголовная система давала недостаточные ответы на эти вопросы. Не в ней можно было найти средства для их, хотя бы и отдаленного, разрешения. Эта система не умела или не хотела — или, вернее, то и другое вместе — исследовать преступное деяние не как внешний факт только, но и как *душевное проявление*. Живой человек, со своей индивидуальностью, был ей чужд. Она не хотела его знать и всемерно избегала встречи с ним. Вам известен, милостивые государи, наш старый уголовный порядок. Не доверяя судье, связывая его целою сетью формальных предписаний о предустановленной силе доказательств, наш прежний процесс отдавал важнейшее исследование дела, ту его часть, где и он не мог обойтись без

---

[1] Наказание по закону и наказание естественное *(лат.)*.

живого человека, в руки людей малоразвитых, односторонних, узких и подчас грубых. Затем — и только затем — являлся на сцену элемент судебный. Но в каком стесненном, ограниченном виде! Устраняя судью, по возможности от самодеятельности, наш процесс рекомендовал ему иметь дело преимущественно с грубыми фактами, с наглядностью — с *доказательствами* — и, сурово косясь на *улики*, указывал на собственное сознание, как на «лучшее доказательство всего мира». Во всем ходе судьбища, во всем механическом измеривании и взвешивании вины — живой человек, о котором шла речь, стоял на заднем плане и был лишь *нумером* дела. Он всплывал наружу, в самом конце, не для того, чтобы защищаться, чтобы проявить свою живую, конкретную личность, а лишь для подписки под постановленным уже приговором. Он был чем-то отвлеченным, не имеющим плоти и крови.

Этому *отвлеченному* подсудимому соответствовало и *отвлеченное* наказание. Ибо, что знали мы о главнейшем нашем наказании — Сибири, кроме того, что изображено в XIV и XV томах Свода законов и в учебниках? Долгое время, для большинства русских юристов, Сибирь представлялась чем-то вроде «погибельного Кавказа» для нашего простолюдина. Пред их умственным взором не возникало никаких реальных представлений о том, как именно живется там, в насильственном сообществе, среди суровых условий и суровой природы; жизнь каторжника, поселенца за Уралом, была почти неведома и не давала о себе знать ни яркими картинами, ни скорбными звуками. И эти люди, и учреждения, их вместившие и ими управлявшие, ускользали от практического изучения. Рудники Сибири, точно исполняя завет Пушкина, «хранили гордое молчанье»...

Необходимо было обновление. В одной сфере — в суде, оно и свершилось вполне. В другой — в наказании и его организации, в тюрьме и ссылке — оно, по-видимому, начинает свершаться. Но для плодотворности этого обновления необходим был ответ на указанные мною вопросы, ответ, почерпнутый из жизни, данный опытом, явившийся плодом глубокой думы и истекавший из не менее глубокого сердца.

Судьба благоволила к нашему развитию в этом отношении. Она нашла человека, который сумел дать именно такой ответ,— она дала нам *Федора Михайловича Достоевского*. Кто из образованных русских людей не знаком

с капитальными произведениями его: *«Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание»?* Кто не почувствовал на себе влияние этих страниц, которые одни, сами по себе, давали бы своему автору право на место в русском Вестминстерском аббатстве — если бы мы умели его устроить для людей, составляющих нашу гордость...

Вам памятны, без сомнения, все подробности «Преступления и наказания» — этой трогательной эпопеи, где художник ведет читателя по ступеням всякого рода «падений», а, заставив его перестрадать их в душе, мирит его, в конце концов, с падшими, в которых, сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека, сквозят нарисованные с любовью и горячею верою вечные черты несчастного «брата». Созданные им в этом романе образы не умрут, по художественной силе своей. Они не умрут как пример благородного, высокого умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом, показывать в ней то тихо тлеющую, то ярко горящую примирительным светом — искру божию...

Но я хочу указать на другую сторону этого произведения, придающую ему в наших глазах еще особую цену. В нем затронуты все или почти все вопросы уголовного исследования. И как вдумчиво и всесторонне затронуты! Вы имеете в нем полную картину *внутреннего развития преступления*, сложного по замыслу, страшного по выполнению,— от самого зарождения мысли о нем до пролития крови, которым заключился ее роковой рост. Картина написана незабываемыми чертами, и с самым широким взглядом на предстоящую задачу. Везде, в этой картине, *мысль* о преступлении, как зерно, тесно связана *с почвою,* на которую падает. Она не развивается сама из себя, путем логического процесса,— она везде находит приготовленную жизнью почву, которая воспринимает и возвращает ее. Эта жизненная связь проходит чрез весь роман и придает ему такую поразительную правдивость. Можно проследить, как начинает замирать и ослабевать мысль о преступлении и как, получив новый толчок, новое питание в житейской обстановке, она возрождается с еще бóльшею силою и стремительностью.

Задавленный бедностью, оскорбленный и раздраженный неудачами, болезненно чуткий, нежный и впечатли-

тельный студент Раскольников видит, как все более и более сжимается круг теснящей его нужды, за пределами которого тщетно выбивается из сил скорбная фигура его любящей матери. Молодые силы напрасно ищут исхода. Почти неизбежный в страдающей душе затерянного в огромном и чуждом городе человека вопрос о *праве* сытых, спокойных, способных жить только для себя, бесплодно и бездушно,— возникает и у Раскольникова. Случайно подслушанный разговор о злобной закладчице, сидящей «сторожевою тенью» на сундуках, где бесполезно лежат средства для развития одних, для спасения от гибели других, порождает мысль о праве этой «вши» на существование. И тут в первый раз, как змейка, мелькает мысль об отнятии этого права. Она еще неопределенна,— еще она не коснулась практических вопросов, еще *как и каким образом* не существуют,— но она упала на подготовленную голодом, нуждою, унынием почву. Это зерно уже не склюют придорожные щебетуньи; а мрачные птицы отчаяния, летающие над душою Раскольникова, для зерна этого не опасны. В долгие дни сумрачной думы больная фантазия рисует мало-помалу картины практического осуществления; в обдумывании его, без всякой веры в его серьезность и возможность, но без освежающих ум картин, проходит время. И вот «проба» —и вдруг встает с ясностью эта возможность, осуществимость предприятия. Будущая *удобная* обстановка с назойливой очевидностью бросается в глаза. Зерно всходит на поверхность молодым побегом. Змейка, свившая себе гнездо в душе Раскольникова, приходит в движение. Вы знаете, как она будет расти, и скользить, и извиваться в борьбе с добрыми порывами и светлыми мыслями. У ней есть точка опоры: — то, что *предполагалось,* оказалось *возможным.* Но возможность эта так отвратительна, что все, кажется, может кончиться презрительным смехом над собой и омерзением при мысли: «На какую гадость способно, однако, *мое* сердце!» Нет! Этим не кончится... Жизнь иногда не знает пощады — и против измученной души Раскольникова последовательно, один за другим, пойдут бессознательным, но победоносным походом — и кающийся пьяница Мармеладов, и «худенькая, бледненькая, с кротким голоском» Соня, продавшая себя чужим детям и «мачехе, злой и чахоточной», и сама эта глубоко несчастная мачеха «с красными пятнами на щеках», и голодные дети, и весь ужас безвыходного страдания

и ежечасных толчков нищеты. А затем, среди вихри скорбных и озлобленных дум, раздается одна, все покрывающая нота, звучащая из смоченного слезами Раскольникова письма его матери. Она подавит все — и, вызывая в нем горькое сопоставление Сони, которая «чистоту наблюдать должна», с сестрой, выходящей за *«кажется,* доброго человека»,— вновь, с ужасающей силой, заставит вырасти мысль об убийстве. То, что было *мечта* вчера, что казалось *возможным* сегодня утром — созреет в *необходимое* к вечеру. Не обойдется, однако, без последней борьбы. Волнуемое негодованием, подавленное мыслью об убийстве, сердце не в силах бороться с умом, болезненно бодрствующим и ревниво оберегающим свою мечту, готовую перейти в действительность. Но, когда сон сжимает в своих объятиях усталую голову Раскольникова, на сырой земле Александровского парка, со дна души его поднимаются видения — и вся зверская, дикая сторона убийства встает с ужасающей правдой в образах, связанных с чистейшими воспоминаниями детства... Смерть несчастной савраски, не шедшей «вскачь»,— последний протест здоровых начал в душе Раскольникова — протест потрясающе-красноречивый, но бесплодный, ибо мысль об убийстве уже созрела вполне и всецело завладела им. Нужен лишь толчок — пустой, слабый, но имеющий непосредственную связь с этой мыслью — и все окрепнет, и решимость поведет Раскольникова «не своими ногами» на убийство... Так, поставленный под ночное тропическое небо, сосуд с водою, утратившей свой лучистый теплород, ждет лишь толчка, чтобы находящаяся в нем влага мгновенно отвердела и обратилась в лед. «Семой час давно!» — кричит кто-то на дворе, т. е. час, когда закладчица дома одна,— и этот толчок дан, и пред нами потрясающая картина двух преступлений. Одно — задумано и обдумано заранее и приведено в исполнение с редкой последовательностью; другое — неожиданное,— роковое, внезапное...

Нужно ли говорить о реализме этих картин,— подавляющем реализме во всех мельчайших подробностях,— когда известные громкие процессы Данилова и Ландсберга придали этим картинам и подробностям характер какого-то мрачного и чуткого предсказания? Нужно ли говорить о художественном и тонком изображении рядом двух видов убийства — предумышленного и умышленного,— столь близких по форме, столь различных по внут-

ренней структуре, по происхождению?! Но позвольте обратить ваше внимание на то, что такое ясное, бесспорное, рельефное разграничение этих видов явилось под пером Достоевского за пять лет до того, когда оно нашло себе, наконец, законное выражение в вышедшем на время из своей летаргии Уложении о наказаниях.

Нам скажут, может быть, что в Раскольникове изображен исключительный, редкий случай,— что нищета, оскорбленная гордость, ожесточение, выработавшие в нем странную и больную теорию, положившие ее в основание преступления, гораздо реже толкают на этот путь, чем страсть. Пусть изобразят человека в более хороших условиях жизни, пусть изобразят сытого и хладного сердцем и укажут, как закрадывается к нему страсть и ведет его на преступление... Достоевский ответил и на такое требование. Он создал, рядом с ложно направленным умом и «бунтующим» сердцем Раскольникова, мрачную, чувственную, возбуждающую болезненное любопытство фигуру Свидригайлова, сытого и обеспеченного человека, под внешним спокойствием и порядочностью которого бьется снедающая страсть физического обладания, готовая на все, чтобы только вырваться на свободу... Утонченный развратник, убийца «купившей» его жены и в свою очередь собирающийся «купить» себе у расслабленного отца и «рассудительной мамаши» «неразвернувшийся бутончик», Свидригайлов представляет такую полную картину нарастания страсти к Дунечке, что сердце невольно замирает и ждет,— сжившись с героями романа, как с живыми лицами,— чего-то недоброго, когда он ведет к себе чистую в своем гордом доверии девушку. И трудно себе представить более глубокое, более поразительное изображение борьбы страсти с остатком совести, со слабым светом чести, который неожиданно и в последний раз вспыхивает в Свидригайлове, когда он отпускает Дунечку из глухой засады, после того, как она истощила все средства защиты... Какую картину *необходимой обороны,* какой яркий, лихорадочно развивающийся образ человека, *останавливающегося по собственной воле в насильственном покушении* на целомудрие девушки,— найдет здесь юрист! Какой анализ этой *остановки* в преступном деле, под влиянием окрепшей на минуту в неравной борьбе воли, которую вот-вот — если только не успеет ускользнуть обреченная жертва — раздавит страсть, торжествуя свою животную победу!

Но не одно внутреннее содержание преступления нашло себе выражение в знаменитом романе. Способы исследования истины в уголовном деле, приемы отыскивания и оценки фактов, из которых слагается верная картина, которыми освещается та или другая сторона дела,— все это затронуто Достоевским с глубоким пониманием и прочным знанием. Современная уголовная практика выдвигает на первый план *улику,* т. е. безразличный сам по себе факт, имеющий значение только по отношению к нему заподозренного в преступлении человека. Изучение—внимательное и всестороннее—этого *отношения* и составляет главную задачу исследователя. Таким исследователем является умный, тонкий, лукаво-простодушный, но добрый и благородный в душе Порфирий Петрович. Через весь роман проходит его борьба с Раскольниковым — и в ней постоянно слышится отрицание всех устарелых и негодных сторон существовавшего в то время порядка судопроизводства. Вся она состоит из медленного, исполненного законной осторожности и недоверия к первому впечатлению, собирания улик, которые, слагаясь в различные сочетания, то падая и разрушаясь, то приобретая неожиданную окраску, приводят, наконец, следователя к умственному итогу — убеждению в виновности Раскольникова. В этой постоянной сложной и беспристрастной работе соображения и опыта, анализа и воображения состоит и заслуга, и задача человека, приступающего к исследованию преступления. В ней, а не в грубом выдвигании материальных доказательств — дело. Что такое могут быть эти доказательства, какое роковое для правосудия значение могут они получить при одной лишь внешней оценке — показывает мастерски изображенный эпизод с несчастною Сонею в день похорон ее отца, когда и ее «желтый билет», и два свидетеля, и *поличное,* найденное у нее в кармане, так несомненно *доказывают* виновность этого самоотверженного сознания в краже. Взгляните затем на внутреннюю силу «лучшего в мире доказательства» — собственного сознания, в заявлении *Миколки,* настойчивом и, по-видимому, *согласном с обстоятельствами дела,—* продиктованном ему страхом пред тем, что его, во всяком случае, «засудят», и особым психологическим процессом, возникшим в душе, жаждущей очищения. Обратитесь к такому специальному вопросу, как принятие *мер пресечения,—* и вы найдете в разговорах Порфирия с Раскольниковым о том, почему *он* не

убежит, глубокую, житейски-верную мысль об *индивидуализации* этих мер, нашедшую себе затем выражение в ст. 421 Устава угол[овного] суд[опроизводства].

Но, рисуя широкою кистью применение психологических приемов при исследовании преступления, Достоевский, устами своего следователя, остерегает и от злоупотребления ими. Психология «о двух концах» — это оружие острое и опасное, для него нужна прочная рукоять, нужна «черточка», хоть «самая махонькая», хоть одна, но только такая, «чтобы уж этак руками взять можно, чтобы уже вещь была, а не то, что одна эта психология»... Драгоценное правило, живучее и нужное и теперь для судебных деятелей, чтобы напомнить им о фактической точке опоры, неизбежной для того, чтобы психологические построения их были орудием правосудия, а не проявлением лишь находчивого ума, работающего in anima vili[1].

Было бы лишним указывать, затем, на изображение того внутреннего процесса своего *собственного* наказания, который так нередко, быть может, невидимо для окружающих, происходит в душе преступника, когда к нему приходит «нежданный гость, докучный собеседник, заимодавец жадный» — совесть. Всякий, кто читал «Преступление и наказание», выстрадал это изображение и истомился муками Раскольникова. Это наказание, эта пестрая игра тревог, надежд, отвращения к себе и ужаса, подымает его из падения. Идучи принимать внешнее наказание, он уже очищен внутренним страданием, и тот затаенный суд, который бог вложил в душу человека, уже совершил свое дело и открыл скорбному и разбитому сердцу новые, более широкие горизонты... И внешнее наказание является желанным концом пред началом новой жизни. Этого наказания так же ищет дрогнувшая, но непорочная душа Раскольникова, истомленная сознанием бесплодности совершенного злодеяния и отсутствием малейшего намека на нравственное удовлетворение,— как ищет смерти Свидригайлов, тяготящийся пустотою и ничтожеством опозоренной развратом жизни.

Мы знаем из судебного опыта, каким важным элементом в изучении преступления являются различные типические болезненные состояния. Больных, слабых и искаженных умственно — много в жизни, много и пред су-

[1] На живом существе *(лат.)*. В данном случае — над живой душой

дом,— больше, чем это можно бы предполагать. Закон ставит твердые рамки для оценки их состояния,— но юрист не может закрывать глаза на влияние этого состояния, как на приемы исследования, так и на его конечные результаты.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет нам судебная практика; это — *больные волею, больные рассудком* и больные, если можно так выразиться, от *неудовлетворенного духовного голода.* И о каждом из этих больных сказал Достоевский свое человечное, веское слово, в высокохудожественных образах.

К первому типу принадлежат, по большей части, *горькие пьяницы,* жертвы горя, топимого в вине,— и отсутствия здоровых удовольствий, отыскиваемых в нем же. Пред нами Мармеладов, «образа звериного и печати его», сознающий, что губит семью, что довел дочь до торговли собою, что отнимает у нее последний грош, нужный ей «на сию чистоту», и не могущий оторваться от штофа, который одновременно и будит, и губит в нем лучшие порывы доброго сердца и кроткой, верующей души,— губит нещадно, *«ибо черта его наступила».* Мы знаем, как и после какой неслышной борьбы и испытаний наступила для него роковая черта, столь часто, горестно-часто играющая роль в уголовных делах...

Представители второго типа — душевнобольные. Судебные уставы, в статьях 353—356 Устава уголовного судопроизводства, выдвинули на надлежащее место и поставили на должную высоту *освидетельствование умственных способностей обвиняемого,* нравственно обязав юриста-практика изучать общие основания науки о патологических состояниях души. Но едва ли найдется много научных изображений этих состояний, которые могли бы затмить глубоко верные картины душевных расстройств, самых сложных, самых тонких,— рассыпанные в таком множестве по всем сочинениям Достоевского. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психологической сферы — преимущественно чувственные аномалии: галлюцинации и иллюзии. Стоит указать на *галлюцинации,* на ложные представления у Раскольникова, когда, весь отдавшись преследующим его видениям, он идет ночью в квартиру убитой закладчицы,— или когда он, в полузабытьи, видит, что бьет ее по голове, а она все наклоняется, все хо-

хочет неслышно и язвительно, а на лестнице шумит целое море голосов все поднимающейся, все прибывающей толпы... Стоит припомнить мучительные *иллюзии,* и бред, и ложные представления Свидригайлова — в холодной комнатке грязного трактира в парке, когда загубленное им непорочное дитя то лежит перед ним в святой тишине смерти, то вдруг раскрывает ему, в другом образе, сладострастные объятия. Изображение острых, резких, быстро надвигающихся душевных расстройств так же глубоко у Достоевского, как изображение постепенного развития меланхолии, со смешанною идеею преследования и величия, у Гоголя, в его бессмертном «Фердинанде VII»... В обоих случаях провидение художника и великая сила творчества создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя, вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни. Достоевский придавал огромное значение изучению болезненных состояний души. Мысль о возможности осуждения *действительно* больного умственно человека тревожила и волновала его до крайности. «Дневник писателя» за 1876 год содержит в себе пламенные страницы, посвященные защите Корниловой, обвинявшейся в выкинутии из окна своей маленькой падчерицы. Целым рядом доводов о влиянии беременности на умственное расстройство и о том извращенном процессе мыслей, который вызывается беременностью, он доказывал неправильность приговора и заявлял, что суд и присяжные ошиблись, что Корнилова не должна, не может быть наказана. Строки, которыми он приветствовал оправдание ее, после вторичного, вызванного кассациею, рассмотрения дела, дышат самою горячею, захватывающей радостью и справедливою гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Многих людей объемлет собою третий тип страждущих *духовным голодом.* К нему относятся все, кто не находит ответа на выставляемые смущенною душою «вечные» вопросы, которых не может заглушить ни суета жизни, ни злоба дня,— все, кто тщетно ждет наставления и руководительства для разъяснения недремлющих тревог своих и сомнений,— все, кто просит хлеба и получает камень... Их рисовал Достоевский с особою любовью и знанием,— им старался он откликнуться в произведениях своих последних годов. Недостаток времени и слож-

ность задачи не дают мне возможности очертить пред вами с надлежащею полнотою глубокое значение представителей этого типа для вдумчивого юриста. Но я позволю себе указать на тех из этих представителей,— односторонних и нередко диких в своих взглядах и проявлениях, но живых и цельных по натуре,— которых касался Достоевский и с которыми юристу-практику приходится встречаться в своей деятельности. Я говорю о сектантах. Они мелькают в «Мертвом доме», они выступают в лице *Миколки* в «Преступлении и наказании». Отсутствие живого общения с живою церковью, вековечный труд и унылая, серая, суровая природа сказалась и на учении, и на обрядах некоторых из наших сектантов. За этими обрядами, на которых лежит нередко отпечаток мрачного отношения к жизни, иногда скрывается особое стремление — необычное и, во всяком случае, возвышенное. Это — стремление «принять страдание»... Наше уголовное законодательство не принимает в расчет этого стремления и односторонне обрушивается своими уголовными карами, своими стеснениями на обряды, на «оказательство», видя в них цель и центр тяжести деятельности разных сектантов. Но не эти обряды, а принятие страдания, которого ищет,— как исхода, бродящая во тьме и жаждущая истины душа, вот что составляет главную внутреннюю силу этих сектантов, силу, пред которой уголовная кара не только обращается в ничто, но является как горячо ожиданная помощь на пути к вечному спасению. На эту сторону постоянно указывал Достоевский, и это стремление олицетворил в своем Миколке, в котором просыпается жажда страдания, толкающая его на сознание в убийстве, в чем он неповинен.

Если окинуть умственным взором время перехода нашего суда от отживших старых форм к новым,— окинуть его во всей широте различных его проявлений,— нельзя не заметить, что на границах этого перехода, как выразитель его необходимости, как нравственный наставник, стоит Достоевский... Заступник за униженных и оскорбленных, друг падших и слабых, он выдвигает их вперед, он является борцом за *живого человека,* которого так недоставало старому порядку и которого он нам *так* изобразил во всех его душевных движениях, подлежавших изучению подготовлявшегося тогда нового суда. И в этом его великая заслуга пред русским судебным делом, пред русскими юристами!

Таков Достоевский, как художник и мыслитель, относительно *преступления*. Еще больше, быть может, его заслуга по отношению к *наказанию*. Он первый познакомил нас с русскою каторгою, с *действительною* Сибирью и наполнил живым, пробуждающим мысль, берущим за сердце содержанием клеточки карательной схемы, которую чертила нам теория. Он повел читателя в гробницу живых людей, скученных вместе, но страдающих одиноко и разно, и на вратах ее написал свое lasciate ogni speranza[1] — «человек есть существо, ко *всему* привыкающее». Он показал это *все* без злобы, без иронии, без идеализации и преувеличения. Живою картиною встают под его пером стены каторжного острога, а в этих стенах каторжные порядки, а в порядках этих сдавленные, приниженные люди. Надломленные — да! но не *обездоленные*. У каждого сохранена и подмечена его личность, в каждом указаны характеристические черты и общие человеческие чувства, пробивающиеся сквозь арестантский халат. Не серой массою, над которою безучастно и точно проделываются карательные предписания, а живым организмом, с разнообразными личными оттенками, является население «Мертвого дома». Представители его длинною вереницею проходят пред нами. Тут и настоящие, мрачно молодечествующие злодеи, бредящие по ночам о крови и о ножах, и незлобивые, простые люди, и угрюмые изуверы, и молчаливо страждущие поляки, и детски-доверчивые Алей и Нурра — эти горные орлы, тоскующие по своим родным вершинам,— и все они согреты любовью автора, все облечены в плоть и кровь, на всех брошен луч примирения, всем сказано слово искреннего, христианского участия. Вся жизнь каторжной тюрьмы постепенно развертывается пред нами, и новый мир, ужасный извне, оригинальный внутри, любопытный вначале, трогательный в конце, возникает в освещении трезвой правды. Арестантские ссоры и похвальбы, работы и отдых, арестантская поэзия и театр,— все, до каторжных животных включительно, встает как живое.

Посмотрите, сколько среди этого разбросано глубоких мыслей об организации наказания, о его влиянии. Достоевский, в самом начале, становится на новую точку зрения, глубоко психологическую, относительно пребывания в общей тюрьме, со всеми. Не необходимость жить с людьми другого развития и быта страшит его при вступ-

[1] Оставьте всякую надежду *(ит.)*.

лении в мертвый дом,— нет, он сумеет найти в своей душе общие с ними точки соприкосновения для мирного сожительства,— но страшна мысль, что никогда, никогда не придется быть *одному!* В этом принудительном сообществе заключается, по его опыту, особая тяжесть тюрьмы, и к этой мысли он не раз возвращается, доказывая, что у человека никогда не следует отнимать возможности быть хоть некоторое время одному,— что ему это так же необходимо, как необходимо для каждого человека, будь то Мармеладов или карамазовский капитан с «мочалкою», иметь хоть одно такое место, «куда можно пойти», хоть одно существо, которое и «его рода человека любит».

Но он вовсе не склоняется к другой крайности, к столь сильному, в последнее время, увлечению одиночною системою заключения. Эта система полна, по его мнению, ложных и обманчивых достоинств. «Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее — и потом, нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего, представляет как образец исправления и раскаяния...» Пусть тюрьма не усугубляет наказания человека, отнимая у него возможность *уединения,* но пусть она и не разрушает его нравственно и физически, навязывая ему *одиночество.* Таков вывод, который невольно вытекает из взглядов Достоевского на внутреннюю организацию тюрьмы. «Нельзя живого человека сделать трупом»,— восклицает он — и постоянно, настойчиво, не словами только, а целыми образами протестует против ненужного унижения, против обезличия арестанта, рисуя во многих местах яркие картины вспышек придавленной личности, не могущей не заявить о своих человеческих, не отнятых наказанием правах. Говорит ли он о необходимости индивидуализировать наказание, чтобы избежать его жестокой неравномерности, указывает ли он на тягость каторжных работ, состоящую не в их трудности, а в их бесплодности в глазах арестанта, оскорбляющей его и отнимающей у него энергию,— высказывает ли предположение, что совершенная *бессмысленность* принудительной работы могла бы вызвать ряд самоубийств,—делает ли увлекательный очерк влияния первых признаков весны на зарождение у каторжных тоски по «воле» и мысли о побеге,— во всем звучит гуманный призыв видеть в обитателе мертвого дома прежде всего живую личность и уважать ее

человеческое достоинство, ни в ком совершенно не заглохшее. В этом призыве — величайшее достоинство «Записок из Мертвого дома»..

Достоевский не остановился, однако, на аналитическом изображении каторги. Есть наказание выше — и споры о нем, о его целесообразности и справедливости давно уже разделяют юристов и политиков на два неравных лагеря. Этот вечный вопрос — eine ewige Frage[1] уголовного права — смертная казнь. И по отношению к ней Достоевский высказался прямо и бесповоротно. Нельзя не прислушаться к тому, что скажет об отнятии жизни у отдельного лица целым обществом писатель, который так умел описать весь ужас, все бесчеловечие убийства как преступления. В горячих словах своего «Идиота» он строго осудил смертную казнь, как нечто еще более жестокое, чем преступление. Как бы продолжая потрясающий рассказ Виктора Гюго о последнем дне приговоренного к смерти, обрывающийся ввиду эшафота,— Достоевский пошел с преступником на этот эшафот и описал, в негодующих выражениях, ту «четверть секунды», когда «склизнет над головою нож...» Это описание, чрезвычайно сильное в своей краткости, эта защита «надежды» в человеке — не могут не укреплять противника, не могут не заставить еще раз строго проверить свои взгляды серьезного защитника смертной казни. И в этом новая заслуга мыслителя-художника.

Мне хочется сказать еще об одной особенности Достоевского. Он был вечный заступник, вечный защитник слабых. Он отдал поэтому свое сердце, со всеми знаками и слезами, которые таились в нем,— детям. На страницах его сочинений всегда звучит призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его, общая с великим английским романистом, с Диккенсом, всегда будет бросать особый свет на его произведения. Только художник с нежно любящею, отзывчивою душою мог так просто, правдиво и задушевно описать, как «входит горькая правда жизни» в ребенка, как негодует, страдает и плачет сердце его при несправедливости или жестокости. Он безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их и от насилия, и от дурного примера. «Дневник писателя» переполнен самыми сердечными страницами о детях. Но

[1] Вечный вопрос (*нем.*).

с детьми для юриста связан, помимо святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи, еще один из важнейших и труднейших вопросов тюрьмоведения — вопрос о применении к ним уголовной кары. Для уяснения, для правильной постановки этого вопроса Достоевский сделал немало, и всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их усопшим другом и заступником. Он знал их. Они верили ему, шли к нему с любовью, слушали его с серьезным, искренним вниманием. Надо было видеть его, окруженного детьми,— как видел его я,— в колонии малолетних преступников и в камерах Литовского замка — слышать его безыскусственный разговор, без чуждо звучащего для детей «вы», и их горячие просьбы «поговорить еще» или «приехать опять», чтобы понять, какая сила внутреннего сродства с душою «малых сил» жила в его многолюбящей душе... Не в тюремной дисциплине, не в правильно организованном труде даже, видел он *главное* средство исправления малолетних преступников. «Эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям,— говорил он,— эти картины и впечатления останутся при них навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. С *этими ужасными впечатлениями* надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям детей, искоренить их и насадить новые...» Таков его завет. Он труден, он не укладывается в ординарные рамки! — но ведь и цель, которую он имел в виду, не ординарна по своей высоте.

Далеко не все успел сказать я о Достоевском, желая помянуть благодарным словом его память. Но и сказанного, мне думается, достаточно...

На широком поприще творческой деятельности он делал то же, к чему стремимся мы в нашей узкой, специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за личность человека, за его достоинство, которые находят себе выражение в этом праве. Из явлений материальной и духовной жизни, проходящих пред нашими глазами отрывками, представляющих как бы кусочки мозаики,— он, силою своего великого таланта, создал целую картину, скрепив ее части одною внутреннею связью. На вратах дорогого нам здания, называемого Судебными уставами, написаны слова, которые никогда не утратят своего глубокого смысла.

Ими должна определяться наша деятельность. Но не он ли так жадно искал правды всю свою жизнь и так ревностно служил ей?.. Не у него ли, через все, что творил он, как красная нить, политая слезами, проходит идея о *милости,* призыв к снисхождению, к пониманию падших и несчастных?.. Из тяжелых лет своего пребывания в Сибири он вынес любящее и прощающее сердце и озарил светом, исходящим из него, «темные пропасти земли». Почтим же память того, кто старался осветить и нам верный путь и в темной области уголовного исследования, где, по неведению, так легко отойти в сторону от правды — и, по невниманию, не увидеть иногда основания для милости! Почтим память того, кто высоко держал перед нами свой светоч и, указывая, в чем правда и как находить ее, настойчиво указывал на необходимость милости...

В дополнение этого чтения автор решается поместить несколько строк, посвященных памяти Достоевского по случаю столетия со дня его рождения.

Гейне советует рассматривать жизнь выдающихся людей, как рассматривают солнце: на восходе и на закате, когда его величина всего яснее, и взору наблюдателя не мешает ни яркий блеск светила, находящегося в своем зените, ни часто заслоняющие его облака. Следуя этому совету и обращаясь к памяти Федора Михайловича Достоевского, мы невольно останавливаемся на нескольких образах — при восходе его таланта и при закате его жизни. Вот деревянный домик на Лиговке, в котором живет и творит, «упорствуя, волнуясь и спеша», великий русский критик, умевший соединить тонкое эстетическое понимание с жаждой лучших условий общественной жизни. «Белинский,— кричит ему пришедший вместе с Григоровичем Некрасов,— новый Гоголь народился!» и подает ему рукопись, которую ночью перед тем читал с растроганным сердцем. «Эк у вас Гоголи-то словно грибы родятся»,—сурово говорит Белинский, но берет рукопись и, ознакомившись с нею, желает видеть автора и восторженно его приветствует. Эта рукопись называется «Бедные люди», а автор ее — бледный 23-летний горный инженер, задумчивый и сосредоточенный в себе Федор Михайлович Достоевский. Его повесть была огромным шагом в сближении литературы с действи-

тельной жизнью. На смену придуманных героев и героинь, занимающихся романтическими похождениями и удручаемых на этом пути препятствиями со стороны жестокой судьбы, явился гоголевский Акакий Акакиевич, один из будущих «униженных и оскорбленных», и пред читателем развернулись внешние условия, труд и радости незаметного человека. А ему на смену, в свою очередь, пришел под проникновенным взором Достоевского Макар Девушкин, душа которого раскрыта до самой глубины, с горячим сочувствием его скорбям, душевным переживаниям и страдальческой тоске по разбитым надеждам, которые вились около такой же жертвы тяжких житейских условий. Эта повесть произвела сильнейшее впечатление и сразу прославила автора, как одного из выдающихся писателей. Но он удручен бедностью. Среди похвал и общего признания ему приходится трудиться ради насущного хлеба. Ранняя известность, так же как и ранняя власть, обыкновенно действует опьяняющим образом на молодую душу. То же происходит и с Достоевским: нервный и впечатлительный, в поспешной уверенности в себе, он отдается со страстью писательству, не дает, по удачному выражению художника Федотова, настояться своим произведениям, и ему начинает грозить размен таланта на мелкую монету и обращение в рядового поставщика мимолетных и нежизнеспособных литературных произведений. Наступает охлаждение окружающих, повторяющих насмешливые стихи Тургенева, и сам Белинский начинает признавать поспешный труд своего недавнего любимца «нервической чепухой». Ярко и красиво взошедшее солнце начинают заволакивать облака... Проходят четыре года: и перед нами — Семеновский плац в Петербурге; к двадцати столбам на эшафоте привязывают 20 человек, приговоренных полевым судом за участие в «заговоре» Петрашевского, сущность которого состояла в товарищеских собраниях и обедах единомышленных молодых людей, задыхавшихся в тогдашнем бесправии, бессудии, зрелище крепостного права и отсутствии свободы печатного и устного слова,— собраниях, которым напуганное февральской революцией правительство придавало характер активного выступления на разрушение всего государственного строя. Семь человек приговорены к смерти. На них надеты белые саваны, им предложено исповедаться перед смертью у обходящего эшафот священника, подносящего к их губам

крест. Между ними и Достоевский, виновный главным образом в том, что читал на этих собраниях письмо Белинского к Гоголю, в котором «неистовый Виссарион» обращается с горькими упреками к «апостолу кнута» за его спокойное отношение и некоторое сочувствие к крепостному строю. Раздается команда, против осужденных выстраиваются солдаты, наводят на них ружья и, среди смутных и отрывочных впечатлений окружающего, душой Достоевского овладевает сожаление об уходящей навсегда жизни, в которой еще так многое можно бы сделать. Сейчас последует команда «пли!..» Но вдруг наступает конец этой жестокой трагикомедии, и приговоренным к смерти объявляется, что милосердием монарха им дарована жизнь с ближайшим продолжением ее на каторге и затем в сибирских линейных батальонах. Достоевского отвозят в Тобольск закованным, а оттуда он совершает длинную дорогу по этапу среди клейменных на лице каторжников, бряцая кандалами, коченея и голодая, и наконец вступает в стены острога, с ужасом говоря себе: я никогда не буду больше один. Проходят еще с лишком 30 лет. Огромная зала московского Дворянского собрания переполнена публикой, собравшейся туда на литературное чтение, посвященное памяти Пушкина. Все одушевлены тем радушно праздничным настроением, которое вызвано только что совершившимся открытием памятника Пушкина, когда, казалось, великий поэт простил обществу так долго длившееся равнодушие к его памяти и клеветническое злорадство, окружавшее его в предсмертные годы, когда справедливое признание его гения и заслуг выразилось не только в горячей любви, но и в своего рода влюбленности, привлекавшей многих по несколько раз с умиленным чувством возвращаться к этому памятнику. Среди такого все возраставшего настроения на эстраду всходит человек среднего роста, стоящий на пороге старости, с бледным, исхудалым лицом, тихим голосом, сдержанным жестом. Он начинает говорить о Пушкине и весь преображается, его голос звучит на всю залу, глаза горят восторгом, жест становится повелительным, и с первых же слов он приобретает в свою власть всю собравшуюся толпу и держит ее в очаровании своего вдохновения более часу. Это Достоевский. Можно не соглашаться с некоторыми положениями этой речи, но тот, кто слышал ее, тот не может забыть впечатления, ею произведенного, и чувств, ею вызванных,

тот может понять, какую силу может иметь живое слово, когда в нем соединяются воедино пламенная искренность, любовь к тому, что говоришь, и свободное распоряжение богатством родного языка. Все были так захвачены этой речью, что наступило по окончании ее минутное молчание, как будто никому не хотелось верить, что последнее слово уже сказано, и только затем произошел взрыв рукоплесканий, приветствий, сопровождаемых слезами; многие бросились к эстраде, стремясь обнять Достоевского или поцеловать у него руку — волнение у одного из подбежавших было так сильно, что с ним сделалось дурно, а долженствовавший говорить вслед за этим Иван Аксаков заявил, что говорить тотчас после Федора Михайловича невозможно, и просил отсрочки.

Еще немного более полугода... В день кончины Пушкина, Карлейля и Байрона за обитой обветшалой клеенкой дверью, в третьем этаже огромного каменного ящика, называемого в Петербурге домом, в квартире с самой скромной — чтобы не сказать бедной — обстановкой лежит тело только что умершего, от разрыва легочной артерии, писателя, на лице которого написана таинственная радость сбывшейся уверенности. Это тот, чье появление в последние два года в разных собраниях вызывало восторженные овации присутствовавших и пред чьим наскоро набросанным портретом будут стоять в грустном раздумье посетители пушкинского вечера, на котором он должен был читать, со свойственным ему глубоким выражением, стихи поэта, им столь любимого, но куда он не пришел, потому что дорогу ему заступила смерть: — это снова Достоевский...

А через два дня от далекого Кузнечного переулка и Ямской протянулась длинная цепь депутаций с венками и хоругвями, предшествующая гробу, несомому на руках до Александро-Невского кладбища самыми разнообразными поклонниками его многостороннего творчества: студентами и министрами, писателями и артистами и товарищами по эшафоту Плещеевым и Пальмом. Таких общественных похорон Петербург еще не видывал в своих стенах. В них не было ни официальности, ни партийности, ни показной осиротелости — все было внушительно, величаво и вместе просто,— на всем чувствовалось сознание глубокого значения и незаменимости потери, за которою должно начинаться настоящее бессмертие.

Таков был закат Достоевского.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Весною 1845 года начинающий, впоследствии очень известный, писатель Григорович взял у своего сотоварища по воспитанию в Инженерном училище рукопись его первого литературного труда и отнес ее к Некрасову, собиравшему материалы для «Петербургского сборника».

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом впечатлении, самым ранним утром, Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику. «Белинский! — вскричал один из них, входя, — новый Гоголь народился!».

«Эк у вас Гоголи-то как грибы растут»,— сурово ответил Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к ним сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди», в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика, «унижаемого и оскорбляемого» и людьми и судьбой, изображены с гораздо большей широтой и берущей за сердце глубиной.

Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности похож на солнце. Чтобы его рассмотреть, как следует, надо видеть его при восходе и при закате. То же следует сказать и про деятельность выдающегося человека. Восход и закат Достоевского, как писателя, были яркие и приковывавшие к себе общее внимание, но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись ему и даже вскружив ему голову блестящим успехом, судьба повела его затем тяжким и тернистым путем, сначала на Семеновский плац, заставив пережить муки ожидания смертной казни, потом по долгой «Владимирке» в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны. После «Бедных людей» талант его, как это встречается у мно-

гих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть и, под влиянием материальной нужды, грозить разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в «Мертвом доме» не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого *отсутствия уединения и насильственного одиночества.* Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой в его творчестве.

В его «Мертвом доме» далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бледны и односторонни наряду с «Мертвым домом» прославленные страницы «Моих темниц» Сильвио Пеллико, и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской «Citta dolente»! [1].

По возвращении к обычной жизни ему пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и «взыскующей града» душе в тягостных условиях. Создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман «Преступление и наказание», он писал своему брату: «Работа из-за денег задавила и съела меня. Эх, хотя бы один роман написать, как Толстой или Тургенев,— не наскоро и не наспех». И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов,—оценку своего таланта как «жестокого» и упреков в «мучительстве» читателя (как будто совесть — «незваный гость, докучный собеседник, заимодавец лютый»,— которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестокая?). Не даром тонкий ценитель его дарования, Вогюэ, называет его «собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни». Эта скорбь чувствуется даже в названиях его

---

[1] Поэтическое обозначение ада, употребляется в значении «тюрьма» *(ит.).*

произведений: *«Мертвый дом», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Бедные люди», «Записки из подполья»* и т. д., и в его языке, тревожном, неровном, страстном, напоминающем перебои больного сердца, и, наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта: «О память сердца! ты сильней — рассудка памяти печальной».

Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, с их глубокими сомнениями и их восторженной верой, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло.

В январе 1866 года я зашел к А. Н. Майкову, с которым познакомился еще в Москве, во время моего студенчества, когда он посещал небольшой кружок студентов Петербургского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего — и группировавшихся вокруг филолога Н. Н. Куликова — милого, доброго и разностороннего человека. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких «злобах дня». Никого из десяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых. Бывая в Москве, Майков любил заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал нам свои новые, еще не напечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении «Смерть Люция», в первоначальной редакции, которая оставляет далеко за собой позднейшую.

Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только что вышедшей книжке «Русского вестника» первой части «Преступления и наказания». «Послушайте,— сказал он мне,— что я вам прочту. Это нечто удивительное!» — и, заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением, оживает во мне испытанное тогда

и ничем не затемненное и не измененное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, затем ведет его по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячей верой вечные черты несчастного *брата*. Созданные Достоевским в этом романе образы не умрут, не только по художественной силе изображения, но и как пример удивительного умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру божию.

Критика того времени, однако, не благоволила к Достоевскому. Его роману не было посвящено, сколько мне помнится, ни одного серьезного разбора, в то время, как произведениям «идейных беллетристов», имена которых ныне «ты, господи, веси», оказывалось милостивое внимание. В некоторых пренебрежительных отзывах о романе даже указывалось, что это «клевета на молодое поколение», которое будто бы воплощено в Раскольникове, представляющем из себя простого убийцу для грабежа. Находились даже люди, с развязностью утверждавшие, что Достоевский написал «донос на молодежь». Но «il tempo — e un galantuômo» [1],— говорят итальянцы,— и оно поспешило действительными событиями жизни подтвердить творческий вымысел автора «Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». 12 января 1866 г., когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет («Русский вестник» всегда выходил со значительным опозданием), в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку,— а через тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг. Это умышленное и злостное непонимание глубокого смысла «Преступления и наказания», которому лишь в восьмидесятых годах пришлось, наконец, быть оцененным по достоинству не только у нас, но в западноевропейской литературе,— в то время чрезвычайно волновало мою молодую и еще не приглядевшую-

[1] «Время — честный человек» *(ит.)*.

ся к житейской несправедливости душу и было даже однажды причиною резкого спора с одним из грубых и невежественных порицателей «доносчика», спора, едва не окончившегося у барьера [1].

Через много лет, в начале семидесятых годов в бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским, написала мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором «Гражданина», имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного разрешения министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это по своим соображениям удобным. За любезным письмом Достоевского, с выражением благодарности, последовало его посещение, отвечая на которое, я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной обстановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных.

15 октября 1876 г. в Петербургском окружном суде слушалось дело крестьянки Екатерины Корниловой, которая, будучи беременной на четвертом месяце, раздраженная упреками своего мужа и замечаниями, что первая его жена была лучшею «хозяйкою», выбросила, назло ему, из окна четвертого этажа свою 6-летнюю пад-

[1] Достаточно упомянуть, как сильно отразилось «Преступление и наказание» на приемах и содержании некоторых произведений Габриэля Д'Аннунцио и Поля Бурже,— указать на критические отзывы Вогюэ, на разбор его в социально-криминологических очерках Ферри, на лекциях французского судебного деятеля Аталена, говорящего своим слушателям: «Читайте, читайте Достоевского» и т.п.

черицу, каким-то чудом оставшуюся живою и отделавшуюся лишь крайним испугом. Дело это чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В удивительных по глубине психологического анализа, по знанию природы русского человека и по возвышенному и вместе трезвому взгляду на задачи суда строках своего «Дневника писателя» он выразил сомнение во вменяемости Корниловой ввиду частых ненормальностей в душевных движениях и порывах беременных. Рисуя, со свойственным ему знанием народного быта, сцену предстоящего расставания отца уцелевшей девочки с приговоренной на каторгу женой с новорожденным младенцем на руках, он спрашивал: «А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка...» Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком смягчении и бывать для этого у меня в министерстве юстиции. Конечно, ему было мною обещано всевозможное содействие в смысле выработки и направления представления о помиловании Корниловой или о значительном смягчении ей наказания. Но давать ход этому представлению не пришлось. Решение присяжных было кассировано Сенатом, и при вторичном рассмотрении дела, с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана.

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе «Воскресение» в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, «присмолившейся» впоследствии к мужу.

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем «Дневнике писателя», дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь: в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человечное веское слово в высокохудожественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли бы затмить их глубоко верные картины, рассыпанные в таком множестве в его сочине-

ниях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области — галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольникова после убийства закладчицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что, вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя, вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился в стенах министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и на всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственною помощью,— ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу... Некто А. Бергеман — добрая и отзывчивая на людское горе женщина — обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения 11-летней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить «стало невмоготу». Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и озябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более, что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная госпожою Бергеман, рассказала ей, что муж уже обесчестил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она «поспеет»... Достоевский и за это дело принялся горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и госпоже Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время ничего подобного «Обществу защиты детей от жестокого обращения» не существовало. После личных сношений с прокурором и с градоначальником дело кончилось, однако, тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением гос-

пожи Бергеман она была помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, когда немного укрепилась, в детский приют.

Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте, за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года.

В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце 1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на собственно колонию (земледельческую) и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, поставленных во главе приюта и колонии, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь *свою* теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В *одной* малолетние почти не чувствовали над собой твердой власти и, образуя нечто вроде маленького, своеобразного суда присяжных, сами определяли, в случае проступков товарищей их виновность (и, надо сказать, почти всегда справедливо и всегда строго); в *другой* существовала осязательная дисциплина, и наказания налагались руководителем. В одной уборка комнат, топка печей и все хозяйственные работы исполнялись питомцами, старшим из которых разрешалось курение,— в другой эти работы исполнялись наемными слугами, и курение было воспрещено безусловно. В одной господствовали — руководительство и наставление, в другой — указание и приказание. Можно себе представить, какую неустойчивость представляло при этом воспитание питомцев, постоянно входивших и даже вводимых в общение между собою. И тем не менее, по идее своей, колония была прекрасным учреждением, и открытие ее составляло один из первых шагов благородной деятельности русского общества по исправлению и постановке на путь честного труда тех несчастных, к которым, вследствие грустных условий их детской жизни, уже успело привиться преступление. В создание колонии вложил массу труда, хлопот, затрат и самой горячей любви известный юрист-практик и один из составителей

Судебных уставов, сенатор Михаил Евграфович Ковалевский. Он принимал непосредственное, живое участие в устройстве колонии, в горестях и радостях ее пестрого населения. Библиотека, мастерские, отдельные домики и красивая в своей простоте церковь — все это устроено первоначально под его руководством и надзором. Колония, где все его знали и любили, относясь к нему доверчиво и просто, долго была предметом его постоянной заботы, местом его отдыха и его любимым детищем. В свободное время он проводил там целые дни, изучал характеры отдельных «колонистов», вводил и обсуждал разные хозяйственные меры. Когда в колонии устраивался на праздниках домашний театр или какое-нибудь развлечение для детей, сдержанный и с виду холодный судебный сановник, окруженный шумливою толпою питомцев колонии, радовался детскою радостью и бывал счастлив, когда кто-нибудь приезжал ее с ним разделить... Ковалевский сам сознавал недостатки в устройстве колонии и непригодность двойственности последнего, но, с одной стороны, он не хотел обидеть твердой критикой ни одного из двух педагогов, руководивших делом, к которому они относились с любовью и увлечением,— а с другой — он находил, что торопливость реформы может не дать проявиться поучительным плодам вполне выясненного опыта. Впоследствии двоевластие в колонии выразилось в таких крайних разногласиях между «соправителями», что на место их пришлось призвать новое лицо — на началах единовластия. Оно исподволь стало водворять новые порядки, но при посещении колонии Достоевским старый строй был, во многих отношениях, еще в силе.

Достоевский внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, задавая вопросы и расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. В одной из больших комнат он собрал вокруг себя всю молодежь и стал расспрашивать ее и беседовать с нею. Он давал ей ответы то на пытливые, то на наивные вопросы, но мало-помалу эта беседа обратилась в поучение с его стороны, глубокое и вместе вполне доступное по своему содержанию, проникнутое настоящею любовью к детям, которая так и светит со всех страниц его сочинений, говорящих о «малых сих»... Его иногда прерывали и вступали с ним в спор, но слушали, конечно, даже и не подозревая, кто он, с напряженным вниманием, дав раза два подзатыльник

одному из шаловливых и нетерпеливых слушателей. Он произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него,— лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и того молодечества, которому «на все наплевать»; глаза некоторых затуманились.

Когда мы вышли, чтобы пойти осмотреть церковь, все пошли гурьбою с нами, тесно окружив Достоевского и наперерыв сообщая ему о своих житейских приключениях и о проделках и взглядах на порядки колонии своих товарищей. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными бессознательными жертвами установилась душевная связь и что они почуяли в нем не *любопытствующего* только посетителя, но и скорбящего *друга.*

Церковь, довольно обширная, с простыми деревянными, ничем не обделанными стенами внутри, была обильно снабжена иконами. Ковалевский выпросил для нее образа, похищенные или почему-либо отобранные у старообрядцев, хранившиеся много лет без востребования или возвращения, в качестве вещественных доказательств, в кладовых упраздненных судебных мест старого устройства. С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах «празелень» и с бородами «до чресл», окруженные неправдоподобными горами, среди которых ютились не менее странные города и обители. Но иконостас был новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе итальянской школы.

Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: «Не нравится мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того, чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изображений, но строгих, даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина. Да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут и успевшему в нем загрязниться, далекую деревню, где он был в свое время чист. А там в иконостасе обыкновенно образа неискусного, но верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная итальянщина. Нет, не нравится мне церковь... Да и еще не нравится,— прибавил он,— эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им *вы,*— оно, быть может, по-на-

шему, по-господскому, и вежливей,— но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем *ты,* а ведь проводили они нас тепло и искренно. Чего им притворяться? Да и непритворны они еще пока — ни в добром, ни в злом...» И, действительно, «колонисты» провожали его шумно и доверчиво, окружив извозчика, на которого мы садились, и крича Достоевскому: «Приезжайте опять! Непременно приезжайте! Мы вас очень будем ждать...»

В 1880 году в Москве состоялось давно жданное открытие памятника Пушкину, совпавшее с наступлением временного просвета во внутренней политике. По оживлению населения, по восторженному настроению представителей литературы, искусства и просветительных учреждений, в большинстве входивших в состав разных депутаций с хоругвями и венками, по трогательным эпизодам, сопровождавшим это открытие,— оно представило незабываемое событие в памяти каждого из сознательно при нем присутствовавших.

Три дня продолжались празднества, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим «Как весенней раннею порою» и декламирующим пушкинского «Пророка», нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что, сказал дрожащим голосом: «И сердце трепетное вынул!» Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского собрания, пред нервно настроенной и восприимчи-

вой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение «властителя дум» и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славою русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его «судьбой отсчитанных дней» пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву, куда угодно... Так, вероятно, в далекое время, умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только что слышанную речь «событием», заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском универси-

тете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме «au Maitre»[1], т. е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского.

После Пушкинских дней популярность Достоевского достигла своего апогея, и каждое его появление на эстраде в благотворительных концертах и чтениях сопровождалось горячими и бесконечными овациями. Он завоевал, думается мне, как никто из пишущей братии до него, симпатии всех слоев общества.

30 января 1881 г. был назначен в зале дома Кононова вечер в пользу Литературного фонда и в память Пушкина. На нем должен был читать и Федор Михайлович.

Придя в этот день в окружной суд, где я был председателем, я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца, сына главного врача психиатрической больницы «Всех скорбящих» на девятой версте Петергофского шоссе, начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаться, голос его дрогнул, и он внезапно замолчал на полуслове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. «Что с вами? Вы больны?!» — воскликнул я...— «Достоевский, Достоевский умер!» — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами. И таково было в большей или меньшей степени впечатление и настроение всей обширной судебной семьи, работавшей в этот день в суде,— и преимущественно младших ее членов. Мысль о том, что мы обязаны принять участие в отдании последнего долга усопшему, зародилась сразу у всех и не допускала ни колебаний, ни возражений. В этот и в ближайшие затем дни Достоевский был в полном смысле «властителем дум» почти всего общества, как, в значительной степени, был им в два последние года своей жизни, особенно после появления «Братьев Карамазовых».

Я поехал поклониться его праху. На полутемной, неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечно-

[1] Мэтр *(фр.)* — почтительное название человека выдающихся дарований в области искусства и литературы *(букв. учитель)*.

го переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната с тою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: «Nolite flere, non est mortuus, sed dormit»[1]. Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я *знаю*...»

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со все прибывавших венков, и это чрезвычайно трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой «проникновенной» любовью изображать детскую душу.

Достоевский скончался в один день с Пушкиным и Карлейлем — 29 января. Вечер в память Пушкина состоялся, но вместо Достоевского вышел Орест Федорович Миллер и сказал теплое слово, а затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем, поразительный по сходству, набросок Репина с умершего. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали — и он остался... Весь антракт стояла перед ним, в благоговейном молчании, масса народу, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский,— слилась, в этот вечер, с полной скорбного волнения памятью о нем самом.

Весть о его смерти быстро облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, позабыв различие направлений и всякие злобы дня,— все, кто не мог не чтить в усопшем не только высоко талантливого творца «Униженных и оскорбленных», но и горячего их заступника, друга и — не-

---

[1] «Не плачьте,— он не умер, он только спит» *(лат.)*.

редко — утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастию, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего навек художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений, им вызванных,— умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, несогласных с его политическими идеалами. Но в эти печальные и трогательные минуты никто не мог думать и говорить об этих спорах. И они, и данные, их вызвавшие, были еще слишком близки, слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем — их сила или слабость, но образы, им созданные,— уже жили полной жизнью, вылившись из «жаждавшей и алкавшей правды» души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжесть и значение понесенной утраты. Они, вероятно, двигались вереницею в уме каждого, подходившего к нему, и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ними. Ими переполнены были страницы его произведений. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Девушкин, со своею оборвавшеюся пуговкою вицмундира,— и «бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском» Соня Мармеладова, и сам Мармеладов, «образа звериного и печати его»,— и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и карамазовский штабс-капитан с «мочалкою»,— и «вечный муж», и все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский,— не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого — Достоевский образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину, анализа душевных движений натур усталых, ослабевших,

надломленных в житейской борьбе,— и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действительности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его — общая с великим английским романистом Диккенсом — всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так просто, правдиво и задушевно описать волнения и страсти «маленького героя», и порывы негодования ребенка при виде истязуемой лошади,— уметь создать «Ильюшечку» и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом — мог только художник, носивший в груди умеющее нежно любить, чутко отзывчивое сердце.

Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших ко праху Достоевского, я сказал бы, что это была «осиротелость», едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданней она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении «У гроба Достоевского»:

Кто повторит слова любви
Несчастным, падшим, маловерным?
Кто им, в пылу нелицемерном,
Подымет взоры от земли?!
Туманный день, больной и хмурый
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма,
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!

Похороны Достоевского — настоящее общественное событие — были чем-то в таком размере дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских «мероприятий» — и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащихся,— трогательное пение многочисленных импровизированных хоров,— воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на пути,— бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми депутациями,— и свободно выливавшаяся из души торжествен-

ность настроения у участников и зрителей — придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались — единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим взглядам, положению и деятельности людей. В то время, когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре. Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому, и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Пред выносом между участниками депутаций раздавался листок с воспроизведением на нем автографа покойного, а первыми, взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли, окруженные широкою гирляндою цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие,— были Пальм и Плещеев, за тридцать два года перед тем, вместе с усопшим возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый номер «Дневника писателя» за 1881 год, начинавшийся словами: «Господи! Неужели и я, после трех лет молчания, выступлю в возобновленном Дневнике моем...» Этот номер был последним словом Достоевского русскому обществу.

Обычное у нас временное забвение не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел,— они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей — и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни.

Быть может, не далеко время, когда у нас образуется особое литературное общество имени Достоевского, подобно недавно еще существовавшему Пушкинскому и ныне действующим Толстовскому и Тургеневскому.

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГОРБУНОВ

I

Немного лет прошло со смерти И. Ф. Горбунова, а столь обычное у нас забвение начинает уже вступать и по отношению к нему в свои права. Образ его тускнеет, расплывается в отрывочных воспоминаниях, рисуется в неверных очертаниях. Имя его почти ничего уже не говорит тем, кто не знал или не слышал его лично. И уходит, таким образом, из памяти общества замечательный по своему дарованию русский человек, умевший воплощать в сжатых и ярких формах типические черты нашей бытовой жизни. Уходит — не оставив, ввиду своеобразности своего творчества, и преемника. Пока еще не иссякли личные о нем воспоминания, пока еще помнятся, более или менее «с подлинным верно», некоторые его нигде не напечатанные рассказы, необходимо постараться задержать его, не дать ему уйти совсем, необходимо попробовать отдать себе отчет в том, что такое был в своей художественной деятельности Горбунов. Это тем более нужно, что в представление о нем закралось много ложного, что обобщение отдельных случаев и мимолетных, иногда совсем непродуманных выводов и непроверенных впечатлений, создало такой образ Горбунова, который не соответствует ни его душевному складу, ни действительному, внутреннему содержанию его произведений. Многие думают и говорят о нем, судя по единичным встречам, как о веселом собеседнике, о застольном увеселителе, о *забавнике*. Взрывы смеха зрительной залы в театре, когда, в чей-нибудь бенефис, добрый и обязательный Горбунов выступал с новою «сценою из народного быта»,— хохот сотрапезников, которым, «entre poire et fromage[1], кажется очень смешным то, что рассказал им Горбунов,— веселое настроение какого-нибудь интеллигентного кружка, восхищенного тем, «как это тонко подмечено!» или «как оно метко схвачено!» — представляются многим правильною оценкою и определением всего смысла творчества Горбунова. Но те, кто думает так, не знают и не понимают его. Они видят во *внешнем,* бьющем в глаза, результате — выражение сокровенной душевной работы художника,— и глубиною понимания слу-

[1] За десертом *(фр.)*.

шателей определяют глубину проникновения последнего в свойство и значение изображаемых им явлений.

Этот близорукий и поверхностный взгляд особенно неправилен относительно Горбунова. Известность выдающегося актера, рассказчика и вообще воплотителя житейских и поэтических образов имеет одну завидную особенность. Она не сопряжена с нравственною ответственностью. Она не влечет за собою ни строгого осуждения прозревшего человечества, ни суда истории, ни угрызений совести, напоминающей о средствах, которыми иногда куплена слава полководца, политика, властителя. Но она вместе с тем временна и непрочна. За известного деятеля на поприще других искусств или в области государственной говорят — неприкосновенная целость их трудов, бесчисленные исторические и житейские последствия их дел. Лютер, Наполеон и Петр, чей «каждый след — по словам князя Вяземского — для сердца русского есть памятник священный»,— постоянно напоминают о себе; Рембрандт будет вечно говорить со своих удивительных холстов; Пушкин — со своих вдохновенных страниц. Не такова судьба сценического деятеля. Его известность поддерживается почти исключительно живыми свидетелями того, как прочно и глубоко влиял он на зрителей или слушателей; совокупность их однородных впечатлений и воспоминаний создает конкретный облик артиста. Но когда они уходят, а за ними следуют и те, кому они передали свои непосредственные ощущения,— живое представление об артисте начинает быстро сглаживаться, теряя свою яркость, и громкие имена людей, потрясавших сердца,— имена Кина, Гаррика, Тальмы — ничего ясного и определенного не говорят последующим поколениям. Известность носителей этих имен принимается на веру, так сказать, в кредит. Ссылаясь на нее, приходится, по большей части, jurare in verba magistri[1], не обращаясь к критике источников и оставляя в стороне *современные* требования, предъявляемые и к сценическим произведениям, и к приемам и способам их исполнения. *Имя* артиста переживает его *дела;* в других областях нередко дела переживают имя. Хотя значительная часть рассказов Горбунова и была напечатана, но существовали, однако, многие варианты и дополнения к ним, и вместе с тем целый ряд сцен, никогда не видевших печати и не записанных даже самим автором. Все это, вме-

[1] Клясться словами учителя *(лат.)*

сте с оригинальною формою, в которую они были облечены, и со свойственными Горбунову средствами исполнения, грозит кануть в «пропасть забвения». Наконец, и то, что было когда-то напечатано и ныне вновь перепечатано, ввиду своей отрывочности и обособленности, только тогда может дать верное понятие о Горбунове, когда будет подвергнуто некоторому анализу и группировке по своему содержанию. Для этого надо попытаться из отдельных эпизодов разных рассказов, из сверкающих в них вспышек юмора и звучащих в них звуков грустного раздумья составить нечто по возможности цельное, нечто вроде мозаических изображений из различных цветных кусочков. Такая работа была бы достойна памяти народного русского художника, каким был Горбунов.

Далекий от мысли представить, в настоящем очерке, подобную работу, я хотел бы лишь наметить некоторые ее стороны и приемы, необходимые, по моему мнению, для выяснения личности и творческой деятельности Горбунова. Feci quod potui, faciant meliora potentes... [1]

Как бы сложны, разнообразны и даже противоречивы ни были требования, предъявляемые к художнику, между ними есть, однако, такие, на которых сходится большинство. Наличность их выполнения служит доказательством сознательности творческой его деятельности. Эта наличность существовала, и притом в высшей степени, у Горбунова. Он вносил в свои произведения самого себя, он чувствовался в них. Изображая избранный им предмет тем или другим способом, в той или другой форме, истинный художник невольно вкладывает в это изображение и свое отношение к тому, что он изображает. Это отношение выражается в настроении, почвою для которого часто служит суждение художника о предмете своего труда. Бесстрастное воспроизведение виденного и слышанного, без внутреннего смысла, без вкладывания в него своей души, а лишь с заботою, иногда доходящею до болезненности, о технической отделке, никогда не оставит глубокого впечатления, не произведет сильного действия. Объективная бессодержательность произведения может вызвать лишь мимолетный эффект, но не создаст в зрителе или слушателе прочного воспоминания о прочувствованном, как бы силен ни был холодный блеск технического исполнения. Во всех родах искусства умение проникнуться известным настроением и передать

[1] Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (*лат.*).

его, путем творчества, другим составляет главную задачу и проявление деятельности художника. Знаток в деле понимания искусства, И. А. Гончаров не раз высказывал эту мысль. Между прочим, в «Литературном вечере» он говорит устами одного из выводимых им лиц: «Дух, фантазия, мысль, чувство художника должны быть разлиты в произведении, чтобы оно было созданное живым духом тело, а не верный очерк трупа, создание какого-то безличного чародея. Живая связь между художником и его произведением должна чувствоваться зрителем и читателем; они, так сказать, с помощью чувств автора получают возможность наслаждаться сами...». Исходя из такого же взгляда, Брюнетьер («L'art et la nature»[1]) проводит мысль, что произведение искусства является проводником или посредником между душевным настроением художника и его слушателей, зрителей или читателей.

Несмотря на поразительную жизненность изображений в сценах и рассказах Горбунова, дающую им вполне объективный характер, он постоянно чувствуется в них, не равнодушный и спокойный, а с чутко настроенною душою, умеющею переживать то, что он изображает. Поэтому за житейскою правдоподобностью, за тем, что французские критики называют crédibilité[2], у него везде видно его отношение к описываемому. Оттого его рассказы, кроме самых первоначальных, не нашедших себе даже и места в его изданиях, возбуждают не один смех, не одно удивление пред его наблюдательностью. Они приводят, в своей совокупности, к невольному, но неизбежному выводу нравственного или общественного характера. Из интереснейшего в бытовом отношении содержания их звучит отношение автора к добрым и темным, печальным и примирительным сторонам нашего народного быта и к отдельным явлениям нашей общественной жизни. С точки зрения тех, кто утверждает, что чистая художественность должна отличаться совершенным отсутствием нравственного или утилитарного начала, Горбунов, конечно, не был служителем чистого искусства, но тем ближе и понятнее он нам, тем глубже западали в память создаваемые им образы. Он был вполне народным художником. Умев стать в своих изображениях в тесную связь с народом и отразить в них миросозерцание последнего, он осуществлял завет Эмерсона, требующего, чтобы ис-

---

[1] «Искусство и природа» *(фр.)*.
[2] Правдивость *(фр.)*.

тинный художник был «le délégué intellectuel du peuple»[1], т. е. чтобы он был «un homme, dont les éléments constituants existent à l'état diffus dans tous les membres de la société, au milieu de laquelle il a pris naissance»[2]. Он брал содержание для своих сцен преимущественно из жизни крестьян, мастеровых, купцов, духовенства и мелкого чиновничества и редко касался других слоев общества,—но ведь эти-то люди и составляют громадное, подавляющее большинство русского народа. При этом надо заметить, что Горбунов всегда умел схватить общенародные типы и мотивы, придавая им лишь бытовую или сословную окраску. Если в его рассказах почти не встречается представителей светского общества, то это потому, что, по условиям и обстановке своей жизни, по ее, так сказать, космополитическому складу, это общество утратило, в обыденных обстоятельствах, свой народный характер и в этом отношении все более и более обесцвечивается. Русского человека, им описываемого и выводимого, Горбунов глубоко понимал и любил горячо, без фраз и подчеркиваний, любил потому, что жалел. Жалость эта сквозит во всех его сценах, где чувствуется, как различные условия народной жизни или свойства характера не дают богатой природе этого человека пробиться к свету и широко расправить крылья своих способностей или толкают ее на ложный и темный путь. У простого русского человека *жалеть* — синоним *любви,* и на вопрос: «Любишь ли?» — простая женщина нередко отвечает: «Известно, жалею!» Так любил народ и Горбунов, не идеализируя его и не замалчивая его недостатков.

Делясь с публикою своим творчеством, Горбунов никогда, как и подобает истинному художнику, не подделывался под ее подчас низменные вкусы. Он был нравоописатель, но не льстец своих слушателей, не слуга их преходящих и изменчивых вкусов, не соискатель дешевого успеха дешевыми и не всегда опрятными средствами. Его своеобразные, подчас возбуждавшие неудержимый смех, рассказы чужды пошлости и низменного характера. В них нет ничего банального, подражательного, избитого. Чуткий художник, он не изображал лиц и положений, смешных лишь с внешней стороны, по форме, а не по существу. Поэтому в его рассказах нет действующих

[1] Представителем народного духа *(фр.).*
[2] Человек, соединяющий в себе свойства, разлитые во всех частях той среды, которая его породила *(фр.).*

лиц чужой национальности, с их неправильным и комическим выговором русских слов, с особенностями их произношения, с их жаргоном,— нет немцев, чухон, евреев, армян,— нет, одним словом, попытки вызвать грубою насмешкою над человеком другого племени смех, которого потом нередко стыдится человек развитый и который ничего светлого не вносит в нравственное настроение и понимание человека неразвитого. Нет сомнения, что при таланте Горбунова, при его уменье овладевать вниманием аудитории такие изображения могли бы ему очень удаваться. При несомненном понижении уровня вкусов общества за последние годы этим изображениям всегда обеспечен успех, а при средствах Горбунова он был бы громадный. Но он ни разу им не соблазнился, и если «немец» два раза и мелькает у него в рассказах («Воздушный шар» и «Блонден»), то лишь для того, чтобы двумя-тремя резкими штрихами обрисовать отношение к нему *русского* человека.

Господствующий тон произведений Горбунова есть юмор без оскорбительной насмешки и без ядовитой иронии. Когда он попробовал однажды писать в лично-насмешливом и ироническом роде — это ему совершенно не удалось («Записная книжка»). Лишь роль, взгляды и иногда целое мировоззрение действующих лиц служат содержанием его рассказов, но никогда не личность, в осмеянии ее бытовых или племенных особенностей. Поэтому в том, что он повествует и что он так неподражаемо рассказывал,— полное отсутствие анекдотичности. Улыбку и раздумье, видимый смех и подчас невидимую скорбь возбуждает в нем, а через него и в слушателях не *смешной случай,* не искусственное сплетение комических положений и неожиданных обстоятельств, а, если можно так выразиться, *кусок жизни,* выхваченный из действительности или верного ее подобия и показанный с милым и безобидным юмором, который искрится и бьет через край. Этот юмор в устах Горбунова возбуждал иногда смех до слез, до невозможности в течение некоторого времени слушать продолжение рассказа. Но когда последний бывал окончен, когда действующие лица, благодаря своей яркой образности, резко запечатлелись в памяти слушателей, засев в ней прочно и надолго, когда возникал сам собою итог рассказанного, то подводимая в нем картина русской жизни вызывала нередко в глубине души слушателей и благодаря удивительному таланту Гор-

бунова почти что очевидцев,— далеко не радостные звуки. В лице Горбунова юморист, передававший с особым искусством и правдивостью бытовые черты из книги скорбей и радостей народной жизни, умел наводить на серьезные вопросы всякого, кому дорого нравственное развитие народа, кому народ близок и интересен, а не забавен только, как предмет смехотворных застольных анекдотов.

И с точки зрения *мастерства,* т. е. формы и способа исполнения, Горбунов был истинный художник. Трудно видеть в нем импровизатора, готового наскоро, умелыми руками набросать оригинальный рассказ, сцену, бытовую картинку. На всех его произведениях и на всем, что он передавал устно, лежит печать продуманности. Она являлась необходимою — для рассказов с историческим оттенком, для получения которого требовалось предварительное и внимательное изучение исторических материалов, для сочинений на старом русском языке, где одно неудачное и несвоевременное выражение портило бы целостность общего впечатления, звучало бы резким диссонансом. Но и кроме того, Горбунов вообще стремился сжать свои произведения до крайних размеров, устранив из них все излишнее и ненужное. А это требовало обдумыванья и неоднократных, хотя бы только и мысленных, переделок и перекроек. Он действовал как бы по программе другого большого художника — Федотова, который говаривал: «В деле искусства надо дать себе *настояться;* художник-наблюдатель — то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть — нужно только уметь разливать вовремя...» Так и он, без сомнения, «настаивался» и, лишь выработав вполне и всесторонне то, чем хотел поделиться с публикою, пускал это в обращение. Однажды, в 1878 году, в Москве, Горбунов изложил мне фрагменты будущего рассказа об открытии первого русского парламента,— рассказа, полного самого захватывающего интереса, объясняя, что *все это* надо еще отделать и кое-что переработать. Лет через десять, на просьбу дать возможность выслушать этот рассказ, он отвечал: «Да все не готово — не клеится что-то!.. Хочется посерьезнее сделать...» — и неизвестно, не осталось ли это произведение лишь «im Werden» [1], как говорят немцы. Он не считал возможным остановиться на отдельных отрывках, связав их намеками или искусственными нитями, и при-

[1] В стадии создания (*нем.*).

знавал себя вправе пустить в обращение свое произведение только тогда, когда оно было обработано до той ясности, с которою оно возникло в его душе. Оттого-то он и произвел сравнительно довольно немного. «En fait d'art,— говорит Жорж Занд,— il n'y a qu'une règle, qu'une loi: montrer et émouvoir»[1]. Но для того, чтобы успешно и целесообразно *показывать и трогать*, необходимо устранить все, что затемняет образ или целую картину, созданные художником, что мешает их «показать» столь выпукло и ярко, чтобы они произвели определенное и цельное душевное движение в слушателе или созерцателе. Это устранение излишнего — l'élimination du superflu, по удачному выражению одного русского живописца,— усматривается во всем, созданном Горбуновым. Он был до крайности сжат и краток, держал на привязи чужое внимание и умел заставить его, ничем не развлекаясь, почти сразу направиться на самый жизненный нерв своего рассказа, не связанного никакою предвзятою формою, никакими условными правилами. Слушатель захватывался им с первых же слов и следил за ним с неослабевающим интересом. Так именно советует Лессинг поступать художнику: «Не впадай в непростительную ошибку,— не оставляй нас ни на минуту равнодушными, интересуй нас и делай затем с правилами искусства — маленькими и механическими — что хочешь!»

Вследствие этого у Горбунова выработались особые приемы повествования. В большинстве случаев он не делал никакого вступления; в редких случаях, когда оно было неизбежно, он ограничивался двумя-тремя словами. Рассказчик спешил стереться и отойти в сторону, предоставив самой жизни, которую он изображал, говорить за себя, очевидно, находя, что вступление излишне там, где с первых слов действующих лиц пред слушателем, мало-мальски знакомым с русскою действительностью, сама собою возникает живая обстановка и условия, в которых происходит действие. «Скоро полетит?» — «Не можем знать, сударь. С самых вечерен надувают; раздуть, говорят, невозможно».— «А чем это, братцы, его надувают?» — «Должно, кислотой какой... Без кислоты тут ничего не сделаешь...» — так начинается один из лучших рассказов Горбунова, и картина рисуется сама

[1] «В искусстве есть только одно правило, один закон: показывать и трогать» *(фр.)*.

собою, без всякого предварения слушателя... «Вы обвиняетесь в том, что в гостинице «Ягодка» вымазали горчицею лицо трактирному служителю...» — «Бушевали мы — это точно»...— начинает Горбунов, и обстановка восстает невольно пред слушателем. Он видит мирового судью и людей, которые «бушевали», и даже самый характер их «бушеванья» ясен из первых слов судьи. «Наслышаны мы об вас, милостивый государь,— начинает, бывало, Горбунов вкрадчивым голосом,— что, например, ежели что у мирового — сейчас вы можете человека оправить...» — и не нужно говорить, что дело происходит в кабинете адвоката и притом специалиста по практике у мировых судей... Иногда рассказ начинался пением чувствительного романса о «канареечке», и фигура перезрелой замоскворецкой барышни с картавым голосом тотчас рисовалась перед слушателем и предвещала общий тон будущего рассказа; иногда сиплый голос, напевающий с ожесточением: «спрятался месяц за тучи»,— изобличал сам собою молодого гуляку, размаху широкой натуры которого положен предел каким-нибудь неизбежным, но тем не менее неприятным обстоятельством...

Горбунов любил рассказывать стоя. Только в качестве генерала Дитятина, о котором речь будет ниже, он обыкновенно сидел. Став в естественную, непринужденную позу, он, если это было в частном собрании, брался за спинку стула, откидывал со лба нависавшую прядь волос и глядел перед собою в пространство слегка прищуренными, живыми глазами, взор которых по ходу и смыслу рассказа ставился с удивительною легкостью то посоловелым, то комически-томным, то лукавым, то испуганным. Живая, непередаваемая игра физиономии Горбунова,— выражение его губ, то оттопыренных, то растянувшихся в сладкую или ехидную улыбку, то старчески отвислых, то презрительно сжатых,— его, редкий вообще, жест с растопыренными пальцами или выразительный удар могучего кулака в грудь,— наконец, удивительно-тонкие оттенки его, небогатого самого по себе, голоса, его шепот, всхлипыванья, взволнованная скороговорка, выразительные паузы — все это населяло его рассказы массою лиц, обрисованных яркими типичными чертами, различных по темпераменту, развитию, настроению и одинаковых по своей реальности, по своей тесной связи с своеобразными сторонами русской жизни

и натуры. Подобно началу рассказа, и конец бывал прост и естествен. Многие рассказы кончались эпически, вдруг, неожиданно, обрываясь, когда все, что составляло их внутренний смысл, уже было сказано. Дальнейшее их продолжение являлось бы лишь развитием последствий того или другого положения, представлять себе которые скупой на слова Горбунов предоставлял самому слушателю.

II

Передать, хотя бы в общих чертах, *содержание* рассказов Горбунова — очень трудно. Не говоря уже о богатстве и разнообразии этого содержания, оно так тесно и органически связано с формою и с особенностями выполнения ее Горбуновым, что излагать своими словами это живое воспроизведение русской действительности, блещущее юмором и талантом, было бы задачею, смелость которой равнялась бы ее бесплодности. Горбунова нужно было слышать, его следует читать серьезно и вдумчиво; говорить же о его произведениях возможно, лишь наметив главные их мотивы и освещая их небольшими отрывками, изложенными подлинными словами автора.

Русская жизнь и русский человек представлены им в самых разнородных сочетаниях, всегда, однако, не только правдоподобных, но поражающих своею верностью во всех отношениях. Горбунов вообще скуп на описания и не любит рисовать картины. Его интересует сам человек, а не фон, на котором вырисовывается житейская обстановка, среди которой он действует. Тем не менее у него нашли себе яркое изображение — унылое однообразие великорусского села с неизбежным «заведением»; тоскливая тишина и незаметно ползущая жизнь уездного города общего средне-русского типа, с обычным гостиным двором, как две капли схожим по архитектуре, вывескам и даже по запаху со всеми другими гостиными дворами других уездных же городов; московское «захолустье», где фонари освещают лишь свой собственный столб и ночной сторож протяжно кричит: «Посма-а-атривай!», хотя именно посматривать-то и некому; постоялый двор в посаде при монастыре, где «теперича клоп со всего свету собрался, потому богомольцев-то какая сила!» Но, набросав такое изображение, Горбунов спешит перейти к людям,— столь близким ему и понятным русским людям,

«средним» и «молодшим», как говорилось в старину, вращающимся среди обычных мотивов и элементов своей несложной, хотя подчас и очень своеобразной жизни. Их поверья и обычаи, их доброта и их слабости, проявления их душевной теплоты, а подчас и нравственного падения, их отношение к власти, к суду, к церкви и науке,— будни и праздники, скорби и трагедии их существования, сменяя друг друга и переплетаясь между собою, проходят в пестрой картине пред каждым, кто перечтет и припомнит рассказы Горбунова.

Любовь к этому русскому человеку, несмотря на трезвый взгляд на его слабости и недостатки, теплится и сквозит в большинстве того, что повествует Горбунов. Не закрывая глаз на неприглядные стороны родной жизни, резко оттеняя те внутренние диссонансы и «безобразия», которыми иногда проявляет себя русский человек, Горбунов не забывает про тяжелые исторические и бытовые условия, оставившие, даже и отойдя в область прошедшего, свой след на нравственном складе и многих сторонах «поведения» этого человека. Крепостное право, дореформенное бессудье наряду с стремительностью и непосредственностью начальственной расправы, тяжкая, обрывающая все личные связи, многолетняя военная служба и мрак невежества, не только не рассеиваемый, но, подчас, и любовно оберегаемый, мелькают в рассказах Горбунова, внося темные тоны в их в общем светлую и веселящую взор ткань.

«Вся-то жизнь наша — слезы,— говорит, в «Медведе», лежащий на печи старик,— родимся мы во слезах и помрем во слезах... И сколько я этих слез на своем веку видел,— и сказать нельзя! Бывало хоть в некрутчину: и мать-то воет, и отец-то воет, а у жены у некрутиковой из глаз словно смола горячая капает...» Эта «некрутчина», наводившая ужас на разрушаемую ею семью, вызывала ее иногда на крайнее напряжение сил, выражавшееся в найме «охотника»,— и среди рассказов Горбунова был один, героем которого являлся такой охотник, гуляющий на счет нанявших и всячески безвозбранно над ними надмывающийся. В порывистых жестах его, в окриках на нанятого им музыканта: «Делай! Делай!», в его пьяных воплях и слезах слышалось глубокое, безысходное отчаяние загубившего себя человека. Отголоски этой же некрутчины звучат и в словах кухарки на «Постоялом дворе» — о муже, которого «угнали на Кавказ, так что

и слухов об ём нет... должно к австриякам попал,— и в простодушных рассказах Прохора, в «Лесе», об отведенном им «для порядку» к становому беглом солдате, которого он не испугался, потому что «на войне ежели,— вестимо убьет; а в лесу он ничего, потому отощает, в лесу ему есть нечего... ягоды — да ягодой или корешком каким ни на есть, сыт не будешь, ну и отощал человек,— силу, значит, забрать не может, опять же и ружья этого при ём нет».

Слезы «некрутиковой жены» невольно напоминают горькое, пришибленное положение, которое часто выпадает в удел простой русской женщине в крестьянской среде, а подчас и в той, где владычествует, не препятствуя своему нраву, «господин купец». За комической растерянностью и смешными по своей трусливой узкости житейскими взглядами обывательниц захолустья, описываемых Горбуновым, видится их непрестанный трепет перед домашним произволом, неожиданность и беспричинность проявлений которого нагоняют невольный страх постоянного ожидания какой-нибудь домашней бури. Стоит вдуматься в источник этих взглядов, и трагическая действительность сотрет их веселые краски. Недаром одна из жительниц захолустья признает, что сын был прав, когда «убёг» с молодою супругою из родительского дому, так как «невтерпеж жить, потому что не всякая *может* по здешнему безобразию, надо дело говорить; и прежде у нас в доме карамболь был, а теперь хоть святых вон неси,— продолжает она,— сам-то лютей волка стал, деньденьской ходит, не знает, на ком злость сорвать»...— «За чтó же я должна за старика идти?» — спрашивает молодая девушка отца.— «Не твое дело!.. Значит, так нужно для моих делов,— отвечает отец: — что я приказываю — кончено. Не мерзавец я в своей жизни и чувствую свою деятельность. Учить вам меня нечего». Этот гнет заглушает мало-помалу естественные чувства и логику, и из уст запуганных существ раздаются сентенции неожиданного свойства. Мать, понимавшая сына, который «убёг» с женою, говорит, однако, последней: «Другая бы хорошая баба на твоем месте в ногах досыта навалялась, а ты фыркаешь»... В ответ на слезы дочери, выдаваемой за старика, слышится материнское удивление: «Что ты, бог с тобой,— за майора, за военного выходить да скучно? Да другая на твоем месте так бы нос вздернула да хвост растопырила!» Тяжкие картины семейной обстановки

даже и во сне давят на мысль. У одной из выводимых Горбуновым купчих «вся душенька выболела от страшного сна: будто бы стою я, матушка, на горе, а муж-то, Иван-то Петрович, пьяный-распьяный внизу стоит, да на меня эдак пальцем грозит». Печальная судьба русской «бабы», этой, по выражению Некрасова,— «вековечной печальницы», выступает эпизодически у Горбунова. Тяжело ей бывает с пьяным и драчливым мужем. «Другого такого мужика, пожалуй, и на свете нет,— говорят про зажиточного мужика,— уж на что баба, и та от него во всю жизнь худого слова не слыхала, а баба наша, известно, на побои рожденная: там какая она ни будь, а уж все ей влетит, либо с сердцов, либо спьяну...» Не менее тяжело и в бесприютном сиротстве и вдовстве. «Это что такое?» — кричит на собравшихся для облавы на медведя крестьян приехавший из Петербурга богатый охотник, заметив среди них бабу с ребенком на руках.— «Бабеночка, сударь, наша»...— «Что ж она с ребенком в лес пойдет?» — «Муж, сударь, у ней замерз, так, значит, кормится, в чужих людях живет».— «Ничего, сударь, мы, привычные»,— робко говорит бабенка.

Начатый великим Петром «смелый посев просвещенья», воспетый Пушкиным, шел медленно, с остановками, захватывая лишь высшие классы общества, причем имелись в виду преимущественно служебные цели. Настоящая систематическая забота о народном образовании появляется у нас лишь после Крымской войны, но и до сих пор мы, по достигнутым в этом отношении результатам, находимся почти на вершине известной выставочной пирамиды, изображавшей грамотность в европейских странах. Время ранней молодости Горбунова, из которой он вынес многие впечатления на всю свою творческую деятельность, совпало с господствовавшей в провинциальном бюрократическом строе недоброжелательностью к «ученым» и «сочинителям», как презрительно называли окончивших курс в университете, чему резкие примеры приводил еще недавно на страницах «Русской старины» в своих воспоминаниях о средине пятидесятых годов Ф. Я. Лучинский. Скупости в просвещении масс соответствовали, особливо подальше от столиц, за немногими светлыми исключениями, самые приемы преподавания и слабое развитие педагогической литературы, чрезвычайно затруднявшие попытки к самообразованию. Недаром вспоминал Горбунов урок «диктовки» из древ-

ней истории и учебник математики Войтяховского, бывший в частом употреблении еще в сороковых годах. «Начнем,— говорит учитель,— историю мидян. Пишите: история... история... мидян, ми-дян. Написали? Точка. Подчеркнуть! — Начало истории мидян... Написали? Точка. Подчеркнуть.— Ну, теперь: история мидян темна... те-мна и — написали? и — непонятна. Точка. Конец истории... истории... мидян. Точка. Подчеркнуть!». Не лучше, в своем роде, были и задачи Войтяховского о ценности вещей в чемодане «нововъезжей французской мадамы» и о «смещении вещей в короне сиракузского царя Иерона». Благодаря этому, в среде, описываемой Горбуновым, просвещение «обретается не в авантаже», с трудом просачиваясь между враждебными ему взглядами, суевериями, наивными заветами старины и неохотою утруждать себя ученьем дальше самых элементарных сведений и более чем сомнительного правописания. «Вот, все прочитал,— заявляет управляющий из крепостных, Никита Николаев, закрывая книгу Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры»,— а в голову забрать ничего не могу — не обучен,— если бы меня с малолетства обучали, я бы до всего дошел».— «Вы господам служили,— отвечает ему жена,— а господину зачем ваша наука? Науки вашей ему не нужно. Вот хотя бы по вашей, по лакейской части, ученья вам совсем не нужно. Опять же покойница барыня, царство ей небесное: терпеть не могла, кто книжки читает...»

Не любили чтения книжек и в том Замоскворечье, нравы которого описывал Горбунов. Там полагали, что если «се в книжку глядеть, так можно зачитаться», как Дёмушка («Смотрины»), стать чудны́м, как Егорушка, или начать прохожим кланяться в ноги, как старичок, называемый, несмотря на свои седые волосы, Володею, у которого *от книжки* и долгого сиденья в долговом отделении «растопилось сердце» и «помутился разум» («Самодур»). Недаром «наш лекарь сказывал», что даже блины—вред для тех, «кто ежели мозгами часто шевелит, значит, по книгам доходит или выдумывает». Если в той среде, откуда брал свой материал Горбунов, неграмотность не составляла беды или не грозила особыми стеснениями в жизни, то, с другой стороны,— безграмотность, как всякое полуобразование, с уверенностью в себе и самодовольствием выставляла себя напоказ. Достаточно припомнить московские вывески, остановившие на себе

внимание Горбунова и постепенно вытесняемые из столицы в провинцию, «Кофейная с правом входа для купцов и дворян», существовавшая в Грузинах, в Москве, в пятидесятых годах, уступила место уездным: «В новь открытой белой харчевне «Русский пир» и трактиру «Константин Нополь»; — московской вывеске: «С дозволения правительства медицинской конторы заседания господ врачей в сем зале отворяют кровь заграничным инструментом пьявочную, баночную и жильную, прическа невест, бандо, стрижка волос, завивка и бритье и прочие принадлежности мужского туалета, по желанию на дом по соглашению экзаменованный фельдшерный мастер Ефим Филиппов и дергает зубы» — соответствует: «С-Петербургской колониально-бакалейный магазин с продажею всех предметов химической лаборатории и прочиго», «Постоялый двор и при нем лавка с продажею хомутов, кнутов, веревок и прочих съестных припасов», «Magazin mod e rob Moscu» и т. п. Не лучше и объявления вроде: «С разрешения начальства в непродолжительном времени певцы *братья* Мальчугины, из коих одна сестра будут иметь честь» и т. д.

Медленным распространением образования и даже грамоты объясняется взгляд горбуновских действующих лиц на науку и на природу. С презрением относятся они к первой, с ужасом — к естественным явлениям последней. «Хозяйка наша в баню поехала и сейчас спрашивает: зачем народ собирается? а кучер-то, дурак, и ляпни: затмения небесного дожидаются... сырой-то женщине!..— так та и покатилась! домой под руки потащили...» «Зашел он в трактир,— рассказывает у Горбунова замоскворецкий деятель,— и стал это свои слова говорить. Теперь, говорит, земля вертится, а Иван-то Ильич как свиснет его в ухо!.. Разве мы, говорит, на вертушке живем?..» Не одним людям страшны явления природы. Опасны они и для лесовиков, которые очень боятся, например, грозы, гоняющей их по лесу и бьющей «молоньею, которая как зубом перекусит, потому стрела у ей очень тонкая». Хотя «дворянин один, в Калуге», и отрицает существование лешего, «но много он знает — дворянин-то», когда «кого хошь спроси» леший есть, да только показывается не всякому, а «кого ежели оченно любит», и вид притом имеет совершенно определенный: «Одна ноздря у него, а спины нет»... Этим он отличается от людоедов-одноглазых, «по чьему закону *все* можно», которых излюбленные Замо-

скворечьем странники за окиян-рекою *видели,* причем этому и «описание есть в книжках...» Впрочем, «все можно» не одним людоедам, но, почему-то, и англичанам, которые весь пост едят говядину — потому, что «по их вере все возможно», ибо они «веруют в петуха», о чем с полною уверенностью заявляет в московском захолустье дворник дома, хозяйка которого, со вздохом и усилиями истребляя блины на масляной, на заявление внука, что он сбился со счета, сколько съел, говорит: «Грех, батюшка, считать-то,— кушай так, во славу божию». Зато жизнь в этом захолустье полна вещими снами и слышимыми в ночи «трубными звуками», зато жительницы его, отправившись слушать провозглашение «анафемы», всхлипывая от жалости и умиления, рассказывают, что видели, под потрясающие возгласы церковного баса, и ее, самую анафему, с седенькою бородкою и трясущеюся головою «в бралиантах».

Больная человеческая природа тоже вызывает к себе в этом мире особое отношение. «Как здоровье, матушка?» — спрашивает одна богомольная старушка другую.— «О-о-ох! голубка — местами! местами болит, местами подживает!» Сверх такого общего недомоганья чаще всего одолевает человека белая горячка,— у простого человека «сердце чешется», а у купеческой вдовы по ночам под сердце подкатывает,— «словно бы этакое забвение чувств, и вдруг эдак... знаете... даже удивительно! и так, знаете, вздрогнешь...» Если случится утопленник — его откачивают, и чем шибче, тем лучше, лишь бы при этом не разговаривать, «не пужать его»; если грозит повальная болезнь, от нее защищаются крестами, сделанными мелом над косяками окон и дверей. Иногда действуют по правилу similis similibus curantur [1]. «Да что доктора,— говорит один охотник, помятый медведем,— да что же эти доктора! Для господ они, может, хороши, а нам они ни к чему... Нашу натуру они не знают, порошки ихние на мужика не действуют. Жена меня лечила. Медведем же и лечила, салом его, значит, медвежьим прикладывала. Отощал я в те поры оченно, на еду не тянуло. Глазом пищу-то берешь, а нутро-то не примает. Ну, ничего — выправился».

Однако «выправиться» приходится не всегда, особливо если дело идет о соленой рыбе, съеденной без предосторожностей, не предусмотренных, впрочем, никакими

[1] Подобное излечивается подобным *(лат.).*

врачами... «Маленько и поели-то ее,— и отчего бы это, кажись? Оно точно — начальство не велит ее сырую есть, да разве удержишься, если эпекит пришел. Конечно, спервоначалу надо бы ее порохом вытереть хорошенько, а не то в щелок окунуть, тогда ничего...» Иногда, впрочем, душевное и телесное недомоганье является вполне естественным, предвиденным и, так сказать, узаконенным последствием свято соблюдаемого обычая. «Блины изволили кушать? — Да я крещеный человек, аль нет? Эх ты — образование!...» Ввиду этого «кушать блины» становится своего рода священною обязанностью, которая выполняется в таких размерах и с таким рвением, что «инда в глазах мутится»,— и так как это продолжается целую неделю, то «на последних-то днях одурь возьмет,— постом-то не скоро на истинный путь попадешь», ибо «после хорошей масленицы человек не вдруг очувствоваться может, и лик исказится, и все...» Понятно, после этого, почему старожил московского захолустья, с восторгом вспоминая, как «в старину, бывало, идешь по улице и чувствуешь, что она, матушка (масленица), на дворе: воздух совсем другой, так тебя и обдает, так и обхватывает», замечает: «А вот посмотрю я на *господ* — какие они к блинам робкие: штуки четыре съест и сейчас отстанет...» — «Кишка не выдерживает!» — авторитетно замечает собеседник. Сверх исключительных способов лечения от недугов, помощи ищут преимущественно в наговаривании, нашептывании на корочку и в советах какого-нибудь Филиппа Ионовича, который «от сорока восьми недугов знает лечить — только черепа подымать не может...», причем надо думать, что его лекарство действует успешнее, чем средство, употребленное против тараканов, которых «и морили, сударь, и морозили,— и из С.-Петербурга был какой-то, мазью смазывал, но, между прочим, куры все передохли, а тараканы остались».

Едва ли нужно напоминать рассказы Горбунова из купеческого быта, изображающие гульбу на ярмарке в Нижнем, различные семейные сцены и т. п. Все это чрезвычайно характерно, выпукло, но, представляя разработку тех же типических особенностей этого быта, которые так ярко очерчены в комедиях А. Н. Островского, не превосходит последние ни по мастерству, ни по богатству оттенков и языку. Более оригинальны картины из жизни выводимых Горбуновым мещан, фабричных и вообще городского населения. В них так и брызжет юмор, тонкая

наблюдательность и уменье несколькими штрихами обрисовать целое положение. Поразительно жизненны были также в устных рассказах Горбунова особо-излюбленные им лица духовного звания. Но чиновничий быт и так называемая интеллигенция затрагивались им мало и мельком, обыкновенно с довольно явною струйкою насмешки. В этом отношении особенно выдержан рассказ «Медвежья охота», где забава скучающих бар переплетается со спором мужиков из-за обложенного одними из них и перешедшего на землю других зверя. Пред слушателем — ряд типичных лиц, начиная с мужика-охотника, который заряжает ружье, перевязанное около курка веревкою, выдергивая паклю для пыжа из шапки, и кончая франтоватым молодым человеком, со стеклышком в глазу, из Петербурга, облаченным в черкесский костюм, с кинжалом и разными затейливыми принадлежностями. Охота идет неудачно, несмотря на суетню загонщиков и отборную брань приезжего полковника,— что, по-видимому, особенно огорчает господина в черкесском костюме. Все едут обратно. Черкес, при въезде в деревню, убивает в упор петуха, говоря с озлоблением: «Тебе этого, что ль, хотелось?» Очень характерна, например, и столичная штатская генеральша тепличного воспитания, впервые приехавшая в уездный город. Исправник показывает ей требующую немедленной помощи телеграмму о горящем лесе, угрожающем железнодорожной станции, и с отчаянием восклицает: «А с чем я поеду? Две трубы только, и то одна без рукава!» — «Как без рукава?» — с недоумением спрашивает генеральша.— «То есть, попросту сказать: без кишки». Но тепличная дама и этого не понимает и с еще бо́льшим недоумением взглядывает в глаза исправнику...

III

Область личных отношений и различных бытовых явлений частной жизни, несмотря на все свое разнообразие, не могла, однако, дать исключительное содержание рассказам Горбунова. Изображаемые им люди выходят, а иногда, помимо своей воли, выводятся из узких рамок личной жизни — семейной или одинокой — в круговорот жизни общественной. Сходясь в деловых общественных собраниях, собираясь для публичных празднований, отыскивая развлечения, русский человек имеет случай про-

являть свою общительность, свои взгляды на общие интересы и задачи и все своеобразие своей природы, поставленной в непосредственное соприкосновение с теми или другими сочетаниями людей. Все это не могло, конечно, ускользнуть от наблюдательности Горбунова. Обратил он и особое, вполне заслуженное внимание на отношение изображаемого им русского человека ко *власти* вообще и к *суду* в особенности. Сложившиеся веками, под влиянием условий и причин, имеющих корни в нашем историческом прошлом, взгляды народа на власть и ее представителей, на неизбежные свойства их и, наконец, на то, как надо к ним относиться, имеют оригинальную форму и особенный, соответственный той или другой среде колорит. Изучение этих взглядов могло бы иметь своим последствием вывод целого ряда ходячих в народе житейских, неписаных правил о том, как понимать власть и какого «поведения» надлежит с нею придерживаться. Если отбросить подчас комическую сторону этих правил, их явное несоответствие разумному соотношению различных элементов гражданского строя и их, так сказать, фаталистическую непреложность, то в них можно увидеть целое *правосозерцание,* над которым нельзя не задуматься.

Ближайшая власть, с которой приходится иметь дело народу,— полицейская. Ее представители и агенты составляют почти неизбежный элемент его общественной жизни. Водворение порядка, ближайшая помощь и защита, предварительное разбирательство всяких житейских столкновений — все это в руках местной полиции. «До бога высоко — до царя далеко»,— говорит народная пословица,— и в то время, как носитель верховной власти живет в сознании народа, как недосягаемый, светлый и всемогущий представитель правды и справедливости, которые лишь вопреки его воле не осуществляются в обыденной жизни исключительно и постоянно,— главный обиход отношений народа к государству, не считая воинской повинности, замыкается в тесную деятельность ближайших к нему чинов полиции и органов суда. Посредствующие звенья, иерархические ступени, на которых стоят облеченные властью лица, их разнообразные функции, права и обязанности — все это представляется народу в неясных и по большей части неверных очертаниях, все тонет в одном и общем туманном понятии о *начальстве.* Близок и понятен городовой, околоточный, стано-

вой, мировой судья — и, быть может, земский начальник, сменивший, но не заменивший последнего; с ними — и особливо с первым — стоит народ лицом к лицу, они осуществляют перед ним волю той неопределенной, но осязательной силы, называемой «начальством», критиковать которую бесполезно, не повиноваться которой в конце концов невозможно. Правда, строгое разделение властей, к которому одно время стремилось наше законодательство, постепенное смягчение нравов, медленное, но все-таки чувствуемое развитие просвещения и связанного с ними правосознания — понемногу начали создавать более правильное понимание значения, круга и законных способов деятельности ближайших к народу представителей власти. Но это — приобретение и притом довольно еще шаткое, недавнего времени, а повествовательная деятельность Горбунова берет свое начало еще из тех годов, когда знаменитый и в своем роде популярный квартальный надзиратель, соединявший в своих руках все местные проявления судебной и административной власти, был альфой и омегой общественной жизни обыкновенного обывателя. Как «deus ex machina»[1], являлся он разрешителем всяких необычных положений и непривычных вопросов, возникавших в жизни... Когда злополучный портной уже собирается садиться в шар вместе с «немцем», происходит следующий краткий разговор: «Ты что за человек?» — «Портной...» — «Какой портной?» — «Портной от Гусева, с Покровки,— предупредительно поясняет один из присутствующих,— купцы его лететь наняли...» — «Лететь!.. Гриненко, сведи его в часть!»—«Помилуйте!..»—«Я те полечу!.. Гриненко... Извольте видеть! Лететь!.. Гриненко, возьми...» И окружающие, еще недавно сочувствовавшие портному, сразу становятся на сторону того, кто так энергично проявил свою власть, уже в самом факте его вмешательства усматривая, без долгих рассуждений, доказательство неправильности и предосудительности действий портного, получивших заслуженное осуждение. «Полетел, голубчик!» —«Да за этакие дела...» — «Народ-то уж оченно избаловался, придумывает, что чудней!..» — слышится в толпе,— и на вопрос прохожего — не вора ли это повели и что такое он украл— ему отвечают: «Нет, сударь... он, изволите видеть... бедный он человек... и купцы его наняли, чтобы, значит, сейчас в шару лететь,— ну, а *квартальному это*

[1] «Бог из машины» *(лат.)*.

обидно показалось...» — «Потому — беспорядок»,— прибавляет один из присутствующих. «И как это возможно без начальства лететь?!» — безапелляционно и укоризненно заключает другой... и правосозерцание, в силу которого все, что делается не с разрешения начальства, есть беспорядок, составляющий притом личную обиду для представителя этого начальства, возникает пред слушателем как основание целой системы взаимных отношений.

Эти отношения были особенно сложны в то время, когда квартальный—или, как его называли в некоторых местах ,«комиссар» — обязан был разбирать и маловажные дела, идущие ныне судебным порядком. Являясь и судьею, и защитником, он, подобно римскому претору, тут же творил свое неписаное право, понятное уму и сердцу обывателя. В ряде сцен Горбунова проходит он пред нами, начиная с раннего утра, проводимого им в канцелярии, когда трещит голова и требуется «селедка с яблоками» и когда просителю-купцу, встреченному лаконическими словами: «Что за человек?» — говорится ласково: «Прошу вас садиться... в чем ваше дело?» — после того как тот высказал не на словах, а на деле теплое участие к домашнему обиходу квартального,—и кончая ужином в купеческом доме, где бутерброд с густым слоем свежей икры запивается тенерифом братьев Змиевых. День «комиссара» наполнен трудом на пользу общества. Ему часто приходится принимать на себя высокие обязанности примирителя. «Иван Семеныч, да помирись ты с этою анафемой; ведь тебе же хуже будет, если она направит дело в управу благочиния»,—говорит он.— «Обидно, это мне очень, обидно мириться-то, ведь я по первой гильдии».— «Ну, дай ты ей *пятнадцать* целковых»...— «Ну, так и быть, получи! Только нельзя ли ее хоть дня на три в часть посадить».— «Уж сделаем, что можно». Приемы примирения очень просты, хотя и неожиданны. «Позвольте узнать, в каком положении мое дело?» — спрашивает, подходя к столу, средних лет женщина. — «Вы Анна Клюева? Вдова сенатского копииста?» — «Да-с».— «Тэк-с! А вы давно кляузами изволите заниматься?» — «Помилуйте, какие же это кляузы, когда он на паперти меня прибил...» — «А свидетели у вас есть? А доктор вас свидетельствовал?» — «Помилуйте...»— «Вы нас, матушка, помилуйте! И без вас у нас дела много. Вы женщина бедная, возьмите *пять* рублей, и ступайте с богом. А то мы вас сейчас

должны будем отправить к частному доктору для освидетельствования нанесенных вам побоев, тот раздевать вас будет... Что хорошего, вы — дама». Просительница начинает всхлипывать. «А как тот, с своей стороны,— озлится да приведет свидетелей, которые под присягой покажут, что его в этот день не только в церкви, а и в Москве не было, так вам за облыжное-то показание...» — «Помилуйте»,— прерывает просительница. — «Позвольте, дайте мне говорить... Вы не бывали на Ваганьковском кладбище?» — «Мой муж там схоронен».— «Стало быть, мимо острога проезжали. Неприятно ведь вам будет в остроге сидеть».— «Я правду говорю! Неужели за правду...» — «Полноте, возьмите *пять* рублей. Василий Иванович, возьмите с госпожи Клюевой подписку, что она дело прекращает миром. Вам напишут, а вы подпишите».— «Извольте, я подпишу, только пяти рублей не возьму... Бог с ним!» — «Ну, как хотите!». Выступает он и в роли защитника угнетенных, с применением тех упрощенных приемов, в целесообразность и воспитательное значение которых до сих пор не хотят, по упорству, верить некоторые теоретики, пропитанные кабинетными идеями. «Батюшка, ваше благородие, защити ты меня, отец родной!— голосит, валяясь в ногах у него, старуха. — Все пропил...» — «Кто пропил?»— грозно вскрикивает он.—«Сын, батюшка, родной сын... Защити ты меня...» — «Это ты?» — обращается комиссар к молодому, щеголевато одетому мастеровому.— «Я!» — отвечает нахально мастеровой.— «Ты кто такой?» — «Цеховой кислощейного цеха».—«То-то у тебя и рожа-то кислая!.. Ты знаешь божью заповедь: «Чти отца своего и матерь твою»...— Бац! Цеховой летит в стену. «Ты знаешь, что твоя мать носила тебя в своей утробе сорок недель?» — «Зн...» Бац! — «Ваше благородие...» — «Ступай с Богом! На первый раз с тебя довольно. Василий Иванович, возьмите с него *подписку,* что впредь он будет оказывать матери сыновнее почтение». Являлся он, наконец, и в роли блюстителя народного здравия и охранителя чужих имущественных прав. «Что это ты, братец,— говорит он купцу,— весь квартал заразил?» — «Мне и самому тошно,— отвечает тот,— да что же делать-то! Три года не выкачивали. Капуста, милый человек, действует! Заходи ужо — портфеинцу по рюмочке выпьем».— «Шуба соболья!» — выкрикивает при описи имущества несостоятельного должника охранитель. Писарь записывает. «Что ты в первый раз, что ли, на

описи-то? — говорит тихо комиссар,— пиши: *меховая*».— «Ложек серебряных»... возглашает охранитель... Писарь записывает. «Да *металлических!* Черт тебя возьми! *металлических*... я такого дурака еще не видывал!»

Быстрота и самоуверенная беззастенчивость распоряжений, примеры которых приводит Горбунов, не давая обывателю ни времени, ни привычки к критической оценке, к любознательности о том, где тот закон, на который они опираются, держала, вместе с тем, человека не только в спасительном, но даже и суеверном страхе. Особенно сильно наводил его в дореформенное время становой, как исследователь всяких происшествий, могших таить в себе следы преступления. Возможность огульного обвинения или, во всяком случае, заподозрения неслась пред становым приставом, как ветер пред грозою, совсем пригибая к земле привыкшие жить в трепете души. «Вот, когда становой приедет!» — говорят около трупа убитого молнией мальчика.— «Что ж становой?... Становой ничего»...— «Становой-то ничего?!» — «Мужички почтенные,— становой ежели приедет — мы ничего не знаем...» — «А что, его потрошить будут?!»—«Само собою:— *не по закону умер,* потрошить».— «Становой! становой! — слышатся крики — и окружающие обращаются к ни в чем не повинному парню и, чувствуя, что необходим виновный, говорят ему: «Петрунька! Голубчик, не погуби! Прими все на себя!» — и, не ожидая ответа, спешат навстречу становому с заявлением: «Ваше благородие! Петруньке это дело, мы ни в чем не причинны...» Когда, в «Утопленнике», вытащившие труп, при звуках колокола, ударившего в далеком монастыре к заутрени, крестятся и говорят: «Упокой, господи, душу раба твоего,— отмаялся ты на сем свете, голубчик!» — наступившую благоговейную тишину прерывает заявление: «Что ж, ребята, теперь ступай к становому,— объявить надо — так и так».— «Затаскают нас, братцы, теперича».— «Да, не помилуют!» — «Я сидел раз в остроге-то, за подозрение. Главная причина, братцы, говори все одно, не путайся. Месяца два меня допрашивали. Сейчас приведут тебя, становой скажет: «Вот, братец, человека вы утопили,— сказывай, как дело было?» — «Ничего, мол, ваше благородие, этого я не знаю,— а что собственно услыхамши мы крик и теперича, как человек ежели тонет,— отвязали мы, значит, лодку... А насчет того, что откачивали — молчи, потому скажет: «как ты смел до его дотронуться? Какое ты полное пра-

во имеешь?..» — «Я, мол, как свеча горю пред вашим благороднем, прикажите хоть огни надо мною поджигать — я ничего не знаю». —«Я, скажет, братец, верно знаю, что это ваше дело». Говори одно: «Как вашей милости угодно будет, я этому делу не причинен».

Очевидно, что говорящие *так* смотрели на представителей местной власти, как на стихийную силу, против которой одно средство спасения — все отрицать, терпеливо и упорно. Резонов она не принимает и налетает с предвзятым и твердым решением. Бесполезно опровергать его, это пустая трата слов,— все равно не поверят, да и слушать не станут. Надо запираться во всем — вот и все. Система запирательства, выработанная веками бессудья (недаром и о раскладывании огней говорится в бессознательном переживании судебных ужасов XVII и даже XVIII столетий),— эта система приходит в голову простому человеку, едва лишь ему довелось быть случайным свидетелем смерти от несчастного случая или даже пытаться спасти утопленника. Возможность того, что «затаскают» и «в острог влетишь»,— слишком реальна и основана на горьком опыте. Но вместе с тем, стараясь увернуться от осуществления этой возможности, изображаемый Горбуновым простой русский человек далек от желания не только разбирать, но даже и объяснять себе основания и поводы действий представителей местной власти. Должно быть, все, что́ она предпринимает, так и надо,— так неизбежно и до такой степени само собою разумеется, что даже и говорить об этом не стоит. «Пожалуй — в острог влетишь»,— говорит продрогший парень, вытащивший на берег утопленника.— «Хитрого нет!» — отзывается другой.— «За что?» — спрашивает третий.— «А за то».— «За что — за то?» — «Там уже опосля выйдет разрешение»,— заключает успокоительно первый... Этому благодушному примирению с неизбежным и ненуждающимся в каком-либо основании «разрешением» часто соответствует представление о каких-то особых правах, составляющих принадлежность всякого сколько-нибудь «значительного» человека. Хотя брань на вороту не виснет, по пословице, и мужики, собравшиеся для медвежьей охоты, благодушно замечают: «Шибче полковника никому так не изругаться, так обложит — лучше требовать нельзя...», но и их благодушию есть предел. «Возил я нынче купца петербургского, трактирщика,— рассказывает крестьянин-ямщик,— уж очен-

но ругается... Так ругается — нет никакой возможности! Предъясняет, что в Петербурге он очень значительный. Я, говорит, при своем капитале кого хошь в острог посажу».— «А вы и верите?» — «Да как же не верить? Может, права такие имеет. Мы этого не знаем. С.-Петербург от нас далеко...» Вот почему в былые годы исполнение требований властного человека, даже и не вытекающих никоим образом из его должности или положения, считалось мирским делом, повинностью, несомою всеми за одного и одним за всех, во избежание разных неприятностей. Старый слепой дед, лежащий на печи, услышав стук старосты в окно, переговоры вполголоса и крикливое возражение девушки, призываемой для особой услуги к наехавшему чиновнику: «Да что это, в самом деле, точно других девок на селе нет?! Третьего дня к одному посылали, вчерась к другому требовали, а нынче, на́кось, и к третьему иди! Не пойду я!» — говорит ей наставительно: «Полно, полно, Матреша,— послужи миру-то...»

Рядом с этим готовность обращаться к полицейской власти по всякому случаю — часто живописуется в рассказах Горбунова. Русский человек любит видеть вмешательство полиции, призывает ее и относится к ней с сочувствием не как участник, но как зритель, играя, в составе толпы, иногда роль хора античных трагедий.— «Нет, вы про затмение докажите! Вы только народ в сумнение приводите»,— говорит кто-то из толпы астроному-добровольцу, собравшемуся смотреть в одном из замоскворецких переулков на солнечное затмение — и, не дожидаясь ответа, при общем сочувствии, кричит: «Городовой! городовой!» — «Вот он тебе покажет затмение!» — одобрительно говорят в толпе. «Да! наш городовой никого не помилует».— «Что это за народ собравши?» — «Да вот пьяный какой-то выскочил из трактира, наставил трубочку на солнышко, говорит—затмение будет...»— «Да где ж городовой-то?» — «Чай пить пошел».— «Надо бы в часть вести».— «Сведут, уж это беспременно».— «За такие дела не похвалят...» Самим говорящим неясно — в чем состоит дело, за которое *похвалить нельзя* и за что *не помилует городовой,* но ясно и непреложно одно: необходим городовой. Он разрешит натянутое положение и успокоит напряжение нервов. Недаром к нему даже обращаются с вопросами о том, «как понимать эту самую «фру-фру», обозначенную в театральной афише». Вот и

он! — уверенный в себе и солидарный с толпою во взглядах на свои задачи. Он сразу становится на высоту своего официального положения, и первое его слово, обращенное к жадно ждущей его толпе: «Осади назад!». Но толпа дорожит даровым зрелищем, где она и зритель и действующее лицо вместе, она лезет, напирает, спешит «излить мольбы, признанья, пени»., и ее страстный говор постоянно прерывается окриками: «Не наваливайте! — которые»... и «Осадите назад!» — «Сейчас выручит!» — радостно говорят среди окружающих. «Иван Павлыч, ты — наш телохранитель, выручи...» — обращаются к нему. И он выручает сам, вероятно, не зная — *кого* и из *чего*. Услышав выражение: «Вы тогда поймете, когда в диске будет»,— он говорит: «Почтенный, вы за это ответите!» — «За что?» — «А вот за это слово ваше нехорошее!» — «Сейчас затмится».— «Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок. Этого дела так оставить нельзя...» — «Как возможно!» — убежденно замечают в толпе...

IV

Судебная реформа внесла новые начала в нашу народную жизнь. Она пробудила в обществе силы, не находившие себе дотоле достаточного применения, она послужила нравственной школою народу и с такою систематическою настойчивостью стала вызывать в обществе стремление к истинному правосудию и уважение к человеческому достоинству, что составленное Горбуновым шуточное филологическое исследование о *розгословии, брадоиздрании, власоисхищении и прочем* стало казаться безвозвратно отошедшим в область прошлого. Знаменитый «комиссар» потерял, как говорит Горбунов в своих воспоминаниях, свой престиж. Он не имел уже прежнего значения в купеческих домах, ни на похоронах, ни на свадьбе. Уже его не подводил хозяин под руку к закуске, с упрашиванием выкушать на доброе здоровье, а предлагал ему просто, мимоходом: «Ермил Николаевич, ты бы водки выпил. Настойка там есть...» Мировой судья сделался, через месяц после своего появления на свет, популярным учреждением и попросту стал называться *мировым*. Место стихийности понемногу, уверенною в себе стопою, стала стараться заступать законность, а гласное разбирательство предоставило обширное поле для

наблюдений над жизнью, так сказать, захваченною врасплох и раскрываемою без искусственного освещения, умолчаний и прикрас. Рядом с этим суд присяжных, еще не обратившийся в предмет различных обвинительных литературных упражнений, сделал народ, в качестве представителей общественной совести, не пассивным участником и непраздным зрителем, а окончательным разрешителем судебной драмы. Заседания этого суда в первое время были полны захватывающего интереса и не столько с юридической точки зрения, сколько со стороны бытовой. Жизнь приливала к стенам суда шумными волнами, и эти волны выбрасывали на берег — в лице свидетелей, подсудимых, потерпевших, а иногда даже и участников суда, обвинителей, защитников и самих присяжных — таких разнородных и разновидных представителей всех слоев общества и всех условий бытовой обстановки, что романист, художник и исследователь народной жизни, не с меньшим правом, чем юрист, мог считать залу суда местом для плодотворных наблюдений и изучений. Ниже мы будем говорить об отношении Горбунова к новому суду, но здесь не можем не указать, что в его рассказах суду этому было отведено видное место. Горбунов умел уловить все его особенности, выхватить из него ряд живых и содержательных сцен, с чрезвычайною наблюдательностью изобразив те комические положения, которые создавались столкновением между теоретическими предписаниями закона, имеющего в виду отвлеченную личность, и живым лицом, приносившим в суд все особенности своих бытовых и правовых воззрений. «Не угодно ли вам дать ваше заключение в качестве эксперта о достоинстве шампанского, в продаже которого под известною и пользующеюся доверием чужою иностранною маркою обвиняется подсудимый?» — обращается председатель к «сведущему человеку», благообразному старому негоцианту, вызванному в суд как опытный знаток в винах. «Сведущий человек» истово берет бокал с только что откупоренным шампанским, прикладывается к нему губами, вытирает рот фуляровым платком, смотрит вино на свет и молчит. «Ваше заключение?» — «Чего-с?» — «Ваше заключение?» — «То есть — это о чем же?» — «Соответствует ли испробованное вами шампанское по своим качествам вину той марки, под названием которой оно пущено в продажу подсудимым?» — Негоциант снова пробует вино, вытирает рот

и молчит. «Какое же ваше заключение?» — «Мое-с?» — «Ну, да! Конечно ваше»,— нетерпеливо говорит председатель. «Сведущий человек» переступает с ноги на ногу, задумывается, потупляется и вдруг, подняв голову, решительно, тоном непоколебимого убеждения, говорит: «Покупатель выпьет!».

В рассказах Горбунова судебное заседание оживало со всеми своими действующими лицами,— с публикою и свидетелями. Жеманная барышня, картавящая, говорящая скороговоркою и прерывающая вопросы защитника восклицанием: «Ах! Что вы!»; — пришепетывающая и захлебывающаяся от волнения старушка; — говорливый приказчик; — испуганный свидетель «из простых», никак не умеющий выбраться из рокового круга слов: «значит», «то есть», «выходит» и т. п., и целый ряд прямо выхваченных из жизни лиц, очерченных кратко, но чрезвычайно метко,— населяли те придуманные Горбуновым заседания, вымышленность которых исчезала за их яркою житейскою правдоподобностью. Особенно удачен был его большой рассказ о суде по очень важному делу. Усердный посетитель судебных заседаний, убежденный и, как он сам выражался, «радостный» поклонник нового суда, Горбунов умел подметить и некоторые его, извинительные в большинстве случаев, слабые стороны. От него не ускользнули — кое-какой излишек торжественности в обстановке, непонятная простым зрителям условность иных судебных действий, приподнятый тон и высокий слог, которыми вооружались «для пущей важности» в первое время некоторые, весьма впрочем почтенные, председатели,— запутанность юридических определений преступных действий, вызванных привитием к корявому стволу устарелого уложения молодых черенков Судебных уставов, за которою подчас исчезали действительные житейские черты преступления,— и, наконец, излюбленные и далеко не всегда оправдываемые обстоятельствами дела ссылки на невменяемость... С тонким юмором указывая на это, Горбунов был, однако, далек во всех своих судебных рассказах от недоброжелательной насмешки над судом. Он понимал, что новые формы, внезапно возникшие среди старого бытового и общественного строя, могли естественно создавать, особливо в первое время, неловкие и неожиданные положения, ошибки и затруднения, способные вызвать улыбку и смех, но не злорадст-

во, ибо за ними чувствовалась чистота и высота наполнявшего их принципиального содержания.

Слушание процесса по очень важному делу откладывается довольно долго, за невозможностью разыскать главного свидетеля — цехового Прокофьева. Но вот он найден — и вместе с ним, надо полагать, найден ключ к разрешению всех могущих возникнуть по делу сомнений. Назначен день слушания. Публика с раннего утра наполняет здание суда, терпеливо ожидая интереснейших разоблачений. Председатель, чувствуя себя главным руководителем давно ожидаемого процесса, решается «стать на высоту положения» и с особою торжественностью открывает заседание. Молодой секретарь, быть может, впервые выступающий публично, читает обвинительный акт, смущаясь, торопясь, глотая слова и не соблюдая пауз. Слова следуют одно за другим без перерывов, с неумелыми передышками, сливаясь в однотонном и быстром чтении, из которого лишь по временам вырываются, нарушая его общее гипнотизирующее и усыпляющее влияние, «страшные слова» вроде: *оказалось, показал, не признавая, на основании, предусмотрено, предается* и т. п. Обвиняемых двое, молодые люди, мужчина и женщина. Председатель, многозначительно обращаясь к первому из них, говорит: «Подсудимый — студент технологических наук Сидоров, признаете ли вы себя виновным в том, что 30 февраля (sic!) сего года, на Лиговке, имели с обдуманным заранее намерением и умыслом продолжительный разговор о предметах, суду неизвестных?» — «Нет, не признаю!» — мрачно отвечает тот. Председатель, с еще бо́льшею многозначительностью: «Подсудимая, окончившая курс кулинарных предметов, Иванова, признаете ли себя виновною в том, что в то самое время, когда Сидоров имел упомянутый разговор, вы, тоже с умыслом, находились в Гороховой, с целью покупки себе шерстяных чулок?» Подсудимая, срываясь с места, стремительно отвечает: «Да! признаю, но я была *в состоянии аффекта*»... (иногда Горбунов делал вариант, и подсудимая у него отвечала, после некоторого размышления: «*В факте* — да!»). Председатель торжественно и вместе любезно: «Садитесь!» Начинается привод к присяге свидетелей, неподражаемо изображавшийся Горбуновым. Лицо, названное председателем — «святым отцом» и неожиданно для себя застигнутое обязанностью сделать свидетелям внушение, говорит довольно сбивчиво, с вне-

запными повышениями голоса и сильно напирая на *ó,* и кончает заявлением, что не *токмо* закон гражданский, но *даже* и небесный суд наказывают за ложное показание. Свидетели присягают каждый по-своему. Дворник размашистым жестом с силою ударяет в лоб, плечи и грудь; франт поношенного вида и неопределенных занятий со снисходительною улыбочкою небрежно болтает пальцами над подбородком; городовой бляха № 999 смотрит все время на председателя, даже и прикладываясь, и потому чуть не попадает мимо... Наступает пауза, свидетели мнутся с ноги на ногу, а затем председатель, обращаясь к судебному приставу, говорит взволнованным голосом: «Удалите свидетелей! — многозначительно прибавляя: — останется цеховой Прокофьев...» Прокофьев стоит посреди залы. На нем старый сюртук, застегнутый на одну уцелевшую пуговицу, и очень короткие брюки, с оттопыренными буфами на коленях. Признаков белья не имеется. Все обращаются в слух. «Господин Прокофьев, доложите суду в связном и последовательном рассказе все, что вам известно по настоящему делу... или, быть может, вы предпочтете *подвергнуть себя* перекрестному допросу?» Напряжение общего внимания достигает крайнего предела. Прокофьев обводит сидящих перед ним глазами, перебирает привычно-трясущимися руками борты засаленного и порыжелого сюртука и вдруг плаксивым голосом заявляет: «Ваше сиятельство... я человек пьяный...»

Интересуясь всеми выдающимися процессами, Горбунов по-своему отзывался на них, заключая иногда тонкую иронию в юмор выхваченного из жизни рассказа. Многим памятно наделавшее столько шуму дело Мироновича, обвинявшегося в задушении Сары Беккер. В кулачке несчастной девочки, при открытии этого темного злодеяния, найден зажатым клок волос, очевидно принадлежавший тому, с кем ей пришлось бороться за свою жизнь. Волосы были бережно вынуты, сложены на бумаге и положены на подоконник, но когда, по окончании протокола осмотра трупа и места совершения преступления,— причем в комнату входили и выходили из нее разные люди,— хватились волос — их уже не оказалось, а с ними исчезла весьма важная улика, которую надо было потом возмещать рядом более или менее остроумных предположений и смелых догадок. Как известно, дело разбиралось два раза, чрезвычайно занимая и даже волнуя общество,

разделившееся по вопросу о виновности Мироновича на лагери. В первый раз Миронович был обвинен, во второй — оправдан. Дело прошло, оставив неразъясненным вопрос о совершителе и о мотивах загадочного преступления — и лишь представив во всем неприглядном своем блеске образ *психопата*, самое название которого, впервые заявленное учеными экспертами во всеуслышание на суде, приобрело себе с тех пор право гражданства в нашем житейском обиходе. Вскоре после этого Горбунов стал рассказывать о приказчике, который, побывав с товарищем в Зоологическом саду и сделав «честь-честью» все, что *полагается,* т. е. поклонившись Михайлу Ивановичу (медведю), предоставив яблочко обезьянам, покормив слона булочкою и *подразнив* льва, отправился на Крестовский остров и дорогой вздумал выпить бутылочку «попутного». В погребке, после предложения посетителям прейскуранта, «по которому им пить невозможно», их соблазняют рассказом о том, что недавно «фундамент перекладывали» и в нем нашли замуравленными три бутылки, которым, поэтому, должно быть не менее 80 лет. Когда откупоривают одну из таких дорогих — потому что редкостных — бутылок, из нее вылетает муха. «Как же это ты, такой-сякой,— говорит Иван Федоров, товарищ рассказчика,— уверяешь, что вину 80 лет, когда в ем живая муха?!» — «Что же,— отвечает сиделец,— муха завсегда в спирту жить может».—«Ну, *натурально,*— продолжает рассказчик,— Иван Федоров его сейчас в ухо... Поднялся этот крик, пришел городовой, привели околоточного, бутылку взяли, составили акт, нас записали, *муху к делу припечатали...* Теперь не миновать под арест. Мировой засудит! Одна надежда: коли ежели эта муха пропадет — оправдают!!»

Понятно, что мировое судебное разбирательство, непосредственно касающееся явлений повседневной народной жизни, должно было давать Горбунову краски и мотивы для самых разнообразных рассказов. Нет возможности не только перечислить, но даже и припомнить все его повествования о происходящем в камерах мировых судей и у тех мелких ходатаев, которые преимущественно принимают на себя защиту у последних. Своеобразный взгляд на свое положение и обязанности, на отношение к правам других и к условиям житейского поведения у действующих лиц этих рассказов тесно связан со страхом ответственности и в особенности огласки. Безобраз-

ные размахи широкой натуры как-то странно переплетаются тут с этим страхом и уживаются вместе. При всей пестроте этой картины, в ней чувствуются верные действительности краски, не исчезнувшие под внешним лоском поверхностной и наносной культуры. В силу этих особенностей, например, два приказчика из Апраксина двора, не отрицая того, что они *бушевали* в трактире «Ягодка», разбили зеркало и вымазали горчицею лицо трактирному служителю, тем не менее решительно не признают себя ни в чем виновными потому, что «за все за это заплачено и мальчишке дадено, что следует, а ежели и смазали маленько — беды тут большой нет, вот ежели бы скипидаром смазали, опять же за это и деньги заплачены». По тем же основаниям и хозяин пекарни, где найдена масса всякой нечистоты и тараканов и где подмастерья спят вповалку на столах, на которых делают хлебы, отказывается понять, за *что* его хочет присудить к штрафу мировой судья, так как «где человек, там и тварь всякая водится, и не долж́он же он своим рабочим *диваны* покупать»; а когда судья ему не внемлет, то замечает сокрушенно: «Теперича я, значит, за кажинным тараканом с палкою ходить должон!?» Иногда дело не доходит до отрицания вины, но предъявляются резоны, в силу которых наказание по всей справедливости должно быть смягчено. Подсудимый, признавая себя виновным в том, что два раза смазал кого-то в драке, возникшей в «Орфеуме» вследствие замечания какого-то «не то господина, не то писаря» относительно «необразования» кутящей компании, на что один из нее — «как свиснет его: вот, говорит, какое наше образование!» — узнает от защитника, что придется сидеть в тюрьме недели три, и удивленно спрашивает: «Все равно как простой человек? С арестантами?» — прибавляя затем: «А ежели я купец, например, гильдию плачу?» — и услышав, что «вдобавок в газетах обозначат», справляется: «А ежели, например, пожертвовать на богадельню или куды?»

Таким обвиняемым нередко соответствуют и надлежащие защитники их невиновности. Горбунов, понимая необходимость защиты в уголовных делах, знал, что присяжная адвокатура сослужила русскому судебному делу большую службу, способствуя развитию правопонимания в обществе и во многих случаях бескорыстно содействуя суду в отыскании истины. Но он нашел для себя богатый материал в деятельности представителей низших

слоев адвокатуры, уцелевших отчасти из контингента дореформенных ходатаев, строивших свой успех часто на незнании закона теми, кто к ним обращался. На этом поприще состязания корысти и невежества им выведено несколько ярких фигур. «Прежде проще было,— жалуется попавший «к мировому» буян,— я у квартального раза три судился: дашь, бывало, письмоводителю и кончено; а теперича и дороже стало, и страму больше; — сейчас, вот, был тоже у одного адвоката — три синеньких отдал за разговор. Я, говорит, твое дело выслушаю, только ты мне, говорит, за это пятнадцать рублей и деньги сейчас. Ну, отдал, рассказал все как следует... Уповай, говорит, на бога! и ничего больше. Уповай, говорит, и шабаш!» Это — *до-судебная* помощь. Но и помощь *на суде* может оказаться не лучше.— «Господин мировой судья! — восклицает защитник сотворивших «смазь» горчицею,— чистосердечное раскаяние, принесенное в суде, на основании нового законоположения, ослабляет... закон разрешает по внутреннему убеждению...» — «Позвольте! — прерывает судья,— вы в каком виде?» — «Чего-с?» Судья повторяет вопрос, на который следует наивно-вопросительный ответ: «В каком-с?» — «Я вас штрафую тремя рублями. Извольте выйти вон».— «Скоро, справедливо и милостиво!»—заплетающимся языком и силясь гордо взглянуть посоловелыми глазами, восклицал Горбунов, делая вид, что захлопывает толстую книжку Судебных уставов... Не даром, поэтому, обыватель, подлежащий явке к мировому, не всегда благосклонно относится к вопросу о вознаграждении за будущую защиту.— «Ищу адвоката,— говорит купец, допустивший по отношению к бедной девушке-переводчице «безобразие бабушки» и собственное «малодушие»,— был у одного, да не пондравился: чем, говорю, прикажете вас вознаграждать? — встал, эдак, выпрямился: — мне кажется, говорит, что опосля изобретения денежных знаков ваш вопрос совершенно лишний...»

V

В области общественной службы, публичных развлечений и общественных торжеств творчество Горбунова и его способность подметить в юмористической форме выдающиеся внутренние моменты находили себе обильную пищу. Почти во всех этих его рассказах и сценах из-

за отдельного, яркого и жизненно-правдивого эпизода выступает проницательное и прочувствованное изображение *отношения* русского человека к различным сторонам и вопросам жизни,— того отношения, которое присуще именно русскому человеку, составляя оригинальное проявление свойств его природы и условий его культурного развития. В ряду таких сцен одно из первых мест занимало, в словесном изложении Горбунова, фантастическое заседание уездного земского собрания, в котором разрешается вопрос о назначении дополнительного содержания от земства становому приставу, приходящему по своей деятельности в частое соприкосновение с земскими делами и повинностями. На вопрос председателя собрания о том, принимает ли оно предложение о прибавке, встает ряд гласных, которые произносят речи и делают заявления. Ораторы обрисованы Горбуновым с неподражаемым и незабываемым мастерством. К сожалению, рассказ этот не напечатан и передать его в подробности не представляется возможным. Представитель крупных землевладельцев спрашивает небрежным тоном, как о вещи, ясной сама по себе: «Это по той же *прерогативе,* как было сделано в Казани?» — и получив успокоительный ответ: «Да, по той же»,— говорит кратко: «Я согласен!» Гласный из купцов переспрашивает, какая сумма, и, узнав, что 100 рублей в год, заявляет: «Что ж, коли ежели действительно им в том надобность, то можно без сумления, потому при нашем капитале это дело возможное». Третий гласный — священник, говорящий на о́ и витиевато, испросив разрешение, «слово отрыгнуть», начинает словами: «О чем речь? — О прибавке! — Кому? — Господину становому.— За что? — За труды! — Однако же уповательно...» — и неожиданно предъявляет требование об ассигновании и ему, и его сослуживцам такой же суммы, поясняя это тем, что без их участия многие существенные события в жизни обывателя обойтись не могут. «Да ведь это не относится к настоящему делу»,— останавливает его председатель.— «То есть, по-о-звольте, господин председатель,— возражает гласный,— как же это не относится, когда я имею семь душ детей женского пола, которые все требуют пищевого довольства!?» — «Все-таки не относится»,— упорствует председатель.— «Прошу занести в протокол»,— обиженно говорит гласный, над горьким и зависимым материальным положением которого невольно заставляет призадуматься Горбу-

нов, умевший в его комическое по форме заявление вложить нотку, идущую из настрадавшегося сердца. «Господин председатель,— встает, играя золотым pince-nez[1], редкий и случайный гость собрания, приезжий гласный, изысканно одетый и брезгливо осматривающийся кругом, молодой господин из Петербурга,— позвольте э-э-э... мне э-э-э»...— и начинается бессвязная, тягучая, наполненная нечленораздельными звуками и легким мычанием речь, с неожиданными модуляциями голоса, то повышаемого, то доходящего до многозначительного шепота, в которой, повторяя с недоумевающим и как бы обиженным видом слово «становой», петербургский франт силится выжать из себя какой-то вопрос или упрек собранию. «Да что вы заладили одно и то же! — нервно восклицает один из гласных, ожесточенный «канителью» оратора и сверканием его крутящегося около пальца pince-nez,— вы скажите — ассигновать или отказать?!» — «Господин председатель,— презрительно оглядываясь, говорит оратор,— я просил бы — э-э-э — пригласить... э-э-э... господ... э-э-э — не перебивать течение моих мыслей... Я продолжаю. Я говорю...» — и наконец после долгих потуг и повторений одного и того же названия должности, он разрешается заявлением, что 100 рублей — столь малая сумма, что едва ли становой захочет ее взять... Но едва произнесено им предположение, как гласный от крестьян, преодолев навеянную речами дремоту и внезапно оживившись, восклицает с твердою и почти радостною уверенностью и одушевлением: «Он возьмет! Он *все* возьмет!..»

Верхом совершенства в смысле тонкой наблюдательности и яркости изображения является рассказ Горбунова о заседании «общего собрания общества прикосновения к чужой собственности», в котором юмористическая форма прикрывает содержание, выхваченное из действительной жизни. Тот, кому по личному горькому опыту или по хроникам уголовного суда знакомы недостатки нашего недавнего акционерного законодательства, частые злоупотребления голосами подставных акционеров и тщетная борьба действительных владельцев акций с произвольными действиями правлений, поддерживаемых искусственно созданным большинством, найдет, что Горбунов в своем вымысле вовсе не далек от проявлений действительности, одно время столь частых, что они

[1] Пенсне *(фр.)*.

чуть не обратились в общее правило с редкими из него исключениями. Открывая заседание, председатель «имеет честь предложить обсуждению милостивых государей» *первый* и главный вопрос об увеличении содержания трем директорам, *второй* — о сложении с кассира невольных прочетов, *третий* — о предании забвению, ввиду стесненного семейного положения, неблаговидного поступка одного члена правления, *четвертый* — о назначении пенсии супруге лишенного всех особых прав состояния кассира и *пятый* — о расширении прав правления по личным позаимствованиям из кассы. Совершенно неожиданно раздается чье-то: «Ого!». Но председатель твердо сидит в своем седле, поддерживаемый безгласным и безличным большинством. «Что значит это «ого»? — прошу взять назад это «ого»! Я не могу допустить никакого «ого!»,— восклицает он. Выступает более красноречивый оратор. «Прошу слова,— говорит он.— Как ежели директор, хранитель нашего портфеля, обязанный, например, содействовать... и все прочее... а мы, значит, с полным уважением... и ежели теперича директор, можно сказать, лицо... Я к тому говорю: по нашим коммерческим оборотам, когда, например, затрещал скопинский банк...» — «Вы задерживаете прения и ставите их на отвлеченную почву,— прерывает председатель,— нельзя ли вам просто выразиться, так сказать реально: да или нет...»— «Когда, например, разнесли скопинский банк, ограбили вдов и сирот... может, и теперь сиротские-то слезы не обсохли...» — «Все это верно, но эти слезы — область поэзии. Правлению нет никакого дела до сиротских слез. Позвольте вам повторить мое предложение стать на реальную почву».— «Мы не знаем этой вашей почвы, а грабить не приказано».— «Стало быть, мы грабили?» — обиженно спрашивает председатель и обращается, от лица правления, с протестом к общему собранию, которое ревет: «Вон! Вон его!». Является, однако, миротворец и, обращаясь к «милостивым государям», вкрадчиво говорит: «Я позволил бы себе так понять это столкновение: почтеннейший член не совсем уяснил себе предложение председателя, не понял, так сказать...» — «Как не понять! Я говорил насчет грабежу...» Начинается шум, баллотируется выражение порицания оратору, слышатся воззвания к ревизионной комиссии... «В Милютиных лавках устрицы ест ваша ревизионная комиссия»,— кричит кто-то в толпе. Пошумев в интересах правления, общее собрание переходит, по требова-

нию одного из присутствующих, к ознакомлению с *неблаговидным поступком* одного из членов правления. «С юридической точки зрения,— объясняет председатель,— поступок этот... наша юстиция очень резко разграничивает деяния, совершенные...» — «Стащил, вот тебе и *естюция...»* — слышится голос,— «совершенные по злой воле... Принимая во внимание семейное положение...» — «Ну, стащил! это верно!» — «В терминологии нашей юстиции нет слова: стащил...» — «Ну, можно нежнее сказать — украл...» Заседание кончается баллотировкою вопроса об увеличении содержания директорам. «Отдай им сундук с деньгами, а они туда тебе, заместо их, бронзовых векселей наворотят... Чудесно!..» — восклицает прежний протестант.— «Бронзовые векселя, как вы изволили выразиться,— перебивает председатель,— нисколько не отягощают кассу... Позвольте мне докончить!.. Позвольте вас остановить!.. Вопрос исчерпан, ставлю его на баллотировку!».

Не раз изображал Горбунов и общественные обеденные собрания по разным поводам. Проявления развившейся у нас за последние годы мании к юбилейным обедам нашли себе в нем остроумного изобразителя, со всеми своими комическими сторонами,— с юбиляром, узнающим впервые с изумлением из обращенных к нему речей о своих необыкновенных заслугах пред ведомством, государством и даже человечеством и не знающим хорошенько, тонко ли смеются над ним или грубо ему льстят,— с вынужденным его ответом, причем «виновник торжества» обыкновенно «не находит слов...» и признает этот, далеко не безопасный для его желудка, день «лучшим в своей жизни»,— и с тем, наконец, психологическим моментом, когда шипучее вино развязывает язык и туманит голову, когда все начинают говорить вместе, забывая иногда цель собрания и выбалтывая истинные чувства, скрытые дотоле под юбилейною условностью речи,— одним словом, когда становится возможным конец одного из таких «юбилейных» рассказов Горбунова, в котором одновременно, с одного конца стола, из-под облака нависшего над ним сизого табачного дыма, слышится нестройное «ура!», а с другого несется сиплое: «бей его!..»

Между торжественными обедами и чествованиями, описываемыми Горбуновым, видное место по мастерству рассказа занимал обед, будто бы даваемый в Москве «нашим заатлантическим друзьям». Во время дипломатиче-

ских осложнений 1863 года, когда западная Европа стала грозить России вмешательством в «старый спор славян между собою», рассчитывая повлиять на нее совокупным воздействием великих и даже малых держав, несколько судов русского флота, под командою адмирала С. С. Лесовского, зашли в Нью-Йорк и другие главные порты С.-А. С. Штатов и были там, в память сочувственного отношения русского правительства к северянам в их тяжелой и священной борьбе за уничтожение невольничества, восторженно приняты. Через некоторое время, в 1866 году, пред Кронштадтом появился броненосец нового тогда типа, носивший индейское название «Миантономо», под командою капитана Фокса, пришедший «отдавать визит». Американцы сделались сразу популярными, и чествование их подчас принимало гомерические размеры. Из Петербурга они уехали в Москву, и там им пришлось узнать, что, кроме обыкновенных, знакомых им морей, в «сердце России» существует еще особенное «разливанное море», при плавании по которому настоящее море, несмотря на свое грозное величие, начинает становиться «лишь по колена» Об одном из пиршеств на берегу такого моря и рассказывал Горбунов. Съезжающиеся гости, осведомляясь, кто будет говорить речи, не могут дождаться начала обеда и смягчают томительность ожидания предварительной пробою вин. «А не попробовать ли хересу?» — спрашивают одни.— «Что ж, попробуйте,— отвечают другие,— вы пробуйте, а мы под вас подражать будем...» В средине обеда начинаются речи «заатлантических друзей». В этих речах Горбунов превосходил самого себя. Он не знал по-английски — а между тем речи, и довольно длинные, говорились им именно на этом языке. В них, кроме обращения к слушателям, не было почти ни одного *слова* английского — но были все английские *звуки* — и притом связанные между собою и переданные сообразно темпераменту говорящих.— «Ladies and gentlemen!» [1] — начинал свою речь капитан Фокс и говорил серьезным тоном, со сдержанною энергиею, с паузами, вводными предложениями и с поднятием голоса в конце, при предложении тоста.— «Ladies and gentlemen!» — срывался с своего места молодой лейтенант американского флота,— и его быстрая, живая, веселая речь лилась неудержимо, пересыпанная вопросами себе, ответами на них, радостными восклицаниями и оканчи-

[1] «Леди и джентельмены!» *(англ.)*

ваемая бурным финалом, который *должен* был вызывать рукоплескания собравшихся на пир, причем большинство из них не понимало, конечно, что́ именно говорит этот гость с типичною американскою бородкою, но чувствовало, что говорит он от полноты души и что сам он — «милый человек...» А между тем предварительная проба, в связи с тем, что полагалось по обеденному питейному обиходу, производила свое действие и вызывала прилив особой любви к новым друзьям, которые так задушевно заявляют что-то, должно быть, очень хорошее. В таком настроении все кажется возможным и достижимым, все реальные очертания действительности сливаются и смешиваются, а затем и самая действительность в виде ясного сознания места и времени исчезает. Поэтому в ответ гостям слышится восторженное воззвание: «Господа американе! — как теперича мы друзья,— коли будет высочайшее повеление — при нашем капитале — мост через Атлантический океан — в три дня! — в лучшем виде! Господа американе — ура!». Поэтому, после еще нескольких тостов, встает, несмотря на оживленное противодействие соседей, силящихся удержать его за фалды сюртука, один из участников обеда и с опасностью потерять равновесие, протягивая бокал Фоксу, вскрикивает: «Выпьем п-п-патриотический т-т-тост от русского сердца...» — и на ответное движение гостя неожиданно заявляет: «За здоровье... за здоровье преосвященного! ура!..»

В сценах, имеющих предметом народные развлечения, особое, непосредственное отношение к ним простого народа и отдельных, близких ему по кругозору, личностей у Горбунова изображается выпукло и чрезвычайно колоритно. Стоит припомнить его «Блондена» или «Травиату». Действующим лицам этих сцен, «хоть что хошь представляй»,— и за местами они не гонятся, избирая «которые попроще» и «выше чего быть невозможно», но пусть только будет именно то, что «в афише обозначено, на чести, без подвоху...» Поэтому и Сара Бернар аттестуется так: «Насчет телесного сложения, говорят, не совсем, а что игра — на совесть!». Содержание представляемого зрители уже сами себе уяснят по-своему и даже, где нужно, дополнят. Вследствие этого им *кажется,* что они слышат, как немец «как есть настоящий, и человек, надо полагать, степенный», которого должен нести на спине по канату знаменитый акробат, говорит ему: «Батюшка, господин Блонден,— пусти душу на покаяние!» — на что тот

отвечает: «Нет, Карла Иваныч, сиди, а то уроню,— нам публику обманывать не приказано: вишь квартальный стоит!». Поэтому, видя, что «тальянские эти самые актеры действуют, сидят, примерно, за столом и закусывают», такие зрители *слышат,* как те поют, что им «жить оченно превосходно, так что лучше требовать нельзя». И все дальнейшие разговоры переводятся ими на язык и понятия своей среды, причем, благодаря удивительной русской способности понимания сущности дела или предмета по мимолетным и разрозненным его признакам, остов содержания происходящего пред ними, хотя бы и на чуждом языке, схватывается ими верно. Оказывается, что госпожа Патти подносит господину Канцелярии (Кальцолари) стаканчик красненького, со словами: «Выкушайте, милостивый государь», и, услышав от него признание в любви, говорит ему: «Извольте идти куда вам требуется, а я сяду и подумаю об своей жизни, потому наше дело женское, без оглядки нам невозможно»; оказывается, затем, что, выйдя с отцом героя, пришедшим, «имени, отчества ее не зная», просить «турнуть запутавшегося парнишку»,— в сад, ибо «на вольном воздухе разговаривать гораздо превосходнее», она обещает исполнить его желание, заявляя, что сама «баловства терпеть не может...». Отсюда становится понятным, почему один из зрителей, на вопрос другого: «К чему клонит?», уверенно отвечает: «Парнишка пришел прощенья в своем невежестве просить: я ни в чем не причинен, все дело тятенька напутал», причем, вместе с тем, становится несомненным, что Патти «между прочим, помереть должна», вследствие чего она «попела еще с полчасика да богу душу и отдала...». Пытливый взор слушателей и без понимания ими чуждого языка умеет наслаждаться сценическим движением и по-своему объяснить себе его внутренний смысл. «А какая у них игра,— предлагается вопрос о Саре Бернар,— куплеты поют или что?» — «Игра разговорная. Очень, говорят, чувствительно делает. Такие поступки производит — на удивление!.. Ты то возьми: раз по двенадцати в представление переодевается...»

VI

«Руси есть веселие пити»,— сказано было на заре исторического существования русского народа. Среди многих неприглядных сторон жизни простого русского

человека, в его тяжелой, не всегда умелой и часто неблагодарной борьбе с суровою природою, при отсутствии систематической заботы о его просвещении и о доставлении ему здоровых развлечений, при развращающем влиянии фабрики и окружающих ее соблазнов,— «зелено-вино» сделалось для него не только главным развлечением, но и утешением, потому что доставляет забвение. И так как, чем дольше не чувствуется серая и гнетущая действительность, тем легче становится на душе, то русский человек привык набрасываться на это забвение без чувства меры, мирясь с его неизбежными результатами... Не вкусовых ощущений, даже не скоро преходящего веселого настроения (да и всегда ли веселого?) привык искать он в вине, а того особого приподнятого отношения к окружающему, благодаря которому мимолетное ощущение принимает вид чего-то реального и прочного, а горе-злосчастие отходит на отдаленный, едва видный план... «А добрый сон пришел — и узник стал царем...» — говорится в «Русских женщинах» Некрасова. «А добрый хмель пришел» — можно бы сказать, пародируя эти слова и прибавив к ним краткую характеристику искусственно-счастливого самоощущения пьяного. По верному, подтверждаемому научными исследованиями, замечанию Ровинского, в сущности, русский человек пьет менее иностранного, да только пьет он редко и на тощий желудок, потому и пьянеет скорее, и напивается гораздо чаще против иностранного. Много духовной силы надо, чтобы устоять пред могущественным хмелем, говорит он. Потому-то и поет народная песня: «Пей, забудешь горе», и старинная лубочная картина, изображающая хмель, имеет подпись: «Аз есмь хмель высокая голова, боле всех плодов земных,— силен и богат, а добра у себя никакого не имею; ноги мои тонки, а утроба прожорлива,— руки же обдержат всю землю». Вероятно, вследствие этого свойства нашего родного опьянения — в большинстве случаев, за исключением крайнего безобразия, русский человек относится к пьяному не с брезгливым и тревожным отвращением, как это делается на Западе, а с участием, часто с сочувствием и иногда даже с некоторого рода завистью. Недаром Некрасов, хорошо знавший наши бытовые особенности, в предсмертные свои годы, когда становилось очевидным, что поэма его «Кому на Руси жить хорошо» не будет окончена, на недоумевающие вопросы: «Кому же живется весело, вольготно на Руси?» — отве-

чал своим глухим, разбитым голосом: «Пьяному!» *. Нельзя, однако, обобщать причину пьянства безусловно и приходится признать, что, поднимаясь от низших слоев населения вверх, в круг большого развития и образования, пьянство постепенно, за исключением случаев проявления болезни, переходит из области слабости и несчастия в область чувственных излишеств и порока.

Горбунов,— искренний изобразитель родной жизни,— не мог не отвести пьяному видного места в своих рассказах, между которыми, однако, нет ни одного, где пьяный был бы центральною фигурой, дающей содержание и окраску всему рассказу... Горбунов слишком любил русского человека, чтобы глумиться над этою его слабостью и указывать как на общее явление на те почти патологические случаи, когда она одна наполняет все его бытие. Но он не закрывал глаза на действительность — и потому *пьяный* проходит во множестве его рассказов, то оставляя целостное впечатление, то лишь мелькая, как неизбежная житейская принадлежность общего фона картины. «Один полетит — или с человеком?» — спрашивают из толпы, в чудесном рассказе его «Воздушный шар».— «Нет! с человеком... Немец полетит — и с им портной...» — «Пьяный?!» — «Нет, тверёзый» и т. д. Кто слышал этот рассказ в превосходном исполнении Горбунова, конечно, помнит, что слово «пьяный (пьянай!?)» он произносил с оттенком особого восхищения в голосе спрашивающего. Торжество «хмеля — высокой головы» в русской деревне видится в ярких сценах разных мест большого рассказа «Из деревни».— «Подобно мы, теперича,— говорит мужик,— как бы, например, пчелы к колодке, так и мы к кабаку: — оне со сластью, а мы за сластью»... Сласть эта покупается не в одном кабаке, но и в трактирах, харчевнях, откуда несутся несвязные речи и слышатся крики, где спорят и поют, целуются и дерутся... «Не я пью — горе мое пьет... Горе мое горецкое!» — декламирует с пафосом хохлатый, с расстегнутым воротом, босой мужик, стоя на пороге белой харчевни.— «Какое твое горе?» — «Горе? Хуже быть невозможно: погорел! По той причине, *были все выпимши*... Вишь ты! Но только, между прочим...»

Вот она! — та горящая деревня, такими грустными и резкими чертами описанная Чеховым в его «Мужиках». Но Горбунов знает, что хмельной человек далеко не *весь*

русский человек и что за его подчас зверовидной от опьянения оболочкой есть стороны трогательные, глубокие. «Я к тому, главная причина,— понимать моей души никто не может, какая есть она у меня душа. Вот что!» — бормочет пьяный мужик.— «В кабаке вся ваша душа-то мужицкая!» — резко замечает толстая лавочница.— «Напрасно! Матушка, Прасковья Петровна! Ты, голубушка, за нашей душой в кабак не ходи, вот я тебе что скажу! В кабаке мы только блажим, а душа наша у нас в грудях заросла... не доберешься ты даже...» Но кабак завладел им сильно... Дай бог, чтобы общественным начинаниям, вызванным к жизни казенною винною продажею, удалось хоть отчасти изгладить последствия векового влияния кабака и дать народу другие развлечения и ответы на запросы его «заросшей» души! «Хозяин твой теперича,— утешает фабричный Слёзкин плачущую бабу, указывая на кабак,— так будем говорить... окромя эвтого места ему негде быть...», и когда муж ее при этих словах выходит из кабака, прибавляет: «Вишь ты! Уж это значит так точно!»

Рядами проходят у Горбунова пьяные люди разного звания: крестьяне и мещане, купцы, певчие, причетники, актеры и всякие «запойные люди». Всеми ими признается, что быть пьяным не только не зазорно, но и вполне в порядке вещей; всем им хмель отшибает сознание... «Были мы у кума на именинах в Прокшине,— рассказывает Дёмка в «Утопленнике»,— ну, *известно* — напились. И так я этого хмелю в голову засыпал — себя не помню. Кума прибил, тетке Степаниде шаль изорвал. Просто — сейчас умереть — лютей волка сделался. И с чего бы, кажись; — окромя настойки ничего не пили. Кум-то: что ж ты, говорит, мою хлеб-соль ешь, а сам... да как хлясь меня в ухо, хлясь в другое! И так мне пьяному-то это обидно показалось!..» Выскочив в окно и побежав во тьме и под дождем «ровно очумелый, не зная куда», Дёмка попадает в реку: от неожиданной холодной ванны хмель проходит, и утопающий кричит так, что «давай теперича тысячу рублев — так не крикнешь: два года опосля глотка болела». Его вытаскивают и приводят к куму, где он опять «этой настойки выпил три стаканчика — согрелся»... «К концу-то ужина я уже дьякона не вижу, а только вижу руку наливающую,— повествует «на ярмарке» купец,— да и думаю: рука его здесь, а сам-то где отец дьякон? Как домой попал, не помню...»

Поэтому привычное пьянство если и не составляет добродетели, то во всяком случае является обстоятельством, извиняющим многое, кладущим предел известным требованиям и создающим своеобразное положение в обществе. Как у Островского молодой человек, на вопрос о своем звании, отвечает спокойно и не смущаясь: «Я, сударыня, *празднолюбец»,*— так и у Горбунова сосредоточивший на себе внимание публики и судебной власти свидетель говорит многозначительно: «Я человек пьяный!», характеризуя этим не свое состояние в данный момент, а свое, так сказать, личное общественное положение, властно освобождающее от всяких расспросов, не достигающих цели. Такое положение и такое состояние служат в его глазах, да и в глазах окружающих, достаточным объяснением его слов и поступков. Во мнении большинства состояние опьянения не есть ненормальное и постыдное явление, идущее вразрез с обычным строем жизни человека, напротив, оно есть как бы законное и естественное проявление этой жизни. Когда наступают неизбежные последствия хронических состояний опьянения и кто-нибудь из пьяного человека обращается уже в «человека пьяного», о нем говорят с известною нежностью, что он «ослабел», и его слабость, особливо если он «смирен во хмелю», считается вполне понятным укладом жизни, почти столь же естественным, как и разные другие. Под влиянием такого благодушного отношения окружающих развивается у самого «пьяного человека» и по отношению к нему особая, своеобразная логика. Горбунов рисует сцены и разговоры в Белом зале московского трактира Барсова, великим постом, между антрепренерами провинциальных театров и ищущими ангажемента актерами. «Первый любовник», садясь к столику, требует у полового дать ему *по обыкновению* графинчик доброго, русского, белого, простого... *очищенного вина* и пирог в гривенник; за другим столиком антрепренер, выслушав укоризненное указание «трагика» на то, что в содержимом им театре актер, игравший Гамлета, в знаменитой сцене с матерью, вышел с папироскою в зубах, отвечает коротко и вразумительно: «Ну, что ж — *пьяный был!»*... Невольно вспоминается при этом слышанный мною от покойного А. Д. Градовского рассказ о господине, который в жаркий летний день, войдя на речной пароход, придерживаясь за поручни, стал сильно терять равновесие и, устремив мутный взор на свободное

место на корме, стремительно двинулся к нему, толкая встречных, наступая на ноги сидящим и опираясь на них руками. Когда публика стала роптать, он, усевшись, наконец, на намеченном месте, снял фуражку с красным околышем, вытер лысину, улыбнулся доброю и виноватою улыбкою и сказал: «Извините... я, когда надо ехать на пароходе... всегда... немножко... *потому — не стоит!»* Ввиду всего этого понятно изумление окружающих при виде певчего-октавы, не пьющего водки при закуске в купеческом доме. «Это даже удивительно,— говорят ему,— такой видный человек и не пьет».— «Прежде был подвержен,— отвечает октава,— в больнице раз со второго этажа в окошко выскочил: доктор не приказал...»

Особенно резким образом проявляется привычное служение хмелю на почве самодурства, развитого сознанием своей денежной силы. Много раз, преимущественно в сложных бытовых сценах, происходящих «На ярмарке» или же в разных перипетиях «Женитьбы», Горбунов обращался к купеческому самодурству, принимающему, подобно хамелеону, то покрытые легким лоском образованности, более утонченные, но грубые в существе и даже жестокие формы,— то к откровенному и поразительному в своем непризнании никаких условий места и времени. Таков, например, у него образ купеческого сынка Дмитрия Даниловича, посланного отцом в чужие края по машинной части, в сопровождении переводчика, и настряпавшего таких бед, натворившего таких чудес, что даже в газетах распечатали... «Приехали они, матушка ты моя, в какой-то город немецкий, а там для короля ихнего, али прынец он, что ли какой — феверики приготовили. У Дмитрия-то Даниловича в голове должно быть *было:* «Зажигай,— говорит,— скорей!» А там и говорят: «Погодите, почтенный, пока прынец приедет».— «Я,— говорит,— московский купец, за все плачу» — «Те, голубушка, загляделись, а он цыгарку туда, в феверку-то и сунул,— так и все и занялось! *Сам*-то уж просьбу подал, чтобы по этапу его оттуда сюда предоставили...»

Выводимые Горбуновым типы и разновидности пьяных людей так же разнообразны, как и изображаемые им явления и сцены русской жизни. Перечислить их нет возможности. Длинною и пестрою вереницею проходили они перед слушателем и будут проходить перед читателем, начиная с купеческого племянника, привозящего к почти незнакомым людям на рыбную ловлю «троичку ле-

дерцу», прося окунуть бутылки «на полчасика в родничок: — живо озябнут!..» и кончая трагическою фигурою спившегося с кругу старого московского студента, восклицающего: «Чем я занимаюсь? — Пью! да, пью! Утром пью, и днем пью, и ночью пью!» — и, отдавшись затем воспоминаниям о славном прошлом своего университета и московской сцены, о Грановском, Крылове, Садовском, горько плачущего от сознания, что «промотал свои идеалы!».

В изображении пьяных Горбунов был неподражаем. Не говоря уже об удивительном разнообразии в игре лица, интонациях голоса и в особенности в выражении глаз, свойственных различному темпераменту и степени опьянения того или другого лица, он умел почти неуловимыми чертами нарисовать пред слушателями картину постепенного перехода в настроении пьянеющего от условной сдержанности к разговорчивости и полной откровенности, с потерею, подчас, сознания окружающей действительности. В этом отношении особенно выделяется его рассказ, в котором переплетались Wahrheit und Dichtung [1], рассказ о том, как, охотясь с Некрасовым и очень озябши, они заходят отогреться в село к священнику, живущему в домике-особняке, и угощают его чаем с обильно подливаемым ромом, причем хозяин, очень сдержанный в разговоре сначала, постепенно хмелеет и начинает развертывать перед гостями повесть своих отношений к благочинному и к предпоставленным лицам и учреждениям. По мере развития рассказа окружающая действительность уходит из его сознания, и он, вместо двух охотников, видит перед собою кого-то, кому можно поведать *все:* и то, как на требование «даров» с указанием на то, что у него хорошие куры, он отвечал многозначительно: «В какое время — и какие куры!», и на то, как жена его «смотрит эдак косвенно...» Но вот хмель уступает, сквозь облако самозабвения проглядывают лица чуждых гостей — и старик, еще заплетающимся языком, говорит: «Только по-ожалуйста это м-между нами!»

Не одна водка сокрушает слабого человека. Не менее сильно выбивают его из седла вина «собственного розлива», кашинская мадера и шипучее, так называемая «купеческая погибель», особливо когда оно фигурирует под названием красных, золотых и др. головок и значится в нарочито заманчивых прейскурантах под фантасти-

[1] Правда и вымысел *(нем.)*.

ческими этикетками вроде поражающего приятелей, прикосновенных к «делу о мухе», шампанского «свадебное — пли!», с примечанием: «пробка с пружиною,— просят опасаться взрыва». Пьющие эти вина сами сознают их вредные, одурманивающие свойства, но пьют по привычке и «для восторга-с!..» Рассказывая о книжке, где обозначено, какого звания Сара Бернар, по каким землям ездила и какое вино кушает, один из собеседников замечает: «Нашего, должно быть, не употребляют, потому от нашего одна меланхолия, а игры настоящей быть не может»... «Этот херес помягче будет,— говорит чиновник приказчику,— а третьего дня, верите ли, всю внутренность сожгло».— «Мудреного нет,— отвечает ласково приказчик: — не та бутылка попалась, спирту, должно быть, перепущено».— «Уж я не знаю там что, только поутру руки трясутся, а тут привели двоих арестантов...» — «Ну, так, теперече верно. Это — который херес для подрядчика следует, вам отпустили. Херес он дивный, только к нему надо приспособиться».— «Да, этот много мягче... сравнения нет».

VII

Таковы, в существенных чертах, картины быта излюбленной Горбуновым среды. Нельзя сказать, чтобы они были особенно утешительны. Возбуждая в отдельных случаях смех, от которого трудно удержаться, они в общем, в связи одна с другою, вызывают вовсе не веселое настроение. За яркими вспышками юмора рассказчика слышится и чувствуется печальное раздумье,— и переход от смеха к грусти совершается в душе читателя или слушателя невольно и сам собою. «Как это смешно! — восклицает он в первые минуты.— Как это верно, как глубоко захвачено!» — говорит он себе затем... «Но что же это, однако, такое? Зачем же *это* так?» — спрашивает он себя нередко, вдумавшись в смысл рассказа, когда на фоне изображенной талантливым художником картины начинают вырисовываться те свойства нашей жизни, которые характеризуются знаменитыми «авось!», «ничего!», «сойдет!», «наплевать!» и укладываются в употребленный князем В. Ф. Одоевским термин: «рукавоспустие», когда из глубины картины выступает наше обычное безволие, отсутствие характера и взаимно чередующиеся хвастливое самомнение и смирение, грани-

чащее с приниженностью, когда под шуточками над окружающими и над самими собою сквозят поверхностное отношение к жизни, не принимаемой «всерьез», и отсутствие не только вчерашнего, но даже и завтрашнего дня.

Было бы, однако, несправедливо указывать только на эту сторону рассказов Горбунова. И в грустном выводе из совокупности рисуемых им сцен есть элемент, в некоторой степени примиряющий со многим в них. Это — доброта, несомненная, трогательная доброта и незлобивость русского человека. Она составляет, в разных своих проявлениях, *положительную* сторону этих рассказов. Широко разлиты в них черты, указывающие на гостеприимство, безрасчетливое и радушное, одинаково присущее всем описываемым Горбуновым слоям. Накормить и отогреть чужого человека в нужде, не критикуя его и не резонируя над причинами этой нужды,— не только удовольствие, но и непререкаемый долг для русского человека; если достаток позволяет, то это удовольствие усиливается еще и возможностью «поднести». Рядом с этим свойством, ставящим человеческие и сочувственные отношения между людьми выше материальных соображений, идет любовь к детям и заботливость о сиротах. Везде, где у Горбунова является среди взрослых ребенок, отношение к нему всегда шутливо-нежное, причем в грубые формы облекаются ласка и подчас трогательная заботливость. Некоторые Горбуновские сцены, в которых участвуют дети, могут, по сжатости и теплоте, стать наряду с чудесным разговором Митрича во «Власти тьмы» с Анюткою о «детосеке». Доброе отношение к «ребяткам» до такой степени представляется русскому человеку естественным, что он приписывает его даже и тому, кого вообще он осуждает. «В старину в нашей стороне,— говорит Потап в «Утопленнике»,— тоже разбойник жил. И грабил как... страсть! Проезду не было. Дедушка-покойник сказывал,— он еще махонький в те поры был: «Бывало,— говорит,— соберет маленьких ребятишек к себе, в лес — и ничего, не трогает; не то, чтобы, к примеру, бил или что, ничего... Ходи, говорит, ребята, завсегда». Весь дальнейший разговор Потапа с мальчиком Микиткою, а также длинная беседа Дементия с малолетними Степкою и Серегою на «постоялом дворе» преисполнены душевной теплоты, несмотря на то, что на последних так и сыплются названия «чертенка», «дурашки» и «паршивого...». «И где такой вор парень родился,— говорит с нежностью

Потап, тщательно укрывая засыпающего мальчика армяком,— в каком полку он служить будет, на какой народ воевать пойдет?» — «Сироты теперича много,— говорит старик-купец в холерный год,— столько теперича этой сироты — и куда пойдет она, кто ее вспоит-вскормит, оденет-обует... и должно, значит, чувствовать сиротское дело; — сам куска не ешь,— сироте отдай, потому она, сирота, ни в чем не повинная...» И на почве этих рассуждений вырастает решимость набрать в дом сирот и создается затем целое убежище с училищем для них...

Любит русский человек природу и с чуткою наблюдательностью относится к ней. В ряде рассказов Горбунова упоминается об этой любви, о тихом восторге перед «божьим творением». Река и в особенности лес и «пустыня», воспетые еще в «Асафе Царевиче», манят к себе «разного звания» людей, населяя, лишь только ночь раскинет над ними свое покрывало, их фантазию таинственными образами. «В лесу чтобы мне ночью,— говорит Калина Митрич в превосходном очерке «Безответный»,— первое это мое удовольствие! Выйду я в лес, когда почка развернется, да и стою. Тихо! Дух такой здоровый!.. Мать ты моя родная, как я лес люблю!..» Наряду с любовным отношением к природе идет, конечно, не без наивно-жестоких исключений, любовь к животным. Верный правде в своих рассказах Горбунов иногда вставлял в свои картины жизни московского захолустья следующий эпизод. Знойный полдень. Все спит во дворе замоскворецкого дома,— куры, лошади, собаки, люди,— даже подсолнечники в палисаднике — и те как будто спят. Дремлющий у ворот и широко зевающий дворник спрашивает проходящих: «Вы маляры будете?» — и получив утвердительный ответ, говорит: «А можете вы нашему кобелю... под брюхом скипидаром смазать?» — «А *где он?»* — отвечают ему, «нижтоже сумняся», маляры. Дворник зовет злополучную собаку, сладко спавшую на самом припеке. «Держите!» — говорят маляры.— «Что-о! Завертелся! — восклицает восхищенный дворник,— не любишь!?! Очень *вами* благодарны! Прощайте...», и снова все погружается в дремоту... Но это — исключение, а вообще доброе отношение к «животине» преобладает. Особенно ярко проявляется любовь и даже восторженное отношение — к птице. «Это такой соловей,— отвечает на предложение продать соловья «горький человек», проторговавшийся и несколько лет томившийся в «яме»

(т. е. долговом отделении) купец Дятлев,— что, кажется, умереть мне легче, чем его лишиться. Вчера он, батюшка, как пошел это вечером орудовать, думаю — не в царстве ли я небесном? Вот это какой соловей! Птицу, сударь, ее любить надо, надо понимать ее. Скворец у меня говорил, все одно как человек, и любил меня, как отца родного... Будил меня. Утром, бывало, сядет на подушку: «Вставай, Петрович, вставай, Петрович!». Эту горячую любовь к певчей птице русский человек не только чувствует сам, но всю силу ее признает и за другими. «Дочь у меня родами мучилась, письмо написала: тятенька, помоги! — продолжает одушевившийся при рассказе о птицах старик,— всю ночь я проплакал, утром встал, взял его, голубчика, закрыл клетку платком, да и понес в Охотный ряд. Несу, а у самого слезы так в три ручья и текут, а он оттуда, из клетки-то: «Куда ты меня несешь, куда ты меня несешь?» Да таково жалобно»... Бедному старику, севшему на тумбочку и «ревущему, как малый ребенок», не приходится, однако, расстаться со своим, быть может, единственным в жизни утешением. Кто-то, узнав, в чем дело, покупает у него скворца за две синеньких, и отдав деньги, говорит: «Неси его с богом домой!..»

Любовь к пению птиц может быть рассматриваема как одно из проявлений любви русского человека к пению вообще. Он поет на работе,— поет в одиночестве,— под звуки «дубинушки» общими усилиями поднимает и опускает тяжести; он «в томлении», как выражается Горбунов, и, постепенно одушевляясь, слушает песню и сопровождающую ее музыку... «Делай! Ух! — кричит купец Наконечников певцу-гитаристу.— На зелененькую! На всю!.. Подсиним! Катай! Катай! Старайся! От нас забыт не будешь...» Особенно трогает слушателей церковное пение. Оно возвышает душу и наводит раздумье на самые забубенные головы. У Горбунова есть превосходное, богатое типическими чертами изображение пения хора «прокофьевских певчих» в купеческом доме, в присутствии сына — широкой натуры, который привык «чертить», и его матери, худой, высокой старухи в темном платье и черном платке, с выговором на «о́». Певчие разместились по порядку: басы назади, тенора на правом крыле, альты на левом, дисканты впереди. Прокофьев, седой, почтенный, строгой наружности старик, вынул камертон, куснул его зубами, подставил к уху... еще раз...

погладил по голове гладковыстриженного маленького мальчика-дисканта, нагнулся к его уху и промычал ему нотку, затем оборотился к басам: «Соль-си-ре-си...»,— потом громогласно сказал: —Покаяния отверзи ми двери». Хор шевельнул нотами и запел очень стройно. Изредка слышалось только дребезжание старческого голоса самого регента, но оно тотчас же покрывалось басами. Кончили. Басы откашлялись, тенора поправили волосы, альты завертели нотами, регент закусил камертон, опять послышалось: «ля-до-ми»,— и торжественный концерт Бортнянского: «Кто взыдет на гору господню», огласил не только залу, но и улицу, и близлежащие переулки. Мальчишки с улицы прислонились к окнам и приплюснули к стеклам свои носы. Сильно подействовала на душу «матушки» пропетая песнь. Она обтерла рукой увлажнившиеся слезами глаза и посмотрела на сына. Сын глубоко вздохнул и, покачав головой, сказал: «Да!».

Конечно, и в любви к пению не обходится без крайностей. Между ценителями церковного пения есть особые любители, для которых главное — сила голоса поющего, и для них, по свидетельству Горбунова, свадьба не в свадьбу, если не будет «пущена октава». «Ты уж, Николай Иванович, приготовься,— упрашивает «октаву»,— то возьми во внимание: одна дочь, опять же и родство большое... Голубчик, грохни».— «У Егорья на всполье,— отвечает «октава»,— на прошлой неделе венчали, худенькая такая невеста, на половине апостола сморщилась, а как хватил я: «А жена да боится своего мужа», так она так на шафера и облокотилась...» — «Нет, наша выдержит! Наша даже до пушек охотница... Вот когда в царский день палят... А уж ты действуй во всю, сколько тебе господь бог голосу послал».

Выдается в рассказах Горбунова русский человек своею отвагою, к сожалению, по большей части, совершенно бесцельною, своим равнодушием к элементарным условиям безопасности, своим, чуждым страха или рисовки, простым отношением к несчастию и к смерти. Блистая находчивостью, легкостью усвоения и остроумием, его богато одаренная натура, так долго не имевшая правильного и достаточного выхода для своих способностей, сквозит, как луч света среди сгущенной тьмы невежества и нищеты или нездоровых сумерек фабрично-городской «образованности». У Горбунова то и дело попадаются «словечки», очевидно, прямо выхваченные из жизни,

и образные выражения, сделавшиеся ходячими. Таков, например, «мужчина седой наружности». Есть и много проявлений тонкой народной иронии по отношению к стеснительным для него порядкам. Так, например, старуха-стряпуха в «Медвежьей охоте» говорит: «Медведь не по пачпорту ведь ходит,— вольный зверь, где захочет, там и ляжет». Наконец, иногда мелькает в этих рассказах чистый огонек твердой и трогательной веры. «Эх, господин честной,— говорит один из вытащивших труп утопленника и задумавшийся над возможностью «влететь в острог»,— хлопот нам твое тело белое наделало».— «Ничего! — отвечает другой,— богу *там* за нас помолит».

Пытаясь в кратком и далеко не полном очерке дать хоть некоторое понятие о внутреннем смысле произведений Горбунова, нельзя, в заключение, не отметить его тонких психологических наблюдений и уменья в вызывающие улыбку образы вложить указание на тяжелые, а подчас и трагические стороны жизни. В первом отношении стоит припомнить хотя бы изображение заразительности страха и свойственного всякому робеющему желания убедить других в отсутствии опасности и в их спокойствии почерпнуть поддержку против сжимающего сердце ощущения. Ямщик Никита, везущий купца, приближается к месту, где «шалят», и, по разным приметам, чует недоброе... «Душу бы нам свою здесь не оставить...»,— говорит он купцу, поддаваясь первому приливу боязни.— «Что ты, дурак, меня пугаешь,— отвечает купец и, едва ли сам себе веря, прибавляет успокоительно: Кому наша душа нужна?» — «Садись, сударь, со мной на козлы, не так жутко будет»,— говорит ямщик. Купец, уже подпавший заразе страха, беспрекословно исполняет это предложение,— а сам «ровно бы вот лист трясется». Теперь уж ямщик начинает его ободрять. «Чего же так, ваша милость,— замечает он,— робеть нам нечего, коли ежели что, нас двое!..» — «А у самого-то у меня, братец ты мой,— передает он впоследствии,— дух захватило, руки отымаются...»

Изучение психических настроений и процессов с отдельного человека перешло, как известно, в последнее время на случайную совокупность людей — толпу и на сплоченную историческими, этнографическими и территориальными условиями массу — нацию. Последователи уголовно-антропологической школы — Тард (Les crimes

des foules[1]) и Сигеле (La foule criminelle[2]), а также Густав Лебон (La psychologie des foules[3]), Обри (La contagion du meurtre[4]) и др.— стараются определить те общие начала, к которым может быть сведена психология толпы, и изучить влияние психологических факторов на представления и настроение толпы, определяющие, в конце концов, ее собирательную волю и ее совокупные действия. Альфред Фулье, в недавних своих оригинальных трудах, пробует исследовать душу целого народа и подметить внутренние процессы, происходящие в ней. Западная литература представляет произведения, по которым, шаг за шагом, можно проследить образование и развитие душевных движений толпы. Стоит указать на полные захватывающего интереса сцены с участием толпы в «Ткачах» Гергардта Гауптмана. И в нашей литературе мы имеем не одно изображение постепенного нарастания впечатлений, на почве которых создается настроение толпы, часто складывающееся в порывистую волю, «бессмысленную и беспощадную», по выражению Пушкина. Первое, бесспорно, место между ними принадлежит удивительному рассказу графа Л. Н. Толстого об убийстве в 1812 году Верещагина в Москве. Эта же тема затронута и у Горбунова в его «Забытом доме», где один из представителей возжаждавшей жертвы толпы, оборванный мастеровой с воспаленными глазами, кричит: «Мы сейчас пойдем на трех горах сражаться... все кабаки уничтожим, все!.. Нет, погоди! Купецкий сын вздумал бушевать — сейчас граф разделюцию ему сделал... я те, говорит, побушую! Ребята, говорит, возьмите! Сейчас наши мещане растеребили! Потроху не осталось!.. Отец его стоял в воротах — плакал... Ничего не поделаешь — приказано! Бей, говорит, в мою голову!..» Толпа часто выступает в рассказе Горбунова то в виде целого, охваченного одним чувством, мыслью, стремлением, как, например, в «Московском захолустье», где происходит так называемый холерный бунт, то в виде выхваченных из нее мнений, замечаний и восклицаний, ярко рисующих преобладающие в ней и быстро сменяющиеся настроения противоположного характера. Таковы, например, «Медвежья охота», «Воздушный шар» и др. В по-

---

[1] «Преступления толпы» *(фр.)*.
[2] «Преступная толпа» *(фр.)*.
[3] «Психология толпы» *(фр.)*.
[4] «Заразительность убийств» *(фр.)*.

следнем рассказе с большим искусством намечается переход толпы от спокойного созерцания происходящего («Шар, сударь, надувают... с самых вечерень надувают и никак его раздуть невозможно! — А чем его надувают? — Кислотой! — Да! — без кислоты тут не обойдешься!») — к живейшему участию в нем, когда оказывается, что вместе с немцем полетит портной, который «завертелся — ну, и летит», потому что «от хорошей жизни не полетишь». Хотя один из пьяных купцов, нанявших его, и уверяет, что «если он оттёда упадет», то он, наниматель, «его не позабудет», но толпа начинает чувствовать сожаление и сочувствие к тому, чья судьба уж такая, чтобы «ему, значит, лететь». И это сочувствие растет, захватывает окружающих. Раздаются добродушные предостережения на случай, «ежели этот пузырь ваш лопнет», обращения к чувствам портного — «пустой ты человек, выходит: мать старуха плачет, а ты летишь...», просьбы «кланяться там!» и советы — «милый, ты бы подпоясался, тебе легче будет...» — «Сажают, сажают!..» — в восхищении говорят в толпе. Еще минута — шар плавно подымется, и, быть может, радостное, сочувственное ура огласит воздух... Но вдруг — грозный вопрос: «Ты что за человек?» — и резолюция: «Я те полечу! Гриненко, возьми его...» Настроение сразу меняется, и толпа разделяет чувство квартального, которому «это обидно показалось...».

Мы уже говорили, как в заявлении гласного в «Земском собрании» о том, что у него семь душ детей женского пола, требующих пищевого довольства, Горбунов приподымает уголок завесы над картиною нужды сельского священника, поставленного своим общественным положением между случайным и неопределенным заработком и обязанностью служить возвышенным потребностям человеческого духа. Этот прием, подсказанный ему его теплым сердцем, повторяется у него нередко. В чрезвычайно живом и полном юмора рассказе повествуется о молодом купце, из строгой и благочестивой семьи, получившем на выставке известной картины «Нана», принадлежащей к особому роду откровенного искусства, совет прочитать одноименный роман Золя, где «все обстоятельства обозначены вовсю и слова на их счет такие, что и пропечатать на нашем языке невозможно, а надо по-французски». «И сказали мне,— говорит купец,— что в Казанской улице живет с матерью девица и французским

языком орудовать может. К ней. Бледная, худая, волосы подрезаны в скобку; мать тоже старуха старая, слепая... Видно, что дня три не ели... Грусть на меня напала! Вот, думаю, обделил господь. Можете, говорю, перевести на наш язык французскую книжку? Посмотрела. Извольте, говорит. Что это будет стоить? Семьдесят пять рублей. Это, говорю, мы не в силах... За пятнадцать рубликов нельзя ли? Она так глаза и вытаращила, а глаза такие добрые, чудесные... инда мне совестно стало. Вы, говорю, не обижайтесь: мы этим товаром не торгуем, цен на него не знаем. Я, говорит, с вас беру очень дешево, и то потому, что нам с мамашей есть нечего, а по щекам слезы, словно ртуть, скатились. Жалко мне ее стало, чувствую этакой переворот в душе. Извольте, говорю, только чтоб перевод был сделан на чести, чтобы все слова и обстоятельства... Покончили. Зашел как-то через неделю наведаться, смотрю — сидит, строчит. Матери не в зачет рубль дал на кофий. Покончила она все это дело, да, не дождамшись меня, на Калашникову пристань и приперла. Вошла в калитку-то, собаки как зальются — чужого народу к нам не ходит... А бабушку в это время в экипаж усаживали, в баню везти, бобковой мазью оттирать... Что за человек? Зачем? Кому? По какому случаю?.. Все дело-то и обозначилось».

Какая драма чувствуется за этим простым, по-видимому, эпизодом! Какая жестокая действительность, разрушающая здоровье и грубо оскорбляющая душу, видится в этом подыскивании девушкою «с добрыми глазами» русских выражений для передачи слов, которыми «все обстоятельства обозначены вовсю», и в этом рубле «на кофий»! Как невольно останавливается мысль — не на злополучном купчике, которого стала пилить бабушка, бросившая в огонь и книжку, и тетрадку,— терзать дядя и «точить приглашенные для наставления благочестивые старцы, из которых «один-то еще ничего — пьет, а другой, окромя кровоочистительных капель, ничего не трогает»,— а на одной из картин скорбной жизни столичного образованного пролетариата. И когда представишь себе эту девушку на глухом дворе старозаветного молчаливого дома, окруженную лающими собаками, пред чинящею допрос бабушкою, пред кучером и прислугою, довольными неожиданным зрелищем,— когда представишь себе формы и выражения этого допроса, становится вовсе не смешно... Нет! Не становится смешно... Не меньшая драма

слышится в отдельных эпизодах «Женитьбы» и в простом, но характерном рассказе лихача о том, как бедная девушка, которую он возил на тройке, когда ее в первый раз путем обольщения, а быть может и насильственно, окунули в житейскую грязь,— с его легкой руки «жить пошла»... Ямщик-лихач стоит как живой, со всеми ухватками своей профессии,— кажется, что морозный бодрящий воздух веет в лицо и что гармонично позвякивают бубенчики его гостеприимной тройки,— но когда рассказ кончен прозаическою просьбою «на чек»,— рисуется нечто иное, и разбитая жизнь, втоптанная в разврат, среди бездушной столичной суеты, взывает к сердцу слушателя...

VIII

Особняком от созданных Горбуновым типов и фигур стоит знаменитый отставной *генерал Дитятин,* всеми своими корнями сидящий в том общественном строе, который сложился на Руси в последние десятилетия пред крымским погромом и был пересоздан, а отчасти и вовсе разрушен реформами Александра II. Горбунову пришла счастливая мысль дать живое изображение человека этого времени, окаменевшего в своем миросозерцании, прочно остановившегося в своих, наполовину бессознательных, взглядах и чувствах, окруженного со всех сторон изменившеюся действительностью, на шум и брызги которой ему невольно приходится отзываться по-своему. Задача изображения такой личности должна была в своем фактическом осуществлении стать, и стала, неисчерпаемою. «Довлеет дневи злоба его»,[1] и каждый новый момент общественной жизни, каждое внешнее или внутреннее событие, каждый всплывший на поверхность чем-либо замечательный человек стали давать материал для выражения своеобразных суждений оригинальной личности, задуманной Горбуновым. Постепенно создался образ, разработанный с особою любовью, с тончайшею наблюдательностью и необыкновенною находчивостью тем, кто стоял за ним, почти органически с ним сливаясь. Мало-помалу *генерал Дитятин* сделался неизбежным посетителем всех кружков и собраний, в которых Горбунов чувствовал себя хорошо и свободно. Решительные резолюции и отрывистые характеристики генерала, его тон — презрительный по

[1] «Довольно для каждого дня своей заботы» *(церк.-слав.).*

отношению к настоящему и подчас возбужденный или восхищенный по отношению к прошедшему, его добродушный, отзывавшийся приближением «второго детства», смех, его довольно разнообразная начитанность, с неожиданными из нее выводами, его тусклый взор и отвисшая нижняя губа, его добрая, беспомощная улыбка и глухой старческий голос, наконец, его всегдашняя готовность отвечать «ничтоже сумняся» на почтительные вопросы собеседников — остались, без сомнения, в памяти всех, кто расставался с разговорившимся генералом, сожалея, что беседе настал конец.

Создалась, по отрывистым ответам Дитятина, и его биография. Он сам не знал хорошенько года своего рождения, то относя его к восшествию на престол Павла Петровича в 1796 году, то вспоминая о своем участии в штурме Праги, при Суворове, в 1774 году. Наивное самообольщение, побуждавшее его «пристегнуться» к Суворову, отнюдь не следовало, однако, понимать, как выражение сочувствия взглядам великого полководца на военное дело и на отношение к солдатам. Он, напротив, всецело стоял на точке зрения одного из высокопоставленных мирных героев войны, находившего, что «война портит солдат, пачкает мундиры и разрушает строй». Солдат, по мнению Дитятина, существует, так сказать, «an und für sich»[1], и создан не для пагубного беспорядка войны, а для караульной службы, для вытяжки, маршировки и для необходимого их условия — муштровки. Неизбежные при этом, по его мнению, зуботычины были гораздо нужнее, чем выдуманная «мальчишками» грамотность и другие нововведения, которыми «увлекся» военный министр Милютин, по адресу которого Дитятин не скупился на краткие, но выразительные эпитеты. Эти нововведения, а особливо общая воинская повинность, приводили его сначала в негодование, а потом в мрачное уныние, не лишенное, впрочем, надежды, что «*там,* наконец, образумятся». Последним из военных администраторов, на котором со снисходительною благосклонностью считал он возможным остановиться, был генерал Сухозанет, который к некоторым реформам в русском военном строе, осуществленным впоследствии, относился скептически, «сумлеваясь штоп...» и признавая их за «фим» (т. е. миф). Было, впрочем, время, когда Дитятин преодолел свое отвращение ко «всему этому разврату» и даже предложил свои услуги

[1] Сам по себе (*нем.*).

для службы в новых военных судах. В непринятии этих услуг он видел величайшую несправедливость, но вообще не любил распространяться о причинах отказа, ограничиваясь лишь словом: «мерзавцы!», неизвестно, к кому относившимся и произносимым с непередаваемым брезгливым презрением. Изредка, впрочем, он решался быть в этом отношении вполне откровенным и с неподдельным изумлением сопоставлял последовавший отказ с блистательно выдержанным экзаменом, во время которого, на предложение рассказать «о системе и мере наказаний по Миттермайеру», он отвечал: «Да! как же, помню, был у нас в полку, в моей молодости, капитан Миттермайер,— система у него была, как и у всех, а мера... да меры он не соблюдал, а всыпал столько, сколько душе угодно,— как же! помню!»

Дитятин не был чужд и литературе. Он охотно цитировал Ломоносова и Державина; любил декламировать «красоты» из сочинений Дмитриева и снисходительно ссылался на басни Крылова. К Пушкину его отношение было двоякое. Долгое время он находил его «легкомысленным юношею», который злоупотреблял добротою и «непонятною слабостью» графа Бенкендорфа, не зажавшего ему рот. Но, будучи, как всегда, желанным гостем в собраниях пишущей братии, Дитятин поддался общему восторженному отношению к Пушкину в Москве, при открытии памятника поэту в 1880 году, и после торжественного обеда неожиданно высказал свои симпатии к нему. Он сделал это, впрочем, с оговорками, строго осудив многие его произведения, но припомнив, однако, с похвалою некоторые воинственные его стихотворения и указав слушателям, что даже фамилия «Пушкин» звучит приятно для уха старого служаки.

И к Тургеневу отнесся он довольно благосклонно. Когда, в 1880 году, знаменитому русскому писателю давали литературный обед в Петербурге, Дитятин сказал, к общему удовольствию, речь, полную ценных указаний на свое понимание истории и истинного положения нашей литературы. «Милостивые государи,— сказал он,— вы собрались сюда чествовать отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. Я против этого ничего не имею! По приглашению господ директоров, я явился сюда не приготовленным встретить здесь такое собрание российского ума и образованности...» Выразив, затем, желание говорить, Дитятин нашел, однако, что это сделать очень

трудно, как «по разнице взглядов и по своему официальному положению», так и по присущей людям его эпохи осторожности, ибо «их учили более *осматриваться,* чем *всматриваться,* больше *думать,* чем *говорить;* одним словом, учили тому, чему, милостивые государи, к сожалению, уже не учат теперь». Бросая затем ретроспективный взгляд на нашу литературу тридцатых и сороковых годов, оратор сказал, между прочим: «В начале тридцатых годов, выражаясь риторическим языком, среди безоблачного неба, тайный советник Дмитриев внезапно был обруган семинаристом Каченовским. Подняли шум. Критик скрылся... Далее, генерал-лейтенант, сочинитель патриотической истории двенадцатого года, Михайловский-Данилевский был обруган. Были приняты меры... Критик испытывал на себе быстроту фельдъегерской тройки... Стало тихо. Но на почве, усеянной, удобренной мыслителями тридцатых годов, показались всходы. Эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в сороковых годах, были «Записки охотника», принадлежащие перу чествуемого вами литератора, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. В простоте сердца, я взял эту книгу, думая найти в ней записки какого-либо военного охотника. Оказалось, что под поэтической оболочкой скрываются такие мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому. Граф сказал: «Я знаю». Я в разговоре упомянул об этом князю Сергею Михайловичу Голицыну. Он сказал: «Это дело администрации, а не мое». Я сообщил митрополиту Филарету. Он мне отвечал, что это — «веяние времени». Я увидел что-то странное. Я понял, что мое дело проиграно, и посторонился. Теперь я, милостивые государи, стою в стороне, пропуская мимо себя нестройные ряды идей, мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, и всем говорю: «Хорошо!». Но мне уже никто не отвечает, а только взводные кивают с усмешкой головой. Я кончил и пью за здоровье отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева...»

Доживая свой век в отставке, Дитятин следил за мимобегущей жизнью и о каждом ее явлении составлял себе совершенно определенное мнение. В этом отношении он был человек самый многосторонний, всегда стоявший с готовою «резолюцией» по вопросам, интересовавшим или волновавшим общество. Он, между прочим, почитал, но не любил Бисмарка, находил, что Мак-Магон

«сплоховал» во время своего президентства, о Гамбетте выражался презрительно: «Хе! Хе! — Воздухоплаватель...»; строго осуждал назначение министром финансов человека, происходившего из духовного звания; негодовал на Шопенгауэра за «прекращение человеческого рода» и желал лично «вразумить его»... Прочитав в русском переводе сочинения Лассаля, которого он называл «Лапсалем», Дитятин решительно заявил: «*Я на это* не согласен». Уверенность в безусловность справедливости своих взглядов и брюзжание Дитятина не мешали ему, однако, быть приятным и в высшей степени интересным собеседником. Едва раздавался его голос — все присутствующие обращались в слух, причем некоторые спешили вызвать на подробные объяснения старика, который, несмотря на свою нравственную осиротелость среди чуждых ему поколений, обойденный ушедшею вперед жизнью и болезненно переживший крушение воспитавшего его строя, умел оставаться незлобивым, доверчивым и подчас даже веселым.

Строгая выдержанность этого образа представляла собою блестящее доказательство творческой силы Горбунова. Дитятин был живой человек. Он действительно существовал между нами. Скончавшись, вероятно, от старческого маразма, одновременно с Горбуновым, он оставил навсегда пустое место. С чутьем тонкого психолога Горбунов, вкладывая в его уста удивительные по своей архаичности суждения, умел дать почувствовать доброе, в сущности, сердце старика. Есть фотография, изображающая Горбунова в мундире, со сложенными на груди руками, в армейской каске со старомодным орлом, держащим в лапах перуны и венки. Экземпляры этой фотографии очень редки. Известно, между прочим, что на экземпляре, поднесенном одному лицу, есть надпись, сделанная старческим, дрожащим почерком: «J'y suis, j'y reste[1] — фраза, украденная у меня Мак-Магоном. Генерал-майор Дитятин 2-й». При взгляде на этот оригинальный портрет невольно чувствуется, что таков именно, в своей непреклонности и добродушной строгости, и должен был быть незаменимый и незабвенный генерал Дитятин...

Дитятин являлся одним из типичных представителей целого периода нашей общественной жизни. Изображая его, Горбунов заходил в область нашей истории, кото-

[1] «Я здесь нахожусь, и здесь я остаюсь» *(фр.)*.

рую изучал вдумчиво и с любовью. Рассмотрение его рассказов на исторической подкладке и ознакомление с его подражанием старой письменности убедят нас в том.

IX

Живая наблюдательность Горбунова и его способность всматриваться во внутреннее содержание того или другого явления русской жизни, влагая его в яркое изображение, не могли ограничиться одним настоящим. Как истинный художник он умел представлять себе и прошлое в выпуклых и жизненных образах.

Изучая нашу старую историю, вдумываясь в события и общественный склад XVII, XVIII и первой половины XIX века, он в ряде произведений оставил очерки эпох, строя жизни и господствовавших в то или другое время воззрений на коренные условия общественных отношений. Им захвачены и давно прошедшие — и недалекие сравнительно годы, отрезанные от нас и наших взглядов широкою и благотворною бороздою реформ шестидесятых годов. Поэтому он является автором бытовых сцен на исторической подкладке, причем его необыкновенное уменье усвоить себе особенности и характерные свойства языка в различные периоды русской жизни дает ему возможность воссоздавать прошлое с особенною правдоподобностью. Знаток родной истории чувствуется в оригинальной форме его произведений из области старой письменности, и их шуточное подчас содержание заключает в себе нередко меткие и сжатые указания на целый порядок вещей, отошедший в вечность.

Но и помимо произведений в этом последнем роде, в очерках, изложенных преимущественно в виде воспоминаний и дневников («Из московского захолустья», «Мысли на парадном подъезде», «Забытый дом», «Дневник дворецкого» и др.), проходят пред нами в разном освещении, дающем в своей совокупности цельный и — судя по обнародованным за последние 30 лет материалам — исторически верный образ, такие фигуры, как, например, архимандрит Фотий, граф Закревский и многие другие. Проходят исчезнувшие типы приживалок из захудалых родов («княжна с флюсом и княжна без флюса») и величавых генералов александровского времени, украшенных иностранными орденами «святой Марии

Терезии» и «святого Парамерита» (pour le mérite)[1] по объяснению швейцара, дежурящего на парадном подъезде,— проходит ряд людей, живьем взятых из прошлого.

Есть у Горбунова целый исторический рассказ: «Царь Петр Христа славит», с эпиграфом: «Они (дьяки) учинили то дуростью своею негораздо и такого не бывало, чтобы его государевых певчих дьяков, которые от него Христа славить ездят, во двор к себе не пущать и за такую их дерзость и бесстрашие быть им в приказах бескорыстно и никаких им почестей и поминков ни у кого ничего ни от каких дел не имать...» Вот как отмечает Горбунов раздвоение между Москвою и ее молодым государем, вызванное началом переворота, произведенного этим «грозным властелином судьбы», стянувшим «бразды рукой железной»: «Тяжелое время переживали москвичи в последний год XVII столетия. Пять месяцев с ужасом натыкались они на стрелецкие трупы, висевшие на стенах Белого и Земляного города и валявшиеся на Красной площади... «Блудозрелищное неистовство» являли собою в глазах благочестивых людей, обритые, в венгерских кафтанах, бояре. Кремлевский дворец, двор великого государя московского, был заперт. Святейший патриарх лежал на смертном одре. Великий государь не показывался больше народу, подобно его предкам, во всем блеске и величии «царского сана», в большом царском наряде, в сопровождении родовитых бояр «в золотых ферезях»: в селе Преображенском он стоял в офицерском мундире иноземного покроя во главе своего лейб-регимента, салютуя князю Кесарю...»

Не менее рельефна и полна жизни картина Москвы в 1812 году, накануне ее взятия французами, когда «народ со всех концов тронулся», ряды войск все напирают, напирают, стискиваются, останавливаются, с трудом расступаясь, чтобы дать дорогу «владычице» в дорогой ризе, и священник Маргаритов, увидав в оторопевшей толпе своего прихожанина, протискивается к нему, кропит его святой водой и дрожащим от волнения голосом говорит: «Зрите и мужайтеся, подобает бо всем сим быти, обаче и тогда не кончина...» Таково же и описание Москвы, разоренной после пожара, когда, после ухода французов, слуга, оставленный при покинутом доме, получает, наконец, возможность написать своему господину: «При сем рабски имею честь вашему превосходительству при-

[1] За заслуги *(фр.)*.

совокупить, что по голове меня гладили... только слов я ихних разобрать не мог; при сем взяли часы из угловой гостиной...» Воспоминания об этом «забытом доме» представляют характерные черты смены поколений и их взглядов в старом московском дворянском гнезде. Как в молодом организме вслед за тяжкою болезнью чувствуется прилив свежих сил и особое жизнерадостное настроение, так и в барской Москве патриотический подъем духа, вызванный войною и ее бедствиями, сменяется усиленной жаждой удовольствий и, за отсутствием общественной деятельности, учащенным биением пульса жизни частной. Но и это настроение проходит; раскаты грома и шум отдаленной петербургской бури 14 декабря, холера тридцатого года и разные внешние обстоятельства кладут свой отпечаток на московскую жизнь. Раны, нанесенные войною, забыты одними, отходящими,— не испытаны другими, вновь пришедшими,— а Запад манит к себе разными сторонами своей жизни. Барские дома, несмотря на затруднения, которыми обставлена отлучка за границу, начинают подолгу пустовать, и стены их говорят красноречиво о прошлом лишь неотлучным свидетелям пережитого — старым и верным слугам исчезнувшего ныне типа. Для этих слуг настоящее еще полно своеобразных впечатлений и выводов из прошлого. Когда в «Забытом доме» молодые господа, равнодушные к покидаемому гнезду, шумно снимаются с якоря, надолго уезжая на «теплые воды», в чужие края, дворецкий Михаил Егорович в тяжелом недоумении трое суток приводит дом в порядок, закрывает мебель и занавешивает хмурые лики генералов двенадцатого года. «Платова он закрыл особенно тщательно, промолвив: «Муха — ведь она дура, ведь она и тебя, батюшку, не пожалеет»... Блюхера он оставил открытым».

Переживая, вместе с выводимыми им лицами, прошлые времена, Горбунов не мог, конечно, пройти молчанием крепостного права, бросавшего почти на все явления русской жизни свою мрачную тень. В дневнике дворецкого, посвященном изо дня в день описанию, под углом зрения престарелого слуги, распутной и расточительной жизни молодого знатного барина, не умеющего с достоинством носить свое старое имя и соблюдающего лишь внешним и поверхностным образом домашние традиции предков, есть эпизоды, рисующие созданные крепостною зависимостью отношения. Барин недавно достиг совершенноле-

тия. «По случаю рождения его сиятельства, исполнилось двадцать четыре года, был в нашем доме молебен с водосвятием,— записано в дневнике,— вечером были танцы с девицами, а цыганский табор пел песни, кончили забавляться с солнышком». Но перед его волею склоняется масса дворовых и челядинцев, и по пословице: «Где гнев, там и милость», на нее возлагают они свои житейские упования, от нее ждут гнева и безропотно принимают его. Но как много нелепого произвола и бессознательной, может быть, жестокости и в этом гневе, и в этой милости! Лакея Лаврушку, которого в субботу пришлось отпаивать квасом, после того, как он, паря вчетвером барина в Суконных банях, повалился замертво, в понедельник приказано наказать в оранжерее, но должно быть на его строптивый нрав это не действует, и в следующую субботу ему велено «забрить лоб», но он бежит, и когда через пять недель является из бегов, то неожиданно встречает смягчение кары: приказано вновь наказать его в оранжерее и выдать ему паспорт. Поехав к Яру, молодой хозяин «душ» остается там целый день, вследствие чего кучер Глеб отмораживает себе нос, по словам доктора — «безвозвратно», почему и в больницу идти не желает. Ему через несколько дней выдается вольная, «ибо без носу — не кучер»... «Был у племянницы своей на Поварской улице,— говорится в дневнике,— услыхал, что господа ее отправляются по весне на теплые воды, а ее выдают замуж за выездного Родиона Михайлова, а ее есть желание, по нелюбви к нему, выкупиться на волю. Плачет. Советовал господам покориться. Против моих слов говорила — лучше утоплюсь. Она девица молодая, красивая, а он кривой. Вся причина в барыне: желает, чтоб ее господского приказания слушались». Чрез неделю в дневнике записано: «Племянница моя и крестная дочь Любовь Ивановна от грозящей ей неминуемой беды быть замужем за Родионом, проглотила три булавки и скончалась в судорогах, в чем священнику на духу и покаялась... Упокой, господи, душу ее в селениях праведных! Вчера целый день плакал. Мать ее, сестру мою Надежду, свезли в больницу: чувствует приближение живота...» В другом месте дневника, отмечая, что умер скоропостижно от угара камердинер покойного графа, Григорий Никитин, старый дворецкий, прибавляет: «Жену приказано отправить на скотный двор, а малолетних раздать в ученье. Квартальному за хлопоты десять рублей и сукна на брюки...» Ученью под-

вергаются, впрочем, не одни малолетние. Приходится обучаться по-новому и старому человеку. Одна из владетельниц «забытого дома» просит повара генерала Барканова взять поучить ее старого повара Дмитрия, которому, по мнению генеральских поварят, «по божьему-то в богадельню пора»... «Воля господская,— говорит им со вздохом старик,— ихняя воля... велят и фалетором сядешь; — кто ж им может в кушанье потрафить: то им с перцем давай, то зачем перец кладешь; —заварные левашники уж как я умею: положишь на блюдо-то — воркует, словно живой, а они кушать не могут. Да все!.. Возьмите вы галантир — оттянешь его чище зеркала, причесываться можно, а они говорят: ты меня как собаку кормишь; такой в себе каприз имеют, что ни один повар на них угодить не может...» Но бывают и добрые дни. На пасху барин «христосовался со всеми, по три раза, денежное положение роздано, как при покойном графе: по три рубля; трем семействам дворовых людей объявили вольную, повару Герасиму, камердинеру Владимиру и старой горничной покойной графини — Егоровне. И могут они вольными жить в нашем доме и служить его сиятельству по-прежнему. А на повара,— прибавляет в своем дневнике дворецкий,— расставляла зубы Марья Алексеевна, хотела его выменять у графа на садовника Филиппушку: бог не попустил!»

Несмотря, однако, на возможность и даже на тогдашнюю закономерность таких проявлений барской воли, в большинстве случаев, за исключением проявлений крайней жестокости, люди, рожденные в крепостной зависимости, молчаливо мирились с условиями последней, создавашими своего рода «consortium omnis vitae» [1] для помещиков и для тех, кто составлял их «крещеную собственность». Долгие годы преемственного терпения, мягкость и добродушие русской натуры выработали таким образом тип старых слуг, преданность которых господам и верность их интересам кажется ныне почти легендарною. У слуги старого времени радости и скорби семьи, где он жил, были его скорбями и радостями; он ревниво оберегал честь дома и болел сердцем, видя ее умаление. Он не мог не ценить значения вольной, но, несмотря на горькие подчас условия своей жизни, нередко даже гордился своею принадлежностью определенному лицу, с судьбою

[1] «Содружество на целую жизнь» *(лат.)*.

которого была связана и его судьба. «Я прирожденный камердинер, а не мещанин какой-нибудь»,— говорит слуга в «Утре молодого человека» и всеми силами и уменьем оберегает своего барина от увлечений и мотовства. В разгаре спора между крепостным и вольнонаемным лакеями о преимуществах социального положения каждого из них старик слуга, выходя из себя, кричит: «Это вы — холоп, а я — природный лакей! Моя душа барская, а ваша окладная, потому вы несчастный мещанин. Я коли какой непорядок на улице сделаю, должны меня к моему барину с будочником представить, а вас на веревке в часть поведут; вы на запятках стоите, а я при моем господине завсегда в комнатах».— «Что вы выражаетесь?!» — восклицает окладная душа...— «Я не выражаюсь, а правду говорю! Вы холоп, а не я!» — отрезывает барская душа.

Как изображение чувств, отношений и миросозерцания такого старого слуги особенно интересен уже упомянутый дневник дворецкого, с надписью: «Сия тетрадь принадлежит дому его сиятельства графа Павла Павловича дворовому его человеку Емельяну Дыркову. Приобретена покупкою пятьдесят копеек ассигнациями. Описание жизни в доме его сиятельства. Описывал собственноручно крепостной дворовый его человек своею охотою. Емельян Дырков. 1847 году». В этом дневнике нарисован искусною рукою и сам автор, и его господин, сделавшийся обладателем, по-видимому, огромного состояния и ведущий самую бесшабашную жизнь в доме, где еще недавно все было чинно, истово и строго... Он возвращается на рассвете, встает в четыре часа дня, пропадает по двое суток в цыганском таборе, где сам пляшет,— то чревоугодничает, то обуревается внезапными аппетитами к моченым яблокам и т. п., занимается по целым часам стрельбою из пистолета в оранжерее, пением романсов, игрою на гитаре и «разрисовыванием птицы в клетке», пробуя силу, тягаясь на палке с кучерами и разрубая пополам живую собаку, устраивает у себя, несмотря на «выговоры доктора Топорова», оргии, причем «прислуге быть не приказано», ведет крупную азартную игру и лишь иногда в постели читает «смешную книжку». На службу не ходит, хотя ему и «присылают чин, как он значится по канцелярии». По временам им овладевает внешнее благочестие, он ездит в Лавру, простаивает подолгу на молитве, читает «четью минею», служит у себя молебны с знаменитыми и дорогими певчими и принимает многочисленное духо-

венство и знатных особ. Но эти промежутки становятся все реже и реже,—в доме появляются темные личности,— наконец, надвигается, при угрозе со стороны родных взятием в опеку и подачею «на высочайшее имя, чтобы на Кавказ», материальное разорение и наступает трагическая развязка уголовного характера.

Болит от всего этого сердце старого, искренне верующего и доброго слуги. Сначала он отмечает лишь факты, в их красноречивой неприглядности, но потом начинает выражать тревогу. «Больших денег стоит графу эта цыганка»; «великий был шум у нас сегодня в доме,— слава богу, что граф не был в игру замешан,— великое будет несчастие, коли граф себя не сократит»,— отмечает он разновременно в дневнике.

Чаще и чаще рисуются ему в воспоминаниях и сновидениях прежние времена домашнего порядка и общего почета его господам. «Тошно жить становится,— пишет он,— господи! как вспомнишь, что наш за дом был! Пожалуй, что ниже предводителя и господ-то у нас не бывало! Никто к нам из знакомых не ездит, и подобный наш дом стал обыкновенному дому, если не хуже... Помяни, господи, во царствии твоем раба твоего графа Павла и рабу твою графиню Софию. Большие господа были!» Но он продолжает строго надзирать за барским добром и, презирая в душе новых гостей барина — цыган, игроков и людей подозрительной профессии, тем не менее тщательно записывает, на сколько персон был сервирован стол и что было подано. Здоровье его, однако, слабеет, и, несмотря на оставшийся после покойного графа лекарственный порошок «кремартактор», принимаемый им с большою для себя пользою, он начинает чувствовать «отягчение ног». Записав виденный им сон, в котором Любушка, умершая от проглоченных булавок девушка, приходила к нему в кисейном платье, с золотым венцом на голове и двумя херувимами в руках, спрашивает он себя: «Не зовет ли это она меня к себе?» Несмотря на ликующий вокруг него грех, вера его тверда. Как трогательно частое обращение старика от картин житейской грязи и злобы к величавым словам молитв и песнопений! «Ей, господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения! — Боже, милостив буди мне грешному! — О, дивное чудо! Невидимых содетель за человеколюбие плотию пострада!» — восклицает он в разных, особо тягостных для него по содержанию, местах дневника. Зато какою

наивною гордостью звучит в начале дневника запись, когда случилось так, что на один день в доме повеяло было торжественностью. По настоянию теток, молодой граф дает бал «при полном освещении всего дома, с ужином на шестьдесят человек, при прислуге в новых ливреях и хоре музыкантов за тюлевою занавесью в малой гостиной». Старому слуге, при виде барина, танцующего с княжною, думается: «Не намечают ли ему княжну в невесты?» «Все в руце божьей»,— восклицает он в уповании на новые побеги родословного древа и, восхищаясь разговором генерал-губернатора с генеральшею, заменяющею хозяйку, причем они «друг другу против сказанных слов выговаривали», замечает: «Знатные люди! высокого чину! Подумаешь, до какой высокой степени бог может возвести человека!».

Как характерен, наконец, для изображения воззрений и способа действий тогдашней административной юстиции эпизод с оскорбленным купцом! «Вчерашнего числа,— записано в дневнике,— граф в театре одному купцу дал плюху. Хочет судиться. Потребовали графа к военному губернатору, но он не поехал, по болезни, а отправил с теткою просьбу к губернатору: просит от купца защиты». Дальнейшие распоряжения напоминают знаменитый совет комендантши Белогорской крепости в «Капитанской дочке»: графа сажают на Ивановскую гауптвахту, а купца забирают в тверскую часть. «Купца заставили помириться,— говорит затем дневник,— приходил квартальный, отбирал от графа подписку, что он впредь драться не будет и купца прощает. Дано три рубля». Трагический эпизод, на котором прерывается дневник, имеет уже прямое отношение к уголовной юстиции сороковых годов. С самого начала записей Емельяна Дыркова в эпическую ткань его описаний вплетается, как красная нить, некая Вера Афанасьевна и ее отец, имеющие какую-то прикосновенность к театру. Они, по-видимому, уже довольно давно знакомы с графом, который ужинает с отцом до рассвета и играет с дочерью на фортепиано. Мало-помалу отец Веры Афанасьевны, сначала благодарящий за то, что им не гнушаются, делается persona grata в доме. Его принимают в постели, пьют с ним чай, он читает «Апостол» во время молебна и сопровождает графа в Лавру, куда тот едет прямо с гауптвахты, после того, как «простил купца», его «допускают на балу сидеть с музыкантами, причем он тайно

уносит с собою ананас. Подарки ему идут crescendo[1]. Сначала лягавый кобель, потом пенковая трубка, которая «была с покойным графом под Бородиным, а ему подарена фельдмаршалом», наконец, к еще большему сокрушению старого слуги, графская соболья бекешь и шляпа. В дневнике оказываются вырванными более половины страниц, относящихся к целому лету, так что продолжение его начинается с переноса «...а она склонности к нему не имеет и как по замечанию хочет себя соблюсти и выговаривала насчет жизни и что в карты играет, а он на коленках плакал и божился цыганский дух из дому вывести и образок покойной графини целовал, а она его по голове гладила и как бы сама прослезилась»... Все, однако, как видно остается по-прежнему, только отец Веры Афанасьевны забирает все бóльшую силу. К концерту, в котором дочь его будет играть, модный портной шьет ему, за счет графа, новый коричневый фрак со светлыми пуговицами и белый жилет; приехав пьяный на лихаче и не будучи допущен, в отсутствие графа, в его кабинет, он буянит и требует денег на извозчика. «Обругал нас всех, прирожденных дворовых графских слуг, холуями,— записано в дневнике,— а Владимира налаживался бить, но только тот присутствие духа не потерял и сказал «тронь!». После концерта все поехали к Яру, а оттуда приехали в дом в два часа ночи. «Веру Афанасьевну граф и его приятель Линев ввели на лестницу под руки — она хохотала и била, как бы в шутку, Линева веером, говорила, что у нее голова кружится, что она пьяная, и действительно, как мною замечено, глаза у нее помутились. Приказано в шампанское налить мараскину. Граф стоял на коленях и целовал у нее руки, а она — то расхохочется, то заплачет. Все спрашивала — где отец? А Герасиму приказано возить его, пьяного, по всей Москве и из саней не выпускать. На руках снесли в желтую гостиную и заперлись. Как ударили к заутрени, вырвалась из гостиной развращенная, металась по всему дому, кричала и кусала руки. Граф был в бесчувствии. Бросилась в переднюю, хотела бежать на улицу: прислуга не допустила. Линев с кучерами завернул ее в салоп и велел кучеру Трофиму везти домой, а тот пьяный, не понявши дела, свез ее в Екатерининскую больницу».— Это происходит во вторник,— в воскресенье «об случае в нашем доме говорит вся Москва», а в понедельник «Вера

[1] В возрастающей степени (*ит.*).

Афанасьевна скончалась в Екатерининской больнице, и, как полагают, от каких-то порошков». Через неделю дневник обрывается окончательно следующею записью: «Графа свезли на гауптвахту. Завтра весь дом пригонят к присяге. Упокой, господи, раба твоего графа Павла и рабу твою Софию, сестру мою рабу Надежду, и дочь ее Любовь, и меня грешного совокупи! Глаза бы на свет не глядели...» Рассказывая об участи «Веры Афанасьевны», дневник не только передает правдоподобное и вполне возможное по условиям места и времени «описание жизни в доме его сиятельства», но содержит в себе указание на действительное событие, рисующее собою, между прочим, и высоту наших дореформенных судебных порядков. Это разбиравшееся в Москве, в конце сороковых годов, ужасное дело о 17-летней фигурантке московских театров Аршининой, проданной своим отцом, театральным музыкантом, знатному молодому человеку, который напоил ее возбуждающим раствором и привел тем в состояние полового бешенства, коим воспользовались, кроме него, и другие негодяи, окружавшие его. Несчастная девушка была возвращена домой лишь на третий день, с разрушительным местным воспалением и омертвением и в состоянии полного сумасшествия, из которого не выходила до самой своей страдальческой кончины. Московские судьи того времени нашли справедливым и непостыдным ограничиться отдачею главного виновника в солдаты или военные писцы с выслугою и без потери прав — и присуждением отца жертвы за *потворство разврату(?) дочери* к трехмесячному лишению свободы...

Составление исторических рассказов имеет одну особенность, отмеченную еще Монтескье. Авторам их приходится вплетать в свой труд вымышленные факты, основанные, однако, на фактах верных или естественно из них вытекающие. Выходя за пределы простой и бесцветной хроники событий и исследуя их общую связь, причины и последствия, автору, желающему в живых образах и красках представить, как именно произошло или совершилось то или другое и как проявлял себя тот или другой деятель, приходится воссоздавать это путем фантазии и психологического анализа человеческой природы и однородных отношений. Быть может, действительность была и несколько иная; быть может, на пути психического развития описываемой личности были существенные отклонения от теоретически намеченного автором;

Ирина Семеновна Кони
со старшим сыном Евгением.



Федор Алексеевич Кони
с младшим сыном Анатолием.

Московская альма-матер, юридический факультет университета на Моховой.



Одна из лучших книг России о великой реформе принадлежит А. Ф. Кони, знавшему близко всех ее деятелей и подвижников.



И. И. Лажечников,
которого впервые
увидел Анатолий
в доме своего отца.



А. Ф. Вельтман,
чей дом был по-московски
гостеприимно открыт
перед любознательным
студентом-правоведом.



А. Ф. Писемский,
по словам А. Ф. Кони,
«глубокий знаток
народной жизни».



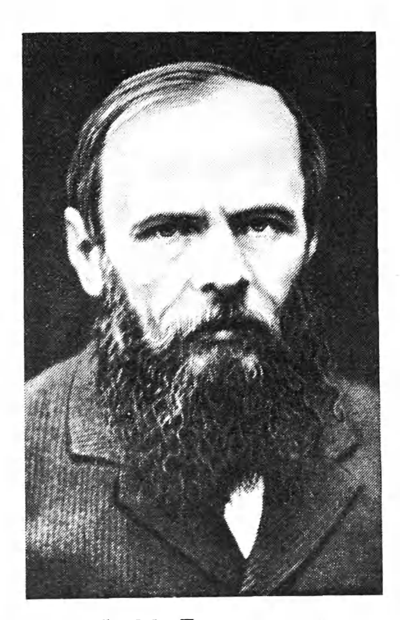
А. Ф. Кони (в центре) среди членов Петербургского окружного суда. Сидит (первый слева) друг и соратник А. Ф. Кони поэт и правовед Александр Боровиковский.



Авторы «Современника» — И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, А. Н. Островский (все они, кроме Дружинина, герои воспоминаний А. Ф. Кони).
С фотографии С. Левицкого. 1856 г.



А. Н. Островский в роли Подхалюзина в пьесе «Свои люди — сочтемся».



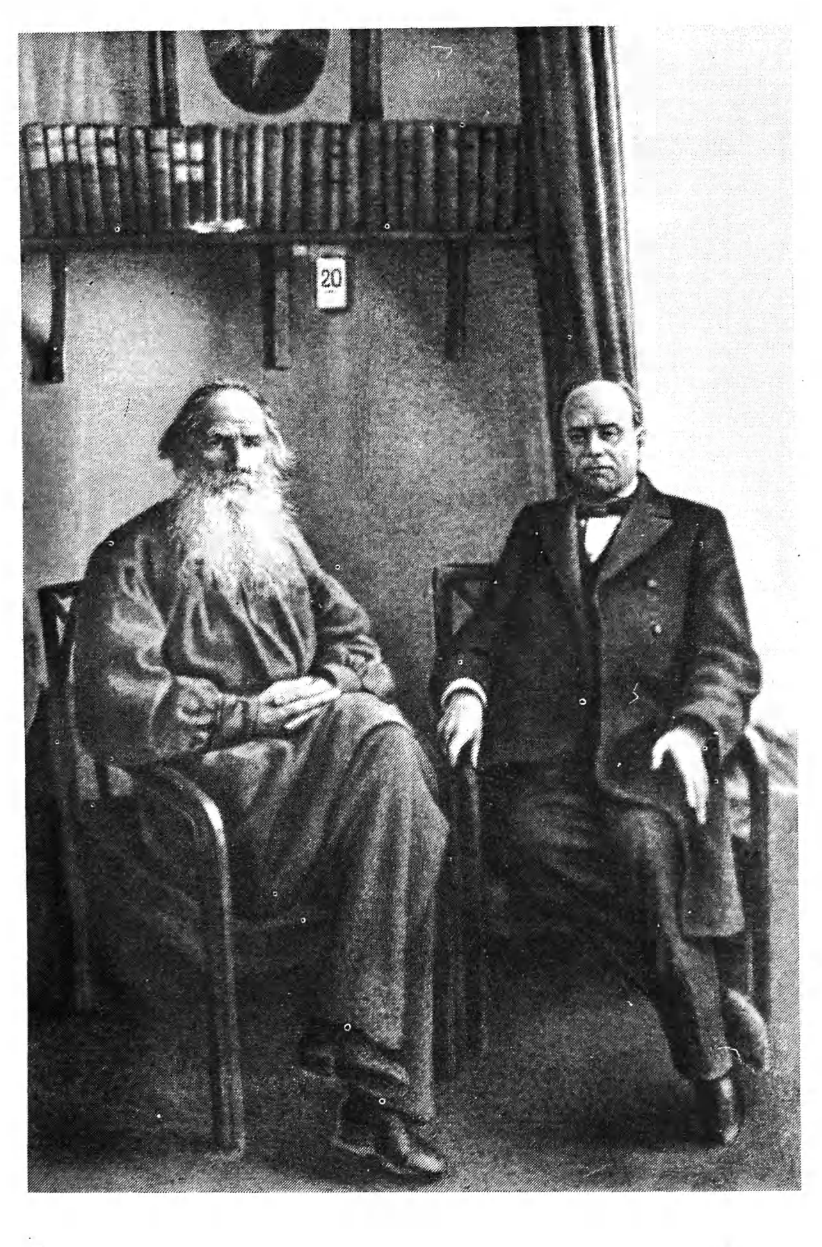
Ф. М. Достоевский,
которого А. Ф. Кони
считал великим художником,
«умеющим властно и глубоко
затрагивать затаенные
и нередко подолгу молчаливые
струны сердца».



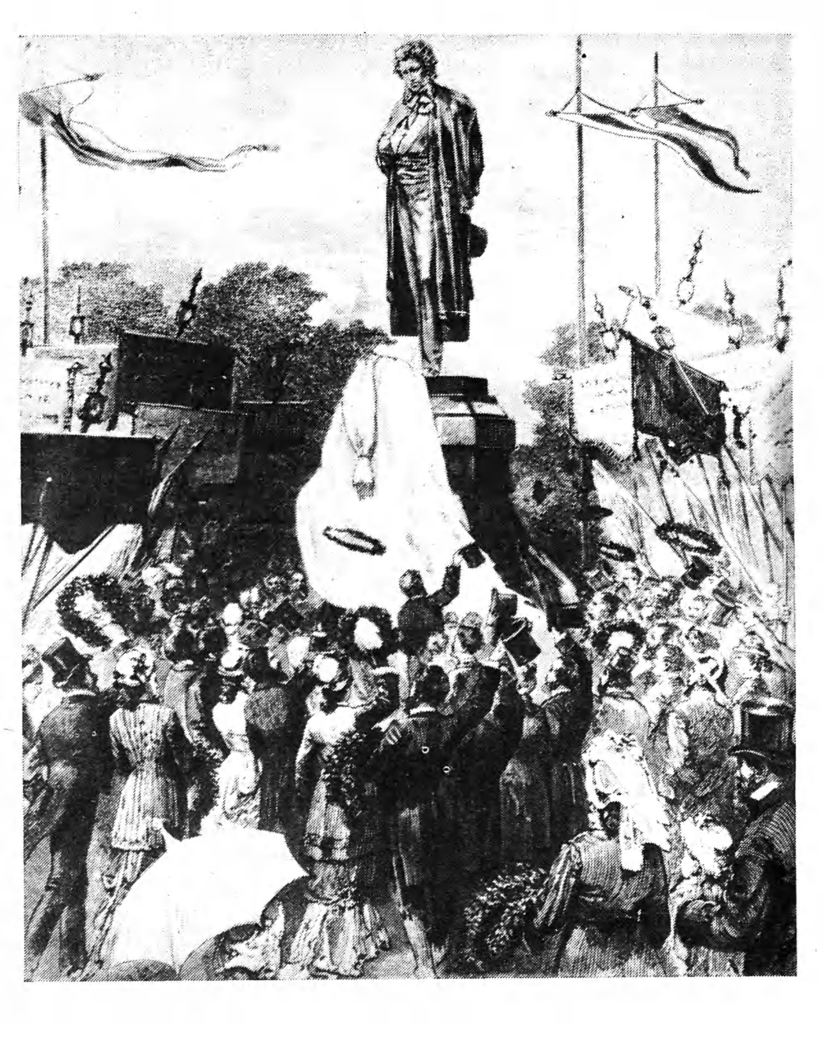
Н. А. Некрасов,
по выражению А. Ф. Кони,
«истинно народный поэт».



И. Ф. Горбунов.
Портрет кисти К. Маковского.



В один из приездов Анатолия Федоровича в Ясную Поляну Софья Андреевна сфотографировала Л. Н. Толстого и всеми ими любимого и уважаемого защитника прав. *1904 г.*



Открытие памятника А. С. Пушкину 6 июня 1880 года. Гравюра по рисунку А. Баумана с наброска Михаила Чехова. *1890 г.*



«В моем воспоминании образ его стоит как живой — с грустным, вдумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом».



П. Д. Боборыкин, по выражению А. Ф. Кони, «литератор с головы до ног».

Пушкинский Дом. Здесь хранятся национальные архивы, рукописи русских писателей, в том числе А. Ф. Кони.



ДѢЛО

МУЛТАНСКИХЪ ВОТЯКОВЪ,

ОБВИНЯВШИХСЯ ВЪ ПРИНЕСЕНИИ
ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ЖЕРТВЫ

ЯЗЫЧЕСКИМЪ БОГАМЪ.

Составлено А. Н. Барановымъ, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевымъ

подъ редакціей и съ примѣчаніями

В. Г. Короленко.

МОСКВА.
Тип. „Русск. Вѣд.", Чернышк. пер., д. № 7.
1896.

Мултанское дело, считал А. Ф. Кони, «дорисовывает благородную и возвышенную в своих стремлениях личность» В. Г. Короленко.

В. В. Стасов беседует с М. Горьким, справа И. Е. Репин с женой.
Куоккала, 1904 г.



Редакция «Вестника Европы» в 1890 г.
С фотографии С. Левицкого.

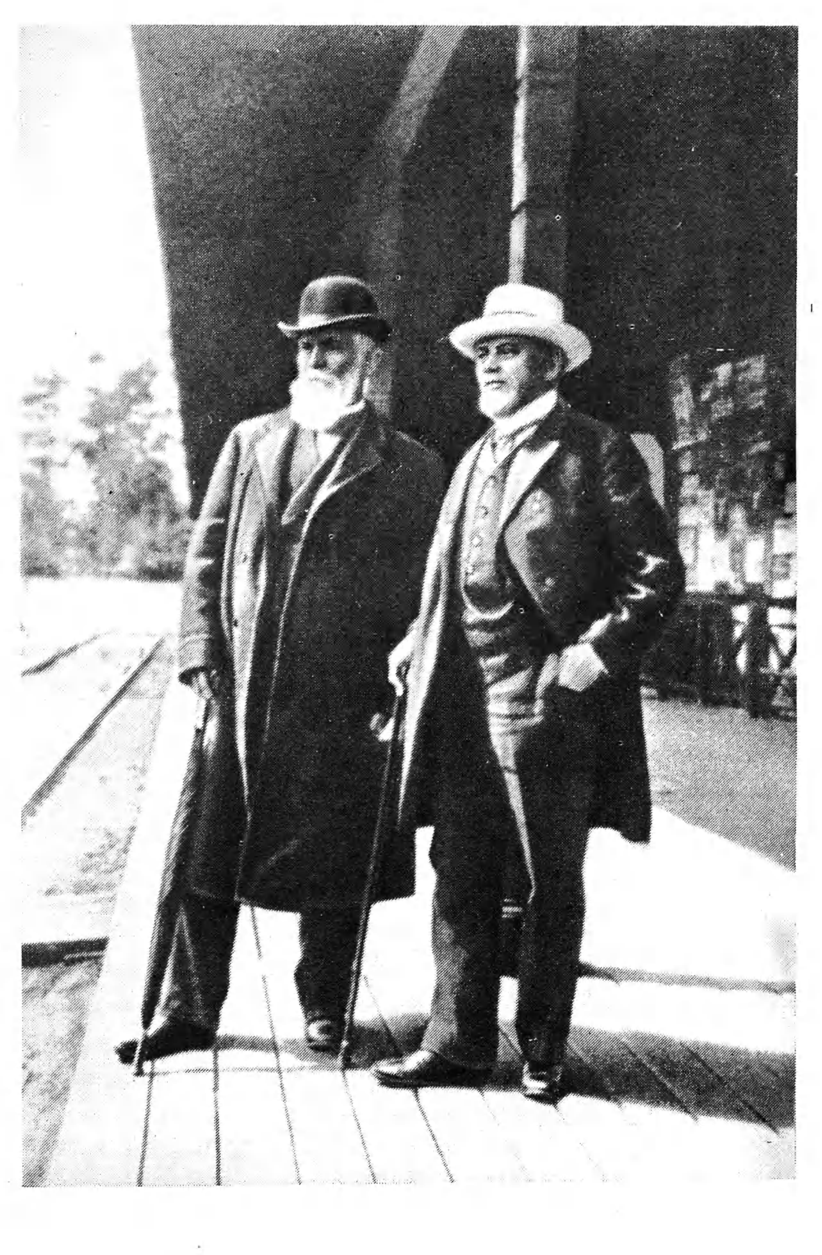


А. Н. Пешкова-Толиверова.
Портрет кисти В. В. Верещагина.
1866 г.

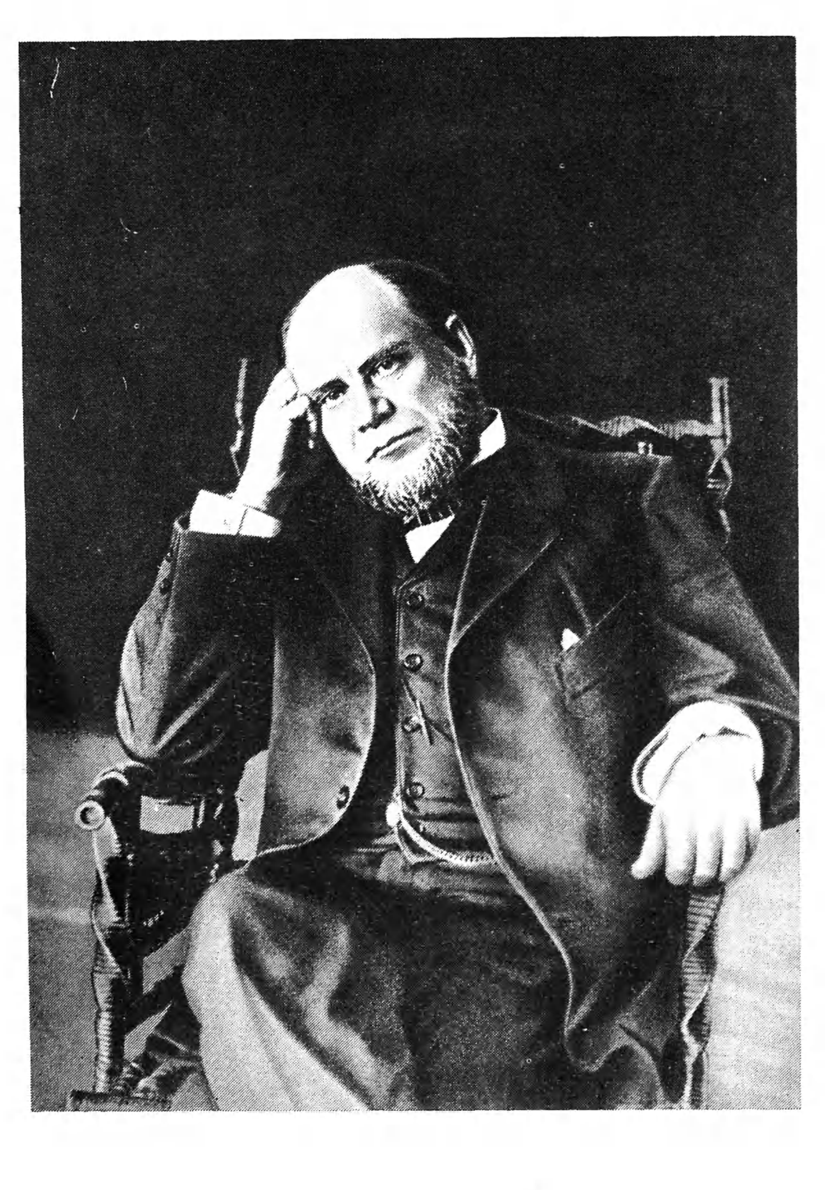
Мария Гавриловна Савина в роли Верочки в пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне».
Фотография 1879 г.



Комитет Литературного Фонда в 1894 г.



А. Ф. Кони и М. М. Стасюлевич.
Станция Курорт Финляндской железной дороги. *1909 г.*



А. Ф. Кони в расцвете жизненных и творческих сил.
1890-е годы.

но если настоящие, не подлежащие спору факты и сведения таковы, что дают право на сделанные выводы, которые в конечном результате приводят к тому же, что̀ было и в действительности, то у произведения нельзя отнимать названия исторического, ибо оно правдоподобно передает смысл и значение былого... Даже строгий историк не всегда может вытравить из себя художника и оградить свое исследование от воссоздания. Достаточно припомнить Маколея и Костомарова и в особенности Шерра в его «Menschliche Tragikomödie»[1], или Карлейля в его «Истории французской революции». Недаром Эдмонд Гонкур говорит: «L'histoire est un roman qui a été,— le roman c'est l'histoire qui aurait pu être»[2].

Мы видели у Горбунова изображение домашнего строя, имеющее полную житейскую достоверность и опирающееся в существенной своей части, в последовательном заключительном аккорде на факт, занесенный на темную страницу исторической хроники нашего суда. Но есть у него и явно вымышленный рассказ, который тем не менее имеет историческую правдоподобность, благодаря яркому и верному воплощению существовавших личностей, и в котором чувствуется долгое и внимательное изучение действительных и непререкаемых исторических данных. Это сказание «о некотором зайце». В нем как живой, со своим особым, полумистическим, деланным слогом, встает архимандрит Фотий, зловещий лицемер, то раболепно, то назойливо вопиявший к «мечу светскому» и умевший ловко приспособиться к жестокости официального смиренномудрия начала двадцатых годов; несколькими словами тонко очерчено отражение влияния Фотия на министре духовных дел и исповеданий — князе А. Н. Голицыне и на местных «правительствах», поставленных между невольною боязнью доносов юрьевского архимандрита и страхом пред мрачными фигурами графа Аракчеева и его любовницы — крестьянки Настасьи Минкиной, о которой тогдашний министр внутренних дел Кампенгаузен писал временщику: «Дозвольте, мой милостивец, чтоб я вас мог с чистого сердца поздравить с наступающей именинницей вашей!» — «Вчера, в четверток, после малого повечерия,— пишет Фотий князю Голицыну,— в тонцем сне пребывал и присные мои дали

[1] «Человеческая трагикомедия» *(нем.)*.

[2] «История — это роман, который был, а роман — это история, которая могла бы быть» *(фр.)*.

покой очима своима и веждома своима дремание. И се глас нечеловечь, а собаки некоторые лаяли и визжали и ко святым вратам бросались, а всадники на конях трубили в трубы и хлопали бичами. Я выслал служку вопросить — какие ради нужды монастырь окружили? Некий человек, подобием мифологический центавр, ответствовал — якобы заяц в монастыре скрывается. А у меня заяц в монастыре давно пребывал, под камнем жил (писано бо есть: «камень прибежище зайцем»), и кормил я его руками своими и того зайца центавры из монастыря изгнали и псам на растерзание отдали, а некоторая пестрая псица старцу Досифею рясу, подаренную Анною, изорвала. Защити, друг великий!» Князь Голицын, очевидно, боится быть невнимательным к просьбе своего «друга», который, в случае надобности, сумеет, конечно, обратиться и в ядовитого недруга. Он спешит написать новгородскому губернатору и, довольно двусмысленно отвечая Фотию, что очень грустит, что «нарушили безмолвие» последнего, «необходимое для спасения души», тут же подделывается под его тон, находя, что «враг темный и оскверненный всегда с нами и за нами и несть, яже укрыться от него...» Новгородский губернатор оказывается, однако, человеком довольно наивным, хотя и исполнительным. По собранным им лично сведениям, заяц затравлен дворовыми Аракчеева «по приказанию Анастасии Федоровны, для ее стола и сдан повару Порфирию». Эти же дворовые застрелили трех частных гусей дьякона Островидова и изжарили крестьянскую овцу, делая все это именем Анастасии Федоровны... Дело начинает принимать скверный оборот, ибо таким образом обнаруживается, что «враг темный и оскверненный» — не кто иной, как наложница всемогущего временщика, даже заочно называемая не иначе, как только по имени и отчеству... Но находчивый и еще более исполнительный капитан-исправник в два-три хода разыгрывает запутанную партию, чреватую последствиями. «Получив словесное повеление вашего превосходительства,— рапортует он губернатору о расследовании затравленного зайца,— оный заяц, по негласным сведениям и присяжным показаниям, оказался не монастырским, монастырский же, по поймании оного, будет доставлен отцу архимандриту. Касательно гусей, то отец дьякон от оных отказался и признал таковых перелетными, а люди, распространявшие тревожные слухи, заключены в тюремный замок».

Дело покончено — и в том, *как* оно покончено, нет ничего неправдоподобного. Если вдуматься, то за дьяконом, вынужденным признать своих гусей перелетными, и за «влетевшими в острог» владельцами овцы нарисуется целая картина раболепной суматохи и всякого насилия, предпринятого для «замазанья» дела. И картина эта едва ли даже преувеличена. Стоит вспомнить хотя бы приводимые Ровинским, в его речи к судебным следователям в 1860 году, примеры того, как производились следствия во времена его молодости, т. е. уже в сороковых и пятидесятых годах. Эти крестьяне, высланные в Москву из Рязанской губернии по этапу для отобрания от них подписки, что они представят украденные у них тулуп и поддевку для оценки, забытой при возвращении им вещей; эти купцы, жалующиеся на кражу у них четырех бочонков сельдей и попадающие, совершенно неожиданно, сами под следствие о том, откуда они этих сельдей взяли и имеют ли право торговать ими; этот мещанин, томящийся в остроге по обвинению в праздной езде по улицам,— конечно, мало чем уступят дьякону с гусями и крестьянам с овцою...

Видев лично и пережив ту тьму, которую сменил свет преобразований Александра II, Горбунов с душевной радостью рисует признаки обновления, совершавшегося у него на глазах. Не раз в своих позднейших произведениях с глубокою благодарностью он обращается к памяти освободителя. Но движение вперед и изменение сложившегося строя не может, несмотря на свою желательность и историческую неизбежность, не иметь и теневых сторон. Городская жизнь, чрезвычайно развившаяся в последние годы, с ее фабриками, отхожими промыслами и нездоровыми приманками, действует на деревню в своем роде опустошительно, внося разложение в ее нравственные и бытовые устои. Горбунов, со свойственной ему правдивостью, отмечает это влияние. «С.-Петербург от нас далеко,— говорит у него «В дороге» крестьянин-извозчик,— которые вот с нашей стороны живут там в половых или по мастерству по какому — придет в деревню и сейчас себя так означает, что с нашим мужицким разговором и не подступишься. Куцую штуку наденет — спинжак, что ли, по-ихнему, и так он понимает, что в спинжаке в этом вся сила... Беда эти санкт-петербургские спинжаки. Другой горечь, а доказывает!» — «Не по закону ты жить стал»,— говорит старуха записавшемуся

в мещане.— «Тетушка Матрена,— отвечает тот,— надень спинжак-то, и ты по-другому заживешь. В деревне за сохой ничего не обучишься,— соха — она соха и есть. Простой кто ежели человек»...— «Что ж ты соху-то позоришь? — прерывает его старый крестьянин,— соху-то нам бог в руки дал!..» — «Матушка, Фекла Семеновна, один ведь раз живем,— восклицает купец, привыкший «чертить»,— один раз живем!.. — Помрем — все останется... Ведь не в лаптях ходим, голубушка, есть на что!..» — «Что ты про лапти говоришь,— отвечает богатая старуха-купчиха,— я сама в лаптях хаживала. Ты лапти не кори».— «Я не к тому».— «То-то не к тому! Покойник сертук-ат надел, когда весь свой полный капитал скопировал, да и то, бывало, говорит: неловко, Семеновна, давай опять поддевку надену — поддевка-то, говорит, нас с тобой выкормила»...

X

Не одна разговорная великорусская речь в ее видоизменениях сообразно общественному положению изображаемых лиц была искусным орудием в умелых руках Горбунова. Знаток бытовой истории древней Руси, он превосходно владел языком различных периодов XVII и XVIII века. Этим языком писал он письма к приятелям, на нем излагал многие свои рассказы и представлял оценку разных событий, бытовых явлений или официальных порядков. Но не в одном выработанном внимательным изучением источников языке состояла художественная особенность Горбунова. Он умел всем своим умственным складом переселяться в эпоху, соответствующую языку, понимать и улавливать ее особенности и говорить о том или другом современном нам явлении, оставаясь в пределах миросозерцания этой эпохи и общественной среды, к которой принадлежал пищущий или говорящий. Он пренебрегал нетрудною, при известном знании языка, задачею — изобразить мысли и взгляды нынешнего человека словами и оборотами старинного языка; у него за безупречною точностью этого языка всегда слышался и современный языку человек в том виде, в каком нам представляют его историко-бытовые исследования Соловьева, Забелина, Костомарова, Пыпина, Тихонравова и др. Поэтому, когда какая-нибудь грамота или письмо Горбунова переносят читателя в давно прошедшее время,

яркими чертами рисуя тогдашнюю действительность, перед ним встают — воевода на далекой границе русского царства,— посланный за западный «рубеж» боярин,— подьячие, приказные, подсудимые,— московские «запойные и заблудные» люди,— и наконец сам «верховой (т. е. придворный) скоморох Ивашка Федоров», как любил называть себя И. Ф. Горбунов.

Замечательным доказательством глубокого искусства, с каким владел старым русским языком Горбунов, служит между прочим указание Т. И. Филиппова на то, что составленное им описание поездки русского боярина в Эмс ввело даже книжных археологов в недоумение, так что ученый знаток старины П. И. Савваитов счел это описание за копию с подлинного статейного списка XVII века и удивился, что уже и в то время за границею существовала рулетка. Точно так же ввел многих компетентных лиц в заблуждение относительно своей подлинности, благодаря своему выдержанному языку, и составленный Горбуновым указ царя Алексея Михайловича о немцах и еретиках.

Ряд шуточных приветствий и наставлений, написанных Горбуновым на церковно-славянском языке, показывает, что и с ним он был знаком основательно и мог бы, пожалуй, не уступить в этом знании Костомарову, оставившему много превосходных писем на этом языке, образчиком которых может служить недавно опубликованное письмо к Н. П. Барсукову от «недостойного и паче всех человек грешнейшего старца Николая еже на реце Неве суща», от 24 ноября 1862 г. Вот, например, «статьи, како увещати глаголемого лампописта», т. е. москвича, излюбившего приготовляемый в лучших московских трактирах особый напиток из пива, сахару, лимона и поджаренного хлеба, называемый *Лампопо* (пополам). «Рци ми, о ламписте, коея ради вины к душепагубному и умопомрачающему напою — алемански же речется лампопо́ — пристал еси? Не веси ли, о ламписте, егда ти сущу в пьянственном пребывании вси беси великого града Москвы, со слободы и посады, ликоствуют и гласом радования восклицают: се, книжник лампопистом содеяся и сыном отца нашего Вельзевула учинися; руками плещут, очима помизают. Оле, твоего безумия лампописте! Не имаши тайного зрения и не разумеваеши, яко в белых ризах, окрест тя стоящие, не слузи гостинника Тестова, а беси ярославские, от них же главоболез-

ненные напои приемлеши; не веси, нерадения твоего ради, яко дым, исходящий из сосуда — дыхания Вельзевуловы суть».

Я говорил уже о том, как интересовала Горбунова Судебная реформа. Видевши во всей красе простоту и стремительность старого, административного суда в московских захолустьях, отправляемого полицейским комиссаром, он описал свои впечатления, по поводу воспоминаний о редкой раскольничьей рукописи, будто бы озаглавленной «О некотором комиссаре, како стяжал, и о купце», в которой якобы говорится: «Не бог сотвори комиссара, но бес начерта его на песце и вложи в него душу злонравную, исполненную всякие скверны, во еже прицеплятися и обирати всякую душу христианскую». Немногим лучшие впечатления вынес он и из знакомства с общими судами и теми паразитами, которые ютились около них, благодаря формальным узам, опутывавшим преисполненное всякого рода затяжек и отсрочек судопроизводство, не имевшее дела с живым человеком, а лишь с ворохом бумаг. В рассказах его мелькают яркие фигуры иверских юристов-дельцов и ведомых лжесвидетелей, заседавших в Охотном ряду в трактире «Шумла», где «ведалось ими и оберегалось всякое московских людей воровство, и поклёпы, и волокита». Любящая народ душа Горбунова почуяла всю важность судебного преобразования не только в смысле водворения правосудия, но и в смысле поднятия народной нравственности. Он стал посещать суды, живо интересуясь не одним исходом дел, но и самым их процессуальным движением, вникая во все его особенности. Ему чрезвычайно был дорог в особенности суд присяжных. Исход и самое возбуждение таких дел, как, например, дело властного миллионера Овсянникова, обвинявшегося в поджоге мельницы, или дело опиравшейся на обширные связи игуменьи Митрофании, немыслимые при старых судебных порядках и связанных формальною рутиною деятелях, радовали его несказанно и служили материалом для разнообразнейших вариантов в его рассказах в дружеском кругу.

Живая мысль его переносилась в далекое прошлое и рисовала суд присяжных в рамках и условиях этого прошлого.

Результатом этого явился в 1878 году указ тогдашнему председателю петербургского окружного суда «от го-

сударя, царя и великого князя окольничему нашему, Анатолию Федоровичу».

«Били нам челом всяких чинов люди,— говорилось в указе,— емлют де с них в разбойном приказе подьячие деньги не малые, волочат и убытчат без рассудку. И нам бы, великому государю, их пожаловати — велети для сыску татинных и разбойных, и убивственных дел быти человеку доброму, кому б в таких делех можно было верить. И мы, великий государь, всяких чинов людей пожаловали, велели тебе, Анатолию, сидети в разбойном приказе безотступно и всякие татинные и разбойные дела ведати. И кому грешною мерою учинится смерть, или который человек удавится или, вина опився, сгорит или кто меж собою подерется хмельным делом и убьет, и про то сыскивать подлинно — и которые людей волочат и убытчат, и тех людей ведати и оберегати и расправу промеж всякими людьми чинити безволокитно — и в поклепных искех, и в подмете, и в бою, и в грабежу, и кто крадет, и разбивает, и до смерти людей убивает, и в какой сваре зубом ухватит и нос отъяст,— и женский пол и девич, которые, по насердке, на всяких чинов людей блядню сказывают для своей бездельной корысти потому ж сыскивати на́крепко всякими сыски. И кто в городе корчму держит и татинною рухлядью промышляет,— и мнишецкого чину и гостиной сотни запойных людей и чаровниц и которые девки в скоморошестве оголяются, глазами помизающе, скверного ради смешения — сыскивати подлинно. А какова вора или татя или убийцу изымают и приведут и видоков ставить к кресту к целованию. А учнут видоки показывать подлинно и у него дворы и животы описывати и сажати в тюрьму до указу. И будет воровство его и в каких причинах он бывал сыщется до пряма, выняв из тюрьмы, судити в разбойном приказе при всенародном множестве, а в помочь ему ставити подьячего доброго, который бы вины его очищал. Да для сиденья ж в разбойном приказе пожаловали мы, великий государь, велели выбирать судей по двенадцати человек да по два из лучших, средних и молодчих людей, добрых, небражников, которые б были душою прямы и всем людям любы. И тех людей приведчи к крестному целованию, а доводчику велети воровы вины честь. А как доводчик вины его прочтет и тебе, Анатолию, ставити его с видоки на очи и допрашивати на́крепко. А как подьячий учнет воровы вины очищать и против того подьяче-

го потому ж говорить. А слушав ваших речей, выборные судьи пойдут в другую палату, за приставы, чтоб сговору какого промеж их с народом не было. А пришед в палату судят сопча боевой час и больши, чего вор доведется. И будет вышедчи скажут, что за вором вина есть и тебе судити по уложению. А будет учинишь ты не по уложению, а тот вор или тать, или убойца, или корчемник ударит челом в нашу царскую думу, что учинил ты не по уложению и того вора судити вдругорядь иными судьи. А тебе, Анатолию, будет учинил ты не по уложению с простоты — вины нет; а будет учинил ты по на́сердке на того вора, или татя, или убойцу, или корчемника — наша царская опала с записью в разрядной книге».

К этого же рода удивительным — по правдивости языка, по стилю и по краскам — документам относится написанная в семидесятых годах, во время возникновения в Петербурге обширного дела о скопческой ереси, челобитная самого Горбунова, будто бы вызванного в качестве свидетеля по подобному же делу в конце XVII века (когда и самой скопческой ереси еще не существовало) с рассказом о том, как и о чем он был допрашиваем. К сожалению, многие существенные ее части, заключающие тонкую сатиру на одностороннюю оценку доказательств в подобных делах, неудобны для печати. Приходится ограничиться лишь небольшими выписками из этой жалобы Ивашки Федорова, который «бьет царю челом» и повествует, что «изыман я приставы и волочен пеш до губные избы и великие от того их волочения мне, сироте твоему, чинены убытки: однорядку вишневую, твое государево жалованье, изодрали всю без остатка и однорядочка к светлому дню у меня нет. И губной староста, да подьячий учали меня бить и за волосья таскать и истерзав довольно стали говорить распросные речи с пристрастием: «На Москве живучи, Ивашка, ты лихих людей знавал ли и за пьянством с ними ходил ли? И будет ты лихих каких людей знавал и еретичество их ведал, с Гурием на б...ню ходил ли? И ходючи с ним у него ... видел ли?» Следующие затем вопросы поразительны по своей неожиданности, художественны в своей непосредственной наивности и в то же время вполне соответствуют сущности преступления, в котором обвиняется впавший в ересь Гурий. Допрос оканчивается требованием сказать: «и он Гурий убоину ел ли и смердящую бесовскую богоненавистную табаку пил ли? Да он же Гурий на Москве

живучи, ежедень скрывался — и по тебе, кто скрывал и норовил ему ведомоль?» Но усердие тогдашнего следователя, несмотря на энергические и чувствительные аргументы, предшествовавшие допросу Ивашки, не исторгает ничего полезного для дела по существу, ибо «я, сирота твой, памятуючи страшный суд, против тех распросных речей сказал прямо вправду: на Москве живучи в скоморохах — лихих людей не знал: всяких заблудных, и зерщиков, и скоморохов, и мнишецкого чина и гостиной сотни запойных людей знал довольно — и за пьянством с ними ходил, и составные затейные слова говаривал, а кто Гурия легчил и где ныне те... то мне неведомо, а он, Гурий, человек смирный»...

Если приведенная выше грамота соответствовала идеальному для своего времени судопроизводству, то челобитная эта соответствовала печальной действительности, когда свидетель мало чем отличался от подсудимого. Стоит припомнить Котошихина, житие Аввакума и т. п. Вообще трудно жилось русскому человеку в XVII веке. С востока и запада враждебно окружали его иноземцы, возбуждая его крайнее недоверие,— чуждые ему по вере, по образу жизни, по языку,— всегда могущие то угрожать силою, то действовать хитростью и коварством. Против всех надо было быть настороже. Но, зорко следя за ними издалека, не мешало узнать и поближе, что они за люди и каким обычаем живут. И вот из-под пера Горбунова выливается сначала письмо из Эмса, а потом, в 1885 году, донесение царского воеводы о битве на Кушке. «В нынешнем 377 году,— так начинается письмо,— прислана мне твоя, великого государя, грамота. Написано: «Ехать тебе, Ивану, в разные города немецкого государства и смотреть тех городов люди и нам, великому государю, отписывать... и ехав землями немецкого государства не грабить, не пьянствовать и с немцами разговорные слова говорить и ответ держать примерившись, с вымышлением, бояся нашея опалы и жестокого истязания безо всякие пощады. А будет который начальный немецкий человек спросит — какие ради нужды послан? говорить: послан для его великих государевых дел. А даров ему не давать. А прилучится который немчин прошать будет, и тому дать кормы небольшие за деньгами на пиво, по три алтына на человека». Наш XVII век в своей речи и воззрениях так и глядит со всех строк письма! Оказывается, что «город Емца не велик, а стал он

в горах, а в нем вода живая, а та вода шипит... и у которого человека нутро болит, али утин, али порча, али ина хворь, и дохтуры тоя болезнь своим дохтурством смотрят и ту живую воду велят пить и голым в той воде сидеть. А люди московского государства тоя воды не пьют, а пьют они ренское во множестве и здравы бывают. А ренское вино доброе»... Затем идет описание рулетки, столь смутившее Савваитова отпечатком правдивости, положенным на него искусною рукою Горбунова. «Палата построена каменная,— повествует боярин,— большая, а в ней сидит немчин и *вралетку вертит* и *прыгунца пущает* — беленький, не велик. А круг того немчины народное множество — и иных государств люди, и жиды, и езовиты, и женки, и девки, и старые бабы, и воровские заблудные люди — и кладут тому немчину золотые амбургские и угорские и ефимки, и немчин те деньги емлет и вралетку вертит почасту».

Если царскому боярину пришлось увидать много интересного за границею, то царскому воеводе (генерал-лейтенанту Комарову, разбившему афганцев на Кушке и занявшему город Пенде 18 марта 1885 г.) пришлось пережить тревожные минуты, требовавшие стойкости и большой решительности.

Он стоял с «великого государя ратными, пешими и конными людьми на Кушке-реке, и ведомо ему учинилося, что англинские люди ссылаются с афганским мурзою и говорят воровские развратные речи, наговаривая, чтобы со своими татары съединячась к злому воровству их пристал и против твоих, великого государя, ратных людей учинил бой, и мурза, предався в неискусен ум, тех речей слушал...» Желая кончить дело миролюбиво, воевода ссылается с мурзою, но тот указывает, что ему велено слушать англичан, причем «королевин англинский капитан» (сэр Чарльз Ует) посылает письмо воеводе, который отправляет своего уполномоченного (подполковника Закржевского) говорить с англичанами. «И сшедчись говорили. Англинские люди говорили: вы де в Индею идете. А полуполковник с товарищи говорил: мы де в Индеи будем, когда наш великий государь похочет. А таперьво мы в Индею не идем,— а пришли для бережения новых государевых городов, которые ударили челом великому государю, чтобы быть им со всеми людьми под его высокою рукою.— А буде государь ваш похочет и вы в Индею пойдете ли? — Коли великий государь, его

пресветлое царское величество похочет, и в том будет его воля, и мы в Индею пойдем того ж числа, как указ будет.— А зачем-де вам идти в Индею: у вашего государя земли довольно? — У государя нашего земель много, и ум не вместится, а в Индею нам идти, чтобы милордам вашим, и купцам, и прочим королевиным англинским людям над московским государством дуровать было негораздо. И как мы будем в Индеи и вам то будет за страх, а московскому государству утешение.— И пив боевой час ренское, разошлись». Вопрос остался открытым и наутро мурза ударил с татарами на государевых людей, но они бились и «крепко-стоятельно», так что татары, «видя над собою великого государя ратных людей промысел и жестокий приступ и пожарное разорение — побежали розно, а англинские люди, сняв порчонки, тож побежали, и город Пинжа от татар и англинских людей очистился, а мурза англинского королевина капитана за бороду драл: в своей-де земле вам не сидится, пришли к нам заводить смуту». «А город Пинжу (Пенде) я взял для прицепления оного к твоему великодержавному скифетру»,— кончает воевода свое донесение, приобретающее, благодаря Горбунову, почти эпический характер по содержанию и выдержанности языка.

Излишне доказывать верность этого языка и тона, господствующего во всех приведенных произведениях Горбунова. Каждый, читавший различные бумаги конца XVII века, оценит бытовую и стилистическую их близость к несомненным подлинникам и даже законодательным актам, вроде Уложения царя Алексея Михайловича. Достаточно привести хотя бы следующий отрывок из следственного дела 1692 года: «Да он же Дмитрий Тверитинов, будучи перегибателен не токмо духом, но и телом и утешно-вежливо говоря и мастеря совратился в люторову ересь — и других соврати...» или часть челобитной ушедшего из турецкого плена стрельца. «И шел я,— говорится в ней,— холоп твой Ивашка, с товарищи своими через многие земли наг и бос, и во всяких землях призывали нас на службу и давали жалованье большое, и мы, холопи твои, христианские веры не покинули, и в иных землях служить не хотели, и шли мы, холопи твои, на твою государскую милость. Милосердный государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея России! Пожалуй меня, холопа твоего, с моими товарищи за наши службишка и за полонское нужное терпение своим цар-

ским жалованьем, чем тебе праведному и милосердому государю об нас бедных бог известит», причем на оборотной стороне челобитной имеется помета думного дьяка: «751 г. июня в 20 день государь пожаловал тому стрельцу... велеть дать корму по 2 алтына, а достальным всем детям боярским по 8 денег, казакам по 7, пашенным крестьянам по 6 денег, для того, что освободились без окупу и отослать подначало к патриарху для исправленья, для того, что у папы приимали сакрамент». Или, наконец, можно привести челобитную царю Алексею Михайловичу от первых русских актеров, подьячего Василия Мешалкина с товарищи: «По твоему великого государя указу, отослали нас, холопей твоих, в немецкую слободу для изучения комидийного дела к магистру Ягану Готфрету, а твоего великого государя жалованья корму нам, холопем твоим, ничего не учинено, и ныне мы, холопи твои, по вся дни ходя к нему, магистру, и учася у него, платьишком ободрались и сапоженками обносились, а пить, есть нечего, и помираем мы, холопи твои, голодною смертию. Пожалуй нас, холопей своих: вели, государь, нам свое великого государя жалованье на пропитанье поденный корм учинить, чтоб нам, холопем твоим, будучи у того комидийного дела, голодною смертию не умереть».

Способность свою переноситься в XVII век, становясь в способах выражения и самом миросозерцании своем человеком этого века, Горбунов применял не только к очерку порядка вещей или событий более или менее значительной важности. Он любил излагать таким образом иногда мелкие происшествия своей жизни и вообще сноситься с приятелями, причем его юмор усугублялся челобитным тоном. Так, в альбом покойного Михаила Ивановича Семевского он записал целый шутливый рассказ о путешествии своем с товарищем своим Бурдиным по Волге и Каме, для совместного участия в спектаклях и чтениях. «Бьет челом,— пишет он,— сирота твой государев, потешного приказа скоморох Ивашка Федоров. Жалоба мне, государь, того же приказа на скомороха на Федьку Алексеева. В нынешнем году сошел я на струге вниз по Волге-реке до Перми великие для своих сиротских промыслишков...» Описав, как к нему на струг (пароход) вышел у Работок навстречу товарищ и «крест целовал, чтобы ехать вместе и что божьей помощью испромыслим делить на две стороны ровно, а ему чтобы раз-

вратные речи не говорить и не ругаться; а мне, Ивашке, едучи с ним, с Федькою, Камою-рекою, на берег и в леса не сбежать», Горбунов жалуется, что «ныне тот Федька, забыв страх божий и крестное целование, умышляет дурно: в расчетах творит хитрость, а себе корысть, ест псину и мертвечину и иное скаредное и пьет почасту; да он же, Федька, рейтарского строя с маеором играет в зерны и от той его игры стал он без порток. Царь-государь! Смилуйся,— восклицает он,— пожалуй, чтобы мне от того Федьки не придти в конечное разорение!» Так, в 1890 году, Горбунов написал послание в Москву, начинающееся словами: «Ведомо нам учинилося» и содержащее в себе великолепный и подробный рассказ о том, как в белокаменной, во всех бражных станах и у «немчина Яра» в мясопустную седьмицу пьянство преумножается и в каких действиях оно выражается. Рассказ этот по характеру деяний «бражников» совершенно невозможен для передачи в печати, ибо описывает недвусмысленным и любящим точность языком XVII столетия те безобразные сцены, которыми сопровождаются обычный в некоторых слоях нашего общества и в народе масленичный разгул и «чревонеистовство», доводящее до разбирательства у мировых судей и выражающееся, между прочим, в том, что «в мясопустную седьмицу на Москве все убогие дома и бражные тюрьмы полны увечными, избитыми, опившимися и умопомраченными». Послание кончается так: «И как, к вам ся наша грамота придет и вы бы заказывали накрепко, чтобы московские люди от горького пьянства отстали и во всю мясопустную седьмицу в домех своих сидели и во всяком благочестии пребывали, а кому по нужде, сидеть не можно и те бы мимо бражных станов не ходили, а случится идти мимо бражных станов, шли бы не озираючись, памятуючи жену Лотову. А которые боярские дети не послушают и по бражным станам ходить будут и тех из бражных станов выбивать силою и сапоженки сымать и платьишко отбирать до указу...»

В начале XVIII века, в образный и цельный по своему источнику русский язык, особливо в язык официальный, вторглась масса иностранных слов, замутивших его чистоту и придавших ему новый, странный и очень часто несимпатичный характер. Одним из свойств его сделалась изломанность и деланность, с которыми потом пришлось бороться до XIX века, причем настоящий русский язык постепенно завоевывал свои одно время поруганные пра-

ва и, наконец, стал снова на высоту, вызвавшую трогательную просьбу Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает Пушкин,— обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием: в руках умелых оно способно совершать чудеса!..»

Еще при Петре, в распоряжениях, указах и законодательных актах, в его письмах слышится прекрасный старый язык наш. «Не суетный на совести нашей возымели страх»,— пишет он по поводу духовного регламента. «Не рабствуя лицеприятию, не болезнуя враждою и не пленяясь страстями»,— говорит он в другом месте. Письма его, изданные академиком Бычковым, полны оборотов и выражений конца XVII века, но иностранные слова уже часто внедряются среди них и сплетаются с ними, по временам без всякой нужды, не имея себе оправдания даже и в некоторой бедности старого языка для выражения отвлеченных понятий. «Воюя тайным коварством на истину в образе правды»,— пишет Петр в одну из тяжелых минут своей великой и многотрудной жизни — и в то же время увековечивает в одном из указов, вставляемых по его повелению в зерцало, такие выражения, как «чинить мины под фортецию правды...» Но после Петра наш официальный язык, проникающий все более и более сверху вниз, портится гораздо сильнее, особливо при Анне Иоанновне и в первые годы царствования Елизаветы Петровны. В указах говорится о «делах штатского течения», являются названия «парадная бета» (ложе), «каструм долорис» (при похоронах), «драдорная (drap d'or) материя», «синтура (ceinture) фунеральная» и т. п. Можно бы привести множество подобных выражений, указывающих ничем не оправдываемое пренебрежение к родному языку, но это не имеет отношения к предмету настоящего очерка. Упоминать о языке XVIII века приходится лишь для того, чтобы сказать, что и он был знаком Горбунову, хотя им он пользовался гораздо реже. Так, *история о некотором зайце* начинается со следующего письма Петра Великого, в котором в точности соблюдена даже орфография государя: «Мингеръ граф,— Зазаеца благодарствую і тово заеца насмешкажь на асамблеи съели і івашку хмельницкава многажды неленосно тревожили понеже заецъ вельми жыренъ был и шпігусом зело чінен чаели и животу не быть да сілою ідействіем івашки

іпредстательствомъ отца нашего всешутейшего Кура живы сущі и ѳздравіи пребываемъ і отомъ подлино вамъ отъ пісываю». Даря М. И. Семевскому редкий литографированный портрет цесаревича Константина Павловича с подписью: «Константинъ первой, императоръ Всероссийскій», бывший в продаже лишь самое короткое время и затем из нее изъятый после оглашения отречения великого князя от престола, Горбунов пишет: «Прилагаемая при сем персона (так в первой половине XVIII века назывался портрет) сукцессора в надлежашей конфиденции у вас находиться имеет, и никому генерально оную не объявлять и от подлых (т. е. от простонародья) всячески скрывать надлежит, дабы какой бездельный человек малоумием своим сатисфакции не учинил и в тайную канцелярию о сем не донес; а я милостивцу впредь служить готов...» В одной из своих милых и продуманных письменных шуток, которую он любил рассказывать и на память, Горбунов последовательно разрабатывает один и тот же предмет на языке трех столетий, с тонкою обрисовкою перехода от добродушного индивидуализирования, свойственного распоряжениям старины, к формалистическим приемам, любимым бюрократической практикой настоящего.

«Бьет челом и плачется сиротишка твой, государев, разбойного приказа писчик Павлик»,— начинается челобитная XVII века, в которой «писчик» объясняет, что приказано ему сидеть в приказе безотступно, получая половинное жалованье против других подьячих, да сапоги, да однорядку и шапку,— но так как первые поистлели, а вторая износилась, отчего «в приказ ходить нудно: пальцы притягивает и ногам тягота великая» — то и просит велеть себя, сиротишку, обуть. На челобитной оказывается помета: «Объявлено государево жалованье: дать однорядку, да сапоги, да шапку».

Иная уже резолюция на челобитной XVIII века. Просителю приказано его сиятельством генерал-аншефом, генерал-адъютантом и преображенского полка бригадиром быть в юстиц-коллегии у письменных дел без срока, а затем от той же коллегии последовало распоряжение — от оной коллегии отставить. «А мне, нижайшему, при холодной атмосфере, жить в резиденции невозможно. А посему...»,— пишет он и добивается неожиданного распоряжения — «определить ее императорского величества на молочный двор для смотрения, а корм оттуда же нату-

рою». Нетрудно заметить тонкую разницу в характере и языке этих ходатайств. Писчик Павлик — при несложности правительственной машины своего времени обращается к власти, так сказать, непосредственно, ссылаясь лишь на то, что «он, сирота, сидючи в разбойном приказе, о твоем великого государя деле радел...» Дворцовые перевороты средины XVIII века и развитие служебного механизма сказываются во втором ходатайстве. Уже считается необходимым сослаться на то, что проситель определен на службу по приказанию сильного человека и, быть может, временщика, вроде Бирона — и на то, что он, нижайший, служил «интересу» своей повелительницы. Очевидно, что между этим нижайшим и сиротишкою XVII века недаром протекло целое столетие воспоминаний и наблюдений. Пришлось сделаться не простым просителем, а дипломатом. И как умел Горбунов придать последней челобитной надлежащую окраску! Как невольно видится за нею целый период истории, про который граф Никита Панин докладывал Екатерине II: «Сей эпок заслуживает особое примечание, в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах», и когда не только просители из «сирот» обращались в «нижайших», но когда даже сенаторы подписывались «всеподданнейшие и природные В. И. В. рабы», а генерал и обер-прокуроры называли себя, в официальном рапорте 1744 года, «по присяжной всеподданнической рабской должности и верности всепоследнейшими рабами».

Прошение XIX столетия, склонного вообще стушевывать личность пред государственными или даже фискальными требованиями, не потребовало много времени на прочтение. «Прослужив беспорочно тридцать лет,— пишет проситель,— и не имея возможности, при настоящей дороговизне хлеба и мяса...» «По непредставлению марок оставить без последствий»,— отвечает ему резолюция надлежащего начальства...

XI

Отношение И. Ф. Горбунова к театру и сцене было двоякое. Он был, в ряде своих исследований, историком русского театра. Он был с 1854 года артистом на сцене императорского театра — сначала в Москве, а потом, с 1855 года,— в Петербурге.

Роль театра в России была с половины XVIII века очень видная. Его влияние на наши нравы несомненно, и бывали периоды, когда он являлся настоящею, просветительною, в широком смысле слова, школою для общества. Недаром в воспоминаниях современников о сороковых годах, когда лучшие представители и наиболее яркие проявления благородных сторон общественного развития сосредоточивались преимущественно в Москве, мысль о сцене Малого театра почти неразрывно сливается с памятью о Московском университете — и имена Грановского, Иноземцева и Крылова переплетаются с именами Мочалова и Щепкина. Нельзя, быть может, сказать, чтобы русское общество было жадно на театральные зрелища, но что оно всегда было восприимчиво к тому, что ему дает сцена,— это едва ли подлежит сомнению. Такая сознательная восприимчивость, рождающая строгую оценку и критику, помогла русскому театру, несмотря на его, сравнительно с Западной Европой, недавнее существование, стать на надлежащую, а в некоторые годы даже и на завидную высоту. Еще при Екатерине II, всего чрез сто лет после проникновения к царскому двору представлений вроде интерлюдий или «малой прохладной комедии о преизрядной добродетели и сердечной чистоте в действе о Иосифе» — мы уже имеем национальную сцену с прекрасными исполнителями и собственным репертуаром. Неизмеримая пропасть лежит между пониманием публики, посещающей театр во второй половине XVIII века, и наивным взглядом посла московского царя к флорентийскому двору — Лихачева, который писал в 1658 году: «Комидий было при нас во Флоренске три игры разных», причем его заинтересовало вовсе не содержание и исполнение пьес, а то, что «объявилися палаты — и быв палата, и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же палатах объявилося море, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди; и почали облака и с людьми на низ опущаться, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли; да спущался с неба на облаке сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица; а аргамачки под коретами как быть живы, ногами сподрягивают...»

Вот почему история нашего театра достойна глубокого и внимательного изучения. Это вместе с тем в значительной степени и история господствующих в обществе

настроений и вкусов. Но исследование ее может быть производимо с троякой точки зрения. Можно направить труд на систематическое изложение введения и упрочения театра в России, правительственных мер к этому и постепенного развития в театральном деле частного почина. Это будет, так сказать, *внешняя история* театра. Можно сосредоточить изучение на проявлениях влияния театра на народ и на значении его, как одного из факторов развития общественного самосознания и художественного понимания, изобразив постепенное изменение репертуара и, если можно так выразиться, взаимодействие сцены и зрительной залы. Это будет *внутренняя история* театра. Можно, наконец, обратиться к жизни и личным свойствам представителей сценического искусства, к особенностям их дарования, к их способам исполнения — и в ряде живых образов показать, как понимались и истолковывались подлежащие сценической передаче произведения искусства в разные периоды существования у нас театра. Это будет в сущности самая трудная, но и самая интересная *критико-биографическая история* сцены. Нет сомнения, что полная история русского театра должна заключать в себе все три рода исследований. Но такой истории, требующей громадного труда, знания и личных сведений, у нас еще нет. Есть лишь ряд чрезвычайно почтенных ученых исследований Тихонравова, Морозова и др., преимущественно по внешней истории театра, есть интересные опыты изучения внутренней истории его. Но критико-биографическая часть разработана сравнительно гораздо меньше. Отдельные воспоминания и записки современников слишком отрывочны и субъективны, исторические материалы для точных выводов еще недостаточны и не всегда строго проверены — и в попытки критико-биографической истории театра иногда вносится, быть может, невольно, значительный элемент фантазии. Между тем славные имена русской сцены — Волков, Плавильщиков, Рязанцев, Шушерин и др.— заслуживают серьезных биографий. Горбунов со строгою разборчивостью и кропотливостью археолога собирал точные данные для таких биографий, тщательно проверяя их достоверность и отмечая, не без боли, как он сам сознавался, разные позднейшие украшения и сочувственные вымыслы. Из его рук, в разных повременных изданиях и преимущественно в наших исторических журналах, стали выходить фрагменты цельной и верной биографической ис-

тории театра. Он занимался этим делом очень усердно и был очень строг к себе, лишь после долгой проверки выпуская на свет свои статьи или читая их в «Русском литературном обществе». Наряду с этим он собирал воспоминания о русских артистах, их портреты, письма, старые афиши, официальные бумаги, до них относившиеся и т. п. Из этих предметов, из этих вещественных воспоминаний о прошлом составилось ценное собрание, помещенное им в фойе Александринского театра.

Горбунов охотно отдавался воспоминаниям о прошлом русской сцены, которую любил искренно и горячо желал видеть всегда на неизменной высоте. Он благоговел пред именами Садовского и Мартынова. Садовский разбудил в нем талант рассказчика. Встречаясь с Горбуновым в «молодой редакции» «Москвитянина», он имел на него большое влияние. Будучи сам превосходным рассказчиком, владея в совершенстве даром говорить вызывающие неудержимый смех вещи с самым серьезным лицом, Пров Михайлович дал своими рассказами первый толчок вдумчивому юмору Горбунова. Последний, однако, не был его подражателем, а пошел своею дорогою, не переставая чтить и прославлять своего «пробудителя». У Садовского было, по-видимому (к величайшему сожалению, рассказы его не собраны, и те, кто их слышал лично, постепенно сходят в могилу), больше соли, но и больше сочиненности в том, что он передавал в дружеской беседе. Его повествования о французской революции, о Наполеоне на острове Эльбе, причем слово Эльба переделывалось более чем своеобразно, и другие рассказы были полны захватывающего юмора. Стоит припомнить описание острова, на котором заточен великий полководец: «Ни воды, ни земли,— одна мгла поднебесная и союзный часовой ходит!» Несомненно, что так мог говорить простой русский человек, поставленный в исключительное положение рассказчика исторического эпизода и передающий его по-своему, но у Горбунова этот русский человек, представленный в условиях своей обыденной жизни, проще и глубже. У Садовского — особенность языка, картин и выражений; у Горбунова — не только это, но и особенность миросозерцания и отношения к жизни. Русский человек у Садовского нам забавен, у Горбунова — нам близок и понятен...

Когда в очерках Горбунова говорится о театре, в них, например, в «Белой зале», в «Рыбной ловле» и др., по-

стоянно упоминается с чувством благодарного уважения имя Садовского. «Ты знаешь ли, где скрывается талант у актера?» — спрашивает новичка старый провинциальный актер, Хрисанф Николаевич, и отвечает: «В глазах! Посмотри когда-нибудь в глаза Садовскому... А у Мочалова какие глаза-то были. Я имел счастие играть с этим великим человеком в Воронеже. Он играл Гамлета, а я — Гильденштерна».— «Сыграй мне что-нибудь».— «Я не умею, принц». Он уставил на меня глаза — все существо мое перевернулось. Лихорадка по всему телу пробежала. Как кончил я сцену — не помню. Вышел за кулисы — меня не узнали».— «Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке!» — и губы старого актера дрожат, а глаза наполняются слезами...

Садовский и Мочалов недаром сливаются в памяти Хрисанфа Николаевича. Сам Садовский рассказывал, что когда, после многих мытарств, он поступил, наконец, в 1839 году на московскую сцену, дебютировав в водевиле «Любовное зелье, или Цирюльник-стихотворец» *, ему пришлось играть маленькую комическую роль после представления «Короля Лира». Занавес над умершим страдальцем-королем опустился, театр гремел от рукоплесканий. Вполне уже одетый, Садовский встретился за кулисами с Лиром — Мочаловым, шедшим в уборную,— и тот взглянул на него так, что Садовский совершенно потерялся. Перед ним стоял вовсе не Мочалов, а настоящий король,— «король от головы до ног»,— и столько было огня, душевной муки и глубины в его взоре, все еще как будто устремленном на Корделию, что у будущего знаменитого артиста почти подкосились ноги. Образ Садовского сливался у Горбунова с воспоминанием о собственном его дебюте в Москве, в 1854 году, который совершился под руководством и с благословения Садовского, в бенефис последнего, причем Горбунов играл роль молодого купца в пьесе Владыкина «Образованность».

Образ другого знаменитого артиста, служителя и воплотителя жизненной правды на сцене, А. Е. Мартынова, дорогой и близкий Горбунову, был у него, по его личным заявлениям, неразлучен с постановкою на петербургской сцене «Грозы» Островского, в которой Горбунов играл свою лучшую роль — Кудряша. Горбунов благоговейно собирал все, что относилось к памяти о Мартынове, и часть добытых им материалов о последних днях жизни и кончине его поместил в «Русской старине». Те, кто видел

этого поистине великого русского артиста, не забудут, не в состоянии забыть его — и непередаваемые звуки голоса молодого Кабанова пред трупом жены: «Это вы ее убили, маменька, вы!» — конечно, часто звучат в их ушах при мысли о Мартынове. Тяжела была судьба этого богато одаренного человека... Поступив, благодаря совершенной случайности, в театральное училище в Петербурге, он был предназначен быть «первым танцовщиком», затем готовился в декораторы и, наконец, был выпущен на сцену на комические роли. Он исполнял их мастерски. Недаром известный итальянский певец Лаблаш, сам выдающийся комик, на вопрос — чему он смеется, глядя на игру Мартынова на неведомом ему русском языке, отвечал: «По-русски я не понимаю ни слова, но я понимаю Мартынова». Но комизм был не исключительною и не главною чертою таланта Мартынова. В смехе русского человека почти всегда есть нота затаенной скорби. «Горьким смехом моим посмеюся!» Была эта нота и у Мартынова, и какая нота! Медленным и тяжелым путем вела его судьба, заставляя смешить заразительно и неудержимо, в то время, когда под его «видимым смехом» давно уже накипели «незримые миру слезы». Эти слезы пробились, наконец, благотворною и возвышающею душу струею в строго драматических ролях Мартынова в пьесе Чернышева «Не в деньгах счастье» и в особенности в «Грозе» Островского. На месте актера, одно появление которого еще недавно, в каком-нибудь нелепом водевиле вроде «Дон Ронуда де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть» (sic!), возбуждало громкий, заранее готовый, смех зрительной залы,— внезапно вырос человек, властно и могущественно заглядывающий в самую грубину потрясенного сердца зрителей и силою своего гения делающий его лучше, чище, добрее... Роль молодого Кабанова была апогеем славы Мартынова, она же была и его лебединой песнью. В августе 1860 года его не стало. Восприимчивое общество шестидесятых годов почувствовало свою потерю, и похороны тела высокого художника, привезенного из Харькова, были первообразом того, что пришлось впоследствии видеть на похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. «Гроза» была поставлена образцово во всех отношениях. Линская была удивительная Кабанова. Холодом веяло от нее. Снеткова создала поэтический и цельный образ Катерины, а сцена свидания Кудряша-Горбунова с Варварой-Левкеевой была проведена им с такою

жизненною правдою и эстетическим чутьем, что заставляла забывать, что находишься в театре, а не притаился сам, теплою весеннею ночью, на нависшем над Волгою берегу, в густой листве, в которой свистит и щелкает настоящий соловей.

Горбунов дебютировал на петербургской сцене 16 ноября 1855 г. в бенефисе Леонидова, в пьесе Стаховича «Ночное», и вслед за тем выступил публично рассказчиком сцен из народного быта. В этой последней роли являлся он преимущественно и всего охотнее во все время своей сценической службы. Здесь он был самим собою, не стесненный в своем творчестве заранее данными рамками и задачею. Он вступил на сцену в счастливую эпоху перерождения театрального репертуара. Герои мелодрам и трагедий, которым приходилось, например, предлагать злодею пить яд не только под «ножом Прокопа Ляпунова», но даже и «под анафемой святого царства», уступили место представителям так называемых «фрачных ролей», и тонкий художник, как В. В. Самойлов, не был более вынужден изображать чухонца и петь ломаным языком якобы патриотические куплеты вроде «лайба плыл моя не пуст, как я шел на Тавастгус»... Сцена приблизилась к жизни, и драматургия наша, под влиянием Островского, Потехина, Чернышева и др., стала проще, и выше, и серьезнее. В бытовых ролях комедий Островского Горбунов бывал нередко очень хорош. Мы уже говорили о Кудряше, в лице которого он изобразил памятную и типическую фигуру. Не менее хорош был он в Афоне («Грех да беда, на кого не живет») и в Грише («Воспитанница»). Но, вообще говоря, он был актером посредственным. Некоторые мелкие подробности в гримировке, в одежде — иногда бывали у него чрезвычайно удачны и поражали бытовою правдивостью, но в общем его исполнение в комедиях современного репертуара, написанных на тему той или другой злобы дня, совсем не выделялось над общим уровнем. И это оттого, что он сам был вполне самостоятельный художник, сам творец, а не только истолкователь содержания чужих произведений. Его самобытная и творческая натура, чуждая условных и предвзятых приемов и способов, вовсе не была склонна к простому, хотя бы и талантливому выполнению данного рецепта. Поэтому, за исключением некоторых, пришедшихся ему вполне по душе ролей, пред зрителем всегда стоял Иван Федорович Горбунов, а не представляемое им,

выведенное автором лицо. Но так как автор не всегда имел в виду изобразить именно Ивана Федоровича, то видевший Горбунова на сцене часто и не выносил из игры его какого-либо яркого впечатления, подобного выносимому из сцен, передаваемых им в качестве рассказчика.

Не представляя ничего выдающегося как актер, Горбунов, однако, глубоко понимал сценическое искусство и любил его сознательно, тревожась за его судьбу всегда, когда оно, по его мнению, уклонялось от своего настоящего пути... Любил он и его представителей, с их трудными шагами вначале, с их тернистым, несмотря на успехи, путем — позже. В его очерках есть полные теплого участия картины быта провинциальных актеров. Жизнь многих из них, полная лишений, неуверенности в завтрашнем дне, тягостных отношений с антрепренерами, трагикомических встреч с «меценатами», разочарований в себе наряду с болезненным самолюбием и самообольщением, проходит перед читателями этих очерков.

«Ну, бог тебя благословит,— говорит старый актер Хрисанф Николаевич молодому человеку, начинающему свою артистическую карьеру,— может, посчастливится, будешь знаменитым актером... Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя на сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине Шуйском». Старайся! Не свернись! Вышел на сцену — забудь весь мир. Ты служишь великому искусству!»

В этих же очерках встречаются, очевидно, выстраданные замечания очевидца тех перемен во вкусах и настроении публики, которые невольно переживала наша сцена. Горбунов отмечает, как летописец, целые эпохи в истории современного сценического искусства в России. Он описывает публику низшего уровня в смысле развития и впечатление, произведенное на нее, когда в половине шестидесятых годов, «с обнаженными чреслами» показалась на сцене «la Belle Hélène», отчего встрепенулись и молодое поколение и старцы, «и охватила,— говорит Горбунов с горечью,— оперетка все мое любезное отечество «даже до последних земли». Где не было театров, она располагалась в сараях, строила наспех деревянные павильоны, эстрады в садах и т. п. Появились опереточные антрепренеры из актеров, из проживших помещиков, из артельщиков, был один отставной унтер-офицер, один ла-

кей и т. п. Бросились в ее объятия достойные лучшей участи девушки, повыскакивали со школьной скамьи недоучившиеся молодые люди... Актеры всех столичных и провинциальных театров были «поверстаны» в опереточные певцы... «Даже слава и гордость русского театра,— продолжает он с негодованием,— П. М. Садовский, уступая не духу времени, а требованию начальства, должен был напялить на себя дурацкий костюм аркадского принца». Когда, таким образом, драма была вынуждена,— по выражению Горбунова,— «посторониться», что обошлось не без борьбы, на помощь оперетке вдруг появился куплет. «В один прекрасный вечер выскочил на сцену в черном фраке,— повествует Горбунов,— *куплет* и запел:

Денег в России нет,— смело
Каждый готов произнесть.
Нет у нас денег на дело —
На безобразие есть!

— Браво! — закричали поврежденные нравы и задумались.

— Правда! Чудесно! — закричал Назар Иванович, поглядывая на Ивана Назарыча: «Расчесывай, расчесывай хорошенько!» И стал куплет расчесывать поврежденные нравы. И распространился тоже по всему лицу земли русской и засел не только в театре, но и в клубах, и в трактирах, даже на открытом воздухе... Почтительно отошел в сторону и дал дорогу куплету веселый водевиль, много лет царивший на сцене...»

XII

Мой беглый и далеко не полный очерк творческой деятельности вполне народного художника закончен. Остается добавить к нему краткие сведения и воспоминания о личности И. Ф. Горбунова.

Приходится поступить вопреки обычному правилу французских авторов, которые ставят впереди «l'homme»[1], а затем изучают «l'oeuvre».[2] Быть может, в некоторых случаях, где человек и его дело не сливаются между собою органически или где известные части того, что он произвел, не могут быть достаточно ясно поняты и оценены без знания свойств его ума и характера и особен-

[1] «человек» *(фр.)*.
[2] «произведения» *(фр.)*.

ных условий его жизни — такой прием и необходим, облегчая задачу исследователя и труд читателя. Но это нужно далеко не всегда. Часто в практической деятельности человека, в его творческой работе высказываются сами собою такие свойства его личности, что существенные и достойные сохранения от забвения черты его духовного образа выступают сами собою, свободные притом от излишних подробностей. Разве в борьбе Ровинского с дореформенными судебными порядками, в его работе по созданию Судебных уставов и в его исследованиях в области русского искусства не чувствуется его нравственный и художественный облик? Разве доктор Гааз, вопиющий в тюремном комитете, провожающий далеко за Москву идущие по этапу партии арестантов и грозящий губернатору «ангелом господним», который ведет «свой статейный список», не виден в этом со всею своею глубоколюбящею и гневною за людей душою? Так и Горбунов смотрит из совокупности того, что он писал и рассказывал, всею своею личностью. Для внимательно перечитавшего его разбросанные сцены, припомнившего его рассказы и вдумавшегося во все это, должно становиться ясным, что и как чувствовал и думал Горбунов, т. е. должен раскрываться душевный склад, составляющий главное в личности человека.

Поэтому можно ограничиться немногими дальнейшими сведениями о Горбунове. Он родился в 1831 году, в семье служившего при копнинской фабрике (Московской губернии и уезда) дворового человека помещицы Баташевой, Федора Тимофеевича Горбунова. К отцу и матери сохранял он всю жизнь нежное уважение. Очень не любя переписки вообще, он сообщал им, однако, подробно о всех своих шагах в Петербурге, в начале своей артистической карьеры. В трудные минуты он просил мать помолиться за него и высказывал уверенность, что благодаря этому все кончится прекрасно. «Материнская молитва,— говорит он в письме от 22 апреля 1855 г.,— со дна моря вынимает», и подписывается «покорным сыном и преданным другом». Религиозное чувство не покидало его никогда. Оно сильно привлекало его и к проявлениям своего внешнего выражения. Он знал «писание» и многие части нашего богослужения наизусть,— любил читать памятники церковной письменности, в предсмертные свои дни с видимым удовольствием слушал чтение «Цветной Триоди». Он не только любил простой русский народ, но

он имел радость сливаться с ним в одном чувстве безыскусственной и нелицемерной веры. Учился и воспитывался он в Москве, в училище, учрежденном при Набилковской богадельне, основание которой описал впоследствии в рассказе о холерном бунте в Замоскворечье. Затем он был учеником Второй и Третьей московских гимназий.

Время его учения не оставило в нем хороших воспоминаний. «Бывают минуты,— говорит он в письмах другу в июле 1855 года,— когда я вспомню «лета моей юности, лета невозвратно минувшего счастья»,— вспомню о своих бездарных и тупоголовых учителях и вечно нетрезвых надзирателях, вспомню своего чадолюбивого инспектора, который для более вящего поощрения нас в науках хотел заменить розги каким-либо более чувствительным инструментом,— вспомню и покойного директора, который заставлял нас насильно читать в свободное время Макробиотику Гуфеланда».

Он вышел из шестого класса и был, следовательно, в смысле формального багажа знаний, недоучкою. Но недоучка этот проникал на лекции в университет, водился со студентами, и, несмотря на свою крайнюю бедность и необходимость бегать по урокам в Замоскворечье, учился живому знанию родной истории и родного слова самостоятельно, упорно и плодотворно, удивляя впоследствии разнообразием своих сведений. Свежее и тонкое критическое чувство помогало ему разобраться во всей массе жадно прочитываемого, а огромная память прочно забирала в себя все недостойное забвения. Так выработался из него человек с достаточным общим образованием и специалист в области русской словесности, имевший определенные и серьезно обоснованные литературные вкусы и взгляды.

Отсутствие определенного общественного положения заставляло, однако, окружающих долго смотреть на молодого Горбунова «свысока», и ему жилось тяжело. «Помните,— пишет он в 1856 году в Москву своей знакомой С. И. И., объясняя, почему считает ее своим искренним другом,— помните, когда меня отнесли к числу людей никуда не годных, когда я, не видя никакого исхода, прозябал в Сыромятниках,— вы одни протягивали мне руку и говорили со мной по душе».

Знакомство в начале пятидесятых годов с «молодою редакцией» «Москвитянина» — и, следовательно, с Островским, Садовским, Писемским, Аполлоном Григорь-

евым, Алмазовым, Эдельсоном, Т. И. Филипповым и А. А. Потехиным — имело большое влияние на развитие Горбунова. Кружок молодой редакции распознал в скромном рассказчике «Утра квартального надзирателя» и сцен из быта фабричных настоящего художника и, по выражению Т. И. Филиппова, «усвоил себе» Горбунова. Поощряемый новыми знакомыми, последний стал вдумчивее и серьезнее относиться к своим рассказам и записывать их. Так приготовил он для печати несколько своих сцен. В это же время он стал «грешить», как сам выражался, стихами. Один его романс был положен на музыку известным Дюбюком. В письме к С. И. И., от 18 февраля 1855 г., он приводит свой перифраз стихов Григорьева для пения, «Гитара», посвященный ей. Вот их начало:

«Говори хоть ты со мной,
Душка семиструнная!
Грудь моя полна тоской...
Ночь такая лунная...»

«Видишь — я в ночной тиши
Плачу, мучусь, сетую!
Ты допой же, доскажи
Песню недопетую!»

В начале 1855 года Тургенев, имевший случай слышать в Москве рассказы Горбунова, и Писемский, живший в это время в Петербурге, стали усиленно звать Горбунова в Петербург. Весною того же года он, не без большой тревоги о том, как устроится его жизнь, приехал на их зов и стал появляться в обществе как рассказчик сцен из народного быта. Новизна у нас того рода искусства, представителем которого был Горбунов, и отсутствие в петербургском обществе первой половины пятидесятых годов настоящего и живого интереса к бытовой жизни народа, быть может, могли бы долго не давать возможности проявиться в истинном свете и продолжать развиваться далее его таланту. Город, в котором, по выражению одного немецкого писателя, «улицы постоянно мокры, а сердца постоянно сухи», мог запугать и лишить энергии молодого артиста в новом, мало знакомом дотоле роде творчества. Трудно было ожидать и серьезной оценки, и поддержки со стороны тогдашней *эстетической* критики, разменявшейся, по смерти Белинского, на мелкую и стертую монету общих мест и близоруких суждений. Сам Горбунов вынес из ближайших встреч с некоторыми представителями тогдашней печати не особенно выгодное

о них мнение. «С петербургской литературой,— пишет он отцу своему,— я познакомился: купцы, а не литераторы!» Не все, однако, были купцы, и среди них светился кротким и согревающим огоньком высокоразвитой князь Владимир Федорович Одоевский. Его познакомили с Горбуновым, приютившимся в это время у драматического актера старой школы и прекрасного, по общим отзывам человека,— Леонидова, в старинном петербургском доме Жако-Шамо, у Чернышева моста. Одоевский, глубокий знаток искусства, оценил талант молодого рассказчика и значение его сцен из народного быта. Приглашенный на знаменитые субботы Одоевского, причем хозяин умел с любовью и свойственной ему тихою восторженностью дать ему случай проявить свое дарование как следует, Горбунов завоевал себе симпатии слушателей и, благодаря этому, пред вступлением на петербургскую сцену уже пользовался известностью и некоторою поддержкою в обществе. Это придало ему, как видно из его писем того времени, бодрости и энергии. Но Одоевский пошел дальше. Он представил Горбунова одной из замечательнейших женщин, посланных судьбою России,— великой княгине Елене Павловне. Чуткая душой, богато одаренная и глубоко образованная, сильная волей и умом, игравшая большую роль в начинаниях преобразовательного царствования, великая княгиня любила отыскивать, приближать к себе и поддерживать талантливых людей во всех областях знания и деятельности. Одоевский знал, что она оценит и дарование Горбунова и что ее проницательному пониманию не будут чужды сцены из быта того народа, которому — мыслью и словом — она служила так, как служат своему родному. Он не ошибся, и Горбунов нашел в Елене Павловне не только усердную слушательницу своих рассказов, но и покровительницу, предстательство которой открыло ему врата петербургской казенной сцены, что в свою очередь помогло ему упрочиться в Петербурге.

В этом Петербурге провел он затем сорок лет, сделавшись одним из популярнейших в нем людей. Но ни его известность, ни общепризнанность его таланта, ни связи и отношения с самыми разнообразными общественными сферами не имели влияния на его душевный склад и на отношения его к людям. Он неизменно оставался человеком простым и скромным, добрым и нерасчетливым. Его жизнь вовсе не была свободна от терний. Он изведал на

своем веку и клевету, и зависть,— он постоянно должен был заботиться о заработке,— он знал горечь безусловной подчиненности и, подобно Садовскому, вынужден был играть Меркурия в «Орфее в аду». Его рассказы очень часто, если можно так выразиться, расхищались и обесцвечивались неумелым исполнением и произвольными, иногда пошлыми вставками. Под его именем издавались сборники фальсификаций, в которых, употребляя выражение Тургенева, знание народного быта «и не ночевало».

«Иван Федорович», иначе «Ванюша Горбунов», был желанным гостем повсюду. «На него» приглашали, его пребыванием у себя хвастались, встречу с ним в гостях, в собрании, в дороге — считали счастливым и завидным случаем. И это потому, что ему всегда было радостно доставить кому-либо удовольствие. Отсюда вытекала его широкая готовность служить своим талантом, и служить щедро, без всяких ломаний и необходимости упрашивания. Когда он появлялся среди гостей, преимущественно за трапезою, все уже были уверены, что само собою сделается то, что вдруг среди собеседников окажется *генерал Дитятин* или что Иван Федорович, улыбнувшись нерешительно и обведя всех глазами, начнет какой-нибудь из своих бесподобных рассказов. Он бывал не в силах отвечать на общие ожидания молчанием, в спокойной уверенности, что его имя и известность уже «сделаны». Его простой и ласковой душе претило расчетливо и постепенно снисходить на просьбы. Как электрическая банка, он был всегда заряжен живыми образами и давал блестящую искру при первом прикосновении. Но бывали случаи, когда он должен был страдать глубоко. Проснувшийся в нем, иногда не взирая на обстановку, глубокий артист и художник болел душою от окружающего его непонимания. Очень часто гостеприимные и любезные собеседники, в отделанной «в стиле» столовой или в изящном салоне, восхищались лишь тем, *как* он рассказывал, не проникая в то, *что* он рассказывал, или, уловив одну внешнюю сторону, ложно истолковывали смысл и значение слышанной сцены. Годами установившиеся отношения, нежелание «огорчить», добродушие и терпимость, переходившие в значительной мере в слабость характера, делали то, что у Горбунова не хватало силы ограничить круг своих слушателей лишь теми, кто его действительно понимал, и понимал притом правильно. С другой сторо-

ны, его художественная натура приобрела потребность высказываться, делиться своим богатством и, мечтая о *понимании,* часто довольствоваться одним лишь общим *вниманием* окружающих. Французская поговорка: «Qui a bu — boira»[1] применима не к одним любителям хмеля. Для артиста, для художника становится необходимым то, что итальянцы выражают словом «ambiente», которое обозначает одновременно и привычную среду, и условия, и обстановку. Нуждался в этом «ambiente», хотя бы и неполном и не удовлетворяющем его самолюбие художника, и Горбунов. Этим злоупотребляли часто, и так как по чрезвычайной своей скромности он не умел «импонировать» и дать, где нужно, почувствовать свою цену, то в некоторых кружках, преимущественно в так называемом «свете», сложился тот взгляд на него, о котором я говорил в начале настоящего очерка.

«Забавник» всегда рассказывал прекрасно, но когда среди смеха и рукоплесканий, в конце обеда или ужина, приведенные в веселое настроение гости забрасывали «генерала Дитятина» нелепыми вопросами или приставали к Ивану Федоровичу с просьбами о таких рассказах, в которых игривая форма преобладала над содержанием или самое содержание было нецензурно, его глаза смотрели грустно и на губах появлялась мимолетная горькая складка. Быть может, в шумном одобрении окружающих ему слышалось в эти минуты безжалостное: «смейся, паяц!» итальянского композитора... Мне передавали, что раз, после одного из таких ужинов, где рассказанные по настойчивой просьбе присутствующих сцены особого рода, построенные на воспоминаниях о молодом «кипеньи крови и сил избытке» были приняты гораздо более восторженно, чем глубокие сцены из народного быта, Горбунов, возвращаясь поздно ночью на извозчике, стал с горечью говорить своему молодому спутнику о замеченном им оттенке в одобрениях. В его голосе слышались слезы обиды за себя и за искусство, и вдруг, круто переменив тему разговора, взволнованный и разгоряченный, он с умилением стал говорить о русской литературе, и ее лучших представителях, и о том, что «они не умрут». Известен, впрочем, случай, где, не зная, как отделаться от назойливых приглашений светской дамы, желавшей непременно «видеть своим гостем Ивана Федоровича», он приехал,

[1] «Кто начал пить — тот будет пить» *(фр.)*.

был чрезвычайно «корректен» в своем белом галстуке и фраке и, проскучав весь вечер, уехал, не рассказав ничего...

Если светский и бюрократический Петербург не щадил подчас души художника, то хлебосольная Москва, где он всегда бывал желанным гостем, не щадила и его здоровья, выражая свою симпатию к нему непрерывными пирами и неотступными угощениями, вредно влиявшими на него и, ввиду его слабого характера, создававшими поводы к преувеличенному представлению о его привычках и наклонностях. Но Москву любил он нежно, и в ней ему дышалось легче, чем в Петербурге. Все лучшие воспоминания молодости и первых опытов творчества влекли его к ней. Каждый год он непременно бывал в Москве великим постом и оставался до фоминой недели. Когда наступала пасхальная заутреня и над чутко затихшим городом, с ярко освещенными, бесчисленными церквами раздавались первые могучие удары колокола Ивана Великого, когда торжественно настроенная толпа на Кремлевской площади зажигала свечи, а в дверях старинных соборов показывались хоругви крестных ходов, Горбунов уже был тут, внимательно вглядывающийся и вслушивающийся во все проявления народного настроения на великом празднике. Его пленяли московский говор, московская старина, где «ведь каждый камень говорит». Он знал историю московских улиц и урочищ, изучил своеобразные обычаи Замоскворечья старых лет, поверья и привычки московского простонародья. Ему были знакомы московские «заведения» со всеми особенностями не только их кухни, но и их привычных посетителей. Он изучил на практике, что́ такое «воронины блины»,— сошедшие ныне со сцены «пироги под скрипкою» на Тверской и — знаменитая когда-то, незаменимая столовая в «Сундучном ряду». Коренной москвич просыпался в нем, снисходительный к недостаткам Белокаменной, ценитель ее скрытых достоинств, ревнивый поклонник ее старины, восторженный почитатель незабвенного прошлого Московского университета, пред которым этот «недоучка» преклонялся. Недаром, познакомясь в Петербурге с молодым студентом и полюбив его, Горбунов принес ему в подарок портрет Грановского и просил беречь его, как святыню. Новое, выхваченное из недр Москвы, выражение или просто отдельное словечко внушало ему, бывало, детскую радость. Однажды, попав случайно, при посещении

приезжего приятеля, в незнакомое московское семейство, он, обреченный судьбою слышать обыкновенно правильную, но бесцветную русскую речь петербургских образованных дам и девиц, был так восхищен оригинальными, живыми оборотами разговора молодой москвички, выросшей среди традиций старого московского дома, что остался, разговорившись с нею и прислушиваясь к ее умной, чисто русской, колоритной и образной речи, целый вечер, далеко за полночь, заставив напрасно поджидать себя в других местах. «Ведь как она меня за сердце застегнула! Как застегнула!» — говорил он на другой день приятелю, восхищаясь языком своей мимолетной знакомой.

Нежный, заботливый семьянин, нетребовательный к жизни, умевший понимать чужое горе, расточительно щедрый, когда у него были деньги, Горбунов был чужд эгоистической замкнутости или унылого настроения духа. Он слишком любил для этого людей вообще. В личных отношениях он был всегда готов на услугу, постоянно приветлив и весело шутлив. Не любя оставаться без занятия, он в заседаниях ученых обществ или серьезных собраниях, прислушиваясь к происходящему, излагал свои подчас скептические выводы в письменных подражаниях (иногда на старинном языке), неожиданных стихотворных пародиях или в других шутках... «Же дор, тю дор, иль дор и т. п.»,— написал он однажды на клочке бумаги, отвечая на вопросительный взгляд соседа в конце чтения ученого исследования, которое не отличалось ни ясностью, ни живостью. «Сидящоу же честно́му синоду и сладце дремлюще внимающе гласоу ярости исходящоу из оуст и т. д.»,— изобразил он полууставом, с украшенной завитками первой буквою, сидя в одном из ученых сборищ. Как истинный русский человек, он любил шутить и над самим собою и рассказывать разные недоразумения, случавшиеся с ним, конечно, вследствие необыкновенной простоты, с которою он себя держал. Не раз вспоминал он, как однажды, на охоте с Некрасовым и его друзьями, они расположились закусывать; он пошел открывать консервы, и когда проголодавшийся и нетерпеливый Некрасов крикнул ему: «Ну, Ванюша, поскорее!», то один из загонщиков, видя его простое русское лицо, подбежал к нему и тоном приказания сказал: «Слышь, Ванька,— поживее! Вишь господа требуют!» *. Рассказывая о первых своих артистических шагах в Москве, он передавал, с не-

обыкновенной образностью и живостью, свое первое свидание с всевластным в Москве графом Закревским, который зачем-то его потребовал. Молодого человека провели во «внутренние покои» генерал-губернаторского дома, где камердинер, чистивший в уборной комнате, через которую пришлось проходить, графские рейтузы, посмотрел на него с внушительным презрением. Закревский обошелся с ним приветливо, проводил его до дверей кабинета и в знак особой ласки приложил свою гладко выбритую щеку к его щеке, произведя на воздух звук поцелуя. Камердинер это видел и, когда юноша Горбунов проходил мимо, подскочил к нему, захлебываясь от умиления, произнес: «Граф вас полюбили!!» — и чмокнул его в плечо.

Живой юмор не покидал Горбунова и тогда, когда он повествовал о своих невзгодах. Описывая, например, свою артистическую круговую поездку с известным певцом Мельниковым, он помещает, в качестве эпиграфа к письму, выписки из кратких описаний Воронежа по географиям Гейма, Арсеньева, Ободовского и др. и отрывки якобы из частных писем — гимназиста и актера: «Мамаша, если вы не возьмете меня из воронежской гимназии — я удавлюсь!...» и — «сборов никаких! На «Птички певчие» было 18 рублей. Я такого подлого города еще и не видывал...» «То есть, я вам доложу! — пишет Горбунов далее известной петербургской артистке,— гак намаяться, как мы с Мельниковым намаялись, не дай бог никому! Прислушайте, голубка... В оба эти спектакля термометр показывал 4°. Выходя на сцену, я физически находился в таком же положении, в каком каждогодно на масленице пребывают балконные комики. В Казани, 22 мая, господь бог послал снежку с северным ветерком и чуть-чуть не заставил нас отказать концерт. Мы поспешили в Саратов, думая там укрепиться. Погода благоприятствовала: было жарко, даже душно. По выходе в свет нашей афиши народ тронулся за билетами. *Баба* шла на Мельникова, а *дворянство* и *купечество* на Горбунова... Нужно вам сказать, что концерт наш давался на Волге, в летнем помещении дворянского собрания. Начала собираться публика, начали собираться и тучи. «Я помню чудное мгновенье»...— начал нежно Мельников, а на Волге заорал американский пароход... «Передо мной явилась ты»,.. а под окошком завизжала собака... «Проходим мы это с приказчиком с Иваном Федоровым» — начал Горбунов,—

грянул ливень, засвистали пароходы, забегали по террасе гуляющие. Так вся наша обедня... Приехали в Тамбов — там лошадиная ярмарка и лошадиные вкусы. У всякого в руках кнутовище, говорят только о лошадях и посещают только цирк. Что нам здесь бог пошлет,— уж и не знаю...»

В интереснейших личных воспоминаниях о былых литературных и сценических деятелях, и в особенности в воспоминаниях о Писемском, Горбунов был неистощим. Оригинальная, чрезвычайно талантливая, «неладно скроенная, но плотно сшитая» личность известного писателя, как живая, вставала перед слушателями и в обстановке частной жизни, и на литературных чтениях и в визитах исключительного свойства. В последнем отношении воспоминания Горбунова о поездке с Писемским, отличавшимся чрезвычайною трусостью, на корабль генерал-адмирала великого князя летом 1855 года, в виду неприятельской эскадры, стоявшей пред Кронштадтом, имели глубоко комический, несмотря на свою правдивость, характер. Около этого же времени Писемский, писавший тогда такую замечательную вещь, как «Тысяча душ», угрюмо сказал Горбунову о начинающем «великом писателе земли русской» по поводу «Севастопольских рассказов», отрывки из которых он только что прослушал: «Этот офицеришка всех нас заклюет! Хоть бросай перо...»

До конца жизни любил Горбунов молодежь. Он возлагал на нее большие надежды, не смущаясь временными и преходящими явлениями. Ему доставляло удовольствие приходить беседовать с молодыми людьми, знакомить их с русской жизнью, с ее реальными условиями, чаяниями и невзгодами, и рисовать перед ними поучительные картины прошлого. «Нас, батюшка,— говаривал он,— чаще спрашивайте, все расскажем, ничего не утаим...»

В конце восьмидесятых годов здоровье Горбунова сильно и заметно пошатнулось. Его чаще стали видеть задумчивым и иногда даже раздражительным. Упорный диабет подтачивал его крепкий и выносливый организм. Он стал рассеянным и, упорно отрицая свою болезнь, как будто внутренно «махнул рукою» на будущее, не желая серьезно лечиться. Но один раз в году, 14 сентября, празднуя день своих именин и собирая к себе — по давно заведенному обычаю — на кулебяку друзей и добрых знакомых, он оживлялся по-старому, рассылая свои приглаше-

ния на старинном языке разных эпох и поднося гостям остроумное меню строго обдуманной трапезы. «Худородный раб твоего благородия, зовомый Иванец, Федоров сын, Тимофеевича,— пишет он в одном из таких приглашений,— много челом бьет и извествует, что он, Иванец, в Воздвиженье честного и животворящего креста господня прилучился быть именинник. И тебе бы, государю, меня, Иванца, пожаловать моего хлеба-соли покушать и впредь меня, Иванца, в своей милости держать до скончания моего живота, а я тебе, государю, раб и служебник с женишкою своею и с детишками. А будут к естве сослужебник твоего благородия Николай Степанович, да царские казны оберегатель (да не имут царское) Тертий Иванович... А ества будет московская и иных городов, и с Дону и от реки великия».— «Высокородный господин,— пишется в другом приглашении,— случился я, нижайший, 14 сентября, в час пополудни, имянинник и соберутся ко мне, нижайшему, некоторые гости, и будет трактамент пирогом с грибами и разною конфетюрою и Вашему Высокородству, меня худородного и худоумного, пожаловать не презрить моей хлеб-соли, а я, нижайший», и т. д. На изящном меню, нарисованном покойным Богдановым к 14 сентября 1891 г., значились между прочим: ветчина московская, городская — *жамбон,*— марсала *на манер настоящей,* телятина — *лево,*— лафит *серпуховской,* высокий, *тревье* и т. д.

С утра в радостном и приподнятом настроении, с довольною улыбкой на устах, целуясь троекратно со своими посетителями, Горбунов сердечно наслаждался тем, что у него собрались люди, которых он любил и в искренность которых он верил, а быть может, и тем, что, тоже любя и ценя его, никто из них не смотрит на него с нетерпеливым любопытством и не ждет от него какого-нибудь, якобы увеселительного, рассказа.

В 1894 году он отпраздновал этот день в последний раз. Здоровье окончательно подломилось весною 1895 года, а к зиме на организм, уже подточенный разрушительным недугом, налетело воспаление легких, и 24 декабря Ивана Федоровича не стало. Он встретил смерть спокойно и с верою — и скончался без особых страданий. Русское общество лишилось редкого художника, в труде которого сочувствие к народу и знание народа переплетались неразрывно. Те, кто лично знал его и умел его понимать, потеряли еще больше. Они могли по месяцам и

более не видеть Горбунова, но им было отрадно сознавать, что он есть, что существует еще среди них этот милый и живой изобразитель народного юмора и представитель, в своеобразной форме, раздумья над русской жизнью. Теперь это сознание исчезло... Но память о Горбунове живет в душе его знавших. Ей не следует изгладиться и на страницах истории русского искусства и литературы.

Если мне удалось немного оживить эту память и хотя бы самыми слабыми и несовершенными штрихами дать выглянуть из-под коры поверхностных суждений и предвзятых взглядов образу настоящего Горбунова — моя цель достигнута...

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

1

Большинство путешественников, посещавших Швейцарию, конечно, знает высокую гору на озере Четырех кантонов, с которой на высоте шести тысяч футов открывается удивительный вид на лежащую внизу равнину, изрезанную железными дорогами, на поэтический Люцерн, на зеленовато-голубые озера, обрамленные гордыми скалами, и на цепь Альп Бернского Оберланда. Величественным блистаньем их белоснежных вершин при восходе солнца ездят специально любоваться, проводя для этого ночь на вершине Риги, в гостиницах, устроенных на площадке, именуемой Риги-Кульм.

Раннее утро и холодный воздух большой горной высоты заставляют обыкновенно всех ежиться и кутаться, быть хмурыми и скупиться на слова, покуда внезапно брызнувшие лучи восходящего солнца не заблистают на алмазных коронах окружающих гигантов и не вызовут выражений общего и шумного восхищения. Не раз наслаждался этой незабываемой картиной и я, ожидая, среди собравшихся со всех концов света туристов, торжественного момента, когда над сгустившимся в долинах и ущельях туманом и предрассветными тенями весело загорятся и заблистают снежные выси. У всех в это время на устах — да, вероятно, и на уме — бывало одно и то же, потому что над всем личным господствовала одна общая мысль о том, что должно вот-вот произойти... Но когда я посетил Риги-Кульм в последний раз летом, в начале прошлого десятилетия, произошло нечто необычное. Собравшиеся в очень раннее утро на вершине обменивались оживленными вопросами и замечаниями, в которых сквозила несомненная тревога по поводу чего-то, что должно было неминуемо, к общей печали, свершиться. Это *что-то* было напечатанное в вечерних газетах известие, что Лев Николаевич Толстой, бывший в это время тяжко болен, находится в безнадежном состоянии и что ежечасно надо ожидать его кончины. И люди, съехавшиеся из разных стран,— немцы, англичане, испанцы и, в особенности, американцы, были удручены одним и тем же. Их, перед восходом вековечного светила, тревожила мысль о том, что, быть может, в это время уже закатилось духовное светило, лучами которого столь

многие, чуждые ему по языку и по племени, надеялись осветить запросы неудовлетворенной души и смущенного сердца. И после великолепного зрелища,— заставившего некоторых, без сомнения, почувствовать то, что чувствовал Кант, созерцая звездное небо,— за ранним завтраком продолжались разговоры о Толстом, причем, узнав, что я русский (и на этот раз единственный в отеле), многие обращались ко мне с вопросами о том, знаю ли я его лично и можно ли верить газетному известию,— и далеко не одно простое любопытство слышалось в их словах.

Судьба, обыкновенно жестоко лишающая нашу родину выдающихся ее сынов в самом расцвете их сил, едва они успеют расправить свои крылья во всю меру своих способностей, на этот раз была необычайно милостива и сохранила нам Толстого еще на несколько лет. Приближается 80-летие его жизни, и он еще творит, как бы оправдывая могущий быть примененным к нему стих покойного Жемчужникова:

Но в нем, в отпор его недугам,
Душевных сил запас велик!

К этому дню, от предполагавшегося юбилейного чествования которого он отказался по таким трогательным, глубоким и задушевным основаниям, появится множество статей с оценкой творчества и деятельности, личности и значения «великого писателя земли русской». Представить верную и подробную его характеристику как писателя и деятеля, однако, очень трудно. Он еще живет среди нас, он слишком еще вплетен своими творениями в нашу ежедневную действительность, чтобы можно было говорить о нем вполне объективно. Вместе с тем большинство русских развитых людей,— не ослепленных бессильной по отношению к нему злобой и умышленным непониманием,— может сказать вместе с поэтом: «Сей старец дорог нам, он блещет средь народа...», и потому трудно говорить о нем совершенно беспристрастно.

Вот почему простые воспоминания о встречах с ним могут оказаться более своевременными, давая посильный материал для будущего историка и критика. Этот материал будет представлять собою нечто вроде отдельных кусочков мозаики, самих по себе не имеющих цены, но в своей совокупности, в руках искусного мастера, дающих возможность создать цельную, продуманную и гармоническую картину. Желая дать несколько таких ку-

сочков, я решился записать настоящие свои воспоминания о встречах и беседах с Львом Николаевичем. Но прежде чем обратиться к ним, мне хочется сказать два-три слова о том взгляде на Толстого, который предшествовал нашему личному знакомству, двадцать с лишком лет назад, и остался у меня неизменным до сих пор.

Соединение глубины проницательного наблюдения с высоким даром художественного творчества отражается во всех произведениях Толстого и дает ряд незабываемых типических образов. Будучи вполне *национальным* писателем по мастерскому умению освещать бытовые явления народной жизни, давая, как никто до него, понимать их внутренний смысл и значение, он в то же время был всегда и прежде всего вдумчивым исследователем человеческой души *вообще,* независимо от условий места и времени. Его сочинения — это целые эпопеи, в которых индивидуальная жизнь его героев сплетается с жизнью и движениями массы. Достаточно в этом отношении указать на его «Севастопольские рассказы» и на его удивительную по замыслу и исполнению «Войну и мир», в которых индивидуальное и общественное начала идут рядом, взаимно дополняя и освещая друг друга. Глубокая наблюдательность Толстого, которую отнюдь не надо смешивать с острой проникновенностью психологического анализа Достоевского, дает ему возможность в самых разнообразных явлениях жизни и в действиях самых разнородных людей подметить и изобразить стороны или черты, ускользающие во вседневной жизни от взора читателя. И последний остается пораженным их знаменательною правдивостью, иногда впервые увидав воплощенным в ярких художественных образах то, что он много раз на своем веку *видел,* но никогда сознательно не *замечал.*

На все человеческие отношения отозвался Толстой,— и что бы он ни изображал, везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды. Он сам, в одной из первых повестей своих, развертывая яркую картину одновременного проявления в группе людей, призванных на защиту Севастополя, высоких порывов человеческого духа и низменных сторон человеческой природы, определил задачу и основное свойство своего творчества. «Тяжелое раздумье одолевает меня,— говорит он.— Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бес-

сознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где выражение зла, которого надо избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей? Кто герой ее? Все хороши и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— *правда»*.

Но не одному *изображению правды* посвятил Толстой свой могучий талант. Он — даже в ущерб интересам литературы и объему своего художественного творчества — отдался *исканию правды*. Эта вторая сторона его деятельности не менее значительна, чем первая. Бестрепетною рукою всегда стремился он — в своих драматических произведениях, сказках, рассказах и повестях, в своих философских и этико-политических сочинениях — снять обманчивые и заманчивые покровы с житейской и общественной лжи, в чем бы эта ложь ни проявлялась—в теориях и практике, в традициях и учреждениях, в обычаях и законах, в условной морали и безусловном насилии. Взывая к *внутреннему человеку*, призывая его «совлечь с себя ветхого Адама», он страстными и убежденными страницами стремится доказать, что «царство божие» зиждется на вечных потребностях и запросах человеческой души, независимо и даже вопреки тем условиям, в которые хочет их поставить извратившееся в своих стремлениях человеческое общежитие. Можно не соглашаться с некоторыми отдельными его положениями или сильно сомневаться в возможности их целесообразного осуществления на практике, но нельзя не отнестись с горячим уважением к писателю, который не удовлетворяется заслуженною славой великого художника, а стремится всею силою своего таланта служить разрешению назревающих вопросов жизни, во имя и с целью уменьшения страданий и господства действительной, а не формальной только справедливости.

Ко всем вопросам, выдвигаемым жизнью или возникающим в глубине души, начиная с вопроса о семье и воспитании и кончая отношением к смерти, Толстой подходит с глубокой верой в нравственную ответственность человека перед пославшим его в мир, с убежденным словом о необходимости духовного самоусовершенствова-

ния, независимо от политических форм, среди которых приходится жить. Он будит совесть, ставя ее — и ее одну — верховным судьей жизни, побуждений и деятельности человека. Что бы ни писал Толстой,— он обращается к голосу, живущему в тайниках человеческой души, и, действуя страстным словом или яркими образами, блещущими правдивостью, заставляет этот голос звучать настойчиво и долго. Этим, конечно, объясняется популярность его имени и трудов далеко за границами России и то внимание, которое возбуждает к себе в Западной Европе и в Америке каждое его, даже незначительное по объему, произведение.

II

В ясное теплое утро 6 июня 1887 г. я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну. Я ехал туда по любезному и настойчивому приглашению Александра Михайловича Кузминского, который, будучи женат на сестре графини Толстой, Татьяне Андреевне Берс (авторше нескольких прекрасных рассказов из народного быта), жил в те годы каждое лето в Ясной Поляне. Он был моим преемником по званию председателя Петербургского окружного суда, и у него в доме я слышал удивительное чтение А. А. Стаховичем-отцом «Власти тьмы»,— чтение, всецело захватившее присутствовавших и взволновавшее собравшееся светское общество изображением глубокой драмы в среде, где предполагалось, на взгляд поверхностного наблюдателя, все простым, несложным и грубо-обыденным. Там же пришлось уже мне самому читать по рукописи «Крейцерову сонату» — и иногда останавливаться от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения, с которым следовало настоятельно знакомить всех молодых людей, вступающих в жизнь.

Есть произведения, оказывающие властное влияние на все миросозерцание, когда они своевременно воспринимаются молодою душой. Если верно замечание, что в смысле характера «дитя есть отец взрослого», то в смысле политических и общественных идеалов очень часто юноша — отец будущего деятеля. Недаром великий немецкий поэт напоминает юноше о необходимости, став взрослым мужем, относиться с уважением к «снам своей

молодости», а Гоголь восклицает: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымите потом!»

Такою книгою в годы моей ранней молодости было превосходное произведение Лабулэ «Париж в Америке», содержащее в себе, в увлекательном изложении и отчасти в фантастической форме, целый катехизис политической, общественной и даже, во многих отношениях, частной жизни. Таким может и должен являться рассказ Позднышева, способный установить чистый и облагородить уже установившийся взгляд на отношение к женщине и в то же время заставить молодого человека очень и очень призадуматься пред браком, заключаемым у нас столь часто с легкомысленною поспешностью при полном, под влиянием плохо прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им нравственных обязанностях по отношению к создаваемой «на скорую руку» семье.

Чувство смущения и некоторой досады на себя владело мною, покуда я ехал среди милых картин среднерусской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого,— и не мельком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении [Бильо] на Большой Дмитровке,— проживу под одной с ним кровлей два или три дня и узнаю его ближе; и эта-то именно неизбежность короткого знакомства и вызывала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну. Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся известностью людей лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по всем деяниям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что и «тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие «смягчающие обстоятельства», но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с составившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь, думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться, и, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто

встреченными мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фанатической нетерпимости к чужим убеждениям. Особенно в последнем отношении тревожила меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярым спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами, а я не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнения людей, создавшиеся самостоятельно, похожи на гвозди: чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось.

Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил А. М. Кузминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем, уже в десятом часу, все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время общего разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич!» Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской «Илиады», творец «Войны и мира». Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: проницательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты,— одновременный взгляд судьи и мыслителя,— и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой «шапоньки» и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце семидесятых годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь

встретились после продолжительной разлуки. После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим.

Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около девяти часов утра. До одиннадцати продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того что в Ясной одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В одиннадцать часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого; другие, преимущественно иностранцы,— бескорыстное, но подчас назойливое любопытство; третьи — тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с «великим писателем земли русской»; четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускною развязностью, иногда граничившею с вымогательством; пятые — корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в «беспокойной ласковости» их взгляда, как будто перелагавшего, в быстром соображении, каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливо и, где нужно, с серьезным участием, а жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запирался и становился невидимым для всех до пяти часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В шесть часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавались блюда растительной пищи. Полчаса после обеда проводились на террасе, выходящей в сад, за питьем кофе и куреньем. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под

руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и... курил папиросу самодельной работы! Тогда он еще позволял себе эту «слабость». После семи часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем двухчасовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными «частушками», вытесняющими, к несчастию, старую русскую песню. Лев Николаевич весело улыбался, прислушиваясь к тому, как молодые голоса выводили: «Били-били в барабан по всем городам», «Конфета моя леденистая, полюбила меня — молодца раменистого», «Наше сердце не картошка—его не выбросишь в окошко», «Дайте ножик, дайте вилку — я зарежу свово милку», «Стоит миленький дружочек — с выражением лица» и т. п. Около полуночи все расходились.

Все это происходило в обширном флигеле, уцелевшем от сгоревшего когда-то большого дома. На всем виднелись следы былого прочного довольства и зажиточности. Но все — и обстановка, и стены, и двери, и лестницы — было сильно тронуто временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные bibelots и petits-riens [1], которыми полны наши гостиные, а развешанные без всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам.

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминскими, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные

---

[1] Безделушки *(фр.)*.

части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали орудия и материалы сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время «Анна Каренина» и «Война и мир». У полок с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей ее части, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задушевный разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы.

С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом. Иногда, простившись со мною, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. «А какого вы мнения о Некрасове?» — спросил он меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. «Он был,— продолжал я,— одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но *порочный* человек не всегда *дурной* человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые *хорошие люди* подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко

бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скупости и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди — почти всегда пьяные люди, и пьяные люди — всегда добрые люди. Наконец, история нам оставила примеры «явных прелюбодеев», проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли». Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на «краешек», сказал мне радостно: «Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил,— это различие необходимо делать!» — и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли.

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов. Как нарочно, пред тем я совершил поездку по России и видел несколько типических отношений господ к мужику. Мне пришлось быть в имении в Малороссии и наблюдать шутливо-иронические разговоры между теми и другими в их взаимных сношениях, за которыми, однако, не чувствовалось не только никакой теплоты и искренности, но, напротив, виднелось большое взаимное недоверие и отчуждение, близкое к ненависти. Я провел неделю в поместье средней руки в средине России, где наблюдал фамильярно-заискивающее отношение помещика к зажиточным крестьянам-арендаторам и окружающим имение однодворцам, причем невольно бросалось в глаза вынужденное установление и соблюдение некоторого равенства не во имя какого-либо общего начала, а исключительно в целях выгод и удобства неотвратимого сожительства. Я прожил несколько дней в великолепном громадном поместье моего старого сослуживца, в черноземной полосе, и наблюдал то снисходительное и холодно-милостивое отношение к крестьянам, в котором виднелась полная обособленность двух миров — барского и мужичьего,— напоминавшая те отношения, которые, вероятно, существовали у медиатизированных немецких принцев к их бывшим подданным.

Ничего подобного я не нашел в Ясной Поляне. Отношения между семьею графа и соседями были просты и

естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и добрыми знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостаче,— лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискиванья и без холодного, брезгливого исполнения долга по отношению к «меньшему брату». Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем. Преувеличенные рассказы о кладке печей, пахании и т. п., дававшие повод к дешевому иронизированию со стороны высокомерных составителей фельетонных очерков и статеек, сводились в сущности к тому, что в лице Толстого крестьяне могли видеть не городского верхогляда и не деревенского лежебоку, а человека, которому знакомы по опыту тяжелый труд и условия их жизни. В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили: «Это мужик умственный, хотя и барин». В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, в Киев или в Оптину пустынь,— причем спутники считали его за *своего* и поэтому не стеснялись его присутствием,— с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоялых дворах. Было несомненно, что яснополянские крестьяне ни в каком случае не считали его одним из этих «господишек», а в их глазах он был по праву наследования и по личным своим свойствам старший, самый знающий и заслуживающий наибольшего уважения человек, называвшийся барином лишь потому, что жил в своем доме среди обширного поместья, а не в избе, и что к нему с почтением относилось начальство и всякого рода «господишки». Такой взгляд на него был очевиден и сказывался в ряде внешних проявлений, когда он, гуляя со мною, вступал в беседу с крестьянами или заходил в их дома. Всюду встречали его уважение и доверие и ни малейшего следа угодливой почтительности и льстивой суетливости. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и задушевные нотки.

Эти беседы припомнились мне с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмурив

брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о *рискованном* браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека «без положения и средств». «Да разве *это* нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно,— отвечал стоявший на своем собеседник,— вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое. С вашей стороны оно и понятно. Вы ведь и семейную жизнь готовы отрицать. Стоит припомнить вашу «Сонату Крейцера». Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе и часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне, много лет назад, с крестьянином Гордеем Деевым: «Что ты невесел, Гордей, о чем закручинился?» — «Горе у меня большое, Лев Николаевич: жена моя померла».— «Что ж, молодая она у тебя была?»— «Нет, какой молодая! На много лет старше: не по своей воле женился».— «Что ж, работница была хорошая?» — «Какое! Хворая была. Лет десять с печи не слезала. Ничего работать не могла».— «Ну так что ж? Тебе, пожалуй, теперь легче станет».— «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче! Прежде, бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы или так просто — она с печи на меня, бывало, посмотрит да и спрашивает: «Гордей, а Гордей! Да ты нынче ел ли?» А теперь уже этого никто не спросит...» — Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не «положение»,— заключил Толстой.

Несколько дней, проведенных мною в Ясной Поляне, прошли очень быстро, но до сих пор, через двадцать лет, составляют одно из самых светлых воспоминаний моей жизни. Конечно, все это время было для меня наполнено Толстым, общением с ним, разговорами и радостью сознания, что бог привел мне не только узнать вблизи возвышенного мыслителя и великого писателя, но и ни на одну минуту не почувствовать, по отношению к нему, ни малейшего житейского диссонанса, не уловить в своей душе и тени какого-либо разочарования или недоумения. Все в нем было ясно, просто и вместе с тем величаво тем внутренним величием, которое сказывается не в отдельных словах или поступках, а во всей повадке человека. По мере знакомства с ним чувствовалось, что и про него можно сказать то же, что было сказано о Пушкине: «Это — великое явление русской жизни», отразившее в себе все лучшие стороны исторически сложившегося рус-

ского быта и русской духовной природы. Даже в отрицании им начал национальности и современного экономического строя сказалась ширина и смелость русской натуры и свойственная ей, по выражению Чичерина, безграничность в смысле отсутствия пределов, полагаемых опытом прошлого и осторожностью пред грядущим. Даже и пугавшая меня нетерпимость его к чужим мнениям, о которой так много писали, оказалась на деле лишь твердым высказыванием своего взгляда, облеченным по большей части, даже в случае серьезного разногласия, в весьма деликатную форму.

Несколько раз во время наших прогулок нам приходилось говорить «о непротивлении злу», которое его в то время сильно занимало. Со свойственной ему красивой простотой он развивал свою великодушную и нравственно заманчивую теорию и приводил известный евангельский текст. Я шутливо напоминал ему ответ графа Фалькенштейна (Иосифа II) на вопрос герцогини Роган о том, как нравится ему надвигавшаяся в конце восемнадцатого столетия во Франции революция: «Madame, mon métier est d'être royaliste»[1],— и говорил, что mon métier d'être juge[2] лишает меня возможности согласиться на непротивление тому, чему я противился и противлюсь двадцать пять лет моей жизни. В ответ на его ссылку на текст, я приводил изгнание торжников из храма и проклятие смоковницы, а также слова Христа: «Больше сия любви несть, аще кто душу свою положит за други своя», причем на церковнославянском языке «положить душу» — значит, пожертвовать жизнью, что невозможно без наличности борьбы, то есть противления. Толстой мягко возражал, что в связи с призывом «не противиться» подразумевается слово «насилием». Я приводил резкие примеры из жизни, где насилие неизбежно и необходимо и где отсутствие его угрожает последователю непротивления возможностью сделаться попустителем и даже пособником злого дела. Толстой не уступал и утверждал, что в переводном (в XVI веке) еврейском тексте не говорится о вервии, взятом Христом для изгнания торжников, а лишь о длинной тонкой ветви или хворостине, которая была необходима для удаления скота из храма, и что сказание о смоковнице, лишенное ясного смысла, попало в евангелие по недоразумению, вследствие какой-либо

[1] «Мадам, мое ремесло быть роялистом» *(фр.)*.
[2] Мое ремесло быть судьею *(фр.)*.

ошибки переписчика. На мои доводы из жизни он сказал мне, что в одном из вопиющих случаев, мною приводимых, быть может, и он прибег бы к насилию, по инстинктивному порыву на защиту своих ближних, но что это было бы слабостью, которую с нравственной точки зрения нельзя оправдать. Каждый из нас остался при своем, но во все время спора он не проявил никакого стремления насиловать мои взгляды и навязывать мне свое убеждение. То же было и в споре о значении Пушкина, к которому тогда он относился недружелюбно, хотя и признавал его великий талант. Он находил, что последний был направлен против народных идеалов, и что Тютчев и Хомяков глубже и содержательнее Пушкина. И в этом длинном споре Лев Николаевич был чрезвычайно объективен и, встречая во мне восторженного поклонника Пушкина, видимо, старался не огорчить меня каким-либо резким отзывом или суровым приговором.

Вообще я не раз имел случай убедиться и почувствовать, что Лев Николаевич имеет редкий дар «de faire connaître l'hospitalité de la pensée» [1],— как выразился Альбер Сорель в своей академической речи о Тэне. Только раз при мне он отступил от своего спокойного и примирительного тона. Однажды в саду, за послеобеденной беседой, зашел разговор о том, что самое тяжелое в жизни. Указывали на роль слепого случая, который разбивает все планы и так часто в корне подрывает целое существование. Один из приезжих случайных гостей, из тех «добрых малых», у которых слово иногда бежит впереди мысли, а не сопутствует ей, стал утверждать, что всего больше ему было бы тяжело материальное изменение его личного положения вроде внезапного разорения или потери службы, сопряженных с непривычными для него лишениями. В это время подошел Толстой и спросил, в чем дело. «Случайность не должна иметь значения в жизни,— сказал он,— надо жить самому, воспитывать детей и приготовлять окружающую среду так, чтобы для случайности оставалось как можно менее места. Для этого надо направлять всю жизнь к уничтожению в ней понятия о несчастии. Человек *обязан* быть счастлив, как обязан быть чистоплотным. Несчастье же состоит прежде всего в невозможности удовлетворять своим потребностям. Поэтому чем меньше потребностей у человека, тем меньше поводов быть несчастным. Только когда человек

[1] Дать почувствовать гостеприимство мысли (*фр.*).

сведет свои потребности к минимуму необходимого, он вырвет жало у несчастия и обезвредит последнее, и тогда в самом сознании, что им устранены условия несчастья, он почерпнет сознание счастья». Один из собеседников пробовал возражать, что эта теория применима лишь к материальным, а не к духовным потребностям, и что нельзя, например, свести к минимуму потребность любви матери к своему ребенку, отнимаемому у нее беспощадною смертью. На это, вероятно, Толстой ответил бы мыслями, высказанными им в его чудном, вызывающем слезы умиления, рассказе «Молитва». Но приезжий, которому очень хотелось высказаться, снова овладел своей темой, наставительно сказав Толстому: «Вам хорошо это проповедовать, когда вы не имеете никаких потребностей, а каково привыкшему к удобствам жизни? Поверьте, что спать на рогоже, привыкнув к тонкому белью, вовсе не составляет счастья».— «Не надо приучать себя к тонкому белью»,— строго посмотрев, сказал Толстой, но собеседник не слушал его и продолжал: «Вам хорошо, вы себя до того довели, что вам теперь непонятно, что значит, когда человеку чего-нибудь недостает. Вы себе устроили всякие лишения, и больше вам для себя нечего придумать, вот вы и на других хотите их распространить».— «Мне еще многого недостает»,— сказал сурово Толстой.— «Вот отлично! Еще чего-то недостает? Ну чего же вам недостает?» Толстой молчал. «Ну, чего, чего?» — продолжал приставать «добрый малый». Толстой вдруг покраснел, в глазах его вдруг вспыхнул огонек, и он с резкою откровенностью объяснил, *чего* ему недостает, чтобы достигнуть буддистского презрения к телесным удобствам и сострадания даже к паразитным насекомым... Наступило молчание; он овладел собою и смягченным голосом, как бы извиняясь за внезапную вспышку, заметил: «Мы слишком заботимся о своей внешней чистоте и холим нашу плоть, а я давно заметил, что тот, кто заботится о *своей* чистоте, обыкновенно небрежет о *чужой*...» И он стал приводить примеры из своих воспоминаний о том, как распускают себя у нас люди высшего общества и их подражатели из разных выскочек, доводя себя до претензий крайней роскоши, граничащей с развратом.

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время

долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям и наблюдениям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах,— жестом и голосом. Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорациею, намалеванною твердою рукою и яркими красками. Совсем другою была речь Тургенева с его мягким и каким-то бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре. Это был искусно распланированный сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с французскими замысловатыми стрижеными аллеями, в которых каждый поворот дороги и даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая картины Рубенса, написанные опытною в своей работе рукою, сочными и густыми красками, с одинаковою тщательностью изображающею и широкие очертания целого и мелкие подробности частностей. Я не стану говорить ни про отрывистую бранчивость Салтыкова, ни про сдержанную страстность Достоевского, ни про изысканную, поддельную простоту Лескова, потому что ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. Совсем иным характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно точно по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, как от истока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо и глубокое дно...

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике и подтверждаются во многом

последующими его письмами. Многое из этого, в переработанном виде, вошло, конечно, в его позднейшие произведения, но мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально выливалось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном произведении,— говорил он,— надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного совершенства сам собою». У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви.

У современной критики (конец восьмидесятых годов) писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le gros du public [1]. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать. Наоборот, сатира и ирония не найдут себе отклика в массе. Для того чтобы вполне оценить и понять Салтыкова-Щедрина, нужно принадлежать к особому кругу читателей, печень которых увеличена от постоянного раздражения, как у страсбургского гуся.

Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц бледный и огромный» — что противоречит действительности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда не-

[1] Для подлинной, значительной публики (*фр.*).

сколько страниц такой болтовни, хочется сказать: молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница! Настоящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить.

Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна, и везде и всегда трудится. Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит: «Уф! уф!» Самарские степи, например, днем, под палящим солнцем, однообразны и могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полною грудью, а над нею раскинут необъятный купол неба, и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами... Человек, однако, все умеет испортить, и Руссо вполне прав, когда говорит, что все, что вышло из рук творца,— прекрасно, а все, что из рук человека,— негодно. В человеке вообще нет цельности. Он роковым образом осужден на раздвоение: если в нем побеждает скот, то это нравственная смерть; если побеждает человечное, в лучшем смысле слова, то эта победа часто сопровождается таким презрением к самому себе и отчаянием за других, что почти неизбежна смерть, и притом очень часто от собственной руки. Но бояться смерти не надо. Надо о ней думать как можно чаще: это облагораживает человека и часто удерживает его от падения. Но большинство смотрит не так. Обыкновенно, когда человек подымается над плоскостью обыденной жизни, он ясно видит с этой высоты вдали бездну смерти. Напуганный этим, он тотчас опускается в житейскую пошлость,— старается занять такое положение, чтобы не видеть этой бездны, и готов сидеть все время на корточках, только бы забыть о ней. А ведь, в сущности, труднее понять, как *можно жить,* чем как *можно умереть.* То, что дается опытом жизни, чувствуется, но редко может быть доказано. Поэтому старые люди часто замыкаются в себе и уединяются. Но это не потому, что им нечего сказать, а потому, что молодость, которая не имеет чувства опыта, их не понимает.

У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления, после того как они перестали существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчиванье крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеобщею любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал шелками по канве и был «душою общества», а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внезапно проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать. В конце семидесятых годов один очень крупный сановник, слывший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными. «Я его,— прибавил, окончив этот рассказ, Толстой,— попросил больше меня не посещать».

[У нас носятся с народной любовью к самодержавию, но никакой действительной любви народ не имеет. И человек, проезжающий в трех поездах чрезвычайной скорости, причем крестьян гонят в шею при малейшем приближении к линии охраны,— для них совершенно чужой. Самодержавие рухнет в один прекрасный день, как глиняная статуя, и все, что говорится и пишется об отношении к нему народа, как к чему-то священному, не что иное, как сказки Laboulé, названные им «Contes pour entendre debout» [1]...]

Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое прегрешение против нравственного закона наказывается еще в этой жизни на

[1] «Сказки, которые следует слушать стоя» *(фр.)* (букв.).

земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича.

Когда я был прокурором Петербургского окружного суда, в первой половине семидесятых годов, ко мне в камеру однажды пришел молодой человек с бледным, выразительным лицом и беспокойными, горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантке по имени Розалия Онни, без предварительного его прочтения. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним, в ущерб другим. «Тогда прочтите вы,— сказал он мне, волнуясь,— и прикажите передать письмо Розалии Онни». Эта была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного «гостя» ста рублей, спрятанных затем ее хозяйкой — вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в пятьдесят копеек. На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с циническою откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую «мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока», но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на четыре месяца тюремного заключения. «Хорошо,— сказал я пришедшему,— я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете?» — «Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы можем скоро и перевенчаться».— «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок, и браки с содержащимися в тюрьме разрешаются тюремным начальством лишь в исключительных случаях, когда один из брачущихся должен оставить Петербург и быть сослан или выслан на родину. Вы ведь дворянин?» — «Да»,— ответил он, и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию из одной из внутренних губерний России, объяснив, что кон-

чил курс в высшем привилегированном заведении и состоит при одном из министерств, занимаясь в то же время частными работами. «Вот видите,— сказал я,— после вашего бракосочетания Розалию пришлось бы перевести в отделение привилегированных по правам состояния женщин, а что они такое — вы сами можете себе представить. Между тем там, где она находится ныне, среди непривилегированных арестанток, устроены превосходно организованные работы и к окончанию срока она будет знать какое-либо ремесло, что при превратностях судьбы ей может пригодиться. При том же перевод ее в *господское* отделение неминуемо произвел бы дурное нравственное впечатление на содержащихся с нею вместе. Поэтому лучше было бы не настаивать на отступлении в данном случае от общего правила. Если она примет ваше предложение, я прикажу допустить вас до свиданий с нею без свидетелей и когда хотите». Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, испросив его разрешения говорить с ним как частный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор: «Где вы познакомились с Розалией Онни?» — «Я видел ее в суде».— «Чем же она вас поразила? Наружностью?» — «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел».— «Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» — «Я дело знаю: я был присяжным заседателем по нему».— «Думаете ли вы, выражаясь словами Некрасова, «извлекши ее падшую душу из мрака заблужденья», переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое и его тяжелые нравственные условия?» — «Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать».— «Считаете ли вы возможным познакомить ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг?» Мой собеседник покачал отрицательно головой. «Но в таком случае она будет в полной праздности. Не боитесь вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Ваша семейная жизнь может представить для вас, при различии вашего развития и положения, настоящий ад, да и для нее не станет раем! Наконец, подумайте, какую мать вы дадите вашим детям!» Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету, дрожащими руками налил

себе стакан воды и, немного успокоившись, сказал отрывисто: «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь».— «Не лучше ли вам,— продолжал я,— ближе узнать ее, устроить ей по выходе из тюрьмы благоприятные условия жизни и возможность честного заработка, а затем уже, увидев, что она сознала всю грязь своей прежней жизни и искренне вступила на другой путь, связать свою жизнь с нею навсегда? Как бы не пришлось вам раскаиваться в своем поспешном великодушии и начать жалеть о сделанном шаге! Ведь такое запоздалое сожаление, без возможности исправить сделанное, составляет очень часто корень взаимного несчастия и озлобления. Спасти погибающую в рядах проституции девушку — дело высокое, но мне не думается, чтобы женитьба была в данном случае единственным средством, и я боюсь, что приносимая вами жертва окажется бесплодной или далеко превзойдет достигнутые ею результаты. Не лучше ли сначала приглядеться к той, о ком мы говорим... Мне в качестве прокурора приходилось слышать в этом самом кабинете признания и заявления о совершающемся или имеющем совершиться преступлении, движущие побуждения к которому иногда были вызваны именно жертвами, напрасными с одной стороны и непонятными с другой...» Мой собеседник очень задумался, молча и крепко пожал мне руку и ушел. На другой день я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мой с ним разговор, говоря, что, несмотря на то, что я, по-видимому, немногим старше его, ему в моих словах слышался голос любящего отца, который совершенно прав в своих опасениях. Подтверждая, однако, свою твердую решимость жениться, он просил меня, в виде исключения, все-таки оказать своим влиянием содействие к тому, чтобы тюремное начальство не препятствовало ему немедленно венчаться с Розалией. Я не успел еще ответить на это письмо, как поступил ответ Розалии Онни, переданный смотрителем тюрьмы, в котором она безграмотными каракулями заявляла о своем согласии вступить в брак. А через день после этого я получил от моего собеседника крайне резкое и почти ругательное письмо, в котором он критиковал мое, как он выражался, «вмешательство в его личные планы». Не желая содействовать несчастию, к которому стремился этот нервно возбужденный человек, я, несмотря на это письмо, все-таки уклонился от участия в осуществлении его желания и твердо отклонил оказанное на

меня в этом отношении давление со стороны дамского тюремного комитета и одной из великих княгинь, которую, по-видимому, разжалобил мой собеседник романическою стороною своего намерения. Между тем наступил пост, и вопрос о немедленном браке упал сам собою. Мой собеседник стал видеться довольно часто с Розалией, причем в первое же свидание она должна была ему объяснить, что вызвана из карцера, где содержалась за неистовую брань площадными словами, которою она осыпала заключенных вместе с нею. Он возил ей разные предметы для приданого: белье, браслеты и материи. Она рассматривала это с восторгом, и затем все принималось на хранение в цейхгауз на ее имя. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. Ее жених был, видимо, поражен известием об этой смерти, когда явился на свидание,— и в память Розалии пожертвовал подготовленное для нее приданое в пользу приюта арестантских детей женского пола. Затем он сошел с моего горизонта, и лишь через много лет его фамилия промелькнула передо мною в приказе о назначении вице-губернатора одной из внутренних губерний России. Но, быть может, это был и не он.

Месяца через три после этого почтенная старушка, смотрительница женского отделения тюрьмы, рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских губерний мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу мызы не оставить его будущую круглую сироту — дочь. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, баловали и портили ей желудок конфетами, но потом настали другие злобы дня или она попросту надоела и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до 16-летнего возраста, покуда на нее не обратил внимание только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с не-

годованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная затем своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала спускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек между тем, побывав на родине, в провинции, переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти. Можно себе представить, что пережил он, прежде чем решиться пожертвовать ей во искупление своего греха всем: свободой, именем и, быть может, каким-либо другим глубоким чувством. Вот почему так настойчиво требовал он осуществления того своего права, которое великий германский философ называет *правом на наказание.*

Глубокий и сокровенный смысл этого происшествия оставил во мне сильное впечатление. На мой взгляд, это было не простым случаем, а было откровением нравственного закона, было тем проявлением высшей справедливости, которая выражается в пословице: «Бог правду видит, да не скоро скажет»... Посмотри! Это — дело твоих рук. Это ты сделал! В этом *ты* виновен и суди *ее,* и скажи, что *она* виновна, когда ты знаешь, что это не она, а ты! Но, вместе с тем, наряду с тяжким испытанием *ему,* провидение послало *ей* великую радость без всякой примеси горечи. Она снова обрела человека, которого впервые полюбила: он тут, он возле, он будет ее мужем! Будут наряды, украшения... Начнется жизнь *по-господски!..* И накануне начала взаимных разочарований и чувства раскаяния, так легко могшего перейти с его стороны в ненависть, господь опустил занавес над ее житейской драмой и прекратил биение бедного сердца, только что пережившего высокое и последнее в жизни блаженство. И к нему он был милосерден, не простерев до конца свою карающую десницу. Возродив его духовно, дав испытать заснувшей, быть может, душе нравственный толчок и подъем, он не допустил ее вновь опустить крылья под влиянием житейской прозы и семейных сцен самого грубого характера. Он возродил. Он дал урок, но не покарал и не уничтожил своим отмщением.

Рассказ о деле Розалии Онни был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал

мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для «Посредника» и писал вскоре после моего отъезда П. И. Бирюкову: «Сообщите А[натолию] Ф[едоровичу[К[они] статью Хилкова о духоборцах... Он обещал написать рассказ в «Посредник», от которого я жду многого, потому что сюжет прекрасный...» А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивает меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ? Я отвечал обращенной к нему горячею просьбою написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное влияние. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал. В августе 1895 года, на мой вопрос, он писал мне: «Пишу я, правда, тот сюжет, который вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю, что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня заведет, что я сам не знаю, что я пишу теперь». Наконец, через одиннадцать лет у него вылилось его удивительное «Воскресение», произведшее, как мне известно из многих источников, сильнейшее впечатление на души многих молодых людей и заставившее их произвести по отношению к самим себе и к житейским отношениям нравственную переоценку ценностей.

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенною яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил мне идти пешком и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись, по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо в этот день мы уже утром сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки, быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой

местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец, мы заслышали вдалеке шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: «Пойдемте, пожалуйста, пешком!» Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, причем исходивший из нее сильный зеленоватый, фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он и теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души.

Я пробыл в Ясной Поляне пять или шесть дней. В день отъезда, рано утром, мы вышли со Львом Николаевичем пешком на станцию Козловка-Засека и там сердечно простились. Я долго смотрел из окна удалявшегося поезда на его милую типическую фигуру с незабываемым русским мужицким лицом, стоявшую на платформе. Сердце мое было исполнено благодарностью судьбе, пославшей мне не одно близкое духовное общение с ним, но и сознание, что я увожу в моей душе его образ не только не потускневшим, но даже выше и краше, чем тот, который рисовался мне, когда между строк его великих произведений я старался разглядеть душу автора. Поезд без пересадки примчал меня в Петербург, и я вступил в обычную колею своей трудовой жизни, в которой не было недостатка ни в серьезных интересах, ни в интересных людях. Тем не менее мне было душно в этой жизни первые дни. Все казалось так мелко, так условно и, главное, так... так ненужно... Я чувствовал себя в этой обычной нравственной атмосфере так, как должен себя чувствовать человек, быстро спустившийся с чистых альпийских высот в шумный и пыльный город и вошедший в душную комнату, где сильно накурено табаком, пахнет неконченной трапезой и слышатся раздраженные голоса спорящих. Это чувство прошло не скоро, оставив во мне после себя ясное сознание, что, даже не во всем соглашаясь с Толстым, надо считать особым даром судьбы возможность видеться с ним и совершить то, что я впоследствии не раз называл *дезинфекцией души.*

III

После первого знакомства с Л. Н. Толстым между нами установились добрые и сочувственные личные отношения. С моей стороны в этом не было ничего удивительного. В моем представлении к образу великого писателя и тонкого наблюдателя жизни присоединился и возвышенный образ человека, способный оставлять глубокое впечатление, даже если бы этому человеку и не предшествовала столь заслуженная слава. Несмотря на узкое и нелепое «критиканство» разных зоилов и проповедников сыска в частной и домашней жизни, я нашел в Ясной Поляне удовлетворение давнишней жажды встретить человека, который олицетворял бы в словах, стремлениях, побуждениях и поступках неуклонную правду — «La vérité sans phrases»[1], столь редкую среди житейской обычной лжи, лукавства и притворства. Но его отношение ко мне я могу объяснить лишь тем, что он не усмотрел в моих взглядах и деятельности проявления того, что вызывало его несочувственный взгляд на наше судебное дело и суровое осуждение им некоторых сторон в деятельности служителей последнего. «Воскресение» послужило впоследствии выражением такого его взгляда. Со сдержанным негодованием передавал он мне эпизоды из своего призыва в качестве присяжного заседателя в Тулу и свои наблюдения над различными эпизодами судоговорения и над отдельными лицами из судебного персонала и адвокатуры. Показная и, если можно так выразиться, в некоторых случаях спортивная сторона в работе обвинителей и защитников всегда меня от себя отталкивала, и, несмотря на неизбежные ошибки в моей судебной службе, я со спокойною совестью могу сказать, что в ней не нарушил сознательно одного из основных правил кантовской этики, то есть не смотрел на человека как на средство для достижения каких-либо, хотя бы даже и возвышенных, целей. Быть может, это почувствовал Толстой, и на этом построилось его доброе ко мне отношение, несмотря на его отрицательный взгляд на суд. Напечатав «Общие основания судебной этики», я послал ему отдельный оттиск. «Судебную этику я прочел,— писал он мне в 1904 году,— и хотя думаю, что эти мысли, исходящие от такого авторитетного человека, как вы, должны прине-

[1] «Правду без фраз» *(фр.)*.

сти пользу судейской молодежи, но все-таки лично не могу, как бы ни желал, отрешиться от мысли, что как скоро признан высший нравственный религиозный закон — категорический императив Канта,— так уничтожается самый суд перед его требованиями. Может быть, и удастся еще повидаться, тогда поговорим об этом. Дружески жму вашу руку». А. М. Кузминский сказал мне: «Вы знаете, ведь Лев Николаевич терпеть не может «судебных» и, например, ни за что не хочет знать своего дальнего свойственника NN, а вас он искренно любит». Эта приязнь Толстого выразилась, между прочим, и при наших, сравнительно редких, последующих свиданиях, и в многочисленных письмах, с которыми он ко мне обращался впоследствии, очевидно, видя во мне не только «судейского чиновника». Ниже я расскажу и содержание этих писем, во многом рисующих Толстого. Теперь же скажу о наших встречах и свиданиях.

После 1887 года каждый раз, проезжая через Москву, я заходил ко Льву Николаевичу и проводил вечер в его семействе. Он был — как всегда — интересен и глубоко содержателен, много говорил об искусстве, но нам почти не удавалось быть наедине... Только раз, в 1892 году, на пасхе, провожая меня, он в передней задержал мою руку в своей и сказал мне: «А мне давно хочется вас спросить: боитесь ли вы смерти?»— и ответил теплым рукопожатием на мой отрицательный ответ. Этот вопрос возникал потом у нас с ним несколько раз. Так, в 1895 году, он писал мне: «Утешаю себя мыслью, что доктора всегда врут и что ваше нездоровье не так опасно, как вы думаете. Впрочем, думаю и от всей души желаю вам этого, если у вас его нет, веры в жизнь вечную и потому бесстрашия перед смертью, уничтожающего главное жало всякой болезни». Гораздо позднее, через одиннадцать лет, он писал мне: «О себе могу сказать, что чем ближе к смерти, тем мне все лучше и лучше. Желаю вам того же. Любящий вас Л. Т.». В том же 1892 году, осенью, в разговоре о холерных беспорядках, которыми тогда омрачена была русская жизнь, он объяснял их — в тех случаях, когда они направлялись на принятые против холеры меры,— инстинктивным отвращением народа к малодушным опасениям в ожидании смертельной болезни.

Во время этих посещений я заставал женскую часть семьи Льва Николаевича обыкновенно в полном сборе. Каждая из дочерей Льва Николаевича представляла

из себя особую индивидуальность, оставлявшую впечатление самостоятельного развития, не стесненного предвзятыми взглядами светского воспитания. В общем — они походили наружностью на отца, но типические черты последнего и его строгий взгляд смягчались у них чистой прелестью той кроткой женственности, которая присуща настоящей русской женщине. Постоянная и по временам тревожная забота о муже не мешала, однако, проявлениям радушия графини Софьи Андреевны. Дом в Хамовниках был полон,— быть может, слишком полон,— домочадцами и посетителями, и застать Льва Николаевича одного, кроме тех часов, когда он запирался для работы, было очень трудно. А в другое время молодая жизнь нередко мешала своим бурным потоком спокойной беседе с ним. Иногда, когда мы сидели вдвоем или втроем с моим старым слушателем по училищу правоведения М. А. Стаховичем, в соседних комнатах раздавались взрывы неудержимого молодого веселья или звуки балалаек, и по временам через гостиную мчалась, как вихрь, толпа юнцов и юниц.

Поэтому мои воспоминания об этих встречах довольно отрывочны, но помнится, что в одно из этих посещений мне рассказывали у Толстых о проживавшей на покое в Ясной Поляне престарелой горничной бабушки Льва Николаевича. Высокая, сухая и прямая старуха, строптивая, решительная и независимая, эта Агафья Михайловна (в молодости «Гаша») представляла своеобразный и ныне исчезнувший тип. Верная до самозабвения своим господам, она знала только две веры и две службы: в бога и богу, в них и им. Чрез это преломлялись все ее житейские отношения. «Вот, батюшка, какое у меня горе,— рассказывала она,— церковь у нас далеко, и церковных свеч купить негде, так что иногда и к образу поставить нечего. Раз приходит ко мне управляющий да и говорит: «Агафья Михайловна! Ведь какая у нас беда: молодого барина Сергея Львовича собаки убежали на село. Пожалуй, чью-нибудь овцу разорвут, да коли и не разорвут, все равно Лев Николаевич прикажет заплатить, что с него эти разбойники ни спросят. Одно разорение! Послали ловить на село, да где тут! Разве сами прибегут». Ушел он, а я и думаю: поставлю свечку Николе-угоднику! Пошла в комод. Глядь, а свечки-то у меня и нет! Последнюю за полчаса поставила ему же, чтоб барынин брат Берс экзамен в правоведении выдержал. Как тут быть?!

Я стала перед образом, перекрестилась, да и говорю: «Батюшка! Батюшка угодничек божий! Это что за молодого барина поставлена свечка — так это *потом* будет, теперь это за то, чтоб собаки вернулись и крестьянских овец не рвали». Она проводила время в вязании носков, любила и умела бывать сиделкой при больных и со страстною нежностью относилась к животным. В последние годы жизни она стала путать время. Тогда Лев Николаевич подарил ей простые стенные тульские часы с маятником. Она была им чрезвычайно рада, но дня через три принесла назад: «Нет, батюшка, возьми их обратно,— сказала она.— Я человек старый, как лягу, так думаю о божественном да о свете господнем, а не то, чтобы все о себе, да только о себе. А они тут, проклятые, как нарочно над головой знай себе все одно: «что ты?! кто ты? что ты?! кто ты?! что ты?! кто ты?!» Ну их совсем!»

Мы виделись затем в 1898 году, причем мне пришлось иметь спор с Львом Николаевичем по поводу Федора Петровича Гааза, которого он упрекал в том, что он не отряс прах ног своих от тюремного дела, а продолжал быть старшим тюремным врачом. В конце концов, однако, он согласился со мною в оценке нравственной личности святого доктора. В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил между прочим в театр присутствовать при репетиции. С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную бессмыслицу, а ближайший руководитель уже вовсе не сентиментально на них покрикивает. В день отъезда я заехал к нему проститься, но слуга сказал мне, что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы «Континенталь», на Театральной площади, к крыльцу подскакал всадник, и это оказался Толстой, которому уже было семьдесят лет.

Мы виделись, впрочем, еще перед этим в 1897 году в Петербурге, куда Толстой приезжал проститься с Чертковым, которого в то время постыдной религиозной нетерпимости высылали за границу. Часов в одиннадцать вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры,— где жило семейство, занимавшееся торговлею под фирмою «парфюмерия Росс»,— звуками музыки, команд-

ными словами танцев и топотом ног. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев «Polterabend». Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я «мужика» в кабинет, и мы пробеседовали целый час, причем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить и я вышел его проводить на лестницу, то мы увидели, что на ней в ожидании столпились гости «парфюмерии Росс»— декольтированные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побежал вниз. Оказалось, что служанка, увидев радостную почтительность, с которою я принял неизвестного мужика, усомнилась в его *подлинности,* стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с большим фотографическим портретом Толстого, подаренным мне Репиным. Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне, и — «пошла писать губерния»...

В этот же его приезд в Петербург одна моя знакомая девушка ехала с даваемого ею урока на службу по «конке». В вагон вошел одетый по-простонародному старик, на которого она не обратила никакого внимания, и сел против нее. Она читала дорогою купленную ею книжку о докторе Гаазе. «А вы знаете автора этой книги?»— вдруг спросил ее старик, рассмотрев обложку. И на ее утвердительный ответ он просил ее передать мне поклон. Только тут, вглядевшись в него, она поняла, с кем имеет дело. «Мне захотелось,— рассказывала она,— броситься тут же в вагоне перед ним на колени, и я невольно воскликнула: «Вы, вы — Лев Николаевич?!»— так что все обратили на нас внимание». Толстой утвердительно наклонил голову, подал ей руку и поспешно вышел из вагона.

Неотложные занятия, частое нездоровье и нередкие тревоги личной жизни лишали меня, несмотря на горячее

желание, возможности посещать Толстого так часто, как бы я хотел. А один раз в последние годы, когда я совсем собрался ехать в Ясную Поляну, пришло письмо от графини Софьи Андреевны о том, что домашний пожар должен вызвать отсрочку этой поездки. Поэтому лишь в 1904 году, на пасхе, я снова посетил, и, быть может, уже в последний раз, Ясную Поляну.

Я нашел на этот раз Льва Николаевича физически сильно состарившимся, осунувшимся и похудевшим. Было очевидно, что предшествующие годы болезни оставили на нем глубокий след, но след, конечно, физический, а не духовный. В последнем отношении я заметил в нем только одну особенность против прежнего. Он стал еще мягче и снисходительнее к другим и строже к самому себе. Рисуя иногда двумя-тремя глубокохудожественными фактическими штрихами чью-либо личность, он тщательно воздерживался от неблагоприятных выводов и однажды, когда слово осуждения вырвалось у него невольно, внезапно нахмурился, покраснел и с видимым неудовольствием сказал: «Нет! Нет, не нужно злословить, не будем осуждать!» Он весь был против пагубной войны, на которую высокомерная «волокита» нашей дипломатии и наша самонадеянная неподготовленность и презрение к урокам истории толкнули Японию с давно ею затаенным оскорблением своего национального чувства. Но его русское сердце сжималось с тоскою и тревогой по поводу результатов предстоящей бойни. При мне пришло известие о гибели Макарова, чрезвычайно его расстроившее. Он интересовался всеми телеграммами, ездил за ними сам в Тулу верхом и постоянно возвращался в разговорах к случившемуся. Дурная погода и весенний разлив мешали нам предпринимать прогулки, и он проводил большую часть дня дома, где все, кроме него, вставали довольно поздно. Мы же сходились утром вдвоем за чаем в восемь часов и подолгу беседовали вечером в его маленьком кабинете, куда он зазывал меня перед сном и где опять повторялись старые задушевные разговоры, как семнадцать лет назад, только на этот раз уже я сиживал около его постели. По вечерам он иногда читал вслух с удивительной простотой и в то же время выразительностью. Так, мне помнится особенно ярко чтение им рассказа Куприна «В казарме». Он признавал большой талант за этим писателем.

В эти памятные для меня дни он дал мне прочесть в рукописи три своих произведения: «Божеское и человеческое», «После бала» и «Хаджи-Мурат» и неоконченный трактат о Шекспире. С последним трудно было согласиться, хотя и там были яркие и глубокие мысли. Драма, по мнению Толстого, должна быть непременно религиозной. Такою и была древняя драма, ибо человеческие страсти, страдания и самая судьба составляли содержание античной религии. Потом драма утратила этот характер, и когда ее пожелали возобновить, то взяли лишь античную форму без ее содержания. Немцы, под влиянием Гёте, отвращаясь от этого псевдоклассицизма, обратились к Шекспиру и положили начало особому шекспировскому культу. Но у Шекспира, по мнению Толстого, прежде всего бросается в глаза отсутствие искренности, грубое и низменное содержание, облеченное в неудачную форму. Обилие грубости в устах действующих лиц, один и тот же язык, которым говорят все, и полное отсутствие резко очерченных характеров ставят даже знаменитых Лира и Отелло ниже их иностранных первообразов. Я возражал Толстому, как умел, будучи безусловным поклонником Шекспира и находя в его творениях не только удивительное изображение именно характеров, но и разрешение многих важнейших проблем человеческого духа. Но Толстой, приводя исключительные примеры, стоял на своем с внешней мягкостью, но с внутренним упорством, носившим на себе даже оттенок некоторого раздражения. Я думаю, что литературный кружок, в который он вошел после Севастополя, чрезмерно старался — в лице Дружинина, Тургенева и Анненкова — начинить молодого офицера фетишизмом по отношению к великому драматургу, и свойственная натуре Толстого реакция приняла глубокую и неискоренимую форму. Но зато три остальные вещи заставили меня провести чудные минуты и — откровенно говоря — не раз вызывали умиление перед величием таланта автора и его способностью «заражать» читателя своим настроением. Трудно передать всю глубину и всю прелесть простоты этих произведений. Мне невольно приходит на память Ганс Мемлинг в Брюгге с его миниатюрами из жития святой Урсулы, где все так жизненно, правдиво и просто, недосягаемо просто! В нарисованных Толстым в «Божеском и человеческом» образах — южного генерал-губернатора, матери приговоренного Анатолия Светлогуба, ее сына, раскольника, ищущего

истинную веру, и террориста Меженецкого нет ни одной лишней черты. L'élimination du superflu [1], составляющее необходимое условие всякого художественного произведения, доведено до совершенства, и впечатление получается огромное. Глубокой верой звучит этот рассказ с лаконическим описанием казни, где за физическим ужасом, за болью и прекращением ее следует восторг нового рождения и возвращения к тому, от кого человек исшел и к кому шел, умирая,— в связи с приводимым Толстым текстом от Иоанна. ...От рассказа «После бала» веет таким молодым целомудренным чувством, что этой вещи нельзя читать без невольного волнения. Нужно быть не только великим художником, но и нравственно высоким человеком, чтобы *так* уметь сохранить в себе до глубокой старости, несмотря на «охлажденны лета», и затем изобразить тот почти неуловимый строй наивных восторгов, чистого восхищения и таинственно-радостного отношения ко всему и всем, который называется первою любовью. Эта любовь, возникшая внезапно в сердце молодого студента, налетевшая на него, как шквал, и заставившая его с одинаково умиленным чувством относиться и к красавице-девушке и к танцующему с нею на бале мазурку отцу ее, воинскому начальнику,— не выдерживает столкновения с ужасающей действительностью, когда утром после бала, не могущий заснуть от взволнованного очарования студент видит, совершенно неожиданно, этого отца управляющим прогнанием сквозь строй татарина-дезертира и бьющим по лицу нанесшего слабый удар молодого солдата со словами: «Я тебя научу мазать; будешь?» Этот роковой диссонанс действует сильнее всякой длинной и сложной драмы. Наконец, «Хаджи-Мурат» по разнообразию картин и положений, по глубине и яркости изображений и по эпическому своему характеру может, по моему мнению, стать наравне с «Войной и миром» в своих несравненных переходах от рубки леса к балу у наместника Кавказа, от семейной сцены в отдаленной русской деревне к кабинету императора Николая Павловича и к сакле горного аула, где мать Хаджи-Мурата поет народную песню о том, как она залечила тяжелую рану, нанесенную ей в грудь кинжалом, приложив к ней своего маленького сына. Особенно сильно было в этом рассказе изображение Николая Павловича

---

[1] Исключение излишнего (*фр.*).

с его наружностью, взглядом, отношением к женщинам, к полякам, в действиях которых он старается найти оправдание себе в принимаемых против них суровых мерах, и с его мыслями о том, «что бы была без меня Россия...» Говорю: *было,* потому что Толстой считал главу о Николае Павловиче неоконченной и даже хотел вовсе ее уничтожить, опасаясь, что внес в описание не любимого им монарха слишком много субъективности в ущерб спокойному беспристрастию. Можно опасаться, что он осуществит свой скептический взгляд, столь пагубный со времен Гоголя для русской литературы.

Смена родных, приезд знакомых и разных иностранцев мешали мне насладиться Львом Николаевичем «всласть». Но тем не менее и на этот раз я увез из Ясной Поляны несколько художественных образов, мелькнувших в рассказах Толстого, и теплое воспоминание о наших беседах. Последние часто касались вопросов веры. В обсуждение их Лев Николаевич вносил особую задушевность. Видно было, что в том возрасте, в котором большинство склонных к мышлению людей обращается по отношению к интересовавшим их когда-то нравственным и религиозным вопросам в то, что Бисмарк называл «eine beurlaubte Leiche» [1], Толстой живет полной жизнью. Его тревожат и волнуют эти вопросы, и он является «взыскующим града», пытливо вдумываясь в их наиболее приемлемое душою объяснение. Так, однажды вечером он сказал мне, что его интересует вопрос о том, возможно ли и мыслимо ли за гробом индивидуальное существование души или же она сольется со всем остальным миром и существование ее будет, так сказать, космическое. Я рассказал ему об одном своем приятеле, который твердо и горячо убежден, что душа сохранит или, вернее, выразит свою земную индивидуальность, воплотившись в какую-нибудь неведомую, но, конечно, более совершенную форму, причем для нее, как это бывает в сновидениях, не будет двух ограничительных в нашем земном бытии условий: времени и пространства. Утром на другой день Толстой сказал мне при первой нашей встрече, что много думал ночью о нашем разговоре и согласен со взглядом моего приятеля. «Да!— прибавил он.— За гробом будет индивидуальное существование, а не нирвана и не слияние с мировой душой».

---

[1] Уволенный в отпуск труп *(нем.).*

«Меня интересует,— сказал он в другой раз,— как представляете вы себе наши отношения к Хозяину и считаете ли, что должно существовать возмездие в будущей жизни?» Я высказал ему свой взгляд на веру в бога как на непреложное убеждение в существовании вечного и неизбежного свидетеля всех наших мыслей, поступков и побуждений, благодаря чему человек никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает *один.* Это сознание вместе с мыслью о смерти и следующей за нею жизнью, в которой наступит ответственность, должно руководить земною жизнью человека и связывать его с Хозяином. Не быть в этом отношении «рабом ленивым и лукавым»— нравственная задача человека. Ответственность и возмездие, конечно, не могут быть понимаемы в материальном смысле или в образах, созданных необходимостью подействовать на воображение. Как «царство божие внутрь нас есть», так и ад и рай внутрь нас... Мне думается, что наша душа, освобожденная от бренного футляра — тела, получит возможность великого по своему объему и глубине созерцания и увидит земную жизнь свою сразу во всем ее течении, как реку на ландкарте, со всеми ее извивами и разветвлениями. Пред лицом вечной правды и добра познает она свои умышленные заблуждения и сознательно причиненное зло, но увидит также и добрые струи, оплодотворившие прибрежную почву. И в этом будет ее радость, и в этом будет мзда, потому, что сознание зла, которого нельзя уже исправить и заменить добром, есть тяжкое возмездие. «Как я рад,— сказал Толстой,— что вы *так* смотрите и что мы так сходимся во взгляде на будущую жизнь. Я всегда так рад, когда встречаю людей, не верящих в смерть как в уничтожение. Мне нравится и это изображение реки. Да, реки! Именно река!» И между нами долго еще продолжалась одна из тех бесед, после которых жить становится легче и бодрее.

И в это мое посещение я мог снова убедиться в той благородной терпимости и деликатности, с которыми Лев Николаевич относится к чужим убеждениям и чувствам, даже когда они идут вразрез с его взглядом, но если только они искренни и не вредоносны сами по себе. Известен его взгляд на Христа и на многие коренные догматы, вытекающие из пророчеств и из творений евангелистов. Строго разграничивая этическое содержание евангелия от исторического и учение Иисуса Христа от его

жизни и личности, и ставя его на первое место в ряду великих нравственных мыслителей, как завещавшего миру вековечный и непревзойденный закон кротости и человеколюбия, Толстой не может не встречать горячих и упорных возражений со стороны тех, кто считает, что невозможно выбирать из евангелия лишь часть — этическое учение — и, восторженно воспринимая ее, одновременно отвергать все остальное и тем вырывать из сердца таинственные и пленительные образы, делающие из этого учения предмет не только сочувствия, но и веры. Мне пришлось испытать, как мягко в обмене мнений об этом относится Лев Николаевич к тому, что он считает «заблуждением», и как тщательно избегает он того, что может оскорбить или уязвить религиозное чувство своего «совопросника». Мне казалось, что, даже считая свою точку зрения непоколебимою, он разделяет прекрасные слова Герцена о том, что есть целая пропасть между теоретическим отрицанием и практическим отречением — и что сердце плачет и не может расстаться, когда холодный рассудок уже постановил свой приговор...

С таким отношением к собеседнику идет как бы вразрез страстный и беспощадный подчас способ выражений, употребляемый, особенно в последние годы, Львом Николаевичем в своих произведениях, касающихся вопросов политики или религии. Но это объясняется тем, что, имея перед собою безличного, собирательного читателя, настроение и степень восприимчивости которого неизвестны, и притом не споря с ним, а лишь излагая свое мнение, он не имеет повода стесняться выбором выражений, заботясь лишь о том, чтоб возможно сильней и глубже высказать свою мысль. Притом он постоянно думает о смерти (это сквозит, а иногда и прямо выражено во многих письмах его ко мне), а частые тяжелые болезни заставляют его считать ее близкою. А между тем душа его не стареет, живет, горит любовью, волнуется справедливым гневом на то, что Христос имеет множество слуг и мало последователей,— жаждет и ищет правды и отвергает всякую условность и житейские компромиссы. Мера того, что накопляется в ней, что надо высказать, гораздо больше меры «судьбой отсчитанных дней»,— приходится торопиться и страстным словом закрепить то, что еще хочется и можно успеть сказать перед уходом... Есть очень выразительная испанская поговорка: «Кричать устами своей раны (per la bocca de su herida)». Так

иногда устами своей раны кричит этот изведавший, наблюдавший и душевно выстрадавший жизнь старец...

При мне пришло известие о кончине графини Александры Андреевны Толстой, приходившейся, несмотря на близкое равенство возраста, теткою Льву Николаевичу. Я был лично знаком с этой оригинальной и симпатичной по своему душевному складу женщиной. Грузная, с тройным подбородком и умными темными глазами, она производила впечатление родовитой и самостоятельной, несмотря на свое высокое придворное положение (она была воспитательницей великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской) и связанную с этим зависимость,— личности, в которой лоск европейского воспитания не стер милых свойств коренной русской природы...

Одинаково хорошо и сильно владея и родным и французским языком, она умела выражать на нем результаты своих дум и выводы своей тонкой наблюдательности. Еще не будучи с нею знаком, я с великим удовольствием прочел ее горячие, трогательные и красноречивые строки в ответ на брошюру некоего господина Лафертэ: «L'empereur Alexandre II. Détails inédits sur sa vie intime et sa mort»[1], в которой услужливый писака, рисуя в восторженных выражениях особу, сообщившую ему эти интимные подробности, позволил себе пренебрежительное отношение к памяти той, которую она заместила, не заменив. «M. Laferté,— писал «un russe du grand monde» (таков был псевдоним графини Толстой) — en cherchant à faire sortir la princesse du role de silence et d'obscurité qui incombe a sa position actuelle et qui lui aurait valu la faveur de l'oubli — et faisant ainsi l'apologie d'une existense en dehors des voies régulières, n'a-t-il jamais pensé qu'il pourrait évoquer une ombre sainte qui vit et rayonne encore dans les coeurs, entourée d'une auréole de pureté et de vertu lumineuse, devant laquelle la princesse devrait se prosterner, en implorant son pardon, le front courbé dans la poussière» (Quelques mots sur la brochure de M. Laferté. Paris. 1892)[2].

---

[1] «Император Александр II. Неизданные материалы о его интимной жизни и смерти» *(фр.)*.

[2] «Г. Лафертэ,— писал представитель русского большого света,— пытался избавить княгиню от той безмолвной и незаметной роли, на которую ее обрекало нынешнее положение и которое могло бы ей принести спасительное забвение — и тем самым всячески восхва-

Беседа с графиней Александрой Андреевной Толстой, всегда перевитая ее живыми воспоминаниями из доступной немногим области, была интересна и во многом поучительна. Здесь не место приводить что-либо из этих воспоминаний, но для характеристики их можно указать, например, на рассказ ее о том, что будущий германский император, тогда еще только прусский король Вильгельм, был в обыденной жизни довольно скучен, так что Бисмарк, приходивший пить чай к гостившим в Баден-Бадене двум великим княгиням, сказал однажды ей, Толстой: «Croyez vous, comtesse, qu'il est facile de gouverner avec un vieux comme ca?!» [1]

Я не могу судить о том, как принял в глубине души Лев Николаевич известие о ее кончине... Он был слишком удручен общим горем — войною, и, кроме того, при его взгляде на смерть и на будущую жизнь, разделяемом и мною, можно скорбеть, если к тому есть повод, лишь об *оставшихся,* а не об *ушедших.* «Кончена жизнь!» — говорят вокруг Ивана Ильича... «Нет, *смерть* кончена!» — хочет он воскликнуть и умирает.

В начале 1903 года графиня А. А. Толстая пожертвовала Академии Наук свои записки об отношениях своих к Льву Николаевичу с тем, чтобы они были напечатаны с благотворительною целью. Избранная академией комиссия, рассмотрев эти записки, ценные по биографическим данным и письмам, в них приводимым, возложила на меня редактирование издания и все по этому предмету распоряжения. Объективный тон, теплота чувства, искусный подбор и освещение подробностей производят в этих воспоминаниях графини А. А. Толстой о далеких годах ее и Льва Николаевича молодости прекрасное впечатление. Но оно, для меня по крайней мере, не остается таким до конца. Дело в том, что дружеские, нежные отношения ее и Льва Николаевича, в описании которых чувствуются следы некоторой с их стороны «amitié amoureuse» [2], встретили с течением времени на

лял и защищал существование, не освященное законом, но разве ему никогда при этом не приходило в голову, что таким образом он вызвал бы святую тень, которая еще сияет и живет в наших сердцах, окруженная ореолом чистоты и незапятнанного целомудрия, перед которой княгиня должна была пасть ниц, моля о прощении» («Несколько слов о брошюре г. Лафертэ, Париж, 1892) *(фр.).*

[1] «Вы думаете, графиня, что при старике такого рода легко управлять?!» *(фр.).*

[2] Влюбленной дружбы *(фр.).*

своем пути строго ортодоксальные и не допускающие никаких колебаний убеждения графини. Лев Николаевич со свойственной ему страстностью в искании правды стал делиться своими «открытиями» с теткой и рассказывать ей словесно и письменно о том, как церковность «спадает ветхой чешуей» с души его и как беспощадно к себе и к своим недавним верованиям он совлекает с себя «ветхого Адама». Между ними возгорелась полемика, в которой мало-помалу они стали говорить на различных языках и в которую постепенно проникло взаимное раздражение, подготовлявшееся долгим разладом во взглядах... Это раздражение с особенной яркостью сказалось в последних страницах записок графини Толстой. Характеризуя в них друга своей молодости, она, конечно, совершенно искренно и с душевной болью находит, что, «не успев уяснить себе свои собственные мысли, он отверг святые, неоспоримые истины», впал в мнимохристианское учительство и дошел до ужасного: возненавидел церковь, плодом чего явился «бешеный пароксизм невообразимых взглядов на религию и на церковь, с издевательством надо всем, что нам дорого и свято». Признавая, что Лев Николаевич «хуже всякого сектанта» и что после того как злой дух, древний змий, вложил в его душу отрицание,— за стулом его, как писателя, «стал сам Люцифер — воплощение гордости»,— графиня постановляет суровый окончательный приговор о Льве Николаевиче.

Незадолго пред этим в газетах появилось известное постановление о признании Толстого Св. Синодом не принадлежащим к церкви, и ему еще при жизни стала грозить возможность быть лишенным христианского погребения. Этим была вызвана целая бомбардировка его ожесточенными и укорительными письмами с проклятиями и угрозами. Около того же времени в многолюдном собрании Философского общества при Петербургском университете был сделан доклад, в котором с внешним блеском талантливости и внутреннею односторонностью высказывалась мысль, что в своей частной жизни и произведениях Толстой является нигилистом и резким отрицателем, идеалы которого можно, пожалуй, найти в миросозерцании старика Ерошки в «Казаках» или лакея Смердякова в «Братьях Карамазовых». Обычная непоследовательность русской жизни сказалась и тут, и, одновременно с объявлением об отлучении Толстого от церкви, на его известном портрете, сделанном Репиным

и привлекавшем к себе общее внимание на передвижной выставке в С.-Петербурге, появилась надпись о приобретении его для музея императора Александра III. Я призадумался над исполнением поручения академии, находя крайне несвоевременным печатание обличительных записок такого рода. Академии Наук не следовало содействовать той нетерпимости, предметом которой становился Толстой. Такое содействие, не согласное с ее авторитетом вообще, являлось бы уже совершенно неуместным по отношению к ее члену-корреспонденту и почетному академику. Это было бы вместе с тем лишено оправдания и с точки зрения исторической, так как оба корреспондента еще находились в живых, и история для них еще не наступила... Соображения мои были разделены покойным А. Н. Веселовским и А. А. Шахматовым, и графиня Александра Андреевна выразила после объяснения с последним желание, чтобы печатание ее записок было на некоторое время отложено.

И в это наше свидание в Ясной Поляне я видел, как по-прежнему останавливали на себе вдумчивое внимание Льва Николаевича житейские картины, таившие в себе внутренний смысл или нравственное поучение, и как по-старому же блистал непроизвольным юмором его рассказ, когда он бывал в духе. Так, например, он высказал ряд глубоких мыслей о той жадной и близорукой погоне за суетным житейским счастьем, которое так часто, со справедливой безжалостностью, прерывается внезапно налетевшею смертью. Это было вызвано рассказом моим об одном петербургском сановнике, человеке в душе недурном и вовсе не злом, но который, снедаемый честолюбием, всю жизнь хитрил, лицедействовал, ломал свое сердце и совесть, напускал на себя желательную и угодную, по его мнению, суровость, стараясь выставить себя «опорою» в сфере своей деятельности, имевшей дело с живым и чувствующим материалом. Человек бедный и семейный, он долгое время не мог собраться со средствами, чтобы «построить» себе дорогой, вышитый золотом мундир, и откладывал для этого особые сбережения. Наконец мундир был готов, и его оставалось надеть на придворный бал или торжественный выход, чтобы, в горделивом сознании своего официального величия, проследовать между второстепенными сановниками и городскими дамами. Но ни бала, ни выхода в скором времени не предстояло, а между тем наступало лето, и он собст-

венноручно, с величайшей осторожностью, уложил свой восьмисотрублевый мундир в ящик, посыпав его, оберегая от моли, нафталином. Осенью, 26 ноября, ко дню Георгиевского праздника, он вынул мундир — предмет стольких вожделений,— и о, ужас! Все драгоценное золотое шитье оказалось черным от нафталина. Через полгода его служебно-акробатические упражнения прекратились навсегда. За бортом гроба, на высоком катафалке, виднелось восковое бритое лицо покойника, с длинным заострившимся носом и недоумевающею складкой тонких губ. Казалось, что ирония судьбы способна пойти еще дальше и, пожалуй, могла бы надоумить прислугу положить его в гроб именно в мундире с почерневшим шитьем. «Этот образ,— сказал мне Толстой,— говорит гораздо больше, чем длинные рассуждения, и этой мыслью следовало бы когда-нибудь воспользоваться».

Как память о моем пребывании в Ясной Поляне в 1904 году, у меня остался снятый графиней Софьей Андреевной портрет Льва Николаевича и мой, на котором чрезвычайно удалась прекрасная в своем патриархальном величии фигура Льва Николаевича. Отголоском этого посещения явилось письмо ко мне Софьи Андреевны Толстой от 26 июня 1904 года. В нем она, между прочим, писала: «Лев Николаевич под гнетом военных и семейных событий (обе дочери его разрешились мертвыми младенцами, и младший сын ушел на войну) как будто еще более похудел, согнулся и стал тих и часто грустен. Но все та же идет умственная работа и все тот же правильный ход жизни. Очень мы оба радуемся вашему обещанию приехать к нам в сентябре. Пожалуйста, будьте здоровы и не раздумайте исполнить ваше намерение. Что-то будет в сентябре? Как мрачно стало жить на свете и как холодно!..»

IV

Выше я говорил о нашей переписке с Львом Николаевичем. Почти все его письма ко мне имеют деловой характер и часто представляют собою образчики содержательного лаконизма. Переписка у него огромная, и ему, без сомнения, некогда влагать свои мысли в форму условного пустословия, которое обыкновенно занимает немалое место в письмах. Пересматривая те тридцать шесть писем, которые у меня сохранились (к сожалению, не-

которые письма конца восьмидесятых годов выпрошены у меня неотступными собирателями автографов), я вижу, что господствующая в них тема есть постоянное и горячее заступничество за разных «униженных и оскорбленных», «труждающихся и обремененных», во имя справедливости и человечности. Бо́льшая часть тех, о ком хлопочет Толстой, прося помощи, совета, разъяснения или указания, суть жертвы той своеобразной *веротерпимости*, которая господствовала у нас до 17 апреля 1905 г. и не имела ничего общего со *свободой совести*. В силу такой веротерпимости — наше законодательство, начальственные усмотрения и затем, как неотвратимое несчастье, судебные приговоры — ограждали господствующую церковь рядом стеснительных, суровых и подчас жестоких мер и предписаний, направленных против «несогласно мыслящих» и к принудительному удержанию на лоне господствующей церкви тех, кто ей чужд сердцем и совестью. Высочайше утвержденный журнал комитета министров прозвучал 17 апреля 1905 г. над русской землей как благовест признания святейших потребностей и прав человеческого духа, дотоле безжалостно и бездушно попираемых.

Но в те годы, к которым относится бо́льшая часть писем Льва Николаевича, людей, имевших смелость, повинуясь голосу совести, не желать укладывать свое религиозное чувство и исповедание веры в установленные и окаменелые рамки, ждали всякого рода стеснения, обидные прозвища, домогательства носителей *меча духовного* и воздействия *меча светского*. И люди эти не были представителями изуверного сектантства, заблуждения которых идут вразрез с требованиями общежития и нравственности: это были по большей части люди глубоко верующие, преданные заветам отцов и дедов и выгодно отличавшиеся от окружающего населения своею трезвостью, любовью к труду, домоводством и нередко строгою семейною жизнью, ныне столь расшатанною... Их страдальческая судьба, испытываемые ими гонения и разрушение их семейного быта, в виде отнятия детей и насильственной отдачи их в монастыри, возмущали и волновали Льва Николаевича. Он писал письма к власть имущим, хлопотал о составлении прошений и обращался со словами трогательного заступничества к тем, кому предстояло сказать свое слово по этого рода делам. В числе последних бывал и я.

«Вы, может быть, слышали про возмутительное дело, совершенное над женой NN, у которой отняли детей и отдали матери ее мужа,— писал он мне в 1894 году.— Она хочет подать прошение, его ей написал ее свояк, но мне оно не нравится. Сам я не только не сумею написать лучше, но считаю и бесполезным и нехорошим учтиво просить о том, чтобы люди не ели других людей. Но вы именно тот человек, который, глубоко чувствуя всю возмутительность неправды, может и умеет в приятных формах уличать ее». Так, в 1897 году он просит принять нескольких молокан, у которых отняты дети, и помочь им советом. То же повторяется и в 1899 году относительно таких же молокан, причем он извещает меня, что написал одному из них прошение как умел. «Передадут вам это письмо,— пишет он в 1900 году,— сектант А. К. (полуслепой) и его провожатый. В сущности он мало располагает к себе, но не жалко ли, что его гонят за веру. Вероятно, вы почувствуете то же, что и я, и, если можете, избавите его гонителей от греха». Таких писем больше всего. Почти во всех содержатся трогательные извинения за причиняемое беспокойство и просьба не отвечать, если некогда или нельзя помочь. «Если вам почему-либо нельзя ничего сделать для этого хорошего молодого человека,— пишет он в 1894 году,— то, пожалуйста, не стесняйтесь этим и не трудитесь мне отвечать. Я знаю, что вы и без моей просьбы помогли бы ему, и думаю, что вы и для меня пожелаете сделать что можно, поэтому вперед знаю, что не сделаете, то только потому, что нельзя».— «Та, о заступничестве за которую я вас прошу,— пишет он в 1898 году,— молоденькое и наивное, как ребенок, существо, так же похожее на заговорщика и так же опасное для государства, как похож я на завоевателя и опасен для спокойствия Европы. Вот я и снова к вам с просьбой. Но что же делать? Noblese (des sentiments) oblige [1], а кроме того, мне не к кому обратиться в Петербурге». Даже тяжкая болезнь не умаляет его забот о других. Так, в ноябре 1901 года в письме из Кореиза в Крыму он говорит: «...пишу вам не своей рукой потому, что все хвораю и после своей обычной работы так устаю, что даже и диктовать трудно. Но дело, о котором пишу вам, так важно, что не могу откладывать. Моя знакомая и сотрудница во время голодного года, самое безобидное существо, находится в тех тяжелых усло-

[1] Благородство (чувств) обязывает (*фр.*).

виях, которые описаны в прилагаемой выписке письма, которое переписано слово в слово. Пожалуйста, remuez ciel et terre, чтобы облегчить участь этой хорошей и несчастной женщины. Вам привычно это делать и исполнять мои просьбы. Сделайте это еще раз, милый Анатолий Федорович».

В письмах рассыпаны известия о себе и о своих трудах, приглашения приехать в Ясную Поляну, милые сетования на то, что мне не удается этого сделать, и ряд добрых пожеланий. «Я жив и здоров,— пишет он в сентябре 1905 года.— Все одно и то же говорю людям, которые не обращают на мои речи никакого внимания, но я все продолжаю, думая, что я должен это делать».— «Очень сожалею о том, что ваша речь в академии о русском языке вызвала неосновательные возражения. То, что вы сказали, было очень естественно и вполне целесообразно. Надо выучиться не обращать на это внимание, впрочем, вы это знаете лучше меня» (1900 год). «Мне жалко вас за ваше нездоровье. Дай бог вам переносить его как можно лучше, то есть не переставая служить людям, что вы и делаете. Это самое лучшее и верное лекарство против всех болезней» (1904 год). «...Желаю вам духовного спокойствия, а телесное здоровье в сравнении с этим благом, как щекотка при здоровом теле» (1906 год)... «...Вчера утром, получив ваше письмо, я не вспомнил сразу по почерку на конверте, чей именно это почерк, решил, однако, что это от человека, которого я люблю, и отложил, как я обыкновенно это делаю, письмо это под конец; когда же распечатал и узнал, что письмо от вас, порадовался своей догадливости»,— значится в одном из его последних писем ко мне.

V

Таковы мои воспоминания о Л. Н. Толстом. В них не выражено главного, трудно поддающегося описанию: его влияния на душу собеседника, того внутреннего огня его, к которому можно приложить слова Пушкина: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует». Тот, кто узнал его ближе, не может не молить судьбу продлить его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого искание правды в жизни и кому свойственно то, что Пуш-

[2] Употребите все средства (*фр.*).

кин называл «роптаньем вечным души», а Некрасов — «святым беспокойством»... Можно далеко не во всем с ним соглашаться и находить многое, им проповедуемое, практически недостижимым. Можно, в некоторых случаях, не иметь сил или уменья *подняться* до него, но важно, но успокоительно знать, что он *есть*, что он существует как живой выразитель волнующих ум и сердце дум, как нравственный судья движений человеческой мысли и совести, относительно которого почти наверное у каждого, вошедшего с ним в общение, в минуты колебаний, когда грозят кругом облепить житейские грязь и ложь, настойчиво и спасительно встает в душе вопрос: «А что скажет на это Лев Николаевич? А как *он* к этому отнесется?».

Со многих сторон восставали и восстают на него. Ревнители неподвижности сложившихся сторон человеческих отношений упрекают его за смелость мысли и за разрушительное влияние его слова, ставя ему в *строку* каждое *лыко* некоторых из его неудачных или ограниченных последователей. Ему вменяют в вину провозглашение им, без оглядки и колебаний, того, что он считает истиной и по отношению к чему лишь осуществляет мнение, высказанное им в письме к Страхову: «Истину... нельзя урезывать по действительности. Уж пускай действительность устраивается, как она знает и умеет по истине». Но не сказал ли некто, что «истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней?». А ведь этот некто — был знаменитый московский митрополит Филарет...

Некоторые из людей противоположного лагеря относятся к Толстому свысока, провозглашая его носителем «мещанских» идеалов, ввиду того, что во главу угла всех дел человеческих он ставит нравственные требования, столь стеснительные для многих, которые в изменении политических форм, без всякого параллельного улучшения и углубления морали, видят панацею от всех зол. Вращаясь в своем узком кругозоре, они забывают при этом, что даже наиболее радикальная политико-экономическая мера, рекомендуемая ими,— национализация земли — в сущности указана и разъяснена у нас Толстым, но с одной чрезвычайно важною прибавкою, а именно: *без насилия*...

Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...

ПО ПОВОДУ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО

Новое посмертное произведение Л. Н. Толстого, получившее название «Живой труп», возбуждает самые оживленные толки и страстные споры как по поводу своего содержания, так и по отношению к тем действительным обстоятельствам жизни, из которых возникло судебное дело, послужившее фактическою темой драмы Толстого. В хоре восторженных отзывов диссонансом звучат скептические звуки. В то время, когда одни видят в «Живом трупе» повторение нравственных заветов великого писателя, изложенное в форме сценического произведения, другие находят, что симпатии автора к Феде и теория «изюминки» не могут иметь доброго влияния на общество, где бесхарактерность, слабоволие, сентиментальный эгоизм и отсутствие чувства долга не встречают сурового и заслуженного осуждения. Одни видят в «Живом трупе» новое слово на новых путях драматического искусства, другие сравнивают короткие, быстро сменяющиеся драматические сцены чуть ли не с лентой кинематографа. Очевидно, что время для спокойной и трезвой критики еще не наступило, но оно, конечно, может считаться наставшим для рассказа о том судебном деле, которому во всяком случае принадлежит некоторая роль в происхождении «Живого трупа».

В начале восьмидесятых годов прошедшего столетия в Москве проживало семейство отставного прапорщика Павла С., 18-летняя дочь которого, Екатерина, вышла в 1881 году замуж за дворянина Николая Гимера. Первые годы жизнь супругов текла счастливо, и у них родился сын, но в 1883 году между супругами начались разногласия, вызвавшие собою их разлуку. По показаниям сестры Николая Гимера, его сослуживцев и знакомых, он был человеком весьма слабохарактерным и малоразвитым. Поселившись после разлуки с женою у своей матери, он стал предаваться пьянству и дошел до того, что его пришлось уволить от службы в правлении одной из крупных железных дорог, находящемся в Москве. Когда, в 1893 году, умерла его мать, оказывавшая ему нравственную и материальную поддержку, на помощь к нему пришли другие его родственники, нанявшие для него комнату с полным содержанием и обещавшие найти ему службу,

если он изменит своей вредной привычке. «Отдавшись чтению произведений отечественной литературы», он, по его словам, «старался победить свою наклонность к вину и жить надеждою на получение возможности содержать себя личным трудом». Но наклонность обратилась в привычку, привычка в потребность, а потребность постепенно приняла характер порока, подчинившего себе всецело Николая Гимера, постепенно спустившегося до «дна». Он сам признал, что страсть к вину пробудилась в нем с особенной силой и что с 1894 года он предался необузданному пьянству и, лишившись вследствие этого оказавшегося бесплодным участия родных, выбился совершенно из жизненной колеи, сделался бродягой, не имеющим ни хлеба, ни пристанища, кроме ночлежных домов, и стал «погибшим человеком». Между тем жена его, которую знавшие характеризуют как женщину нервную и впечатлительную, научилась акушерству и поступила для осуществления этой профессии на большую фабрику в Богородском уезде, где познакомилась со служившим на ней крестьянином Чистовым. Между ними возникла и упрочилась сердечная симпатия и, как естественный результат, явилось желание вступить в брак. Этому, однако, препятствовало то, что Екатерина Гимер считалась законной женою бездомного пропойцы, который, по его словам, уже давно потерял ее из виду. Разыскав не без труда человека, с которым она была связана крепкими церковно-юридическими узами в то время, когда нравственные и физические узы давным-давно были порваны, она уговорила своего супруга дать ей развод, приняв вину на себя. Трудно определить, что побудило его к согласию на это: была ли то надежда, что жена будет продолжать платить за нанятый для него угол в одном из ночлежных домов и выдавать ему ежемесячно по пяти рублей впредь до — более чем сомнительного — получения им службы, или же, как он сам выразился, привычка к мысли, что у него давно уже нет жены, и сознание, что в действительности за протекшее время он со своей стороны бывал виновен в супружеской неверности,— но во всяком случае в 1895 году ею было подано в московскую консисторию прошение о разводе вследствие прелюбодеяния мужа. Во время производства бракоразводного дела Николай Гимер подтвердил жалобы жены со ссылкою на свидетелей своего проступка, но в консистории,— вероятно, по недостаточности тех осязательных данных,

которыми обыкновенно сопровождались домогательства супругов о разлучении,— определением 7 декабря 1895 г. Екатерине Гимер в разводе с мужем было отказано. С этим определением не согласился, однако, московский митрополит,. предписавший консистории, резолюциею 20 декабря, допросить не спрошенных ею свидетелей. Заинтересованная в успешном разрешении своей просьбы о разводе, Екатерина Гимер, конечно, следила за ходом своего дела и, узнав в канцелярии об отказе, была этим крайне смущена и расстроена, считая таковой за окончательный и не предвидя будущей резолюции митрополита. Между тем желание, а, быть может, по различным местным и личным обстоятельствам, необходимость бракосочетания с любимым человеком побуждали ее не примиряться с безысходностью своего положения...

24 декабря 1895 г. у проруби на Москве-реке против Кремлевского дворца, в районе якиманской части, найдено было поношенное пальто со свидетельством об освобождении Николая Гимера от исполнения воинской повинности, несколькими письмами на его имя, а также запиской, содержавшей в себе просьбу никого не винить в смерти владельца пальто. На другой день Екатерина Гимер получила по городской почте от мужа письмо, в котором говорилось, что, доведенный до крайности голодом и холодом, он решил лишить себя жизни, утопившись в Москве-реке. Письмо это она представила в полицию, а 27 декабря та же полиция пригласила ее осмотреть труп вытащенного накануне из воды утопленника, в котором предполагали самоубийцу, бросившего у проруби платье и оставившего записку. Она признала в трупе своего мужа, а на вопрос, почему покойный одет в мундир инженера путей сообщения, ответила, что муж, постоянно пропивая или обменивая свое носильное платье, бродя по Москве и проводя ночи в ночлежках, мог оказаться даже и не в таком костюме. Труп мужа был ей выдан, она похоронила его 31 декабря на Дорогомиловском кладбище, 5 января 1896 г. получила вдовий вид, а 21 января в церкви одного из сел Богородского уезда обвенчалась с крестьянином Чистовым.

Двадцать пятого марта 1896 г. петербургский градоначальник получил прошение от проживающего на Охте дворянина Николая Гимера о выдаче ему нового паспорта, так как прежний утерян им при проезде из Москвы в Петербург и он проживает по своему метрическому сви-

детельству, которое полиция затрудняется прописывать. По этому поводу приставу охтинской части предписано было произвести дознание. Вызванный в участок Николай Гимер на заявление пристава, что рассказ об утрате паспорта представляется маловероятным, сознался, что паспорта не терял, а таковый находится в делах московской духовной консистории или, быть может, в деле о его самоубийстве, и по этому поводу рассказал о том, каким путем добыт вдовий вид его женой. Из проверенного дознанием и следствием заявления его оказалось, что Екатерина Гимер, отчаявшись в получении развода, уговорила его дать ей возможность иметь удостоверение о его смерти, для чего он должен был бросить у проруби на Москве-реке часть своей одежды и документов, а затем написать по составленному ею черновику письмо с уведомлением о решимости своей на самоубийство. С исполнением этого ее предложения совпало, как он выразился, «на ее счастье», извлечение из реки трупа неизвестного человека, причем полиция с близорукой поспешностью не сообразила, что прорубь, в которую будто бросился Николай Гимер 24 декабря, находится на шесть верст *ниже* по течению от того места, где был вытащен 27 декабря неизвестный человек, еще *живой* и умерший через десять минут по доставлении его в управление пресненской части. Через несколько дней после этого Екатерина Гимер проводила мужа на Николаевскую железную дорогу, купила для него билет до Петербурга и дала ему на дорогу пятнадцать рублей, обещая каждый месяц высылать денежную помощь, что она и делала, подписывая свои письма вымышленным именем. Таким образом создалось против супругов Гимеров обвинение — жены в двоебрачии и в необходимом пособничестве для этого со стороны мужа, то есть в преступлении, предусмотренном 1554 ст[атьей] Уложения о наказаниях.

Эти обстоятельства показывают, что упоминаемый в различных версиях о происхождении «Живого трупа» шантаж со стороны сотоварища Николая Гимера по пьяному и бездомному житию и последовавший затем от него донос, повлекший за собой возбуждение преследования против Гимера, лишены фактического основания. В последние годы экспериментальная психология, установляя, путем опыта, приемы для оценки объективной правдивости свидетельских показаний, приходит к выводу, что человеческая память по прошествии некоторого времени

от события в большинстве случаев утрачивает ясность и точность, стремясь восполнить образующиеся в ней пробелы представлениями, которые, будучи совершенно добросовестными, в то же время совершенно далеки от истины. В этих случаях человеческая мысль, незаметно для самой себя, переходит от шаткого «так могло бы быть» к определенному «так должно было быть» и к положительному «так было». Этим, конечно, объясняется то, что один из участников заседания по разбиравшемуся в Москве делу супругов Гимеров называет руководителем заседания бывшего председателя Московского окружного суда Н. В. Давыдова, тогда как дело разбиралось в Московской судебной палате с участием сословных представителей под председательством старшего председателя палаты А. Н. Попова. Этим же объясняется и утверждение одного из сословных представителей, что суд, постановивший обвинительный приговор, найдя положение осужденной за двоебрачие супруги трагичным, безвыходным и ее самое глубоко несчастной, определил ходатайствовать пред высочайшей властью о смягчении ее участи, каковое ходатайство и было уважено. В *действительности* никакого ходатайства о смягчении участи со стороны судебной палаты не последовало, хотя по 774 ст[атье] Уст[ава] угол[овного] суд[опроизводства] в случаях, когда представляются особые уважения к облегчению участи подсудимого, суду дозволяется ходатайствовать пред императорским величеством не только о смягчении наказания, но даже и о помиловании обвиненного, сделавшегося жертвой несчастного для него стечения обстоятельств. Уменьшив меру следуемого Екатерине Гимер наказания на две степени «во внимание к ее легкомыслию», судебная палата приговорила обоих подсудимых к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Енисейскую губернию. На этот приговор оба осужденные принесли кассационные жалобы в Сенат: Екатерина Гимер отрицала свою виновность, а Николай Гимер доказывал, что между вступлением его жены во второй брак и теми действиями, в которых он обвинен, нет никакой причинной связи, так как решающим обстоятельством для признания ее вдовою послужило опознание ею в неизвестном человеке, вытащенном из воды и вслед за тем умершем, своего мужа. Жалобы эти слушались в заседании уголовного кассационного департамента 10 марта 1898 г. и оставлены без последствий, а самое

дело о двоебрачии, по изготовлении решения в окончательной форме, подлежало возвращению в палату для обращения приговора к исполнению.

Участвуя в этом заседании и соглашаясь со строго юридической точки зрения с правильностью взгляда Сената на полную наличность в установленных судебною палатою обстоятельствах существенных признаков преступления двоебрачия, предусмотренного 1554 ст[атьей] Улож[ения] о наказ[аниях], я тем не менее находил, что формальное применение закона к обоим подсудимым, и в особенности к Екатерине Гимер, представляется до крайности жестоким и тяжко поражающим существование последней, и без того глубоко несчастной. Это был яркий случай противоречия между правдой житейской, человеческой — и правдой формальной и отвлеченной, и в то время, когда последняя с бесстрастной правильностью совершала свое дело,— первая громко, как мне казалось и слышалось, взывала к участию и милосердию. Res sacra miser! [1]. Поэтому, в ожидании изготовления решения сенатором-докладчиком, я немедленно обратился к исполнявшему обязанности товарища прокурора Московской судебной палаты покойному Н. М. Коваленскому, поддерживавшему обвинение против Гимеров, с просьбою ответить на некоторые вопросы. Уже 15 марта я получил ответ, в котором значилось, что на суде ничем не было доказано, чтобы поведение Екатерины Гимер побудило мужа сделаться горьким пьяницей, и наоборот, более чем вероятно, что последний спился с круга совершенно независимо от своих отношений к жене; крестьянин же Чистов, очевидно, без памяти любивший и решившийся последовать за нею в Сибирь, произвел на всех в заседании прекрасное впечатление. «Разбирайся дело с присяжными заседателями,— писал Коваленский,— супруги Гимер были бы несомненно оправданы. Их совместная жизнь в Сибири будет, вероятно, невозможной. Николай Гимер тесно сроднился с жизнью на улице и в кабаке, а его жена — энергичная и трудолюбивая женщина, и, быть может, ей удастся найти себе заработок и в ссылке». К письму Коваленский, бывший талантливым художником, прилагал и набросанный им в заседании портрет Николая Гимера, объясняя, что, по общему признанию, портрет очень похож, но только в натуре нос

---

[1] Несчастный — священен! *(лат.)*.

оригинала поражает своим темно-багровым цветом. Этот портрет вполне совпадает с описанием, сделанным А. М. Катковым, бывшим сословным представителем в особом присутствии палаты. «Как сейчас помню этого субъекта, который явился в качестве *живого трупа,*— пишет он.— Маленький человечек со страшно длинным, вытянутым носом, совершенно красным; он был оборван, в каких-то опорках и держал себя *бывшим человеком».* Вслед за тем, обратившись к моему старому знакомому еще по первым годам судебной реформы в Харькове, талантливому ученому и мыслителю, профессору Л. Е. Владимирову, вступившему в Москве в сословие присяжных поверенных, я просил его разыскать несчастную Екатерину Гимер и сообщить мне свое личное о ней впечатление. Двадцать третьего марта он писал мне: «Сегодня у меня была несчастная Гимер, и я чуть не плакал, смотря на нее и слушая ее рассказ. Во-первых, это больная, замученная, растерзанная женщина; во-вторых, у нее сын пятнадцати лет, гимназист, который прекрасно учится, и его приходится оставить одного и без средств в Москве. Мальчик в настоящее время невыразимо страдает от мальчишек-товарищей, преследующих его намеками на процесс. Не стану вам говорить, что нужно сделать для этой бедной женщины, тем более что вы сами возбуждаете вопрос, в результате которого может быть значительное смягчение. Но говорю вам: стоит посмотреть на эту тень, которая называется Гимер, чтобы увидеть, что назначенное ей наказание есть непосильное бремя. На конвоира при поездке в Сибирь на свой счет у нее нет никаких средств; отправиться же в Сибирь по этапу, в компании преступников, ей невозможно: она просто умрет. Краше в гроб кладут! Удивляться нужно, в чем держится жизнь. Видали ли вы когда-нибудь христианскую мученицу Антокольского? Вот это — Екатерина Гимер...» Вооруженный этими сведениями, я обратился к моему глубоко мною уважаемому преемнику по званию обер-прокурора, В. К. Случевскому, и просил его ходатайствовать перед министром юстиции — по заведенной мною в бытность мою обер-прокурором практике — о помиловании или значительном смягчении судьбы осужденных. Заручившись его согласием, я отправился к Н. В. Муравьеву, чтобы личными с ним объяснениями подготовить почву для благоприятного направления будущего представления В. К. Случевского, что, к сожалению, бы-

вало не во всех подобных случаях, а также, чтобы узнать, в какой мере готов министр юстиции допустить смягчение участи, если полное помилование не будет признано возможным. Результатом этих объяснений был, составленный мною и одобренный в проекте обер-прокурором, рапорт его от 19 мая, в котором он, препровождая подлинное дело и копию с только что подписанного решения Сената, ходатайствовал перед министром юстиции о замене для осужденных ссылки с лишением прав — заключением в тюрьме на год без всяких ограничений в правах. Двадцать девятого июня по докладу министра юстиции на это последовало высочайшее соизволение. «Екатерина Гимер,— писал мне 11 сентября профессор Владимиров,— которая была сегодня арестована, просила меня передать вам свою душевную благодарность за все, что для нее было сделано. Она будет содержаться, ввиду ее болезненного состояния, в тюремной больнице и de facto[1] будет исполнять обязанности фельдшерицы...»

Такова фактическая сторона дела, подавшая Л. Н. Толстому мысль, воплотившуюся в столь нашумевшей пьесе «Живой труп».

Как известно, Н. В. Давыдов рассказал Толстому сущность дела супругов Гимеров. Со свойственною ему чуткостью и отзывчивостью он, без сомнения, в ярких чертах развернул перед «великим писателем русской земли» эту драму,— одну из тех житейских драм, с которыми нередко приходится встречаться судебным деятелям. На палитре жизни есть краски, и в жизненной ткани есть узоры, которые подчас могут казаться крайним проявлением усиленного вымысла, если бы их не оправдывали и не подтверждали неопровержимые и несомненные факты. «В природе, друг Горацио,— говорит Гамлет,— есть много вещей, которые и не снились нашим мудрецам». Он мог бы сказать с не меньшим основанием, что в жизни бывают такие положения и завязываются такие узлы, которые и не снились служителям искусства. По появившимся в печати сведениям, Толстой так заинтересовался тем, что ему сообщил Н. В. Давыдов, что тогда же, то есть в половине девяностых годов, стал набрасывать и обдумывать драматическое произведение, которое первоначально носило название «Труп». Еще в 1900 году, как видно из отрывков его дневника, мысль

---

[1] Фактически (*лат.*).

его часто обращалась к этому произведению. Тем не менее я решаюсь утверждать, что он его никогда не считал вполне законченным. В плане и набросках этого произведения вводные лица то появлялись, то исчезали, а отдельные сцены выбрасывались, оставляя те пробелы, которые чувствуются при чтении «Живого трупа» и возбуждают недоуменные вопросы или произвольные, быть может, совершенно несогласные с замыслом автора, предположения. Так, например, господин Буланже указывает на то, что в первом действии первоначально был выведен лихач-извозчик Турецкий, дающий нить к отысканию Феди, которого он возил по Москве. Образ Турецкого вообще интересовал Льва Николаевича. В 1887 году, в Ясной Поляне, во время одной из незабвенных для меня прогулок вдвоем, Толстой со сдержанным и тонким юмором рассказывал, как в старые «крепостные» годы помещики из медвежьих углов отдаленной провинции после долгих сборов и приготовлений отправлялись, иногда и с членами семьи, в Петербург. Но по дороге лежала Москва со всеми своими тогдашними соблазнами. Остановившись в ней на несколько дней, такой — тяжелый на подъем и обросший, одетый старомодно и озадаченный внешней жизнью огромного города,— путешественник ехал обыкновенно в баню, а на другой день отправлялся к парикмахеру, который его брил, стриг, завивал и опрыскивал духами. И с этого момента приобщившийся к «цивилизации» помещик, одичавший в своем углу, вдруг начинал чувствовать непреодолимую потребность вкусить и остальных благ цивилизации и исчезал на несколько дней. Родные и близкие начинали тревожиться, воображали, что случилось какое-нибудь несчастье, и обращались с вопросами и запросами к кому-нибудь из высших представителей полиции. Но последний, по опыту, обыкновенно знал, что это «es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu» [1]. Он требовал к себе Турецкого, содержателя лихачей, и тот скоро доставлял требуемые и успокоительные сведения, проследив или сам припомнив похождения пропавшего. Извлеченный из недр цыганского табора или из гостеприимных стен какого-либо увеселительного заведения или трактира, «хлебнувший цивилизации» возвращался к родным сконфуженный, обыгранный, нездоровый от кутежей и очень часто с та-

[1] «Старая история, которая всегда остается новой» *(нем.)*.

ким опустошенным карманом, что вместо поездки в Петербург приходилось возвращаться назад... В 1904 году ранней весной я был последний раз в Ясной Поляне, найдя Льва Николаевича в нервном и удрученном состоянии под влиянием начавшейся злополучной русско-японской войны. При мне было получено известие о гибели Макарова и Верещагина, очень его взволновавшее. В разговорах на литературные темы и в чтении вслух рассказов Куприна он, казалось, искал забвения от тревоживших его мыслей. В этот мой приезд он дал мне возможность прочесть в рукописи «Хаджи-Мурата», «После бала» и «Божеское и человеческое». Но когда я, до глубины души захваченный этими произведениями, попросил его дать мне прочесть и «Труп», то он сказал мне: «Нет, этого читать не стóит: оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и я его совсем бросил». Не думаю, чтобы в последующие затем годы Лев Николаевич мог изменить свое отношение к этому произведению и снова им заняться. Бурные дни, пережитые за это время Россией, обратили его к трудам иного порядка... Вот почему мне думается, что нельзя особенно порадоваться оглашению и постановке «Живого трупа», к которому не приложена окончательно творческая рука автора. Глубокие мысли о ложных сторонах нашей общественной и личной жизни, спорадически мелькающие в этом произведении, известны из ряда предшествующих законченных произведений Толстого, и ими не искупаются различные промахи относительно действительного положения вещей, которые, конечно, были бы устранены при окончательной отделке вполне созревшей драмы...

Мне пришлось впервые познакомиться с «Властью тьмы» и «Плодами просвещения» в замечательном чтении А. А. Стаховича, во время которого каждое действующее лицо оживало перед слушателями со всеми своими особенностями. С А. А. Стаховичем, как чтецом, я мог бы сравнить лишь покойного А. Ф. Писемского. И у последнего чтение почти что обращалось в игру, но несколько более грубую и без тонких оттенков и художественной дикции, которыми так богато было чтение А. А. Стаховича. Затем я видел «Плоды просвещения» на Александринской сцене в Петербурге и в Малом театре в Москве и, вопреки ожиданиям, свойственным мне как старому москвичу, нашел, что исполнение в Петербурге было значительно тоньше, глубже и богаче бытовыми подробно-

стями, чем на знаменитой московской сцене, где многое было утрировано и второстепенные роли были розданы довольно бесцветным исполнителям, тогда как в Петербурге, например, роль старшего из мужиков, которому «курёнка некуда выпустить», удивительно исполнял Давыдов. «Власть тьмы» мне пришлось видеть только на сцене Суворинского театра в Петербурге, где был превосходен артист исключительных дарований Красовский, в рассказе о «детосеке». Поэтому сравнивать исполнение этой драмы с таковым же на других русских сценах я не могу, но должен сознаться, что по силе и, так сказать, по страстности игры его оставило далеко за собой исполнение итальянского артиста Цаккони с его итальянскою же труппою. Странное впечатление, производимое тульскими мужиками, говорящими по-итальянски, и горячею южной жестикуляцией женщин, проходило очень быстро, и зрителя с чрезвычайной силой захватывала гармоническая связь содержания и исполнения, выдержанного во всех подробностях. Сам Цаккони был великолепен и своей игрой лучше всего доказывал, как общечеловечны в своем ходе и развитии те страсти, которые изобразил Толстой с такой силой*. В сцене галлюцинации, когда Никите слышится треск костей раздавленного ребеночка, он дал совершенно верную клиническую картину слуховых обманов чувств, чуждую всяких преувеличений, и тем не менее такую, от которой мороз подирал по коже.

Говоря о Цаккони, я не могу забыть его игры в «Отелло». Я видел в этой роли знаменитого черного трагика Айра Олдриджа в его приезд в Москву, где я был в это время студентом. В его игре сказывался темперамент уроженца «знойной Африки», и чудилось, что в минуты страсти в его жилах течет не кровь, а раскаленная лава. В сцене умерщвления Дездемоны он был просто страшен. Войдя в спальню, он крался, как кошка, и, видимо, торопился совершить свое жестокое дело с назревшею решимостью. Он вел допрос Дездемоны, сидя на маленьком табурете у ее ног, задавая вопросы глухим и дрожащим от волнения голосом, согнувшись, нетерпеливо потирая переднюю часть своих бедер и похлопывая себя по коленкам. Видно было, как звериная жажда мщения волною заливает в нем человеческие чувства. Задушение Дездемоны сопровождалось у него торжествующим воплем и рыканием, затем наступало молчание, длившееся

довольно долго, и он отходил от ложа жены с видом ослабевшего, но успокоенного человека. Его отчаянные крики: «Дездемона! Дездемона!»—когда он узнает истину, потрясали весь зрительный зал и долго-долго звучали в ушах слушателей. Звучат они и теперь для меня с такою же силой, как будто я вижу Олдриджа перед собою в великолепном, своеобразном костюме и слышу его английскую речь. Отелло был его коронною ролью, и мне пришлось по поводу ее исполнения присутствовать при интересном разговоре. В это время в Москве жил, оканчивая свои «судьбой отсчитанные дни», ветеран и гордость русской сцены, Михаил Семенович Щепкин. Старый друг моего отца, Щепкин, видавший меня не раз в Петербурге ребенком, с сердечным радушием встретил меня, когда я переселился в Москву после закрытия Петербургского университета в 1862 году. Он незадолго перед этим оставил сцену, но не мог примириться с этой разлукой. «Понимаете ли,— говорил он мне,— ведь я сжился со сценой: мне просто непонятна жизнь вне ее, без любимого дела: мне нужен запах кулис, свет рампы; я не могу без этого жить... я умру...» И, действительно, он вскоре умер. Несмотря на налет грусти, который лежал на его умном старческом лице и на его часто затуманивавшихся слезами глазах, он был неистощим в воспоминаниях и рассказах о своем прошлом, в особенности о далеком прошлом, мысль о котором переносила его в родную Украину. Живо помню один из таких рассказов. «Мне пришлось,— говорил Щепкин,—ждать у реки парома, чтобы переехать на другой берег с кладью, принадлежавшей моему помещику графу Волькенштейну. На пристани сидел старик — сторож и флегматически курил свою люльку. После нескольких минут молчания он так же флегматически сказал мне, лениво кивнув головою по течению реки: «Чоловік тоне».— «Где? где?» — вскричал я и увидел то исчезавшую, то снова показывавшуюся голову и бессильно взмахивавшие руки. Я быстро сбросил с себя одежду и поплыл на помощь. Будучи отличным и сильным пловцом, я скоро достиг утопающего, но тут оказалось, что он был не один и что за него хватался другой, тоже тонувший, и увлекал его с собой на дно. Я оторвал и оттолкнул одного от другого и по очереди вытащил их на берег. От крайнего напряжения я так ослабел, что, вытащив второго на берег, сам упал без чувств. Когда через несколько минут я пришел в себя, то из рассказов

окружавших меня и самих спасенных узнал, что один из последних, не умея плавать, оступился на крутом обрыве дна и стал тонуть. Тогда другой бросился его спасать, забыв, что и сам не умеет плавать. Это последнее обстоятельство обидным образом умалило во мне сознание совершенного мною «подвига», а тут еще неосторожный спаситель снова полез в воду. Это меня раздражило. «Куда ты лезешь опять?» — остановил я его.— «А обмыться»,— отвечал он лаконически, и это уж окончательно взорвало меня, так что я с такой силой дал ему в ухо, что он упал. Я отрезвел, устыдился и сконфуженно опустил голову. Тогда среди наступившего общего молчания из группы окружающих выделялся старик-сторож со своей неизменной люлькой, подошел ко мне и, ласково потрепав по плечу, сказал: «Эге, Семенович! вытащив чоловіка, щоб убити». Все засмеялись и пошли своей дорогой». Я помню также, в какое восхищение приводили Щепкина Гарибальди и его эпопея. Он не мог говорить о нем без слез умиления и с великим удовольствием цитировал ходивший на Украине в народе слух, что популярный герой вовсе не итальянец, а потомок запорожцев — Загребайло, переделанный на чужбине в Гарибальди. При мне Щепкин зазвал со двора шарманщика с девочкой-певичкой и заставил их играть и петь гарибальдийский гимн, плача в три ручья в то время, когда девочка, им тепло обласканная и одаренная, тоненьким голоском выводила: «Evviva Garibaldi!» [1]. Точно так же, заливаясь слезами, говорил он по-малороссийски при мне не раз любимое стихотворение Шевченко «Пустка», начинавшееся словами:

Заворожи мені волхве,
Друже сивоусий!
Ти вже серце запечатав,
А я ще боюся —

и продиктовал его мне...

Однажды, когда мы сидели в обширном кабинете Щепкина, на Мещанской улице, недалеко от Сухаревой башни, в передней раздался звонкий хохот, и оттуда показалось смеющееся, жизнерадостное, красное лицо Кетчера под шапкою лохматых седых волос, а за ним и сам Айра Олдридж. Друг выдающихся людей сороковых го-

[1] «Да здравствует Гарибальди!» *(ит.)*

дов, который «перепер» всего Шекспира на русский язык, Кетчер привез английского черного трагика познакомиться со Щепкиным и согласился исполнять при этом обязанности толмача. Олдридж начал беседу красиво составленной фразой о том, что он не мог уехать из Москвы, не отдавши дань почтения знаменитому артисту и не услышав от него критического отзыва о своей игре. «Скажи ему,— обратился Щепкин к Кетчеру,— что я его видел только в «Отелло» и нахожу, что он замечательный артист и что в последнем действии он меня, старика,— человека привычного — взволновал до глубины души». В ответ на это Олдридж почтительно наклонил голову, сказал, что такой отзыв для него — лучшая награда, но все-таки настойчиво попросил у Щепкина критических замечаний. «Иначе,— прибавил к его словам Кетчер,— он может принять твои слова за простую условную любезность».— «Ну, когда так,— заволновался Щепкин,— то скажи ему, что мне не нравится вся его сцена с приезжающей Дездемоной. Когда привозящая ее галера останавливается у берега и она ступает на землю, Олдридж спокойно и величественно идет ей навстречу, подает ей руку и выводит на авансцену. Разве это возможно?! Он забывает, что Отелло — мавр, что в нем льется и кипит южная горячая кровь, что он давно не видел жены, которую не только любит, но в которую страстно влюблен... и вот она пред ним — одновременно предмет обожания и вожделения... да ему вся кровь должна ударить в сердце, он должен броситься к ней, как зверь, забыв все окружающее, схватить ее, смять в своих объятиях, принести на руках на авансцену и только тут вспомнить, что он военачальник и что за ним следят любопытные взоры. Вот тут он должен сделаться тем, чем его с самого начала изображает Олдридж. Да скажи ему,—и Щепкин вскочил со стула в порыве артистического творчества,— что он должен осыпать ее поцелуями, целовать ей руки и ноги; да скажи ему, что...» — и он сделал энергическое и весьма образное указание, неудобное для повторения в печати. Олдридж, выслушав перевод, улыбнулся и наклонил голову в знак согласия.

Совсем другого Отелло играл Сальвини. В последнем действии к нему можно было применить то, что говорит Пушкин о Петре в утро Полтавской битвы: «Лик его прекрасен... Он ужасен...» Необыкновенно тонко проводил он оттенок доверчивости и детской наивности в харак-

тере Отелло. Когда Яго отравляет его душу подозрением и он вдруг догадывается, что дело идет о его жене, он быстро теряет самообладание, бросается на Яго, сильным ударом валит его на землю и топчет ногами. Но порыв этот тотчас проходит, он овладевает собою и жестом, исполненным доброты и великодушия, протягивает руки к Яго, и в возгласе его: «О! О!»—звучит укор себе и мольба о прощении. А затем он отходит к стене, поворачивается к ней лицом и, как обиженное дитя, горько плачет, машинально скребя пальцами эту стену. И опять в этой сцене другого Отелло играл Цаккони. Гордый и властный мавр, сидя на авансцене почти у самой рампы, лицом к публике, слушал небрежно лукавый шепот Яго, и лишь когда последний начал ставить точки над i, на лице его изобразилось скучающее недоумение. Но еще минута — и на нем, как молния, промелькнуло понимание смысла слышанного. Он хватает за ворот Яго, могучим движением ставит его перед собой на колени, берет за уши, приближает его лицо почти вплотную к своему, его глаза почти выскакивают из орбит и из ярко-красных уст, покрытых пеною ярости, слышатся шипящие, прерывистые звуки клокочущего гнева и уязвленного в самое сердце самолюбия. Подобно Олдриджу в последнем разговоре с Дездемоной, Цаккони был страшен в описанной сцене, и я не думаю, чтобы актер, исполнявший роль Яго, чувствовал себя в эти минуты приятно.

Переделки «Воскресения» на русский язык я на сцене не видел, хотя по поводу такой переделки, сделанной артистом Ге, я и был вызван в суд для дачи показаний по делу между ним и артистом Арбениным. Они обвиняли друг друга в плагиате, и так как я присутствовал при чтении переделки Ге у М. Г. Савиной, то предполагалось, что я могу дать важные разъяснения по вопросу о том, кто у кого заимствовал сценарий и конструкцию драмы. Публика же, мелкая пресса и стороны, по-видимому, интересовались тем, что показание будет давать свидетель, который расскажет кое-что и о происхождении «Воскресения». Но я этого «кое-что», к общему разочарованию, не рассказал. Я не хотел делать моих отношений к Льву Николаевичу предметом импровизации со стороны авторов судебных отчетов в поспешных, отзывающихся на злобу дня, трудах, в которых иногда трудно отличить, где

кончается Wahrheit[1] и где начинается Dichtung[2]. Воспоминание о происхождении повести Толстого, властно всколыхнувшей многие сердца и многих удержавшей — как мне достоверно известно — на самом краю покатой плоскости эгоистической потачки своим чувственным вожделениям,— было мне слишком дорого, чтобы делиться им с безжалостно-жадною на ощущения толпою, наполняющею судебные залы по сенсационным процессам.

Я присутствовал на первом представлении «Auferstehung» в Deutsches Theater[1] в Берлине, куда мы отправились с покойным профессором А. И. Чупровым. Превосходная постановка, этнографическая и бытовая верность костюмов и вдумчивое отношение артистов к своим ролям произвели на нас самое приятное впечатление. Переделка была не из особенно удачных, но главнейшие внешние события, влияющие на психику Нехлюдова, были представлены выпукло и согласно с замыслом автора. За исключением двух маленьких погрешностей (Катюша зажигает папироску в тюрьме у *лампадки;* с пришедшими поздравить в светлый праздник крестьянами Нехлюдов не христосуется, а подает им руку), все было изображено совершенно верно. Некрасивая и немного толстая актриса изображала Катюшу с большим чувством и реальностью, а сцена совещания присяжных была поставлена просто превосходно. Хотя совещание происходило, очевидно, в нашей городской думе (ибо из окна виднелся купол католической церкви на Невском), а присяжные говорили по-немецки, но жизненность исполнения заставляла забывать все это и думать, что находишься среди наших русских присяжных. Но особенно поразительна по производимому впечатлению была последняя картина, поставленная несколько мелодраматически и представляющая угрюмый и холодный сибирский пейзаж, виднеющийся со двора отдаленного сибирского острога. Когда Нехлюдов привозит от губернатора извещение, что Катюша помилована, и она заявляет ему, что останется, чтобы быть женою Симонсона, он заключает ее в объятия, и оба плачут под влиянием сильного душевного движения. В это время раздается благовест пасхальной заутрени, и на сцену выходит крестный ход. Арестанты вы-

---

[1] правда (*нем.*).
[2] вымысел (*нем*).
[2] «Воскресения» в Немецком театре (*нем*).

бегают из низеньких домов, все — и стража, и конвойные офицеры, и острожники, и Нехлюдов с Катюшей становятся на колени и склоняют головы пред священником в облачении. Он высоко подымает крест с распятием,— далекая снежная пустыня внезапно озаряется светом, и по небу разливается яркое северное сияние.

Повышенное настроение публики росло с каждым действием, чему, конечно, способствовало то понимание движущего мотива пьесы, которое чудесно отражалось на игре актеров и заражало собою зрителей. Последняя картина разрешила этот подъем, растрогав до слез почти всех присутствующих. И у меня с Чупровым глаза оказались на мокром месте...

А. Н. АПУХТИН

В самом начале шестидесятых годов Литературный фонд предпринял ряд любительских спектаклей, в которых участвовали виднейшие представители русской литературы, жившие или временно находившиеся в Петербурге. Спектакли прошли блестящим образом и усердно посещались публикой. Этого, однако, нельзя было приписать только одному ее желанию увидеть своих любимцев на сцене. Оно в гораздо большей степени удовлетворялось литературными чтениями, бывшими тогда новинкой и имевшими огромный успех. На одном из них я слышал в первый раз Федора Михайловича Достоевского, читавшего рассказ «об оторвавшейся пуговке» из письма Макара Девушкина в «Бедных людях». Почти на каждом из таких чтений выступал А. Н. Майков со своим стихотворением «Старое и новое», отрывком из поэмы «Поля», который он декламировал превосходно, повторяя его по нескольку раз по настойчивому требованию публики, наэлектризованной и мастерским исполнением, и соответствием конца стихотворения тем радужным надеждам на светлое будущее, которые жили тогда в сердце русского общества. Без «Полей» не обходилось ни одно литературное чтение, и стоило Майкову появиться на эстраде и прочесть что-либо другое, как из публики начинали раздаваться требования: «Поля! Поля!» — что подало повод одному из сатирических журналов изобразить Майкова пред многочисленной аудиторией, с ужасом повторяющего вместе с нею свой стих: «А там поля, опять поля!»

На той же эстраде иногда появлялся и молодой, бледнолицый и еще не дошедший до своей чудовищной тучности А. Н. Апухтин. Он любил читать свое стихотворение «Актеры», в котором уже слышались звуки затаенной и непроходящей грусти, проникающей все его прекрасные стихотворения. Много лет спустя мне пришлось с ним встретиться у одного из моих сослуживцев, где однажды я рассказал о своих наблюдениях и выводах относительно самоубийств в Петербурге, дела о которых проходили через мои руки, как прокурора окружного суда. Апухтин очень заинтересовался приведенными мною статистическими данными и содержанием предсмертных писем самоубийц. Через несколько лет, встретясь со мною, он

вспомнил про это, и я послал ему набросанное мною изложение дела об одном самоубийстве, затем напечатанное мною в «Неделе» 1881 года под названием «Пропавшая серьга».

Дело шло о бедной прибалтийской мещанке, брошенной с двумя детьми молодым инженером, который прижил их с нею. Уехав на юг России, он сначала немного помогал ей, посылая ничтожные суммы и редкие письма со «словесами лукавствия» и выражением лживой нежности к детям. Вскоре, однако, не скрывая, что ведет рассеянную жизнь, требующую сравнительно больших расходов, он предложил матери своих детей «дружбу» и прервал с нею всякие сношения. Бедная женщина билась, как рыба об лед, работала на швейной машине и содержала три меблированные комнаты, скудный доход с которых употребляла на подготовку сына в реальное училище и на плату за обучение дочери. Для этого она отказывала себе во всем, питаясь подолгу одним лишь чаем и черным хлебом. Окружающие считали ее вдовой, а она воспитывала в детях чувство уважения к их будто бы умершему отцу. Сравнительно спокойное течение ее безрадостной жизни было, однако, нарушено тремя обстоятельствами: женская болезнь заставила отказаться от заработка шитьем; сын, несмотря на наем учителя для подготовки, не выдержал вступительного экзамена в реальное училище и, наконец, — самое для нее ужасное — на ее 15-летнюю дочь было взведено одной из жилиц обвинение в краже бриллиантовой серьги. Несмотря на мольбы несчастной матери не делать огласки, жилица вызвала полицию; был составлен протокол, и все, а в том числе и дети, узнали, что она не вдова, а незамужняя девушка с двумя незаконнорожденными детьми. Этого последнего удара она перенести не могла — и отравилась медным купоросом, оставив трогательное письмо, в котором просит прощения у окружающих, и, заявляя, что больше жить не имеет сил, клянется, что ее дочь не способна быть воровкой. Жилица тотчас выехала, а через несколько дней, на допросе у судебного следователя, показала, что, разбирая на новой квартире свои вещи, *она нашла между ними серьгу,* которую считала украденной.

«Многоуважаемый А. Ф.,— писал мне Апухтин,— с величайшей благодарностью возвращаю вам «Пропавшую серьгу». Случай действительно драматический, но глав-

ный драматизм его заключается в том, что на легкомысленный поступок девицы Сидоровой (жилицы) можно смотреть как на благодеяние, оказанное несчастной героине этого дела. Не случись истории с серьгой, она бы еще долго тянула свою каторжную жизнь, которая много хуже купороса. Самоубийство, по-моему, вовсе не преступление и даже не малодушие, а часто весьма разумный выход. По этому поводу мне бы хотелось поговорить с вами поподробнее». Когда состоялась наша беседа, он при расставании сказал мне, что давно хочет заняться этим вопросом. «Причем коснусь и вас!» — прибавил он. Я придал последним словам значение простой шутки, но зимой 1885/86 года получил от него следующее письмо: «В прошлом году я говорил вам, что пишу поэму, которая косвенно будет касаться вас. Теперь эта вещь окончена, но я не считаю себя вправе пускать ее в обращение, не прочитав предварительно вам, а потому прошу вас или заехать ко мне (ежедневно от часа до четырех), или назначить мне день и час, когда я могу застать вас дома. Проектированная поэма обратилась в стихотворение не очень больших размеров, а потому не бойтесь *продолжительной* скуки». Я предложил Алексею Николаевичу приехать ко мне и, ввиду приписки к его первому письму: «Высота меня не пугает, если на лестнице есть стулья», распорядился поставить на каждой площадке лестницы до четвертого этажа, в котором я жил, стулья. Но когда в назначенный час швейцар дал звонок и я вышел на лестницу, то меня поразила легкость, с которою Апухтин нес свое огромное, грузное тело, «беря штурмом», как он выразился, каждый ряд ступеней. Эта живость совершенно не соответствовала его крайней тучности, которая вызвала его известную шутку над собою: «Жизнь пережить — не поле перейти. Да, точно: жизнь скучна и каждый день скучнее. Но грустно до того сознания дойти, что поле перейти мне все-таки труднее». Он вообще любил подшучивать над своей фигурой, рассказывая, например, про маленькую девочку, которая, войдя в гостиную матери, где он сидел, спросила, указывая на него пальчиком: «Мама, это человек или нарочно?»

Он даже не запыхался и прямо приступил к чтению своего обширного произведения «Последняя ночь», названного им впоследствии: «Из бумаг прокурора». В нем было два места, относительно которых он сомневался, находя, что они слишком удлиняют стихотворение. Пер-

вое начиналось словами: «В какую рубрику меня вы поместите?» — и кончалось словами: «Среди тяжелых дум она (мысль о самоубийстве) в ночной тиши сознательно сложилась и окрепла»; а второе начиналось словами: «О, посмотрите же кругом: не я один ищу спасения в покое!» — и кончалось словами: «Но обвинять ли их? Винить ли жизни строй, бессмысленный и злой, не знающий прощенья?» А за этим следовало: «Как опытный и сведущий юрист, все степени вины обсудите вы здраво». Я настаивал на введении и этих отрывков в текст чудесного стихотворения, и Апухтин со мной согласился, подарив мне на память рукопись в первоначальном виде и два к ней добавления. В этой рукописи есть много вариантов, сравнительно с напечатанным. Наибольший из них следующий: «Но с отроческих лет я начал в жизнь вникать, в людские действия, их цели и причины,— и стерлась детской веры благодать, как бледной краски след с неконченной картины»,— говорится в напечатанном; в рукописи же вместо «отроческих лет» стоит «с детства раннего», а последние два стиха читаются так: «И клали на душу тяжелую печать коварства, лжи и зла вседневные картины».

Последний раз в жизни я видел Апухтина за год до его смерти, в жаркий и душный летний день, у него на городской квартире. Он сидел с поджатыми под себя ногами, на обширной тахте в легком шелковом китайском халате, широко вырезанном вокруг пухлой шеи,— сидел, напоминая собою традиционную фигуру Будды. Но на лице его не было буддистского созерцательного спокойствия. Оно было бледно, и глаза смотрели печально. От всей обстановки веяло холодом одиночества, и казалось, что смерть уже тронула концом крыла душу вдумчивого поэта.

В. В. СТАСОВ

Когда празднуется столетие со дня рождения выдающегося человека, причем его труд и деятельность признательно вспоминаются, подчас его физический образ тускнеет вместе со свойственным ему внешним выражением и тем, что называется повадкой. К счастью, в этом отношении В[ладимир] В[асильевич] оставил нас не так давно, и среди нас есть немало лиц, перед которыми он стоит, как живой. Таким же рисуется он и моему мысленному взору. Вот он — высокий ростом, с наружностью патриарха и с юношеской живостью, сказывающейся в громком голосе, живом и блестящем взгляде и быстрой походке. Вот его речь — яркая и подчас резкая — без уклончивых условностей и заносчивых недоговорок; она вся проникнута тем, что называется «esprit de combativité» — духом борьбы, с пожеланием себе и своим единомышленникам «на враги победы и одоления», без мягко высказываемых мнений, но с решительными приговорами, в которых он под влиянием гнева или восторга бросает удары направо и налево, не стесняясь эпитетами и увлекаемый желанием, по собственным словам, «пофехтовать с противником». Неугомонный и пытливый до глубокой старости ум его с высоким и разносторонним образованием отзывается на все стороны жизни, так или иначе находящие себе отражение в искусстве или ученых исследованиях. Изучая эти явления без всяких чужих «директив» или авторитетных взглядов, он приходит к самостоятельным выводам, не умея ими поступаться из боязни огорчить или быть приязным. Стоит пересмотреть его переписку с выдающимися художниками и композиторами, его отзывы с представленными на ученые премии трудами, чтобы видеть, какое правдивое и отзывчивое сердце, чуткое ко всему даровитому и самобытному, билось в его груди при оценке их на основании собственного самостоятельного личного изучения. Это сказывается и в его многочисленных сочинениях, материал для которых он изучал на местах. Таков он был, например, в строгом критическом разборе трудов по русской иконографии и археологии Д. А. Ровинского, вынудившем последнего переработать их. Любя Ровинского, указывая, что в Западной Европе эти труды давно бы «прозвонили», Стасов не

стеснялся, однако, за некоторую неполноту их гладить «против шерсти» автора, пред памятью которого затем он на торжественных поминках в Академии наук восторженно преклонялся. Провозвестник новых взглядов и направлений в науке и искусстве, он не убоялся горячо выступить против излюбленных теорий о славянофильском и мифологическом происхождении русских былин, доказывая их происхождение с Востока. Говоря в письмах к Стасюлевичу, стойким сотрудником которого он был, что представителей ложных взглядов необходимо «доезжать и травить», он умел восхищаться всяким истинным дарованием и всяким содействием ему. Поэтому для него Крамской был нашей «настоящей гордостью» и истинным «Белинским в русском искусстве». Поэтому, например, он печатно благодарил Стасюлевича за Золя, одного из крупнейших талантов конца XIX века, которому отдельным изданием «Парижских писем» даны средства существования, что составляет одно из благородных и светлейших дел Стасюлевича. Таковы его любящие и содержательные отзывы об Антокольском, в которых он выпукло рисует достоинства произведений и его таланта. Таково его восхищение языком Л. Н. Толстого — «вполне народным, как у Гоголя, Пушкина и Островского», в противоположность поддельному и галантерейному языку многих других писателей, мнящих себя народными. Оригинальность и решительность Стасова колебали стоячее болото раз установившихся взглядов и невольно заставляли с неудовольствием проверять так называемых знатоков свои авторитетные вещания. Inde irae [1] — злобные выходки со стороны неопрятных памфлетистов, присвоивших себе звание критиков. Им, однако, не удалось умалить значение заслуг Стасова в смысле борьбы с застоем и рутиной. Его насмешливо звали «иерихонской трубой», но в действительности он был, как говорил о себе Бэкон, «трубой, зовущею на бой», при господствовавшем общественном равнодушии к вопросам знания и искусства. Недаром он был почтен в 1901 году званием почетного академика Разряда изящной словесности Академии наук. Нам предстоит теперь выслушать ряд докладов, рисующих все стороны многосторонней деятельности Владимира Васильевича...

---

[1] Отсюда гнев (*лат.*).

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ БОРОВИКОВСКИЙ
(1844—1905)

Прошло почти десять лет со дня смерти *Александра Львовича Боровиковского.* Многие из его сверстников, знавших его близко, ушли из жизни — и имя его начинает, при нашем отсутствии «вчерашнего дня», тускнеть и забываться. А между тем в его лице сошел в могилу оригинальный и богато одаренный человек, соединявший с живым пониманием духа Судебных уставов 1864 года верное им служение словом и делом. Он был сотрудником и помощником многого множества русских цивилистов в их практической деятельности. Можно сказать, что без его помощи и руководства в дремучем лесу наших кассационных решений не обходился за последние 30 лет ни один юрист-практик, постоянно прибегая к его *«Законам гражданским»* и *«Уставу гражданского судопроизводства»,* вдумываясь и вчитываясь в их богатые подстатейные тезисы. За ним, однако, не одна заслуга кропотливого и усидчивого труда, вложенного в эти книги. Он был не только комментатором и толкователем наших действующих гражданских законов и остроумным, проницательным критиком нашего гражданского права и проектов его улучшения, но он был настоящим судьею, отзывчивым на нужды и скорби практической жизни.

Все в его натуре и деятельности стояло в противоречии с узко формальным и подьяческим отношением к живой действительности, к ее условиям и запросам, и это, вместе с яркой логикой и прочным знанием, не могло не придавать его взглядам особой цены и веса. Читая написанные им решения или тонкие критические заметки, слушая его заключения, приходилось быть свидетелем того, как правда материальная, правда житейская выступала наружу, пробивая кору формальной и условной истины. При этом нельзя было с обычной у нас презрительной или снисходительной усмешкой сказать: «Да, но какой же это юрист?» — ибо это был настоящий — «всамделишный»,— как говорят дети,— юрист, не только по праву службы, но и по праву опыта и знания занимавший должности члена судебной палаты, обер-прокурора гражданского кассационного департамента и сенатора.

У нас было время, когда звездами первой величины

между цивилистами нередко считались люди приказного склада, для которых мертвые правовые схемы казались скрижалями завета, заставлявшими чаяния и упования жизни смолкать пред своим мертвым глаголом. Такого рода цивилистам, конечно, казалось, что не юридические нормы должны расширяться и принимать в себя жизнь, но что самую жизнь можно втиснуть, болезненно и насильственно, в их узкие рамки. Отсюда вытекали те толкования, которые исходили от «духом хладных скопцов» и, восхищая подобных им, оставляли в недоумении здравомыслящих людей. Последним трудно было забыть, что «не человек для субботы, а суббота для человека» и что слова одного из героев Щедрина: «По естеству тебя есть хочется, а в регламентах этого не написано — ну и попался!» — были остроумной шуткой, а не торжественно провозглашенным мнением патентованных юристов. Против этой-то бездушной узости и казуистичности всеми силами своего ума и знания вооружался Боровиковский. Его замечательная книга «Отчет судьи» лучше всего показывает, как далек он был от формального отношения к праву. Особенно в этом отношении заслуживает внимания третий том «Отчета судьи», названный автором «Дела мужичьи».

Нигде в области гражданского права и процесса «summum jus» [1] не обращается в «summa injuria» [2] так легко, как в делах сельских обывателей, не сведущих в законе, не отдающих себе ясного отчета в своих действительных правах и обязанностях и часто делающихся жертвою корысти заугольных адвокатов; нигде так не противно справедливости безучастное положение судьи, который только рассматривает представленные сторонами доказательства и, «спокойно зря на правых и виновных», не снисходит в своем олимпийском величии до разъяснения темному человеку, какие доказательства от него требуются по существу дела и каким способом их добыть. «Предмет мужичьего иска,— говорит Боровиковский,— десятина-другая полевой земли или несколько квадратных сажен земли усадебной; обычная цена иска— какие-нибудь 150—200 рублей. *«Какие-нибудь»..,*— так говорим мы. А они, истцы и ответчики, наверно, выражаются иначе: «Целые 150 рублей», «целые 200 рублей»!» Ничтожный клочок земли — там все достояние семьи:

[1] «Высшее право» *(лат.)*.
[2] «Высшая несправедливость» *(лат.)*.

драгоценная «батковщина», либо приобретения на «капитал», сколоченный многолетними трудами! И действительно, редко в крупных процессах решаются столь важные для сторон интересы, как здесь. Эти мелкие «споры о праве гражданском» вернее было бы назвать «спорами о хлебе насущном»... Отмечая, что строгое применение правила 367 статьи Устава гражданского судопроизводства о несобирании судом самим ни в каком случае доказательств и справок имеет практическое удобство, состоящее в том, что для безучастного слушания состязания сторон не нужно даже знать дело, а достаточно лишь иметь терпеливый нрав, Боровиковский восклицает: «Нет, судья, отличай *не желающего* от *не умеющего* отстаивать свое право! К нежелающему будь равнодушен, а неумеющему помоги! Это — святая обязанность судьи. Этого требует от судьи закон, тот самый закон, который проникнут принципом состязательности гражданского процесса. Не навязывать судебной защиты нежелающему — вот это состязательность; оставаться же безучастным к желающему, но не умеющему защищаться — это не «состязательность», а неправосудие. Правосудие должно склоняться в пользу того, кто прав, а не того, кто лучше говорит, кто смышленее и хитрее». И в подтверждение этого положения он приводит ряд примеров. Человек пришел на суд; противник говорит, а он молчит. Разве это непременно молчаливое признание? Быть может, он молчит вовсе не потому, что сознает правоту противника, а просто потому, что *не умеет* говорить. «Подзовите его к судейскому столу,— говорит Боровиковский,— помогите оправиться от смущения, предложите в понятной для него форме вопрос». Или простая женщина говорит слова, которые можно счесть «признанием»; но в сущности она просто болтает, не понимая смысла своих слов. «Не лови ее на бессознательном слове,— советует Боровиковский судье,— а расспроси, растолкуй и, если по совести убедишься, что это было не признание, а лишь болтовня бабья (быть может, обусловленная смущением от обстановки судебного заседания), и что, когда «тяжущейся» объяснили нелепость ее слов, она пришла в ужас и от них отрекается, закрой законы о признании: они отнюдь не желают, чтобы эта баба была изловлена на глупом слове и из-за этого лишилась хлеба насущного. Ты не исполнишь закон, а оскорбишь его». Так относился Боровиковский к делам мужичьим.

С трогательной откровенностью, которою проникнута вся его прекрасная книга, он сознается, что, несмотря на то, что дела мужичьи самые легкие для доклада и изложения решений, тем не менее в них есть очень неприятная сторона, а именно — сомнение в правосудности постановленного решения, вследствие бессилия суда вполне выяснить обстоятельства дела. «Ясно сознаешь,— говорит Боровиковский,— что для выяснения истины тут нужны были бы совсем другие приемы, да и спор надлежало бы решить вовсе не теми нормами, какими обязан руководствоваться гражданский суд. Конечно, у нас есть оправдание: доказательства представлялись (либо не представлялись) в порядке, указанном Уставом; истец должен доказать свой иск, ответчик свои возражения; недоказанное считается несуществующим; мы так и поступили, а затем к установленным таким образом фактам применили закон. И все-таки чувствуешь себя как бы невольным пособником какого-то греха»...

Во всех отделах этой недостаточно оцененной и мало известной у нас книги — говорит ли автор о давности, о чиншевом праве, о третьих лицах в процессе, о суде и семье или, наконец, о законе и судейской совести — в его словах звучит участливое отношение к человеку и старание вложить в деятельность судьи стремление к истинному правосудию, а не к формальному только его отправлению. Он дает глубокие и вдумчивые советы по вопросам об аналогии и о толковании законов, с иронией рисует развившееся у нас «скоросудие», идущее вразрез с правильным понятием о скором суде, и горой стоит за гласность суда, требуя соблюдения ее с педантическою ортодоксальностью. «Я не сочувствую,— говорит он,— обычаю решать дела, не выходя из комнаты, если нет ни сторон, ни публики. Когда в церкви молящихся нет, служба совершается сполна, согласно с церковным уставом. Трудно поставить точную границу между опущением пустых формальностей и халатностью. Я бы счел желательною даже гласность совещания судей. Говорят, тайна совещаний ограждает свободу мнений судей; да, но у судей нет такой «свободы» мнений, для проявления которой нужно «удаление в особую комнату». Судья обязан решить дело сообразно установленным фактам и велениям закона. Если бы было введено гласное совещание, судьи стеснялись бы этим разве на первое время, с непривычки. На первых порах я после решений, поста-

новленных без публичного доклада, в совещательной комнате, испытывал смущение, которое уподобляю именно тому, какое испытал бы священник, если бы вместо провозглашения молитвы среди церкви, как требуется церковным уставом, он прочел молитву вполголоса, не выходя из алтаря и не облачаясь... Скоро я к этому порядку привык, и тем *хуже для меня!»*

Особенною содержательностью отличаются его работы об участии судебной власти в семейных делах. Он признавал, что гражданский закон может охранять лишь внешний мир семьи, но не предписывать почтение и любовь, как это он делает. В семейной распре гораздо полезнее помощь и посредничество нравственного авторитета родственника, друга, духовника, но обращение к суду только еще пуще расшатывает семью. По образному выражению Боровиковского, «исполнительный лист является в семью не веткой мира: он, напротив, закрепляет вражду казенной печатью!» — В распоряжении судебной власти нет цемента, которым можно заменить единственную связующую супругов силу — любовь. «Замена любви принуждением, замена священных уз брака веревочными путами явилась бы кощунственной карикатурой. Суд бессилен *присудить семье счастье:* он должен ясно сознавать пределы той помощи, которую в состоянии оказать». Свои взгляды на суд и семью Боровиковский подробно развил в двух блестящих статьях (1902 г.) *«Конституция семьи»* и *«Брак и развод»,* в которых подвергает суровой и вместе с тем полной юмора критике проект нового Гражданского уложения с его стремлением заменить в семейном праве юридические начала педагогическими, дидактическими и экономическими соображениями. На множество вопросов, где жизнь приходит в столкновение с буквой закона, отозвался он статьями, полными чуткой и жизненной критики, чуждой педантической авторитетности, но сильной внутренним содержанием. Таковы его статьи в юридических журналах: «О праве и факте», «О семейном праве раскольников», «О проекте устава об опеках», «Об ответственности железных дорог», «О правах женщин по литовскому статуту», «О существе дел» и, наконец, «О печатном листе», которая, вероятно, и послужила в свое время поводом к приглашению его в члены неудачной комиссии о пересмотре законов о печати под председательством Д. Ф. Кобеко.

Мы встретились в жизни весьма еще молодыми людь-

ми: я — товарищем прокурора Харьковского окружного суда, он — начинающим адвокатом, но познакомились ближе и сошлись, когда я, назначенный прокурором Петербургского окружного суда, пригласил его, как талантливого цивилиста, в мои товарищи для дачи заключений по гражданским делам. Несмотря на то, что в мое время (1871—1875 гг.) состав гражданских отделений суда был превосходен по знаниям, опыту и талантливости большинства входивших в них товарищей председателя и членов, Боровиковский почти сразу приобрел среди них авторитет и уважение. К его блестящим заключениям суд стал прислушиваться с необычным по отношению к выступлениям прокуратуры в гражданских делах вниманием, а сам он сделался в юридических и литературных кругах популярным человеком. Но он сам относился к себе с большою скромностью. Назначение обер-прокурором гражданского кассационного департамента Сената, вполне им заслуженное, очень его встревожило. «Я просто подавлен смущением,— писал он мне 12 марта 1895 г.— достаточны ли мои силы и знания для высокого дела, на которое меня зовут; для меня в этом отношении было *большим облегчением* узнать, что Вы относитесь с сердечным сочувствием к павшему на меня выбору. Если и Вы не считаете задачу превосходящею мои способности, то это поистине окрыляет меня. Итак: поможет мне бог!».

Это был человек, оригинальный во всем, с живою и остроумной речью, проникнутой милым малороссийским юмором. С ним можно было не соглашаться в некоторых вопросах, но никогда нельзя было не отдать справедливости, самостоятельности и независимости его взглядов. Русский человек во всем, начиная с неравномерной работы под влиянием настроений и кончая некоторою наружной небрежностью, он привлекал к себе незлобивостью, отсутствием всякой ходульности и уменьем иногда искренне подсмеиваться и над самим собою. Таким он был в старые годы своих первых шагов на судебном поприще, таким остался и на кафедре Новороссийского университета и во всей своей дальнейшей широкой служебной деятельности.

Будучи назначен помощником статс-секретаря Государственного совета, он писал мне в ноябре 1894 года: «Сегодня переезжаю на казенную квартиру. Я — на казенной квартире! Дивны дела твои, господи! И во сне не снилось! Того и гляди окажусь смотрителем хлебного ма-

газина. Конечно, не смотрителем, *а помощником* смотрителя. Поздравьте меня: вчера, во время *невыносимой скуки* наших «совещаний» по кодификации, мне удалось заставить Кронида Малышева хохотать до слез. Ведь это больше, чем заставить белого медведя плясать мазурку. Как видите, «я по службе счастлив».

Он был не только выдающимся юристом, но и поэтом. Это его свойство оказалось еще в его первом литературном труде: *«О женской доле по малороссийским песням»*, а многие его стихотворения, не могшие попасть в печать, ходили по рукам, доставляя истинное наслаждение красотой стиха и сжатостью, а также сердечностью сквозившего в них чувства. Между ними почти нет лирических, но по поводу так называемых «гражданских мотивов» они являются зрелой сатирой или проникнуты трогательными образами. Он сам иронизировал над этими мотивами, спрашивая себя:

«За свои стихотворенья
Ты куда же мнишь попасть:
В Олимпийские ль селенья?
В полицейскую ли часть?»

Он умер, однако, хотя и не молодым, но и не состарившимся человеком, внезапно, среди оживленной деятельности. Память о нем будет долго жить среди знавших его, а будущим слугам Судебных уставов надо будет учиться у него уменью примирять толкования холодного закона с сострадательным отношением к условиям и тяжести гражданского быта. В одном из своих шутливых стихотворений он сказал:

«Вчера гулял я по кладбищу,
Читая надписи могил.
Двум-трем сказал: «Зачем ты умер?»
А остальным: «Зачем ты жил?»

Теперь и он лежит на кладбище, но каждый, кто читал или знал его, не задаст себе вопроса: «Зачем он жил?» — и в наше, бедное людьми, время с грустью, быть может, спросит: «Зачем он умер?».

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ

(По личным воспоминаниям)

Сергей Аркадьевич Андреевский — полное собрание сочинений которого предположено к изданию — был человек, выдающийся во многих отношениях. Поэт и судебный оратор, критик и талантливый лектор, он вносил в свою разностороннюю деятельность оригинальные свойства своей личности: обостренное самонаблюдение, вдумчивость печального настроения и своеобразие взглядов на задачи правосудия. Восторженный и утонченный певец любви и в то же время пессимист; успешный представитель обвинительной власти на суде и там же затем горячий адвокат за подсудимого quand même et malgré tout [1]; крайний индивидуалист, равнодушный к вопросам общественного значения, нередко совершенно чуждый им — и умевший самоотверженно поступить в одном из них; самостоятельный и смелый во взглядах и слишком терпимый, несмотря на свою чуткость, в отношениях к людям совсем другого образа мыслей — он вполне выразился в своих, достойных внимания произведениях.

Связанный с ним издавна, с нашей общей молодости, по службе и в личной жизни, я хотел бы в настоящем кратком очерке передать о нем мои воспоминания. Мы познакомились в 1868 году при введении в Харькове судебной реформы, пришедшей на смену старого бессудия и волокиты, когда элементарная справедливость была замкнута в роковой круг канцелярской тайны и безжизненной формалистики, не дававшей возможности услышать, в помощь правосудию, живое слово. Новые суды широко раскрыли двери и поприще этому слову и, внося новый элемент в жизнь общества, возбудили в последнем большой интерес к своей деятельности. Люди отжившего порядка с недоумением качали головой, чувствуя, что старые пути защиты и охраны своих прав закрыты, но люди, душою воспринявшие веянья «эпохи великих реформ», и в особенности учащаяся молодежь, были неизменными и жадными к новым впечатлениям посетителями суда. Среди них часто бывал студент юридического факультета Харьковского университета Андреевский. Интересуясь моей деятельностью как товарища прокурора, он нашел

[1] Несмотря ни на что и вопреки всему (*фр.*).

случай ближе познакомиться со мною и внушил мне искреннюю к себе симпатию. По рассказам знавших его ближе, прежде он был жизнерадостным юношей, любившим светскую жизнь, ее лживые условия и пустые удовольствия. Барская, помещичья среда с ее высокомерными предубеждениями и с безоглядным существованием — на счет «Вишневого сада» и «Последнего выкупного свидетельства», так ярко описанная Чеховым и Салтыковым, вовлекла его в свои недра, не вызывая в нем протеста или недоумения. Но когда я узнал его уже взрослым молодым человеком (он родился в 1847 г.), то под сдержанной внешней оболочкой хорошего воспитания и образования я подметил в нем уныние и безнадежный взгляд на жизнь. Казалось, что часто свойственное вдумчивой молодости сомнение в смысле и цели жизни наложило печать на его душу и что к нему можно было бы применить слова одного из его позднейших стихотворений:

«Мне тяжко жить полуразбитым,
Мне гадок сон моей души!»

Но скорбные тревоги мысли не утолили в нем тайную жажду жить, а представление о смерти, после которой наступает «ничто», и каждое ее проявление среди окружающих посеяли в нем тревогу, которую он не всегда умел скрыть. Это продолжалось первый год нашего знакомства. Но на следующий — он совершенно переродился. Его так часто затуманенный взор просветлел, и исчезла печальная улыбка. Они сменились особо радостным настроением, как будто перед ним неотступно стоял, по его же выражению, «чистый образ виденья любимого». Так оно и было в действительности. Он встретил ту, которая стала впоследствии его женой, был ею очарован и полюбил ее всеми силами души, настойчиво и безоглядно. Эта любовь, возродившая его даже наружно, составила, по его воспоминаниям, одну из самых светлых страниц его жизни. Но счастье, которое его неотступно манило, досталось ему тяжелой ценой. Избранница его сердца была дочерью скромного, очень стесненного в средствах, отставного капитана и в провинциальном светском обществе никакого места не занимала, а родители Андреевского играли в последнем видную роль, особенно его мать, принадлежавшая к старинной и влиятельной по своим связям и отношениям родовитой фамилии. Чрезвычайно властная, несмотря на свой ум, она не хотела помириться с намере-

нием сына свершить то, что на старом барском языке называлось «mésalliance» [1], и требовала от него прекращения всяких отношений с семьей своей возлюбленной. Он же, испытывая, что «сильна любовь, как смерть», не уступал. Решив бороться за свое счастье до последней крайности, он стал в положение бесприютного подчас бедняка, нуждающегося в самом необходимом. «Роскошествуя лишениями», по выражению одного из житий, он не имел спокойствия и возможности для написания кандидатского рассуждения и должен был ограничиться, несмотря на свои способности и научную любознательность, званием действительного студента. Назначенный кандидатом на судебные должности при прокуроре палаты, он стал работать под моим руководством и проявил такую вдумчивость в различные области судебной деятельности, что я, перейдя в 1870 году в Петербург, стал настойчиво хлопотать о предоставлении ему должности судебного следователя, что и осуществилось назначением его в Карачев. Последние попытки родных удержать его от «пагубного шага» оказались тщетными, и в мае 1870 года осуществилась его горячая мечта «свить себе гнездо». Его жена была во многих отношениях «сотрудницей» его жизни и в тягостные минуты последней умела бодро проявлять трогательную доброту своего сердца и живость своей натуры, милую оригинальность и юмор своего слова — и до 60 лет сохранила изящество и нежность своего внешнего облика. Призванный осенью того же года участвовать во введении судебной реформы в Казани, я пригласил туда Андреевского в качестве своего товарища по должности прокурора окружного суда. Здесь, а через год и в Петербурге, ему пришлось выступать в роли обвинителя. Служебная деятельность в годы осуществления судебного преобразования требовала от своих деятелей своего рода творчества. В прокуратуре нужно было выработать тип обвинителя — совершенно чуждый прежнему порядку. Условия английского судоговорения, во многом отличные от наших, не давали для этого достаточного материала; германская судебная практика с ее холодной схематичностью не представляла никакого, а французская давала вредный, хотя и наиболее доступный по устным и печатным описаниям. Было опасно увлечься подражанием французским ораторам в забвении разности национальных темпераментов и добрых душевных свойств русского

[1] Неравный брак *(фр.)*.

человека. Трескучая декламация и искусственный пафос французского прокурора в связи со взглядом на подсудимого как на врага, с которым, роясь в его прошлом, можно не стесняться в приемах и в подборе доказательств, были бы весьма опасным образцом для подражания. Необходимо было вменить русскому прокурору-обвинителю в нравственную обязанность — сдержанность в слове, обдуманность и справедливость в выводах и рядом с осуждением доказанного преступления — отношение к подсудимому без черствой односторонности и без оскорбления в нем чувства человеческого достоинства. Недаром составители Судебных уставов предоставили прокурору отказываться в судебном заседании от обвинения, когда основания последнего поколеблены и представитель такового не может по совести его долее поддерживать. Поэтому я и почти все мои товарищи прокурора объединились во взгляде на прокурора как на *говорящего публично судью,* который предъявляет суду и представителям общественной совести — присяжным заседателям — без страстного увлечения свой спокойно выработанный вывод, вовсе не добиваясь во что бы то ни стало осуждения подсудимого.

Между этими товарищами прокурора были люди с большими знаниями и богато одаренные. Достаточно назвать: Масловского, Случевского, Жуковского и Маркова. Между ними видное место занимал и Андреевский — высокий и стройный до самой старости, с живым взглядом темно-карих глаз, с тонкой улыбкой под густыми усами, без искусственного повышения и понижения гармонического и ровного голоса и со скупым и редким жестом. Его сдержанное по форме, спокойное обвинение, однако, почти всегда достигало своей цели — *защиты общественного порядка* против его нарушителей, и он считался одним из сильных, по результатам, обвинителей, вызывавших особое внимание присяжных к своим доводам, чуждым красивых фраз и излишней полемики с защитником.

Слабого здоровья, страдая часто головными болями и отдавая свободное время чтению и изучению любимых писателей, он вел скромную и тихую жизнь, обитая с женой и двумя дочерьми в тесной квартире, в глубине открытого двора небольшого дома на Лиговке. Мне очень памятны тихие вечера у него, когда он читал вслух необыкновенно искусно произведения особенно ценимых им

Пушкина, Тургенева и Достоевского и любимых им французских поэтов. Последним он впоследствии посвятил ряд своих очень удачных переводов, а Достоевского и Тургенева воспел в прекрасных, прочувственных стихотворениях на их смерть.

1878 год имел решающее влияние на всю его последующую судебную деятельность. 13 июля 1877 г. петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов приказал, якобы за неуважительное поведение в его присутствии, наказать розгами содержавшегося в доме предварительного заключения осужденного по делу о политической демонстрации в 1876 году, перед Казанским собором, студента Боголюбова, приговор о котором еще не вошел в силу и мог подлежать пересмотру. Эта дикая расправа прошла в обществе, все внимание которого было обращено на тревожные перипетии Восточной войны, без особых отголосков, но вызвала в доме предварительного заключения, где содержалось много молодежи по политическим дознаниям, ряд самых мрачных проявлений возмущения и отчаяния. В январе 1878 года, на официальном приеме у Трепова, молодая девушка, назвавшаяся Козловой, выстрелила в него из револьвера, причинив рану, не имевшую смертельных последствий, так что вскоре раненый вступил в отправление своих обязанностей. Девушка эта оказалась Верой Засулич, проведшей годы молодости в мрачной обстановке административной ссылки и пожелавшей, по ее объяснению, обратить внимание общества на поступок Трепова и его безнаказанность. Дело о покушении Засулич на жизнь петербургского градоначальника было поставлено на суд, в полной уверенности властей, что присяжные заседатели, конечно, осудят стрелявшую. Прокурором палаты Лопухиным было предложено товарищу прокурора окружного суда Жуковскому поддерживать в судебном заседании обвинение против Засулич. Но он отказался, указывая на несомненный политический характер поступка Засулич, не подлежащий по закону обсуждению присяжных заседателей, и заявляя, что выступление его в этом деле, как обвинителя, может очень дурно отразиться на его брате-эмигранте. Тогда Лопухин обратился с тем же поручением к Андреевскому. Но последний поставил необходимым условием своей обвинительной речи оценку и характеристику жестокого распоряжения Трепова. На это категорически не согласился Лопухин, требуя, чтобы обвинитель ограничил-

ся исключительно фактическими данными того, что произошло на приеме у градоначальника, и подведением их под соответствующие статьи Уложения о наказаниях. Такой узкой программы, исключающей обсуждение движущих побуждений поступка Засулич и противоречащих истинным задачам правосудия, Андреевский принять к руководству считал невозможным и, несмотря на уговоры Лопухина, отказался обвинять Засулич. 31 марта того же года, после судебного следствия, на котором мною, как председателем суда, было допущено, к великому и чреватому последствиями негодованию властей, а также Каткова («Московские ведомости») и князя Мещерского («Гражданин»), разъяснение мотивов действия Засулич, и после бесцветной речи товарища прокурора Кесселя и замечательной по огню и силе речи присяжного поверенного Александрова Засулич была оправдана присяжными. Одним из ближайших результатов такого исхода дела был перевод Жуковского в глухую провинцию и увольнение Андреевского от должности с причислением к министерству юстиции. Так закончилась прокурорская служба Андреевского. Оба они вышли в отставку и вступили в сословие адвокатов, причем для Андреевского, смущенного в первое время отсутствием практики, мне, по счастливому стечению обстоятельств, удалось выхлопотать место юрисконсульта Международного банка, дававшее ему довольно прочное материальное обеспечение.

Адвокатская деятельность Андреевского шла, постепенно расширяясь и создавая ему репутацию очень талантливого защитника далеко за пределами Петербурга. По гражданским делам он выступал весьма редко и неохотно — сухие и строгие очертания гражданского права и узкие рамки процесса были ему не по душе.

С успехом в защите пришло и материальное довольство, давшее возможность жить в обстановке, удовлетворявшей его эстетическим вкусам, а сравнительный досуг, доставляемый перерывами между отдельными делами, расширил круг его знакомства среди товарищей по оружию и литературных деятелей. Особенно близок он был в Петербурге с князем А. И. Урусовым и вел с ним оживленную и задушевную переписку, когда тот переселился в Москву, где и прошли последние мучительные годы его жизни; любил А. П. Коломнина, умевшего в шутливой форме сердечно отзываться на людское горе; высоко ценил разностороннего в своих трудах

М. А. Загуляева. Им обоим Андреевский посвятил прочувственные некрологи. Одно время он очень сблизился с П. Д. Боборыкиным, который прозвал его «Муцием» (из «Песни о торжествующей любви» Тургенева) и даже, по своей привычке, с фотографической точностью изобразил его под именем Алексея Артемьева, «юрисконсульта на поэтической подкладке», в своей повести «Изменник». Какая-то неловкость в речи Андреевского на юбилейном обеде Боборыкину обидела последнего, и они разошлись.

Мы часто виделись — и, в годы тяжелых служебных переживаний с 1878 года до начала последнего десятилетия прошлого века, я нередко находил под его семейным кровом уют и временное забвение житейских горестей. В этот именно период у Андреевского проявилось стремление к поэтическому творчеству, и он стал писать стихи, делясь ими со мной и требуя критического к ним отношения. Я находил и нахожу до сих пор, что его произведения по теплоте и искренности чувства, по тонкому изображению настроений, навеваемых картинами природы, по богатству рифм, по красоте образов и по устранению излишнего многословия давали ему право занять видное место среди молодых поэтов этого времени. Но он сам относился к себе недоверчиво, хотя писал стихи сразу — «aus einem Guss» [1], без поправок и переделок. Я помню, как однажды, при разговоре с посетившим его знатоком и любителем музыки, возник вопрос о том, что хотел сказать Шуман своим знаменитым «Warum?» [2] и какой смысл может быть вложен в ответ «Darum» [3]... «Ответ ясен»,— сказал задумчиво Андреевский и, взяв карандаш, меньше чем в десять минут написал следующее стихотворение, не увидевшее печати, но оставшееся у меня в памяти:

«Затем, что счастлив только тот,
Кто не изведал жизни гнет,
Не поселил в нем злобный гений
Больных и горестных сомнений
И кто простил судьбу за то,
Что нам неведомо ничто
Ни в море жизни необъятной,
Ни в тайне смерти непонятной».

Чтобы преодолеть его недоверие к себе, я показал некоторые из его стихотворений в редакции «Вестника Ев-

[1] «Отлитый сразу» (*нем.*).
[2] «Почему?» (*нем.*).
[3] «Потому что» (*нем.*).

ропы», с которою был особенно близок. Их встретили с одобрением и сочувствием, и на страницах журнала появились: «Мрак», «Обручение» и «Довольно» на тургеневскую тему, перевод «Ворона» Эдгара По с очень интересным предисловием о технике этого удивительного поэта и еще несколько переводов. Наша критика, почти всегда недоверчивая и больше склонная глумлением и насмешками обрезывать крылья начинающим поэтам, встретила мелкими придирками и стихи Андреевского, но потом устами Арсеньева, Чуйко и Боборыкина сделала ему справедливую оценку.

Я стал убеждать Андреевского издать все им написанное отдельной книгой. Но его снова начали посещать сомнения... Тогда, в конце 1885 года, я купил тетрадь, в форме книги с белыми листами, и просил М. М. Стасюлевича отдать напечатать на первом листке: «С. А. Андреевский. Стихотворения. 1878—1885 гг. Петербург» — и в Новый год послал эту книжку Андреевскому, шутливо поздравляя его с появлением ее в ответ. Эта шутка сломила его нерешительность. Стихотворения появились в двух изданиях, 1886 и 1898 годов, встреченных критикой благосклонно. Книжка первого издания тотчас по выходе была мне прислана автором с посвящением, в котором я был шутливо назван «отцом его музы».

Для свидетелей тех перемен в настроениях Андреевского, о которых я говорил, касаясь его юности, книга его стихов служит отголоском и выражением вновь овладевшего его душой безотрадного взгляда на жизнь. В ней слышится не только свойственная ему отчужденность от волновавших многих из его современников общественных вопросов, но и глубокий пессимизм, как будто то светлое настроение, которым любовь украсила его молодые годы, сменилось упорным разочарованием и мыслью о тщете жизни, ввиду грозного призрака смерти, за которою наступает роковой мрак. Здесь не было никакого влияния Шопенгауэра. Новый строй безнадежных мыслей автора возник самостоятельно и, несмотря на внешнее спокойствие и нередкую живость повадки Андреевского, обнаруживался, как только он оставался наедине с собою и отдавался своим поэтическим домыслам. Это сказывается и в его оригинальных произведениях, и в выборе иностранных произведений для переводов. Отдаваясь воспоминаниям, он находил, что в жизни «все радо-

сти превратны и кратковременны мечты», что минувшая любовь и отжившие желанья — обманчивый бред, что

«Нельзя в душе уврачевать ее минувшие печали,
Когда годами их печать на сердце слезы выжигали».

Он обращался к «чистому образу виденья любимого» с просьбою не слетать, светить над ним и не будить усталое сердце от сна нерушимого, дав ему успокоиться без мук. Одна природа его несколько утешала, и ей посвящено много красивых страниц, но все отравлено мыслью о старости, угрюмо грозящей издали, среди ровных дней, каждый из которых поет над человеком панихиду и говорит о смерти, потому что

«Потерян ключ от милых бредней,
И вечный мрак мелькает перед ним,
И знанье злит, а в сердце веры нет,
Когда ко снам заоблачным утрачены порывы
И двери вечности пред ним заперты».

и остается

«Земля, одна земля!
И по краям обрывы,
И нет ни выхода
Ни цели для мечты».

Говоря, что в душе — пустыня, в сердце — холод и нынче скучно, как вчера, и что его давит хандра, тяжеловесная, как молот, поэт просит:

«Дайте мне, люди, побыть нелюдимым,
Дайте уняться неведомой боли,
Камнем тоска легла некрушимым.
Эх, умереть, разрыдаться бы, что ли!»

Тем же разочарованием в минувших снах и глубоким пессимизмом проникнуто одно из лучших его больших стихотворений — «Мрак», кончающееся словами «темнокрылого гения» поэту:

«Ты все излил, чем страждет грудь поэта,
А, может статься, и моя.
Я — вечный спутник бытия,
Я — голос тьмы: не знаю света...»

Это же настроение привело Андреевского к очень удачному переложению исполненного тоски и печали тургеневского «Довольно» в стихотворную форму.

Грустный строй мыслей не помешал Андреевскому отдаваться адвокатской деятельности: вдумчиво — к причинам людских несчастий, приводящих их на скамью подсудимых, и отзывчиво — на их душевные переживания.

Поставив себе задачей осуществление афоризма tout comprendre — tout pardonner[1], он занял среди защитников особое место, отмежевав от области строгой логики и анализа юридических понятий область чувства. В то время, когда Спасович в своих защитительных речах блистал разбором улик и доказательств, научными справками и оценкой состава преступлений по выработанным на суде данным, доказывая, что в деянии подсудимого его не заключается, когда то же красноречиво, но в более общих чертах, предпринимали князь Урусов и Герард и когда Потехин вносил в свою задачу бытовые и экономические выводы; Андреевский почти не касался обычного материала судебного следствия — улик и доказательств — или касался его очень поверхностно, но предметом своей речи избирал личность подсудимого, его житейскую обстановку и условия окружавшей его среды, как бы говоря присяжным заседателям: «Не стройте вашего решения на доказанности его поступка, а загляните в его душу, и в то, что неотвратимо вызвало подсудимого на его образ действий». К институту присяжных он относился с величайшим уважением, совершенно основательно видя в нем одно из больших общественных завоеваний. Сторонник суда присяжных, как выразителя чувства, вызываемого разбираемым делом, он восхищался им за то именно, в чем его упрекали, по поводу некоторых оправдательных приговоров, озлобленные противники в печати. «Суд улицы», по их ядовитому выражению, был в глазах Андреевского судом людей, свободных от профессиональной рутины и не связанных безжизненными нормами закона, но вносящих в свое решение разносторонний житейский опыт и голос сердца. Поэтому в очень оригинальном докладе о *будущих задачах суда* он со скорбью отмечал сокращение компетенции присяжных в пользу лицемерного суда с сословными представителями, в сущности, представляющего простой коронный суд со всей его непригодностью для суждения о важнейших преступлениях. По его горячему убеждению, выразившемуся во всех его адвокатских выступлениях, защитник должен говорить с представителями общественной совести не как юрист, а как писатель говорит с публикой. В свою защиту, которую он сам называл «литературой на ходу», он избегал вносить свой пессимистический взгляд на жизнь, но сознавал, что надо искать примирения с темными сторона-

[1] Все понять — все простить *(фр.)*.

ми жизни не в суровом подчас начале справедливости, а в чувстве сострадания. К последнему взывал он, сводя свои речи, в сущности, к такому обращению к присяжным: «Вам говорят — будьте справедливы, но я говорю: будьте милосердны; вам говорят — осудите злое дело и деятеля, а я вас прошу: рассмотрите, что привело к этому делу, и простите деятеля». Материалом для такого рассмотрения и побуждением для сострадания являлась художественность картин и образов, которые он умел рисовать мастерски: «Когда все,— воскликнул он в одной из своих речей,— против одного,— надо попробовать за него заступиться!». В этом заступничестве он нередко изображал своих подзащитных такими, какими их личность его интересует и какими он хотел бы их видеть как художник и человек, память которого полна созданиями великих писателей. Отсюда — его частые ссылки на Шекспира и Данте, Лермонтова и Толстого, Тургенева и Достоевского и обширные цитаты из них, доходящие даже до куплетов из Фимушки и Фомушки («Новь»):

«Возьмите, боги, сердце назад, назад, назад».

Это *писательство* имело иногда большой успех у присяжных и, как пример, очень соблазняло провинциальных адвокатов, которые в аналогичных случаях почти дословно приводили, якобы от себя, места из его речей. «Говорящий писатель» вышивал по канве подлежащего рассмотрению дела новые, полные красоты и чувства узоры, часто, однако, шедшие в его поэтическом полете вразрез с прозаической житейской тканью этой канвы. Он обыкновенно останавливался на изображении душевного состояния, на тревогах, муках и покоряющих волю порывах подсудимого пред совершением преступления, уговаривая за эти его переживания простить ему вину перед законом, охраняющим общежитие. Несомненно, что защитник, говоря о снисхождении и вызывая наряду с правдивым голосом правосудия кроткие звуки милости к человеку, нередко глубоко несчастному, исполняет свою высокую обязанность и осуществляет в своих доводах знаменитый афоризм «qui n'est que juste — est cruel» («кто только справедлив — тот жесток»), но этот прием должен быть основан на точно проверенных данных, выясненных по делу, а не на литературном творчестве и безусловном доверии к словам защищаемого, на которых строится романтическая и якобы психологическая картина его побуждений. Против этого иногда погрешал

Андреевский, увлекаясь своей писательской задачей. Ярким примером этого служит его первая защита по делу Зайцева, обвинявшегося в убийстве приказчика меняльной лавки. Он говорил без пафоса, подчеркиваний и искусственных пауз, но нередко с тонкой и всегда уместной иронией, часто прибегая к красивым сравнениям и характеристикам людей, «которые среди житейской суеты не имеют времени совещаться сами с собой о том, как поступить в известном случае» или «хорошо думая, умеют скверно поступать». У него были целые житейские картины, дышащие правдой; таково, например, блестящее изображение таможни, как места соблазна для плательщиков пошлины, и т. п. Вообще, он был силен в защите по существу, но в выступлениях в кассационном суде (за исключением дела Мироновича), где были нужны не психология и поэтические очертания иногда далеких от действительности образов, а строгое юридическое мышление и изучение намерений законодателя,— он не имел успеха. Мне, к сожалению, не раз, в качестве обер-прокурора пришлось предлагать сенату оставить его кассационную жалобу без последствий.

В конце девяностых годов Андреевский выпустил второе, значительно и едва ли основательно сокращенное издание своих стихотворений, заявляя в предисловии, что уже много лет он не пишет стихов и никогда к этому занятию не вернется, «хотя,— писал он мне,— Тургенев в письме к М. М. Стасюлевичу просил передать мне его просьбу непременно продолжать стихотворную деятельность, но я не был обольщен этим рескриптом моего кумира, лучше судя об окружавшей меня эпохе, прямо смертельной для «поэта в душе», и, «поняв бесплодие рифмы, ушел вовремя». Подтверждая свое решение статьею о «вырождении рифмы», он находил, что Некрасов и его последователи много работали над тем, чтобы *опрозаить* стих, и что беглый обзор указывает на обветшалость рифмы для истинно-поэтических стихотворений, и она пригодится в будущем лишь для оперных либретто, сатирических куплетов и гривуазных песенок. Рифма во многом похожа на танцы: как последние ныне утратили древнее религиозное значение и сделались забавою для молодежи, так и рифма потеряла свое былое значение. Этот крайне оригинальный взгляд Андреевского, в связи с его горячей любовью к литературе, обратил его к критико-психологическому анализу выдающихся явлений

последней. Он предпринял ряд литературных чтений в разных публичных собраниях и в заседаниях литературно-драматического общества Петербурга, где ему возражали или дополняли его выводы Я. П. Полонский, К. К. Случевский и др. Эти «чтения» были собраны в одну книгу, имевшую вполне заслуженный успех и вышедшую тремя изданиями. В ней автор является вполне самостоятельным критиком, не подчиняющимся никаким партийным или кружковым «директивам и лозунгам» и свободным от издавна обычного у нас, по удачному выражению Герцена, «наклеиванья заранее припасенных ярлыков» на автора и его произведения. В Андреевском, как критике, сказывается созерцатель, стремящийся к объективности, сообщающий о вынесенных им впечатлениях и ожидающий от писателя его собственного свидетельского показания о самом себе. Почти исключительно интересуясь отношением писателя и поэта к трем важнейшим вопросам в жизни — о боге, о смерти и о любви, он рассматривает это отношение с большою чуткостью к малейшим созвучиям между разными писателями и вниманием к тонким оттенкам у каждого. Пред читателем проходят: яркий образ несправедливо забытого Баратынского с его глубокой печалью по поводу душевного разлада между разумом и чувством, Л. Н. Толстой, Достоевский и Тургенев — во взаимном сопоставлении, Некрасов, Всеволод Гаршин и др. Все они обрисованы, так сказать, «сами по себе», в пределах своего творчества, взятые вне обычного описания их среды, обстановки, общественных условий и веяний, могущих влиять на последнее,— обрисованы сильным и точным языком с устранением всех ненужных подробностей. Это устранение (l'élimination du superflu), на котором так стояли Флобер, Гонкур и Мопассан, составляет большое достоинство «литературных чтений». Как пример этого языка можно привести определение различия в творчестве Толстого и Тургенева: «Любимыми темами для Тургенева были природа и женщина или, вернее, девушка. Величайшим ужасом для него была смерть. Толстовские темы — бог, смерть и любовь — должны быть изменены для Тургенева так: *природа,* смерть и любовь. У Толстого преобладающая задача — искание правды; у Тургенева — искание красоты. Для Толстого любовь к женщине — одна из сложных задач жизни; для Тургенева — высшее счастье, праздник жизни, незаслуженное блаженство, величайшая

радость сердца. Смерть для Толстого — прежде всего глубокая тайна, для Тургенева — ненавистный враг жизни». Самое замечательное из «чтений» посвящено «Братьям Карамазовым». Отличаясь глубокой проникновенностью в мысль великого писателя, оно явилось ранее всех серьезных разборов этого романа, не исключая и «Великого инквизитора» Розанова. Можно не согласиться с некоторыми определениями свойств и характера творчества лиц, интересующих Андреевского,— находить, что у Толстого не «необычайная художественная память впечатлений», а поразительная сила его наблюдательности; не разделять, что никого из его героев нельзя любить из-за темных сторон их личности, как будто рембрандтовская светотень, присущая письму Толстого, может помешать горячо вместе с ним любить, например, Платона Каратаева; можно не усматривать у Лермонтова сознания своего «божественного происхождения» в критическом отношении к окружавшей его светской жизни, в его любви к природе и в исключительном среди русских поэтов непосредственном, чуждом сомнений отношении к *личному* богу. Можно, наконец, не разделять восторга автора пред невропатической Башкирцевой и ее дневником, но нельзя отрицать живого интереса, вызываемого «литературными чтениями», раз принявшись за которые, трудно оторваться. В некоторые из них вложено много личной любви, несмотря на объективный тон автора. Особенно это сказывается по отношению к Лермонтову, чей творческий образ разработан с особым чувством. Из бесед с Андреевским я убедился, что более всех русских поэтов, не исключая и Пушкина, он любил Лермонтова, почти все стихи которого знал наизусть и любил цитировать. Этим он напоминал людей старшего поколения, например, Гончарова,— в их восторгах при цитировании множества мест из творений Пушкина. У меня хранилось подаренное мне подлинное письмо Лермонтова, и я, прослушав чтение Андреевского, послал ему это письмо. Несмотря на свой «зарок», он мне отвечал следующими стихами, рисующими его отношение к автору письма:

«Дорогой друг! Мне свят и дорог ваш листок,
Как мусульманину Восток;
Целую след летучих слов
Того, кто скорбен и суров,
Живя не здешним вдохновеньем,
Клеймил наш мир своим презреньем...

Горячо, горячо благодарный С. А.»

Так шла жизнь Андреевского до сорока лет. Казалось, что она сложилась в личном смысле недурно. Широкая адвокатская деятельность, авторство, снискавшее себе внимание и добрую, в большинстве случаев, оценку, круг во многом единомышленных друзей и интересных знакомых и, наконец, семейное довольство и уют — все обеспечивало спокойствие и душевное удовлетворение «на склоне дней», но именно в начале этого «склона» на него налетела одна из тех бурь, которые разрушают сложившийся уклад личной жизни. Он встретил женщину, которая затмила для него старый «чистый образ виденья любимого» и оставила, по его словам, «громадную, яркую и важнейшую полосу в его жизни». Для него наступили дни ощущений непосредственной близости к «счастью всей жизни» и затем долгие дни тревог, мучительной разлуки и разрывающих сердце тяжких свиданий. Посвящая описанию этой всепокоряющей страсти несколько глав в «Книге о смерти», он мог бы, подобно Тютчеву, воскликнуть:

«О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность!»

Любовь воскресила в нем, несмотря на прежнее его заклятие, желание писать стихи, и они появились в печати со следующим посвящением любимой женщине:

«Тебе — на языке, едва тебе известном,
Напевы приношу, как поздние цветы.
Скажу ль, что я нашел в лице твоем прелестном,
Когда мне в сумраке звездой блеснула ты?
Мне снилось — я поэт, но лишь до нашей встречи,
Я разлюбил мечты, твой образ полюбя,
И если в песнях есть хоть звук небесной речи,
Он был подсказан мне в предчувствии тебя».

«Книга о смерти» представляет многолетний отчет Андреевского самому себе о всех его переживаниях, изложенных с большою искренностью и чрезвычайной откровенностью. Она отчасти напоминает собою «Confession» [1] Руссо, будучи своего рода исповедью сына последнего века, с больной душой и скептическим умом. Хотя в ней много ярких воспоминаний о жизни, о встречах, о далеком детстве и юности, много живых описаний современной автору «злобы дня», но она все-таки вполне оправдывает свое название. Да! Ее главное содержание —

[1] «Исповедь» *(фр.)*.

смерть — царит во множестве художественно и просто, прочувственно и строго написанных страницах. Мысль о тщете «гадкого, тревожного и непонятного призрака», называемого жизнью, постоянно сменяется картинами смерти. Последняя ужасна, отвратительна и непостижима во всех своих проявлениях и последствиях; природа поставила ее в средоточии жизни, как тарелку с ядом для живых, которым неизбежно придется стать «зарытой куклой, опущенной вместе с гробом в дыру». Пугающий и сжимающий сердце вид усопших, их предсмертные минуты, растерянность окружающих близких, вплоть до тела «самоубийцы Дуньки», лежащего на столе анатомического театра и уже разрезанного на части, нарисованы с большой реальностью и силой. Читая эти страницы, невольно вспоминаешь не столь любимого автором Баратынского, для которого в руке смерти «олива мира», а не гулящая коса», но Шопенгауэра, называющего смерть «курносой гадиной»; начинаешь понимать ужас Андреевского даже пред старостью, по поводу которой он говорит, что обычное письменное обращение к людям преклонного возраста «глубокоуважаемый» прежде всего вещает им о глубине близкой могилы. Если, однако, эта книга проникнута его прежним взглядом на смерть, лишь выраженным более решительно, то былая его безнадежность уступает в ней, не без колебаний, под несомненным влиянием впечатлений ранней молодости, взгляду, более успокоенному и примиренному с «таинственным руководительством судьбы». «После долгих терзаний,— пишет он,— в конце концов, я чувствую, что со смертью мы отходим к богу, под его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет и под него укроемся... Да будет!».

Кроме рассуждений о тех вопросах, которые Гейне называл «проклятыми» и остающимися без «прямого ответа», «Книга о смерти» заключает в себе ряд остроумных афоризмов и во многом поучительные для историка нашей общественности картины былого помещичьего быта и барской обстановки, а также меткие характеристики многих из современных автору заметных деятелей. Посылая ее мне для прочтения, он писал: «Хотя во многом мы с вами на разных полюсах, но все это не мешает нашей взаимной и искренней дружбе». Поэтому, не разделяя некоторых из высказанных им взглядов, я не могу не признать за «Книгой о смерти» большой ценности. В редких из литературных произведений авторы так сме-

ло обнажают свою душу и так далеки от искусственности и деланности их содержания. Все, кому довелось прочитать книгу еще при жизни Андреевского, были восхищены ее прекрасным, сильным и чуждым многоглаголанья языком. Андреевский всю жизнь оставался верен трогательному завету Тургенева о русском языке, которым оканчиваются «стихотворения в прозе».

В последние годы жизни Андреевского вокруг него, в области личных отношений, образовывалась постепенно пустыня. Одних из дорогих ему людей похищала смерть; других безвозвратно удаляла из его близости жизнь; умерла еще в полной силе своих способностей его мать, давно уже примирившаяся с сыном и часто гостившая в его семье; еще раньше скончались два его брата, один из которых — близнец с ним — был замечательным математиком и в очень молодые годы достиг звания профессора Харьковского университета; умер горячо оплаканный Андреевским князь А. И. Урусов, в котором он чтил любящего и снисходительного друга и блестящего оратора, и, наконец, во время последней войны, после длительного и тяжкого разрушения организма, скончалась его жена. Затем настали тревожные дни революции; в адвокатской деятельности водворилось деловое затишье и возникли тяжелые материальные условия 1917—1918 годов. Без занятий, вынужденный опустошить свою квартиру и лишиться любимых книг и произведений искусства, автор «Книги о смерти» ожидал прихода последней. Она не замедлила, и 9 ноября 1918 г. тяжкое воспаление легких, сопровождаемое двухнедельными большими страданиями, унесло Андреевского.

В. Г. КОРОЛЕНКО И СУД

Кончина Владимира Галактионовича Короленко вызвала ряд некрологов и воспоминаний, в которых всесторонне и ярко обрисовывается образ этого высокоталантливого писателя, из произведений которого настойчиво и «проникновенно» звучат — призыв к человеколюбию, к уважению человеческой личности и к свободе и нежная, глубокая любовь к чудесно описываемой природе. Но в них почти *совершенно умалчивается* про участие Короленко в так называемом Мултанском деле, которому он посвятил много труда и энергии во имя торжества справедливости. Хочется напомнить об этой его деятельности, которая дорисовывает благородную и возвышенную в своих стремлениях личность усопшего.

В 1894 году в округе Сарапульского окружного суда было возбуждено следствие об одиннадцати крестьянах села Старый Мултан, обвиняемых в убийстве нищего Матюнина с целью приношения его внутренностей в жертву языческим богам. Из преданных Сарапульскому окружному суду присяжными признаны виновными семь подсудимых, приговоренных к каторжным работам. Рассмотрев принесенную на этот приговор кассационную жалобу, сенат нашел, что при производстве дела было нарушено равноправие сторон и, вопреки требованию закона, допущены показания свидетелей «по слуху»,— и отменил состоявшийся приговор, передав дело для слушания в Елабугу. Там тоже последовало обвинительное решение присяжных заседателей, состоявшееся при целом ряде нарушений, препятствовавших всестороннему рассмотрению и правильному разрешению вопроса о действительном существовании человеческого жертвоприношения у вотяков, как двигающего побуждения обвиняемых. На это решение была опять принесена кассационная жалоба защитника подсудимых. Рассмотрение ее состоялось 22 декабря 1895 года при большом стечении публики. Ввиду важности этого дела и повторности нарушений, шедших вразрез с истинными целями правосудия, я высказал в моем обер-прокурорском заключении, что нарушения, допущенные при ведении уголовных дел в суде, представляют особую важность в тех случаях, где суду

приходится иметь дело с исключительными общественными и бытовыми явлениями и где вместе с признанием виновности подсудимых судебным приговором устанавливается и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо мрачного явления в народной или общественной жизни, послужившего источником или основанием для преступления. Таковы дела о новых сектах, опирающихся на вредные или безнравственные догматы и учения; дела о местных обычаях, приобретающих, с точки зрения уголовного дела, значение преступления, как, например, насильственный увод девиц для брака, родовое кровомщение и т. п.; таковы дела об организованных обществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, дела о ритуальных убийствах и человеческих жертвоприношениях и т. д. В этого рода делах суд обязан с особой точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения, памятуя, что приговор его является не только решением судьбы подсудимого, но и точкой опоры для будущих судебных преследований и вместе с тем доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнение в наличности источника для известных преступлений исключительно бытового и религиозного характера в той или другой части населения. Усматривая в деле четыре коренных нарушения в разных стадиях процесса, разобрав их подробно и указав на полное неприличие представленного сенату объяснения председательствующего о том, что принесение в жертву языческим богам Матюнина отрицается только бывшим на суде представителем прессы, корреспондентами да защитником, домогающимися во что бы то ни стало полного оправдания всех подсудимых, которого они, быть может, когда-нибудь и добьются, я предложил сенату вторично кассировать приговор по Мултанскому делу и передать его для нового рассмотрения в Казанский окружной суд.

Одновременно с этим меня посетил Владимир Галактионович (это была первая наша встреча в жизни; последующие были лишь в первых заседаниях разряда изящной словесности в Академии наук), причем он объяснил мне, что следил за этим делом ввиду его общественного значения с самого его возникновения, и рассказал, с какой предвзятой односторонностью велись по нему и пред-

варительное и судебное следствия, как забывал обвинитель свою обязанность «не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, и не преувеличивая значения имевшихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления», что определенно предписывается судебными уставами, и как он возбуждал племенные страсти, начав свою речь с указания на «общеизвестность» извлечения евреями необходимой для ритуала крови убиваемых христианских младенцев и кончив напоминанием присяжным, что оправдательным приговором они укажут тысячам вотяков на возможность продолжать и впредь свои человеческие жертвоприношения. Все сообщенные мне Короленкой данные должны были войти в подробный отчет, в составлении которого он принимал живейшее участие и который появился в печати в Москве в 1896 году. В нашей беседе он сообщил мне, что хочет принять на себя участие в защите подсудимых при разбирательстве дела в Казани, что им и было осуществлено, по современным отзывам, с большим знанием дела и свойственной ему теплотою и силой слова. Подсудимые были оправданы, но поднятая против вотяков травля прекратилась не тотчас, о чем свидетельствует следующее письмо Короленки ко мне:

«Многоуважаемый Анатолий Федорович.

Вы принимали такое выдающееся участие в юридической стороне известного Мултанского дела, что, вероятно, Вас не может не интересовать и другая его сторона, ставшая в последнее время вновь предметом обсуждения общей прессы. На X съезде естествоиспытателей и врачей, а затем в отдельном издании, вятский священник Н. Н. Блинов выступил с новыми якобы доказательствами существования человеческих жертвоприношений в вотской среде. «Московские ведомости», «Новое время» и другие издания, занимающиеся травлей инородцев вообще,— тотчас же, конечно, примкнули к взглядам, высказанным Н. Н. Блиновым. Прилагаемые при этом две статьи, кажется, достаточно раскрывают характер этой «ученой работы». Глубочайшее невежество, грубые искажения печатных текстов и крайнее, почти ребяческое, легковерие к тем самым «толкам и слухам», которые так трудно было разоблачать во время процесса и которые, однако, были в конце концов разоблачены,— таковы чер-

ты этой работы, прекрасно дополняющей инквизиционную картину. Это — теория той практики, которой держалась полиция и, к сожалению, также судебные власти в этом деле.

Но здесь есть одна сторона, которая особенно интересна и которую я старался по мере сил (и цензурной терпимости) подчеркнуть в обеих статьях (так как не имею оснований скрывать от Вас, что и вторая статья, подписанная «П. Зырянов»,— тоже написана мною). А именно: во время Мултанского дела обвинитель Раевский утверждал, что только благодаря взяточничеству прежних судов человеческие жертвоприношения оставались нераскрытыми. Н. Н. Блинов утверждает, что в начале Мултанского дела, в том же уезде, стане и участке, значит те же власти, покрыли опять заведомое убийство. Было ли это в начале дела или в конце его (как сначала предположил я),— безразлично. Факт всетаки остается: те же власти (в том числе и обвинитель Раевский!?) повинны в покрытии заведомого убийства, что, по словам докладчика, «обошлось не дешево» вотякам. И это напечатано в «Вятке», значит процензуровано администрацией, и самая книга продается в «Вятском статистическом губернском комитете», то есть опятьтаки в учреждении официальном. Но ведь это значит, что в покрытии «жертвоприношения» или иного убийства повинна уже вся и высшая администрация, которая не может же не знать того, что так недавно совершилось в губернии (и теперь оглашается печатью),— и однако не возбуждает и теперь никакого дознания о виновных в убийстве и в сокрытии оного за взятку! По-моему, это самая изумительная черта этого дела.

Разумеется, будет не особенно трудно разоблачить сказки, вновь повторяемые Н. Н. Блиновым, но роль полиции и товарища прокурора Раевского в этих действительно темных делах, к сожалению, разоблачить гораздо труднее, хотя печать и пыталась сделать, что могла. Но, конечно, она не могла почти ничего.

Впрочем, простите это излишнее многоглаголание и примите уверение в искреннем моем уважении.

1898, 6/XI
СПб., Пески, 5-я ул., д. 4.

Вл. Короленко».

Вторичная отмена обвинительного приговора по делу вотяков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом служебном свидании со мною министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение по поводу слишком строгого отношения сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет поставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза постановил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен, Муравьев заключил из того, что Победоносцев, далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может примириться ни с решением сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, так как таким решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и неизбежно выдвигается вопрос, были ли приняты достаточные и целесообразные меры для выполнения Россией, в течение нескольких столетий владеющей Вотским краем, своей христиански-культурной просветительной миссии. «Я думаю,— сказал я ему,— что в этом случае ваш ответ может состоять в простом указании на то, что кассационный суд установлен именно для того, чтобы отменять приговоры, постановленные с нарушением коренных условий правосудия, сколько бы раз эти нарушения ни повторялись, примером чему служит известное дело Гартвиг по обвинению в поджоге, кассированное три раза подряд». В этом же смысле высказался при встрече со мною Плеве.

На месте вторичная отмена приговора, и в особенности мотивы сенатского решения, произвели, как видно из письма Короленки, большое впечатление. Председатель суда выехал в Петербург для каких-то оправданий перед министром юстиции, был, по словам Муравьева, очень расстроен и хотел быть у меня, чтобы «разъяснить мне всю правильность действий суда по этому делу», но, к моему удовольствию, не привел свое намерение в исполнение, избавив меня от необходимости в частной беседе высказать ему мое мнение вне официальной сдержанности и условности.

С сочувствием и с глубоким уважением к памяти покойного Владимира Галактионовича вспоминаю я его живое и проникнутое политическим предвидением участие в Мултанском деле, заставлявшее его справедливо тревожиться за пагубный прием разрешения бытовых и племенных вопросов путем судебных приговоров и за обращение суда в орудие для достижения чуждых правосудию целей, поэтому я испытал особое удовольствие, получив от него вскоре после исполнившегося пятидесятилетия моей общественно-служебной деятельности нижеследующее письмо:

«Полтава. 8 октября 1915 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович.

Позвольте мне, отсталому провинциалу, присоединить к многочисленным голосам, приветствовавшим Вас в Вашу годовщину, и мой несколько запоздалый голос. Есть много сторон Вашей работы на почве русского правосудия, вызывающих уважение и благодарность. Мне лично по разным причинам пришлось особенно сильно почувствовать в Вас защитника вероисповедной свободы. В истории русского суда до высшей его ступени — сената Вы твердо заняли определенное место и устояли на нем до конца. Когда сумерки нашей печальной современности всё гуще заволакивали поверхность судебной России,— последние лучи великой реформы еще горели на вершинах, где стояла группа ее первых прозелитов и последних защитников. Вы были одним из ее виднейших представителей; теперь, в дни ритуальных процессов и темных искажений начал правосудия, трудно разглядеть эти проблески. Хочется думать, однако, что закат не надолго расстался с рассветом. Желаю Вам увидеть новое возрождение русского права, в котором Россия нуждается более, чем когда бы то ни было.

Искренне Вас уважающий *Вл. Короленко*».

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

В минувшем году исполнилось двадцать лет с тех пор, как мы лишились Антона Павловича Чехова, в самый разгар злополучной японской войны, которая так тревожила его на закате дней. С тех пор грозные испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это. Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по форме творчество в своем былом проявлении переживет многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией на художественность, в сущности сводящуюся к беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его стоит, как живой — с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на людские скорби сердца. Чувство благодарности за большое духовное наслаждение, доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине.

Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно называл «несчастными», были для русского общества и в значительной мере даже для правящих кругов чем-то мало известным, неинтересным или загадочным по своей отдаленности. Представление о Сибири, как месте ссылки и принудительных работ «в мрачных пропастях земли», слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как и народное представление о «погибельном Кавказе». Губернские тюремные комитеты, учрежденные в 1829 году, ведали—и притом в очень ограниченных размерах—лишь местное тюремное дело и вовсе не влияли ни на положение ссыльных во время бесконечно длинного и тяжкого пути «по Владимирке», ни на условия их содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их деятельность и придать ей заботливый, а не чисто формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы и труженики, вроде «утрированного филантропа» доктора Гааза, посвятившего свою жизнь попечению о ссыльных. Жизнь его представляет поучительный пример того,

сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опустить рук в сознании своего бессилия перед официальным «тупосердием» и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были наперечет! Только в начале шестидесятых годов Достоевский своими «Записками из Мертвого дома» привлек внимание к положению каторжников и в ярких, незабываемых образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его населением. Затем, в 1891 году появилась за границей книга Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в подробностях, но ошибочно приписывавшая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия. Особенное внимание, возбужденное этою книгой за границей, и вызванные ею негодующие отзывы о русских порядках недостаточно отразились на нашем общественном мнении, так как ни книга, ни ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее появился лишь через шестнадцать лет. Значительно сильнее подействовали вести о самоубийстве сосланной в каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся, за нарушение тюремной дисциплины, по распоряжению властей, телесному наказанию, причем примеру ее последовало несколько человек из единомышленных с нею товарищей по заточению. Затем, в 1896 году, вышли полные «трезвой правды» очерки Мельшина (Якубовича) «Мир отверженных», рисующие тяжкие картины Карийской и Акатуевской каторги. Таким образом, выяснилась постепенно картина Сибири, как места наказания, и явились твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой жизни данные, дающие полную возможность судить, как осуществляется на месте это наказание.

Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875 году на присоединенном к России, в обмен на Курильские острова, Сахалине. О том, *что* и *как* там делалось, получало сведения только тюремное ведомство, да и то, конечно, в канцелярской, бесцветной обработке.

Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль узнать и поведать о том, что происходит не на сказочном «море-окияне, на острове Буяне», а в далекой

и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств. Эту задачу взял на себя А. П. Чехов. Его живому характеру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседливость на месте, то свойство, которое прекрасно изобразил граф Голенищев-Кутузов в своем романе «Даль зовет». Он ясно сознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, «прославленные шестидесятые годы» ничего не сделали и где мы с нашими пересыльными тюремными порядками «сгноили ...миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; гоняли людей по холоду, в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей». Ему казалось, что Сахалин, как поле для целесообразной и благотворной колонизации, может представить могучее средство против большинства из этих зол. Он предпринял, с целью изучения этой колонизации на месте, тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся гибельно на его здоровье. Результат этого путешествия—его книга о Сахалине—носит на себе печать чрезвычайной подготовки и беспощадной траты автором времени и сил. В ней, за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных, чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль слышится в разочаровании главной целью путешествия—изучения колонизации, ибо на Сахалине никакой колонизации не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не приспособленном ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по выражению Чехова, «никакого климата», а лишь «вечная дурная погода», связанная с постоянно надвигающимися с моря сплошною стеною туманами. Недаром поселенцы говорили про Сахалин: «Кругом море, а в средине горе». Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин, стало другою причиной печали Чехова, присоединив к его разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной действительности.

Вот Сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили и разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми,— с разбитыми стеклами в окнах, невыносимою вонью в камерах и традиционной «парашей» — и с надзирательской комнатой, где непривычному посетителю ночевать совершенно невозможно: стены и потолок ее покрыты «каким-то траурным крепом, который движется как бы от ветра, и в этой кишащей и переливающейся массе слышится шуршание и громкий шепот, как будто тараканы и клопы спешат куда-то и совещаются...» Вот камеры для семейных, т. е. каторжных и ссыльных, за которыми, составляя сорок один процент всех женщин острова, пришли, влекомые состраданием и обманутые надеждами, жены и привели с собой детей. Они, по выражению многих из них, мечтали «жизнь мужей поправить, но вместо того и свою потеряли». В этой камере нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей изобретательности ругань, постоянно слышатся наглый смех, хлопанье дверьми, звон оков. В *одной* из таких, малых по размерам, камер сидят вместе и спят на одних сплошных нарах пять каторжных: два поселенца, три *свободные*, т. е. пришедшие за мужьями, женщины и две дочери их — пятнадцати и шестнадцати лет: в *другой* такой же камере содержатся десять каторжных, два поселенца, четыре свободные женщины и девять детей, из которых пять девочек... Вот «больничные околотки», где среди самых первобытных условий содержатся сумасшедшие и одержимые опасными заразными болезнями, причем последним поручено щипать корпию для необходимых хирургических операций,— и *лазареты,* где оказывают помощь фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги такого рода сведения об умерших: «умер от неразвитости к жизни», или «от неумеренного питья», или «от душевной болезни сердца», или «от телесного воспаления» и т. п. Вот поразительные картины торговли своим телом, производимые поселенками и свободными женщинами от юного до самого преклонного возраста (шестидесяти лет), и вот девочки, продаваемые родителями «с уступочкой», едва они достигают четырнадцати-пятнадцати лет, причем попадаются и девяти-, и десятилетние. Вот—быстро сгорающие уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых сахалинское «отсутствие климата» *заведомо* губительно. Вот два

палача из ссыльных, исхудалые, с гноящимся телом, вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавидя поэтому друг друга, «постарались друг на друге» при наказании плетьми. Вот насаждение крестьянских хозяйств посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для «домообзаведения» в сожительство отбывшим каторгу поселенцам, обязанным за это построить себе домик или покрыть уже существующий тесом; вот сарай, куда сгоняются эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники берут себе «девочек», а оставшиеся затем рассылаются по дальним участкам вследствие просьб «отпустить рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Вот, наконец, ссылка в отдаленные поселки, куда нет, обыкновенно, ни прохода, ни проезда, провинившейся каторжанки или поселенки—одной на тридцать человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с этим, как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне, описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии,— с трогательным уходом за сумасшедшими или парализованными сожительницами «по человечности», с их тоскою по материке и по родной земле. Он дает яркую картину «свадьбы», заставляющей участников и гостей на краткий срок забыть свою тяжкую долю, и рядом изображает местного *мирового судью,* ощущающего радостное и своеобразное удивление, когда среди переполняющих сахалинскую жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится встретиться, как с редким оазисом в пустыне, с делом о простой, «совершенно простой краже!»

Книга о Сахалине еще не была издана, когда, в декабре 1893 года, меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично познакомился. Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное впечатление, и мы провели целый вечер в задушевной беседе, причем он объяснил свой приход полученным им советом поговорить со мной о Сахалине: вынесенными оттуда впечатлениями он был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше, развертывались в его рассказе одна за другою, представляя как бы мозаику одного цельного и поистине ужасающего изображения.

Я был с 1891 года членом Общества попечения о семьях ссыльно-каторжных, во главе которого стояла его

учредительница Е. А. Нарышкина, вносившая в осуществление целей Общества сердечное их понимание и большую энергию. Благодаря последней Общество получило, путем призыва к пожертвованиям, довольно значительные средства и могло открыть в Горном Зерентуе Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку Нерчинской каторги,— и затем устроить его филиальные отделения еще в двух поселениях. Она же под влиянием вестей о расправе с несчастной Сигидой предприняла весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить во властных сферах сознание необходимости отменить телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин, и своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный толчок к последовавшему в 1893 году решению Государственного совета о такой отмене. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности Общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова, свидание не состоялось, так как он должен был уехать в Москву, написав мне следующее письмо: «Я жалею, что не побывал у г-жи Нарышкиной, но мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я свободнее буду обращаться среди материала, который имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что, когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним десятилетним мальчиком. Я делал перепись в селении Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхожу в одну избу; хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик беловолосый, сутулый, босой; о чем-то задумался. Начинаем разговор.

Я: «Как по отчеству величают твоего отца?»—Он: «Не знаю».— Я: «Как же так? Живешь с отцом и не знаешь,

как его зовут? Стыдно».— Он: «Он у меня не настоящий отец».— Я: «Как так—не настоящий?»—Он: «Он у мамки сожитель».— Я: «Твоя мать замужняя или вдова?»—Он: «Вдова. Она за мужа пришла».— Я: «Что значит—за мужа?»—Он: «Убила».— Я: «Ты своего отца помнишь?»— Он: «Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила».

Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я замечал, когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватер-клозет, за ним шли конвойные и дочь; пока тот сидел в ватер-клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами. Помнится, был я на Сахалине на похоронах. Хоронили жену поселенца, уехавшего в Николаевск. Около вырытой могилы стояли четыре каторжных носильщика—ex officio[1], я и казначей в качестве Гамлета и Горацио, бродивших по кладбищу от нечего делать, черкес—жилец покойницы—и баба каторжная; эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы—одного грудного и другого — Алешку, мальчика лет четырех, в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю: «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит: «Закопали!» Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать детей, он не обязан их кормить. Инфекционных болезней я не встречал на Сахалине, врожденного сифилиса очень мало, но видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями,— все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Решать детского вопроса, конечно, я не буду. Я не знаю, что нужно делать. Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить вопрос в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых не бывает,— вредно. Я предпочел бы

[1] По долгу службы (*лат.*).

государственное казначейство... Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать у меня».

Я дал Нарышкиной прочесть это письмо и рассказал ей все то, что слышал от Чехова. Вскоре подоспела и книга о Сахалине. Результатом всего этого было распространение деятельности Общества на Сахалин, где им было открыто отделение Общества, начавшее заведовать призрением детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на восемьдесят человек. Еще ранее на средства Общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия, при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Мейер. В Доме работали от 50 до 150 человек, и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семейств ссыльных на острове, составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам при обсуждении последней в предположенном особом совещании министров... Но грянувшая война обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его уступка по Портсмутскому договору прекратили работу всех этих учреждений на острове, и дети были выселены японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву.

Книга Чехова не могла не обратить на себя внимания министерства юстиции и главного тюремного управления, нашедших, наконец, нужным через своих представителей ознакомиться с положением дела на месте. Отсюда—поездки на Сахалин в 1896 году ученого-криминалиста Д. А. Дриля и в 1898 году тюрьмоведа А. П. Саломона. Их отчеты, к сожалению не сделавшиеся достоянием печати, вполне подтвердили сведения, сообщенные русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько характерных особенностей.

Прошло три года со времени моего свидания и беседы с Чеховым. На «базаре» в городской думе в пользу высших женских курсов я встретил В. Ф. Комиссаржевскую, которую, будучи знаком с ее отцом, я знал, когда она была еще ребенком. Мы разговорились о драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли замечательную артистку, и она советовала мне прийти на первое представление новой пьесы Чехова «Чайка», наме-

чающей иные пути для драмы. Я последовал ее совету и видел это тонкое произведение, рисующее новые творческие задачи для «комнаты о трех стенах», как называет в нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем осуществление мысли автора о том, что художественные произведения должны отзываться на какую-нибудь *большую мысль,* так как лишь то прекрасно, что серьезно. Столкновение двух мечтателей — Треплева, который находит, что надо изображать на сцене жизнь не в обыденных чертах, а такою, какою она *должна быть* предметом мечты,— и Нины, отдающейся всею душою созданному ею образу выдающегося человека,— с тем, что автор называет «пискарною жизнью», оставляло глубокое и трогательное впечатление. Драма таится в том, что, с одной стороны, публика, на которую хочет воздействовать своими мыслями и идеалами Треплев, его не понимает и готова смеяться, а с другой—богато одаренный писатель, весь отдавшийся «злобе дня», рискует оказаться ремесленником, едва поспевающим исполнять не без отвращения заказы на якобы художественные произведения, а также безвольным человеком, приносящим горячее сердце уверовавшей в него девушки в жертву своему самолюбованию. Сверх всякого ожидания, на первом представлении образ подстреленной «Чайки» прошел мимо зрителей, оставив их равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось в течение всего представления, выражаясь в коридорах и фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и сожалениями о потерянном времени и обманутом ожидании. Такое отношение публики, по-видимому, отражалось и на артистах. Тот подъем, с которым прошли на сцене два первых действия, видимо, ослабел, и «Чайка» была доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья, совершенно заглушившего немногие знаки сочувствия и одобрения.

Я вернулся домой в негодовании на публику за ее непонимание прекрасного произведения и в грустном раздумье о том, как это отразится на авторе. Мне ясно представлялось, какие ощущения он должен был пережить, если был в театре или, если отсутствовал, что перечувствовать, когда «друзья» (как известно, это одна из их специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью) донесут ему о давно неслыханном провале его

пьесы. Мне хотелось сказать ему несколько одобрительных слов и показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно ополчилась на его творение и что в ней, вероятно, есть немало людей, оценивших его талант и в «Чайке». Мне вспоминался при этом Глинка, которого восторженно приветствовали после первого представления «Жизни за царя» и в театре, и в печати, и в тот же вечер на квартире у князя Одоевского, где даже была спета кантата, написанная в честь его Пушкиным и начинавшаяся словами: «Вышла новая новинка,— веселися русский хор,— этот Глинка, этот Глинка—уж не глинка, а фарфор». А на первом представлении «Руслана и Людмилы» не только публика демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты, исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору, и когда он, смущенный всем этим, и не зная, выходить ли на сцену на требование небольшой группы зрителей, обратился к находившемуся вместе с ним в директорской ложе начальнику *Третьего* отделения, генералу Дубельту, то последний внушительно сказал ему: «Иди, иди Михаил Иванович, Христос больше твоего страдал». Вспомнился мне и рассказ о свистках и ропоте публики, которыми сопровождалось первое представление оперы Бизе «Кармен», что тяжело отразилось на сердечной болезни талантливого композитора и свело его через три месяца в могилу. А каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь, говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в нескольких газетах рецензию на «Чайку» с прямым злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отправить мое письмо. Через несколько дней я получил следующий ответ: «Вы не можете себе представить, как обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что «Чайка» проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и проч. и проч. Можете вообразить мое положение—это был провал, какой мне даже не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чу-

довищными недостатками, то я утерял всякую чуткость и что, значит, моя машинка испортилась вконец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представление имели успех; пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи. Но Ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе,— Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения. Комиссаржевская чудесная актриса. На одной из репетиций многие, глядя на нее, плакали и говорили, что в настоящее время в России это лучшая актриса. На спектакле же и она поддавалась общему настроению, «враждебному» моей «Чайке», и как будто оробела, спала с голоса. Наша пресса относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль. Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие Вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участие, которое Вы в конце Вашего письма называете «ненужным», я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло. Искренно Вас уважающий и преданный А. Чехов».

С этого времени мы изредка писали друг другу. Он, между прочим, просил меня выслать в таганрогскую городскую библиотеку, которой он состоял попечителем, мою фотографическую карточку с автографом, ссылаясь на то, что в библиотеке имеются мои сочинения, и прибавляя, конечно, из любезности: «Вас очень любят в моем родном городе и уважают уже давно». Мы снова свиделись в апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности, не любил за ее, как он писал, «коробкообразные гостиницы с чахоточными», за «наглые хари татарских проводников» и за нестерпимый «парфюмерный запах», распространяемый приезжими гуляющими дамами. Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой «не курить» указывали, что с хозяином что-то не ладно. И действительно, застегну-

тое на все пуговицы осеннее пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровье показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде, тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он держал себя бодро и отзывчиво по отношению ко всему окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо близкий конец, как врач, и, быть может, оставаясь сам с собою, слушает звучащую в душе одну из мрачных раскольничьих песен: «Смерть, а смерть, это ты?» — «Это я, это я!»—«А откуда ты пришла?»—«Где была, где была!» — «А пришла ты не за мной?» — «За тобой, за тобой!»—«А уйдем мы далеко?»—«Далеко, далеко!» Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски, куда он не раз заходил ко мне и где мы сиживали, он — греясь на солнце, а я поджариваясь,— я, смотря на него, невольно вспоминал слова Некрасова: «Завтра встану и выбегу жадно—встречу первому солнца лучу,—снова все улыбнется отрадно и мучительно жить захочу,— а недуг, подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о близости темной могилы так же внятно душе говорить. Иногда к нам присоединялся Миролюбов, и в беседе время летело незаметно. Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний. Однажды, по поводу лжи в их показаниях, я привел несколько интересных житейских примеров «мечтательной лжи», в которой человек постепенно переходит от мысли о том, что *могло бы быть* к убеждению, что оно *должно было* быть, а от этого к уверенности, что оно *было,*— причем на мое замечание, что я подмечал этот психологический процесс в детях, он сказал, что то же бывает с некоторыми очень впечатлительными женщинами. С большим вниманием слушал он также рассказы о виденных мною житейских драмах и иронии судьбы, которая в них часто проявлялась.

Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое пальто, несмотря на надпись: «7-го мая, в ясный теплый день в Ялте», я получил от него письмо, в котором он говорил: «Сегодня я получил от поэта И. А. Бу-

нина книгу стихов с просьбой послать ее на Пушкинскую премию. Будте добры, научите меня, как это сделать, по какому адресу послать. Сам я когда-то получил премию, но книжек своих не посылал. Простите, пожалуйста, что беспокою Вас такими пустяками. Я нездоров и решил, что выздоровею не скоро». Следующее письмо я получил уже от 12 июня из Аксенова, Уфимской губернии. В нем он писал: «В самом деле, многоуважаемый Анатолий Федорович, Ваша фотография, которую я только что получил, очень похожа, это одна из удачнейших. Сердечное Вам спасибо и за фотографию, и за поздравление с женитьбой, и вообще за то, что вспомнили и прислали письмо. Здесь, на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры, и если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда. В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский—очень хороший врач — нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился. Ольга шлет Вам привет и сердечно благодарит. В будущем году, пожалуйста, посмотрите ее в «Чайке» (которая пойдет в Петербурге), там она очень хороша, как мне кажется».

Улучшение здоровья Антона Павловича было, однако, непродолжительным, и по мере роста его славы, как выдающегося и любимого писателя, уменьшались его силы и подступала смерть. Она пришла к нему в далеком Баденвейлере, во время страстных порывов вернуться в Россию, куда его постоянно тянуло. Судьба с обычной жестокостью относительно выдающихся русских людей не дала ему увидеть родину, за которую и с которой он столько болел душой, и равнодушно приютила в недрах чужой земли его горячее русское сердце.

Вспоминая характерные свойства личности Чехова и впечатления от большинства его произведений, я нахожу, что он был во многом сходен с покойным Эртелем, столь поучительным и своеобразным в своих письмах и столь несправедливо у нас забытым. В обширной переписке

Чехова, в личных о нем воспоминаниях сказывается его духовная самостоятельность. Уже смолоду в нем чувствуется сознание своего человеческого достоинства, не склонного рабствовать перед чужим умственным авторитетом или принижаться, с боязливыми оговорками и оглядками по сторонам, перед авторитетом материальной силы. Он следовал завету Пушкина «идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Еще юношей семнадцати лет он писал своему брату: «Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй пред умом, красотой, природой, но не перед людьми». И всю жизнь он был поклонником духовной свободы, свободы, как он говорил Плещееву, от давления ходячих идей, навязанных лозунгов, суждений по шаблону, одним словом, от того, что столь ошибочно называется общественным мнением, которое редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую является выражением общественной страсти, слепой в увлечении и жестокой при разочаровании. Недаром для него Капитолийский холм и Тарпейская скала находятся в очень близком друг от друга расстоянии. Он знал, какую цену имеют иногда громко провозглашенные принципы, вовсе не применяемые на практике, и по горькому опыту говорил: «Фарисейство и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках, я вижу их в науке, в литературе среди молодежи». Поэтому он сознавался, что относится с отвращением к «умственным эпидемиям». Тщательно охраняя свою душевную свободу от «всепокоряющего» чувства любви, он пессимистически начертал в своей записной книжке: «Любовь. Это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным,— или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». Не сквозит в его произведениях и страха смерти, чем он существенно отличается от Тургенева, в целом ряде произведений которого звучит ужас перед неотвратимостью и жестокостью смерти, и от Л. Н. Толстого, постоянное возвращение которого к мысли о смерти и к заботе о том, что будет после нее, указывает на обширное место, занимаемое мыслью о ней в его душе. И тургеневское и толстовское отношение к смерти имело бы, конечно, не менее оснований гнездиться в душе Чехова: во всю вторую половину своей недолгой жизни он—неизлечимо больной—был приговорен к смерти и знал об этом, как

врач, лишь стараясь утешать близких и друзей, скрывая от них возможность скорого исполнения этого приговора. В нем не было угрюмой отчужденности от людей или сосредоточения, внимания исключительно на себе,—напротив, он, как видно из его писем, отзывчиво и чутко относился к людям, хотя и не пускал к себе в душу безразлично всякого мимо идущего. Не раз проявляя искреннюю деятельную доброту, он сердечно заботился о помощи разным несчастливцам, голодающим, чахоточным,—содействовал учреждениям, которые работали в их пользу, и помогал отдельным лицам, попавшим в Ялту по болезни и впавшим в нужду, и делал все это так, что «левая рука не ведала, что совершала правая».

Стоит затем припомнить его отношение к детям, полное нежного чувства, глубокой мысли и заботливости о смягчении суровых впечатлений жизни, не ускользающих от внимания детей и оставляющих в их душе неизгладимые рубцы. Характерно и не раз встречающееся у него, очевидно вынесенное из житейской вдумчивости, отношение к «жертвам общественного темперамента», чуждое слащавой чувствительности, но проникнутое глубоким состраданием, при котором банальное удивление: «Как могут они (женщины)?!»—замолкает перед гневным удивлением: «Как могут они (мужчины)?!».

И к природе он умел относиться с тонким пониманием ее красоты и примиряющего значения. Достаточно указать на описание растительности и в особенности цветов на Сахалине и на многие места в его сочинениях, которые можно назвать «очными ставками с природой».

К творчеству Чехова вполне применимы образные слова о том, что жизнь сеет семена, а творчество, при посредстве воображения, выращивает плод. В литературе встречаются нередко две противоположности: или правдоподобные, почти фотографические, взятые с живых определенных лиц образы вплетаются в совершенно неправдоподобное, вымученное и нарочито сочиненное содержание,— или, наоборот, полное житейской правды содержание замыкает в себе совершенно отвлеченных, безжизненных и автоматически мертвых действующих лиц. У Чехова обилие сюжетов, почерпнутых из жизни в самых разнообразных ее проявлениях, как о том свидетельствует его записная книжка, соединялось с тонкой наблюдательностью, умеющею из подмеченных черт отдельных лиц создавать полные жизни целостные образы,

причем глубокая вдумчивость и чувство меры идут у него рука об руку, не переходя, по выражению Л. Н. Толстого, «в пересоленную карикатуру на человеческую душу».

Наряду с его творчеством не меньшего внимания заслуживает его язык—ясный и простой, меткий и скупой там, где всякий излишек слов повредил бы силе впечатления и где необходима та «élimination du superflu» [1], которая так блестяще достигнута братьями Гонкур, Доде и Мопассаном. Если припомнить, до какой степени искажается в настоящее время в разговорном и литературном отношении наш русский язык,— как вторгаются в него, без всякой нужды, иностранные слова и обороты, в забвении его законов и источников,— как втискиваются в него сочиненные словечки, лишенные смысла и оскорбляющие ухо,— как вообще на этот язык, который должен считаться народной святыней, смотрят многие, вопреки заветам Пушкина и Тургенева, как на нечто, с чем можно не церемониться,— то нельзя не признать большой заслуги Чехова в его внимательном и почтительном отношении к русскому языку. Его возмущали и столь часто встречаемая у нас небрежность переводов с чужих языков, самовольные прибавки к подлинному тексту там, где не хватает умения передать его в точности, и самодовольный покровительственный тон предисловий «от переводчика». В своей «Скучной истории» он зло, но справедливо указывает на недостаток большинства современных ему литературных произведений, в которых или все умно и благородно, но не талантливо, или талантливо и благородно, но не умно, или, наконец, умно и талантливо, но не благородно. Если прибавить к этому еще ряд произведедений, которые изображают собою пересохший ручей мысли в пустыне вымученных слов, то нельзя не почувствовать, каким светом, ароматом и теплом веет от произведений Чехова. Его сравнивали нередко с Мопассаном, как по выбору сюжетов, так и по способу изложения, сразу захватывающего зрителя. В этом, конечно, много верного. Но преобладающая черта их творчества разная. У Мопассана господствующая нота—*ирония* над человеческой глупостью, жадностью и низменностью натуры. У Чехова—печаль по поводу этих и других отличительных свойств русского человека. Тургенев нарисовал нам *«лишних»* людей, ненужных для общества и несчастных в своем личном существовании; через несколько лет,

[1] Устранение излишеств *(фр.)*.

когда начала заниматься заря общественной жизни, он же изобразил нам *бесполезных* людей, непригодных для опередившего их времени («догорай, бесполезная жизнь!» Лаврецкого). Чехов застал уже *хмурых* или вернее *унылых и тусклых* людей, современниками которых мы долгое время были,— способных многого желать, но не умеющих ничего *хотеть,* не имеющих «вчерашнего дня» и проводящих настоящий день в бесплодных жалобах и жадном ожидании завтрашнего дня без ясного представления о том, что же предпринять, чтобы он—этот желанный день—наступил, и что надо делать, когда он наступит. Он прозорливо сознавал, как тонок у нас слой истинно культурных людей, пролегающий между шумливыми критиками без всякой способности к созиданию и упорными «охранителями» без критического отношения к своим действиям и их неизбежным последствиям. Недаром он находил, что в нас «достаточно фосфору, но совсем нет железа» (как виден в этом врач!); что «нам необходим темперамент, а не кисляйство», и его возмущала «куцая бескрылая жизнь общества, в представителях которого так много житейской беспомощности». И это были не теоретические положения, а практические выводы, приобретенные на тернистом житейском пути от веселого «Чехонте», которому приходилось по пяти раз стучаться в маленькие редакции за получением заработанных трехрублевок, до выдающегося глубокого «Чехова», которому на первых шагах, по нашему обычному недоброжелательству ко всякому таланту, никто не подвязывал творческих крыльев, пока он сам их не вырастил и не развернул во всю ширь...

П. Д. БОБОРЫКИН

В лице только что скончавшегося П. Д. Боборыкина исчезла видная фигура, вносившая оживление во всякую среду, в которой она вращалась; исчез европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, на которую он смотрел без рабского пред нею восхищения, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности.

Король Лир называет себя «королем от головы до ног». Боборыкин мог бы с полным правом сказать про себя, что он «литератор с головы до ног» — от молодых ногтей до последних лет жизни, когда к его имени неизменно стал присоединяться эпитет «маститый». И на могиле его в Ментоне, вдали от родины, которую он знал и любил, следует написать одно слово—«Литератор», так как он был у нас один из немногих писателей, который, несмотря на житейские испытания, умел отвоевать себе полную независимость от всякого служебного заработка. Пред ним — чрезвычайно одаренным лингвистом, с широкими естественнонаучными и медицинскими знаниями, с богатым знакомством с движением человеческой мысли в различных областях, с отзывчивостью на правовые и общественные вопросы — могли быть открыты разнообразные пути живой и выдающейся деятельности. Но он пошел туда, «куда звал голос сокровенный», избрав бесповоротно и неуклонно тернистую стезю служения родной литературе. Отважно принятое им на себя в свои молодые годы издательство и редакторство «Библиотеки для чтения» подорвало то материальное обеспечение, с которым он вступил в жизнь. В 60-х годах этот журнал, после ловкого редакторства Сенковского, которого безуспешно заменили Дружинин и Писемский, был совершенно заслонен «Отечественными записками» и «Современником» и стал неудержимо падать, разорив Боборыкина и обременив его на многие годы крупными долгами, требовавшими от него особого напряжения трудовой силы. И все-таки он остался верен литературе — ей одной! Отсюда в значительной степени его особенная писательская плодовитость, вызывавшая иногда ironиче-

ские отзывы хозяев периодических изданий («опять *набоборыкал* роман»,—ворчал по его адресу Салтыков), что не мешало им нередко спешить купить его новое произведение, так сказать, «на корню». Однако, то, что в творчестве своем он не мог свободно располагать своим временем и смотреть на него, обеспечив себя другими постоянными занятиями, лишь как на отхожий промысел, не отражалось на свойствах его таланта.

До конца жизни П. Д. стоял на своем посту наблюдателя и изобразителя сменявшихся общественных настроений, что требовало особой зоркости и не допускало промедления, так как надо было закрепить не то, что *было,* а что *есть,* не прошлое, а живую действительность настоящего. К этому настоящему он никогда не относился со спокойным созерцанием, без волнения и в некоторых случаях — справедливой тревоги. Это так соответствовало не только его темпераменту, выражавшемуся в быстрых движениях, восклицаниях, горячих спорах, но и в том, что его беседа, когда дело касалось его искренних убеждений или годами сложившихся мнений, отличалась, если можно так выразиться, особенною *взрывчатостью.* Вдумчивая отзывчивость на злобу дня и ее отражение в жизни требуют большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и «повадка» представителей тех или других общественных слоев или кружков, внешний уклад жизни русских людей у себя и за границей изображены им с замечательной точностью и подробностями.

Будущий историк русской жизни, который захочет, подобно Гонкуру или Тэну в их описаниях старого французского общества, исследовать внешние проявления этой жизни, неминуемо должен будет обратиться к романам Боборыкина и в них почерпнуть необходимые и достоверные краски и бытовые черты. Торопливая плодовитость Боборыкина, несмотря на указанные мною ценные качества, несколько отражалась на существе его произведений, которые в будущем заинтересуют более историка быта и настроений, чем историка литературы. Спеша уловить общественное явление или настроение и изобразить его в мельчайших подробностях, П. Д. поневоле отступал от завета известного художника Федотова, который говорил: «В деле искусства надо дать себе на-

стояться; художник-наблюдатель то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть, нужно только уметь разливать вовремя». Покойный не имел времени давать себе настаиваться. Отсюда — тонкий анализ подробностей без синтеза целого и, как последствие этого, отсутствие ярких, цельных, остающихся в памяти образов, обращающихся в нарицательные имена, вроде Базарова, Обломова и т. п. Желание закрепить на своих страницах тот или другой характерный для своего времени тип увлекало Боборыкина из области творчества в слишком реальное и откровенное фотографирование, что создавало ему подчас больших недоброжелателей. А его любовь создавать новые словечки вызывала плоские насмешки, на которые особенно в первое время его деятельности была щедра наша газетная критика, умышленно забывавшая о положительных достоинствах его произведений; отсутствие ярких образов искупается у Боборыкина блестящим и дышущим правдой изображением не отдельных лиц, а целых организмов, коллективные стороны которых оставляют целостное впечатление. Таков, например, его большой и лучший, по моему мнению, роман — «Китай-город». В этом отношении он очень напоминает Золя с его «Au bonheur des dames» и «Dêbâcle»[1], хотя оба эти романа появились, если я не ошибаюсь, позже «Китай-города». Нужно ли говорить о том благородстве мысли и о твердой вере в задачи культуры и морали, которыми проникнуты произведения Боборыкина? Позитивист по миросозерцанию и либерал-шестидесятник по убеждениям, он последовательно оставался предан этому до гробовой своей доски, бодро неся свои преклонные годы, но не проявляя никаких признаков моральной старости и безразличия к происходящему на мировой арене. И к людям он относился с сердечной добротой, не удовлетворяясь в личных сношениях простым знакомством, а стремясь сблизиться с теми, которых он уважал, почти до степени доверчивой дружбы. В этом отношении его постигали немалые разочарования, но он никогда не порицал виновников таковых, а, выражаясь канцелярским языком, «оставлял их без рассмотрения».

Когда наступит время для подробной биографии Боборыкина, конечно, придется коснуться и его фельетонов, в которых он высказывался уже лично от себя. В них

[1] «Дамское счастье» и «Разгром».

найдется много ценных замечаний и глубоких соображений по вопросам научным и философским, причем он высказывался со смелою прямотою. Достаточно в этом отношении указать хотя бы на его фельетон *«Новая группа людей»,* помещенный когда-то в «Новостях», в котором он, вооруженный большими знаниями по психопатологии, указывал на вредные последствия выдвигавшегося в то время псевдонаучного понятия о психопатии, как основании для невменяемости, и пагубное влияние слушания таких дел при открытых дверях суда на нервных юношей и истерически настроенных обычных посетительниц судебных заседаний. Эти его мысли совпали впоследствии со взглядом законодательства на необходимость предоставить суду право и возможность закрыть доступ в публичные заседания праздному и болезненно восприимчивому любопытству.

Боборыкину часто приходилось прибегать к приемам так называемого натурализма, но и тут он не может заслужить упрек в переступлении границы между правдивым реализмом и порнографией. Сходя в могилу и оглядываясь на богатое литературное наследие, оставленное им, он не мог бы в этом отношении упрекнуть себя ни за одну страницу. Он часто изображал страсти в их последовательном развитии, но у него нельзя найти столь излюбленного у нас в последнее время изображения пороков.

Да будет легка земля этому доброму человеку, ревностно послужившему своей родине во всю меру своих сил и способностей.

ПЕТЕРБУРГ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА

Не один Петербург настоящих дней — пустынный, безжизненный и «оброшенный»,— но и тот огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким он был перед злополучной войной до 1915 года, во многом отличается от Петербурга с начала пятидесятых до половины шестидесятых годов, не только своим внешним видом, обычаями и условиями жизни, но даже и названием. Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из Голландии, напоминающее «вечного работника на троне», заменено, под влиянием какого-то патриотического каприза, ничего не говорящим названием Петрограда, общего с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными. Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти старожила в своем прежнем оригинальном виде, и хочется, «перебирая четки воспоминаний», пройти по нему с посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого, воспоминаниями.

Перед нами Знаменская площадь и вокзал Петербургско-Московской железной дороги, за постепенной постройкой которого в конце сороковых годов с жадным вниманием и сочувствием следил Белинский, живший на берегу Лиговки близ Невского, в небольшом деревянном доме, выходившем окнами на строящееся здание. Проведение нынешней Николаевской железной дороги в начале пятидесятых годов составляло событие государственной важности. Первоначально ее предполагалось вести через Новгород, но Николай I провел прямую линию между Петербургом и Москвой и приказал строить дорогу, руководствуясь ею, не стесняясь никакими препятствиями. Оставшийся в стороне от большого движения Новгород захирел и стал в сущности лишь памятником старины в своих церквах, монастырях и урочищах, к которому недаром Добролюбов обратился со словами: «Все гласит в тебе о прошлом, вольной жизни край!— даже мост твой с надписаньем: «Строил Николай».

Быть может, на решение Николая I подействовали и тяжелые воспоминания о Грузине (усадьба Аракчеева) и о бунте военных поселян. С открытием дороги, построй-

ку которой охарактеризовал в своих скорбных стихах Некрасов, забыто и запустело старое шоссе между Петербургом и Москвой, по которому прежде было большое почтовое движение и на котором была станция, прославившаяся в нашем кулинарном деле пожарскими котлетами. Николаевская дорога была по времени сооружения второю в России. Первою построена Царскосельская железная дорога, как кажется, третья, по времени, в Европе. Первая была между Нюрнбергом и Фюртом; вторая— между Парижем и Версалем, и на ней произошло первое тяжелое железнодорожное несчастие от свалившегося под насыпь и объятого пламенем поезда.

У нас публика относилась с недоверием и страхом к новому средству сообщения. Бывали случаи, что остановленные у переездов через рельсы крестьяне крестили приближавшийся локомотив, считая его движимым нечистой силой. Для обращения этих страхов в более веселое настроение первые месяцы впереди локомотива устраивался заводной органчик, который играл какой-нибудь популярный мотив. Вагоны третьего класса на Царскосельской дороге, до начала шестидесятых годов, были открытые с боков, что представляло некоторую опасность для глаз пассажиров от летящих из трубы искр. Управляющий движением этой дороги отличался большой оригинальностью,— говорили, что на его визитных карточках было напечатано: Directeur du chemin de fer de Pétersbourg à Tzarskoye Selo et retour» [1].

Посредине железнодорожного пути между Петербургом и Москвой находилась станция Бологое. Здесь сходились поезда, идущие с противоположных концов, и она давала, благодаря загадочным надписям на дверях «Петербургский поезд» и «Московский поезд», повод к разным недоразумениям комического характера. Движение было сравнительно медленное: почтовый поезд шел тридцать часов, причем всех интересовал и тревожил переезд по Веребьинскому мосту, перекинутому через Волхов на очень большой высоте и покоившемуся на сложных деревянных устоях. Вагоны не имели отдельных купе и женских отделений. Места первого класса состояли из длинных кресел, раскидывавшихся на ночь для сна пассажиров. Билеты представляли длинный лоскут бумаги с на-

---

[1] Директор железной дороги Петербург — Царское Село и обратно (*фр.*).

именованием станций. Кондуктора носили военную форму и особые каски. Перед отправлением поезда звонили три раза, затем наступало томительное молчание, раздавался зычный голос обер-кондуктора «готово!», за ним следовал свисток, поезд дергался для испытания трудоспособности локомотива и двигался наконец в путь.

С таким поездом приезжает впервые в Петербург ожидаемый мною посетитель, сгорающий нетерпением познакомиться с «Северной Пальмирой» в ее подробностях и особенностях, и мы начинаем наше странствование по городу.

Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней Лиговской улицы. На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка — небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка — будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Они оба ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться из ближайших окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей.

Направо от станции начинается Старый Невский. Поезд пришел рано утром, и нам дорогу пересекает не совсем обычная процессия, окруженная солдатами в коротких мундирах с фалдочками сзади, в белых полотняных брюках (дело происходит летом), с двумя перекрещивающимися на груди кожаными перевязями, к которым прикреплены патронная сумка и неуклюжий тесак,— с тяжелыми киверами «прусского образца». Среди них движет-

ся колесница, к утвержденному на которой столбу привязан человек в арестантском платье. На груди у него доска с названием преступления, за которое он судился. Сзади едут официальные провожатые — священник, нередко врач и секретарь суда, решившего судьбу этого несчастливца. Под звуки барабанной дроби мы идем в некотором отдалении за этим поездом и вступаем на Старый Невский. Он обстроен окруженными заборами невысокими деревянными домами с большими и частыми перерывами. Никакой из ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет. Есть лишь безымянные переулки, выходящие в пустырь, в глубине которого виднеются красивые здания казацких казарм. По левой стороне улицы мы подходим к обширной площади, называемой Конной от производящегося на ней в определенные дни конского торга и служащей для исполнения публичной казни, производимой всенародно. Процессия останавливается, солдаты окружают эшафот кольцом, и на него входит чиновник, читающий приговор. Если осужденный «привилегированного сословия», палач ломает над его головой шпагу, если же он «не изъят по закону от наказаний телесных», то над ним совершается казнь плетьми. Палач, вооруженный плетью, становится в нескольких шагах от обнаженного по пояс и привязанного в соответствующем положении осужденного и, крикнув: «Поддержись, ожгу!» — начинает наносить удары, определенные в приговоре, после чего истерзанного везут в тюремный лазарет, а по выздоровлении заковывают в ручные и ножные кандалы, выжигают на лице его клеймо и ссылают в Сибирь. Мы проходим быстро мимо этого отталкивающего и развращающего зрелища, уничтоженного лишь в 1863 году, вместе с варварским наказанием шпицрутенами. Последнее описано у Ровинского в его исследованиях о старом суде и изображено в потрясающей картине у Л. Н. Толстого, в его рассказе «После бала».

Идем далее по направлению к Александро-Невской лавре. Навстречу нам мчится запряженная четверкою, с форейтором и двумя лакеями в треугольных шляпах на запятках, карета. Сквозь стекла ее дверец виднеется белый клобук с бриллиантовым крестом. Это митрополит, отправляющийся на утреннее заседание Синода. Подходя к монастырю, мы видим редкие каменные здания и между ними здание духовной консистории, где чинится расставшимися с соблазнами мира монахами своеобразное

правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи «достоверных лжесвидетелей», и проявляется начальственное усмотрение под руководством опытной канцелярии по отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма популярное в его среде якобы латинское изречение: «Consistorium protopoporum, diaconorum, diatchcorum, ponomarorum — que obdiratio et oblupatio est» [1].

Возвращаясь назад, мы встречаем богатые похороны. На черных попонах лошадей нашиты, на белых кругах, нарисованные гербы усопшего. На «штангах», поддерживающих балдахин, стоят в черных ливреях и цилиндрах на голове «официанты», как это значилось в счетах гробовщиков. Вокруг колесницы и перед нею идут факельщики в черных шинелях военного покроя и круглых черных шляпах с огромными полями, наклоненными вниз. В руках у них смоляные факелы, горящие, тлеющие и дымящие. Так как за всей процессией не ведут верховую лошадь в длинной черной попоне, то, очевидно, хоронят не «кавалериста», а штатского. Процессия имеет печальный характер, более соответствующий значению ее, чем современные,— декоративные, с электрическими лампочками и грязноватыми белыми фраками на людях, несущих вместо факелов фонари. Гроб — всегда деревянный, обшитый бархатом или глазетом с позументами. Металлических гробов тогда не было.

Вступая на Невский, перейдя Лиговку, мы встречаем довольно широкие тротуары, в две плиты, постепенно затем расширенные до их настоящего вида. У тротуаров, в двух саженях одна от другой, поставлены невысокие чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем некоторый ущерб платьям проходящих и задевающих за них франтих. В дни иллюминаций на них и около них ставятся зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На Невском, Морской и некоторых из главных улиц стоят на солидных чугунных столбах газовые фонари. Все остальные местности в городе освещаются масляными фонарями на четырехугольных столбах, выкрашенных подобно будкам. Такой фонарь имеет четыре горелки перед металлическими щитками, но свет дает лишь на очень близком расстоянии вокруг себя. В узкой Галерной улице такие фонари висят довольно высоко на

---

[1] «Консисторские протопопы, дьяконы, дьячки, пономари — обдиратели и облупатели» (шутливая имитация латинской фразы).

веревках, протянутых от домов с обеих сторон улицы. По улице в разных направлениях движутся со скоростью, всегда удивлявшею иностранцев, дрожки, коляски и кареты самых разнообразных фасонов. Кареты — часто четырехместные — на сложных рессорах, с высокими козлами и откидной ступенькой у дверец. Площадка сзади кузова обыкновенно утыкана гвоздями, обращенными острием кверху, или она заменяется обручем с остроконечными зубцами. Это делается для того, чтобы уличные ребятишки не устраивались сзади кареты, что подало повод в свое время Некрасову сказать: «Не сочувствуй ты горю людей, не читай ты гуманных книжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб, вскочив, накололся ребенок...»

Кареты знатных лиц запряжены обыкновенно четверкой цугом, с форейтором на передней паре, кричащим обычное в то время: «Пади!» или «Эй, берегись!» На кучере цветная четырехугольная шапка, обшитая по краям шнурком с завитками. У кучеров царской фамилии она голубая. На ко́злах карет высоких военных лиц, рядом с кучером, помещается лакей в шишаке[1], в синевато-серой шинели, капюшон которой обшит двумя широкими красными полосами, а если это экипаж иностранного посланника, то рядом с кучером в кафтане, обшитом по борту позументом, сидит егерь в охотничьем наряде, нередко с полусаблей на черной лакированной перевязи. Другой вид экипажей составляют пролетки, с довольно узким сиденьем, заставляющим едущих вдвоем держаться друг за друга. Пролетка — на стоячих рессорах и с низенькой спинкой, не дающей возможности к ней прислониться. У богатых и деловых людей пролетка более удобна. Иногда она имеет очень узкое сиденье, исключительно для одного человека, и называется «эгоисткой». В «собственные» пролетки нередко запряжены две лошади: в корню и на пристяжке. Передняя низко наклоняет голову к земле и, извиваясь, обыкновенно забрасывает седока пылью и комьями грязи.

В свободное от постов время встречаются кареты, сквозь окна которых виднеются перины, одеяла и подушки. У кучера на правой руке сделана перевязь из полотен-

---

[1] Этот шишак состоял из обыкновенной военной каски, наверху острия которой было у бомбы срезано пламя. Такие же шишаки присвоены были в начале шестидесятых годов городовым (*прим. автора*).

ца, а иногда из лент, которыми украшаются и гривы лошадей. Это торжественно везут какое-нибудь купеческое приданое к предстоящей свадьбе.

Наряду с дрожками существует «калибер», или «гитара», своеобразно устроенная машина для передвижения, на продолговатом сиденье которой нужно помещаться, если ехать вдвоем, боком друг к другу и обращенными лицами в противоположные стороны, а если ехать одному, то для бо́льшей устойчивости нужно сидеть верхом. Этот род передвижения особенно дешев в пятидесятых годах; от Знаменской площади до Адмиралтейства или до Сенной площади можно доехать за десять копеек. На спине извозчиков висит на ремешке белый жестяной билет с номером.

На Невском нет ни трамваев, ни конно-железной дороги, а двигаются грузные, пузатые кареты, огромного размера, со входною дверцей сзади, у которой стоит, а иногда и сидит, кондуктор; это омнибусы, содержимые много лет купцом Синебрюховым и курсирующие преимущественно между городом и его ближайшими окрестностями — селом Александровским, на Шлиссельбургском тракте, Полюстровом возле Охты и т. п. Неуклюжие и громоздкие, запряженные чахлыми лошадьми, они вмещают в себе до двадцати пассажиров и движутся медленно, часто останавливаясь для приема и выпуска таковых.

В первой половине шестидесятых годов появляются на улицах изящные одноконные каретки «товарищества общественных экипажей». Для них установлена такса. На козлах сидит, в сером цилиндре и гороховом пальто, бритый кучер с длинным бичом в руках; лошади в шорах и английской упряжи. В населении быстро установилось, ввиду сходства бича с удочкой, популярное название и кучера и экипажа «рыболовом». Разные злоупотребления со стороны публики и самих рыболовов прекратили, за разорением товарищества, этот кратковременный способ передвижения.

Между проходящими часто можно встретить бравого молодца, идущего быстрой походкой, одетого в форменный короткий сюртук военного образца, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо. Это почтальон, которому популярный в сороковых годах, ныне забытый, поэт Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так:

«Скачет, форменно одет, вестник радостей и бед; сумка черная на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть мала — много в ней добра и зла: часто рядом там лежит и банкротство и кредит...» и т. д.

Среди идущих много военных: солдаты в длинных серых шинелях, надетых в рукава, офицеры в шинелях светло-серого сукна с пелеринами внакидку. У высших чинов высокие треугольные шляпы с пучком черных или пестрых петушиных перьев наверху. К половине пятидесятых годов эти шляпы заменяются касками, а затем — кéпи, шинели заменяются пальто, а генералам присвоены ярко-красные брюки с золотым лампасом.

На улицах много разносчиков с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, сбитнем, мочеными грушами, яблоками. Пред Гостиным двором и на углах мостов стоят продавцы калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печенки. У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани с рыбой и кадки с мороженым. Они невозбранно оглашают улицу и дворы, в которые заходят, восхвалением или названием своего товара: «По грушу — по варену!», «Штокфиш!» и т. д. Торговцам фруктами посвящен был в те годы популярный романс: «Напрасно, разносчик, ты в окна глядишь, под бременем тягостной ноши; напрасно ты голосом громким кричишь: «Пельцыны, лимоны, хорóши!» Эти пельцыны и лимоны привозились тогда на кораблях и были гораздо бóльшей редкостью, чем в последнее время.

К разносчикам присоединяются торговцы платьем и татары, и дворы больших домов оглашаются громкими предложениями: «Старого платья продать!» и «Халат, халат, халат!»

До шестидесятых годов прохожие не курят — это строго воспрещается.

Переходя через Знаменскую площадь, мы оставляем направо ряд параллельных улиц, застроенных деревянными домами, напоминающими далекую провинцию. Некоторые из них со ставнями на окнах, задернутых днем густыми занавесками, имеют незавидную репутацию, на которую завлекательно указывают большие лампы с зеркальными рефлекторами в глубине всегда открытого крыльца. Эти улицы, в которых обычно поселялись разного рода ворожеи и гадалки, пересекаются одной, сравнительно широкой, с большим пустырем и ведущей к

Смольному монастырю,— Слоновой, названной так потому, что на ней когда-то помещался особый двор для слонов, неоднократно даримых русским императрицам персидским шахом. Ныне это Суворовский проспект.

Невский вплоть до Аничкова моста вымощен булыжником. Мы встретим торцовую мостовую, лишь перейдя последний. Вступая на Невский, мы оставляем влево, на берегу Лиговки, деревянный одноэтажный с садиком дом Галченкова, в котором, «упорствуя, волнуясь и спеша», работал и умер Виссарион Григорьевич Белинский. В этом доме происходил у него живой обмен мыслями с небольшим кругом людей, умевших понять и оценить великого критика. Здесь писались глубокие и возвышенные страницы его отзывов о различных явлениях литературной жизни. Сюда незадолго до его смерти пришло приглашение явиться «для беседы» с хозяином его в знаменитое Третье отделение. Здесь Тургеневу пришлось выслушать рисующий Белинского упрек, обращенный им к жене, напоминавшей, что стынет поданный обед: «Как можно думать об этом, когда мы еще не кончили спора о бытии бога». Отсюда прах Белинского в 1848 году отвезли на далекое Волково кладбище, а его имени нельзя было упоминать в печати. Могила долгое время была оставлена без ухода, и даже «память благодарная друзей дороги к ней не проторила...» (Некрасов).

Дома на Невском в значительной степени имеют однообразный бесцветный характер, постепенно по направлению к Аничкову мосту увеличиваясь в объеме и высоте. С правой стороны — ряд домов, в которых помещаются экипажные заведения, с выставкою за стеклами широких окон обширных помещений карет, колясок и дрожек. Чередуясь с ними, идут в нижних этажах глубокие темноватые помещения, в которых часто находятся театры марионеток, случайные выставки и кабинеты восковых фигур, очень популярные в то время.

Нынешняя Надеждинская улица не так длинна, как теперь: на линии теперешней Жуковской, тогда Малой Итальянской, существует сплошная стена разных построек.

Пройдя мимо нее, мы встречаем двухэтажный дом Меняева, разделенный на два флигеля, среди которых открывается обширный двор, с деревянным красивым домиком посредине. На балконе одного из каменных флигелей, выходящем на Невский, сидит в халате, с длинной

трубкой в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами обрюзглого лица. Это популярный Фаддей Венедиктович Булгарин, издатель и редактор «Северной пчелы» — единственной в то время газеты, кроме «Русского инвалида» и «Полицейских ведомостей»,— печатный поноситель и тайный доноситель на живые литературные силы, пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов и начальника Третьего отделения. Газета его, благодаря исключительному положению, пользуется распространением, помещая иногда, в легковесных фельетонах бойкого редактора, рекомендации различных угодных ему магазинов и предприятий. Для характеристики «Видока Фиглярина», как назвал его Пушкин, намекая на известного французского сыщика Видока, достаточно припомнить стихи того же поэта: «Двойной присягою играя, поляк в двойную цель попал: он Польшу спас от негодяя и русских братством запятнал».

На углу Невского и Литейной, в угловом доме, помещается известный и много посещаемый трактир-ресторан «Палкин», где в буфетной комнате, с нижним ярусом оконных стекол, в прозрачных красках изображающих сцены из «Собора Парижской богоматери» Гюго, любят собираться одинокие писатели, к беседе которых прислушиваются любознательные посетители Палкина. Здесь бывали нередко поэт Мей и писатель Строев и, с начала шестидесятых годов, заседает Н. Ф. Щербина, остроумная и подчас ядовитая беседа которого составляет один из привлекательных соблазнов этого заведения.

Почти рядом — дом графа Протасова, в лице которого звание гусарского полковника оригинальным образом оказалось соединенным с должностью обер-прокурора Святейшего синода. В конце этой стороны Невского высится большой и многолюдный дом купца Лыткина, в котором обитают многие из артистов Александровской сцены.

В нем произошла в половине пятидесятых годов одна из житейских драм, произведшая сильное впечатление. На верх парадной лестницы, с широким пролетом, ведшей в четвертый этаж, забралась старая, седая женщина, почему-то позвонила у ближайших дверей и, бросившись вниз, разбила выступавший на толстой чугунной трубе газовый фонарь, погнула самую трубу и убилась до смерти, плавая в луже крови, которая всосалась в пол из песчаника и оставила трудно смываемое пятно. Оказа-

лось, что несчастная жила в отдаленном углу Петербурга с нежно любимой воспитанницей, молодой девушкой. Со всем жаром последней и запоздалой страсти она влюбилась в посещавшего их почтового чиновника. Он сделал предложение воспитаннице, и старуха, скрывая свои чувства, хлопотала о приданом для нее, о приготовлениях к свадьбе и присутствовала на бракосочетании, но на другой день ушла из своей опустевшей квартиры, бродила по Петербургу и, так как реки и каналы были покрыты льдом, облюбовала широкий пролет в доме Лыткина, чтобы покончить со своей невыносимой тоской. Пятно внизу пролета, которого нельзя было миновать проходящим жильцам, производило тягостное впечатление, и самоубийство постепенно создало ряд фантастических рассказов в то бедное общественными интересами время. В доме стали рассказывать, что старуха появляется по ночам на лестнице и раскрывает свои безжизненные объятия поздно возвращающимся домой, и один из жильцов, человек суеверный и нередко нетрезвый, под влиянием этих рассказов даже выехал из дома.

Левая сторона Невского проспекта представляет необычный для настоящего времени вид. Там, где теперь начинается Пушкинская улица, названная первоначально Новой, тянется длинный забор, а за ним огороды. Новая улица создалась лишь в половине семидесятых годов. Узкая, с маленькой площадкой, на которой позже поставлен ничтожный памятник Пушкину, обставленная громадными домами, она с самого своего открытия привлекла многолюдное население, среди которого были настолько частые случаи самоубийства, что пришлось ввиду того, что в то время о каждом самоубийстве производилось следствие со вскрытием трупа, командировать к местному судебному следователю нескольких помощников. Быть может, скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой улицы оказались не без влияния на омраченную и исстрадавшуюся душу тех, кто находил, что «mori licet, qui vivere non placet» [1].

Первая улица налево — Николаевская (по-новому улица Марата) называлась прежде Грязною и была немощеная до своего переименования после смерти Николая I. С нее был ход на Ямскую, называвшуюся так от близлежавшей Ямской слободы на Лиговке, где были об-

[1] Лучше умереть тому, кому не хочется жить (*лат.*).

ширные извозчичьи дворы и стойла для почтовых лошадей. Эта слобода во второй половине пятидесятых годов выгорела, причем в ужасном пожаре, продолжавшемся несколько дней, сгорело много лошадей, упиравшихся от страху, когда их пытались вывести из горящих зданий. Ямская улица была впоследствии переименована в улицу Достоевского, ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной обстановке, граничившей с бедностью, жил и умер Достоевский.

От 29 до 31 января 1881 г. эта лестница была запружена лицами всех возрастов и общественных положений, стремившихся ко гробу, в котором, с лицом исхудалым и проникнутым глубоким выражением, похожим на радость, почивал великий писатель и столь же великий страдалец.

У Аничкова моста с левой стороны и в то время уже высился монументальный дом князей Белосельских-Белозерских, впоследствии дворец великого князя Сергея Александровича. Дойдя до этих мест, мы сворачиваем на Литейную, где узкий тротуар идет мимо редких, но красивых казенных каменных домов, перемежающихся с деревянными. На углу Бассейной и Литейной — двухэтажный дом издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского, опытного и деятельного литературного предпринимателя, у которого долго работал Белинский. В этом доме много лет жил Н. А. Некрасов, после ряда тяжких годов житейских испытаний, когда ему приходилось голодать и холодать, ходить зимой в соломенной шляпе, расписываться за неграмотных в Казенной палате и предлагать на Сенной свои услуги желающим написать прошение,— когда он с полным основанием мог сказать, что «праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда, и поэтом, баловнем свободы, другом лени — не был никогда». Этот труд, в связи с большим поэтическим даром, вдохновляемым «музой мести и печали», создал ему видное положение, и уже в шестидесятых годах у крыльца его квартиры стоял собственный экипаж издателя и редактора влиятельного «Современника», а в двери квартиры ходили такие люди, как Тургенев, Анненков и Добролюбов. У подъезда этой квартиры в 1877 году собралась огромная толпа поклонников поэта и во внушительном шествии проводила его многострадальный

прах на кладбище. В этом же доме жил, до переселения на юг России, знаменитый хирург и педагог Николай Иванович Пирогов — один из тех людей, которые составляют настоящую славу России. Вероятно, отсюда хотел он навсегда уехать за границу, после того как, вернувшись с Кавказа, где в течение девяти месяцев на полях сражения по целым дням производил свои изумительные операции и применял для обезболивания эфир, был самым грубым образом принят военным министром, князем Чернышёвым, и должен был выслушать, во враждебной ему конференции Медико-хирургической академии, строгий выговор за несоблюдение состоявшегося в его отсутствие приказа о каких-то выпушках или петличках на мундире.

Идя далее по направлению к Неве, мы встречаем на углу Кирочной одноэтажный, выкрашенный в темную краску, узкий, деревянный дом, в котором жил военный министр Александра I — Аракчеев. На этом месте теперь стоит громадный Дом армии и флота, в котором происходил в 1917 году процесс другого, зловещей памяти, военного министра — Сухомлинова. Далее, перед деревянным Литейным мостом через Неву, против Арсенала с выдвинутыми перед ним старинными пушками, стоит Старый арсенал, построенный при Екатерине II, довольно заброшенный и неприютный. В нем в 1866 году были открыты новые судебные установления, пришедшие на смену старых безгласных и продажных судов, служивших бездушной канцелярской волоките, называвшейся, вопреки истине, правосудием.

Литейный мост манит нас перейти на Выборгскую сторону, где тянутся здания Медико-хирургической академии, в одной из длинных и невзрачных одноэтажных деревянных построек которой помещается госпиталь для душевнобольных, в совершенно не соответствующей своему назначению обстановке, несмотря на которую там, с начала шестидесятых годов, читает, иногда сидя на кровати больного, увлекательные лекции сухощавый человек с проницательным взором дышащих умом глаз. Это отец русской психиатрии — Иван Михайлович Балинский.

От академии мы сворачиваем вправо, и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в «Обломове», приходим, миновав Новый арсенал, в пригородную мест-

ность, носящую название Полюстрово,— от близлежащего селения, в котором находятся железистые минеральные воды, ныне заброшенные, но в то время довольно усердно посещаемые. Полюстрово, около которого часто бродят группы цыган, отделяется от Невы обширным парком, с искусственными развалинами средневекового замка и с великолепным домом с башенками графа Кушелева-Безбородко. К этому дому в пятидесятых годах подъезжали и подплывали нередко многочисленные посетители, привлекаемые гостеприимством хозяина, сделавшегося первым издателем «Русского слова» и любившего играть роль мецената. У него, между прочим, бывал Александр Дюма-отец, во время посещения им Петербурга перед поездкой по России, послужившей поводом для ряда совершенно неправдоподобных выводов и рассказов в описании им своего путешествия. Свойственник домохозяина, один из довольно известных в пятидесятых годах поэтов, усиленно предававшийся «бесу пьянства», на одном из таких обедов, сильно нагрузившись уже за закуской, после настойчивых намеков о желании присутствующего светского общества услышать какой-нибудь экспромт, встал, пошатываясь, и, к ужасу хозяина, произнес: «Графы и графини! Счастье вам во всем, мне ж — в одном графине, и притом большом»,— и грузно опустился на свое место.

На противоположном берегу Невы, из-за лесных складов, с которых по ночам раздается перекличка сторожей «слу-ша-а-а-ай», виднеется Таврический дворец — местопребывание не находящихся на действительной службе престарелых фрейлин. Там живут, между прочим, две старушки С., про высокомерие старшей из которых злые языки рассказывают, что, верная своей привычке, она, даже представ пред вечным судиею, наведет на него лорнер и скажет по-французски: «Очень рада вас видеть. Я много раз слышала о вас в доме Татьяны Борисовны Потемкиной (известной своим богомольством аристократки). Представьте мне ваших архангелов».

Обширный парк при дворце, недоступный для публики, окружен глубоким рвом и обнесен деревянным, заостренным наверху частоколом. Эта местность считается почти загородной. От нее идут: Сергиевская, Фурштадтская и Кирочная улицы, и отсюда же, с пустой площади, на которой впоследствии был выстроен манеж Саперного батальона, обращенный затем в церковь Косьмы

и Дамиана, начинается Знаменская улица. Здесь на углу, невдалеке от пустынного тогда Преображенского плаца, жил долгое время поэт Алексей Николаевич Апухтин, несправедливо определяемый критикой как светский писатель, несмотря на его глубокие по содержанию и превосходные по стиху «Реквием», «Сумасшедший», «Недостроенный памятник», «Год в монастыре» и «Из бумаг прокурора». Одержимый болезненной тучностью и страдая от какой-то непережитой за всю жизнь сердечной драмы, Апухтин в сущности был весь, и в жизни, и в произведениях, проникнут печальным настроением, сквозь которое иногда пробивались остроумные выходки. Он сам посмеивался над собой, находя печальным положение человека, для которого жизнь прожить легче, чем поле перейти, и рассказывая об удивленном вопросе маленькой девочки, показывающей на него пальцем и спрашивающей: «Мама, это человек или нарочно?» Знаменскую пересекают: Бассейная и Озерный переулок, носящие свои названия от обширного бассейна, находящегося на границе Песков, впоследствии засыпанного с разведением на его месте сада. В Озерном переулке существует до сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным забором, деревянный дом с мезонином. Это местопребывание в двадцатых годах Кондратия Селиванова, основателя и главы скопческой ереси. В этом доме до конца семидесятых годов, а может быть и позже, был так называемый «скопческий корабль», происходили радения и, вероятно, производились безумные членовредительства, основанные на ложном понимании слов Христа. Здесь, по легенде, бывал и Александр I, сначала благосклонно относившийся к Селиванову, место погребения которого в Шлиссельбурге сделалось потом предметом благочестивых паломничеств сектантов, называвших себя белыми голубями».

Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в восемнадцатом столетии называлась Хамовой. В конце нее, в доме № 3, поселился в пятидесятых годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва», идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу «Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица

и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность душа, а в глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк, он обитает тридцать лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о фрегате «Паллада». В ней бывают редкие посетители, но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью.

Симеоновский мост через Фонтанку приводит нас на Караванную, где много лет, на месте разрушенного впоследствии памятника великому князю Николаю Николаевичу, стоит круглое обширное деревянное здание «панорамы Палермо», уступившее затем, в начале шестидесятых годов, свое место цирку.

Караванная выводит нас к Аничкову дворцу и к Фонтанке. Мы останавливаемся на мосту, и тогда уже украшенном четырьмя бронзовыми фигурами лошадей, отлитыми по проекту барона Клодта. За мостом начинается самая красивая часть Невского. Но, не переходя мост, хочется остановиться на мимолетнем знакомстве с Фонтанкой. На Фонтанке ряд мостов, впоследствии переделанных. Бо̀льшая часть из них одного типа, который ныне сохранен лишь в несколько расширенном против прежнего Чернышёвом мосту и на Екатерининском канале против бывшего Государственного банка. На обоих концах речки мосты своеобразной архитектуры, висящие на цепях. Один, у Летнего сада, и название носит «Цепного». Около него, на левом берегу Фонтанки, помещается знаменитое Третье отделение, центр наблюдений и действий тайной полиции. Когда это отделение было впервые организовано и поставлено под высшее начальство шефа жандармов, то, как говорит предание, первый шеф — граф Бенкендорф — просил Николая I инструкции относительно действий вверенного ему управления и в ответ получил носовой платок со словами: «Вот тебе моя инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше». Однако вскоре деятельность Третьего отделения, присвоившего себе вмешательство во внутреннюю жизнь обывателя и «обуздание печати», от утирания слез направилась к

возбуждению их пролития, так что недаром поэт (кажется, Огарев), намекая на слухи о некоторых чувствительных способах назидания в этой деятельности, восклицал: «Будешь помнить здание у Цепного моста!»

На другом конце Фонтанки помещается так называемый Египетский мост, тоже висячий и очень красивый, во вкусе египетских сооружений. Он провалился под тяжестью проходившего отряда кавалерии в начале девятисотых годов и не возобновлен в прежнем виде.

Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая теперешнюю гнилую и вонючую бурду. Устроенные на ней купальни перемежаются с многочисленными на ней рыбными садками. Зимой по покрывающему ее льду устраивается непрерывный санный путь. В остальное время по ней вдоль и поперек совершается плавание на яликах своеобразной конструкции, с нарисованными по бокам носа дельфинами. Воду из Фонтанки пьют «ничтоже сумняся» окрестные обыватели, причем водовозы (водопроводов до начала шестидесятых годов еще нет) доставляют ее в зеленых бочках, в отличие от белых, в которых развозят воду из Невы. Недаром сатирический поэт в «Колоколе» жалуется Зевсу: «Громовержец, я ли без усердья пью из Фонтанки воду, чтобы петь потом серую природу...»

Фонтанка впадает в Финский залив, выделяя из себя рукав Черной речки. В этой местности находится Екатерингоф, ныне совершенно заброшенный, но в то время представлявший совершенно благоустроенный обширный парк, окружавший старинные петровские постройки. Первого мая там происходило традиционное гулянье, на которое приезжала царская фамилия и стекались в лодках и экипажах массы гуляющих, чрезвычайно оживляя своим движением воды и берега Фонтанки.

От Измайловского моста на Фонтанке начинается Измайловский проспект, пересекаемый улицами, носящими название рот Измайловского полка, с большими пустырями и жалкими домишками. На проспекте против собора еще не существует бездарного подражания не менее бездарной колонне «Победы» в Берлине, а в конце, до начала шестидесятых годов, еще нет вокзала Варшавской железной дороги.

За Египетским мостом начинается нынешний Ново-Петергофский проспект с Кавалерийским училищем, носившим название Школы гвардейских подпрапорщиков

и кавалерийских юнкеров. В этом училище, когда оно помещалось еще на месте нынешнего Мариинского дворца, учился Михаил Юрьевич Лермонтов, и, благодаря основанному впоследствии музею его имени, о нем сохранилась живая и осязательная память. Уже здесь в великом поэте крепла и окончательно создалась та «таинственная повесть» его жизни, которая определила его поэтический пессимизм и мизантропию, за что он с такой сильной горечью упрекал бога в своем «Благодарю...»

На правом берегу Фонтанки, начиная от Невы,—Летний сад, перед которым, на Царицыном лугу, весною обыкновенно происходил блестящий «майский» парад для всех гвардейских войск столицы и ее окрестностей, оканчивавшийся прохождением перед царской ставкой рысью конвоя, состоявшего из уроженцев Кавказа, в их красных костюмах, с острыми меховыми шапками и откидными синими рукавами над желтыми кафтанами у лезгин, кольчугами и круглыми шлемами у чеченцев и т. п. Вид стройно движущейся пехоты и проходящая разными аллюрами конница, «сиянье шапок этих медных», «лоскутья сих знамен победных» вызывает в зрителях сильное и горделивое впечатление. Кто мог предвидеть пророческие слова Владимира Соловьева, сказанные за десять лет до злополучной японской войны, что «желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен».

В саду же стоит памятник Крылову, и вокруг него всегда резвятся дети. На них, однако, довольно пессимистически глядел поэт Шумахер, посвятивший памятнику следующие стихи: «Лукавый дедушка с гранитной высоты глядит, как ре́звятся вокруг него ребята, и думает себе: «О, милые зверята, какие, выросши, вы будете скоты!» Монументальная решетка сада, составлявшая, по рассказам, предмет удивления иностранцев, еще не испорчена безвкусной, совсем в другом стиле, часовней с горделивой надписью: «Не прикасайся к помазаннику моему», так жестоко опровергнутой дальнейшими событиями, подобно находящейся над фронтоном дворца императора Павла I надписи: «Дому твоему подобает святыня господня в долготу дней».

В духов день Летний сад представлял своеобразное зрелище. Согласно укоренившемуся обычаю представители среднего торгового сословия приходили сюда всей семьей с нарядно одетыми взрослыми дочерьми и гуляли по средней аллее, а на боковых дорожках прогуливались

молодые франты, жаждавшие «цепей Гименея» и нередко сопряженного с этим денежного приданого. Они приглядывались к проходившим барышням, а сновавшие между ними юркие женщины, в косынках на голове и пестрых шалях сообщали интересующимся надлежащие сведения и предлагали свои услуги для знакомства с возможными брачными последствиями. Это были свахи. Кажется, этот обычай прекратился после громадного петербургского пожара в 1862 году. По этому же берегу, за Летним садом, следовал Михайловский замок, обнесенный со всех сторон рвом с подъемными мостами, впоследствии засыпанным.

У Аничкова моста пред дворцом идет, выходя на Невский, открытая галерея с колоннами, впоследствии обращенная в жилые помещения. Она служила излюбленным местом для прогулок няней с детьми в дурную погоду.

За Чернышёвым мостом начинался Апраксин рынок, состоявший главным образом из деревянных рядов со всевозможными видами торговли, примыкавший к выходившему на Садовую длинному казенному зданию, вмещавшему в себе ряд лавок, отличавшихся от магазинов Гостиного двора бóльшей дешевизной цен и развязностью приказчиков, настойчиво зазывавших к себе покупателей восклицаниями: «Пожалуйте к нам! У нас покупали», «Товар самый английский» и т. п.

Вспыхнувший в 1862 году громадный пожар, захвативший и противоположный берег Фонтанки, истребил Апраксин рынок как раз в духов день, когда хозяева многих торговых помещений гуляли со своими расфранченными дочками.

Возвращаемся назад, к галерее у Аничкова дворца. Пройдя ее и миновав один придворный дом, попадаем в узкий и пустынный Толмазов переулок. Он пересекает Александринскую площадь и выходит на Большую Садовую, в которой сосредоточивается главная торговля Петербурга, не имеющая характера оптовой. Магазины и ряды, здания с лавками следуют одни за другими непрерывно, уступая место лишь Государственному банку и Пажескому корпусу. На середине пути по Садовой лежит обширная Сенная площадь с легкими навесами, бараками и ларями, не имеющими ничего общего с большим крытым рынком, возникшим здесь впоследствии. Это центральное место сбыта пищевых продуктов по сю сторону Невы. Перед рождеством и пасхой здесь, как вы-

ражается народ, стоит «неотолченая труба» покупателей, рядами и горами высится всякая снедь, среди которой перед рождеством преобладают в огромном количестве гуси и замороженные свиные туши, распиленные пополам. Их вид подал Н. И. Пирогову, часто проезжавшему мимо, мысль замораживать и распиливать также трупы, для показания расположения внутренних частей человеческого тела. Атлас рисунков с этих препаратов долгое время составлял драгоценное приобретение каждого медицинского учреждения, имевшего собственную библиотеку.

Когда мы подходим к концу Сенной площади, нам пересекает дорогу идущая со стороны Демидова переулка большая группа людей, одетых в серые куртки с бубновыми тузами на спине. Это ссыльнокаторжные из пересыльной тюрьмы, помещающейся в Демидовом переулке. Они идут, звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают калачи, булки и милостыню «несчастным». Они следуют на двор Петербургско-Московской дороги, где их рассадят по арестантским вагонам и отвезут в Московский пересыльный замок. Там, если только он еще жив, их встретит сострадательное участие «святого доктора» Гааза, но затем они двинутся по лежащей через Владимир дороге в Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходьбы, покуда не достигнут Тобольска, где Особый приказ распределит их в места назначения, и для них потянется долгая жизнь страданий, принудительной работы и сожительства с чуждыми, озлобленными и нередко порочными в разных отношениях людьми. Передвижение по этапу, то есть от одной грязной, тесной и вонючей казармы для ночевки до другой, обозначалось в народе словом «идти по Владимирке», и лишь развитие железных дорог и пароходства, а впоследствии приспособление для пересылки арестантов судов добровольного флота изменило картину «Владимирки» и внесло некоторое улучшение в дело населения Сибири пересыльными. Однако это совершалось весьма медленно, и, еще в первое десятилетие девятисотых годов, благороднейший борец за свободу совести и веротерпимости, вовсе еще не старый член Государственной думы Ка-

раулов мог сказать отцу Вараксину, крикнувшему во время его речи — «Каторжник!»: «Да, почтенный отец, я шел, приговоренный за желание изменить существующий строй без употребления насильственных средств, звеня цепями и с бритой головой и кандалами на ногах по бесконечной «Владимирке» за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании. То, что я был каторжник, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез». Эти слова были приведены на его могильной плите, но, по требованию Святейшего синода, закрыты,— заделаны металлической доской.

На Большой Садовой, близ Кокушкина моста, помещалась в пятидесятых годах редакция «Библиотеки для чтения». После беспринципного, но талантливого Сенковского (Барона Брамбеуса) редакторство перешло к Алексею Феофилактовичу Писемскому. Грузный, неуклюжий, с растрепанными черными волосами и большими, навыкате умными глазами, с костромским выговором на «о», Писемский был, несомненно, одним из самых выдающихся русских писателей как по своей наблюдательности, так и по самобытному характеру своего творчества. Его «Тысяча душ» служила как бы продолжением «Мертвых душ» в более современной бытовой обстановке и представляла ряд мастерски очерченных характеров и общественных условий, почерпнутых из самой жизни без идеализации и преувеличения. Оригинальный во всей своей повадке и самостоятельный во взглядах, он пришелся не по вкусу тогдашней критике, на травлю которой ответил «Взбаламученным морем», в котором, по своим словам, изобразил если не всю современную ему Россию, то, во всяком случае, всю ее ложь.

Еще далее по Садовой, на углу Екатерингофского проспекта, против Юсупова сада, жил до самой своей смерти Аполлон Николаевич Майков. В его сухощавой фигуре и тонких чертах продолговатого лица было нечто, напоминающее изображения древних подвижников, которых он с такой любовью описывал в своих стихах. Глубокий знаток античного мира и властитель гармонии стиха, он оставил нам замечательную поэму из римской жизни во время первых проявлений христианства — «Смерть Люция», и горячо, хотя и ненадолго, приветствовал эпоху великих реформ. Он жил замкнуто, но умел

знакомить своих редких посетителей с лучшими произведениями современных писателей, превосходно их читая и искренно ими восхищаясь.

Пройдя через пересекающий Садовую Вознесенский проспект, мы выходим к Мариинскому дворцу и на Большую Морскую. Дворец еще принадлежит герцогине Лейхтенбергской, Марии Николаевне, дочери Николая I, и последний каждый день в определенные часы, медленной и величавой походкой ходит на свидание с любимой дочерью, давая разными своими встречами материал к рассказам полудостоверного свойства, которыми чрезвычайно любило услаждаться тогдашнее петербургское общество во всех своих слоях, за отсутствием других интересов. В этом человеке уживались узкость и односторонность государственных взглядов с остроумной находчивостью, формальное бездушие и смелая решимость, верность традициям с ненавистью к свободной мысли. Деятельность его в каждой из этих областей давала обильный материал для таких рассказов. Памятник, поставленный ему в конце пятидесятых годов на Мариинской площади, с великолепной лошадью работы Клодта, своими барельефами наглядно указывает на бесплодность его царствования, из которого художник Рамазанов не мог извлечь ничего, кроме сцены на Сенной площади во время холеры и издания «Свода законов», в котором в обилии заключались статьи, служившие явным отрицанием настоящего смысла аллегорических женских фигур Правосудия, Веры и т. д., утвержденных по бокам постамента. Рассказывали, что вскоре после открытия памятника какой-то «дерзновенный искусник» ухитрился прикрепить скачущему коню кусок картона с надписью: «Не догонишь!»,— очевидно, имея в виду скачущего по ту сторону Исаакиевского собора Петра Великого. Этот собор постоянно был окружен лесами и был освящен лишь в 1858 году, после чего леса снова стали возвышаться то у одной, то у другой из его сторон.

Направляясь по Морской к Поцелуеву мосту, мы встречаем, на месте нынешней реформатской церкви, длинное деревянное здание, в котором одно время помещался зверинец Зама, а затем, во второй половине пятидесятых годов, подвизалась в пении и плясках знаменитая Юлия Пастрана — красиво сложенная женщина, с приятным голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны, напоминавшей нечто среднее между гориллой и пави-

аном. Затем здесь же был открыт и долгое время существовал весьма богатый анатомический музей.

За Поцелуевым мостом на площади стояли два театра — Большой, огромное здание с прекрасной акустикой, которое было потом переделано в Консерваторию, с акустикой незавидной, и «Театр-цирк», о внутренней жизни которых мы поговорим далее.

А теперь переходим по только что отстроенному Благовещенскому, ныне Николаевскому, мосту, на котором еще нет часовни, на Васильевский остров. Вскоре после его открытия он послужил местом для одной сцены несколько театрального характера, которые любил и умел делать Николай I, чтобы влиять на воображение обывателей. Во время проезда его по набережной на мост въезжали одинокие дроги с крашеным желтым гробом и укрепленной на нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном госпитале и везомого на Смоленское кладбище. Узнав об этом от солдата-возничего, Николай вышел из экипажа и пошел провожать прах безвестного офицера, за которым вскоре, следуя примеру царя, пошла тысячная толпа.

Васильевский остров почти такой же, как и ныне. Там перемен мало, только вокруг стоявшего на пустынной площади памятника Румянцеву разведен сад. Тут же неподалеку, в Первой линии, три замечательных дома. В одном жил долгое время баснописец Иван Андреевич Крылов, в двух комнатах большой запущенной квартиры, среди весьма непоэтического беспорядка, в объятиях той лени и неподвижности, которые много лет мешали ему перевесить криво висевшую над его любимым местом и угрожавшую падением на голову картину. Рядом дом, где жил знаменитый историк Николай Иванович Костомаров, изобразитель в художественных образах нашей старой жизни и ее деятелей. Еще далее по Кадетской линии, отделенный от здания Первого кадетского корпуса, стоит двухэтажный каменный дом, дорогой по воспоминаниям для всех, кому близко гражданское развитие родины. Здесь, в конце пятидесятых годов, под председательством графа Ростовцева, заседали редакционные комиссии, выработавшие план и осуществление освобождения крестьян, то есть отмену того ига рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия. В здании Академии художеств происходили осенние

выставки картин. В пятидесятых и начале шестидесятых годов на них толпится публика, чтобы видеть знаменитую картину Иванова «Явление Христа народу» и «Княжну Тараканову» Флавицкого. В нижнем этаже здания, окнами на Неву и «сих громадных сфинксов», проживает вице-президент академии, престарелый граф Федор Петрович Толстой — автор глубоко талантливых и тонких гравюр, и между прочим «Душеньки» во вкусе Флаксмана. Двери его обиталища гостеприимно открыты для представителей науки и искусства, среди которых частым посетителем является желчный и даровитый поэт Н. Ф. Щербина. Недалеко от академии, не доходя до Шестой линии, на набережной дом с выдающимся балконом-фонарем, где живет очень популярный в Петербурге старый адмирал Петр Иванович Рикорд. Он устраивал Петропавловск-на-Камчатке и командовал затем эскадрой, предназначенной защищать Кронштадт против англо-французского флота в 1854 и 1855 годах, когда грозные по тому времени гранитные укрепления Кронштадта и подводные мины держали винтовые неприятельские корабли на почтительном расстоянии от наших деревянных трехдечных парусных кораблей. Рикорд, живший летом обыкновенно в Полюстрове, на своей даче, ворота которой состояли из двух громадных челюстей кита, вывезенных с Камчатки, был человек очень оригинальный. Его величавая наружность, густая серебряная седина, привычка постоянно вставлять в свою речь слова «выходит — вылазит» и интересные рассказы из прошлого невольно привлекали к себе особое внимание слушателей. Он любил вспоминать первые годы XIX века, когда ему пришлось служить под начальством первого морского министра маркиза де Траверсе, в память которого моряки долгое время называли ближайшую к Петербургу часть Финского залива «Маркизовой лужей». Вспоминая о последнем, Рикорд охотно рассказывал характерный случай из служебных нравов того времени. В Кронштадте умер моряк-вдовец, оставивший на попечение своего друга, тоже моряка, двух сирот. Пенсии тогда не существовало, и, истощив свои личные средства, моряк пришел на прием министра просить помощи сиротам, но получил отказ за неимением свободных средств. На следующий прием он пришел опять и выслушал резкое повторение того же. На следующий затем прием он явился снова. Выйдя из кабинета и увидев его в числе просителей,

вспыльчивый и раздражительный Траверсе пошел, минуя всех, прямо к нему и закричал: «Ты что же, смеяться надо мной приходишь, несмотря на то, что тебе два раза уже отказано?», и, когда моряк горячо повторил просьбу, Траверсе, потерявший самообладание, со словами: «Вот тебе ответ!» — дал ему пощечину и, как это бывает со вспыльчивыми людьми, сразу пришел в себя и остановился, пристыженный, на месте. Получив удар, моряк первое мгновение схватился было за свой кортик, но затем поднес руку к зардевшейся щеке и, бросив на Траверсе печальный взгляд, сказал, показывая на щеку: «Хорошо, ваше сиятельство, это мне, ну, а сиротам-то что же?» Траверсе заплакал, схватил его за руку, и... сироты получили пособие.

Пред Университетом были таможенные склады, окруженные узкой полосой чахлого сада с решеткой, на месте нынешнего Гинекологического института. Это так называемый Биржевой сквер, где весною, с приходом кораблей, разными иностранцами открывалась торговля раковинами, черепахами, золотыми рыбками, попугаями и обезьянами. Сюда в это время стекались покупщики и молодежь, для которой еще не существовало Зоологического сада. Тут иногда происходили забавные сцены и недоразумения. Рассказывают, что какой-то простолюдин из украинцев, любовавшийся серым попугаем и узнавший от продававшего итальянца, что таковой стоит 100 рублей, на другой день принес продавать большого петуха, и потребовал у желавшего купить тоже 100 рублей, отвечая на его удивление указанием на попугая. «Да ведь он может говорить,— сказал тот,— так за то и такая цена».— «А мой не говорит, но дюже думает»,— ответил украинец.

Нынешнего Биржевого моста не существовало, и на Петербургскую сторону, имевшую совершенно провинциальный вид, можно было переходить исключительно по Тучкову мосту. Большой проспект, с одной стороны, и запущенный Александровский парк, с другой — вели на Каменноостровский проспект, состоявший из редких построек, перемежавшихся с длинными заборами, за которыми были обширные огороды. Единственное большое каменное здание на этом берегу был Александровский лицей. Строгановский мост соединял Петербургскую сторону и Аптекарский остров с Каменным островом, на котором в июле каждого года, с половины пятидесятых

годов, в день семейного праздника царской фамилии давался блистательный фейерверк, причем пускалось сразу громадное количество ракет.

Возвращаемся к деревянному Дворцовому мосту, плавучему, как и все другие на Неве, за исключением Благовещенского, и переходим к Зимнему дворцу. Перед ним большая Дворцовая площадь и другая, менее обширная, примыкающая к набережной Невы. На ней еще не было сада и производились разводы, а во время Крымской войны смотр маршевым батальонам. При одном из таких смотров произошел, по словам Герцена, характерный по тому времени случай, долго служивший темой для разговоров. Проходя по фронту, Николай I заметил у одного из солдат на груди два Георгиевских креста. На вопрос его, когда и где они получены, георгиевский кавалер, из сданных в солдаты семинаристов, вспомнив уроки риторики, ответил: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай, недовольный такими цветами красноречия, нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал подскочил к солдату и, поднося сжатые кулаки к его лицу, прошипел: «В гроб заколочу Демосфена».

Направо от Дворцовой площади начинается скудный бульвар, отделяющий Адмиралтейство от длинной и обширной площади, где впоследствии возник нынешний сад. На этой площади, до разведения сада, строились на масленицу и пасху балаганы, карусели и зимою ледяные горы. Все это представляло чрезвычайно оживленный и оригинальный вид. Голоса сбитенщиков и торговцев разными сластями, звуки шарманок, громогласные нараспев шутки и прибаутки раешников (например: «А вот, изволите видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши здоровы, только безголо́вы») и хохот толпы в ответ на выходки «дедов» с высоты каруселей сливались в нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых балаганах, например Легата и Лемана, отличались большой роскошью обстановки. В некоторых из них ставились специально написанные патриотические пьесы с эволюциями и ружейной пальбой. В конце тридцатых годов, в одном из таких балаганов, двери которого по печальной непредусмотрительности отворялись внутрь, произошел пожар. Публика бросилась бежать, завалила собой все выходы и задохлась в дыму. Очевидцы не могли забыть страшной картины, представившейся им, ког-

да после работы пожарных одна из стен балагана была повергнута на землю.

Гуляющие «на балаганах», по тогдашнему выражению, с любопытством ожидали проезда институток. Их обвозили вокруг площади в придворных четырехместных каретах с лакеями в красных ливреях. Из окон выглядывали молодые лица с выражением бесплодного любопытства, а окружающая мужская молодежь громко расточала комплименты, сердившие хмурых классных дам.

Выходим на Невский, мало с тех пор изменившийся, и идем через Полицейский мост, слишком узкий и послуживший местом печальной катастрофы в конце пятидесятых годов, когда собравшаяся на иллюминацию, по случаю совершеннолетия наследника престола, толпа так стеснилась на мосту, что под напором вновь подходивших сломались перила моста, причем многие утонули в Мойке.

Перед Казанским собором площадь лишена растительности. Часовни перед Гостиным двором еще нет, а самый Гостиный двор представляет собой неуклюжее здание, лишенное нынешних орнаментов. При крайних входах в него расположены лотки торговцев ситниками, баранками и кренделями. В проходах по бокам средних ворот ютятся торговцы пирогами, нередко укоризненно отвечающие потребителю, выражающему неудовольствие на найденный в начинке обрывок тряпки: «А тебе за три копейки с бархатом, что ли?»

Перед Гостиным двором, между зданием и тротуаром на вербной неделе устраивается пестрый торг игрушками, сластями и предметами домашнего хозяйственного употребления. Любимым развлечением для детей служат длинные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянным же чертиком внутри, который опускается вниз при давлении на замыкающую трубку резинку. В конце 50-х годов впервые появляются резиновые красные шары, наполненные газом, стоящие первое время по 5 рублей штука и привлекающие общее любопытство, в особенности когда кто-нибудь по недосмотру упустит из рук подобный шар. Пред рождеством это же место наполняется праздничными елками с бумажными гирляндами и другими украшениями.

Против Гостиного двора — Пассаж, составляющий предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его

три этажа: в нижнем — магазины и помещения для небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и белошвейные, к которым применимы слова Некрасова из «Убогой и нарядной»: «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила». В третьем этаже помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж, служащий почему-то любимым местом прогулки для чинов конвоя в их живописных восточных костюмах. Концертная и театральная зала Пассажа во второй половине пятидесятых годов становится ареной очень интересных собраний и представлений: в ней происходят первые собрания акционеров возникающего общества водопроводов, причем собравшиеся производят такие беспорядки, что председатель, известный финансист Евгений Иванович Ламанский, закрывает собрание заявлением, что мы еще не созрели для публичности. Вслед за тем в Петербурге происходит диспут Костомарова с приехавшим из Москвы академиком Погодиным о происхождении Руси от варягов или от Литвы. Противники оживленно спорят, делая взаимные уступки, при живейшем внимании публики, и Погодин заключает собеседование, указывая на это внимание как на явный признак того, что мы созрели. Вслед за тем по Петербургу ходят шутливые стихи: «Мы созрели, мы созрели, веселись, счастливый росс: из Москвы патент на зрелость академик нам привез».

Вскоре затем в Пассаже начинается ряд литературных чтений, на которых выступают наши выдающиеся писатели. Достоевский с захватывающим искусством и чувством читает эпизоды из «Бедных людей», Писемский играет, ибо иначе нельзя назвать его чтение отдельных мест из «Тысячи душ». Бледнолицый и еще худощавый Апухтин декламирует свои стихи, и Майков постоянно выступает со своими «Полями», причем злые языки шутливо сообщают, будто при появлении на эстраде поэта публика, которой надоело одно и то же стихотворение, встречает автора возгласами из его же произведения: «А там поля, опять поля». Вслед за тем начинаются спектакли в пользу только что образовавшегося Литературного фонда: ставятся «Женитьба» и «Ревизор». Роль Подколесина и городничего превосходно исполняет Писемский, а в числе «аршинников-самоварников» находятся Тургенев, Островский, Некрасов и др. Хлестакова иг-

рает П. И. Вейнберг, и необыкновенным талантом отличается безвременно скончавшийся студент Ловягин.

Рядом с Гостиным двором в большой думской зале читаются в 1862 году первые публичные лекции в Петербурге, из предметов университетского курса. На кафедре переполненного зала появляются профессора Петербургского университета, закрытого перед тем вследствие «студенческих беспорядков», Кавелин, Костомаров, Спасович, Стасюлевич и другие. Лекции пользуются чрезвычайным успехом, но, к сожалению, через два с половиной месяца прекращаются, по почину группы распорядителей, делающей из этого прекращения бесцельную и вредную для просвещения демонстрацию.

Александринская площадь заключает в себе плохо содержимый сквер, окруженный весьма неизящной чугунной решеткой. В нем, в особом павильоне, помещается вафельное заведение госпожи Гебгардт, заседающей за прилавком в своем национальном голландском наряде и в кружевном чепце над металлическими бляхами на висках. Впоследствии она расширяет свои операции и кладет основание Зоологическому саду.

Сзади возвышается прекрасное здание Александринского театра. В то время театр был в сущности единственным местом для выражения общественных вкусов, настроений, симпатий и антипатий. Несмотря на то, что в первой половине пятидесятых годов репертуар состоял, за исключением классических пьес, и то с большим цензурным разбором, из пьес псевдопатриотического характера и водевилей, в веселую ткань водевиля, с необходимой его принадлежностью — куплетами, вплеталась иногда ироническая шутка по поводу того или другого общественного явления. Даже такой строгий критик, как Белинский, не мог отказать некоторым из водевилей в признании такого их достоинства. Декорации в Александринском театре были стары и постоянно, невзирая на место и время действия, повторялись. Бутафория была недостаточная и бедная. Освещение не удовлетворяло всем требованиям сценической постановки. Механические приспособления были довольно примитивны, но труппа в общем своем составе была превосходная. Братья Каратыгины, В. В. Самойлов, Брянский, Максимов первый, Сосницкий и, в особенности незабвенный для тех, кто имел счастье его видеть, Мартынов высоко держали знамя своего искусства и видели в своей деятельности не

профессию, а призвание. Их появление на сцене заставляло забывать всю неприглядную обстановку тогдашнего драматического театра: самовластие директора, канцелярские и закулисные интриги, нередко непонимание лучших свойств того или другого артиста, цензурные «обуздания», нелепость и неуместность «дивертисмента» и зазывательный характер афиши. Чтобы оценить театральную цензуру, достаточно указать на то, что для постановки «Месяца в деревне» Тургенева было предъявлено требование, чтобы замужняя героиня этого произведения, увлекающаяся студентом, была превращена во вдову. Для характеристики афиш сто́ит привести лишь названия некоторых пьес: «Вот так пилюли, или Что в рот, то спасибо», «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть» или «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана» и т. д.

Самым выдающимся по разносторонности своего таланта был Самойлов. В некоторых ролях своих он был неподражаем. Трогательный до слез в своем безумии, в венке из пучков соломы, король Лир; внезапно просыпающийся из притворного бессилия и слабости Людовик XI; вкрадчивый и грозный в своем властолюбии кардинал Ришелье — надолго запечатлевались благодаря его исполнению в памяти зрителей, и рядом с этим в той же памяти звучал акцент изображаемых им инородцев и необыкновенное умение оттенить комические стороны в водевиле. Каратыгин был артист классической школы, умный и очень образованный, что в то время в этой среде встречалось не часто, атлетического сложения, с могучим голосом и глубоко обдуманной мимикой. В трагических сценах он производил чрезвычайный эффект, как, например, в последнем действии драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» или в «Тарасе Бульбе», переделанном для сцены. Но выше всех их был Мартынов. Воспитанник театральной школы, предназначенный для балета и случайно успешно сыгравший в каком-то водевиле, он занял комические роли и достиг в них необыкновенного совершенства. Его мимика, голос, манера держать себя на сцене, смешить, не впадая в карикатуру, сделали из него заслуженного любимца зрительной залы. Один его выход из-за кулис уже вызывал радостную улыбку у зрителей. В упомянутой выше пьесе «Дон Ранудо» в первом действии, изображая старого слугу обедневшего испанского гранда, он появлялся в самой глубине сцены,

в конце улицы, и, неся кастрюльку в руках, представлял хохочущего. Еще звуков его смеха не было слышно, а уже при одном его появлении театр неудержимо хохотал... И тем не менее комизм не был его настоящим призванием. Это проявилось в конце пятидесятых годов, когда, под влиянием Островского, бытовая драма вытеснила прежнюю сентиментальную и ходульную мелодраму, как, например, «Эсмеральду» и «Материнское благословение», а с ней вместе постепенно упразднила и водевиль. Появление Мартынова в пьесе Чернышёва «Испорченная жизнь» и в роли Тихона в «Грозе» открыло в нем такую глубину драматического таланта, такую вдумчивость и «заразительность» влияния его таланта на зрителей, что он сразу недосягаемо вырос, и стало даже как-то странно думать, что этот артист, исторгающий слезы у зрителей и потрясающий их душу, еще недавно шутил на сцене и пел куплеты. Тот, кто слышал обращение Тихона в «Грозе» у трупа утопившейся жены к матери: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...»,— забыть этого не может. Достигнув апогея своего дарования, Мартынов угас. Всенародные похороны его были первым событием такого рода в Петербурге. В них выразилась любовь к артисту, независимая от всякой официальности и нежданно для нее. Это был трогательный порыв настоящей общественной скорби.

И женский персонал труппы стоял на большой высоте. Хотя уже не было Асенковой, но достаточно назвать Снеткову, Жулеву, сестер Самойловых, Читау и Линскую и Гусеву для роли старух. Наконец, в самом начале шестидесятых годов, появился на сцене Горбунов, непревзойденный рассказчик сцен из народного быта, умевший с тонким чувством воздержаться от смехотворных изображений входивших в состав России инородцев: евреев, поляков, армян и финнов, от чего не был свободен даже такой артист, как Самойлов, игравший роль Кречинского с подчеркнутым польским выговором. Не обходилось, конечно, и без некоторых диссонансов в общей стройной гармонии александринской труппы. Среди артистов был некто Т., игравший преимущественно роли «злодеев», никак не могший выучить слово п а р л а м е н т, и в одной пьесе, изображающей ожесточенную борьбу парламентских партий, заявивший, несмотря на все усилия суфлера, вместо авторского: «пойду в парламент» — «пойду в д е п а р т а м е н т», а в знаменитой сцене Милле-

ра с женой в «Коварстве и любви», не найдя пред собой забытой бутафором скрипки, воскликнувший: «Молчи, жена, или я тебе размозжу голову той скрипкой, которая у меня в той комнате», и т. д.

В начале шестидесятых годов веселый и жизнерадостный водевиль сменила оперетка с ее двусмысленностями и опошлением серьезных исторических сюжетов. От оперетки невольный переход к опере и, следовательно, к Большому театру на Театральной площади. И та же цензура простерла свою длань над названиями европейских опер. Из комических, якобы политических, соображений они были переименованы: «Вильгельм Телль» — в «Карла Смелого», «Моисей» — в «Зора», «Пророк» — в «Осаду Гента», «Немая из Портичи» — в «Фенеллу», «Гугеноты», вопреки всякому историческому смыслу, в «Гвельфов и гибелинов». В итальянской опере блистали Тамберлик и Марио, Кальцолари и Ронкони и в конце сороковых годов — певица Альбони, по поводу крайней толщины которой и удивительного голоса остряки говорили, что это слон, проглотивший соловья, а затем — Полина Виардо-Гарсиа, сыгравшая такую роль в жизни Тургенева, и Бозио, трогательно воспетая Некрасовым. Нашему Мартынову в его комическом амплуа соответствовал известный бас Лаблаш — большого роста и толщины, иногда в шуточку вставлявший в итальянские речитативы исковерканные русские фразы, и большой поклонник Мартынова, говоривший: «Языка его я не понимаю, но его — понимаю». Эта опера посещалась преимущественно великосветским обществом или завзятыми меценатами. Они брезгали русской оперой, которой не особенно занималась и дирекция театров, но которую посещал с любовью средний обыватель, ценивший такие слабые произведения, как «Аскольдова могила», и не понимавший в течение долгого времени дивных красот «Руслана и Людмилы». Самая «Жизнь за царя» давалась в довольно жалкой обстановке, и ее вывозил лишь талант Петрова. Она все-таки держалась на сцене и в известные дни давалась по установленному ритуалу. Первое же представление «Руслана» было встречено холодно, а когда уехал из театра Николай Павлович, то послышалось шиканье не только из зрительной залы, но даже из оркестра. Бледный и растерявшийся Глинка не знал, выходить ли ему на сцену на жидкие вызовы «автора!», но сидевший с ним в директорской ложе начальник Третьего отделения Ду-

бельт сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше тебя страдал». Роль Вани в «Жизни за царя» в пятидесятых годах с особенным успехом исполняла талантливая певица Леонова. Перед оставлением казенной сцены в шестидесятых годах она, чрезвычайно пополневшая, была заменена другой певицей, очень сухощавой. В одной из современных карикатур они были изображены обе с надписью «Госпожа NN и ее футляр». В конце пятидесятых годов в русской опере был поставлен «Трубадур» Верди, имевший чрезвычайный успех благодаря талантливой игре и пению тенора Сетова, который затем производил сильное впечатление в роли Елеазара в «Жидовке» Галеви.

Нынешний Мариинский театр имел внутри широкую, круглую арену и, предназначенный для конских представлений, акробатов и вольтижеров, носил название «Театра-цирка». Рядом с ареной была обширная сцена и все было обставлено весьма роскошно. Лучшие европейские цирковые труппы сменяли одна другую, нередко оставляя в рядах аристократии своих выдающихся наездниц. В театре-цирке давались патриотические пьесы, где к игре актеров присоединялись конские ристания, джигитовка, ружейная — и даже нечто вроде пушечной — пальба. Особенно эффектно была поставлена «Блокада Ахты», по поводу которой рассказывали, что на вопрос проезжавшего мимо государя, что идет в этот день, часовой театра-цирка будто бы ответил: «Блокада Ахвы», объяснив затем такое искажение названия невозможностью сказать царю: ах-ты!.. На этой арене особенно отличался клоун Виоль, чрезвычайно гибкий и ловкий артист, исполнявший, между прочим, роль орангутанга в пьесе «Жако, или Бразильская обезьяна». Театр-цирк просуществовал, однако, недолго. Он давал большой дефицит, да и публика к нему охладела. В противоположность русской опере в Большом театре ставились с большой роскошью балеты, в которых особенно отличалась Андреянова, вместе с подвизавшимися наряду с ней разными иностранными знаменитостями во главе с Фанни Эльслер и Карлоттой Гризи. Особенно любимыми балетами были «Война женщин» со множеством военно-хореографических эволюций и «Сатанилла» с изображением ада и огромного, извивающегося через всю сцену змея в последнем акте.

Короткая Михайловская улица приводит к Михайловскому дворцу (впоследствии музей Александра III) и

Михайловскому театру, где дают представления французская и немецкая труппы. Первая из них заключает в себе первоклассных артистов, как Бертон, Леменил и мадам Вольнис, тонкая игра которых доставляет истинное наслаждение. Особенно выдается Леменил, во многом напоминающий Мартынова, но, конечно, с французским складом. В забавной пьесе «Les pommes du voisin» [1] изображен ряд комических положений, попадая в которые заезжий в новый для него город товарищ прокурора (substitut) воображает себя совершающим различные преступления. Романтические приключения его оканчиваются благополучно, но этому концу предшествует совершение им воображаемого убийства, с самыми мрачными подробностями. В первых двух действиях Леменил заставлял публику неудержимо смеяться, но в последнем действии, считая себя бесповоротно вступившим на путь ужасных преступлений, он переставал смешить и возбуждал видом своих душевных переживаний в зрителях и ужас, и сострадание.

В Михайловском дворце проживает великая княгиня Елена Павловна, к которой применимы слова, обращенные Апухтиным к Екатерине II («Недостроенный памятник»): «Я больше русскою была, чем многие, по крови вам родные». Представительница деятельной любви к людям и жадного стремления к просвещению в мрачное николаевское царствование, она, вопреки вкусам и повадке своего мужа, Михаила Павловича, всей душой отдававшегося культу выправки и военного строя, являлась центром, привлекавшим к себе выдающихся людей в науке, искусстве и литературе, «подвязывала крылья» начинающим талантам и умела умом и участием согревать их. Она проливает в это время вокруг себя самобытный свет среди окружающих безмолвия и тьмы. В то время, когда ее муж — в сущности добрый человек — ставит на вид командиру одного из гвардейских полков, что солдаты вверенного ему полка шли не в ногу, изображая в опере «Норма» римских воинов, в ее кабинете сходятся знаменитый ученый Бэр, астроном Струве, выдающийся государственный деятель граф Киселев, глубокий мыслитель и филантроп князь Владимир Одоевский, Н. И. Пирогов, Антон Рубинштейн и другие. С последним она вырабатывает планы учреждения Русского музыкального общества и Петербургской консерватории и энергично

[1] «Яблоки соседа» *(фр.)*.

помогает их осуществлению в жизни личными хлопотами и денежными средствами. Благодаря этому в России начал развиваться вкус к серьезной музыке, который до того удовлетворялся модными романсами «Скажите ей» и «Когда б он знал» на одну и ту же музыкальную тему и очень популярными «Голосистым соловьем» Алябьева, «Гондольером» и другими подобными... А когда в начале пятидесятых годов впервые появились в продаже папиросы, то часто исполнялся романс «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить?.. Не по прихоти ж случайной стали все тебя курить!» Она же сердечным участием, после истории с князем Чернышёвым, удерживает Пирогова от отъезда из России и привлекает к задуманному ею устройству первой в Европе Крестовоздвиженской общины военных сестер милосердия, отправляемых потом под руководством знаменитого хирурга в Севастополь, где их самоотверженная деятельность встречается грязными намеками главнокомандующего князя Меншикова. В ее гостиной собираются и будущие деятели освобождения крестьян во главе с Николаем Милютиным. «Нимфа Эгерия» нового царствования, она всеми силами содействует отмене крепостного права не только своим влиянием на Александра II, но и личным почином по отношению к своему обширному имению Карловка.

Невдалеке от дворца, перейдя Мойку, в переулке, ведущем мимо круглого рынка в Большую Миллионную, мы встречаем громадную гранитную глыбу, изображающую в неотделанном виде сидящего колосса, когда-то предполагавшегося к постановке где-то в Петербурге, но подломившего под собою перевозочные приспособления, осевшего почти посредине узкой улицы и так и оставшегося. Лишь в конце семидесятых годов эта безобразная каменная масса была куда-то увезена и, может быть, раздроблена на части.

Идя по Большой Миллионной, мы доходим до Дворцовой площади, влево от которой Певческий мост и близ него на Мойке дом, в котором мучительно окончил свои последние страдальческие годы Пушкин. Обычное у нас равнодушие к тому, что было светлого в нашем прошлом, сказалось по отношению к последнему обиталищу великого поэта, обратно тому, как это сделано в Германии и Англии относительно Гёте и Шекспира. Хотя Тютчев в трогательных стихах, обращаясь к только что убитому Пушкину, говорит: «Тебя ж, как первую любовь, России

сердце не забудет», обиталище это не было сохранено и охранено в благоговейном внимании в прежнем виде, и в нем в последнее время помещалось какое-то учреждение полицейского характера.

Еще Некрасов к характеризующим Петербург местам прибавлял: «необозримые кладби́ща», и если мы захотим их посетить, то прежде всего наше внимание остановит кладбище Александро-Невской лавры, тянущееся по обеим сторонам дороги, ведущей от ворот к внешней ограде монастыря. На правой руке мы найдем могильные памятники, красноречиво говорящие о тех, кто под ними погребен. Достаточно указать на имена Ломоносова, Сперанского, Крылова, Карамзина, Державина, Баратынского и Жуковского, Гнедича и Глинки. Слева надгробные плиты и памятники более отдаленного времени. Вот между ними могила своеобразно знаменитой приближенной фрейлины Екатерины II, Перекусихиной, и вот плачущая мраморная женщина у разбитого молнией дуба, под которым лежит младенец. Эти последние фигуры связаны с трагической судьбой красавца-гвардейца Охотникова и печальным существованием жены Александра I, Елизаветы Алексеевны. Вот могила мрачного и зверского Шешковского, начальника Тайной канцелярии при Екатерине II, и, наконец, могила президента академии и строгого ревнителя русского языка адмирала Шишкова. Под полом церквей — могилы выдающихся военных и гражданских деятелей.

Впоследствии, в конце шестидесятых годов, когда почти окончательно заполняются эти кладбища памятниками с громкими именами лежащих под ними, постепенно разрастается почти до самой Невы обширное Никольское кладбище. Там есть имена выдающихся деятелей литературы и эпохи великих реформ, но во время нашего обхода Петербурга это кладбище существует еще в самом зачатке. За Обводным каналом — Волково кладбище, богатое впоследствии громкими литературными именами. Достаточно сказать, что на нем лежат Добролюбов и Белинский. Там же могилы Полевого и знаменитого Радищева. Здесь впоследствии нашли последнее успокоение Тургенев, Кавелин, Салтыков, Костомаров и другие. Смоленское кладбище на Васильевском острове приняло в свои недра многих артистов. Мы находим на нем могилы артиста Дюра, мужа и жены Каратыгиных, Мартынова, О. А. Петрова (первого Сусанина в «Жизни за

царя») и, наконец, Варвары Николаевны Асенковой, любимой артистки сороковых годов, к которой, через двенадцать лет после ее кончины, Некрасов обращался со следующими словами: «Но ты, к кому души моей летят воспоминания, я бескорыстней и светлей не видывал созданья... Увы, наивна ты была, вступая за кулисы,— ты благородно поняла призвание актрисы... Душа твоя была нежна, прекрасна, как и тело, клевет не вынесла она, врагов не одолела!»

На католическом кладбище Выборгской стороны лежит скончавшаяся в начале шестидесятых годов Бозио — итальянская певица и артистка с удивительным голосом. К ней обращены горестные слова Некрасова: «Дочь Италии! С русским морозом трудно ладить полуденным розам. Перед силой его роковой ты поникла челом идеальным, и лежишь ты в отчизне чужой на кладбище пустом и печальном. Позабыл тебя чуждый народ в тот же день, как земле тебя сдали, и давно там другая поет, где цветами тебя осыпали».

Внутренняя жизнь Петербурга в то время представляет много особенностей, очень отличающих его от недавнего Петербурга девятисотых годов перед роковой войной. В начале пятидесятых годов в городе 450 тысяч жителей. К началу шестидесятых — 600 тысяч. Жизнь общества и разных учреждений начинается и кончается ранее, чем теперь. Обеденный час, даже для званых трапез, четыре часа, в исключительных случаях — пять, причем по отношению к кушаньям и закускам, за исключением особо торжественных случаев, обилие не сопровождается роскошью, как с начала девяностых годов. То же самое и относительно напитков. Далеко не всякий званый обед требует шампанского. В обыкновенные дни на столе у большинства даже зажиточных людей стоят квас и кислые щи.

В пятидесятых годах была чрезвычайно распространена на вечерах игра в лото, а также доверчивое занятие с говорящими столиками. Под влиянием пришедших с Запада учений о спиритизме многие страстно увлекались этим занятием, ставя на лист бумаги миниатюрный, нарочито изготовленный столик, с отверстием для карандаша, и клали на него руки тех, через кого невидимые духи любили письменно вещать «о тайнах счастия и гроба». Иногда такими посредниками при этом выбирались дети, приучавшиеся таким образом ко лжи и обману,

в чем многие из них впоследствии трагически раскаивались. В гости на званый вечер приезжают в восемь — девять часов, а не на другой день, как это часто случалось впоследствии. Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится звук сторожевых трещоток дворников.

В начале описываемого периода дамы носят по нескольку шумящих крахмальных юбок. Под платьями, снабженными рядами воланов, высокий корсет, стянутый до крайности, чтобы талия была «в рюмочку». Он в большом употреблении и даже злоупотреблении, с несомненным вредом для здоровья. На него надевается лиф, заканчивающийся книзу острым шнипом. Чулки у дам нитяные или шелковые, белые; цветные или полосатые предоставляются лицам, не принадлежащим к так называемому обществу. Подвязки, часто на пружинах, носятся ниже колен. Обувь — башмаки без каблуков, с завязками, или из козловой кожи или материи и прюнелевые ботинки. Кожаные сапожки и туфли на безобразно высоких каблуках явились гораздо позже. Шляпки представляют нечто вроде корзиночки, завязанной у самого горла бантом из широких цветных лент. К шестидесятым годам женские моды круто меняются. От многочисленных юбок остаются только одна-две, а их заменяет кринолин, доходящий иногда до совершенно нелепого и неудобного объема. Шляпы приобретают разнообразный фасон, и среди них одно время выделяются chapeaux mousquetaires [1] со средней величины полями, обшитыми вокруг широкой полосою черных кружев.

Мужские моды более устойчивы. С новым царствованием, в половине пятидесятых годов, исчезают у мужчин остроконечные воротнички у рубашек и тугие высокие атласные галстуки на пружинах, заменяясь отложными или просто стоячими воротниками и тонкими узкими галстучками. Почти исчезают и узкие брюки со штрипками, заменяясь одно время очень широкими светло-серыми. В костюмах штатских людей преобладает черный цвет. Длинное пальто «пальмерстон» чередуется с накидкой-«крылаткой». Николаевская шинель с пелериной постепенно отходит в область прошлого. Нет обилия всевозможных мундиров, как было в последнее время, и люди менее обвешиваются всевозможными орденами, русскими, иностранными и экзотическими, медалями и значками

[1] Шляпы мушкетеров (*фр.*).

своей принадлежности к разным благотворительным и спортивным обществам. Праздничный вид петербуржца более скромный, чем впоследствии, когда часто оправдывался рассказ о маленьком ребенке, который на вопрос матери, указывающей на приехавшего с праздничным визитом господина: «Ты знаешь, кто этот дядя?» — отвечал: «Знаю, это елка».

По воскресеньям на Невском и на набережной Невы против дворца происходят обыкновенно гулянья. В начале пятидесятых годов, если появляется на улице барышня «из общества», ее непременно сопровождает слуга в ливрее или компаньонка. В начале шестидесятых годов эти провожатые исчезают, и появляется фигура «нигилистки», с остриженными волосами и нередко в совершенно ненужных очках. Она заменяется затем скромным видом девушки трудового типа, не находящей нужным безобразить свою наружность для вывески своих убеждений.

Уличные вывески очень пестры, разнообразны и занимают без соблюдения симметрии большие пространства на домах. У парикмахерских, или «цирулен», почти неизбежны изображения банки с пиявками и нарядной дамы, опирающейся рукой на отлете на длинную трость, причем молодой человек, франтовато одетый, пускает ей из локтевой ямки идущую фонтаном кровь. У табачных магазинов непременно два больших изображения: на одном богато одетый турок курит кальян, на другом негр или индеец, в поясе из цветных перьев и таком же обруче на голове, курит сигару. Нередки вывески «привилегированной» повивальной бабки. Попадаются на Старом Невском лаконические вывески «духовного портного». В Большой Мещанской улице есть гробовщик, предлагающий «гробы с принадлежностями» и переводящий это тут же на немецкий язык: Grabu mit prinadlegnosten. У некоторых публичных зданий и ворот попадаются загадочные надписи: «Здесь вообще воспрещается», разъясняемые надписью у ворот летнего немецкого клуба на Фонтанке: «Кто осквернит сие место, платит штраф». Очень много вывесок зубных врачей с плодовитыми фамилиями Вагенгеймов и Валенштейнов. Фотографий мало, и между ними выдаются Левицкого и Даутендея.

Уличные развлечения представлены главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьяной и маленьким органчиком. До конца пятидесятых годов

эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки и часто изображаются умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и показывает, «как баба горох собирает».

Часто во дворы заходят бродячие певцы, является «петрушка» с ширмами, всегда собирающий радостно хохочущих зрителей, или приходят мальчики, показывающие сидящего в коробке ежа или морскую свинку и громко возглашающие: «Посмотрите, господа, да посмотрите, господа, да на-а зверя морского!» Местом летних вечерних развлечений для более зажиточной публики служат искусственные минеральные воды в Новой деревне, где изобретательный И. И. Излер открыл при заведении минеральных вод увеселительный сад с концертным залом, в котором поют тирольский и цыганский хоры. Ярко иллюминованный сад и концерты очень посещаются публикой, которую доставляют от Летнего сада пароходы предпринимателя Тайвани до смены их, гораздо позже, Финляндским пароходством.

При воспоминаниях петербургского старожила о времени пятидесятых и первой половины шестидесятых годов невольно возникают живые образы людей, пользовавшихся, если можно так выразиться, городской популярностью не по занимаемому ими в обществе, на службе или в науке выдающемуся положению, но потому, что их оригинальная наружность и своеобразная «вездесущность» с массой анекдотических о них рассказов делала их имя чрезвычайно известным. Описание их выходит за пределы нашей статьи, но для примера можно остановиться на одном из них. Это был брат карикатуриста, служивший в театральной дирекции, Александр Львович Невахович, хотя и толстый, но очень подвижный, с добродушным лицом и живыми глазами, всегда и неизменно одетый во фрак. Он славился как чрезвычайный гастроном и знаток кулинарного искусства. Изображение его в карикатурах брата в сборнике «Ералаш» наряду с рассказами об его оригинальностях создали ему большую популярность в самых разнообразных кругах Петербурга. Брат нарисовал его, между прочим, очень похожим, говорящим с маленьким сыном по поводу лотереи-алле-

гри, которая была одно время очень в моде. «Папа,— говорит мальчик,— на моем выигрышном билете значится обед на двенадцать персон. Где же он?» — «Я его съел!» — отвечает добродушно Александр Львович. Он пользовался особенным расположением министра двора графа Адлерберга, и когда тот, со смертью Николая I, оставил свой пост, то Невахович уехал за границу. В 1869 году один русский писатель в вагоне железной дороги из Парижа в Версаль встретил его в неизбежном фраке и с отпущенной седой бородой и, услышав его жалобу на скуку заграничной жизни и тоску по России, спросил его, отчего же он не вернется в Петербург. «Невозможно,— отвечал Невахович,— я за тринадцать лет отсутствия растерял почти все знакомства, и меня в Петербурге уже почти не знают, а я был так популярен! Кто меня не знал!.. Возвращаться в этот город, ставший для меня пустыней, мне просто невозможно. Знаете ли, как я был популярен? Раз встречаю на улице едущего театрального врача Гейденрейха и кричу ему: «Стой, немец, привезли устрицы, пойдем в Милютины лавки, угощу!» — «Не могу, отвечает, еду к больному». А когда я стал настаивать, то говорит: «Иди туда, а я приеду».— «Врешь, говорю, немец, не приедешь».— «Ну, так пойдем к больному, а оттудова поедем. Я скажу, что ты тоже доктор». Поехали мы. Слуга отворяет дверь, говорит: «Кажется, кончается». А в зале жена больного плачет, восклицая: «Доктор, он ведь умирает!» Вошли мы в спальню. Больной, совсем мне незнакомый, мечется на кровати, стонет. Гейденрейх стал считать его пульс и безнадежно покачал головою. Взглянув на стоявшую в головах больного плачущую жену, стал все-таки утешать больного, который все твердил, что умирает. «Это пройдет,— говорит Гейденрейх,— это припадок».— «Что, вы меня обманываете,— проговорил больной,— какой припадок, я умираю».— «Да нет,— говорит Гейденрейх,— вот и другой доктор вам то же скажет»,— и указывает на меня, стоящего в дверях.— «Какой это доктор?» — спрашивает больной. Остановился на мне глазами, да вдруг как крикнет: «Разве это доктор!! Это Александр Львович Невахович!» — и с этими словами повернулся на кровати и испустил дух. Так вот как я был популярен в Петербурге. Так где же уж тут возвращаться...»

«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»

(Февраль 1911 г.)

В старом редакционном кабинете «Вестника Европы», с окнами, выходящими на узкий двор многоэтажного дома, над которым тяжело нависло унылое петербургское небо,— пусто... Все в нем потемнело и многое потерпело от времени, но каждая вещь, каждый портрет связаны с дорогими воспоминаниями о тех, кто был близок к хозяину. А большинство близких были люди, выдающиеся своими талантами и общественными заслугами. В кабинете этом в течение сорока лет чувствовалось биение пульса передовой части русского общества, с ее разумными требованиями и жизненными потребностями,— с ее надеждами, разочарованиями и скорбями. По обмену мыслей, здесь происходившему в дружеской и доверчивой беседе, можно было судить о состоянии этого пульса,— редко полного, часто «нитевидного», в последние годы лихорадочного,— и ставить приблизительный диагноз для всего организма. Здесь, за рабочим столом, забаррикадированный громоздкими изданиями Ровинского, многие годы заседал Пыпин, «мудрый, как змий, и чистый, как голубь». Здесь бывал Костомаров, умевший переплетать глубокое знание прошедшего со своеобразным юмором по отношению к настоящему. Сюда вторгался кипучий, полный жизни и новых оригинальных взглядов Владимир Стасов. Здесь раздавалась неуклюжая и порывистая, но полная глубокого содержания и ума речь Спасовича. Здесь появлялись благородные, нелицемерные слуги и проводители в жизнь великих реформ Александра II — К. К. Грот и «человеколюбивый страж закона» В. А. Арцимович; блистал знанием России и верой в нее и загорался в спорах Кавелин, и сиживал в глубокой задумчивости, поглощенный внутренней работой духа, или острил и заливался детским незлобным смехом Владимир Соловьев. Здесь, наконец, часто появлялись Тургенев и Гончаров, Алексей Жемчужников, Сеченов и Ключевский. Их всех, несмотря на разнообразие их темпераментов и частичных взглядов, соединял и объединял хозяин своим спокойным радушием и участливым пониманием, чуждым фамильярности, но проникнутый той внимательностью, за которой чувствуется стыдливое во внешних проявлениях, но чуткое сердце. Кажется, что сей-

час в свой опустевший кабинет войдет и он сам и усядется за свой рабочий стол, за которым проводил долгие часы невидной, упорной и трудной редакторской работы, сменявшейся собиранием и изучением материалов по городскому общественному управлению и составлением отчетов и докладов по народному образованию. Он войдет, как всегда, бодрый и приветливый, тщательно одетый, со старческим румянцем на оживленном лице, обрамленном седой бородой, и вдумчиво отзовется,— часто облекая свою мысль в форму остроумной шутки,— на то, что волнует или занимает пришедшего.

Но он не войдет... На стенке кабинета, на которой он укреплял, подавляя невольный вздох, портреты умерших «сотрудников жизни», может отныне по праву прибавиться и его изображение. Да! И он был «сотрудником жизни» не только окружавших, не только занявших место на этой стенке, но и сотрудником общественной жизни своей родины, никогда не терявшим бодрости, не опускавшим рук «в немом бездействии печали» и не терявшим веры в право и способность своего народа на лучшее будущее. На своей профессорской кафедре в Петербургском университете и в своих ученых работах он умел одновременно быть, следуя выражению Бэкона, и муравьем, собирающим материал, и пчелой, распределяющей его: умел вносить в преподавание истории философию истории, присматриваясь к событиям прошлого как к одновременному пророчеству, приговору и откровению общечеловеческих идей. Но когда он почувствовал себя нравственно обязанным оставить эту кафедру, он сделал это без малодушных колебаний и отдался кабинетному труду редактора ученого сборника. Этот сборник — «Вестник Европы»—силою назревшей общественной потребности обратился в литературно-политический журнал, и Стасюлевичу пришлось сразу стать на боевой пост. Это было время крупного перелома в официальных взглядах на задачи и характер средней школы. Вместо гуманизма, лучшим представителем которого был Пирогов с его «Вопросами жизни», стал насаждаться толстовский псевдоклассицизм, заимствовавший из античного мира одни убивающие «душу живу» грамматические упражнения и — быть может сознательно — проглядевший античный дух и его бессмертные образы. Рекомендованная великим врачом-педагогом цель средней школы — «воспитать *человека»,* который сумеет «быть, а не *казаться»,*— была

извращена ради политической задачи: втиснуть живую впечатлительность отрочества в узкие рамки мертвящей схоластики. В своем журнале Стасюлевич бросил вызов этой системе и во всеоружии знания, опыта и деятельной любви к подрастающему поколению, настойчиво, «ohne Hast, ohne Rast» [1], пошел по преисполненному терний и огорчений пути печатной борьбы, с теми, кого он,— заимствуя это выражение у Гюго из «L'homme qui rit» [2],— называл «компрачикосами».

Долгие годы упорствовал он в этой борьбе, постоянно расширяя ее поле, по мере того, как подвергались сужению и разнообразному членовредительству реформы Александра II. Руководимый им «Вестник Европы» в сдержанных по форме, но сильных и глубоких по содержанию статьях, постоянно и неуклонно проводил мысль, прекрасно выраженную Ламартином, сказавшим в одной из своих речей в Национальном собрании: «Il y a quelque chose de plus cruel que la cruauté personnelle — c'est la cruauté froide d'un systéme faux» [3]. Все, что в политике нашего внутреннего управления обличало временно торжествующее, но тщетное и утопическое желание остановить ход истории, которая, по мнению некоторых из представителей этого направления в жизни и печати, должна была начинаться с *них*,— встречало отпор разносторонней и правдивой критики на страницах «Вестника Европы». Редактор из года в год усидчиво, неустанно и твердо правил рулем того «большого корабля» в нашей журналистике, который был им построен, зорко наблюдая, чтобы корабль этот совершал свой путь, по петровскому выражению, «не рабствуя лицеприятию, не болезнуя враждою и не пленяяся страстями». Это было нелегко... В последние двадцать пять лет, предшествовавшие 1904—1905 гг., фарватер для плавания очень сузился и стал изобиловать мелями и подводными камнями. В отечестве нашем, богатом возможностями и бедном действительностью, с начала этого времени стали раздаваться, в тоне торжествующей неотразимости, забытые после реформ шестидесятых годов слова и проводиться давно отвергнутые взгляды, всплывавшие на поверхность подобно телам утопленников. Характеризуя это время, Стасю-

[1] Не торопясь, без спешки, но и без отдыха *(нем.)*.
[2] «Человека, который смеется» *(фр.)*.
[3] Есть нечто более жестокое, чем личная жестокость, это холодная жестокость ложной системы *(фр.)*.

левич писал одному из своих сотрудников: «Не помню, кто именно сказал, что есть архитекторы, которые думают, что надо заложить камнями трубы, чтобы печи перестали дымить, а когда дым идет назад, они сердятся и неспособны догадаться, что всему виною их невежество. Это невежество ползет теперь со всех сторон». «Вестнику Европы» приходилось из месяца в месяц оправдывать те начала, которые считались почти непререкаемыми во время его основания,— упорствовать в защите учреждений, которым под видом перестроения грозило разрушение, и идти своей дорогой под ядовитые упреки в «прямолинейном либерализме». И это надо было делать среди разных препятствий, с тревожным ожиданием выпуска книжки из цензурного «чистилища», с призывами редактора «для объяснений», с перенесением недомоганья «переверстки» и тяжелых операций вырезывания статей, под дамокловым мечом двух предостережений, для которых не существовало давности,— делать, сохраняя наружное спокойствие, серьезное приличие тона и отнюдь не вступая в бранчивую полемику, одним словом, следовало осуществлять старый латинский завет: «Certa viriliter, sustine, patienter»[1]. В одном из писем своих, относящихся к 1890 году, описывая свои цензурные «злоключения», он цитировал стихи Щербины:

У нас чужая голова,
А убежденья сердца хрупки,
Мы — *европейские* слова
И — *азиатские* поступки.

Однако критика и отметка печальных явлений действительности лишь со слабой надеждой на пробуждение когда-нибудь творческих сил в другом направлении, на возвращение законодательной жизни в покинутое русло прерванных преобразований — не могли удовлетворять запросов созидательного ума Стасюлевича. Ему нужен был выход — и он нашелся в виде деятельного, свыше тридцатилетнего, участия в общественном самоуправлении Петербурга. Усердно работая по всем общим вопросам этого самоуправления, участвуя «прилежно» в заседаниях городской думы и тех ее комиссий, в которых он бывал членом и председателем, Стасюлевич в особенности облюбовал себе одну отрасль работы на пользу городского населения: народное образование. Этому делу он

[1] Бороться мужественно, переносить терпеливо *(лат.)*.

отдался всей душой. Помыслы и заботы о нем неразрывно сплелись с его существованием в течение многих лет. Председатель комиссий по водоснабжению и по народному образованию, почетный мировой судья, историк деятельности думы по осуществлению Городового положения, не искаженного последующей реформой 1892 года, почти постоянный делегат города в земстве, он заработал себе завидное право сказать, что послужил и городу Петербургу и народному образованию всеми силами души. Но надо было видеть его на освящениях новых обширных училищных зданий, на актах и школьных празднествах, среди толпы собранных им детей; надо было посетить вместе с ним несколько городских училищ, чтобы понять, сколько любящего сердца и деятельной воли вкладывал он именно в школьное дело... Недаром приняв в свое заведование 262 городских училища и 8 воскресных школ, он через десять лет оставил 344 училища, с 22-мя тысячами учащихся, и 22 воскресных школы. Переживший на два года золотую свадьбу своей безмятежной семейной жизни, он не имел потомства,— и сердце его широко открылось для чужих детей, раскрыв в своей глубине сокровища чувства и понимания, скрытые для невнимательного взгляда его внешним «сухим», по мнению поверхностных наблюдателей, обличием. «Ах! — писал он мне за границу в 1888 году,— как жаль, что вы не могли вместе со мной быть на годовом акте городских училищ, в большом зале думы, взглянуть на эти ангельские личики, слышать их сладкое пение и видеть их радость! Я не мог с ними расстаться и все удерживался, чтобы не прослезиться. А если мы пройдем чрез Кавдинское ущелье в образе разных препятствий и возражений, у нас чрез год будет еще несколько училищ»... Но не в одном деле народного образования послужил он Петербургу. Его настойчивости и энергии обязана столица устройством водопроводных фильтров в 1889 году. Теперь они — без разных технических усовершенствований и переустройства — не удовлетворяют нужде в совершенно чистой воде, но в свое время составили огромный шаг вперед в санитарном отношении.

Эти две деятельности — городская и редакторская — поглощали все время Стасюлевича, давно уже заставив его отказаться от каких-либо развлечений или светских общественных собраний. Но в пределах их трудовая жизнь его текла, несмотря на переживаемые им внутрен-

ние тревоги, размеренно и со спокойствием строгой точности. Лишь однажды эта уравновешенность в деятельности Стасюлевича подверглась опасности поколебаться. Я живо помню ночь на 1 января 1881 г., когда все обычные собеседники за «круглым столом», собравшись встречать Новый год у Стасюлевичей, терпеливо ждали до двух часов появления совсем еще сырого первого номера «Порядка» и пили за процветание и долголетие последнего. Это было осуществлением давнишней мечты Стасюлевича о необходимости издания большой политической газеты одного направления с «Вестником Европы». Казалось, что многое слагалось благоприятно для успеха такого предприятия. С вступлением графа Лорис-Меликова в управление внутренними делами повеяло свежим воздухом, с печати фактически были сняты наиболее тяжелые путы, а ряд сенаторских ревизий и предложенный созыв сведущих людей для обсуждения того, что будет этими ревизиями открыто, знаменовали собой, хотя и довольно робкие, но все-таки несомненные шаги по пути к дальнейшему политическому развитию общества... Стасюлевич со свойственной ему систематичностью взялся за мысль о новом издании, дававшем возможность ежедневно беседовать с читателями о «злобе дня» не в прошлом, а в животрепещущем настоящем. Так возник «Правовой порядок», причем первая часть этого названия подверглась цензурному усекновению. Как выражение настроения присутствующих, был произнесен мною шутливый тост, во вкусе хозяина, тогда же записанный им «на память» и подписанный всеми. «Я желаю,— было сказано мною,— чтоб новорожденный, вопреки законам природы и природе вещей, *пошел* с первого же дня; чтобы все почувствовали, что у него сразу прорезались *все зубы;* чтобы никакая административная няня не налагала на него *пеленок* и свивальников; чтобы, вопреки своему имени, и всех своих супротивников он приводил в *беспорядок;* чтобы он учился говорить медленно и долго, так что многие, многие годы от него слышали бы постоянно *новое слово;* чтобы заботливые родители охраняли его от *водяной* и, если ему суждено болеть, то чтобы его постигла лишь *английская болезнь,* и чтобы — более чем странное желание! — он с первого же дня начал плодиться и размножаться». И действительно, с первых же своих номеров «Порядок» занял видное и достойное место во вседневной печати, неуклонно разбирая общественные

вопросы с точки зрения права и нравственного долга и давая читателям, между прочим, такие чудные вещи, как тургеневские «Отрывки из воспоминаний своих и чужих». Но роковое событие 1 марта 1881 г., печальным образом отозвавшееся на разных сторонах общественной жизни, не прошло без последствий и для новой газеты.

Зайдя, 1 марта, после пребывания на докторском диспуте профессора Фойницкого, в редакцию «Порядка», я застал там «короля репортеров» Шрейера, который со слезами сообщил о кончине государя. На заявление мое об обязанности газеты высказаться, в такой исторический момент прямодушно и решительно, мне сказали, что в типографию уже отосланы необходимые строки. На другой день оказалось, однако, что краткость этих строк, их неопределенность и некоторые могущие подавать повод к двусмысленным толкованиям, неудачные и по форме выражения возбудили почти общее недоумение и даже протест. В тот же день Стасюлевич, извещая меня о впечатлении, произведенном вышедшим 2 марта номером «Порядка» и припоминая наш разговор накануне, настойчиво и убедительно просил меня, в виде особой услуги, дать немедленно передовую статью, которая появилась бы 3 марта. Статья была написана мною с лихорадочной поспешностью и вызвала... телеграмму с горячей благодарностью от редакции и воспрещение розничной продажи «Порядка». «Скорбный флаг,— писал я,— веет над дворцом, где покоится смертным сном верховный руководитель судеб России за последние годы. Скорбные мысли непрерывною чередою проходят в уме — и гнет совершившегося усиливается тревожною сменою надежд и опасений. У всех невольно возникает вопрос — где же средство против конвульсивных потрясений, которыми горсть людей пытается, с отчаянною самонадеянностью, ускорить или изменить органический ход развития страны? Где ясные прямодушные указания на причины болезни, которая заставляет целое государство жить изо дня в день без разумного спокойствия и уверенности в том, что, в общем порядке вещей, может и должно быть завтра? Ни суровая репрессия последних лет, ни примирительное направление истекшего года — не уничтожили этой болезни.

Первая лишь принижала и обезличивала общество,— вторая, давая лучшее *сегодня,* ничего верного не обеща-

ла и не гарантировала на *завтра*. Начинают говорить, что и против этого направления неизбежна реакция. Для нее без сомнения найдутся сторонники и советники. Но совет их будет продиктован или непониманием задач и истории своей родины, или недобрым чувством. Нет, не о реакции, пагубной для развития общества — и, быть может, желательной для виновников потрясений,— надо говорить теперь. В минуты исторической важности, в торжественные минуты, когда весь народ клянется в верности своему монарху,— необходима полная и бестрепетная искренность. Дай бог, чтобы вблизи престола были теперь люди, которые сказали бы: «Государь! Вы начинаете свое царствование в трудную минуту,— когда тяжесть Вашего венца усугубляется скорбью растерзанного сыновнего сердца. Но идите смело по ступеням трона на Ваше великое служение — и станьте — на страже порядка и законной свободы. Да не смущается сердце Ваше! За Вами доверие Вашего многомиллионного народа,— в Ваших руках его любовь, с помощью которой можно все сделать. Будьте другом и оберегателем начал, вложенных в великие реформы Вашего родителя. Пусть, как дым, разлетятся сомнения в том, что этим началам не суждено развиваться и дальше, и шире. Суровые меры стеснения доказали свою непригодность и односторонность. Земля Ваша, государь, веками хранила в себе и разум, и силы для государственного порядка и уклада. Она поддерживала своею любовью Ваших предков, она им вещала и с ними думала в годины тяжелых бедствий. Спросите ее — в лице излюбленных людей. Что они скажут, мы не можем в точности предсказать, но верно то, что в одном чувстве, святом и глубоком, они тесно сольются с Вами, государь,— в чувстве горячей любви к России. А это чувство — залог всего хорошего для будущего... Вы в расцвете сил,— перед Вами давно уже раскрыта книга государственного управления — раскройте же душу народа Вашего и дайте выйти на свет желаниям, давно живущим в ней. Они все имеют целью успокоение и развитие России — и между ними главное — желание мирной славы Вашему царствованию!»

Некоторые из авторов статей об общественном движении семидесятых и девяностых годов долгое время приписывали эту статью К. К. Арсеньеву.

Подкошенный воспрещением розничной продажи и затем приостановкой на шесть недель, «Порядок» просуще-

ствовал лишь один год, принеся издателю-редактору немало материального ущерба и моральных тревог и огорчений. Между последними на первом плане, конечно, стояли административные кары и объяснения с цензурным ведомством. «Читаете ли вы «Порядок»? — писал Стасюлевич мне за границу в августе 1881 года.— По нему вы можете судить, что мы строго выдерживаем щедринскую программу: «Тихо, благородно — и при том свободно»... и переливаем из пустого в порожнее, но все-таки находят,— была опять *беседа,*— что мы и это невинное занятие выполняем с какой-то продерзостью: история с «Голосом» — лучшая иллюстрация нашего времени». Но независимо от этого и между влиятельными сотрудниками произошли большие разногласия по вопросам крестьянского землевладения, а поставщики фельетонов и литературных обозрений оказались более аккуратными в истребовании «авансов», чем в доставлении своей работы. Тяжелые часы и дни переживал в это время Стасюлевич. Независимо от весьма чувствительных материальных жертв «Порядок» требовал от редактора изнурительного и лихорадочного труда. Последнему приходилось иногда, при содействии кого-либо одного из не только «верных», но и «достоверных» сотрудников, работать, не разгибая спины, до поздней ночи, исправляя, составляя и сопоставляя передовые статьи, заметки по «злобам дня», фельетоны и некрологи. Каторжный труд одновременного редактирования двух изданий, при щепетильно-добросовестном отношении Стасюлевича к своим обязанностям, огорчительные мелочи и тревожные для печати крупные явления жизни не могли не влиять на его здоровье и душевное спокойствие. Он проводил остаток своей ночи без подкрепляющего сна, в полудремоте, прерываемой нервными пробуждениями. В письмах его проскальзывали невольные вздохи измученной души, которые он тщетно старался заглушить игрою слов, какой-нибудь шуткой, латинским изречением или цитатой из «Козьмы Пруткова». Но по внешности он постоянно умел казаться ровным и спокойным.

Его наружная сдержанность, в связи с редкой, столь необычной в наше время вежливостью, создала ему среди не знавших его близко репутацию душевной сухости. А между тем, этот «холодно корректный» и «застегнутый на все пуговицы» человек, строго аккуратный и вечно занятой, никогда не имевший времени на «пустопорожние»

разговоры — преображался весь и становился отзывчивым, когда перед ним возникала действительная потребность в его помощи, сочувствии, добром слове, а нередко и добром деле, которое он умел делать так, что оно было слышно и видно лишь для того, кого оно касалось. Но желавший поговорить просто для того, чтобы «убить (ужасное по своему — именно у нас — значению выражение) время», встречал в нем холодный отпор скучающего молчания. Он, подобно многим, поставленным в такое же положение, по-своему глубоко сочувствовал словам Чехова в «Доме с мезонином»: «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, бесцельно говорит и неизвестно, когда он уйдет»...

Он весь был поглощен своим делом и, входя во все мелочи, любил все делать сам. Ни одна строчка, ни один знак препинания не проходили в «Вестнике Европы» без его тщательной проверки. То же самое применял он и к разным изданиям, проходившим через его строгие и требовательные в смысле точности руки. Я не могу без внутренней улыбки вспомнить, как летом 1878 года, в бретонском городке Динаре он жаловался мне, показывая на лежавшую перед ним корректуру стереотипного издания «Записок охотника», на свое нездоровье, мешающее ему исправить ее к предназначенному им сроку. «Да дайте ее мне,— сказал я,— я исправлю ее за вас». Стасюлевич посмотрел на меня с таким тревожным выражением, с каким смотрят на тихого сумасшедшего, могущего, однако, впасть в опасное буйство, и, не отвечая мне, свернул корректуру и поспешно запер в ящик стола, очевидно, предоставляя мне самому понять всю чудовищную неосновательность сделанного *ему* предложения...

Держась правила царя Алексея Михайловича: «делу время — потехе час» — и понимая под этой потехой обмен мыслей с друзьями за своей гостеприимной еженедельной трапезой, он умел не расточать своего времени попусту и не придавал никакой цены так называемым «добрым малым». На мой отзыв о ком-то с прибавкой такого эпитета, он сказал мне однажды: «Знаете ли — я убедился в жизни, что эти *добрые малые* на практике обыкновенно оказываются *мало добрыми»*... Поэтому он вступал в интимность далеко не с каждым, зная по опыту, что у нас привыкли считать одним из достоинств человека готовность иметь «душу нараспашку» и предоставлять

каждому без разбора залезать в нее, заглядывая с бесцеремонным и бездушным любопытством в ее сокровенные уголки и нередко наплевав кругом, уходить, оставив открытыми двери, покуда прозревший, наконец, хозяин души не запрет их на замок, впуская только избранных... Мнение о черствости Стасюлевича было так же неосновательно, как представление о нем, как о крайнем радикале и «красном». Последний эпитет, одно время щедро раздававшийся по отношению ко всем, кто решался «сметь свое суждение иметь» в среде, где даже сложилось удивительное, хотя и общеупотребительное выражение: *«позволяю себе думать»,*— был впрочем в одном отношении справедлив: Стасюлевич до конца своих дней сохранил способность краснеть... за других. Любивший родину настоящей любовью, желавший ей спокойного, органического развития, чуждого судорожных скачков и малодушных отступлений, он никогда не держался крайних взглядов и не сочувствовал вытекающим из них практическим мерам, с какой бы из противоположных сторон они ни рекомендовались. Его самоотверженная, любвеобильная деятельность по народному образованию была совершенно свободна от всяких предвзятых, односторонних взглядов; все, им делаемое в этой области, вытекало лишь из *объективного* существа дела, не прошедшего ни через какую *субъективную* призму. А его «Вестник Европы» был старым, привычным, надежным и верным своему слову другом читателя, приходившим в своей красной обложке в начале каждого месяца, чтобы беседовать в разных формах, начиная с художественной и научной и кончая критической, о пестрых явлениях общественной жизни, чтобы удерживать от погружения в тину эгоизма и апатии и, среди ослепленных озлоблений, изрекать спокойное слово, призывающее уважать человеческую личность, быть широко терпимым к священным вопросам человеческого духа и служить законной свободе, во всех ее видах. Стасюлевич, со своим ясным, предусмотрительным умом, любовью к порядку и труду, со своими организаторскими способностями, был создан из материи «dont on fait les ministres»[1], как говорят французы, и лишь близорукая предвзятость могла считать этого явного слугу и поборника законной гражданской свободы тайным врагом общественного порядка. А между

[1] Из которой делаются министры *(фр.)*.

тем именно эта предвзятость повлияла в свое время на неутверждение его товарищем городского головы по выбору петербургской думы,— и я помню недоумевающее и почти обиженное выражение лица будущего министра внутренних дел Плеве, которому во время ежегодного обеда московских студентов, в 1900 году, на его предостерегающий «товарищеский» упрек по поводу моего сотрудничества «у Стасюлевича», я ответил искренним сожалением, что наше многострадальное министерство народного просвещения не вверено именно этому самому Стасюлевичу.

Более пятидесяти лет моей жизни переплетаются с воспоминаниями о Михаиле Матвеевиче. Я, как сейчас, вижу его на кафедре, в большой аудитории Петербургского университета, переполненной студентами и публикой, тогда довольно свободно имевшей доступ на лекции популярных профессоров. Молодой, полный сил и энергии, недавно женившийся и вернувшийся из заграничной ученой командировки, он читал о провинциальном быте во Франции при Людовике XIV. В стенах, где обычно раздавалось повествование о жизни *государства,* он с простотой и изяществом истинного знания развертывал перед слушателями поучительные страницы из жизни *народов.* Через десять лет, в Франценсбаде, сидевший рядом со мной на скамейке баварец указал мне на мимо идущего, сказав: «Вот это тот русский, который недавно у нас, в Киссингене, увидя утопавшего человека, бросился в воду и спас его». Это был Михаил Матвеевич, живой и подвижный, с не начавшей еще седеть бородой. Лично познакомились мы позже — в начале семидесятых годов — и постепенно сошлись до тесных дружеских отношений, скрепленных многолетним сотрудничеством моим в «Вестнике Европы» и «Порядке» и переплетавшихся нитями взаимного доверия, участия и нравственной поддержки в переживаемые каждым из нас трудные, тревожные и радостные минуты жизни. Многие годы мы проводили по несколько недель или встречались за границей в каком-нибудь лечебном местечке или в Берлине, причем он всегда живо интересовался постановкой на месте вопросов городского хозяйства и школы,— а два последних лета провели в Сестрорецком курорте, где подолгу, в задушевной беседе, просиживали по утрам на берегу моря, которое он очень любил. Во время взаимных отъездов из Петербурга мы вели оживленную пере-

писку (на последнем письме его ко мне стоит № 184), а в городе зимой он посылал мне шутливые послания, очень часто в стихах. В минуты хорошего настроения, когда Кавдинское ущелье цензуры бывало уже пройдено очередным номером «Вестника Европы», Стасюлевич радовался, как дитя, садился — если не было посторонних посетителей — за маленький гармонифлют и наигрывал на нем, напевая старинные романсы. При этом я узнал от него мало кому известное начало популярного романса «Вот мчится тройка удалая». Он объяснил мне, что начало этого романса есть в сущности его продолжение, а действительное начало, напеваемое Стасюлевичем, состоит в следующем: «Свеча, чуть теплясь, догорала,— огонь в камине потухал,— мечта мне что-то вспоминала,— и сон меня очаровал.— Я видел дивные равнины — моей родимой стороны — и те прелестные картины — забытой русской старины: вот мчится тройка удалая...» Узнав ближе этого человека, со всеми милыми и оригинальными свойствами его характера, с его добрым юмором и непреклонностью его чистых и светлых побуждений, я полюбил его всей душой.

В самые последние годы силы заметно оставляли его: слабело зрение, притуплялся слух, изменяла память, но до конца его плодотворной жизни душевный строй его оставался неизменным. Он был по-прежнему отзывчив на все вопросы общественного значения и не допускал в своих взглядах на жизнь и на людей тех слабовольных уступок, за которыми чувствуется нравственная небрезгливость. Доживший до весьма преклонного возраста, «насытясь — по библейскому выражению — днями», он не впал, однако, в преждевременную старость, первыми печальными предшественниками которой являются довольство всем тем, что есть, без потребности в том, без чего не для чего жить, и легкое примирение с окружающей действительностью, какова бы она ни была. Вот почему его личность до конца его дней вызывала неподдельное к себе уважение даже и со стороны людей, далеко не во всем с ним согласных. До последнего своего дыхания это был человек живой, а не eine beurlaubte Leiche — уволенный в отпуск труп, как называл Бисмарк переживших себя стариков.

Теперь, после кратковременного, но тяжелого недуга, его отслуживший свои долгие годы прах нашел вечный покой на любимом им Васильевском острове, в краси-

вом и стильном приделе церкви «Утоли моя печали», при входе на Смоленское кладбище. Другие могилы не окружают его, «как гости жадные за нищенским столом». Свет вливается через широкое окно в тихую и уютную церковь,— и над историком *средних веков* стройно поднимается *готический* свод. Так было и при жизни Михаила Матвеевича... И ему приходилось нередко стоять почти одиноко на своем трудном посту,— и он всеми силами пользовался возможностью дать проникнуть в народ свету образования,— и его можно назвать «ключом свода», смыкавшим и объединявшим окружающих.

По понедельникам (а с девяностых годов по субботам) к трапезе собирался, под председательством гостеприимной хозяйки, небольшой и довольно замкнутый кружок людей, связанных с редактором «Вестника Европы» не только сотрудничеством большинства из них, но и личными дружескими отношениями. Еще в конце семидесятых годов Кавелин назвал хозяина и застольных собеседников в шутку *«Артуром и рыцарями круглого стола»*. Это шутливое прозвище повторялось затем не раз, и его стану я употреблять для обозначения группы друзей М. М. Стасюлевича, собиравшихся долгие, долгие годы обменяться мыслями, а иногда и горячо поспорить... Скольких из них уже нет! И как живо воспоминание о них,— как хочется, думая о них, повторить могильную надпись, виденную мной в Швейцарии: «Nicht verloren nur vorangegangen»[1]...

Долгие годы центральными фигурами между «рыцарями круглого стола» были *Кавелин, Гончаров* и значительно переживший их *Спасович*. По темпераменту своему, манерам и речи первые двое были совершенной противоположностью один другому. Гончаров, спокойный и уравновешенный, с несколько флегматическим видом, напоминал собой мудреца, давно познавшего жизнь и усталым взором следящего со стороны за ее шумным и подчас бурным потоком. Не возвышая голоса и не волнуясь, вел он беседу, отчетливо рисуя в художественных образах то и тех, о чем и о ком он говорил. Облокотившись на стол и подняв сложенные вместе красивые кисти рук, он увлекательно передавал не нашедшие себе места в печати воспоминания о своих странствиях или излагал свои взгляды на искусство и на разнородных его пред-

[1] Не потерянный, но вперед ушедший *(нем.)*.

ставителей. Благосклонное отношение к большинству встреченных на жизненном пути людей и, быть может, несколько презрительное снисхождение к недостаткам и слабостям их ярко выступали в его беседе, полной утонченной вежливости и любезности.

Автор «Задач этики» и «Задач психологии», напечатанных в «Вестнике Европы», сослуживец по Петербургскому университету и друг М. М. Стасюлевича, *Константин Дмитриевич Кавелин,* несмотря на свой уже почтенный возраст, весь горел и пламенел огнем живого, восприимчивого и отзывчивого ума и уже никак не мог казаться посторонним наблюдателем жизни. Он осуществлял завет Гёте, погружая свою пытливую мысль в саму суть русской общественной и духовной жизни и, подобно Тютчеву, страстно веровал в русский народ, в его скрытые, но неисчерпанные силы, в его с трудом достижимое, но великое будущее. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. «Да, я оптимист,— говаривал он с тихой и уверенной радостью во взоре,— я верю, что какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество — простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию». Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия,— но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. «Эти недостатки — недостатки молодости, неперебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень»,— говаривал он... «Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить — без этого жить нельзя!» *Западник* по вкусам, приемам и уважению к разумным условиям свободного развития личности, он в душе сходился с славянофилами старой школы в их горделивой и в то же время нежной любви к русскому человеку. За желание помочь этому человеку в его тяжелом нравственном или экономическом положении он готов был простить и неверные политические шаги и даже нарушение некоторых из основных догматов европейской культуры. Это особенно резко сказывалось в его радужных мечтаниях о ближайшем будущем в судьбах России

в начале восьмидесятых годов и в спорах, которые возникали по этому поводу. Быть свидетелем его споров вообще было очень приятно. Перед зрителем и слушателем был высокообразованный человек с глубоким знанием русской жизни и ее истории, живой представитель самого блестящего времени Московского университета, с ярким и образным словом и с уважением к мнению своего противника, которого он никогда не старался, да по изяществу своей натуры, вероятно, и не умел ни оскорбить, ни уязвить. И в то же время это не был обычный русский интеллигентный любитель спора для спора, один из тех бесплодных гимнастов ума, которыми так богата наша бесплодная жизнь. Все, что он говорил, дышало глубокой искренностью и восторженной любовью к правде, как он ее понимал. Лицо его одушевлялось, прекрасные глаза горели, и в голосе слышались задушевные ноты. Лишь изредка приходил он в раздражение, когда кто-либо пытался найти извиняющие или смягчающие соображения по отношению к явлению, которое претило его чуткой совести. Тогда он внезапно краснел, вспыхивал как порох, начинал волноваться и, резко сказав: «Извините, извините меня!» давал жгучую характеристику человека или поступка, которую потом было трудно забыть. Он был страстный поклонник Петра Великого и говорил о нем с радостным умилением. Поэтому, когда спор начинал волновать его чрезмерно и графин наливаемой им себе воды слишком сильно начинал дрожать в его руке, достаточно было напомнить ему какое-либо изречение «вечного работника на троне» или, подражая петровскому языку, сказать: «А ведь, Петр по этому поводу вот что написал бы», чтобы лицо Кавелина прояснилось. Примирительно улыбнувшись, он, если цитата была подлинная, обыкновенно радостно восклицал: «А?! Какой мой Петрухан?!» «Как я вам благодарен,— писал он мне 21 апреля 1884 г.,— за редкий портрет Piter'а. На днях вставлю его в рамку и буду перед ним идолопоклонствовать, как перед великорусским полубогом. Не может загибнуть страна, выставившая такого гения, не похожего ни на кого другого!» — «Когда на меня тяжело действует какое-нибудь безотрадное явление в русской жизни, когда на сердце становится горько и грозит уныние,— писал он в другой раз,— я вспоминаю Петра и ободряюсь, или читаю о Христе — и мне становится легче, и спокойствие сходит в мою душу»...

Были, впрочем, люди, относительно которых он был безусловно нетерпим, и ничто не смягчало его ожесточенного — не за себя, а за родину — сердца. Таким был — между немногими, впрочем,— бывший министр внутренних дел П. А. Валуев. Кавелин никак не мог простить ему той его деятельности по крестьянскому вопросу, в силу ложной системы тормозившей широкое и целесообразное осуществление реформы 19 февраля 1861 г., в основу которой было положено освобождение крестьян с землей, проповедь о чем Кавелина, как известно, стоила ему положения преподавателя при наследнике престола. Его раздражение на Валуева проявлялось иногда даже в довольно комических выходках. Печальная история с башкирскими землями, раскрытая сенаторской ревизией 1880 года, вынудила Валуева оставить пост председателя Комитета министров и создала вокруг него атмосферу официальной отчужденности, хотя лично он в этой вакханалии расхищения никакого участия не принимал. Стесненный в средствах, изведавший превратности судьбы, одинокий и забытый теми, кто еще недавно перед ним пресмыкался, разочарованный в том, чему он служил, будущий посмертный сотрудник «Вестника Европы» жил в скромной квартире на одной лестнице со Стасюлевичем и иногда днем заходил побеседовать с редактором журнала, к которому в свое властное время относился недоброжелательно. Обыкновенно, после обычного обеда, Кавелин, в благодушном настроении, усаживался в дамском уголке обширного *не* редакционного кабинета раскладывать свой любимый пасьянс. Однажды, когда он углубился в это занятие, рассеянно отвечая на вопросы супруги М. М. Стасюлевича, она сказала ему: «А знаете ли, Константин Дмитриевич, кто сидел на этом кресле сегодня перед вами? Вы никак не отгадаете!» — «А кто?» — добродушно спросил Кавелин, не отрывая глаз от карт.— «Валуев!» — «Не может быть!» — «Уверяю вас. Он был у нас с визитом». Кавелин густо покраснел, нервным жестом смешал карты и, быстро пересев на другое кресло, сказал дрожащим голосом: «Вы должны были меня об этом предупредить: я даже и кресла не желаю разделять с этим господином». Но тех, кого Кавелин любил и тоже не за личное к себе отношение, а за ту общественную пользу, которую они, по его мнению, приносили,— тех он любил горячо. К числу последних принадлежал Некрасов, к которому Константин Дмитриевич

относился с большой симпатией «за каплю крови, общую с народом. Мучительная болезнь и смерть поэта глубоко его огорчили, и я помню, как в день похорон Некрасова он целый вечер растроганно и со слезами в голосе читал у Стасюлевича «Тишину» и «Несчастных». Смерть Кавелина причинила большую скорбь и невознаградимый пробел кружку «круглого стола». Мы все как бы осиротели и лишились близкого, родного человека.

Владимир Данилович Спасович — товарищ М. М. Стасюлевича по Петербургскому университету, вышедший вместе с ним в отставку после столкновения профессоров с министром народного просвещения графом Путятиным — был свидетелем зарождения «Вестника Европы» и немногим не дожил до кончины журнала под старой редакцией. Он состарился за «круглым столом». Живой, подвижный, энергичный, с полными жизни глазами, порывистыми движениями и метким, образным, выпуклым в своей неправильности и интонации русским словом — сел он за этот стол. Поседевшим, усталым, больным, дремотным, с потускневшим взором и меланхолическими нотами речи, появился он за ним в последний свой приезд из Варшавы, года четыре назад... Между романтиком-идеалистом Кавелиным и художником-реалистом Гончаровым он представлял собой тип практического бойца, умевшего с одинаковым искусством и блеском строить синтез самых разнородных явлений жизни и вторгаться в нее с тонким и острым оружием анализа. Вдумчивый литературный критик, с огромным запасом сведений не только из области humaniora, но и из области естествознания, и со строгим научным методом, глубоко образованный юрист и несравненный по своеобразной силе и оригинальности дарования адвокат, он шел всегда и во всем самостоятельным путем, имея смелость и гордость не подчиняться никаким взглядам. Он не только мог сказать: «Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre»[1], но имел основание с полным правом изменить эту фразу в: «Mon verre est grand, et je bois dans mon verre»[2]. Оттого и беседа его, всегда чрезвычайно одушевленная, была очень поучительна и привлекательна. Задетый за живое каким-либо мнением, он в жару спора — в бессознательном воспоминании о своей ад-

[1] Мой стакан невелик, но я пью из моего стакана *(фр.)*.
[2] Мой стакан велик, и я пью из моего стакана *(фр.)*.

вокатской трибуне или ученой кафедре, которую был вынужден в начале шестидесятых годов оставить безвременно и с большим ущербом для науки — быстро вставал и, поставив перед собой стул, сильно жестикулируя, горячо защищал свой взгляд. В этом взгляде, как и в его известном письме к М. М. Стасюлевичу незадолго до смерти, сказывался строгий государственник, крепко державшийся за систему органического развития общественно-политических форм. В своих спорах так же, как и в судебных речах, он поражал богатым историко-бытовым анализом выдающихся явлений жизни и, не отрицая неизбежности постепенной демократизации общества, иронически относился к взглядам, построенным не на любви к задачам, указанным историческим прошлым, а на радикальном разрыве с прошлым и с настоящим в утопической надежде на золотой век будущего. Недаром в 1871 году в своей знаменитой речи по Нечаевскому процессу, за которую Катков наклеил на него несправедливый, но эффектный ярлык *чужого,* противопоставлял он польского юношу, «пред глазами которого возникает в пурпуре и злате и в дивном величии богатое прошлое, от которого до сих пор бьется сердце у современников и в которое этот юноша бросается, чтобы осуществить свои демократические мечтания», юноше русскому, «размашистый радикализм которого происходит от отсутствия культуры, от того, что прошлое его весьма небогато, а настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в которой можно разгуляться, но не на чем остановиться, не на что опереться». Спасович, считая себя поляком, не скрывал своих симпатий и прямодушно заявлял об этом при всяком подходящем случае, не прячась за псевдонимы и не говоря уклончивым «эзоповским» языком. Не разделяя, конечно, систему и приемы нашего управления в Польше и резко, зачастую с убедительными данными в руках, критикуя их, он не только никогда не обнаруживал враждебного отношения к русским людям, но искренно и с сердечной теплотой приветствовал все выдающееся в культурном смысле среди русских людей и русской жизни. На моей памяти лишь однажды он, в тесном собрании Шекспировского кружка, отнесся с суровым осуждением к Петру Великому, противопоставляя ему Марка Аврелия, и превознес Мицкевича над Пушкиным, но и тут, уступая моим возражениям, значительно смягчил свои отзывы в статье, появившейся на страницах «Вест-

ника Европы». Он стремился к реальному примирению поляков с русскими на почве взаимной справедливости и широкой терпимости и спокойно, с сознанием исполненного нравственного долга, нес нелегкий крест недоверия *с обеих сторон.* Его настойчивым хлопотам мы были обязаны тем, что польская колония в Петербурге чествовала 23 мая 1899 г. столетний юбилей Пушкина торжественным обедом с участием приглашенных русских людей из мира литературы, науки и общественной деятельности. Конечно, Спасович привлек к участию в этом чествовании и весь наличный кружок собеседников по «круглому столу» и с теплой благодарностью посетил на другой день меня, который выразил, по его мнению, его задушевные мечты, сказав на обеде: «В известном своем стихотворении Мицкевич изображает себя и Пушкина в виде двух юношей, укрытых под одним плащом и соединенных сердцами, уподобляя их двум скалам, склоненным вершинами друг к другу, между тем как внизу — их навеки разделил широкий и глубокий поток.— Было время, когда казалось, что оно так и есть, но последовательные торжества в честь двух великих славянских поэтов доказывают, что снег вершин, подобно альпийским ледникам, спускается вниз, и не только отдельные люди, но и целые слои населения охватываются им на почве просвещения и беспристрастной взаимной оценки. Пускай же идет вперед это мирное сближение, и пусть к двухсотлетней годовщине рождения Пушкина станет ясным, что в великолепной картине польского поэта одно было ошибочно: поток высох, и обе скалы соединились, сохранив все свойства своей природы, но связанные прочным кварцем взаимного уважения и золотой рудой любви к ближнему!».

Будучи добрым человеком, он умел осуществлять деятельную любовь к людям, приходя на помощь в трудных обстоятельствах, не разбирая национальности. Так щедро помог он, например, оригинальному русскому мыслителю Стронину. Все дары своих знаний, энергического труда и способностей расточал он широкой рукой среди русского общества на русском языке. Основатель Юридического общества и Шекспировского кружка, он вливал в них жизнь своими докладами, заботой и настойчивостью. Он был, наконец, в застольных беседах ярким летописцем и безбоязненным, чуждым страха перед тем, «что скажут», остроумным критиком каждого явления

современности — в области нравов, политики, права, религии и самых разнообразных видов искусства. В этом отношении его споры с Кавелиным, который в шутку называл его «ярым консерватором», бывали очень интересны. Спасович очень дорожил обменом мыслей за «круглым столом». Говоря о своих отношениях к Кавелину в одном из предисловий к сочинениям последнего, он пишет: «В течение целых двадцати лет мы сходились с ним во все времена года, кроме летнего, на еженедельных редакторских обедах «Вестника Европы», в которых участвовали Пыпин, Тургенев, Гончаров, Арцимович, Кони и Арсеньев; в нашей общей с Кавелиным умственной жизни мы многим обязаны общению, которое происходило в этом маленьком дружеском кружке»...

Был, однако, в 1884 году, короткий промежуток, когда Спасович не появлялся на своем обычном месте за «круглым столом» — и это очень чувствовалось всеми. Причиной этого необычного явления было *судебное состязание* с... М. М. Стасюлевичем! В 1858 году учредилось в Петербурге акционерное общество водопроводов «для доставления,— как значилось в § 1 его устава,— жителям Петербурга средства пользоваться во всякое время года свежей и чистой водой посредством особого *гидротехнического* устройства». Таким устройством являлся фильтр для просачивания невской воды, давно уже загрязняемой всякими отбросами. Его надлежало устроить и соорудить в так называемом «Ковше» около водопроводной башни на берегу Невы, против нынешнего помещения Государственной думы в Таврическом дворце. Это являлось обязательным для общества водопроводов на основании 1, 10 и 14 статей его устава. Но общество, во главе которого стоял будущий министр финансов И. А. Вышнеградский, считая, что устройством небольшого фильтра в 1863 году, оказавшегося притом неудачным для пропуска воды, вследствие своего замерзания, и устройством затем цистерн для процеживания воды — оно выполнило свои обязанности, отказалось устроить фильтры. А они были крайне нужны, по заключению сведущих людей, в целях гигиенических и не для *пропуска* и процеживания невской воды с вредными примесями, а для ее *просачивания* и *очищения*. После долгих и бесплодных переговоров городского управления с обществом дума решилась вследствие неустанных и упорных настояний своего гласного Стасюлевича, предъявить в

защиту своих прав иск против общества и возложила на него специальное ведение этого дела. Ввиду многих привходящих вопросов, наросших на деле по бездеятельности думы в первое десятилетие существования общества, существо спора представлялось очень сложным и запутанным, отчего могло возникать искреннее мнение о правоте общества со строго-цивилистической точки зрения. Такой взгляд имел один из выдающихся гласных думы, талантливый юрист П. А. Потехин, сложивший с себя звание гласного, чтобы выступить поверенным со стороны общества. К нему присоединился, как юрисконсульт общества, Спасович, вообще строго и резко отделявший в деятельности своей в области гражданской практики публичное право от частного и не любивший переходить от узких рамок договорного спора к общим соображениям на почве общественной пользы, столь сильно, однако, затронутым именно в этом деле. Таким образом, у Стасюлевича рядом с Потехиным неожиданно вырос чрезвычайно опытный и очень сильный противник. Он вынужден был призвать себе на помощь К. К. Арсеньева — «и грянул бой!» Проиграв дело в окружном суде, общество перенесло спор в судебную палату, где оно поступило осенью 1884 года в тот ее департамент, в котором председательствовал я. Благодаря этому обстоятельству круг собеседников «круглого стола» несколько сократился: я был крайне занят изучением этого сложного дела. Спасович затруднялся бывать у человека, против которого собирался энергически выступать. Заседание палаты при переполненной зале заняло целый день до позднего вечера и представляло огромный юридический интерес. Речи Потехина и Арсеньева явили собой тщательнейший разбор вопроса во всех его мельчайших подробностях; Стасюлевич, от которого многие ожидали лишь общих соображений общественного характера, удивил всех обширными экскурсиями в чисто правовую область, а Спасович, быть может, взволнованный тем, что должен был сражаться против сильных и убежденных противников, которые в то же время были его старыми друзьями, говорил страстно, жестикулируя более обыкновенного, и окончил последнюю свою речь даже не совсем уместным обращением к палате с указанием на его уверенность в том «qu'ilya des juges à Berlin»[1]. Судебная палата, после

[1] Что есть еще судьи в Берлине (*фр.*).

продолжительного совещания, вынесла единогласное решение, которым признала общество водопроводов обязанным устроить требуемый городом фильтр в течение четырех лет... Через полтора года Кассационным сенатом, после двухдневного заседания, жалоба общества водопроводов на это решение была оставлена без последствий. Узнав об этом и зная, что докладчик по этому делу в палате, пользовавшийся общим уважением за свои строго-судейские свойства, покойный А. В. Гуляев очень интересовался судьбой своей кропотливой, трудной и обширной работы, я, уже не председатель, написал ему сочувственное письмо. «Очень благодарен Вам,— отвечал он мне 22 марта 1886 г.,— за память обо мне по поводу решения сенатом дела о с.-петербургских водопроводах. Мне, впрочем, думается, что если бы в этом деле не заключался громаднейший общественный интерес столицы и оно не находилось бы в руках столь блестящих защитников, как гг. Арсеньев и Стасюлевич, то в какую определенную юридическую форму ни было бы облечено решение палаты, оно могло бы рухнуть и по множеству сложных вопросов, предстоявших к разрешению сената вследствие кассационной жалобы общества водопроводов, и по разнообразию взглядов, которые нередко появляются у судей при обсуждении таких вопросов. Но я в особенности рад за г. Стасюлевича, которому не могу не отдать высокой чести за поднятие этого дела и за те стойкость и энергию, с которыми он вел его до последней минуты в течение столь продолжительной битвы с обществом водопроводов. Победа, увенчавшая труды и усилия успехом в столь жизненном деле для столичного городского общества, должна составлять для него истинное душевное удовольствие, лучшую награду за исполненный долг». Окончательно решение многолетнего спора в пользу города вызвало единодушное одобрение серьезной печати и восторженную овацию Стасюлевичу в думе. Через три года он пожал и плоды своей победы в пользу города. Вот что писал он мне в необычайном для него лирическом тоне, 19 июля 1889 г., в Гисбах: «Вчера в первый раз городские трубы увидели фильтрованную воду. Какое было великолепное зрелище, когда открыли два колоссальных крана, и первая фильтрованная вода ринулась двумя каскадами в главный бассейн, ударилась в постаменты гранитных колонн и серебром рассыпалась по цементному полу, а потом побежала змейками между

колонн! Этой картины я не променяю на ваш настоящий водопад Гисбах. Самое же дело совершилось совсем в моем вкусе: не только не было никакого торжества или фестиваля, но нас, свидетелей появления в массе первой фильтрованной воды, было всего трое: два техника, Алтухов и Ермолин, изображали собой общество, а я был один со стороны города. Мы молча пожали друг другу руки, и я поздравил их, как строителей. Тем и окончилось все торжество, а вечером я снова заехал полюбоваться новорожденным, который, оказалось, вел себя так, как будто он работал много лет. Вода, несмотря на кратковременность обмывки фильтра, была совершенно прозрачна, и я, наполнив стеклянную бутылку новой водой, свез ее в управу и там поставил на стол присутствия с надписью на ярлыке: «Вместо доклада об открытии действия центрального фильтра». Сегодня управа, вероятно не мало посмеялась над таким оригинальным докладом. «Водопроводная» размолвка не могла, однако, продолжаться долго. Через месяц после решения палаты в дверях кабинета Стасюлевича неожиданно появился Спасович — и, протянув ему обе руки, произнес растроганным голосом: «Михаил Матвеевич!!» Этим все было сказано... В ближайший понедельник, остановившись на пороге столовой, он обратился к хозяйке с вопросом: «Может ли побежденный сесть с победителями?» — «Здесь нет ни тех, ни других, а только старые друзья», — ответила та; — и давние отношения возобновились с еще бо́льшей прочностью. Так — говорят — разбитая и склеенная скрипка звучит еще лучше...

В конце восьмидесятых годов постоянным сотрудником «Вестника Европы» сделался *Владимир Сергеевич Соловьев*. Здесь, по-видимому, закончилось то «скитание мыслей», которое заставляло его, не отказываясь от чистых и благородных убеждений, изменять, однако, свои взгляды и вкусы, оставаясь впрочем, верным личным симпатиям, невзирая на лагерь, в котором они были приобретены и от которого он сам отряс прах ног своих. В одном только случае он отказался, твердо и решительно, от одного двуличного публициста, которого печатно прозвал «Иудушкой Головлевым». Как все богато одаренные люди, Соловьев не укладывался сразу и навсегда в определенные рамки: способность быстро становиться законченным целым есть в сущности удел заурядных натур. Многочисленными статьями в «Вестнике Европы»,

перечислять которые нет надобности, знаменовалась нравственно-политическая эволюция Владимира Сергеевича, и он сразу стал в этом журнале одним из самых влиятельных сотрудников, а в среде последних любимым товарищем и тем, что М. М. Стасюлевич в письме ко мне по поводу его смерти назвал «сотрудником жизни». И действительно, он был настоящим «сотрудником жизни», т. е. человеком, общение с которым украшало и облегчало существование, стирая с него краски житейской прозы и вознося мысль и чувства в область вековечных вопросов. Непреклонная и ничем не смущаемая вера в окончательное торжество добра и правды постоянно одушевляла Соловьева. У нас любят употреблять выражение: «будить мысль», но разбудить ее, не указав ей путей и целей, идеалов и принципов — значит, обречь ее на бесплодное и часто мучительное искание. Это глубоко понимал Соловьев, говоривший, что все лучшее в непосредственной практической жизни имеет цену лишь тогда, когда в нем таится безусловное содержание, а над ним стоит безусловная цель. Поэтому во всех своих философских и религиозных сочинениях и в особенности в своем великолепном «Оправдании Добра» он не только задушевным словом, горячей убежденностью и поэтическими образами будил мысль читателя, но и настойчиво направлял ее. Он находил, что убеждения и воззрения высшего порядка должны разрешать в жизни существенные вопросы ума об истинном смысле всего существующего, о значении и разуме явлений,— и вместе с тем удовлетворять и высшим требованиям воли, ставя для нее безусловную цель и определяя высшую норму ее деятельности. Таков он был и в серьезных беседах, невольно и вместе с тем неотразимо заставляя собеседников иметь «sursum corda!»[1] и хоть на время освобождаться от тины и грязи житейского болота и забывать о них. Я говорю о *серьезных беседах,* так как наряду с ними Соловьев был очень склонен к шуткам. Я не подмечал в нем злой иронии,— он оставлял ее, следуя совету Некрасова, «отжившим и нежившим» — но речь его блистала и пестрела тонким юмором, оригинальными сравнениями, неожиданной игрой слов. В ту область, куда легко и удобно может вторгнуться педантическая отвлеченность и самодовольная неудобопонимаемость,— одним словом, в область, про которую Вольтер сказал: «Quand celui qui écoute ne

[1] Горé имеем сердца! *(лат.)*

comprend pas et celui qui parle ne se comprend plus — c'est de la métaphysique»[1], Соловьев вносил не только ясность и простоту, результат глубокого убеждения, но и освежающие свойства шутки и бодрящего смеха. Он сам любил смех и предавался ему, как ребенок, захлебываясь и радостно взвизгивая.

Вообще шутливые стихи ему давались очень легко. Однажды, в половине девяностых годов, он стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов, выработавших себе впоследствии гораздо более серьезное отношение к своему несомненному таланту. Но тогда его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний. «Право,— сказал он,— не так трудно сочинять — именно *сочинять* — такие стихи. Идя сюда (обедать к Стасюлевичу), я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи». И он продекламировал с некоторыми незначительными изменениями и заливаясь смехом следующее:

I

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные
В лавро-вишневых лесах.
Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый Пегас.
Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.

II

На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма,
Ходила ты к нему, иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!

---

[1] Когда тот, кто слушает, не понимает, и тот, кто говорит, перестает себя понимать — это называется метафизикой *(фр.)*.

Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле — тьма.

Впечатлительный и болезненно-восприимчивый, он иногда вносил чувство личного раздражения в свои разногласия с людьми, основные воззрения которых на существенные вопросы и задачи жизни он разделял. Такова была его полемика с Б. Н. Чичериным по поводу «Оправдания добра», в которой он в одном из своих ответов Чичерину допустил крайне резкие выражения против почтенного мыслителя и общественного деятеля. Но, остыв, он умел раскаиваться и сознавать свою вину. Поэтому в заключительной своей статье в полемике с Чичериным он просил у него извинения в своих резкостях. И мне пришлось испытать эту сторону его характера. В статье «Нравственный облик Пушкина», помещенной в «Вестнике Европы» в октябре 1899 года, я коснулся тех, которые осуждают Пушкина за выход на поединок «и желали бы видеть его не мячиком предрассуждений, по-видимому, не представляя себе ясно последующей картины жизни человека, малодушно затыкающего себе уши среди возрастающего наглого презрения общества, вырваться из которого зависит не от него». К числу осуждавших прежде всего принадлежал и Соловьев в своей статье «Судьба Пушкина», напечатанной в «Вестнике Европы» в 1897 году... Он явным образом обиделся на меня за это место моей статьи и заявил Стасюлевичу, что этого он не оставит и пришлет для печати ответ мне. Затем, однако, он одумался и в письме к Стасюлевичу, указывая на наши добрые отношения, хотя и огрызаясь по моему адресу, он заявил, что отказывается от перенесения личных чувств и страстей в литературу. А месяц спустя поднес мне свои «Три разговора» и «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому и сердечно уважаемому — искуснейшему вызывателю добрых теней».

И личная жизнь, и наружность Соловьева были в высшей степени своеобразны. Над худым и, казалось, хрупким телом его, одетым бедно, скудно и часто не по

сезону, выступала производившая неотразимое впечатление голова, с густыми прядями седеющих волос над высоким благородным лбом и удивительно красивыми темно-голубыми глазами, в которых отражались и глубина его души, и постоянная работа пытливой мысли. Нижняя часть лица его не имела одухотворенного вида, свойственного верхней, но она была скрыта под густыми усами и бородой. Он вел жизнь, лишенную всяких, даже самых скромных, удобств и какой-либо материальной обеспеченности. Физически слабый, не имея «ни кола, ни двора», он вынужден бывал греться, в прямом и переносном смысле, у чужого очага, часто нуждаясь в самом необходимом вследствие своей безграничной доброты, доверчивости и отношению к окружающей жизни с той голубиной кротостью, при которой его не могла бы оградить даже и змеиная мудрость. В последние годы он усиленно работал, не имея необходимого спокойствия и отдыха, при полном отсутствии разумной заботы о своем здоровье, растрачивая свои слабые силы, не думая о завтрашнем дне и не щадя себя. Яркий и согревающий свет своего ума он искупал беспощадным принесением себя в жертву. Но все-таки никто не ожидал, что он погаснет так скоро, так преждевременно, как раз перед наступлением той годины, когда его влиятельный и вещий голос мог бы зазвучать с особой силой и пользой, «как колокол на башне вечевой — во дни торжеств и бед народных». До самой своей смерти, в дружеских беседах за «круглым столом», он умел с особой живостью отзываться на все возникавшие общественные вопросы, иногда в необычной форме. В конце девяностых годов при министерстве юстиции была высочайше учреждена комиссия для пересмотра законоположений по судебной части под председательством статс-секретаря Муравьева. В ней, между прочим, без всякой видимой необходимости, был возбужден принципиальный вопрос о самом существовании суда присяжных, и на гостеприимно открытых страницах журнала министерства юстиции появились статьи против этой формы суда и о желательности замены присяжных коронными судьями. Вместе с тем и в разных других органах печати начался поход против присяжных, причем объявились добровольцы, заменившие старую кличку, данную присяжным еще Катковым,— «суд улицы»,— более выразительной и резкой — «стадо баранов». Все это не могло не служить предме-

том грустного обмена мыслей за «круглым столом». Однажды, во время разговора об этом напрасном и легкомысленном колебании вошедшего в народное сознание судебного института, Соловьев что-то писал на клочке бумаги и затем со смехом передал этот клочок мне. На нем стояло:

Вы — «стадо баранов» — печально!
Но вот что гораздо больней:
На «стадо баранов» нахально
Набросилось стадо свиней.

Как живой стоит он предо мною в день открытия в Мраморном дворце так называемой Пушкинской Академии, т. е. Разряда изящной словесности, образованного при Академии Наук в память великого поэта. Будучи избран одним из девяти первых почетных академиков, он произвел весьма своеобразное впечатление в своем старом, по-видимому, взятом на подержание, фраке и манишке, напоминавшей моды начала пятидесятых годов, но тотчас же приковал к себе общее внимание, заявив, что намерен внести в Разряд предложение о деятельных шагах Академии в ограждении свободы и прав русской мысли в области веры и науки. И в следующем заседании он сделал обстоятельный по этому предмету доклад, на основании которого, уже после его кончины, вследствие подробного письменного предложения К. К. Арсеньева, была образована под моим председательством комиссия, в состав которой вошли Арсеньев, Шахматов и Кондаков и труды которой,— к сожалению бесплодные непосредственно,— влились, как маленькая речка, в целое море материалов, ставших в 1905 году предметом обсуждения известной комиссии Кобеко для выработки Устава о печати.

Таинственное и мистическое часто находило себе место в трудах Соловьева и еще больше в его рассказах. Достаточно вспомнить перевод им книги Подмора о телепатии и его предисловие к ней. Иногда, среди оживленного разговора о злобах дня, он вдруг замолкал, вперял перед собой во что-то невидимое неподвижный взор и становился глух ко всему окружающему. Его бледное лицо бледнело еще более, затем взор затуманивался, и он как бы выходил из-под власти какого-то видения, доступного ему одному и приковавшего к себе его напряженное внимание. Вероятно, в одну из таких минут он написал, за десять лет до русско-японской войны, свое горестно-

зловещее стихотворение «Панмонголизм», предсказывая, в пророческом предвидении, своей родине то время, когда будут «желтым детям на забаву даны клочки ее знамен».

Однажды, зимой 1899 года, я нашел его за обедом у Стасюлевича в особенно оживленном и веселом настроении. После обеда он предложил подвезти меня ко мне, на Невский, так как ехал сам на Пески. Перед отъездом я рассказал ему в «конспиративной комнате» (так называлась в квартире Стасюлевича комната, куда удалялись поговорить наедине) слышанный мной накануне довольно правдоподобный анекдот о комическом недоразумении между светской дамой, приехавшей на богомолье в бедный, но с весьма строгим «житием» братии монастырь, и отцом экономом из крестьян, которого она расспрашивает о составе монастырской трапезы и о том, какой же у них «десерт», и который понимает это слово совершенно своеобразно и для слуха светской дамы весьма неожиданно. Соловьев заливался смехом до слез, до боли, продолжая покатываться со смеху и сев на извозчика, так что тот несколько раз оглядывался на него. Когда мы подъехали к моей квартире, он сказал мне, что охотно зашел бы ко мне и выпил бы стакан красного вина. Оставив его на минуту, чтобы распорядиться о вине, я едва узнал, вернувшись в свой кабинет, в побледневшем человеке с тревожным и блуждающим взором недавнего радостного и шутливого Соловьева. «Что с вами, Владимир Сергеевич? Вы больны?» Он отрицательно покачал головой и закрыл глаза рукой. Принесли вино, но он резким движением отодвинул налитый стакан и, помолчав, вдруг спросил меня, верю ли я в реальное существование дьявола, и на мой отрицательный ответ сказал: «А для меня это существование несомненно: я его видел, как вижу вас...» — «Когда и где?» — «Да здесь, сейчас, и прежде несколько раз... Он говорил со мной...» — «У вас, Владимир Сергеевич, расстроены нервы: — это просто галлюцинации».— «Поверьте, что я умею отличать обман чувств от действительности. Сейчас это было мимолетно, но несколько времени назад я видел его совсем близко и говорил с ним. Возвращаясь из Гангэ на пароходе и встав рано утром, я сидел в своей каюте на постели, медлительно, задумываясь по временам, одевался и вдруг, почувствовав, что кто-то находится возле меня, оглянулся. На смятых подушках,

поджав ноги, сидело серое лохматое существо и смотрело на меня желтыми колючими глазами. Я тотчас понял, кто это, и тоже стал смотреть на него в упор. «А ты знаешь, сказал я ему, что Христос воскрес?!» — «Христос-то воскрес,— отвечал он,— но тебя-то я оседлаю!»,— и, вскочив мне на спину, сжал мою шею и придавил меня к полу. Задыхаясь в его объятиях и под ним, я стал творить заклинание Петра Могилы, и он стал слабеть, становиться легче, наконец, руки его разжались, и он свалился с меня... В ужасном состоянии я выбежал на палубу и упал в обморок... А теперь прощайте: поеду на Пески». Но обычное суеверие было ему чуждо. Мне вспоминается обед 13 мая 1900 г. Я несколько опоздал и застал всех собравшихся, на этот раз в необычном числе, а также хозяев — в некотором смущении. Оказалось, что престарелый поэт *Алексей Михайлович Жемчужников,* довольно редкий гость в Петербурге и стародавний сотрудник «Вестника Европы», приехавший обедать, ни за что не хотел остаться, так как за стол должно было сесть тринадцать. Наконец, его удалось уговорить и победить тем, что был поставлен четырнадцатый прибор, и на него шутя положена последняя книжка «Вестника Европы» в качестве четырнадцатого гостя. «Вам хорошо, господа,— сказал, усаживаясь наконец, Жемчужников: вы все моложе меня, а мне ведь скоро восемьдесят лет, и я все-таки люблю жизнь — и в особенности природу — и не хочу умирать. Тут поневоле станешь суеверен».— «Да ведь,— перебил его, весело смеясь, Соловьев,— обыкновенно умирает самый младший, а младший-то здесь я, так что вы не беспокойтесь: если тринадцать такое роковое число, то я отбуду повинность за вас». И действительно, через два с половиной месяца он, неожиданно для всех, отбыл эту повинность в подмосковном имении князя Трубецкого... Весной предшествующего года одна талантливая петербургская художница писала в своей мастерской его портрет. Все время сеансов он был чрезвычайно весел, шутил, заливался своим детским смехом и говорил, что, веруя в учение о сорокадневном пребывании души умершего на земле, думает, что на это время она облекается формой не человека, а какого-либо другого живого существа, например птицы. «Я буду, конечно, филином,— говорил он,— и стану своим видом и криком пугать людей, а вам обещаюсь, если моя душа вселится в птицу, прилететь об этом сказать». Он отказался немед-

ленно взять подаренный ему художницей оконченный портрет, прося оставить его покуда в мастерской. В день, следовавший за его кончиной, художница приехала на несколько времени с дачи в Петербург и, ночуя в комнате, соседней с мастерской, услышала в последней ночью какой-то странный шум, а когда поутру вошла туда, то увидела, что порывом ветра раскрыто итальянское окно, и перед портретом Соловьева лежит, распростерши крылья, какая-то довольно крупная птица, влетевшая ночью и убившаяся, ударившись с разлета о раму портрета Соловьева.

Разойдясь с «Русским вестником» и не имея возможности, по личным отношениям к Некрасову, сойтись с «Отечественными записками», *Тургенев* сделался постоянным сотрудником «Вестника Европы», на страницах которого появились все произведения последнего периода его литературной деятельности. Излишне перечислять их: достаточно сказать, что все, написанное после «Дыма», было напечатано в журнале Стасюлевича. В противоположность Гончарову, Тургенев не исправлял в корректуре то, что содержалось в тщательно им самим переписанной красивым четким почерком рукописи, лишь иногда предостерегая редактора от напечатания того или другого места последней. Так, я уже говорил, что он просил повременить печатанием одного из своих «Стихотворений в прозе» под названием «Порог», в котором в виде диалога между судьбой и молодой девушкой была изображена готовность последней смело переступить, во имя увлекающей ее идеи, роковой порог, за которым для нее прекращались не только личное счастье, но и самая жизнь. «Через этот порог,— писал он редактору,— вы можете споткнуться... особенно, если его пропустят, а потому лучше подождать». Мне удалось прочитать еще в корректуре «Песнь торжествующей любви», «Стихотворения в прозе» и «Клару Милич» и, так сказать, предвосхитить для себя то наслаждение, которое ожидало читателей «Вестника Европы» от чтения этих перлов тургеневского творчества, между которыми я лично ставлю выше всего по удивительному, точно высеченному в мраморе, языку «Песнь торжествующей любви».

Тургенев в свои приезды в Петербург всегда был желанным и дорогим гостем за «круглым столом», за которым дольше, чем в обыкновенные дни, приходилось засиживаться, слушая неисчерпаемые в своем разнообразии

и прекрасные по своей конструкции рассказы великого писателя. Я уже рассказал о нашей общей встрече в конце семидесятых годов в Париже и о беседе с Тургеневым, внезапно раскрывшей затаенную в душе его рану. В 1883 году Иван Сергеевич тяжко заболел. «Все утро провел я сегодня в Буживале у постели Тургенева,— писал мне 1 июля этого года Стасюлевич,— к которой он несомненно прикован надолго; конечно, я нравственно удовлетворен, что успел все-таки увидеть его после всех тревожных известий, но только тяжко видеть его распростертым, совсем без движения; — он более шепчет, чем говорит,— лицо желтое, исхудалое и такие же руки, а сам — по-прежнему — колосс! Сравнение с Прометеем напрашивается само собой, а роль коршуна выполняет подагра, которая, очевидно, пала на желудок; он не может ничего съесть, чтобы не испытать жестокой боли, и каждый вечер надо делать ему впрыскивания морфия, чтобы дать возможность заснуть. Он был очень тронут моим появлением, но я не давал ему говорить, а сам болтал без умолку; завтра опять поеду к нему с утра»...— «При моем нервном настроении,— писал он мне 19 августа того же года,— я с ужасом помышляю о моменте моей встречи с гробом Ивана Сергеевича в Эйдкунене, куда еду за ним послезавтра,— это будет невыносимо тяжело!»

В. В. Стасов, снабдивший «Вестник Европы» рядом ценных исследований по истории искусства в России и обширными, чрезвычайно оригинальными статьями о русско-индейском эпосе, появлялся за «круглым столом» изредка и вовсе не производил, по крайней мере, на меня, впечатления сварливого и неугомонного спорщика, каким его рисовали литературные противники, давая ему шутливые прозвища. Я видел в нем всегда высоко и разносторонне образованного человека, с деликатностью чувства и добрыми порывами горячего сердца. Его неугомонный, до самой глубокой старости, ум работал непрерывно и приходил к самостоятельным выводам, которыми Стасов не хотел и не умел поступаться из желания не огорчать или быть приятным. Inde irae! [1] Под его наружностью патриарха билось юношески отзывчивое сердце, чуткое ко всему даровитому и самобытному. Увлекающийся и подчас односторонний, он не умел скрывать своих мнений, а мнения эти постоянно были чужды

[1] Отсюда гнев! (*лат.*).

уклончивой неопределенности. Это всегда был или восторг, или порицание, выраженное весьма неприкрашенным языком. Я сохранил о нем доброе воспоминание и скорблю, что при жизни он не был, по-видимому, достаточно оценен. Во всяком случае, если в деле развития русского искусства некоторые и пробовали умалить значение его заслуг в смысле побед над застоем и рутиной, то едва ли кто-нибудь решится утверждать, что он не был несомненно — употребляя выражение Бэкона — «трубой, зовущей на бой», а это так необходимо при нашем национальном и общественном квиетизме.

У Стасова с Тургеневым бывали частые литературные споры, очень характерные для них обоих. Я не присутствовал при том из этих споров, на который любил ссылаться Тургенев, рассказывая, что однажды, когда в споре о великом поэте с шумливым и горячим Стасовым, относившимся одно время к Пушкину отрицательно, он, истощив все аргументы, наконец, замолчал, видя бесплодность прений, то Стасов торжествующе воскликнул: «А-а! замолчал! сдаешься! согласился со мной?» — «Я вскочил,— рассказывал Тургенев,— стал быстро и судорожно стараться открыть форточку в окне, а на вопрос, что я делаю, воскликнул: я хочу высунуться и крикнуть на улицу: «Идите сюда, берите меня, вяжите: я сошел с ума, я согласился в Владимиром Стасовым!» Очевидно, что в связи с рассказом Тургенева об этом споре находилось и напечатанное впоследствии самим Стасовым «стихотворение в прозе» Тургенева, на которое Владимир Васильевич нередко благодушно ссылался и сущность которого сводилась, сколько мне помнится, к следующему совету: спорь с человеком, который глупее тебя: можешь его чему-нибудь научить; спорь с человеком умнее тебя: можешь от него научиться; но не спорь с Владимиром Стасовым.

С начала восьмидесятых годов постоянным членом «круглого стола» и деятельным сотрудником «Вестника Европы» сделался *К. К. Арсеньев.* Ему я посвящаю особые воспоминания отдельно от настоящих.

За «круглым столом» бывали и люди, не принадлежавшие к сотрудникам журнала, но близкие ему по симпатиям и по деятельности своей, в которой находили себе выражение и применение те же нравственно-политические начала, которые проводились на страницах «Вестника Европы». Между ними первое и незаменимое место зани-

мал покойный *Виктор Антонович Арцимович,* один из благороднейших деятелей по осуществлению в русской жизни отмены крепостного права, человек, умевший соединять глубокое уважение к закону с широкими взглядами на права и потребности народной жизни. Величавый в своей наружности, непреклонный в защите своих убеждений, умевший нежно проявлять доброту своего сердца и в то же время чуждый показной и иногда, в существе своем, жестокой сентиментальности — со свободной и твердой речью, в которой по временам вспыхивали то безобидный юмор, то горькая ирония, он был всегда желанным и всеми чтимым собеседником, и слово его, проникнутое глубоким житейским опытом и знанием людей, ярко освещало многие острые вопросы нашей исторической и бытовой жизни. Сюда, в этот кружок, приходил он отдыхать от лицезрения всяких условностей и компромиссов служебной жизни, на одной из верхних ступеней которой ему, в качестве старшего сенатора первого департамента сената, приходилось стоять. С горькой шутливостью делил он встречных на жизненном пути на «людей» и «людишек». Часто сталкиваясь с последними, ропща, негодуя и до конца своих многотрудных дней воюя с ними,— близоруко запертый в узкую область конкретных фактов, когда душа жаждала решения общих вопросов,— уязвляемый и обходимый по службе,— здесь он находил только тех, кого считал «людьми» и с кем, как с Кавелиным и мною, его связывала личная дружба.

К последним принадлежал и *Константин Карлович Грот,* тоже иногда бывавший за обедами у Стасюлевича. Близкий в своем внутреннем мире к Арцимовичу, по внешней своей повадке и наружности он ни в чем не был похож на пылкого, крупного, громогласного Арцимовича. Очень худощавый, сдержанный, с размеренной речью и тщательно взвешенными словами, Грот тем не менее вносил в беседу тот же житейский опыт, те же богатые воспоминания светлого прошлого и затаенную скорбь по поводу крушения идеалов, во имя которых он страдал и сражался в шестидесятых годах. Оба они относились друг к другу, как, в ярком изображении Пушкина, пехота к коннице: «Волнуясь, конница летит,— пехота движется за нею — и тяжкой твердостью своею — ее стремление крепит». Взволнованное описание Арцимовичем какого-нибудь злоупотребления властью или мрачной по своему источнику меры Грот умел подкреплять спокойными юри-

дико-политическими соображениями, которые с особой силой показывали, сколько правды и справедливого гнева заключается в увлечении старого телом, но молодого душой «человеколюбивого стража закона», как был назван в надписи на сенаторском надгробном венке Арцимович.

Несколько раз среди обедающих появлялась привлекательная фигура моложавой старушки с умным и выразительным лицом, обрамленным по моде сороковых годов длинными кудрями с сильной проседью. Воплощенное физическое и нравственное изящество — вдова учителя и сослуживца хозяина дома *Александра Васильевна Плетнева* была живым напоминанием о старом ректоре Петербургского университета и друге Пушкина, последние страдальческие годы которого она озарила нежной любовью и самоотверженным уходом. Подобно Кавелину, она была русским человеком с головы до ног, и сквозь оболочку тонкого европейского воспитания это ясно выступало в ее слове и деле, в ее глубоко прочувствованных письмах и в ее отношениях к людям.

При воспоминании об обеденных собраниях в «Вестнике Европы» проходят перед умственным взором еще некоторые из покойных постоянных участников застольных бесед: сосредоточенный, с веским словом, *А. Н. Пыпин,* многолетний «столп» журнала; увлекающийся, живой, начитанный и страстный спорщик — *Е. И. Утин;* блестящий, светски любезный, тонкий ценитель произведений литературы и искусства, разносторонний князь *А. И. Урусов* — и, наконец, глубокий и самобытный историк-художник, мой современник и товарищ по Университету *В. О. Ключевский.*

Между иностранными гостями у «круглого стола» особенно памятными мне остались *Шпильгаген и Меккензи Уоллес.* Я не был никогда поклонником произведений первого из них с их деланностью, отсутствием житейской правды и переплетением книжного радикализма с весьма прозаическими идеалами. Но автор был человек очень интересный. Его рассказы блистали остроумием и тонкой наблюдательностью, совсем не напоминающими напыщенную и вязкую прозу его романов. Мне помнится, что он еще в 1879 году с точностью предсказывал теперешнее усиление социал-демократии в Германии и определительно указывал главные ее избирательные и боевые центры. Очень интересны были также его наблюдения над соста-

вом унтер-офицеров германской армии, в котором строжайшая дисциплина, доходящая до черствого бездушия, была, по его словам, неразрывно связана с социал-демократическими тенденциями крайнего характера. Иное впечатление, чем словоохотливый и пылкий Шпильгаген, производил сдержанный Меккензи Уоллес, больше слушавший, чем говоривший, всегда спокойный, осторожный и вдумчивый в выводах. Несмотря на то, что он уже проявил в своей замечательной книге глубокое знание России и развернул перед многими из своих русских читателей такие стороны жизни их родины, о которых они имели самое смутное, а иногда и превратное понятие, он продолжал учиться, вслушиваться и набирать в себя различные данные, как губка воду. Этому способствовало прекрасное знание и понимание им русского языка, которым он сам владел совершенно свободно. Однажды, когда перед началом восточной войны, за обедом зашла речь о тянувшемся уже несколько лет так называемом — по имени прокурора саратовской судебной палаты—Жихаревском деле о политической пропаганде в тридцати пяти губерниях, Уоллес не удовлетворился общими замечаниями присутствовавших, а пожелал проводить меня до дому, чтобы подробно познакомиться со всеми сторонами этого, как он выразился, микрокосмоса внутренней политической жизни России. Беседа наша, веденная дорогой, кончилась тем, что я пригласил его к себе, и мы просидели до двух часов ночи в обмене мнений и взглядов по поводу той пагубной близорукости, с которой в течение четырех лет велось и раздувалось это дело, по которому впоследствии из девятисот девяноста шести привлеченных к следствию перед сенатом предстало только сто девяносто три. Появление Меккензи Уоллеса за «круглым столом» было связано с одним довольно комическим эпизодом. Однажды в числе случайных гостей был один провинциальный профессор, по-видимому, несколько поспешный в своих суждениях. При разговоре о долголетии английских авторов сравнительно с безвременной кончиной русских, он высказал удивление тому, что Теккерей не только начал писать в очень поздние годы жизни, но и обратился к писательству без всякой подготовки, непосредственно вслед за занятием фотографией. «Теккерей фотографом никогда не был»,— скромно заметил Меккензи Уоллес...— «Нет, извините, был!» — решительно возразил приезжий, повторив настойчиво то же утверждение в ответ и на мое заме-

чание, что первый роман Теккерея «Ярмарка тщеславия» появился за несколько лет до изобретения фотографии, когда светопись ограничивалась лишь так называемым дагерротипом. «Теккерей,— заявил еще кто-то из присутствующих,— был секретарем вице-короля Индии, но фотографом никогда не был и быть им не мог».— «Ну вот,— решительно воскликнул спорщик,— как можно это говорить, когда я сам читал об этом статью в «Deutsche Rundschau»[1], где именно это сказано, т. е. не то, чтобы читал, а видел ее заглавие. Ведь там прямо так и напечатано: «Tackeray als Photograph»![2]» Вежливый англичанин стыдливо потупился, а между всеми остальными «тихий ангел пролетел»...

Пора, однако, окончить эту вереницу воспоминаний, хотя и длинных, но далеко не полных. Став с 1876 года одним из заседателей «круглого стола», я сделался с 1880 года сотрудником «Вестника Европы», поместив в нем «Спорный вопрос судоустройства», и увидел затем на его страницах мои исследования о докторе Гаазе, о Д. А. Ровинском и И. Ф. Горбунове, речь о нравственном облике Пушкина, произнесенную в юбилейном заседании Академии Наук, статьи о Владимире Соловьеве и о князе Черкасском, ряд критических и библиографических заметок (об «Этике» Спинозы, о книге киевского профессора Гилярова «Предсмертные мысли XIX века во Франции» и др.) и опыт программы борьбы с народным пьянством. Пришлось оживленно поработать в свое время и в «Порядке», поместив в нем много мелких заметок, некрологов (между прочим «У гроба Ф. М. Достоевского»), юридических обозрений («Судебные уставы на страницах Свода законов», «Судебная реформа и практика» и др.) и две передовые статьи по поводу кончины и погребения царя-освободителя. С благодарным чувством вспоминаю я, как тепло отнеслись семь лет назад мои «совопросники» и собеседники по «круглому столу» к исполнившемуся сорокалетию моей служебной деятельности, когда мне неожиданно пришлось почувствовать себя по отношению к ним в положении подсудимого, признающего свою вину и лишь мечтающего о снисхождении со стороны присяжных и которому последние, к немалому для него конфузу выносят оправдательный приговор. Воспоминания о моей судебной службе — как это ни странно — тесно связаны с

[1] «Немецком обозрении» *(нем.)*.
[2] «Теккерей как фотограф» *(нем.)*.

дружеским кругом, который в былые годы сходился за «круглым столом». Эта служба шла, выражаясь словами Пушкина, «горестно и трудно», и тот ее период, когда я, вопреки некоторым неосновательным надеждам, действовал в твердом сознании, что русский судья, призванный применять Судебные уставы по их точному смыслу, обязан быть нелицемерным слугой, но не прислужником правосудия, бросал свою тень на все последующие долгие годы, ставя меня в положение лишь терпимого, но отчужденного судебного деятеля, которому решались предлагать сложить с себя судейское звание и которого подвергали разным видам служебных аварий — нравственных и даже материальных — до лишения преподавательской кафедры и назначения членом комиссии для разбора старых архивных дел включительно. Ныне я этому могу только радоваться, имея возможность оглянуться назад, не краснея и не стыдясь моего прошлого. Но бывали тяжелые дни и часы, когда в отмежеванной мне области деятельности я чувствовал себя одиноким, окруженным торжествующим противодействием, явным недоброжелательством и тайным злоречием. Но и тогда, в течение почти тридцати лет, садясь за гостеприимный «круглый стол», я чувствовал себя в области идей и начал другого, высшего порядка: мне дышалось легче и свободней, и бодрость снова развертывала свои крылья в моей душе. И теперь, когда перед моим мысленным взором проходят образы людей, встречавшихся за этим столом, я не могу не быть признательным им за то «ambiente»[1], за ту нравственную атмосферу, в которой провел я с ними и благодаря им многие часы. Сколько из них уже ушло в «Элизиум теней»! Я вижу благородные седины Арцимовича и из уст его слышу заветы истинной государственной мудрости; я слышу заразительный смех и страстное слово Кавелина; передо мной встает Спасович с непокорным, ярким словом, в которое облечено глубокое содержание; я не могу забыть рассказов Тургенева; мне кажется, что еще и теперь сидит против меня мой старый добрый друг Иван Александрович Гончаров и что, вперив проникновенный взор куда-то вдаль, задумался Владимир Сергеевич Соловьев. Моя признательность идет дальше. В течение довольно долгих и трудных лет приходилось работать на своем поприще среди враждебного настроения, не чувствуя и не видя около себя почти никакой поддержки. Как часто тут наступают

[1] Окружение, обстановка *(ит.)*.

минуты усталости и смертного греха уныния и подкрадывается к человеку услужливый *компромисс* со своими обманчиво успокоительными нашептываниями об уступках! Как легко ему поддаться и незаметно для себя пойти по наклонной плоскости до той поры, когда придется услышать роковое: «Да воспляшет Исакий с нами!» В такие минуты я искал опоры не только в императиве собственного сознания, но нередко и в представлении о кружке сидящих за «круглым столом». Вокруг него до последних лет все больше и больше сгущалась тьма; когда-то кусок небольшого, но цельного материка, он становился островком, затерянным среди безбрежного моря пошлости, лицемерия и самохвальства. Однако вступить на этот островок, причалить к нему было хотя и отрадно, но не легко. Это надо было заслужить. И для меня, столь часто чувствовавшего себя *чужим* в области своей прямой деятельности и *своим* в этом кружке, он был своего рода нравственным ареопагом. Мысль о нем не могла не убивать соблазнов компромисса. «А что скажет на это Кавелин! Как пожму я его честную и неуступчивую руку? Какая грусть промелькнет в глубоких глазах Арцимовича, и какая улыбка сдержанного сожаления встретит меня на лице Михаила Матвеевича!» Вот за эту нравственную поддержку, столь важную для того, «чтоб человек не баловался», как сказал Некрасов, я на восьмом десятке своей жизни не могу не сказать спасибо...

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Не раз и верно было сказано, что в нашей общественной и духовной жизни «нет вчерашнего дня», что люди, дела и явления, даже недавнего прошлого, забываются самым прочным образом и неизбежные иногда упоминания о них вызывают недоумевающие вопросы. Это относится ко всем сферам деятельности, не исключая и литературной, в которой, казалось бы, звенья цепи воспоминаний должны быть особенно крепко спаяны. На деле это не так. Есть имена, по отношению к которым забвение является прямой несправедливостью. Личность и деятельность носительницы одного из таких забытых имен были предметом доклада моего в литературно-художественном кружке имени Полонского в январе 1903 года. Приближается 25-летие ее кончины, и хочется снова напомнить о ней.

2 декабря 1893 г., в маленьком местечке, вблизи Дрездена, скончалась в полном одиночестве и материальной нужде, под грубым надзором суровой служанки, давно уже больная, покинутая и забытая всеми, когда-то приехавшая из России, 85-летняя старушка... Ее похоронили на счет местной общины, продав для покрытия расходов ее скудное имущество и два больших сундука с письмами и какими-то рукописями... А рукописи эти несомненно были интересны и содержательны, так как умершая — Каролина Карловна Павлова, урожденная Яниш — занимала в московском обществе сороковых и первой половины пятидесятых годов выдающееся положение и была автором ряда поэтических произведений, превосходных переводов и глубоко прочувствованных бытовых повестей. Пятилетним ребенком, при побеге родителей от наступавшей Наполеоновской армии, она видела зарево над пылающей Москвой, в жизнь которой вступила затем в расцвете молодости, ума и редкой, по тому времени, образованности.

Встреча с Мицкевичем в 1826 году оставила неизгладимый след на всей ее душевной жизни. Высланный в Москву и побывавший перед тем в тюрьме за участие в «Обществе филаретов», автор «Дзядов» и «Конрада Валленрода», любимый посетитель салона княжны Зинаиды Волконской, пылкий и впечатлительный поэт-им-

провизатор увлекся выходящей из ряду девушкой, которой давал уроки польского языка, и встретил в ней глубокое чувство, не покидавшее ее до гроба.

Временные переезды в Петербург, обширные литературные связи, жаждущая новых впечатлений душа и страстное желание свободно расправить свои крылья за суровой границей России постепенно охладили его чувство. Слова любви обратились у него в уверения в дружбе и в написанную в альбом покидаемой девушки поэтическую просьбу не забывать его, созерцая полет влекомых вдаль светом и теплом птиц («Пшелетны птахи»). Но в душу Каролины Яниш образ любимого человека внедрился навсегда и неизгладимо. Не только ее первые стихотворения проникнуты трогательным обращением к нему, но и в последующие десятилетия она не раз, стараясь то переселить свои воспоминания, то снова вызывать их с особой силой, обращается к этому образу. Она, конечно, безответно, спрашивает Мицкевича в годовщину вечера, когда «при шуме бала безмолвно я назвалася твоей», не забыл ли он дня, «когда она ему навек без страха обреклась — в тот миг святой пред божьим провиденьем,— когда душа глубоко полюбя, с невольным скажет убежденьем — душе чужой: я верую в тебя?»

А вспоминая последнее свидание с Мицкевичем, она спрашивает себя: «Ужели я теперь готова — чрез двадцать лет заплакать снова,— как в тот весенний грустный день,— ужели утолять я рада — былого кубком, полным яда,— все жажды тщетные души?» И через 35 лет после смерти Мицкевича, за четыре года до своей смерти, она пишет его сыну: «Воспоминание о моей любви к вашему отцу и до сих пор является счастьем для меня. Время, вместо того, чтобы ослабить, лишь укрепило мою любовь. С благодарностью вспоминаю о том благословенном дне, когда он спросил меня, желаю ли я быть его женой. Он всегда стоит передо мною, как бы живой. Для меня он не перестал жить. Я люблю его теперь, как не переставала любить все время».

Покинутая любимым человеком, Каролина Яниш не замкнулась, однако, «в немом бездействии печали», а постаралась, хоть отчасти, заглушить свою тоску живой литературной деятельностью. Ее личность, блеск ее ума, разнообразие ее сведений привлекли к ней симпатии многих выдающихся людей. Среди них были славяно-

фил Киреевский, поэты Баратынский и Языков и Александр Гумбольдт, очарованный ею при проезде его через Москву на Урал. Жизнь, однако, брала свое. Сердечная рана Каролины Яниш казалась ей зажившей, и она решилась променять вызывавшее в те времена обидное сострадание положение покинутой старой девы на возможность иметь семейный очаг, у которого сходились бы люди, преданные умственным интересам, обретавшимся вообще «не в авантаже». Избранником ее оказался остроумный и смелый по тому времени писатель Николай Филиппович Павлов, автор трех повестей, в которых прозрачно выражался протест против крепостного права и появление которых в печати вызвало взыскание с цензора и многозначительную для автора резолюцию императора Николая I о том, что автору лучше было бы употребить свой талант на описание природы Кавказа. Семейная жизнь Павловой не залечила, однако, раны ее сердца и в общем не была счастлива. Оскорбленная как супруга легкомысленным поведением своего мужа, она была справедливо встревожена и за имевшиеся у нее средства для воспитания и обеспечения единственного любимого сына, так как Павлов необузданно предавался, несмотря на все даваемые им обещания, карточной игре и безоглядно выдавал векселя, прося ничего не понимавшую в этом жену ставить на них свои бланки.

Тем сильнее работала она в области поэзии, в которой, по признанию такого ценителя и знатока ее, как Валерий Брюсов, ее стихи достойны занять место наряду с произведениями наших лучших поэтов. Кроме чисто лирических, она оставила ряд произведений, свидетельствующих о ее живом отношении к современным ей общественным движениям и о горечи, с которой она смотрела на нашу способность быстро нагреваться и скоро остывать. В последнем отношении замечательны два ее стихотворения. Одно — каждая строка которого оканчивается язвительными словами: «нам некогда было»,—обращено к памяти поэта-самоучки Милькеева, с которым московское общество носилось, превознося его выше меры, а затем совсем забросило недавнего любимца без помощи и сочувствия, так что он покончил самоубийством. Другое — исполненное иронии — начинающееся словами: «Средь зол земных, средь суеты житейской — нам уцелел божественный завет» — рисует, как этот завет,

воспринятый, как будто с восторгом, быстро разменивается на мелочь и наконец обращается в ничто.

По убеждениям своим и дружеским связям Павлова склонялась к славянофилам. Но в распре их с западниками, вызванной публичными лекциями Грановского, она не стала на их сторону и с негодованием отнеслась к Языкову, который, в звонких стихах ее часто и усиленно воспевавший, указывал с «покиванием головы» на Чаадаева, Герцена и Грановского, как на «люд заносчивый и дерзкий — опрометчивый оплот ученья школы богомерзкой»,— которому «чужд и дик родной закон, родной язык не понятен, для кого родная земля иль безответна, иль смешна, чей ум развратен, а совесть прокажена». Обиженный ее отрицательным отношением к себе, Языков обратился к ней с посланием, в котором удивлялся, что она «поразила его — беззащитного неприязнью небывалой» за то, что его «русский стих восстает на нехристь злую за родную старину и долефортовскую Русь». В ее ответе сказалась высота ее нравственного развития и человечность ее взглядов, чуждых зоологическому патриотизму Языкова. Она писала: «Нет, не могла я дать ответа — на вызов мирный, как всегда,— мне стала ныне лира эта и непонятна и чужда. Не признаю ее напева — не он в те дни пленял мой слух,— в ней крик языческого гнева, — в ней злобный пробудился дух. Не нахожу в душе я дани — для дел гордыни и греха — нет на проклятия и брани — во мне отзывного стиха. Во мне нет чувства, кроме горя, когда знакомый глас певца — слепым страстям безбожно вторя,— вливает ненависть в сердца.— И я глубоко негодую,— что тот, чья песнь была чиста,— на площадь музу шлет святую,— вложив руганья ей в уста. Мне тяжко знать и безотрадно,— как дышит темной он враждой,— чужую мысль карая жадно и роясь в совести чужой.— Мне стыдно за него и больно,— и вместо песен, как сперва, лишь вырываются невольно — из сердца горькие слова».

Особенно выделяется между произведениями Павловой написанный в 1848 году «Разговор в Трианоне», в котором блестящий стих соединяется с глубиною мысли, яркостью образов и богатой исторической эрудицией. В беседе графа Мирабо и знаменитого авантюриста Калиостро в саду Трианона, где «в толках о своих затеях гуляли в стриженых аллеях толпы напудренных маркиз»,

проведена, подкрепленная рядом примеров, мысль о том, что выдающиеся события истории народов представляют собою смену проявления двух видов насилия: или одного над безответною толпой, или разъяренной толпы над стоящим нравственно выше ее. Беспощадный гнев Моисея, бой гладиаторов, суд над Христом, Нерон, любующийся пылающим Римом, Коло-ди-Риенци, казнь Тамплиеров, Жанна д'Арк, Варфоломеевская ночь, казнь Карла I и развратный пир Карла II проходят перед читателем в ряде ярких картин, оканчиваясь предсказанием, что и грядущая революция, которую так жадно ждет Мирабо, окончится после «взрыва сил сердитых» массою темных дел и разбитых надежд — и самовластьем одного над всеми. Можно смело сказать, что одного такого стихотворения было бы достаточно в Западной Европе, чтобы отвести автору почетное место в истории литературы. А многие ли у нас читали «Вечер в Трианоне» и на произнесенное имя Каролины Павловой не отвечают удивленным: «А кто это?»

В конце пятидесятых годов пребывание в Москве сделалось для Павловой очень тягостным. Азартная игра мужа вызвала процесс между ними, окончившийся признанием его несостоятельным должником и кратковременным заключением в долговое отделение — так называемой «яме», что подало повод к ядовитым шуткам и беспощадным остротам насчет бедной матери, прибегнувшей к крайним мерам борьбы для защиты достояния сына. А затем, в начале шестидесятых годов, во влиятельной петербургской журналистике началось отрицательное отношение к поэзии вообще, доходившее до утверждения, что «маленький, миленький Пушкин — поэт для юнкеров» и что «хорошие сапоги лучше Шекспира». В гекатомбу избиваемых поэтов попала и Каролина Павлова, стихи которой, вышедшие к этому времени неряшливым изданием, представляли собою, по мнению «Современника», «мотыльково-чижиковую поэзию дворянской галантерейности»... Особенно глумился над нею в этом журнале «Новый поэт», т. е. И. И. Панаев, этот, по злому, но верному замечанию Щербины, «коленкоровых манишек беспощадный Ювенал».

Все это, вместе взятое, повеяло таким холодом на душу 56-летней Павловой, что она решилась уехать жить за границу, чтобы там, в тишине неизвестности, предаться «ежедневному труду», который своей «неумолимой

суровостью» может заставить ее на время «позабыть то погибшее, во что она верила, чем жила и пред чем благоговела».

Но здесь, на чужбине, судьба ей, быть может, впервые улыбнулась, послав ей встречу и искреннюю дружбу с графом Алексеем Толстым, переводом драматических произведений которого на немецкий язык (одно из них, в ее переводе, было поставлено в Веймарском театре) она занялась с особым жаром. Свои отношения к Толстому она сама выразила в посвященном ему стихотворении. «Спасибо вам,— говорит она,— за дивный мир средь мира прозы, за вдохновенья благодать,— за прежние святые слезы,— в глазах сверкнувшие опять,— за все, что вновь мне грудь согрело,— за счастье предаваться снам, за трепет дум, за жажду дела — за жизнь души — спасибо вам!» В 1875 году граф Алексей Толстой умер, и жизнь Каролины Павловой, так ярко вспыхнувшая в общении с этим прекрасным человеком и истинным поэтом, в сущности прекратилась, обратившись в безрадостное существование. По иронии судьбы ей пришлось протянуть доживание этого существования еще 18 лет вне всяких связей с родиной, так как и сын ее, за которого она так печально для себя боролась, давно умер... Те очень немногие, которым, быть может, она иногда и приходила на память, считали и ее давно уже умершей, а стихотворения ее сделались большой библиографической редкостью. Новое их издание, вышедшее перед самой мировой войной, под редакцией Брюсова, поэтому тоже не могло обратить на себя должного внимания. На этот раз не без основания «нам некогда было!..»

НЕЗАМЕЧЕННАЯ СМЕРТЬ ЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

(Памяти А. Н. Пешковой-Толиверовой)

Передо мною собрание ценных материалов, дающих возможность с разных сторон оживить воспоминания об Александре Николаевне Пешковой-Толиверовой, с которой меня связывали дружеские отношения в течение более полувека. Мы познакомились в 1871 году, и хотя наша жизнь шла по разным дорогам и во встречах наших бывали большие перерывы, но при каждом свидании я видел перед собою прежнюю чуткую к просвещению и общественным нуждам и сердечно отзывчивую на них женщину, которой годы не умаляли ни энергии, ни трудоспособности. Буря войны и гроза революции вызвали собою широкое забвение о многих, выходящих из ряда людях, жизнь и деятельность которых в свое время живо интересовали современников. «Злоба дня» последнего десятилетия затмила их живой образ, и память о них, лишь у немногих, по словам поэта, «как нищий в дверь стучится боязливо». Случилось так и с Александрой Николаевной, скончавшейся 1 декабря 1918 г. Жизнь ее прошла в общении с самыми разнородными, но всегда выдающимися людьми,— в литературном и педагогическом труде, направленном обыкновенно на назревшие вопросы жизни и их служителей. К этим вопросам она относилась не с бесплодным созерцанием и добрыми намерениями, которыми, как известно, вымощен ад, но умела служить им горячим словом и бескорыстным делом. Вот почему кажется справедливым помянуть ее в пятую годовщину ее кончины и бросить беглый взгляд именно на ее слова и дела.

Нельзя отрицать того, как неправильно было поставлено у нас воспитание молодого поколения. Семья обыкновенно очень мало давала для развития в ребенке воли и характера и для внедрения в его душу безусловных правил нравственности. Ребенку приходилось нередко становиться или капризным бичом окружающих, или несчастным свидетелем домашних раздоров, причем его старались привлечь к сочувствию той или другой из враждующих сторон. Часто не обращалось никакого внимания на чуткость ребенка к впечатлениям и на глубокий след, оставляемый ими в его памяти. Житейские за-

боты, суды и пересуды родителей, неосторожные характеристики ими окружающих, давая вредную пищу пытливой детской душе, не питали ее здоровыми и облагораживающими образами. Пройдя такую печальную домашнюю школу, ребенок вступал в школу настоящую, причем семья часто считала этим свою заботу о воспитании оконченной, возлагая ее на училище. Но училище ее не исполняло, да и по своему устройству в большинстве и не могло исполнить, а забивало юную голову знаниями, подводя всех под один ранжир без всякого внимания к свойствам и темпераменту учеников и лишь очень редко давая в лице исключительных учителей пищу сердцу и совести учеников и заботясь только о гимнастическом развитии их ума. С такой подготовкой отрок, становясь юношей, вступал в жизнь, делаясь часто, под влиянием ее суровых требований и жестоких ударов, жертвою своей бесхарактерности, отсутствия нравственных устоев и ободрительных образов прошлого. Поэтому здоровая литературная и педагогическая деятельность должна направляться не только на детство и отрочество, но и на тех, кому последние обязаны своим существованием и чей долг вооружить их по мере сил для борьбы с жизнью.

Стремясь к такой цели, выступила в своей издательско-редакционной деятельности Александра Николаевна. Познакомившись с Татьяной Петровной Пассек — автором замечательной для своего времени книги «Из дальних лет»,— она сделалась сотрудницей иллюстрированного журнала для детей младшего возраста «Игрушечка», а затем, по смерти Пассек, которой она посвятила свои глубоко прочувствованные воспоминания, стала с 1887 года редактировать этот журнал, постепенно его расширяя помещением лучших детских французских и немецких рассказов и привлекая к участию в нем выдающихся русских писателей. Эти сотрудники сделали журнал «Игрушечку» весьма содержательным, внеся в него — вместо обычных для детей рассказов, толкающих их на путь суеверия или занимающих юное воображение картинами хитрости или военной жестокости,— знакомство с родной природой и с проявлениями в человеке доброты и самоотвержения. Достаточно просмотреть какой-нибудь год «Игрушечки», чтобы видеть, как умно и старательно составляла каждый номер журнала Александра Николаевна. Вот, например, 1895 год. В нем ряд живых и талантливых рассказов, направленных на развитие в

детской душе доброты, сострадательности и чувства справедливости. Тут мы находим стихотворения Вейнберга, Дрожжина, Фофанова, Величко и прозу Лескова, Мамина-Сибиряка, Баранцевича и др., находим превосходные, интересные и для взрослых очерки Кайгородова из природы и блестящие рассказы Горбунова-Посадова из времен преследования христиан в Риме, проникнутые глубоким чувством. Почти все это иллюстрировано рисунками Бем, Каразина и Репина, а портреты выдающихся сотрудников снабжены их автографами. Таким образом юный читатель не только слышал автора, пришедшего к нему с приветом и мягким, осторожным отношением к его впечатлительному в этом возрасте сердцу, но и видел его лицо и даже знакомился с его почерком. Рассказы и стихи иностранных авторов снабжены тщательным и точным, буквально подстрочным переводом. При «Игрушечке» издавались ежегодно шесть томиков элементарного природоведения для детей, снабженных рисунками, составляемых преимущественно профессором Ю. Н. Вагнером и Д. А. Коропчевским.

Одного знакомства юных читателей с главнейшими явлениями природы, однако, мало. Окруженная ими, создается и идет деятельная жизнь человека. На ее развитие имеют влияние внушительные примеры, даваемые образами замечательных людей. Это вполне понимала Александра Николаевна — и в четвертую серию «Библиотечки журнала «Игрушечка» ею внесен ряд биографий писателей, служителей искусства и изобретателей: Теннисона, Фультона, Стефенсона, Уатта и др. с их портретами; черты из детства Ломоносова, Гейдена, Паганини, Айвазовского, Линнея и Рубинштейна, и все заключено столь необходимым в наше время очерком под названием «Люди долга». Рассматривая «Игрушечку» и прилагаемое к ней, нельзя не проникнуться уважением к строго выдержанному и проникнутому одной идеей редакторскому труду и не сказать: «Нет! Это не «Игрушечка», которую можно с годами бросить, это — светоч знания и любви, лучи которого, запавши в душу ребенка, будут ему светить всю остальную жизнь».

Издавая «Игрушечку» для детей младшего возраста, А[лександра] Н[иколаевна] несомненно сознавала, что материал, даваемый этим журналом, быть может, слишком серьезен для ребенка до восьми лет, когда на первом плане должна стоять без ущерба нравственной цели рас-

сказа главным образом его занимательность, а не поучительность. Она становится редактором журнала «Для малюток», богатого живыми и богато иллюстрированными рассказами из жизни животных и сценками из детской жизни, подписанными, между прочим, такими видными литературными именами, как П. П. Гайдебуров и Коропчевский. Можно, однако, пожалеть, что она не решилась уклониться от укоренившейся, к сожалению, традиции, рекомендующей занимать ребенка баснями, смысл и вывод которых понятен лишь взрослым,— баснями, изобилующими картинами торжества жестокости, ухищрений и обманов. Вообще детское чтение очень интересовало А[лександру] Н[иколаевну]. В оставшихся после нее рукописях есть подробное рассуждение о влиянии книги на развитие ума и характера ребенка и горячий протест против неразборчивого чтения книг исключительно для развлечения, причем она цитирует мнение в этом отношении Марка Аврелия, Эмерсона и Шопенгауэра. Она, очевидно, разделяла тот справедливый взгляд, что «ребенок есть отец взрослого», и эти впечатления, внедрившиеся в детскую память, влияют на поступки взрослого иногда и без ясного с его стороны сознания. Есть в этих рукописях и «Тезисы» редактора «Игрушечки», в которых возбуждаются, между прочим, вопросы: какие книги желательны в дошкольный период (от 7 до 9 лет), когда одновременно с физическим ростом идет и духовный рост ребенка и складываются душевные основы, остающиеся на всю жизнь; также какие требования должны быть предъявлены к «детской литературе», чтобы оградить ее от спекулятивного характера.

При таких условиях воспитания, о которых говорено вначале, необходимо не только здоровое — путем удовлетворения любознательности детей благотворными примерами — научение детей, но и руководящие указания и разъяснения для родителей. Сознавая это, А[лександра] Н[иколаевна] предприняла с 1893 года издание педагогического сборника «На помощь матерям», содержащего богатое собрание научных и популярных статей по вопросам, возникающим при серьезном взгляде на задачи воспитания. Для примера можно взять этот сборник за 1900 год, на страницах которого помещены между практическими указаниями на способ и приемы преподавания статьи о детской талантливости, внимании при домашнем и школьном обучении, о развитии обще-

ственности у детей, о единении семьи и школы, о серьезных ответах на детские вопросы и т. п. и ряд ученых докладов, имеющих отношение к заботе о здоровье детей: Блуменберга о заразных заболеваниях и способах предупреждения их; Оппенгейма о нервных болезнях и воспитании; доктора Ельциной о сифилисе и общественном здоровье; А. Н. Шабановой о помощи в несчастных случаях и, наконец, доклад столь жестоко похищенного смертью профессора Розенбаха — о ненормальных детях.

Забота о правильной постановке детского воспитания не покидала Александру Николаевну и в более поздние годы. Она вызвала ее обращение к «великому писателю земли русской», который в ответ писал ей за год до своей смерти: «Давно следовало мне отвечать на ваше милое письмо, но задержало меня, кроме нездоровья и занятий, главное то, что хотелось бы и хочется ответить на ваши огромной важности вопросы насколько могу основательно, чего до сих пор не удосужился или не сумел сделать. Ваши вопросы не оттого только, что вы их сделали, неотступно стоят передо мной. Кое-что я, мне кажется, имею сказать об этом великом деле — охранение детской чистоты и праведности и от всегда угрожающего им развращающего влияния старших — и непременно скажу, если успею, и сообщу вам. Дружески приветствую вас. Лев Толстой». Воспоминания свои о встречах с Толстым Александра Николаевна поместила в редактируемом ею в 1911 году журнальчике «Красные зори», посвятив свою большую статью «Светлой памяти Толстого».

Рядом с издательско-редакторскою деятельностью у Александры Николаевны шла личная литературная работа. Ее живой характер и отзывчивость на культурные стороны жизни заставляли ее встречаться со многими выдающимися деятелями, вглядываться в них и запечатлевать свои впечатления и воспоминания в отдельных очерках, часть которых, к сожалению, не была окончена и оставалась в рукописи, в различных вариантах. Из напечатанных следует отметить очерк, посвященный Н. С. Лескову, с которым ее связывали многолетние дружеские отношения, обширная переписка с ним рисует очень ярко этого глубоко талантливого, нервного, ворчливого и вместе с тем всегда готового на посильную помощь «нуждающимся и обремененным» человека. Преклоняясь пе-

ред талантом великого артиста Эрнеста Росси, А[лександра] Н[иколаевна] посвятила ему обширную биографическую статью с подробным разбором его игры, главным образом, в шекспировских трагедиях и с описанием прощального обеда, данного ему в Петербурге артистами, писателями и художниками. В бумагах ее сохранились фотографии и портреты Росси с самыми теплыми благодарственными надписями, называющими ее самым дорогим своим другом («mia piu cara amica»). И к знаменитому итальянскому патриоту и борцу за единство родины — Гарибальди отнеслась она с горячим чувством и подробно описала свое посещение в 1872 году острова Капреры, где пребывал раненный при Аспромонте Гарибальди, узнавший о ее «любящем» уходе в Риме за ранеными гарибальдийцами и пожелавший увидеться с нею в своем уединении. Это описание, помещенное в «Историческом вестнике», полно интереснейших подробностей, рисующих оригинальную повадку героя, его образ жизни и домашнюю обстановку, его трогательную скромность и его воспоминания о нашем Пирогове, уберегшем, вопреки другим врачам, его раненую ногу от ампутации. В бумагах А[лександры] Н[иколаевны] сохранились две характерные фотографические карточки Гарибальди с любезными подписями и два письма, в которых он рекомендует ей один одобряемый им журнал в Ливорно («un buon giornaletto») и шлет теплый и задушевный привет русскому народу, имеющему принять участие в будущих мировых задачах. Познакомилась она в Риме и с гениальным виртуозом Листом в салоне немецкой писательницы Шварц и описала впечатление, производимое им и его игрою, а также своей беседой с ним и его самобытные и свободные, несмотря на носимый им костюм аббата, взгляды на общественные вопросы.

И некоторые наши русские артисты и писатели были в дружеских с нею отношениях. Достаточно указать на ее воспоминания о Ф. М. Достоевском («Красные зори», 1911 г.), письма к ней Я. П. Полонского, на трогательные воспоминания о Н. В. Шелгунове по поводу 25-летия его смерти, касающиеся и его друзей Н. К. Михайловского и Засодимского, на письма к ней Шеллера и ряд писем народного поэта Сурикова, в которых последний делился с нею своими житейскими скорбями и своим унынием, переходившим в отчаяние. Предполагая в 1875 году издать сборник «Мысль и труд», А[лександра] Н[иколаевна]

пригласила его в сотрудники, и он отвечал ей: «Сборник Ваш предназначается для юношей; скажите им о тех горе и страданиях, которые испытывают умственные труженики; посылаю для сборника стихотворение «Труженик». Сборник был, однако, конфискован. «Что остается делать... Ни по складу ума, ни по нашему характеру мы под эту мерку не подойдем. Сидеть сложа руки в отупении, похоронить себя заживо в могиле, чтобы сердце сгнило и ум высыхал — дело скверное...» Когда в 1880 году Суриков умер, А[лександра] Н[иколаевна] написала о нем прочувственный отзыв с биографическими данными, названный ею «Поэт-страдалец». Была она в дружеских отношениях и с талантливой артисткой Стрепетовой, и в прочувствованных воспоминаниях о последней, написанных Александрой Николаевной, содержатся очень ценные черты для характеристики этой богато одаренной, с суровою наружностью и добрым сердцем великодушной артистки, отдавшей серебряные венки, поднесенные ей публикой в пользу голодающих, крайне резкой и независимой в своих взглядах и действиях и в то же время безусловно подчинявшейся своему юному сыну Виссариону. Живописуя удивительную, потрясающую зрителей игру Стрепетовой в «Горькой судьбине» Писемского, Александра Николаевна рассказывает, как во время первого представления известного врача С. П. Боткина несколько раз вызывали за кулисы к терявшей силы, горько плакавшей артистке, игравшей Елизавету и лично на себе пережившей ее горькую долю и душевные терзания.

Наконец, она напоминала обществу о литературных трудах Клавдии Лукашевич и Ольги Шапир и о научных трудах Безобразовой. Ее отзывы об этих лицах рисуют ее самое и ее стремление нарисовать образы хороших людей в такое время, когда все были поглощены вестями о войне и когда такое напоминание тем более уместно, что мы и в обычное время, по выражению Пушкина, «ленивы и не любопытны».

Вместе с таким отношением к житейским встречам Александра Николаевна набросала ряд воспоминаний о событиях и обстоятельствах своей личной жизни. Таковы сохранившиеся в ее бумагах наброски: «Маленький опыт на человеке», темой для которого послужили, по-видимому, дуэль Евгения Утина с Жоховым, имевшая последствием, кроме смерти Жохова, еще два самоубийства —

его жены и ее сестры; «Дрезден», на религиозную тему; «Картинки из жизни художников в Риме» и т. д.

Наконец, она интересовалась и психологической стороной волновавших общественное мнение уголовных процессов. Это сквозит в ее рукописи «Автору «Прелюдии Шопена» (Л. Л. Толстому) и в особенности в статье «О деле Ландсберга», где она проводит мысль о том, что активное участие в военном кровопролитии, награждаемое и поощряемое, должно развивать в людях с заснувшей совестью готовность истреблять тех, кто стоит им на пути к достижению тех или других житейских благ, ссылаясь на свое поощренное прошлое. Замечательно, что этот Ландсберг, «отличившийся» в Восточной войне и убивший вредного для него ростовщика, в своей оправдательной записке, поданной следователю, но не оглашенной на суде, именно утверждал, что, отнимая жизнь на войне у людей, ему никакого зла не сделавших, и будучи воспитан в этом духе, он, конечно, имел право «устранить» человека, который ему оказывался опасным на пути к достижению личной цели.

По образу мыслей Александра Николаевна принадлежала к «людям шестидесятых годов», пережившим эпоху «великих реформ» и оставшимся ей верными несмотря на разные житейские испытания. Среди сохранившихся после нее рукописей есть очень характерные черновые письма к издателю «Нового времени» А. С. Суворину, пятидесятилетний юбилей которого праздновался в 1909 году с особой торжественностью многочисленными поздравителями в дворянском собрании. Отдавая справедливость личной доброте Суворина и его большому литературному дарованию, она писала ему: «Я не буду в дворянском собрании, не буду и на ужине, и знаете почему? В собрании на ужине будут говорить многие и многое, но не скрою, что я мало верю в эти публичные излияния... Искренное чувство скромно и стыдливо. В данный момент для очень многих Вы большая величина, и на Вас смотрят из всех даже самых отдаленных уголков России, но я смотрю на Вас не в то время, когда Вы стоите на эстраде дворянского собрания, окруженный тысячною толпою. Нет, не этот момент Вашей жизни мне дорог. Мне дорого то славное время, когда толпа не менее многочисленная следила за всем нам — людям того времени — дорогим и блестящим «Незнакомцем». Вы помните эту толпу. Она была иная. Ее любовь к Вам бы-

ла бескорыстная. Тогда ведь Вы не занимали Вашего нынешнего положения. Тогда Вы были только скромным «Незнакомцем» и Вас любили только за Ваше личное *я*. Да, то были славные годы с их строгой неподкупностью, с их страстной верой в лучшее будущее. Вы помните все это? Да будет благословенно то время. Читая о приготовлениях к Вашему юбилею, я мысленно около Вас, но не в дворянском собрании, а на Васильевском острове, в маленькой бедной квартирке А. Г. Маркозовой, где в 1871 году мы с Вами познакомились и Вы — в то прекрасное время, как живой, стоите предо мною...»

Способная очень увлекаться доверием к людям — в чем ее нередко сердито упрекал в письмах Лесков — она не раз в жизни испытывала тяжелые нравственные потрясения. И забвения и лекарства от них она искала в многосторонней и кипучей деятельности, отдавая ей всецело и все свои силы, и все свое время. Поэтому не одну ее литературно-педагогическую работу следует вспомнить. Как «шестидесятница», она приняла самое живое участие в постепенном развитии борьбы за женское равноправие. Падение крепостного права дало первый толчок стремлению русской женщины завоевать себе равноправие с мужчиною во всех сферах деятельности, которые могут быть ей доступны по ее физической природе. Прежние изящные «куколки» и «кисейные барышни» в большинстве оказались поставленными пред альтернативой выхода замуж или личного заработка. Но с усложнением и удорожанием жизни брак становился все затруднительней и делался для многих предметом роскоши. Оставалось работать. Для возможности и успешности этой работы необходимо было создание путем обычая и законодательных мер такого положения, при котором личное стремление к труду не встречало бы препятствий в предрассудках, лицемерном уважении к «призванию» женщины и в законодательном застое. Нужно было пойти дальше и шире, чем указывал безумный губитель родины Вильгельм II, говоривший, что задача женщины должна исчерпываться четырьмя «K»: «Kinder, Küche, Kleider, Kirche»[1]. Выдающиеся русские женщины стали пробивать брешь в обманчивой твердыне этих взглядов. Имена Софьи Ковалевской, двух Тарновских, Философовой, Стасовой и Шабановой не могут и не должны

[1] Дети, кухня, платье, церковь (*нем.*).

быть забыты. Среди них заметное место заняла и Александра Николаевна, с жаром отдавшаяся женскому освободительному движению и начавшая ему служить словом и делом. Она явилась одною из учредительниц и горячей сотрудницей Русского женского взаимно-благотворительного общества, объединившего в своих стенах и отдельных учреждениях ряды интеллигентных тружениц под умелым председательством достойной А. Н. Шабановой, неустанная деятельность которой заслуживает отдельного очерка.

Александра Николаевна несколько трехлетий входила в состав совета Женского взаимно-благотворительного общества и во все его существовавшие при нем специальные отделы и кружки, делая в общих собраниях обширные, живо изложенные и проникнутые большою теплотою доклады и представляя проекты расширения и углубления деятельности Общества. Так, ею внесены были обширные и разработанные до мельчайших практических подробностей проекты общежития при Обществе и центральной столовой при нем. Ею же были сделаны в Обществе доклады о положении интеллигентных работниц и о положении прислуги, в последнем из которых очень ярко изображены лишения необходимых условий нормальной жизни, составляющие удел большинства прислуги, особенно женской. В одном из заседаний вслед за смертью Анны Павловны Философовой ею произнесена речь, в которой она тепло и выпукло изобразила кипучую натуру и безграничную участливость к чужим несчастью и горю этой замечательной женщины.

Горячая поборница женского равноправия, она не ограничивалась участием в съездах союза женщин, а стала издавать и редактировать с 1899 года литературный журнал «Женское дело», посвященный вопросу о расширении прав и улучшению положения женщины в различных условиях общежития. Первый номер этого журнала начинался портретом Софьи Ковалевской с приложением автографа ее, еще нигде не напечатанного, прекрасного по глубине и форме стихотворения.

В 1900 году Александра Николаевна приняла самое деятельное участие в учреждении и организации Общества помощи недостаточным больным образованным женщинам, имевшего целью обеспечивать временно или постоянно тружениц и в особенности учительниц, находящихся в безвыходном положении вследствие потери тру-

доспособности. Располагая значительными средствами, состоящими из членских взносов и небольших пожертвований, Общество сосредоточило все свое внимание именно на помощи больным, для посещения которых были избраны участковые попечительницы. Находящиеся в нужде больные пользовались бесплатными советами врачей — членов Общества, лекарствами, здоровой пищей и, наконец, ввиду состояния своего здоровья, помещались в больницы и санатории на средства Общества. При увеличении средств Общество стало входить в сношение с курортами и отправлять своих больных в Старую Руссу, на кумыс в Самарскую и Уфимскую губернии, в Крым и на Кавказ, а в 1911 году приобрело в собственность небольшой участок земли в Финляндии, около санатории Халила и построило собственную санаторию для туберкулезных, названную «Ауринко» («Солнышко») и рассчитанную на двадцать две больных. Рядом с этим Александра Николаевна участвовала в Обществе, имевшем свою санаторию в Лесном, и не только постоянно работала в советах этих обществ, но и по несколько лет бывала избираема их председательницей, энергично хлопоча об усилении их средств путем официальных сношений, в материально тяжелые для них времена, устройством подписок и публичных сборов.

Нужно ли говорить, что всякое общественное бедствие или широкое начинание находили в ней сочувственный отзвук. Так, она усердно хлопотала об осуществлении резолюции женской Лиги мира (основанной доктором А. Н. Шабановой), взывавшей об установлении «мира в мире» и собравшей двадцать четыре тысячи подписей со всех концов России, и участвовала в докладах на женском съезде в 1908 году в Петербурге.

Жизнь покойной Александры Николаевны была полна жаждой труда, направленного на общественное развитие, преданность родной литературе и деятельною любовью к людям, «quand même et malgré tout» [1], как любят говорить французы. На доброжелательные упреки некоторых, знавших ее, в излишней торопливости и хлопотливости она, сходя в могилу, 76 лет от роду, могла бы, оглядываясь на свою трудовую жизнь, сказать: «Я всегда в своих стремлениях и желаниях следовала завету из-

[1] Вопреки всему и несмотря ни на что *(фр.)*.

вестного человеколюбца доктора Гааза: «Спешите делать добро».

Жизнь с ее круговоротом и «злобами дня» оставляет в памяти о встреченных людях отдельные эпизоды и черты. Это своего рода кусочки мозаики. Но когда проходят годы и оказывается возможным собрать эти кусочки и сопоставить их, то выходит целая мозаичная картина, заставляющая порадоваться, что пришлось знать такого человека, а иногда и пожалеть, что в свое время люди недостаточно внимательно вглядывались в его внутреннюю сущность.

Такую мозаичную картину представляет жизнь Александры Николаевны для тех, кто захочет вдуматься в ее труды и достойную искренней симпатии личность.

М. Н. ЗАГОСКИН И ЦЕНЗУРА

Редактор-издатель журнала «Пантеон», расширяя в 1851 г. программу журнала, приглашал в сотрудники выдающихся писателей того времени — и обратился поэтому к драматургу и популярному автору исторических романов Михаилу Николаевичу Загоскину. Письмо Загоскина, приводимое ниже, показывает, до каких крайностей, в усердствующих руках, доходили иногда цензурные требования, вызываемые, без сомнения, в значительной части страхом перед грозным Комитетом, учрежденным в виду событий на западе Европы, 2 апреля 1848 года для надзора, в политическом и нравственном отношении, за духом и направлением книгопечатания. Достаточно припомнить, что главный и руководящий деятель этого Комитета Д. П. Бутурлин, по удостоверению графини Антонины Дмитриевны Блудовой, желал подвергнуть цензурному «усекновению» составленный Св. Дмитрием Ростовским акафист за то, что в нем упоминалось, между прочим, и о «незримом укрощении владык жестоких и зверонравных».

Тревоги и опасения, возбужденные в цензорах Бутурлиным и его сочленами по Комитету, отражаются, например, и в письме к редактору «Пантеона и репертуара» такого умного, благородного и довольно стойкого человека, каким был А. В. Никитенко. На цензурный просмотр последнего была представлена драма «Богдан Хмельницкий», написанная инспектором классов петербургского Екатерининского института П. Г. Ободовским, одним из второстепенных представителей того направления в русской литературе, которое Тургенев окрестил именем «ложновеличавой школы», развертывавшей в своих произведениях подчас с наивным самохвальством «пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своего отечества». «Милостивый государь Феодор Алексеевич,— писал 15 июня 1848 года Никитенко,— я не получил еще конца пьесы «Хмельницкий», назначенной для «Пантеона», но, судя по тем листам, какие у меня находятся, сомневаюсь, чтобы она могла быть пропущена. Дело идет о возмущении народа, *хотя и в пользу России,*— но все-таки в этих обстоятельствах произносятся речи, являют-

ся лица, происходят сцены, весьма щекотливые в нынешнее время. Вам, как опытному редактору, все это понятно без дальнейших изъяснений, и потому гораздо лучше было бы, если бы вы приостановили печатание этой пьесы до другого времени. С истинным почтением и т. д.».

Дело однако не всегда ограничивалось такого рода предуведомлением или, при упорстве редактора, прямым запрещением. Зачастую цензор пробовал заботливою рукою оберечь неосторожное, по его мнению, произведение от заклания и, заменяя собою автора, исправлял прозу и даже стихи последнего. Такая именно судьба постигла в начале пятидесятых годов одну из комедий Загоскина. Человек удивительного добродушия, трогательный в своем восторженном поклонении всему русскому и в особенности московскому,— горячий патриот, беззаветно преданный порядку и власти,— гремевший проклятиями против западной цивилизации и посылавший, по свидетельству И. И. Панаева, «крепкие словца» по адресу «западников»,— автор знаменитого «Юрия Милославского» и ряда романов во вкусе «ложновеличавой» школы уже по одной своей литературной деятельности должен бы был стоять выше цензурных урезок и поправок. Не мог он быть заподозрен и в стремлении обойти бдительность цензуры уменьем давать догадливому читателю возможность вычитывать «между строк» своих произведений превратные мысли,— чего вообще весьма опасался Комитет 2 апреля. Резкий в отзывах и громко высказывавший свои литературные антипатии, Загоскин горячо нападал, в свое время, на Надеждина и Белинского. «Золотое сердце» его, одинаково признанное друзьями и противниками, не смягчало его ожесточения против последних даже и тогда, когда Надеждину после запрещения «Телескопа» в 1836 году были навсегда заграждены уста. «Благодарю вас,— пишет он театральному обозревателю «Литературной газеты» 15 июня 1838 года,— за ваше обязательное и лестное для меня письмо; — я очень рад, что вам пришла благая мысль вымолвить иногда словечко о нашем московском театре, который хотя и не может никак состязаться с вашим петербургским, но, право, не заслуживает того, чтобы его отдали на съедение нашим московским журналистам или лучше сказать мордашкам, которые умеют только ругаться; заставил бы я их всех почаще читать

басню Крылова — Хавронью, которая «не жалея рыла, весь задний двор изрыла». Благодаря бога две московские мордашки — Надежин и Белинский замолчали, но хрюкание других свинок все еще от времени до времени раздается в стенах Белокаменной... Вспоминайте хотя изредка, что в Москве живет много *полуфранцузской мордвы,* но живут также и добрые люди, и люди с истинным просвещением...»

Наконец, казалось бы, что служебное и общественное положение Загоскина должно было ограждать его от подозрительного отношения цензуры к его намерениям и к его «образу мыслей». Камергер и директор императорских московских театров и Оружейной палаты, окруженный почетом московский старожил,— он пользовался особым благоволением императора Николая Павловича, пожелавшего в 1830 году лично познакомиться с автором «Юрия Милославского». За резкие нападения на этот роман в №№ 7, 8 и 9 «Северной пчелы» за 1830 г. Греч и Булгарин,— досадовавший, по словам самого Греча, на успех романа Загоскина из боязни материальной конкуренции,— были подвергнуты содержанию на гауптвахте, а осуществивший эту меру обуздания критики шеф жандармов граф Бенкендорф, в тридцатых же годах, даже предлагал Загоскину перейти на службу под свое непосредственное начальство, с переименованием в соответствующий военный чин.

Однако tempora mutantur![1] М. Н. Загоскин, представ пред очи петербургской цензуры, в самом конце литературной деятельности не избег общей участи писателей того времени. Вот его письмо, написанное за полгода до смерти автора, последовавшей в июне 1852 года:

«Милостивый государь Феодор Алексеевич.

Благодарю вас за честь, которую вы мне делаете, приглашая меня участвовать в издании вашего журнала; к сожалению, я ничего не могу вам обещать. Вот уж год как я не берусь за перо; тяжкая болезнь, которая не уступает никаким медицинским средствам, отнимает у меня всякую возможность заниматься словесностию,— а сверх того я поклялся ничего не печатать в Петербурге — и, когда скажу вам, что меня к этому побудило, то, вероятно, и вы согласитесь, что я совершенно прав.

Последняя моя комедия в стихах была пропущена без всяких помарок в цензуре собственной канцелярии госу-

[1] Времена меняются (*лат.*).

даря императора, а как поступила с нею С.-Петербургская цензура министерства народного просвещения? — Она сделала в моей несчастной комедии более пятидесяти помарок и поправок — и каких поправок! — вместо: прямой армейщина — прямой *кикимора,*— корнет назван *верхолетом,* вместо *зевающих мужей* напечатано *счастливейших мужей.* Подлино благочестивая цензура! не позволяет мужьям зевать даже тогда, когда им скучно. По этим трем поправкам вы можете судить и об остальных.— А хотите ли знать, какие стихи вовсе вымараны? — вот например:

Тот смотрит барином,— а этот что? — холоп?
Да и какой еще?.. тотчас забрили бы лоб
Да в рекруты...

Кто? — граф?.. Да он всегда гонялся за прогрессом
И Русь святую звал всегда дремучим лесом...

Я этих усачей до смерти как боюсь:
У них всегда прескверные повадки.
В моей он образной, пожалуй, на лампадке
Сигару закурит.

Все дети нынче стары

И если у кого насущного нет хлеба...

В нескольких местах вымарано стихов по десяти сряду — а за что? — хоть убейте, не понимаю. Разумеется, от этих помарок составилось великое множество самых беззаконных стихов — без меры, без рифмы, без сочетания и даже совершенно без смысла,— и за все это должен отвечать я, потому что не имею права объявить публично, что мою комедию изуродовала цензура.— Согласитесь, что после этого я не могу и не должен ничего печатать в Петербурге.

Имена всех необычайных людей, какого бы рода они ни были — не должны оставаться в неизвестности, и потому я долгом считаю присовокупить, что мою комедию цензуровал какой-то господин Шидловский. Если, несмотря на мое письмо, вам вздумается поместить в вашем журнале мой портрет,— уведомьте меня об этом — я исполню с удовольствием ваше желание.

Прощайте! — Дай бог вам здоровья, побольше подписчиков, и — других цензоров, хотя немного поумнее теперешних.

Искренно вас уважающий старинный ваш приятель

Михайло Загоскин».

11 января 1852 г.
Москва

Н. ТЕЛЕШОВ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Москва, 1902 г. Рассказы. С.-Петербург. 1903 г.

Г-н Н. Телешов является не новичком в литературе. Его «повести и рассказы» выдерживают третье издание. Кроме того, существует книга его рассказов, под заглавием «На тройках» и очерк скитаний по Западной Сибири, носящий название: «За Урал». Поэтому достоинства и недостатки этих сборников можно считать не случайными проявлениями не успевших еще определиться и выразиться вполне свойств и особенностей работы г. Телешова, а наоборот, так сказать, *органическими.* Отсюда вытекает неминуемо и бо́льшая строгость оценки, побуждающая признать значительное преобладание в них недостатков над достоинствами. К последним может быть отнесена, прежде всего, человеколюбивая основа рассказов. Автор рисует — и вместе будит в читателе добрые чувства. Все его симпатии — на стороне слабых, обиженных, нуждающихся в защите. Он любит детей и описывает их с нежностью,— и в рассказах о детях всегда слышна у него искренность, чуждая простой подражательности Диккенсу или Достоевскому. Смерть, горе, разлука — обычные мотивы, звучащие в рассказах г. Телешова. Частое обращение к ним может развить у писателя, незаметно для него самого, впадение в чувствительность, идущую вразрез с искренностью. Но этого у г. Телешова нет. При искусственности и явной придуманности фабулы бо́льшей части рассказов, изложение наиболее выдающихся мест этих рассказов отличается спокойною трезвостью мысли и отсутствием приподнятого и неестественного тона. К достоинствам рассказов относится и их *занимательность,* хотя и чисто внешняя. Не затрагивая душу читателя глубоко, не оставляя в ней сколько-нибудь прочного впечатления, г. Телешов умеет заинтересовать его внимание и поддержать его до конца живым языком и быстрою сменою картин своих рассказов.

Недостатки рассказов г. Телешова гораздо многочисленнее. За исключением двух-трех рассказов из быта переселенцев («Нужда», «Елка Митрича» и «Домой!»), весьма ценных по сообщаемым в них данным, почерпну-

тым, очевидно, из действительности,— на всех остальных лежит яркая печать подражания г. Чехову и отчасти гр. Л. Н. Толстому,— подражания неудачного и чисто внешнего, состоящего в стремлении облекать отрывочные и мимолетные эпизоды жизни в форму законченных по идее рассказов, с попытками на психологический анализ. Но г. Телешов не проявляет способности к серьезному анализу душевных свойств, и у него нет той глубокой наблюдательности, которая поражает в Толстом, заменяя ему нередко то, что принято называть психологическим анализом. Автор — не исследователь и не наблюдатель. Он — хороший запоминатель поверхностных впечатлений — не более. Поэтому в рассказах его нет почти ни одной живой личности, о которой складывалось бы у читателя определенное представление. Тщательно описаны лица и одежда, обстановка и еда, движения и позы многочисленных людей, проходящих пред читателем,— и все они, едва промелькнув, сливаются в бесформенную массу, из которой *индивидуально* никто не выделяется. Исключение можно сделать лишь по отношению к чувашу Максимке (в рассказе «Сухая беда»), фигура которого жизненнее всех прочих, быть может, вследствие большой подмеси к ее изображению данных чисто этнографического характера. Эти бесцветные люди, очень разнородные по мнению автора — и очень однообразные в смысле необъяснения их душевных движений, действуют в рамках, лишенных внутреннего значения житейских случаев или анекдотических приключений. Рамки эти раздвигаются, однако, г. Телешовым до крайности широко, вмещая в себя множество ненужных подробностей, затуманивающих и без того недостаточно ясную руководящую мысль рассказа. Получается впечатление растянутой подделки под жизнь, для чего-то разыгрываемой поддельными людьми. При этом обыкновенно вовсе не соблюдается перспектива рассказа, в котором *все* стоит на первом плане, так что маленькие, не имеющие связи с общим ходом рассказа, эпизоды или сценки, лишенные даже всякого местного колорита или оригинальности, протиснувшись вперед, портят цельность и без того трудно воспринимаемого настроения. Кроме рассказов из быта переселенцев, этим недостатком не страдает рассказ *«Дуэль»*, навеянный, очевидно, превосходными сценами Зудермана, но построенный так, что впечатление, производимое трагическим положением

офицера, пришедшего объявить матери своего товарища, что ее сын убит на дуэли, к концу рассказа, все умаляясь, сменяется скукою, вызванной болтовней не ведающей о своем несчастии старой женщины.

Наиболее сильным, отражающим на себе свойства творчества автора является самый большой из его рассказов — *«Маленький роман»*. Это — история старого зажиточного холостяка, которому навязывает детей его сестры муж, покинутый ею,— и который, под влиянием примиряющего и облагораживающего детства, начинает тяготиться своею пустою и развратною жизнью... Смерть детей от дифтерита наносит ему тяжкий удар. Увидеть, за время их болезни, в доброй и распущенной своей знакомой, к которой он привык относиться лишь как к наложнице, трогательные общечеловеческие черты, он уезжает с нею за границу, вступая, таким образом, на порог семейной жизни. Эту несложную, но благородную тему автор излагает почти на пяти печатных листах, посвящая читателя в массу скучных и не имеющих никакого значения подробностей ухода за детьми,— и совершенно не разрабатывая того внутреннего перелома, который происходит в душе героя рассказа и его близкой приятельницы, под влиянием смерти и страданий сделавшихся им близкими маленьких существ. Точно китайские тени, без характеристик, без житейской или бытовой окраски, проходят в рассказе разные знакомые героя и героини — и остаются совершенно чужды читателю. Попытки автора изображать наружные проявления глубоких душевных страданий также не достигают цели. Вот как, напр., в своей подражательной манере, описывает он решимость чуваша Максимки на самоубийство, под влиянием оскорбленного за любимую девушку чувства и с целью учинить обидчику «сухую беду»: «В стене торчал большой черный гвоздь, который Максимка сам вбивал в прошлом году для зеркала. Не спуская теперь с него глаз, он начал шарить за пазухою и вытащил сырую, оттаявшую веревку. Вынув, он посмотрел на нее. Потом опять поглядел на гвоздь и опять на веревку... Потом намотал веревку на гвоздь и завязал узлом. Попробовал потянуть — было крепко. Потом из веревки сделал с другого конца петлю, и снова попробовал руками. Было тоже прочно. Потом он задумался. Думал Максимка не долго. Он повернулся лицом к окну и молча погрозил кулаком, а через

минуту висел уже в петле». Не менее удачны, в своем стремлении подражать Тургеневу и Толстому, описания снов и предсмертного бреда. Речь простых людей у автора выходит часто подделкою под народный говор, причем придуманность выражений и оборотов режет ухо. Таковы, напр., разговоры целовальника и хозяина постоялого двора с Максимкой, предлагающим играть на «шыбыре» (волынке) и встречающим отказ в таких выражениях: «к черту-сь!» и «нет! этакой *подлости* нам не требуется»; таковы все речи Митрича в рассказе «Елка Митрича».

В рассказах своих г. Телешов не касается общественных тем, за исключением двух-трех общих мест, вставляемых им в монологи и диалоги Березина, героя «Маленького романа». У него есть, однако, целый рассказ на философскую тему, совершенно неправдоподобный в психологическом отношении. Это — «Жертвы жизни». Герой рассказа — Столяровский — неудачник и несчастливец, возненавидевший до смерти, до замысла на убийство, знатного, богатого, красивого и здорового ребенка,— по странному душевному противоречию погибает в волнах, спасая жизнь этому самому ребенку. Он проповедует особую, собственную теорию о «злой, насмешливой и ненасытной силе природы», рядом с которою стоит другая сила, сглаживающая грубости первой, причем первую он называет *законодательною* («требующею себе жертв»), а последнюю — *исполнительною* («собирающею жертвы»). Длинные и горячие рассуждения Столяровского обличают в авторе слишком беглое знакомство с уголовно-статистическими исследованиями Вагнера и Кетле и самое поверхностное усвоение себе теории детерминистов.

Приемы описания у г. Телешова иногда грешат многословием и в то же время не дают реальных образов (напр. «лицо его, молодое и неглупое, *не обезображенное пороком и нищетою,* выражало вульгарную веселость или даже насмешку, если только могли выражать что-нибудь эти тусклые, пьяные глаза с опухшими веками...» («Ошибка барина»). Часто встречаются у автора обороты и выражения, изобличающие пренебрежительное отношение к русскому языку. Так, напр., у г. Телешова — арестанты *громыхают* цепями, колят *недры* Сибири; бегущий мальчик иногда *поспрашивает;* Березин *прогуливается,* нетерпеливо *прохаживаясь,*— лакей Сидор име-

ет *ветшающее лицо,* в стенах дома не раздается *старушачьих* песен, мысли Максимки так и *кишат,* ржавая вывеска называется ржавою *железкою;* усталая публика благотворительного базара, вдоволь *намяв бока* (кому?) и туго *наколотив* карманы безделушками из аллегри, разбредается; в шахте пахнет *испарениями* от камня или металла, городские часы издают *бестолковые* звуки, жидкие и *равнодушные,* и т. д. Как пример странной конструкции речи можно привести следующее место: «если нашу московскую Ивановскую колокольню считают вышиною что-то около 38 сажен и взобраться на нее считается чуть не подвигом, *то* выбраться из шахты было втрое труднее»; как на странный способ цитат можно указать на то, что приводимые автором слова Мефистофеля цитируются не по творению Гете, а по либретто оперы Гуно.

АВТОБИОГРАФИЯ

Октябрьская революция застала меня в звании первоприсутствующего в общем собрании кассационных департаментов сената и в должности члена Медицинского совета, т. е. высшего врачебного учреждения в России. Когда оба эти учреждения были упразднены, пришлось искать применения своих душевных сил, знаний и опыта долгой жизни. Поэтому я с особой готовностью откликнулся на предложение Первого и Второго Петербургских университетов занять в них кафедру учения об уголовном суде, а также Института живого слова о чтении в нем курса ораторского искусства с участием и в практических занятиях по последнему.

Пятьдесят шесть лет назад я был оставлен при Московском университете для приготовления к занятию кафедры уголовного права, вследствие одобренного советом юридического факультета и напечатанного затем в «Университетских известиях» моего кандидатского сочинения «О праве необходимой обороны». Это соответствовало моим лучшим упованиям, тем более, что Судебная реформа существовала еще лишь «im Werden»[1]. 1866 год разбил эти надежды, так как предположенная посылка оставленных при университете за границу для дальнейшей подготовки была отсрочена на неопределенное время вследствие перемены в Министерстве народного просвещения, когда место Головина занял мрачной памяти граф Дмитрий Толстой, а руководивший за границей занятиями молодежи незабвенный Н. И. Пирогов был отозван.

[1] В будущем, в процессе становления, в теории (*нем.*).

Принять предложение ректора Московского университета, профессора уголовного права Баршева немедленно приступить к чтению лекций по общей части уголовного права, несмотря на всю заманчивость этого предложения, я не считал себя нравственно вправе, ибо не был достаточно подготовлен к изложению самостоятельного курса, а «jurare in verba magistri»[1] не хотел. Ожидать времени, когда могли бы возобновиться командировки, пребывая в «немом бездействии печали», мне было невозможно, тем более, что я мог ожидать в будущем новых затруднений, так как министром внутренних дел Валуевым был возбужден вопрос о преследовании автора «Необходимой обороны» по новому закону о печати, кончившийся тем, что совету университета было объявлено замечание министра народного просвещения за написание труда, содержащего зловредные мысли о праве обороны против незаконного насилия власти и ее агентов.

Пришлось поступить на службу сначала в незадолго пред тем преобразованный государственный контроль, где — к слову сказать — нашли себе работу многие из тогдашних литераторов,— и затем в только что открытые судебные установления и иметь счастье участвовать во введении Судебной реформы в Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском судебных округах. По пути подчас очень трудного служения делу правосудия, по крайнему своему разумению, мне пришлось два раза быть преподавателем судопроизводства в Училище правоведения и в Александровском лицее. Но многие условия и обстановка этих учреждений не давали мне забыть несбывшуюся мечту о кафедре в университете перед свободными слушателями из широкого моря житейского. Эта мечта меня не обманула.

Несмотря на многие условия переживаемого времени, сводящие у многих всю мысль к «хлебу насущному» в буквальном смысле слова, я встретил в учащейся молодежи обоего пола несомненную жажду знания и интерес к нему, причем не раз пришлось испытывать отрадное чувство духовной связи лектора со слушателями. Во Втором университете я читал с осени 1918 г. по 1920 год, а затем этот университет был упразднен. В коренном Петербургском университете я читаю до последнего вре-

[1] Буквально «клясться словами учителя» *(лат.)*, т. е. пользоваться чужими знаниями либо сведениями.

мени, причем с прошлого года мне пришлось заменить и безвременно скончавшегося профессора Розина. Несмотря на отрадное чувство, выносимое мною из аудитории, в 1919 году я был поставлен в невозможность продолжать в ней мои чтения, так как застарелый перелом ноги при падении из поезда Сестрорецкой железной дороги вызывает у меня все более увеличивающуюся тяжелую хромоту, которая препятствует мне безболезненно и свободно ходить пешком и вынуждает даже на короткие расстояния и для подъема на лестнице запасаться двумя костыльками. Отсутствие извозчиков и полная невозможность по моему физическому состоянию втискиваться, висеть и выпихиваться при пользовании трамваем заставили меня с грустью прийти к мысли покинуть мою аудиторию на далеком от меня Васильевском острове, о чем я объявил в 1919 году моим слушателям. Однако совершенно неожиданно я получил уведомление, что, по распоряжению Комиссариата просвещения, с целью облегчения моих поездок на отдаленные расстояния для чтения лекций, мне будет присылаться по моему предварительному заявлению лошадь. Оказалось, что мои слушатели обратились в Комиссариат с письменною, а затем и словесною просьбою о доставлении им возможности меня слушать предоставлением мне средства передвижения. Трогательная необычность этого шага и, быть может, мое ошибочное мнение о приносимой моими чтениями некоторой пользе побудили меня изменить мое намерение покинуть университет, тем более, что пользование таким средством передвижения не было связываемо ни с какими ожидаемыми от меня обязательствами.

В Институте живого слова я читаю с 1918 года теорию ораторского искусства и историю этого искусства в России, имея, в особенности в последний год, многочисленную аудиторию, из среды которой некоторые слушательницы проявляли особую даровитость в искусстве владения живой речью и ее постройкою. В этом же Институте в течение 1919 и 1920 годов я читал курс этики общежития, и повторил его затем в Доме просвещения при Мурманской железной дороге и в сокращенном виде в Институте кооператоров.

Общие начала этики преподаются большей частью в виде отрывков из истории философии и не особенно удерживаются в памяти, а между тем неотложный труд и тревоги практической жизни требуют немедленного

ответа на возбуждаемые ею вопросы, ожидающие фактического разрешения в различных областях деятельности. Поэтому я наметил и разработал особый курс под общим названием «этика общежития». Он состоит из краткого обзора нравственных учений выдающихся мыслителей и из посильного разрешения вопросов, возникающих в областях: судебной (учение о поведении судебного деятеля), врачебной (врачебная тайна, явка к больному, откровенность с ним, гипноз, вивисекция и т. д.), экономической (различные источники дохода), политической (свобода совести, веротерпимость, права отдельных народностей и их языка и т. д.); в области общественного порядка (развлечения и жестокие зрелища); литературы, искусства и театра; в областях воспитания и личного поведения.

Одновременно с этим я читал лекции преимущественно по истории русской литературы и по истории русского суда по приглашению разных просветительных учреждений и в просветительных отделах Виндаво-Рыбинской ж. д., библиотеки имени Григоровича и в доме имени Герцена, сопровождая эти чтения моими личными воспоминаниями о Толстом, Некрасове, Достоевском, Гончарове, Писемском, Апухтине, Соловьеве, Кавелине и Тургеневе. В школе русской драмы пришлось прочесть несколько лекций по истории русского театра в XIX веке и о выдающихся артистах второй его половины; а в Музее театров на выставке в память Мартынова передать личные воспоминания о великом артисте; предполагаю прочесть об И. Ф. Горбунове, скончавшемся 25 лет назад, когда осенью настоящего года будет открыта выставка в его память. Рядом с этим я участвовал в устроенных Домом литераторов чтениях в память Пушкина и скончавшегося недавно Венгерова и прочел ряд ежемесячных публичных лекций до июля настоящего года в Доме литераторов и его отделении в Физическом институте Петербургского университета — и в Доме искусства, между прочим, «о психологии памяти и внимании»; «о самоубийстве» («Житейские драмы» и «Гамлетовский вопрос»); «о порче русского языка», «об отношении Толстого к суду», «о Мертвом доме и Сахалине» и «о русских ораторах». Наконец, на Педагогических курсах в Аничковом дворце я читал в 1919 и 1921 годах лекции «о старом Петербурге» и связанных с последним исторических и биографических воспоминаниях. Могу еще упомянуть

об отдельных чтениях по литературе — в Доме ученых и в Невском народном университете, обслуживающем интересы пригородного населения, которые, к большому моему сожалению, мне не пришлось продолжать за чрезмерною дальностью расстояния, а также о ряде чтений в Тенишевском зале и др.

Из письменных работ мною написаны некрологи Гиршмана, Давыдова, Молчанова, Полонской, Евгения Трубецкого и др., предисловие к изданию «Тургенев и Савина»; статьи для двух педагогических журналов; отрывок из моих мемуаров о «Петре IV» (графе П. А. Шувалове) в «Голосе минувшего» и о законе 19 мая 1971 года в журнале «Дела и дни».

Для будущего издания III и IV томов моей книги «На жизненном пути», если ему суждено состояться при моей жизни, я приготовил в окончательном виде материалы,— значительно дополнил отдельное издание биографии Ф. П. Гааза и оканчиваю обработку моих воспоминаний о деле Засулич и об исследовании крушения царского поезда в 1888 году в Борках.

Должен сказать, что, ввиду моего возраста (около 78 лет) и нередких сердечных припадков, упомянутая выше работа вызывает у меня сильное утомление, но как результат вынесенных из долгой жизни «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» доставляет мне нравственное удовлетворение и наполняет содержанием мою личную жизнь, давая возможность переносить некоторые ее грустные стороны.

В заключение, подражая английскому юмористу, к сожалению, вынужден прибавить, что известия некоторых зарубежных русских газет о моей смерти лишены достоверности, а сопровождающие их, как мне говорили, некрологи несколько преждевременны.

КОММЕНТАРИИ

При работе над комментариями составители использовали главным образом материалы архива А. Ф. Кони, находящиеся на хранении в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом); кроме того, обращались к работам Кони, выходившим в дореволюционное и советское время. Первоочередное внимание привлекли собрания сочинений и однотомники, выполненные с высокой профессиональной и научной добросовестностью: пятитомное издание «На жизненном пути» (особенно том 5, вышедший после Октября под редакцией Ю. Г. Оксмана), «Воспоминания о писателях» (Л., 1965), подготовленные ленинградским исследователем Б. Д Летовым, наконец, многолетний труд большого коллектива научных работников из Москвы и Ленинграда под общей редакцией В. Г. Базанова, К. И. Чуковского, Л. Н. Смирнова — Собрание сочинений в 8 томах, выпущенное Юриздатом.

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ КОНИ

Впервые очерк появился в IX томе «Русского биографического словаря» (Кнаппе — Кюхельбекер, СПБ, 1903) под излюбленным псевдонимом Кент (образ верного друга заимствован Кони из шекспировского «Короля Лира»). В дополненном виде напечатан сыном к столетию со дня рождения отца в «Ниве», 1909, № 14. Мы даем текст этой публикации т. 6 Восьмитомника.

С 27. *...почетное звание доктора* (философии) подтверждает сохранившийся в архиве Кони (ИРЛИ, ф. 134) диплом Йенского университета.

...благодарил переводчика и издателя очень теплым письмом...— А. Ф Кони опубликовал это письмо в «Русском архиве», 1911, №11.

С 28 *Белинский... отдал в разборе «Петербургских квартир» справедливость остроумию Кони в жизненности выводимых им типов.*— В статьях Белинский отмечал: «Петербургские квартиры» относятся к «примечательным явлениям в литературе нынешнего времени» и «Ленский и Кони стоят головою выше других наших водевилистов».

. *Будучи положены на музыку, распевались в отдаленнейших ее уголках* — Музыку к текстам Ф. А. Кони писали А. Е. Варламов, К. Н. Лядов и другие композиторы.

...по мнению В. Р. Зотова.— Интересны высказывания В. Р. Зото-

ва о Ф. А. Кони: вещи его «имели большой успех в свое время именно по своему юмору, остроумию и сатире» («Исторический вестник», 1890, № 5). За свои сатиры и эпиграммы поэт «удостоился» внимания III отделения, в котором определенное время числился поднадзорным.

Таковы его ямб «Не жди, чтобы цвела страна...» и «Биография благородного человека»... — В «Биографии благородного человека» дана уничтожающая характеристика типичным представителям «первого сословия» империи, в другом стихотворении, обращенном к молодому царю Александру II, автор язвительно предупреждал сына Николая I:

Не жди, чтобы цвела страна,
Где царство власти, не рассудка,
И где зависит все от сна
И от сварения желудка!
Где есть закон, что понимать,
Как он изменчив и не прочен;
И где звездами лечат знать
От заслуженных ей пощечин!
. . . .
Где все правительство живет
Растленьем нравственным народа;
На откуп пьянство отдает
Для умножения дохода!
. . . .
Где все цари едят и пьют
Или в солдатики играют,
Из мертвых мощи создают,
Живых же в землю отправляют.

(Сб. «Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков». М., 1975). Стихи ходили в списках и появились в печати за границей в год освобождения крестьян.

В водевиле «Петербургские квартиры» Кони высмеял шпиона III отделения, где дал ему прозвище Задарин.

С. 31. *«...оглупляемым трескучими фразами большинством».*— Резко отрицательное отношение Ф. А. Кони проявилось в этой рецензии на драму «Князь Холмский» Н. В. Кукольника.

С 32. Увидели свет 6 томов (в 1861—1863 гг.).

Из детей его от этого брака остался... в живых лишь один сын.— Евгений Кони — первый сын супругов Кони (1843—1892).

ИРИНА СЕМЕНОВНА КОНИ

Статья напечатана в т. IX «Русского биографического словаря» («Кнаппе — Кюхельбекер», СПБ, 1903) за подписью К. Е. Н — т. Криптоним расшифровывается как «кент».

Анатолий Федорович на протяжении всей жизни матери относился к ней с чувством огромной любви и сыновней верности. Их связывали не только кровные, но и прочные духовные узы. Кони унаследовал от матери — вместе с литературным талантом, тягою к миру театра — стремление помогать людям, чистоту и благородство просветительских и альтруистских помыслов. Ирина Семеновна, уже оставив сцену, занималась общественно-филантропической деятельностью.

С. 33. *П. И. Вейнберг. «Литературные спектакли».*— «Ежегодник императорских театров», сезон 1893—1894 гг.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ
[П. И. ЛАЖЕЧНИКОВ и А. Ф. ВЕЛЬТМАН]

Появились воспоминания в № 12 «Литературного и популярно-научного приложения» к журналу «Нива» за 1912 год, в составе очеркового цикла «Житейские встречи» были включены в т. 2 мемуаров «На жизненном пути».

С. 35. *Ассизы* — в средневековых Англии и Франции суды, где решались дела избранными от сословий и связанными присягою.

...эпиграф из Рылеева — дума «Волынский» (1825).

С. 37. *...«смеливается изображать Иоанна III... эгоистом».*— Автор показал великого князя не только «собирателем земель», но и жестоким властолюбцем и деспотом.

...цензуровать «Современник» — в 1856—1858 гг., в лучшие годы журнальной деятельности Чернышевского.

...Лажечников принимал живое участие в Белинском...— Многолетняя дружба с Белинским у Лажечникова прервалась из-за разницы воззрений революционного демократа и престарелого носителя далеко не передовых взглядов.

С. 39. *...он возмущался Писаревым, который «хлещет зря кого ни попало...»* — Писаревские статьи, в данном случае «Пушкин и Белинский» (1865), зачастую игнорировавшие художественную глубину и своеобразие творений великого поэта, делили читателей талантливого критика на непримиримых противников.

Написал весьма слабый роман «Внучка панцирного боярина» и послал в «Отечественные записки».— «Отечественные записки» перешли от А. А. Краевского к Некрасову и Щедрину в 1867 г. Лажечников, по-видимому, получил уничтожающий ответ от «старой» редакции.

С. 41. *..он говорил тем «невнятным языком», о котором упоминает Пушкин...*— Имеются в виду строки Пушкина: «и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастия и гроба».

С. 42. *...Вельтмана.*— В 1922 г. А. Ф. Кони выступал с докладом о нем в петроградском Русском библиографическом обществе, где сказал следующее: «Вельтман с 1831 года с увлечением отдается литературе, выпустив в первый же год своей деятельности три повести, а затем в следующие пять лет восемь больших рассказов псевдоисторического и фантастического содержания Затем он выпустил в начале пятидесятых годов ряд повестей под общим заглавием «Приключения из моря житейского», между которыми наиболее талантливой является «Чудодей». Последним его произведением в этом роде был очень живо написанный рассказ «Счастье—несчастье». ...Неуравновешенная фантазия Вельтмана сказалась и на его чисто литературных произведениях, представляющих смешение исторических вымыслов с неправдоподобным реализмом. В этой смеси одновременно участвуют блестящая и яркая подчас проза, не лишенные поэзии стихи, самые разнообразные цитаты, эпиграфы и афоризмы. Все это облегчает и оживляет чтение и придает ему своеобразный интерес, но не оставляет следа в памяти читателя, так как дает ему много забавного и остроумного, но не рисует живых и цельных образов».

С. 43. *...адептом теософии* — т. е. сторонником мистического, нецерковного богословия, якобы раскрывающего «божественные тайны» бытия; находило распространение в годы столыпинщины среди интеллигенции — именно в эту пору написан очерк Кони.

«Москвитянин», руководимый Погодиным, занимал православянофильские позиции официальной народности (1841—1856).

С. 44. *...о встрече со Скобелевым.*— Очерк «Житейские встречи» вошел во 2-й том мемуаров «На жизненном пути». Боевой генерал рассказал не без злости о руководительнице английского госпиталя, без почтения к нему отнесшейся в пору войны 1877—1878 гг. и позднее написавшей об адрианопольском эпизоде.

...я описал сцену...— Приехавший из Сибири врач, не зная в лицо историка, отозвался бестактно о казенных монархических статьях его в реакционных «Московских ведомостях», что вызвало шок у присутствующих («На жизненном пути», т. 2, «Житейские встречи»).

С. 45. *...помещение в Лонгвуде* — символ заточения, ибо дядя и тезка Наполеона III жил на ферме Лонгвуд на острове Святой Елены.

ПАМЯТИ Д. В. ГРИГОРОВИЧА

Копия хранится в РО ИРЛИ (ф. 568 А. Г. Фомина, готовившего в 1922 г. очерк для журнала «Ирида», который не увидел света). Печатается по т. 6 Собрания сочинений; частью вошел в однотомник «Воспоминания о писателях».

С. 48. *Так, 1 апреля...*— Григорович родился 19(31) марта.

...горячие строки...— Имеются в виду строки из знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) Радищева, «Вопль невинности, отвергаемой законом» (1802) и других вещей Пнина, павловских повестей «Именины», «Аукцион», «Ятаган» (все три — 1835 г.).

С. 49. *...«сеятель и хранитель» русской земли, «клейменой... игом рабства»* — перефразировка — Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (1858) и Хомяков «Россия» (1854).

...один из русских критиков.— Имеется в виду критик С. А. Венгеров; неточная цитата из статьи о Тургеневе в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XXXIV, СПБ, 1902.

Недаром Белинский... писал по поводу последнего произведения.— Антикрепостническую суть «Антона Горемыки» раскрывал в статьях и письмах Белинский (писал о «страшном, гнетущем, мучительном, угнетающем впечатлении»), а также и Щедрин («первые хорошие человеческие слезы» и «с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе»).

С. 50. *«Зубоскал»* запрещен в ноябре 1845 г. Григорович вспоминал о словах объявления, написанного Достоевским, испугавших цензуру: «Совершенно невинный, просто беззаботный ребяческий смех над всеми, над всем» («Литературные воспоминания». М., 1985).

...житейской правдой — повесть «Деревня» (1846).

С. 51. *...сделался... писателем* — перешел из Инженерного училища в Академию художеств.

...его первые произведения — рассказы «Петербургские шарманщики» и «Лотерейный бал» вошли в некрасовский альманах «Физиология Петербурга», СПБ, 1845; очерк «Петербургские углы» написан Некрасовым и помещен в том же издании.

«Иные ждут тебя страданья, других восторгов глубина».— М. Ю. Лермонтов «Демон» (неточно).

С. 51. *...и такое описание крестьянского быта, на которое Л. Н. Толстой указывал как на единственно правильное и образцо-*

вое...— Толстой, в частности, отмечал в поздравлении Григоровичу в 1893 г. свои «умиление и восторг» от того, что «русского мужика... можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а... во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» (Полн. собр. соч., т. 66. М., 1953).

С. 52. ...*на свою дорогу...*— Письмо Чехова от 28 III.1886 г.

С. 53. ...*из той же области.*— Автор имеет в виду критику Чернышевского и Щедрина (у последнего «жорж-зандовское происхождение его повествований» — в адрес Григоровича).

«...дать им настояться».— Неточно из: А. Дружинин. Воспоминания о русском художнике Павле Андреевиче Федотове. СПБ, 1853.

С. 54. ...*благодарным словом.*— Общеизвестны заслуги писателя — автора статей о художественных выставках, устроителя их и организатора-мецената рисовальной школы и музея для выставок в центре Петербурга.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Очерк появился в № 295 столичной газеты «Русское слово» за 23 декабря 1911 г. В дополненном виде включался в научные и популярные издания в следующем году и вошел во все три издания 2-го тома мемуаров «На жизненном пути».

С. 56. *Он сам сказал* — в статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879); *он писал* — в 1877 г. (неточно) — см. его «Литературно-критические статьи и письма». Л., 1938.

С. 57. ...*тоже за много лет* — 1849—1860.

Так, он писал... М. М. Стасюлевичу...— см. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПБ, 1912.

С 58 ...*служу искусству...*— письмо от 28.III.1859 г.

засев за «Обрыв» — письмо от 12.VII.1868 г.

С. 59. ...*в звании члена Главного управления по делам печати.*— Цензорская служба Гончарова с перерывами продолжалась с 1856 по 1867 гг.

С. 62. ...*«не наглядятся на меня»* — очерк «На родине» (1888).

С. 63. ...*Я следил за отражением этой борьбы... на знакомых лицах...*— «Лучше поздно, чем никогда» (1879).

С. 64. ...*чистота нравов вовсе необязательна.*— Статья «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» (1872).

С. 65 *Приветствуемый Белинским* — в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»; *Добролюбовым* — «Что такое обломовщина?» (1859). Демократическая критика встретила «Обрыв» (1869) неприязненно; среди отзывов — статьи Щедрина «Уличная философия», Шелгунова «Талантливая бесталанность», Скабичевского «Старая правда», Цебриковой «Псевдоновая героиня» и др.

С. 66. ...*«ее святых седин».*— См. журнал «Русское обозрение», 1895, № 1, где помещена статья «Намерения...» и содержался редакционный намек на огорчения романом «одной высокой особы, покровительствовавшей даровитому писателю» (скорее всего имелась в виду вдовствующая императрица Мария, мать Николая II).

С. 67. ...*в одном из писем.*— От 28.VI.1860 г. к С. А. Никитенко Гончаров гневно и необоснованно уверял, что Тургенев у него «взял лучшие места, перлы», «подробности, искры поэзии», «всходы новой жизни на развалинах старой, историю предков, местность сада, черты моей старушки — нельзя не кипеть».

...в «Бесах» (1872) Тургенев выведен под именем Кармазинова; ссора его с Толстым (в 1861 г.) завершилась примирением лишь через 17 лет (в 1878 г.); Додэ, через 5 лет после смерти Тургенева, рассказал о его неодобрительных о себе высказываниях.

С. 68. ... *в его новом романе* — Б. Ауэрбах «Дача на Рейне» (перевод в «Вестнике Европы» появился в 1869—1870 гг.).

...в Дуббельне — ныне поселок Дубулты, входит в состав города Юрмала (Латвия).

С. 70. *«А старость ходит осторожно и подозрительно глядит».* — А. С. Пушкин «Полтава» (1829).

С. 72. *...от... речей.*— На 50-летнем чествовании 31.XII.1882 г. у Гончарова среди присутствующих были Кони, Стасюлевич, Краевский, Полонский, Пыпин, Спасович и др.

С. 74. *«Чеченец ходит за рекой».*— А. С. Пушкин «Кавказский пленник» (1821).

...у него служил камердинером... курляндский уроженец — Карл Трейгут, умер в 1878 г., Гончаров содержал его троих детей до получения ими образования.

С. 76. *...и там покоится теперь автор Обломова.*— С 1956 года прах писателя покоится на Литераторских мостках близ могил Тургенева и Григоровича.

ТУРГЕНЕВ

Опубликован этот мемуарный очерк в майском номере «Вестника Европы» за 1908 г. Составил коневскую «обойму» ставших быстро популярными воспоминаний о писателях. «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский.— Языков». Очерк входил во все три издания 2-го тома «На жизненном пути» (СПБ, 1912 и 1913, М., 1916). Печатаем по т. 6 Собрания сочинений с некоторыми обоснованными этим изданием сокращениями.

Журнальный вариант и издание 1913 г. включали любопытный комический, но характерный эпизод с Тургеневым, Герценом и французским ученым и политическим деятелем Эмилем Литтре. Русские писатели посетили создателя знаменитого «Словаря французского языка», разгорелся бурный спор из-за какого-то выражения в нем. «Герцен,— рассказывает Кони со слов Тургенева,— очень горячился, нервно ходил по комнате и залпом выпил два стакана бережно разлитого хозяином вина. Наконец, спор утих, и мы стали собираться уходить ..» И тут хозяин спросил, как гостям понравилось его вино, на что Герцен, еще, видимо, не остывший от спора и под его влиянием не разбиравший, что пьет, ответит рассеянно: недурное винишко («petit vin»). Эмиль Литтре возразил потрясенно: ведь это шамбертен тридцать седьмого года, 30-летняя драгоценность, которую раскупорил только для русских друзей... И очень огорчился Герцен, для которого творческая полемика затмевала все на свете: «Зачем он не сказал, какое это вино и какого года: я бы его совсем по-другому пил!..»

С. 78. *...состоит членом-корреспондентом Академии Наук...*— с конца 1860 г.

С. 79. *...устный рассказ* вылился в одномоментное «насильственное» написание Тургеневым статьи «Пергамские раскопки», которые М. М. Стасюлевич, равно одержимый как историк и как журнальный деятель, опубликовал в своем «Вестнике Европы» (1880, № 4).

С. 84. *...вспомнился стих Некрасова* — из поэмы «Несчастные» (1856).

С. 85. *...одна из последних корреспонденций Золя в «Вестнике Европы»...* — Золя сотрудничал в журнале в 1875—1880 гг., где напечатаны его «Парижские письма», рассказы, очерки, статьи.

С. 87. *А. Н. Островский назвал в своей речи...* — 7 июня 1880 г. в Москве на обеде членов Общества любителей российской словесности. Там были и такие слова: «Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов!.. Нынче на нашей улице праздник».

Я. П. Полонский и А. Н. Плещеев посвятили великому поэту стихи, вошедшие в сборник «Венок на памятник Пушкину». СПБ, 1880.

С. 88. *...Павла Васильевича Анненкова.* — П. В. Анненков был редактором-издателем семитомного Собрания сочинений поэта (выходило в 1855—1857 гг.), ставшее заметным явлением в культурной жизни страны.

С. 89. *В. О. Ключевский* — выдающийся историк, был соучеником Кони по студенческим годам, ему посвящен прочувствованный очерк последнего («На жизненном пути», т. 2).

..денежная помощь шла революционно-демократическому зарубежному журналу «Вперед», руководимому П. Л. Лавровым. В газете Каткова Тургенев непрестанно подвергался шельмованию.

С. 90. С *А. Ф. Писемским* Кони знаком был с молодых лет и оставил яркие воспоминания о его необыкновенной творческой личности.

С. 91. *В. В. Стасов* был известен своей горячностью, в спорах доходил до курьезов.

...«вы можете споткнуться»... — «Порог» напечатан в прокламации «Тургенев», написанной членом революционной «молодой» «Народной воли» поэтом П. Ф. Якубовичем (1860—1911) в дни похорон великого писателя. В подцензурной печати (журнал В. Г. Короленко «Русское богатство», 1905, № 12) это стихотворение в прозе смогло появиться лишь в пору первой русской революции.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Впервые опубликовано в «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях» к журналу «Нива», 1909, № 11—12 и в «Известиях Отделения русского языка и словесности Академии Наук» за тот же год, т. XIV, кн. 4. Переиздавалось в т. 2 Пятитомника (2-е и 3-е издания, СПБ,1912 и 1913). Печатаем по т. 6 Собрания сочинений. Основой для очерка стала одноименная речь Кони на торжественном заседании АН 1. III. 1909 г.

С. 92. *Перелистывая письма Тургенева к Некрасову...* — Впервые письма Тургенева к Некрасову появились в № 1 «Русской мысли» за 1902 г. Отзыв «талант надежный» принадлежит Некрасову (ответ Тургеневу от 21.X. (2.XI.) 1852 г.).

...и обещает большую деятельность в будущем... — письмо от 7.IX.1847 г.

С. 93. *...об ...упорной подозрительности Гончарова.* — Поделившись в 1855 г. с Тургеневым замыслом будущего «Обрыва», он на много лет уверился в «плагиате» последнего и некоторых других писателей (Ауэрбаха, Флобера), в чем разубедить его оказывалось невозможно.

Сс. 93—94. *...в «Бесах» Достоевского* пародируются «Призраки» и

«Довольно», а также статья «По поводу «Отцов и детей» (Собр. соч. в 10 тт., М., 1957, т. 7, сс. 496—502).

С. 94. *обескураженный Тургенев* — в письме к Я. П. Полонскому от 22 I. (3.II) 1877 г.

С. 95. *...зачастую судили его...*— Несложившиеся отношения Тургенева и Головачевой-Панаевой дали мемуаристке повод для обывательских выпадов против великого писателя. Недалеки от подобных воспоминаний записки А. А. Виницкой. Мемуары Фета, при всей их талантливости и литературно-общественной значимости, порой смахивают на пасквиль, что дало основание к резкому о них отзыву Кони (см. А. А. Фет. Мои воспоминания.— М., 1890, т. 2).

С. 95. *«Ничем я в детстве не пленен — и никому не благодарен!»*— Н. А. Некрасов «Несчастные» (1856).

С. 96. *Отец писателя...*— Отзыв не совсем верен; в «Тургеневском сборнике», вышедшем в столице под редакцией А. Ф. Кони в 1921 г. (статья М. Клемана) и в работе Т. П. Ден «С. Н. Тургенев и его сыновья» («Русская литература», 1967, № 2).

Бесхитростные воспоминания...— В. Н. Житовой о семье Тургеневых — «Вестник Европы», 1884, №№ 11—12.

...в философской формуле.— Гегелевское изречение Тургенев в «Воспоминаниях о Белинском» трактовал по-своему.

...«шепот, робкое дыханье» — из знаменитого стихотворения А. А. Фета.

«...и звуков и смятенья полн».— А. С. Пушкин «Поэт» (1827).

...клеймена Россия...— из известного стихотворения Хомякова «К России» (1854).

С. 97. *...«моя Аннибалова клятва»* — «Литературные и житейские воспоминания» («Вместо вступления»).

...одним из «устоев» — у Златовратского в 1878 г. под этим названием начал печататься роман («Устои», 1878—1883); николаевский министр народного просвещения провозгласил свою печально-знаменитую установку на «самодержавие, православие, народность».

...императора Николая I — фарисейское заявление царя (1847 г.) стало предметом обсуждения и осуждения в передовых кругах общества. Кони цитирует письмо Белинского, воспроизведшего слова Николая.

С. 99. *«Иди к униженным, иди к обиженным и будь им друг!»* — Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877).

...читал «Записки охотника».— Если общественно-нравственное влияние этого выдающегося творения и преувеличивалось современниками, то не слишком (см. том «Литнаследства» 73-й, кн. 2, М., 1964). Кони опирается в суждениях на заметку «Император Александр II и «Записки охотника», помещенную в «Историческом вестнике», № 11 за 1883 г.

С. 100. *«моего тут меду капля есть».*— И. А. Крылов «Орел и пчела».

...«кошмар, от которого освободило Россию»...— Понятен и объясним первоначальный восторг от великой реформы не только у Кони, навсегда, впрочем, благодарно затвердившего признательные слова царю, не только у Тургенева и декабриста Волконского, но и у Салтыкова (в цитируемых «Невинных рассказах», 1863), откуда и нижеследующие упоминания о слезах, и даже у «зарубежника» Герцена, воскликнувшего в «Колоколе» в пору освободительных реформ: «Ты победил, галилеянин!»

...многострадальный образ Александра II.— Речь прочитана 1 мар-

та 1909 г. Кони всегда считал казнь царя незаслуженной, видя в нем, несмотря на позднейшие тупые контрреформы, все-таки освободителя.

С. 101. ..*«кузнец-гражданин»*.— Н. А. Некрасов «Кузнец. Памяти Н. А. Милютина» *(1872)*.

«Ныне отпущаеши» — Евангелие от Луки, выражение, ставшее нарицательным для всякого доброго дела, не только отпущения грехов.

С. 102. *«воротитесь назад!»* — романы «Дым» (1867) и «Отцы и дети» (1862).

С. 103. ...*«горе на царя накличет»*.— А. С. Пушкин «Друзьям» (1828).

...*«Известно, жалею»* — «Новь» (1877).

...*«его обезьянку»* — «Морское плавание» (1882).

С. 104. *«суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано»* — «Рыцарь на час» (1860).

...*«бескрылые желания»* — А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери» (1830).

...*рисует ряд лиц*.— Лаврецкий из «Дворянского гнезда» (1859) и Берсенев из «Накануне» (1860).

С. 105. ...*«чистейшей прелести чистейший образец»* — А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (1833).

С. 106. ...*в одном из своих писем...* — к Полонскому от 10(22).IX. 1882 г.

В письмах к Пичу...— от 16(28).XII. 1876 и 3 (15).II. 1882 гг.

С. 107. *Тургенев считал своим учителем Пушкина...*— например, письма А. И. Незеленову от 5(17). XII. 1882 г. и 15(27). IX. 1879 г. в редакцию «Вестника Европы».

...*о русском языке* — из известного стихотворения в прозе и «По поводу «Отцов и детей» (неточно).

С. 108. ...*жертве «общественного темперамента»* — слова П. Ж. Прудона, обретшие афористический смысл. В дневнике писателей братьев Э. и Ж. Гонкур, пометка от 16(28).II 1863 г.

...*усталого льва* — по-видимому, ошибка мемуариста. «Он напоминал дремлющего льва»,— написал о нем скульптор М. М. Антокольский (см. «И. С. Тургенев в портретах, иллюстрациях, документах». М.— Л., 1966).

С. 109. ...*«бабьё порядочное»* — выражение принадлежит литератору В. П. Боткину («Русский вестник», 1890, № 7, с. 16).

С. 110. ...*против автора «Отцов и детей»* высказался М. А. Антонович в статье «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3).

...*эпиграмма Пушкина* — «Охотник до журнальной драки» (1824).

...*в «Бесах»*.— В главе I автор зло пародировал коллегу; последний о нем тоже презрительно или уничижительно отзывался в частной переписке.

...*в окошко* — послание от 25.IX(7.X)1874 г.

С. 111. ...*жалкие обвинения* — А. А. Виницкой («Воспоминания о Тургеневе», «Новое время», 1895, январь, февраль; см. отзыв о мемуарах в ст. «Савина и Тургенев»).

...*учащаяся девушка* — будущая писательница Любовь Стечькина лечилась в 1882 г. в Италии на средства писателя.

...*погибших при ней*.— Катастрофа, вызванная плохим качеством путевого строительства, произошла на железнодорожной станции вблизи Спасского-Лутовинова.

...*« ..грешить станешь!»* — письмо к Я. П. Полонскому от 25.I.1874 г. в указ. сборнике стало предисловием к очерку Тургенева.

.. *письма к Полонскому* — от 16(28).XII. 1868 г. и 20. IV. (2.V). 1877 г.

С. 112. *Он сам говорит* — в повестях «Переписка» и «Фауст».

...*«Мы еще повоюем»* — из одноименного стихотворения в прозе.

С. 113. *некролог Гоголя* стоил автору ареста и ссылки на родину, в Орловские края.

...*в Германию* — здесь Тургенев студентом Берлинского университета жил в 1840—1841 гг.

...*«мерзости запустения»* — библейский афоризм.

...*из ...«прекрасного далека»* — «Мертвые души», гл. XI.

...*«...песни родине слагал»* — Н. А. Некрасов «Тишина» (1857).

С. 114. ...*напечатанные письма...* — намек на фетовские мемуары.

С. 115. ...*из его письма* — к К. Колеманвиль от 7(19).VIII.1873 г.

...*цепь тяжелая* — из «Переписки».

...*слезами восторга.* — Здесь и далее — письма Авдееву 1871 г., Пичу 1866, 1867, 1873, 1876, 1878(79), 1880, 1883 гг., Дружинину, Толстому 1856 г., Некрасову в 1857 и 1858 гг., Колбасину 1861 г., Толстому 1879 (80) г. и Герцену 1861 г., Борисову 1871 г., Маслову 1870, 1873, 1874 гг.

С. 117. ...*от одра умирающего друга...* — П. Виардо послала за 2 дня до смерти Герцена телеграмму, зовущую Тургенева в Швейцарию (январь 1870 г.).

С. 118. *St. Germain... Rue de Douai* — уже после смерти Тургенева ул. Дуэ получила название бульвар Сен-Жермен.

С. 119. *«Его миллионы».* — Измышлениям мемуаристки отвечал Стасюлевич в своем журнале (1907, № 3). На самом деле писатель получил (отнюдь не миллионы!) деньги за собрание своих сочинений (СПБ, 1883), оказавшееся последним прижизненным, от книгопродавца Глазунова; часть этих денег пошла дочери Тургенева Полине Брюэр, движимое имущество осталось за Полиной Виардо.

С. 120. ...*«знобимая стяжанья лихорадкой».* — А. С. Пушкин «На выздоровление Лукулла» (1835).

« ..дорогих ей русских»... — Письма к Стасюлевичу (см. М. М. Стасюлевич и его современники...», т. III, с. 267) и Пичу («Вестник Европы», 1909, № 6, с. 652—653).

С. 121. ...*в чуткой душе Писарева* — см. его статьи «Базаров» (1862) и «Реалисты» (1864).

...*взыскательный художник.* — «Поэту» (1830).

С. 122. ...*«разбитого сосуда».* — Тургенев сравнивал себя и П. Виардо.

...*«пойдут даже ветки?»* — Из письма к Ж. А. Полонской от 9(21). XI.1881 г.

С. 123. ...*«стихотворения в прозе...»* — Тургенев имел в виду только их (письмо конца 1892 г.).

...*поверхностными отзывами ..* — Эти отзывы появились в 1866 г. в «Современнике», «Искре», «Неделе».

...*и вот она... вечная ночь...* — послание 29 XII.1871 (9.I.1872) г.

...*родине поклонитесь...* — Полонскому — 30.V.(11.VI). 1882 г.; «из родного Спасского» — Ж. А. Полонской 2(14). VI. 1882 г.; «в Россию» — Л. Б. Бертенсону 22 XII.1882(3.I.1883) г.

С. 124. ...*римляне говорили.* — Слова императора Тита Флавия Веспасиана.

...*«друг мой»* — знаменитое послание от 27 или 28.VI. (9 или 10. VII.) 1883 г.

...*доброе и кроткое...* — цитируется упомянутое уже письмо П. Виардо, помещенное в июньском «Вестнике Европы» за 1909 г.

С. 125. .. *«мы отдохнем»* — А. П. Чехов «Дядя Ваня» (1897).

САВИНА И ТУРГЕНЕВ

Мемуарный очерк увидел свет в качестве вступительной статьи к сборнику «Тургенев и Савина», изданному в Петрограде в 1918 г. под редакцией автора очерка. Вошел в 3-й том Пятитомника и в 6-й Собрания сочинений.

С. 127. .. *«И я с ними»...* — из двухтомного сб. «Кончина М. Г. Савиной», Пг., 1916—17, т. I, с. 74. Составитель актер А. Е. Молчанов, третий муж Савиной.

С. 128. *«Дворянское гнездо»... для сцены... увидело свет рампы Александринского театра* 27.I.1894 г. в бенефис актрисы, совпавший с 20-летием ее игры на столичной сцене.

После первой встречи. — Состоялась в столице весной 1879 г. (сб. «Тургенев и Савина», с. 64—65).

С. 129. *Достаточно указать...* — Необыкновенные романические истории и переписки любовников, нашедшие отражение в литературе: Мирабо «умыкнул» у старика аристократа молоденькую жену и поплатился свободою; Мериме любил будущую императрицу, жену Наполеона III; Юрий Самарин доказывал оппонентке необходимость изменить национальную политику в Прибалтике.

С. 132. . .*подобно той кропательнице фельетонов* — уже упоминавшаяся Виницкая-Будзианик.

С. 133. ...*жене своего приятеля* — бездетные Топоровы на эти средства вырастили приемыша, «тургеневскую Любу».

. .*«откровенного безобразия порока»* — из стихотворения в прозе «Эгоист».

...*«славу... гения»* — из письма Полонскому 21.II(5.III.) 1873 г.

...*«можно обманываться.., можно жить...»* — Отрывок «Довольно».

С. 134. *«тайный смысл... жизни»* — из тургеневских «Фауста» и «Переписки».

С. 135. *«...страданий и смерти»* — из писем к графине Ламберт 1861 и 1862 гг.

...*смерть представлялась Тургеневу...* — строки из его «Призраков», «Что я буду думать?», «Насекомое», «Старуха», «Черепа», «Старик», «Мы еще повоюем», «Клара Милич», «Записки охотника» («Смерть»), «Воробей», «Переписка», «Месяц в деревне», «Вешние воды», «Собака».

С. 139. *Он чувствовал потребность...* — из писем к Полонской, Ламберт и др., в основном 1860-х гг.

...*«бескрылых желаний»* — А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери».

С. 140. ...*связи молодости* — М. Ю. Лермонтов «Не верь себе» (1839).

...*«и не ночевала»* — восходит к одному из отзывов о Некрасове — «поэзия и не ночевала тут».

«Но чу! Гремят рукоплесканья!.. — Полонский «И. С. Тургеневу» (1879).

...*«безумству дань»* — из 7-й гл. «Евгения Онегина».

С. 141. ..*«сидеть на краешке чужого гнезда»* — Тургенев Некрасову 12.(24).VIII.1857 г.

С. 142. *«Мгновения бессмертия»* — близко к строке из стихотворения в прозе «Стой!».

В отношении Кони к Виардо в этой работе — заметное «потепление»: «года минули, страсти улеглись...». То же можно заметить и у большинства соотечественников великого писателя, особенно в десятых годах нового века.

...*«некуда... идти»* — Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (1866).

...*своими трудами* — Луи Виардо перевел на французский «Первую любовь».

С. 143. *«О, ты, последняя любовь...»* — из одноименного стихотворения Тютчева (1854).

Он писал — в конце 1850-х гг., Вревской — в 1874-м.

С. 144. ...*«спокойно вплыть в пристань старости»* — Фету (1860 г.).

...*«опасающегося заглядывать вперед»* — «Старик», стихотворение в прозе.

...*«животворный луч»*...— «Как ты кротка, как ты послушна» (стихотворение 1856 г.).

С. 147. ...*в моей памяти*...— «Стой!».

...*из старого... дерева*...— Письмо к Полонской, конец 1881 г.

...*«судьбой отсчитанных днях»* — А. С. Пушкин «Евгений Онегин».

«...старое сердце» — стихотворение в прозе «Камень».

...*к «равнодушной» природе* — пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

С. 148. *на память слова* — «Безумных лет угасшее веселье» (1830).

...*другим чувством*.— Здесь и ниже — из писем к Савиной 1879—1882 гг. (не всегда точно приводимым).

С. 149. ...*припечатано пушкинским кольцом-талисманом*.— Елизавета Воронцова подарила его поэту, сложным путем кольцо оказалось у Тургенева (см. очерк В. П. Гаевского «Перстень Пушкина», «Вестник Европы», 1888, № 2).

С. 153. ...*играть «Соловушку»* — в комедии Шпажинского.

«Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля».— Н. А. Некрасов «Несчастные» (1856), неточно.

С. 154. ...*по силе дарования*.— См. «Воспоминания об И. С. Тургеневе и селе Спасском» М. С. Щепкина («Исторический вестник», 1898, № 9).

С. 155. ...*сшитых суровыми... нитками* — комедия В. А. Крылова; «комедия в стихах» — «Трогирский воевода» Д. Аверкиева (1885).

С. 157. ...*роль труднее*...— речь идет о гоголевском «Ревизоре».

С. 158. *Тургеневская выставка* функционировала весной 1909 г.

...*перед... портретом* — по-видимому, фотография, выполненная К. Бергамаско.

ПОХОРОНЫ ТУРГЕНЕВА

Напечатано впервые в «Тургеневском сборнике» (Пг., 1921), редактором которого был Кони. Он читал свои воспоминания на заседании Тургеневского общества (основано в мае 1919 г.), и они затем вошли в т. 4 Пятитомника, также напечатаны в т. 6 Собрания сочинений.

С. 160. *«...придавал особое значение».*— «Честь и слава великой славянской расе,— отметил французский философ,— появление которой на авансцене истории есть самый поразительный феномен нашего века; честь и слава ей, что она так рано нашла выразителя в таком несравненном художнике. Никогда тайны народного сознания, еще темного и полного противоречий, не были раскрыты с такой удивительной проницательностью» (сб. «Иностранная критика о Тургеневе». СПБ, 1908, 2-е изд., с. 10).

...отправлено в Россию.— Факты почерпнуты из статьи редактора «Вестника Европы» (1883, № 11) «Похороны И. С. Тургенева».

С. 161. *...печатал... главные произведения.*— Кроме романа «Дым» (1867) и повести «Несчастная» (1869), появившихся в «Русском вестнике».

С. 162. *...«любовь сильнее смерти»* — «Воробей», стихотворение в прозе.

С. 164. *...вопросы его* — рецензия на поэму «Параша» (1843).

С 166. *...блистали своим отсутствием* — перифраза из Тацита: на похоронах «Кассий и Брут блистали именно благодаря отсутствию своих изображений».

...старые счеты — «Либерал-постепеновец» Тургенев непримиримо относился к ренегату, реакционеру Каткову до своей кончины; «Иногородним обывателем» прикрылся литератор-доноситель Б. Маркевич, которого рьяно защищал сам Катков в передовицах газеты, тоже обливавшей грязью великого писателя.

. *журнала революционного характера* — непериодического издания «Вперед», что вызвало сенсацию в России — шок у ретроградов, преклонение перед покойным писателем передовых людей общества.

С. 167. *...предполагает произнести речь Л. Н. Толстой...*— Он относился к умершему трогательно... «О Тургеневе,— писал жене,— все думаю и ужасно люблю его, жалею и всё читаю...» (30.IX.(12.X). 1883 г.). Ужас Феоктистова и его действия описаны в статье Ю. Никольского «Дело о похоронах Тургенева» в журнале «Былое», 1917, № 4. См. также Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы». Л., 1929. О запрете московского генерал-губернатора Долгорукова выступать Толстому, см. «Былое», 1918, № 9 и А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого». М., 1922, т. I.

С. 168. *...поклонился тому, что сжигал* — крылатое выражение из легенды о франкском правителе Хлодвиге.

...«от которого всего можно ожидать».— Дружа с Петром Лавровым и Германом Лопатиным, уважая и любя их лично, Тургенев в то же время отмежевывал себя от этих революционеров.

...переписка.. многозначительна и трогательна.— См. «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928.

Знаменитый автор. .— После Петербургского Тургенев учился и в Берлинском университете, будучи же студентом в российской столице, создал ряд юношеских романтических поэм («Стено» и др.), написал почти сто стихотворений.

С. 170. *...«не единым хлебом...»* — Выражение из Библии.

...Добровольный флот был сформирован в 10-ю русско-турецкую войну 1877—1878 гг.

С. 172. *Кавдинское ущелье.* Здесь в Апеннинах были разгромлены римские войска; крылатая фраза означает неодолимое препятствие.

С. 174. *«Мы ленивы и нелюбопытны»* — пушкинский афоризм («Путешествие в Арзрум», 1829).

лучшая книга... написана иностранцем Мазоном по-французски —

«Мастер русского романа Иван Гончаров», Париж, 1914 (на французском языке).

С 175. *«Врете, подлецы...»* — из письма Пушкина Вяземскому (XI 1825 г.).

С. 176. *...любопытно... другого качества* — примеры ненавистной Кони обывательщины, проникшей на страницы мемуарных изданий Панаевой-Головачевой, «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской», М.-Пг., 1922 и др.

...«всё смолкает перед могилой» — из «Литературных и житейских воспоминаний» (очерк «Гоголь»).

«мерою полною, утрясенною» — Евангелие от Луки.

«Асмодей...» — Кроме этой статьи — его же «Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым (1869).

С. 177. *...«хуже... лжи»* — А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1825).

...Пальма первенства принадлежит Фету.— Тургенев сразил бывшего друга, яростно добивавшегося причисления к роду отца, не бывшего ему отцом (письмо 12(24).XII.1874 г.): «...Как Фет, Вы имеете имя, как Шеншин Вы имеете только фамилию». Примирение в 1878 г. не возродило былых приятельских отношений.

С. 178. *...недоброжелательные отзывы о нем* — статья Б. Садовского, «Русский архив», 1909, № 4; «о вилянии демократическими ляжками» — из Фета, т. I, М., 1890. Кони считает нужным выступить против подобных «исследований», ему особенно претит отсутствие критики у Садовского при отборе материала, искажающее великий образ. Много и горячо сделано Стасюлевичем в борьбе за чистоту образа писателя. «Я желаю,— сказал Тургенев,— чтобы меня похоронили на Волковом кладбище, подле моего друга Белинского; конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего «учителя» Пушкина; но я не заслуживаю такой чести»... Тогда я ему напомнил, что могила Белинского давно обставлена со всех сторон.— Ну, да я не буквально,— возразил он мне,— все равно будем вместе, на одном кладбище» (М. М. Стасюлевич. «Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева. «Вестник Европы», 1883, № 10).

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

Очерк увидел свет в майской книжке «Вестника Европы» за 1908 г., вошел в состав мемуарного цикла «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский» 2-го тома «На жизненном пути» (все 3 издания); включался в Собрание сочинений, т. 6.

С. 180. *...поставлены «Ревизор» и «Женитьба».*— «Ревизор» 14 апреля 1860 г. в Петербурге; участвовали в нем и родители Кони.

...знакомство началось в Москве.— Сюда Писемский перебрался в январе 1863 г. после литературного скандала, учиненного им и отразившего расстановку сил в среде столичной общественности, в среде революционно-демократических группировок вокруг «Современника» и «Искры» и противостоящих им органов: «Библиотека для чтения» и «Русский мир». В конце 1861 г. Писемский поместил злой фельетон за подписью «старая фельетонная кляча Никита Безрылов», за что получил отповедь на страницах «Искры» (май 1862 г.) еще до ареста Чернышевского, т. е. до начала травли правительством радикальной печати и ее деятелей. В Москве Писемского «приютил» Катков, в чьем «Русском вестнике» появился «антинигилистический» роман, завоевавший печальную известность (№№ 3—8 за 1863 г.).

С. 182. *...кто такой автор..*— характеристика Тургенева относилась к повести «Детство» (1852).

С. 185. *..произвела судьба.*— Рукопись, к счастью, сохранилась (находится в ЦГАЛИ), но опубликована через много лет после изуродованного цензурой варианта уже посмертно; семью писателя преследовали непрестанные несчастья: самоубийство сына, болезни другого и супруги писателя, ранняя смерть самого.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Очерк появился в юбилейном сборнике «Островский. 1823—1923», под редакцией А. А. Бахрушина, Н. Л. Бродского, Н. А. Попова, М., 1923, издание Русского театрального общества. Включался в т. 6 Собрания сочинений.

С. 187 *...назвал «фасадностью».*— В статье «Русский прогресс и русская действительность» И. Аксаков процитировал фразу «Россия есть царство фасадов» — из книги писателя маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году» (Париж, 1839, на французском языке); стало излюбленным выражением Герцена.

...с искаженным... концом.— Написанная в 1849 г. комедия в первозданном виде появилась лишь в 1881-м. Именитое купечество первопрестольной встретило ее зло, а особый цензурный комитет, при вмешательстве Николая I, запретил к постановке, за автором учредили негласный надзор. В 1859 г. драматург смягчил эпилог на «угодный». «По-ревизорски» являлся «бог из машины» — квартальный, карающий несправедливость. В этом виде поставлена в Александринке в 1861 г. и 20 лет шла в театрах обеих столиц с цензурными искажениями.

С. 188. *...близость с «молодой редакцией».*— С 1850 г. к «старикам» Погодину и Шевыреву добавились новые силы — Островский, Писемский, Григорьев, Филиппов и др., в историю литературы вошедшие под указанным наименованием.

...голос Григорьева.— Аполлон Григорьев встретил появление Островского восторженными статьями (в «Москвитянине» в 1853 г. и позднее). Однако «Современник» и «Отечественные записки» в лице Чернышевского и др. предостерегли молодого драматурга от бурных похвал славянофилов и советовали работать в критическом настрое первой комедии.

...сочувственные отзывы.— Статья Добролюбова «Темное царство» (1859) появилась до «Грозы» с знаменитой рецензией на нее — «Луч света в темном царстве» (1860).

...«исправлять народ».— Островский — Погодину 30.IX.1853 г.

С. 189. *«Тебе сплели венок...».*— Злые, часто несправедливые эпиграммы Щербины не переиздавались, см. их в его Полном собрании сочинений, СПБ, 1873.

...«Гроза» на сцене — 2 декабря 1859 г.

С. 192. *...не повел свою дочь.*— Уваровскую премию получила в 1860 г. «Гроза».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Впервые очерк напечатан в «Вестнике Европы», 1908, № 5, как 3-й раздел «Отрывков из воспоминаний». В составе цикла «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский.— Языков»

помещается во все три издания Пятитомника. Также очерк включен в копивскую книгу «1821—1921. Некрасов. Достоевский. По личным воспоминаниям». Пг., 1921, в значительно дополненном виде. Это юбилейное издание автор сопроводил вступлением, в котором, в частности, писал: «На моем долгом жизненном пути судьба послала мне личное знакомство с Некрасовым и Достоевским, Львом Толстым и Майковым, Тургеневым и Гончаровым, Писемским, Соловьевым, Апухтиным, Кавелиным и др. Воспоминаниям о двух из них посвящается настоящая книжка, ввиду того, что в настоящем году исполнилось и исполняется 100 лет со дня рождения Некрасова и Достоевского». Как имеющий самостоятельное значение очерк вошел также в завершающий том Пятитомника. Печатаем по Собранию сочинений, т. 6.

С. 195. ...*«поэзия и не ночевала»* — слова Тургенева в письме к Полонскому от 13(25) января 1868 г. Вообще для Тургенева в его отношении к поэту, «печальнику горя народного», характерна (и закономерна!) обусловленная разницей идейных и художественных задач эволюция, принявшая особенно резкие формы после раскола в «Современнике»; до этого Тургенев признавал, что многие стихи поэта «пушкински хороши», а иные даже «жгутся», будучи собранными «в один фокус». (Полное собрание сочинений и писем. Письма, тт. II, III. М.— Л., 1961, по указателю).

«Иди к униженным, иди к обиженным — там нужен ты» — из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

...*«средь буйных дикарей»* — стихотворение «В неведомой глуши, в деревне полудикой...» (1846).

С. 196. ...*Как тяжело проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников.*— Очерк «Петербургские углы» вошел в состав альманаха «Физиология Петербурга», ч. I—II, СПБ, 1845, где, кроме Некрасова, редактора и автора, как в других его сборниках, участвовал еще ряд писателей: Белинский, Герцен, Тургенев, Достоевский, Григорович...

С. 199. *Против... Александра II.*— А. И. Герцен и Н. П. Огарев множество раз выступали на страницах зарубежного бесцензурного «Колокола» (газета выходила в 1857—1867 гг.) с разоблачением как реформы 1861 года, так и вообще непоследовательной внутренней и внешней политики царя. Напомним: Кони, в общем, принимал реформы 60-х годов положительно, отмечая в них главное, не акцентируя внимания на их ограниченности, половинчатости, хотя, впрочем, резко отрицательно относился к позднейшей политике контрреформ при том же Александре II и его сыне.

С. 202. ...*в потрясающих стихах.*— «Про холопа примерного — Якова верного» (поэма «Кому на Руси жить хорошо»).

С. 203. ...*которую он называл... уменьшительным именем Зины.*— Ф. А. Викторова (?—1915) — последняя жена поэта, ей он посвятил ряд своих произведений.

О судье Загибалове едко отозвались «Отечественные записки» (№ 10 за 1872 г.) заметкой публициста-демократа Н. А. Демерта и, получив от мирового ответ, через полгода снова вернулись к этой истории, окончательно разоблачив последнего: он наложил штраф на меню как на «бесцензурную литературу».

С. 205. *«муза мести и печали»* и *«ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой...»* — из стихотворений «Рыцарь на час» (1860) и «Ликует враг» (1866).

С. 206. ...*рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые ор-*

ганы общественной мысли от гибели.— Кони не осуждает известного поступка Некрасова, но как всегда глубинно объясняет главное движущее начало, в данном случае — желание спасти журнал, свое детище.

...пьяные люди... добрые люди — мысль Снегирева, персонажа романа «Братья Карамазовы» (1879—1880).

С. 207. *«Смолкли поэта уста благородные...»* — начальная строка из стихотворения «На смерть Некрасова» («Отечественные записки», 1878, № 1), умершего в последние дни 1877 года.

С. 208. *...За каплю крови, общую с народом* — строки из стихотворения «Умру я скоро...», написанного за 10 лет до кончины.

К. Д. Кавелин в молодости посещал кружок Герцена—Грановского, дружил с Белинским, позднее был близок к кругу Чернышевского, что не помешало в пору монархических увлечений «сильной властью», «понимающей» народные интересы, оправдать расправу над ним; стал автором верноподданнической записки на имя царя: «О нигилизме и мерах против него необходимых» (1866). Вместе с тем — под влиянием Некрасова — проявлялся определенный неподдельный демократизм его воззрений.

С. 212. *...усадьба Некрасова...*— Ныне дом-музей Некрасова возле поселка Чудово.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

Очерку предшествовала речь Кони о писателе, прочитанная в Юридическом обществе при столичном университете 2 февраля 1881 г. и напечатанная под заглавием «Достоевский как криминалист» 8 февраля в № 6 «Недели». Включалась автором в однотомники «За последние годы» (СПБ, 1898, 2-е изд.) и «Очерки и воспоминания» (СПБ, 1906). В дополненном виде очерк вошел в т. 4, в сокращенном — в т. 5 Пятитомника и перепечатан в Собрании сочинений, т. 6; по дополненному варианту последнего публикуется в настоящем издании.

С. 216. *...«хранили гордое молчанье...»*— у Пушкина в стихотворении «В Сибирь» (1827) — «храните гордое терпенье».

С. 217. *...в ...Вестминстерском аббатстве.*— Лондонский Вестминстер принимал прах королей и выдающихся деятелей культуры Великобритании.

С. 218. *...«сторожевой тенью»* — из «Скупого рыцаря» (1830); *о праве... «вши».*— По «Преступлению и наказанию» (1866): «самой наибесполезнейшей... из всех вшей» считает Родион Раскольников старую процентщицу.

С. 219. *...громкие процессы.*— Один из них — нашумевшее дело 1879 г. о злодейском убийстве гвардейским офицером с корыстной целью двух человек (очерк «Ландсберг», 1908), в котором Кони с осуждением и негодованием описывал не только преступника, но и породу «судебных дам», жадных до зрелища, бессердечных и истеричных, тоже ставших обывательским знамением времени.

С. 222 *...«заимодавец жадный»* — «Скупой рыцарь».

С. 224. *...у Гоголя...* — «Записки сумасшедшего» (1834).

С. 226. *..«человек есть существо»* — «Записки из Мертвого дома» (1861—1862).

С. 229. *...в камерах Литовского замка* — одна из тюрем столицы, сожжена в пору свержения монархии.

«...и насадить новые» — «Дневник писателя» за январь 1876 г.

...написаны слова — «правда и милость да царствуют в судах».

С. 230. *...«темные пропасти земли»* — у Пушкина: в «мрачных пропастях земли» («19 октября 1827 года»).

«упорствуя, волнуясь и спеша».— Н. А. Некрасов «Памяти приятеля» (1853).

С. 231. *Насмешливые стихи Тургенева* (и Некрасова) якобы от имени Белинского вышучивали повесть «Двойник» (1846), по мнению друзей, слабую. Отсюда пошла нескончаемая вражда Достоевского и Тургенева. «Нервической чепухой» признал Белинский повесть первого «Хозяйка» (1847).

С. 232. *...«апостол кнута»* — так назвал Белинский автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) в знаменитом к нему послании-памфлете.

С. 233. *В день кончины...*— Пушкин умер 29 января (10 февраля), Карлейль 4 февраля, Байрон — 19 апреля.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Впервые — в «Вестнике Европы», 1908, № 5; заключительный раздел очерка составила заметка автора «У гроба Достоевского» (газета «Порядок», № 29 от 30 января 1881). Очерк вошел в известный писательский цикл «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский», который был очень популярен в читательских кругах и включался автором во все три издания «На жизненном пути» (том 2), а также в юбилейную книгу Кони «1821—1921. Некрасов.— Достоевский. По личным воспоминаниям». ПБ., 1921; и наконец, очерк был опубликован в последнем томе мемуаров, вышедшем в Ленинграде в 1929 г. Печатаем по т. 6 Собрания сочинений.

С. 234. *«Петербургский сборник»* появился менее чем через год, в январе 1846-го, и включал произведения Белинского, Герцена, Тургенева, В. Одоевского, составителя Некрасова...; открывался же он повестью никому не известного Федора Достоевского «Бедные люди», сразу ставшего известным широким кругам общества.

...благословил на дальнейшую писательскую деятельность.— Мы приведем источники, с разных сторон освещающие и характеризующие это событие для отечественной литературы, встречавшей гения. Григорович: «С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинил до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение... Чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова — по лицу у него также текли слезы». И далее добавляет независтливый писатель-мемуарист к вящей славе 24-летнего коллеги: «Белинский преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе» (Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., 1987, сс. 82, 83, 84). В «Дневнике писателя» за январь 1877 года Достоевский оглядывается на событие 30-летней давности: Белинский «заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то.., что вы такое написали!.. Вы до самой сути дела дотронулись, главное разом указали... Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт.

Л., 1985, т. 25, сс. 30—31). Позднее великий критик не раз возвращался к оценке повести, подчеркивая уже ее связь с гоголевскими традициями в отечественной словесности. Это не помешало Белинскому о слабой вещи «Двойник» отозваться нелестно.

С. 235. *...оценку своего таланта.*— Н. К. Михайловский назвал свою статью о писателе «Жестокий талант» (1882), выразив отношение к Достоевскому значительной части революционной и демократической молодежи, а также передовых писателей (Г. Успенский, В. Короленко и др.); термин был подхвачен, стал нарицательным.

Вогюэ активно пропагандировал русскую литературу в Европе («Русский роман», Париж, 1886; «Современные русские писатели. Толстой — Тургенев.— Достоевский». М., 1887, вып. 3.).

С. 236. *«О, память сердца! ты сильней — рассудка памяти печальной»* — К. Д. Батюшков «Мой гений» (1815).

С. 237. *...«донос на молодежь»* — имеется в виду Елисеев, который в 1866 г. в «Современнике» (журнальный обзор) обвинил писателя в том, что тот «озлоблен движением» и «клевещет» на его молодых участников.

С. 238. *...постыдная газета* — «Гражданин» Достоевского (1872—1873) и позднее мракобеса, доносителя Мещерского — по сути разные органы политической, нравственной, литературной ориентации. Кони сколько мог помогал писателю в значительной отсрочке исполнения приговора.

...один из величайших русских писателей.— Далее, уже в текст советского времени, автор очерка вписал характерное для него: «роскошествуя лишениями» (материалы к лекции о Достоевском от 23 января 1927 г., ИРЛИ, ф. 134; опубликовано в Собр. соч., т. 6, с. 630).

С. 241. *...в один из летних дней...*— Уточнено ленинградским исследователем Г. М. Фридлендером («Реализм Достоевского». М.—Л., 1964, с. 293): 27 декабря 1875 г.

С. 244. Н К. Михайловский этот *«временный просвет»,* связанный с недолгой деятельностью Лорис-Меликова и возглавляемой им Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и спокойствия (1880—1881), удачно называет политикой «волчьего рта и лисьего хвоста». В статье Кони о графе односторонне позитивно освещена двойственная фигура и его двусмысленное поведение человека, обязанного не столько успокоить интеллигенцию обещаниями «свобод», сколько укротить ее кнутом, страхом тюрем и виселиц.

...не лишенных основания возражений.— Речь писателя критиковал и освободительный лагерь, и охранители: первые — за отвлеченность от нужд народа и общества его лозунга «всечеловечности», последние — за «розовое христианство».

С. 245. *...«судьбой отсчитанных дней»* — «Евгений Онегин», письмо героя романа к Татьяне.

С. 246. *...поклониться его праху.*— В архиве Кони в ИРЛИ исследователями обнаружена машинопись его статьи 1921 г.— «28 января 1881 года», являющейся вариантом окончания настоящего очерка. «Я поехал,— пишет автор о последнем своем поклоне только что умершему писателю,— поклониться его праху. На лестнице невзрачного, хотя и большого дома, напоминающего собой огромный каменный ящик, пред дверью, обитой старой, местами прорванной клеенкой, толпились люди с грустными и взволнованными лицами. Постоянно подходили новые посетители, и, насколько можно было уловить общее настроение, они наглядно опровергали злое удивление автора

«Bilder aus der Petersburger Gesellschaft»[1], не понимавшего, как можно спокойно жить в Петербурге, где «улицы всегда сыры, а сердца всегда сухи». Среди самой скромной, чтобы не сказать бедной, трудовой обстановки почил вечным сном человек, умевший, по справедливому замечанию Вогюэ, «добраться до сердца русского народа» (Собр. соч., т. 6, с. 631—632).

С. 247. *...набросок... с умершего* — не Репина, а Крамского.

С. 249. *«У гроба Достоевского»* — вошло в книгу Андреевского. Стихотворения, СПБ, 1886. В библиотеке Пушкинского Дома находится дарственный экземпляр автора: «Моему доброму гению, отцу моей музы А. Ф. Кони, горячо любящий, неизменный друг С. Андреевский. 1 янв. 1886». Кони оставил о поэте и юристе очерк (вошел в т. 5 «На жизненном пути» и Собрание сочинений, т. 5).

С. 250. *...не далеко время.*— Пушкинское общество основано в конце XIX века, прожило до 1917 г. Толстовское общество функционировало в 1909—1917 гг. Тургеневское существовало в 1919—1921 гг.; оно создало «Тургеневский сборник» (Пг., 1918), куда вошли воспоминания Кони «Савина и Тургенев».

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГОРБУНОВ

Критико-биографический очерк родился из лекции «Иван Федорович Горбунов и его произведения», прочитанной первоначально 18 января 1898 г. в столичном Доме юстиции и повторенной для Русского литературного общества и аудитории в Соляном городке, последние — в пользу голодающих крестьян. Напечатан был очерк в ноябрьской и декабрьской книжках «Вестника Европы» за тот же год. Включался в качестве вступительной статьи в двухтомник Горбунова (СПБ, 1901) и его позднейшие издания 1902 и 1904 гг., а также в трехтомник 1907 г., в книгу «Очерки и воспоминания», СПБ, 1906. Вошел в 5-й том мемуаров и т. 6 Собрания сочинений.

«Я кончил, наконец, «Горбунова»,— сообщал автор Стасюлевичу 12.VII.1898 г.,—...по моим соображениям статья, кажется, вышла удачною... По обычаю и по немощи моей статья написана, как часть «Гааза» и весь «Ровинский» — карандашом с разными вставками. Поэтому мне *необходимо* очень внимательно прочесть авторскую корректуру» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, с. 466).

Писатель А. А. Тихонов-Луговой в письме к автору от 12.X. 1898 г. отметил: «По мне Ваш очерк о Горбунове — это литературно-гражданский подвиг... Читая Ваш очерк, я вижу пред собой если не всю, то большой кусок России в известную эпоху» (т. 5 Пятитомника).

С. 252. *«...каждый след для сердца русского есть памятник священный»*— П. А. Вяземский «Петр I в Карлсбаде» (1853).

С. 254. *...устами одного из... лиц* — профессора словесности.

С. 258. *«Не впадай в... ошибку»* — Лессинг «Гамбургская драматургия» (1767—1769).

С. 259. *Неприятным обстоятельством* — сценки «Воздухоплаватель», «У мирового судьи», «Развеселое житье».

С. 262. *...сын был прав* — сценка «Самодур», далее — из рассказов «На рыбной ловле», «Медведь».

---

[1] «Картины петербургского общества» *(нем.)*.

С. 263. ...*«вековечной печальницы»* — Н. А. Некрасов «Орина, мать солдатская» (1863, неточно).

«смелый посев просвещенья» — «Стансы» (1826).

...*забота о народном образовании* — реформировано было высшее и среднее образование (1863, 1864 гг.).

...*резкие примеры* — «Провинциальные нравы за последние полвека» («Русская старина», 1897, № 9).

С. 264. ...*кто книжки читает* — «На рыбной ловле», «Визит», далее — из «Уездного города», «Затмение солнца», «Из московского захолустья», «Воздухоплаватель», «Сцена у квартального надзирателя», «Иверские юристы», «У мирового судьи», «Спичи» и др.

С. 290. *«Руси есть веселие пити»* — изречение Владимира (Несторова летопись, XII век).

С. 291. *«А добрый сон пришел — и узник стал царем»* — Н. А. Некрасов «Русские женщины» (1871—1872).

«Аз есмь хмель»... — по атласу Ровинского «Русские народные картинки», СПБ, 1881, т. I, с. 104. Кони написал о Ровинском большой очерк.

С. 292. *«Пьяному!»* — Некрасов — Г. Успенскому (В. Евгеньев-Максимов. Н. А. Некрасов. М., 1919, с. 182).

С. 296. ...*«промотал свои идеалы!»* — Кроме упомянутых выше, здесь и далее сценки, рассказы, очерки «Уездный город», «Белая зала», «Самодур», «Об Саре Бернар», «Князь Владимир Федорович Одоевский», «На ярмарке», «Широкие натуры», «Утопленник», «Постоялый двор» и др.

С. 303. ...*в недавних... трудах* — «Критика новейших систем морали» (пер. на русский — 1898 г.).

«бессмысленную и беспощадную» — А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (1833—1836).

...*об убийстве в 1812 году...* — Л. Н. Толстой «Война и мир» (1863—1869).

С. 306. ...*к сердцу слушателя* — «Медведь», «Нана», «Самодур» и др.

«Довлеет дневи злоба его» — Евангелие от Матфея.

С. 308. ...*и мере наказаний по Миттермайеру* — этот ученый-криминалист защищал заключенных от жестокости современной карательной системы.

С. 309. *Дитятин следил за мимобегущей жизнью...* — Мак-Магон не сумел осуществить переход к монархическому правлению (16 мая 1877 г.), Гамбетта летал на воздушном шаре через вражеские линии (1870); из поповского сословия в чиновничье «перешел» Вышнеградский (80-е гг.); мысль философа в работе «Мир как воля и представленье» (рус. перевод — 1881 г.).

С. 312. ...*«бразды рукой железной»* — А. С. Пушкин «Медный всадник» (1833, неточно).

...*в 1812 г.* — очерк Горбунова «Забытый дом», ниже — рассказ «Дневник дворецкого».

С. 316. ...*читает «четь-минею».* — Правильно «Четьи-Минеи» — жития святых и легенды поучительного свойства для каждодневного чтения.

С. 321. *Достаточно припомнить...* — работы по истории Англии и крестьянских бунтов на Руси.

С. 326. ...*душу христианскую* — очерк «Иверские юристы» (ранее «Комиссар»).

С. 328. ...*челобитная самого Горбунова.* — Она 18.III.1884 г. вклю-

чена автором в известный в литературной, артистической, художественной среде столицы альбом историка М. И. Семевского «Знакомые» (СПБ, 1888) как ответное послание на первую грамоту «приказа разбойных и татебных дел болярина Анатолия». «Челобитная» хранится в архиве Кони (ИРЛИ, ф. 134).

С. 329. *Стоит припомнить Котошихина, житие Аввакума* — котошихинское «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666) и автобиографическое Аввакумово «Житие» (1672—1675).

С. 333. *Горбунов написал* — «Грамота московским людям».

С. 334. *«Берегите наш язык...»* — тургеневский очерк «По поводу «Отцов и детей»; у Кони описка: не «в числе», а «в челе».

Письма его... — «Письма и бумаги императора Петра Великого» в 6 томах, СПБ, 1887—1912.

С. 339. *...составилось... собрание.* — Из этой выставки, куда передал материалы Горбунову и Анатолий Федорович, вырос Театральный музей.

С. 340 *.. дебютировав в водевиле* — Д. Ленского (1834).

С. 341. *...нота.. скорби* — строки из Библии начертаны на могиле Гоголя: «Горьким словом моим посмеюся». Слова писателя из «Мертвых душ» (т. I, 1842).

...в... нелепом водевиле — П. Каратыгина (1833).

С. 343. *...говорит старый актер* — очерки «Белая зала» и «Широкие натуры»

С. 347. *Один его романс был положен на музыку известным Дюбюком.* — У Дюбюка этой вещи нет.

С. 349. *...вынужден был играть* — имеется в виду опера-фарс «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха (1858).

С. 352. *«Же дор, тю дор...»* — «Я сплю, ты спишь...» (фр.).

С. 353 *.. чмокнул его в плечо* — из воспоминаний П. Шереметева (Сочинения, т. III) и самого писателя («Перед лицом графа Закревского»).

«Птички певчие» — иначе «Перикола» (1868)

...петербургской артистке — Савиной 27.V.1881. (Сочинения, т. III).

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Воспоминания о великом писателе появились в 1908 г. в популярном столичном еженедельнике «Нива», книга III (литературное приложение). 1-е и 2-е издания мемуарного Пятитомника (в томе 2-м) были идентичны, в 3-м прижизненном издании появились изменения, дополнения — оно использовано для печатания составителями шестого тома Собрания сочинений, откуда и взято нами. В квадратных скобках помещены восстановленные тексты, снятые по цензурным мотивам самим автором.

С. 357. *...ежечасно надо ожидать его кончины.* — Толстой тяжело болел в 1902 г.

С. 358. *...звездное небо.* — Великий немецкий философ в знаменитой работе «Критика чистого разума» сформулировал в лапидарно-афористической формуле поразившую читателей и последователей, в том числе и русских, — соотнесенность между областью рационально-чувственного познания и нравственной сферою: «звездное небо над нами, моральный закон в нас». Отец Кони «по Канту» воспитал обоих сыновей, в детстве и отрочестве в доме постоянно слы-

шались ссылки на германского мыслителя. Побудительно-двигающую силу человеческой нравственности Кант обозначил как «категорический императив». Кони сделал из дневника Д. И. Маковицкого, близкого к Толстому, выписку: «Л<ев> Н<иколаевич> особенно ценит Канта, его категорический императив ..» (ИРЛИ, ф. 134). А. Б. Гольденвейзер в мемуарах передает высказывание Толстого о Канте: «Одно всегда неизменно наполняет мою душу изумлением и благоговением — это звездный свод надо мною и нравственное чувство внутри меня» («Вблизи Толстого», М , 1959). В своей работе «Общие черты судебной этики» (М., 1912) Кони отмечал близкое ему в Канте, коим он с юношеских лет руководствовался сам: «Осуществление безусловных требований нравственного долга выражается прежде всего в уважении к человеческому достоинству и в любви к человеку как к носителю нравственного закона, сознание которого вместе с видом звездного неба наполняло душу великого мыслителя восторгом и верою в бессмертие души... Согласно возвышенному и глубокому учению Канта, в душе нашей нравственный закон, безусловный, независимый от внешних требований, но подчиненный внутренней необходимости... лежит в основе его. . счастье ближнего и собственное нравственное совершенство» («Общие черты судебной этики», сс. 21—22).

...от... юбилейного чествования... он отказался...— 80-летие планировалось в огромных масштабах: «предстоящее чествование... должно быть не только всероссийским, но и мировым» (газета «Русь» от 20.II.1908 г.). Но Толстой настоял на отмене всяких празднеств.

С. 358. *...«великого писателя земли русской»* — предсмертные строки из письма Тургенева к Толстому от 29. VI. (11. VII.) 1883 г.

. *«Сей старец дорог нам, он блещет средь народа».*— А. С. Пушкин «Второе послание к цензору» (1824, неточно).

С. 360. *«Герой... правда»* — из очерка «Севастополь в мае» (1855).

С. 362. *«...не подымите потом!»* — Из «Мертвых душ», глава 6-я.

Позднышев — персонаж из «Крейцеровой сонаты» (1887—1889).

« ..нас возвышающий обман» — А. С. Пушкин «Герой» (1830).

С. 363. *...тревожила меня встреча с Толстым.*— О том, какое особенное впечатление произвел Толстой на Кони, свидетельствует отправленное им в первый же день пребывания в Ясной Поляне яркое, под свежим впечатлением, письмо к знакомому (от 6.VI.1887 г.): «Трудно передать Вам то высокое, гармоническое и благородное впечатление, которое производит личность графа Толстого. Все рассказы об эксцентричности его образа жизни, одежды, привычек и взглядов лишены всякого основания. Он принял меня с незаслуженной добротою и вниманием,— мы проводим все время вместе, и я поселен в его кабинете, так что имею возможность вглядеться в его жизнь, жизнь, полную труда, глубоких и плодотворных дел и трогательной простоты. Это прежде всего добрый человек, никому не навязывающий своих взглядов, радующийся, когда окружающим хорошо и весело, сменяющий физическую работу умственной (большой труд «О жизни и смерти»), приветливый и простой, но не фамильярный с крестьянами, всегда добрый, легко поддающийся смеху, вовсе не слащаво благодушный, а называющий зло — злом, а гадость — гадостью,— человек, образованный разносторонне, простой в потребностях и аристократ во вкусах... При этом чудесная, львиная голова,— из-под густых бровей два чудесных, сияющих добротою, серых глаза — и легкая походка крепких ног, несущих стан, несогбенный ни бременем лет, ни тяжким раздумьем смущенной совести. Вокруг

хлопочет умная, красивая жена — веселятся и суетятся 9 человек детей (всех было 12!)... Все ходят какие-то свободные, бодрые и как будто осуществляют то, что сказал мне Л. Н.: «Человек обязан быть счастлив, как обязан быть чистоплотен; как он замечает, что он грязен — ему надо помыться, как чувствует, что несчастен — ему надо почиститься нравственно... и счастье придет само собою...» (ИРЛИ, ф. 134, цитируем по Собранию сочинений, т. 6, с. 636).

...*«об одном из дел»...* — вне сомнения, о процессе Веры Засулич (1878).

С. 369. *«...великое явление русской жизни».* — Белинский о Пушкине («Сочинения Александра Пушкина. Статья І-я», 1843).

С. 370. ...*проклятие смоковницы* — из Евангелия от Луки: садовник не хочет рубить смоковницу (инжир, фига, винная лоза) вопреки приказу владельца виноградника, надеясь, что она принесет плоды на будущий год.

С. 371. ...*как выразился Сорэль... о Тэне* — упоминается вступительная речь на заседании Академии наук 7.II.1895 г.

С. 375. ...*все, что из рук человека — негодно.* — Цитируется роман Ж.-Ж. Руссо «Эмиль» (1762).

С. 376. ...*крупный сановник, слывший... либералом...* — В ранней редакции Кони указал имя — князь Д. А. Оболенский и смысл речений последнего, доказывавших Толстому, что *политических* следует наказывать телесно, а беглецов — ослеплять. Зная нравы цензуры, Кони убрал из речи Толстого указание, что речь идет о *государственных* преступлениях. По-видимому, то была пора процесса Засулич.

С. 377. ...*высказал мне жалобу на товарища прокурора.* — Речь идет о К. К. Случевском — юристе, поэте.

С. 378. ...*выражаясь словами Некрасова.* — «Когда из мрака заблужденья» (1846).

С. 381. ...*великий германский философ называет правом на наказание.* — Имеется в виду мысль, изложенная Кантом в его этическом учении.

С. 382. Издательство *«Посредник»,* организованное Толстым и его единомышленниками-просветителями И. И. Горбуновым-Посадовым и В. Г. Чертковым, ставило целью выпуск дешевых изданий для народа (существовало в 1884—1925 гг.).

С. 384. *«Воскресение» послужило...* — Кони намечал работу «Толстой и суд», замысел дальше конспективного наброска не продвинулся (ИРЛИ, ф. 134).

С. 387. ...*пришлось иметь спор с Львом Николаевичем по поводу Федора Петровича Гааза.* — Кони подарил свою книгу «Федор Петрович Гааз. Биографический очерк». М., 1897, о *«святом докторе»* с надписью «Дорогому Л. Н. Толстому от автора».

С. 389. ...*помнится... ярко чтение... им рассказа Куприна «В казарме».* — Рассказ А. И. Куприна назывался «Ночная смена» (1899).

С. 390 ...*трактат о Шекспире* — известны отрицательные оценки великого английского драматурга, несшие предвзятые отзывы в духе тогдашних взглядов Толстого — проповедника «новой религии».

...в *нарисованных Толстым... образах* — герой рассказа революционер вспоминает слова из Евангелия от Иоанна — известное выражение о зерне пшеницы, которое, «падши на землю», может умереть либо принести «много плода»... «Вот и я упадаю в землю...»

С. 394. ...*«судьбой отсчитанных дней»* — из письма Онегина к Татьяне.

С. 396. *Избранная академией комиссия, рассмотрев эти запи-*

ски...— Редактируя воспоминания, автор выключил рассказы о работе пушкинской юбилейной комиссии и о выдвижении Толстого на Нобелевскую премию, вот они во фрагментах:

«Составленная весьма пестро, эта комиссия проводила свое время в трусливых потугах создать что-либо достойное Пушкина и в то же время такое, на что «не взглянули бы косо». *Имя* Пушкина повторялось в ней часто — дух Пушкина чувствовался очень редко...»

На премию Толстого выдвигали в разгар революции, после японского разгрома,— в январе 1906 года. «Возникли возражения,— писал Кони,— вообще по поводу указания на Толстого. Одни находили, что «Великий грех» есть слабое произведение и что, за неимением ничего другого, лучше отказаться от представления кого-либо, другие находили, что Академия не может отделять политико-литературную деятельность Толстого от его беллетристики и ввиду характера первой из них не может указать на Толстого, как на достойного премии и, наконец, признавали, что Толстой, в сущности, популяризирует Евангелие... С помощью Шахматова удалось утихомирить оппонентов и избавить Академию от необходимости к позору потери Россиею армии, флота, внутреннего порядка и внешнего достоинства присоединить еще позор признания, что у нее нет писателя, достойного конкурировать на Нобелевскую премию. В конце концов мне совместно с Кондаковым было поручено изложить в окончательной редакции представление Академии и оно в переводе было препровождено в Стокгольм .»

С. 397. *...графиня постановляет.*— Воспоминания А. А. Толстой появились в 1911 г.

Отлучение Толстого от церкви произошло в начале 1901 г.

Около того времени...— От этих слов и до «Братьев Карамазовых» в рукописи следовал убранный автором любопытный по его отношению к новым «веяниям» в литературе и философии фрагмент. «...около того времени в многолюдном собрании философского общества при Петербургском университете Мережковский в присутствии своей супруги «хлыстовской богородицы» и всей ее своры,— доказывал с наглостью, не оправдываемой никаким талантом, что Толстой в своей частной жизни и произведениях — нигилист, анархист, олицетворение казака Ерошки в «Казаках» и воплощение лакея Смердякова из «Братьев Карамазовых». На «лакейское» сравнение Мережковского не поднялось ни одного протестующего голоса, кроме священника Петрова, которого за это чуть не сослали в отдаленный приход Архангельской губернии... Толстому грозило нашествие г-на Мережковского с супругою, который уже после издания своего «Толстого и Достоевского» писал ему, что желает с ним ближе познакомиться, и просил гостеприимства... Я не желал встречаться с этим господином и с его супругою, настоящею «хлыстовскою богородицею» особого литературного кружка. Я не любитель краснеть вчуж за других или созерцать циническое лицемерие».

С. 398. С *А. Н. Веселовским* и *А. А. Шахматовым* — видными учеными — Кони был в дружеских отношениях, с последним — в переписке.

С. 399. *...о нашей переписке...*— Сохранился в рукописи вариант этого абзаца. «Выше я говорил о письмах Л. Н. ко мне,— писал Кони.— Они почти все имеют деловой характер и обусловливаются тем, что при свиданиях наших нам много приходилось говорить о гонениях на свободу совести, которыми так упорно и долго позорила себя наша полицейская церковь в союзе с самодержавным ослеплени-

ем. Я рассказывал ему об интересных в этом отношении делах и о той борьбе, которую приходилось вести с судебным ведомством и с господами сенаторами, защищая человеческие права несчастных сектантов и раскольников. Я посылал ему наиболее выдающиеся сенатские записки с кратким изложением на полях моих заключений и мнений, а также последовавших решений. Нравственное удовлетворение, которое я испытывал, отдавая отчет об этой стороне своей деятельности Толстому, с избытком искупало те тайные интриги и явные неприятности, которыми обогащало меня при благосклонном содействии министра юстиции православное ведомство в лице Победоносцева, «ангелов его» вроде знаменитого эксперта по раскольничьим делам Скворцова. Быть «чрезвычайным послом и полномочным министром» Л. Н. в царстве религиозной нетерпимости и всяческого произвола было иногда трудно, и успех сопровождал не все мои шаги...»

С. 401. ...*«уличать ее»*.— Некая Д. Хилкова, представительница высшего сословия, добилась у государя передачи ей незаконных и некрещеных детей ее сына, просьба же их матери «инородки» Ц. Винер была Александром III отклонена. Кони, выполняя просьбу Толстого, писал для последней прошение о возвращении ей детей.

...я вас прошу.— Жена Горбунова-Посадова за пропаганду среди столичных рабочих поплатилась ссылкой в Астрахань; Кони добился перевода ее в Калугу.

С. 402. ...*«облегчить участь... этой... женщины»*.— Имеется в виду Вера Величкина, преследовавшаяся за принадлежность к РСДРП; через несколько месяцев, весной 1902 г., она была освобождена.

...*«твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует»*.— А. С. Пушкин «В часы забав иль праздной скуки» (1830).

С. 403. ...*называл «роптаньем вечным души»*.— А. С. Пушкин «Евгений Онегин».

«святым беспокойством».— Н. А. Некрасов «Медвежья охота» (1868).

...*высказанное им в письме к Страхову*.— Письма Страхова относятся к 1894 году.

Филарет отличался крайними правыми взглядами. Письмо его обер-прокурору Синода А. И. Толстому — 1862 года.

ПО ПОВОДУ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО

Очерк увидел свет (в сокращенном виде) в 1911 году в «Ежегоднике императорских театров» (выпуск 6-й), а в дополненном виде в Пятитомнике, т. 2. В 3-е издание Кони внес коррективы. В т. 6 Собрания сочинений скорректирован текст с одними материалами, чтобы избежать тавтологий, а по другим восстановлены имена прототипов драмы «Живой труп».

Напечатанная осенью 1911 г. в московской авторитетной газете «Русское слово» А. Амфитеатрова и В. Дорошевича, драма «Живой труп» тогда же была поставлена в лучших театрах обеих столиц — в Художественном и Александринском. Появилось много рецензий, среди них Н. Д. Телешова (положительная — в том же «Русском слове», имевшем прозвище «фабрика новостей», писатель рекомендовал пьесу «значительной и страшно интересной» — от 24.IX.). А. Измайлов в «Биржевых ведомостях» (вечерний выпуск 29.IX.) касался теории «изюминки», о которой пишет Кони в очерке.

С. 412. *...еще в 1900 году...*— Замысел относится к 1897 г., начало же работы над произведением — январь 1900-го. В том же «Русском слове» П. Булаже в октябре 1911 г. поместил статью «Как писалась драма «Живой труп» (9 числа в № 232).

С. 414. *Бурные дни...*— В эту пору разгара русско-японской войны Толстой выступал со знаменитой своей публицистикой: «Патриотизм и правительство», «Не могу молчать!», «Христианство и смертная казнь».

С. 416. *...«судьбой отсчитанные дни»* — письмо Онегина к Татьяне.

Живо помню один из таких рассказов — пересказ эпизода из «Записок» (1856) М. Щепкина.

С. 417. *...и продиктовал его мне...*— Стихи поэта «Заворожи менi, волхве, друже сивоусий» (1844).

...всего Шекспира на русский язык — Н. Кетчер отдал переводам почти 40 лет труда; современники расценили эту работу как творческий подвиг.

С. 418. *«Лик его прекрасен»* — А. С. Пушкин «Полтава» (1828).

А. Н. АПУХТИН

Очерк напечатан в «Вестнике Европы», 1908, № 5; во 2-м томе Пятитомника, выдержавшего три издания, включался в мемуарный цикл, ставший особенно популярным у читателя,— «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский». Вошел в т. 7 Собрания сочинений.

С. 422. *Спектакли прошли блестящим образом.*— В пору общественного подъема шестидесятых в столице недавно (с 1859 г.) организованное «Общество литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам и ученым и их семьям» (в обиходе — «Литературный фонд») стало устраивать «вечера» или «утренники», пользовавшиеся громадной популярностью у интеллигенции, учащейся молодежи, части чиновничества и купечества. Особую привлекательность сообщало спектаклям участие в них именитых писателей и актеров.

С. 423. *«Пропавшая серьга»* — судебный очерк (с подзаголовком «Из подлинного дела» и под привычным псевдонимом К. Н. Т.— «кент») появился в 33-м номере «Недели» за 1881 год.

С. 424. *...«поговорить с вами поподробнее».*— Письмо 1888 г. (ф. 134 ИРЛИ).

...известную шутку над собою.— Стихотворение «Да, правда, жизнь скучна ..» (конец 70-х гг.).

С. 425. *...два к ней добавления.*— Поэма появилась в «Вестнике Европы», 1889 г., № 4 под названием «Из бумаг прокурора». В кониевском фонде ИРЛИ хранится дарственный экземпляр рукописи, имевшей название «Последняя ночь».

В. В. СТАСОВ

В 1923 г. петроградская общественность отмечала 100-летие со дня рождения Стасова. 14 января 1924 г. в Публичной библиотеке состоялось торжественное заседание, на котором вступительное слово произнес Кони, его рукопись помечена 8-м числом, она и была впервые опубликована в т. 7 Собрания сочинений.

С. 426. *...«пофехтовать с противником».*— Так Стасов принял известную, во многом спорную статью В. С. Соловьева «Россия и Ев-

ропа» (1888) и выразил свое несогласие с ней (см. «М. Стасюлевич и его современники», т. II, с. 107).

С. 427. *...гладить «против шерсти».*— Замечания критика на его известную работу «История русских школ иконописания до конца XVII века» (1856) были учтены автором, после чего получили одобрительный от него отзыв. Слова «прозвонили» — в упомянутом сборнике, т. II, с. 104 (письмо Стасова к Стасюлевичу 22.IX.1886 г.).

...их происхождение с Востока.— В труде «Происхождение русских былин» (1868) Стасов вопреки мнению выдающихся фольклористов Ф. Буслаева, А. Афанасьева, О. Миллера утверждал «заимствованное» происхождение русского былинного эпоса.

...говоря в письмах к Стасюлевичу...— см. «М. М. Стасюлевич...», т. II, с. 106: тут отмечено, что «в деле художественной критики Крамской есть истинный Белинский...» Там же (с. 101) восторженно благодарил Стасюлевича за издание писем Золя. Порой увлеченность Стасова обретала однобокий характер, критика «заносило»; в письме к Стасюлевичу от 14.II.1888 г. отмечает: «язык Л. Толстого такое невообразимое совершенство и так народен, что язык всех остальных наших писателей, кроме Пушкина, Гоголя и Островского,— в подметки ему не годится!! Так, например, по моему убеждению, весь *язык* Достоевского, Тургенева, Писемского, Глеба Успенского и других талантливых наших писателей является чем-то бледным, поддельным под народность и только что «галантерейным» в сравнении с тою глубоко талантливою и глубоко правдивою народностью, которую представляет *язык* Л. Толстого и его школы» (указ. книга, с. 106).

...«иерихонской трубой» — т. е. издающей непостижимо громкие звуки, так назвал Стасова критик правого лагеря В. Буренин, особенно зло его преследовавший печатно.

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ БОРОВИКОВСКИЙ

Очерк появился как предисловие к трехтомнику Боровиковского «Отчет судьи», СПБ, 1909, том I, и в неизмененном виде, что не характерно для мемуариста, в «Русской старине» (1911, № 12), а затем и в монументальной работе «Отцы и дети судебной реформы», М., 1914. Вошел в том 5 Собрания сочинений.

Уже на смертном ложе Некрасов прочитал присланную юристом-стихотворцем тетрадку стихов и одно — с посвящением любимому поэту. Последний в письме к Г. Елисееву от 19.III.1877 г. отозвался такими прочувствованными строками: «Боровиковскому глубокое спасибо за стих «Некрасову», а тетрадка хороша так, что не смею и хвалить пока... Просто чудо стихи Боровиковского — выждав, кое-что можно пустить. Дай ему Бог подольше жить — это одно средство для выжидающих. Со многими моими пьесами и я прорвался в печать, как иногда говаривал, именно потому, что ждал долго».

Вера Фигнер вспоминала об одной притягательной для современников особенности стихов молодого литератора — они революционизировали молодежь, тайно расходясь в пору судебных процессов над участниками освобождения: «Боровиковский, совершенно плененный образом женщин, написал стихотворение, посвященное Л. Фигнер: «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...», ходившее во множестве экземпляров по рукам. В видах конспирации мы выдава-

ли его за стихотворение Бардиной[1], которая в заключении писала стихи» (В. Фигнер. Полн. собр. соч. М., 1929, т. V.).

С. 431. *...чинш, чиншевики, чиншевое право* — на юго-западе России особая форма аренды земли бедными хлеборобами, в том числе однодворцами из дворян.

С. 432. *...в члены неудачной комиссии* — несмотря на авторитет историка и директора популярной Публичной библиотеки, Кобеко со своей комиссией (1905) оказался заранее обреченным на провал действиями царского правительства, желавшего только «выпустить пар» у общества, не более.

С. 434. *«За свои стихотворенья...»* — Письмо к Достоевскому от 15 III.1877 г., где Боровиковский горячо защищает революционную молодежь, сопроводили три стихотворения, строфу из одного цитирует Кони («Поэту»).

Он умер... — Как вариант данной статьи, в 1-м томе «На жизненном пути» была помещена статья «А. Л. Боровиковский и Н. Н. Мясоедов». В ней перед этим абзацем была вставка:

«Посылая мне свой «Отчет судьи»,— читаем мы здесь,— он написал на книге:

«Вы жрец, а я дьячок; но бог у нас один
(Митрополит в дьячке повинен видеть брата);
В наш храм, украшенный от Вас венком из злата,
Несу и я свой дар — клочок моих седин».

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ

Очерк был издан автором в качестве предисловия к «Книге о смерти (Мысли и воспоминания)» Л., 1924; Кони датировал его восьмым сентября 1923 г. Вошел в пятые тома Пятитомника и Собрания сочинений. Кони, зная за Андреевским «тяготливость», неспешность в подготовке к изданию своих вещей, торопил его в этом деле, помогал по-товарищески добрыми отзывами. Здесь нелишне подчеркнуть разницу в отношениях друг к другу. Так, Андреевский в неоднократно издаваемой книге —4-е (последнее) издание «Защитительных речей», СПБ, 1909 — написал: «Кони первый внес в судебные прения литературно-психологические приемы в широких размерах, но, увы,— сделал это в целях обвинения, а потому поневоле приурочивал свою психологию к готовым сентенциям Уложения о наказаниях. Помнится, Кони, когда ему приходилось бороться с искусственными доводами защиты в пользу милосердия, называл эти доводы «жестокою сентиментальностью». Но я с гораздо большим правом могу назвать его прокурорскую психологию «сентиментальною жестокостью», ибо результатом его душевного анализа всегда являлось лишение прав».

Когда Чехов получил от автора на отзыв его книгу стихов (СПБ, 1886) и «Защитительные речи» (М., 1891), он отозвался только на второй томик презента. «Для меня,— писал прозаик, никогда письменно не рисковавший оценивать поэзию,— речи таких юристов, как Вы, Кони и др., представляют двоякий интерес. В них я ищу, во-первых, художественных достоинств, искусства, и, во-вторых, того, что имеет научное или судебно-практическое значение» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. Письма. М., 1976, т. 4., с. 335).

---

[1] Софья Бардина как активная участница революционной борьбы проходила по процессу «50-ти» весной 1877 года.

Своим коллегам и друзьям — Кони, Спасовичу, Урусову автор давал читать рукопись будущей книги еще в 1896 году, т. е. почти за 30 лет до ее выхода в свет. Оценки были единодушно хвалебными.

С. 435. *Новые суды...* — О харьковской поре деятельности молодого Кони так вспоминал Андреевский: «...Появилась в нашем городе и судебная реформа... Большой трехэтажный дом «присутственных мест», против собора, всегда имевший вид немого недоступного здания, вдруг получил для всех такой интерес, как если бы в нем заготовлялось самое любопытное публичное зрелище. Съехалось из Петербурга и Москвы множество новых, большею частью молодых и возбужденно-обрадованных чиновников. Печатные книжки «Судебных уставов» — в особенности между нами, юристами,— ходили по рукам. Говорили о «правде и милости», о том, что «мы теперь услышим настоящих ораторов»... Здесь же впервые возникла и репутация молодого товарища прокурора Кони. Это был худенький, несколько сутуловатый блондин с жидкими волосами и бородкой, с двумя морщинками по углам выдающихся извилистых губ и с проницательными темно-серыми глазами — не то усталыми, не то возбужденными. На улице, в своей демократической одежде и мягкой круглой шляпе, он имел вид студента, а на судебной эстраде, за своим отдельным красным столом, в мундире с новеньким золотым шитьем на воротнике и обшлагах, когда он поднимался с высокого кожаного кресла и, опираясь на книгу уставов, обращался к суду с каким-нибудь требованием или толкованием закона,— он казался юным и трогательным стражем чистой и неустрашимой правды. Он говорил ровной, естественной дикцией, не сильным, но внятным голосом,— иногда тем же мягким голосом острил, вставлял живой образ — и вообще он выдавался тем, что умел поэтически морализовать, почти не отступая от официального тона» («Книга о смерти», сс. 118, 119).

..заключалась прокурорская служба Андреевского. — Вот как описал он разговор со своим начальником, прокурором столичной судебной палаты А. А. Лопухиным:

«— ...Я вам скажу, что обвинять Веру Засулич я ни в коем случае не стану, и прежде всего потому, что кто бы ни обвинял ее,— присяжные ее оправдают.

— Каким образом? Почему?..

— Потому, что Трепов совершил возмутительное превышение власти. Он выпорол «политического» Боголюбова во дворе тюрьмы и заставил всех арестантов из своих окон смотреть на эту порку... И все мы, представители юстиции, прекрасно знаем, что Трепову за это ничего не будет. Поймут это и присяжные. Так вот, они и подумают, каждый про себя: «Значит, при нынешних порядках, и нас можно пороть безнаказанно, если кому вздумается? Нет! Молодец Вера Засулич! Спасибо ей!» И они ее всегда оправдают.

— Бог знает, что вы говорите!..

— Александр Алексеевич! Мне кажется, вы не чувствуете важности момента. Ведь мы присутствуем при начале *иной* революции. Уже не против *монарха,* а против *правительства.* И в обвинители Веры Засулич следовало бы достать какого-нибудь дореформенного чиновника, преданного далекой старине, который был бы готов за нее «костьми лечь», который бы сказал присяжным: «Господа присяжные! Нам дела нет до побуждений госпожи Засулич. Помните только одно, что она посягнула на наши святыни. Она стреляла в генерал-адъютанта, носящего на своих плечах вензеля государя,— всег-

да имеющего к царю свободный доступ... Кто любит государственный порядок, тот не пожелает даже вникать в объяснения подсудимой. Можно, пожалуй, смягчить ее ответственность, но оправдать ее — никогда!»

— Какая великолепная речь! Произнесите же ее!

— Нет, Александр Алексеевич, мы совсем не понимаем друг друга. И верьте мне, что никакая речь не поможет.

Лопухин пожал плечами и сказал: «Ну, что же делать! Придется обратиться к товарищу прокурора Кесселю»...

Засулич была оправдана с таким треском и ревом, каких никогда не знали ни ранее, не позднее стены судебного зала. Приговору аплодировали даже сановники (ныне уже умершие), стоявшие в местах за креслами судей...

Когда, после заседания, мы с Жуковским уселись на «империале конки» и поехали домой, он мне спокойно сказал: «Ну, брат, теперь нас с тобой прогонят со службы. Найдут, что если бы ты или я обвиняли, этого бы не случилось».

Его пророчество сбылось очень скоро (письмо Андреевского к И. Щегловитому от 14.IX.1914 г. «Былое», 1923, № 21, сс. 89—91).

С. 441. *...без поправок и переделок.*— Вот как высказал Тургенев в письме от 16.XII.1878 г. к редактору «Вестника Европы» свое суждение о стихах поэта-адвоката: «Есть талант и у г. Андреевского; есть чувство и теплота. Но он не довольно обрабатывает свои стихи. В лирическом стихотворении все должно быть безупречно — и никак не следует допускать то, что французы называют cheville» [1]. «« М. М. Стасюлевич и его современники...», т. III, с. 156).

С. 444. *К институту присяжных он относился...*— У Андреевского к этому суду отношение было сложнее, чем отмечает Кони, вовсе неоднозначное. Так, в письме к заведомому черносотенцу, архиреакционеру И. Щегловитову, заслужившему за свою погромную деятельность на высоких юридических постах кличку «Ванька-Каин», он пишет осенью 1914 года, что присяжные не годятся в судьи по делам политическим. И комплименты сему министру антинародной, скорострельной юстиции отпускает человек, когда-то исповедовавший писаревские идеи и отказавшийся выступать обвинителем Засулич. Андреевский забывал, что те же процессы мултанцев и Бейлиса, где правду народным чутьем отыскали присяжные, были по сути антинародными политическими процессами. Вряд ли можно упрекнуть поэта-юриста в последовательности, когда он заявляет: «...Едва ли в каком государстве найдется более человеческий, более близкий к жизни, более глубокий, по изучению души преступника, суд, чем наш суд присяжных. И это вполне совпадает с нашей литературой, которая, при нашей отсталости во всех прочих областях прогресса,— чуть ли не превзошла европейскую не чем иным, как искренним и сильным чувством человеколюбия» («Защитительные речи». СПБ, 1909, с. 5).

...а как писатель говорит...— «Уголовная защита прежде всего,— не научная специальность, а искусство, такое же независимое и творческое, как все прочие искусства, т. е. литература, живопись, музыка и т. п.». «...Сделавшись судебным оратором, прикоснувшись, на суде присяжных, к «драмам действительной жизни», я почувствовал, что и я, и присяжные заседатели, воспринимаем эти драмы, включая сюда свидетелей, подсудимого и бытовую мораль процесса, совершенно

---

[1] Ненужное слово, поставленное ради рифмы или округления фразы *(фр.)*.

в духе и направлении нашей литературы. И я решил говорить с присяжными, как говорят с публикой наши писатели. Я нашел, что простые, глубокие, искренние и правдивые приемы нашей литературы в оценке жизни следует перенести в суд». «...Идеальный защитник, каким он рисуется в моем воображении, это именно — *говорящий писатель.* Вы, конечно, сблизите мое определение с определением Кони: прокурор — это *говорящий судья.* Но каждый *судья* поневоле должен быть прямолинейным, тогда как *писатель* может с полною свободою исследовать глубочайшие вопросы жизни. И в этой задаче — непочатый край для гуманитарных завоеваний уголовной защиты в будущем» (Там же, сс. 4, 6, 13).

С. 446. *Он находил ,что Некрасов...*— Статья «Выражение рифмы» помещена в книгу «Литературные чтения», СПБ, 1891, изд. 2-е, позднее — «Литературные очерки», ПБ., 1913, 4-е изд.

С. 451. *...близнец с ним* — Михаил.

...и 9 ноября 1918 г.— поэт умер 9.XI.1919 г.

В. Г. КОРОЛЕНКО И СУД

Очерк написан вскоре после известия о смерти Короленко в декабре 1921 г. и в начале следующего года появился в объединенном январско-февральском номере (1—4) «Журнала общественно-кооперативной мысли производсоюза». Без изменений вошел в т. 5 «На жизненном пути».

Мултанский процесс в истории российской общественности и литературы прочно связал имена Кони и Короленко. Писатель-демократ посвятил всем сложным национальным, общественным, нравственным, юридическим сторонам этого беспримерного дела большое количество статей, очерков, писем. Опасность разжигания национальной, а по выражению Кони, «племенной и религиозной исключительности», отлично осознавали и Кони, и Короленко. Как зловещее дело мултанских крестьян-вотяков (1894—1896), так и позднейший пресловутый процесс над Бейлисом — скромным приказчиком кирпичного завода в Киеве (1913) выходили далеко за пределы «тяжких испытаний», которым подвергались в том и другом случае несправедливо обвиненные необразованные мужики-удмурты и не шибко грамотный труженик-еврей. Для Короленко, которого по праву называли «совестью нации», оба дела представлялись совершенно невозможными. Уже хотя бы потому, что вековое благодатное общение с русским народом исключало возможность жертвоприношения православного русского человека со стороны пусть еще темных, забитых удмуртских мужиков, а во втором случае насквозь лживым представлялось придуманное погромщиками-черносотенцами обвинение в употреблении в еду евреем «крови христианских младенцев». Кони-юристу, кроме того, виделись оба дела уже и как истовому неподкупному служителю Фемиды. Дело мултанцев, как отметил Кони, проводилось с нарушениями, «шедшими вразрез с истинными целями правосудия» в этом деле, «с исключительными общественными и бытовыми явлениями», когда вместо спокойных и объективных предварительного и судебного следствий дело представлялось в неправомерно «одностороннем виде» а прокурор намеренно «возбуждал племенные страсти», начав свою речь с указания на «общеизвестность» извлечения евреями необходимой для ритуала крови убиваемых христианских младенцев и кончив напоминанием присяжным, что оправдательным приговором они укажут тысячам вотяков на возможность продолжать и впредь свои

человеческие жертвоприношения» («На жизненном пути», т. 5, сс. 292, 293).

А вот что Кони писал по поводу второго процесса, подтверждая свою давнюю всегдашнюю идею равноправия людей, национальностей, вер. «Достоинство правосудия подвергается тяжкому испытанию по делу Бейлиса, которое вырывает еще глубже пропасть между евреями и русскими и вместо единственно возможного сближения и ассимиляции ведет к ожесточению и затаенному мщению» (Собр. соч. т. 8, сс. 281—282).

Объективно действия и Короленко, и Кони по Мултанскому делу способствовали — по высокой гражданской, общественной мерке — исключению возможностей разжигания «племенных страстей», межнациональной розни русского и других народов, населяющих Поволжье. А именно на это рассчитывали устроители позорного процесса, всяческие антиинородческие силы — в том числе высшая и низшая администрация, прокуратура, вероисповедальное ведомство от губернского мракобеса попа Н. Н. Блинова до обер-прокурора Синода всероссийского архимракобеса К. П. Победоносцева.

Все перипетии дела нашли отражение в цикле очерков В. Г. Короленко «Мултанское жертвоприношение», печатавшихся в 1895—1898 гг. в газете «Русские ведомости» и в основном в журнале «Русское богатство»; все 10 очерков включены были автором в Полн. собр. соч., Пг., 1914, т. 4; также — в т. 9 десятитомного Собр. соч. писателя, издававшегося в 50-х годах; из последних изданий — см. однотомник публикаций В. Короленко «Война пером», М., «Советская Россия», 1988 (составитель М. А. Соколова). История освещена также в книге Г. М. Миронова «Короленко», М., 1962 («ЖЗЛ», глава «Света, больше света на это темное дело!»). А. П. Чехов, отмечая значение борьбы прогрессивной интеллигенции против мракобесия, национализма, шовинизма, писал в 1898 году знакомому: первыми должны «поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации», к таким Чехов относил и Кони, и Короленко. «Вспомните,— напоминал он в том же письме,— Короленко, который защищал мултанских язычников и спас их от каторги» (Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Письма, т. 7, с. 167). М. Горький отмечал. «Мултанское жертвоприношение, процесс не менее позорный, чем дело Бейлиса, принял бы еще более мрачный характер, если бы В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс, не заставил бы прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти» (статья «О литературе», 1931 г.).

С. 452. *Кончина... Короленко вызвала ряд некрологов и воспоминаний.*— В. Г. Короленко (1853—1921) умер 25 декабря в Полтаве; через три дня состоялись гражданские похороны; 27-го на заседании IX Всероссийского съезда Советов его делегаты почтили память писателя-демократа. На Родине и в эмигрантском зарубежье появились многочисленные некрологи, а позднее воспоминания, статьи, брошюры, книги.

...об одиннадцати крестьянах села Старый Мултан.— Все упоминаемые города и населенные пункты относились к тогдашней Казанской губернии.

С. 453. *...вторично кассировать...*— Кассационное заключение от 22.XII.1895 г. включено Кони в состав его книги речей, статей, сообщений, публикаций — «За последние годы», СПБ, 1898. 2-е изд. Короленко обильно цитировал его в очерке «Решение сената по Мултанскому делу» («Русское богатство», 1896, № 1), вошло в 3-й том Собрания сочинений.

Меня посетил Владимир Галактионович — в середине ноября 1895 г.

..последующие... в Академии наук — Короленко, Кони и др. писатели стали почетными академиками в начале 1900 г. Летом 1902 г., протестуя против отмены выборов М. Горького, Короленко и Чехов сложили с себя почетные звания, Кони этого не сделал (переговоры состоялись в начале апреля, когда Короленко приезжал в столицу). Несмотря на свою «холодность к Академии» (выражение Кони в письме к П. Д. Боборыкину, весна 1902 г.), слагать с себя почетное звание он не стал: одной из причин явилось опасение, что на освободившиеся места (в случае «коллективности в *выходе*» придаст характер *выходки*) произойдет вторжение «разных современных Сенковских и Булгариных» (письмо к тому же Боборыкину. Собр. соч., т. 8, сс. 183—184).

Короленко очень тепло относился к Кони, высоко ставя его неустанную борьбу в защиту гражданских прав простого человека, близкую ему самому. 28 октября 1905 г. в прогрессивной газете «Полтавщина» писатель поместил статью «Два юриста», в которой его сердечное отношение к Кони проявилось в полной мере. Вот фрагменты из нее: «Около сорока лет назад в Казанском окружном суде по какому-то уголовному делу выступил молодой товарищ прокурора. Дело было для обвинения не выигрышное, улики очень слабы. Но когда началась обвинительная речь, публика внезапно оказалась во власти неизвестного до тех пор оратора. Слабые косвенные улики вырастали в доказательства, пробелы заполнялись стройными предположениями, в целом предстала такая яркая, полная картина, что подсудимый был осужден, а газеты долго писали о «художественной речи» А. Ф. Кони. Среди этих отзывов были некоторые, полные горечи и находившие, что художественное творчество не вполне уместно в зале суда, где должна царить лишь сухая и строгая логика. Очень может быть, что и сам А. Ф. Кони, не ослепленный успехом, пришел к тому же заключению и с этих пор отвел для своих художественных способностей другое русло. Он стал не плодовитым, но очень заметным писателем, даже академиком, а его судебные речи представляют настоящие образцы строго юридической обоснованности и стройного развития юридических доводов. От этого, впрочем, они не стали сухими: их оживляет и освещает живое гражданское чувство, которое теплой струей проходит через дальнейшую юридическую карьеру А. Ф. Кони.

Известное дело Засулич в 70-х годах, в котором А. Ф. Кони был председателем, на время приостановило эту карьеру, но затем 90-е годы уже застают его обер-прокурором сената. Здесь его авторитетный голос разъяснил, между прочим, многие запутанные вопросы вероисповедной юрисдикции, и одно время со страниц «Московских ведомостей» раздавалась по этому поводу усиленная канонада по кассационному департаменту сената. .. Газеты разнесли в иллюстрациях портреты А. Ф. Кони: широкий лоб, большие, умные глаза, тонкие, суховатые черты лица, почти лишенного растительности. ...Если бы надеть на эту голову черный берет, а на плечи судейскую мантию, то мы имели бы типичное изображение «юриста Парижского университета» с какой-нибудь старинной картины. На тонких губах бродит чуть заметная улыбка, а глаза как бы лукаво подстерегают ошибки чужих доводов» (цитируем по: А. Ф. Кони. Воспоминания о писателях. Л., 1965, с. 367).

С. 454. *...в Москве в 1896 году* — осенью 1895 г. в «Русских ведомостях», а в начале следующего — отчет под заглавием «Дело

мултанских вотяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам» издан отдельной брошюрой, в числе записчиков и составителей книги был Короленко, он же отредактировал ее и снабдил примечаниями.

...в защите подсудимых.— Короленко и выступил на процессе, причем дважды его речи, проникнутые горячей верой русского писателя в невозможность каннибализма, жертвоприношения в среде простого деревенского люда, третируемого как инородцы и язычники, произвели неизгладимое впечатление на русских крестьян-присяжных, в среде которых зрело мнение «закатать вотских, пусть не пьют нашу кровь». Короленко произнес вторую речь со слезами, и публика ответила слезами же; оправдательный вердикт присяжных был встречен рыданиями и аплодисментами присутствующей публики.

...священник Н. Н. Блинов...— Его доклад был отдельной брошюрой издан в Вятке в 1898 г. и представлял смесь дремучего невежества и проповеди вероисповедательной нетерпимости, демонстрируя худшие стороны деятельности казенной церкви, в данном случае активно сотрудничавшей с полицией.

ВОСПОМИНАНИЯ О А. П. ЧЕХОВЕ

Опубликован биографический очерк в однотомнике Чехова, выпускавшемся Пушкинским домом к 20-летию со дня смерти писателя — А. П. Чехов. «Затерянные произведения. Неопубликованные письма. Воспоминания. Библиография». Л., 1925. Включен в т. 5. «На жизненном пути» и в т. 7 Собрания сочинений.

С. 458. *...тревожила его на закате дней.* «.. Он сознавал,— вспоминает о Чехове современник,— что неудачная война может дать толчок к коренным реформам, но ему не хотелось и поражений» (газета «Приазовская речь», 1910, № 48).

С. 459. *Джордж Кеннан* проехал каторжную и ссылочную Сибирь в 1885—1887 гг., поездка изменила его взгляды с легитимистских (проправительственных) до разоблачительно-оппозиционных к самодержавию. Его книга «Сибирь и ссылка» (Лондон, 1891) русской цензурой запрещалась до 1906 г., но, провезенная в страну нелегально, использовалась революционерами в освободительной борьбе. Американец был в добрых отношениях с многими участниками борьбы с царизмом.

...товарищей по заточению — Подвергшаяся порке народоволка Надежда Сигида приняла яд, то же сделали и ее товарищи по каторжной тюрьме. События 1889 г. на Каре вызвали волну протестов в России и за рубежом.

П. Ф. Якубович, активный участник еще с юности «молодой» «Народной воли», оставил замечательные воспоминания «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» (1896—1899, в 2 т.).

С. 460. *...взял на себя А. П. Чехов.*— Поездка на Сахалин заняла более полугода — с апреля по ноябрь 1890 г.

А. Голенищев-Кутузов издал свою книгу в 1907 г.

«красноносых смотрителей» — из письма Чехова Суворину от 9.III.1890 г. Указ. изд., Письма, т. 7.

...книга о Сахалине выбранными главами прошла в прогрессивном московском журнале «Русская мысль» в 1893 г., отдельным изданием появилась в 1895 г.

С. 462. *...меня посетил Чехов.*— В письме от 18.I.1891 г. Чехов сообщал родным о вчерашнем посещении им Кони и разговоре о Са-

халине, об уговоре съездить к Нарышкиной, председательнице «Женского благотворительного попечительства о ссыльнокаторжных»

С. 463. ..*о такой отмене* — Александр III подписал закон об упразднении телесных наказаний для ссыльных женщин в марте 1893 г.

...*следующее письмо* — от 26.I. того же 1891 года.

Штосс — карточная игра, обычно на деньги.

С. 465. ...*по Портсмутскому договору,* подписанному С. Витте осенью 1905 г., победившей Японии отошла южная часть Сахалина.

..*женских курсов* — Имеются в виду популярные в кругах учащейся женской молодежи Бестужевские курсы (1878—1918), сыгравшие заметную роль в российском просвещении, в деле получения женщинами высшего образования.

С. 466. ..*пути для драмы* — Провал «Чайки» произошел 17 октября 1896 г. Кони и тогда считал пьесу «великолепным произведением», которое не поняли сыгравшие его актеры, Чехов особенно резко отозвался об исполнительской игре. Кони позднее отправил Чехову замечательно теплое и умное послание, в котором благодарил автора «за глубокое наслаждение», полученное от пьесы, отметив, что «Чайка» — вещь «эпическая», «произведение, выходящее из ряду по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями Это *сама жизнь* на сцене с ее трагическими союзами, красноречивым бездушием и молчаливыми страданиями,— жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней, жестокой иронии,— жизнь до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, а способен сам принять участие в происходящей перед тобою беседе... Я люблю Вас за те минуты душевных движений, которые мне доставили и доставляют Ваши сочинения,— и хочу издалека и наудачу сказать Вам слово сочувствия, быть может, Вам вовсе и ненужное».

Чехов ответил благодарностью, а в одной из корреспонденций, отправленных знакомому, подчеркнул, что коневское письмо было среди тех, что доставили ему как автору «немало хороших минут» (Указ. издание, т. 8, письмо от 7.XI 1896 г.).

С. 467. ...*и в театре, и в печати.*— Шутливая кантата в 1836 г. написана Пушкиным, Жуковским и другими поэтами, музыку, кроме М. Глинки, писал и В. Одоевский.

С. 469. *невольно вспоминал слова Некрасова...*— «Я сегодня так грустно настроен» (1854).

С. 470. ...*за поздравление с женитьбой.*— Чехов женился на актрисе О. Л. Книппер 25 мая 1901 г.

...*пойдет в Петербурге.*— Теперь в Московском художественном театре «Чайку» ждал заслуженный триумф. Книппер-Чехова дебютировала в пьесе 17 декабря 1898 г.

...*его горячее русское сердце.*— Чехов прожил в Германии менее месяца и умер 24 июня 1904 г.

С. 471. ...*«идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум».*— А. С. Пушкин «Поэту» (1830).

...*«Не перед людьми».*— Строки из письма к брату Михаилу.

...*Капитолийский холм и Тарпейская скала* — синонимы гражданского величия и нравственного падения. Здесь намек на жизненную близость этих позиций.

С. 474. *«...догорай, бесполезная жизнь!»* — Последние слова героя тургеневского «Дворянского гнезда» (1858).

...*мы долгое время были.*— «Хмурые люди» — название сборника чеховских рассказов (1890).

П. Д. БОБОРЫКИН

Впервые опубликованы воспоминания в № 7 петроградского «Вестника литературы» за 1919 год. Живший за рубежом еще с 90-х годов достаточно уединенно, Боборыкин теперь, когда обе страны разделили враждебность общественных систем и многочисленные фронты гражданской войны, и вовсе не подавал на родину вестей; поэтому слух о его кончине в середине 1919 года, оказавшийся ложным, вызвал в литературном журнале бывшей столицы отклик коллег — подборку его писем, некрологов и воспоминаний о нем, в их числе коневский очерк. Печатаем его по журнальному тексту. Вошел в т. 5 Пятитомника.

С. 475. *Пред ним... могли быть открыты...*— Боборыкин по рождению нижегородец, родители — богатые помещики — давали возможность жадному к познаниям сыну искать себя: с камерального отделения юридического в Казани переходит в не менее знаменитый Дерптский университет, но уже на физико-математический факультет (тут же изучал и медицину), а звание кандидата получил в третьей — столичной «альма матер» по «разряду административных наук». Но стал литератором, однако и тут, как и студентом, не успокоился: пробовал себя во многих жанрах — таланту хватало и на пьесы (принимались к постановкам в императорских театрах), и на антинигилистические фельетоны, и на статьи по истории литературы и театра, и на газетные корреспонденции «с места событий», и, конечно, на рассказы, повести, романы, которые писал и печатал едва не каждый год (в журналах преимущественно не «крайнего», а умеренного, либерального направления, чем особенно сердил никогда не благоволившего к нему сурового «тенденциозного» Щедрина).

...редакторство «Библиотеки для чтения» — с 1863 г. по 1865 год публикация Боборыкиным антинигилистического романа Лескова «Некуда» (1864) вызвала справедливый гнев революционно-освободительного и либерального лагерей, скомпрометированный орган вскоре потерпел финансовое банкротство и бесславно угас. Очень жестоко пострадала гражданская репутация Боборыкина; этого, скорее всего случайного просчета ортодоксы ему не забыли никогда.

С. 476. *...ворчал по его адресу Салтыков* — Боборыкина клеймили за разбросанность, создавалась незаслуженная репутация «дагерротиписта», «фотографа», равнодушно и вскользь затрагивающего в своих произведениях жизнь. А когда пришла эпоха ярлыков, навесили на Петра Дмитриевича такой: «бытописатель буржуазии». Но он себя «человеком шестидесятых годов» называл и считал, и от этого звания все шестьдесят с лишним лет творчества не отрекся [1]. Ему в ответ: «боборыкинщина», «боборыкизмы», «Пьер Бобо» (так он звался в зарубежных работах), «фельетонный беллетрист», позабыл дороги в Россию... А он себе в заслугу — что ввел в родной язык понятие, выражение «интеллигент», «интеллигенция». Сам он всегда был высокообразованным литератором, со вкусом употреблял тургеневское слово «замолаживать» — это сильнее, чем омолодить, умение постоянно чувствовать себя по-юношески входящим в новые во-

---

[1] Эта пора составляла, по Боборыкину, «целую эпоху русской интеллигенции — эпоху героическую, когда люди по характерам стояли на высоте своих талантов».— П. Д. Боборыкин. Воспоминания. М., 1965, т. II, с. 133.

просы, которые будоражат твою страну, ее общество, так нужны для экономического и нравственного освобождения ее народа. Петр Дмитриевич всю свою большую — творческую и трудовую — жизнь *замолаживался.* Он был приговорен судьбою к литературному труду. И до преклонных годов, потерявший глаз, бездетный и при жене бессемейно-одинокий, всего себя не уставал отдавать одной литературе. Добрый, сердечно-отзывчивый по натуре, однолюбиво, преданно служил российской словесности. Все им написанное едва умещается в 80 томах, а это свыше ста романов, повестей, рассказов, пьес, исследований по истории литературы. Многое из написанного осталось в журналах; интересно, что в 80-х и в 90-х годах Боборыкин выпустил два собрания сочинений, каждое по 12 томов. И эти издания не повторяют друг друга.

Его плодовитость вызывала иронию или даже раздражение у иных современников. Уже в 30-х годах нашего века советский литератор Андрей Белый в интереснейших мемуарах вспомнил об отношении к нему московской ученой и писательской среды: «В этом же круге помню П. Д. Боборыкина и сухую, худую, больную, утонченную Софью Александровну, супругу его; Боборыкин был лысый, такой же; но был желтоусый, а не седоусый, худой и багровый; высокий, весьма подвижный, он вертел головой на тонкой изгибистой шее с такой быстротой, что казалось: отвертится; вспыхивал, вскакивал с места, руками хватаясь за кресло, и снова садился, чтобы снова вскочить и стать в позу, одну руку спрятав за желтый пиджак (ходил в желтом он), головой и спиной закинувшись и наставляя лорнет на глаза, вооруженные, если память не изменяет, очками...

Усмехался Танеев,— что года три назад Боборыкин подходил и спрашивает: «Ты читал мой последний роман?» Ну, а я отвечаю: «Должен тебе заметить, что я никогда не читаю тебя...» С тех пор он и ругается... Кто же, кроме болвана безмозглого, станет читать Боборыкина» [1].

Это было не по-интеллигентски грубо и — несправедливо. Писатель-труженик, пытливый, дотошный, неутомимый, Петр Дмитриевич не заслужил такого. У Кони воспоминания о нем совсем иного настроя.

С. 477. *...позже «Китай города».*— Написан в 1882 г.; романы «Дамское счастье» и «Разгром» переведены на русский — в 1883 и 1892 г.

С. 478. *...оглядываясь на богатое литературное наследие...* М. Горький в «Беседах о ремесле» не согласился с устоявшимся мнением о писателе, отстаивая его плодотворную наблюдательность и законность приемов натурализма: «...было принято не верить Боборыкину. Я — верил ему, находя в его книгах богатый бытовой материал», (М. Горький. Собр. соч. в 30 тт. М., 1953, т. 25, с. 346). Чехов видел: «Боборыкин — добросовестный труженик, его романы дают большой материал для изучения эпохи» (М. К. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М, 1960, с. 9).

«В политических сумерках царствования Александра III романы Боборыкина были своего рода общественным событием и всегда откликались на какой-нибудь «последний крик жизни»,— вспоминал очевидец («Последние новости», Париж, 13. VIII. 1921 г.). Младший современник отмечал: политическая ссылка получала «о сменах столичных настроений и течений» больше из новых произведений Бобо-

---

[1] Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Изд. 2-е. М.-Л., 1931, с. 117.

рыкина, нежели из текущей прессы («Мир божий», 1906, № 3, с. 84. Воспоминания критика-народовольца Вл. Кранихфельда).

...послужившему своей родине...— Писатель твердил с присущей ему откровенностью, что никогда «не метил в революционеры», но когда грянул «великий переворот» Февраля, в одном из писем весны семнадцатого сознался: «Никогда я еще во всю мою жизнь *не болел так родиной»* («Вестник литературы», 1919, № 6, с. 15).

ПЕТЕРБУРГ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА

Историко-литературный «путевой» очерк создан в 1921 г. и на следующий год вышел отдельной брошюрой (Пг., 1922); включен в т. 5 «На жизненном пути» и т. 7 Собрания сочинений.

С. 479. *...другими подобными.*— В 1914 г., с началом I мировой войны, «немецкое» название столицы было «русифицировано» — заменено на Петроград, через 10 лет, после смерти Ленина, город получил его имя.

«Строил Николай».— Из стихотворения «Посещение Новгорода» (1858).

С. 480. *...бунт военных поселян* 1831 г. назван Пушкиным «бессмысленным и беспощадным», еще более бессмысленным и беспощадным было его подавление николаевскими войсками.

...Николаевская дорога открыта в 1851 г., Царскосельская — в 1838-м. Первая железнодорожная линия появилась в 1825 г. в Англии, через 3 года во Франции, в 1835-м — в Германии.

С. 481. *Пальмира* — античный город как оазис среди Сирийской пустыни, центр торговли, ремесел, культуры, архитектуры.

С. 482. *..о старом суде и... у Л. Н. Толстого...*— В статье об известном исследователе искусств и народного быта, друге и коллеге, человеке с «теплым сердцем» Д. Н. Ровинском Кони приводит потрясшую его самого душераздирающую сцену страшного наказания, а по сути — николаевской казни. «Что сказать о шпицрутенах сквозь тысячу, двенадцать раз, без медика! — восклицает Ровинский.— Надо видеть однажды эту ужасную пытку, чтобы уже никогда не позабыть ее. Выстраивается тысяча бравых русских солдат в две шпалеры, лицом к лицу; каждому дается в руки хлыст-шпицрутен; живая «зеленая улица», только без листьев, весело движется и помахивает в воздухе Выводят преступника, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам; впереди двое солдат, которые позволяют ему подвигаться вперед только медленно, так, чтобы каждый шпицрутен имел время оставить след свой на «солдатской шкуре»; сзади вывозится на дровнях гроб. Приговор прочтен, раздается зловещая трескотня барабанов, раз, два... и пошла хлестать зеленая улица, справа и слева. В несколько минут солдатское тело покрывается сзади и спереди широкими рубцами, краснеет, багровеет, летят кровавые брызги... «Братцы, пощадите!»... прорывается сквозь глухую трескотню барабана; но ведь щадить,— значит самому быть пороту,— и еще усерднее хлещет «зеленая улица». Скоро спина и бока представляют одну сплошную рану, местами кожа сваливается клочьями — и медленно двигается на прикладах живой мертвец, обвешанный мясными лоскутьями, безумно выкатив оловянные глаза свои.., вот он свалился, а бить еще осталось много,— живой труп кладут на дровни и снова возят, взад и вперед, промеж шпалер, с которых сыплются удары шпицрутенов и рубят кровавую

кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по грязи палкой шалит, да трещат зловещие барабаны...» (А. Ф. Кони. За последние годы, изд. 2-е, СПБ, 1898 г., с. 635—636; также Собр. соч., т. 5, сс. 35—36).

С. 484. *...что подало повод... Некрасову сказать.*— «О погоде» (1859).

Сс. 485—486. *«...часто рядом там лежит и банкротство и кредит»*— стихотворение Е. Гребенки «Почтальон» (1841).

...строго воспрещается — после смерти Николая I запрет был снят.

С. 487. *Здесь Тургеневу...*— Спор произошел между критиком и прозаиком летом 1844 г. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога,— сказал он мне однажды с горьким упреком,— а вы хотите есть!» (И. С. Тургенев. Сочинения, т. XIV, М. -Л., 1967, с. 29). Из стихотворения «Памяти Белинского» (1855).

С. 488. *«Видок Фиглярин».*— Кличка писателя-доносчика «Фиглярин», как и эпиграмма, принадлежат скорее всего П. А. Вяземскому (начало 1830-х гг.).

Н. Щербина славился не только как поэт, переводчик, но и как острослов.

С. 489. *Памятник Пушкину* — работа А. М. Опекушина (1884).

С. 490. *«праздник жизни... не был никогда» и «муза мести и печали».*— Н. А. Некрасов «Праздник жизни» и «Замолкни, муза мести и печали!» (оба 1855).

...влиятельного «Современника» — Журнал Пушкина, затем Плетнева, в 1847 г. стал некрасовским, закрыт правительством в 1866-м.

С. 491. *...славу России.*— Н. И. Пирогову Кони посвятил очерк-исследование «Пирогов и школа жизни» (Собр. соч., т. 7).

В. Сухомлинов, военный министр в годы I мировой войны, подозревался в государственной измене, но только после февраля 17-го осужден на каторгу (бессрочную).

С. 492. *А. Дюма-отец* посетил Россию в 1855 г. Осталась его книга о путешествии (не переведена на русский).

С. 493. *А. Н. Апухтину* посвящен отдельный очерк (см. Собр. соч., т. 7).

Кондратия Селиванова, основателя и главы скопческой ереси.— По делу о скопцах и основателе секты в XVIII в. Селиванове Кони выступал обвинителем (см. указ. изд., т. 3).

С. 494. *Третьему отделению* посвящено широко известное безымянное сатирическое послание «Из Петербурга в Москву», где упоминается его управляющий и дом у Фонтанки:

У царя у нашего
Верных слуг довольно —
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.
Влепят в наказание
Так ударов со сто.—
Будешь помнить здание
У Цепного моста.

(сб. «Вольная русская поэзия 2-й половины XIX века». Л., 1959).

С. 495. *«...чтобы петь потом серую природу»...*— безымянное стихотворение, известное под названием «Русский певец».

С. 497. *...пожар... истребил Апраксин рынок... в духов день.*—

Церковный праздник, отмечался 5 июня; пожары 1862 года реакционеры стремились приписать революционной молодежи.

С. 504. *«В гроб заколочу... Демосфена»* — А. И. Герцен, «Былое и думы». Полн. собр. соч. в 30 тт. М., 1956, т. X, с. 159.

С. 506. *...происходит диспут Костомарова... с Погодиным.*— Спор двух видных историков состоялся 19 марта 1860 г., Погодин заключил: «Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных лекций». Рассказывая об этом, Л. Ф. Пантелеев добавил: «Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли из зала на руках» («Воспоминания». М., 1958, с. 233).

Литературный фонд учрежден в 1859 г. для помощи нуждающимся литераторам и ученым при участии многих видных писателей — Некрасова, Щедрина, Тургенева, Чернышевского и др.

...ставятся «Женитьба» и «Ревизор».— В «Ревизоре» и «Женитьбе» участвовали и родители Кони: мать — Анна Андреевна и сваха, отец сыграл купца.

С. 508. *. .была превращена во вдову.*— Тургенев лишь через много лет (1855—1869) сумел вернуть произведению первоначальный вид.

С. 513. *«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет».*— Ф. И. Тютчев «29-е января 1837».

С. 515. *Некрасов обращался... со словами.*— Стихи 1854—1855 гг.

С. 519. *...один русский писатель...*— это сам Кони, сцена описана в «Житейских встречах» («На жизненном пути», т. 2).

«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»

Мемуарный очерк появился в газете «Московский еженедельник» за 1908 год (№№ 48, 50), частями печатался в год смерти М. М. Стасюлевича в 1911 г., а полностью вошел в т. 2 Пятитомника, затем включен в т. 7 Собрания сочинений.

С. 520. *...кто был близок к хозяину.*— М. М. Стасюлевич свыше 40 лет (1866—1908) бессменно стоял во главе редакции крупнейшего и популярнейшего литературно-политического научного журнала «Вестник Европы» (закрыт в 1918 г.). В 1913—1918 гг. редактировал Д. Н. Овсянико-Куликовский.

...заседал Пыпин.— Для его характеристики употреблен текст Евангелия от Матфея.

С. 521. *...портреты умерших «сотрудников жизни»* — из письма Стасюлевича — Кони 9 (22). VIII. 1900 г.— в связи с безвременной кончиною Владимира Соловьева (Собр. соч., т. 7, с. 472).

...отдался кабинетному труду редактора.— В 1861 г. несколько либеральных столичных профессоров, возмущенных действиями правительства, ограничивающими высшее образование,— Стасюлевич, двоюродный брат Чернышевского Пыпин, Кавелин, Спасович, Утин — вышли из университета; они и положили начало будущему знаменитому журналу, на котором за полвека его деятельности, направленной на воспитание в обществе либерально-освободительных и просвещенческих идей, воспиталось несколько поколений граждански мыслящих и действующих людей России.

Вместо гуманизма... стал насаждаться... псевдоклассицизм.— Система народного образования и воспитания «по Пирогову» не устраивала реакционные круги, и в первой половине 70-х гг. министром народного просвещения Д. Толстым введена в гимназиях «классиче-

ская» система обучения, с усиленным изучением «мертвых» языков; сия реформа российского среднего образования имела задачу «уберечь» молодежь от вовлечения в освободительную борьбу и сыграла зловещую роль тормоза в развитии общества на целые десятилетия.

С. 522. «...ohne Hast, ohne Rast» — ставшее поговоркой изречение из И. Гете («Кроткие Ксении», 1831—1832). «Вестник Европы» неустанно вел борьбу с этой политикой, получая предостережения от цензоров.

Компрачикосы — «торгующие детьми» (исп.), из романа В. Гюго «Человек, который смеется» (1869).

С. 523. *...стихи Щербины* — эпиграмма «Мы» (1860).

С. 525. *...мечты Стасюлевича.*— Газета «Порядок» просуществовала только год и была придушена властями. Начиналось царствование предпоследнего царя. 3(15).III.1881 г. в «Порядке» появилась статья Кони (без подписи): «Пред нами скорбный флаг веет над дворцом»... В ней либеральные иллюзии сказались с особенной отчетливостью, подавляя не менее сильные надежды на демократические институты в стране.

С. 530. *...кто решался «сметь свое суждение иметь».*— А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1822—1824).

С. 531. *.. упрек по поводу... сотрудничества.*— Кони сотрудничал в журнале с 1880 года, в газете — весь срок жизни «Порядка».

С. 532. *...стоит № 184...*— Переписка (89 посланий) отражена в книге «М. М. Стасюлевич и его современники...», т. IV.

«вот мчится тройка удалая» — фрагмент из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825), положенного на музыку И. Рупиным и Э. Направником.

С. 533. *...«как гости жадные за нищенским столом».*— А. С. Пушкин «Когда за городом задумчив я хожу» (1836).

С. 534. *...подобно Тютчеву.*— Имеется в виду знаменитое «...в Россию можно только верить» (1866).

С. 536. *...история с башкирскими землями* случилась в 1880 г. и стала нарицательной на десятилетия как образец беззастенчивого хищения в условиях ускоренного развития капитализма.

С. 537. *...«за каплю крови, общую с народом».*— Н. А. Некрасов «Умру я скоро...» (1867).

...под старой редакцией.— «Новую» возглавил К. К. Арсеньев (см. его воспоминания «Взгляд на прошлое «Вестника Европы» — в этом журнале, 1909, № 1).

С. 538. *...«не на что опереться».*— Из речи Спасовича на нечаевском процессе, 1871 г.; см. его: Сочинения, СПБ, 1893, т. V.

...свои отзывы в статье...— «Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого».— «Вестник Европы», 1887, № 4.

С. 539. *...золотой рудой любви к ближнему.*— Кони приводит свою речь в связи со 100-летним юбилеем поэта (вошла в сборник «Русско-польские отношения и чествование поляками Пушкина», СПБ, 1899).

...заботой и настойчивостью.— Юридическое общество основано в 1877 г., на 3 года раньше возник Шекспировский кружок (просуществовал до конца 90-х гг.).

С. 543. *...печатно прозвал «Иудушкой Головлевым».*— Речь идет о статье Вл. Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» («Вестник Европы», 1894, № 2).

...«отжившим и нежившим» — Н. А. Некрасов «Я не люблю иронии твоей» (1850).

С 545. ..*продекламировал следующее* — Пародии Соловьева помещены в «Вестнике Европы», 1895, № 10 («Еще о символистах»). Объектом их стали сборники «Русские символисты», М., 1894—1895, вып. I—III (под ред. В. Брюсова).

С. 546. *Полемика развернулась* на страницах специального журнала «Вопросы философии и психологии» в течение 1897 г. Соловьев в письме к Стасюлевичу от 5.X. привел свои шутливые стихи:

Ну насолил же мне Чичерин,
Самодовольный дворянин,—
Все переврал, как сивый мерин,
Скопец тамбовских палестин.
Вчера прикончил я злодея...

(в кн. «Письма В. С. Соловьева», т. I, СПБ, 1908).

С. 547. ..*«как колокол на башне вечевой — во дни торжеств и бед народных».*— М. Ю Лермонтов «Поэт» (1839).

С. 548. *На нем стояло* — стихи 1897 г.

..*избран одним из девяти...*— Соловьев избран 8 января 1900 г. вместе с Кони, Толстым, Чеховым, Короленко и др.

С. 549. ...*«желтым детям на забаву даны клочки ее знамен»* — стихи 1894 г.

С. 550. ...*я стал творить заклинание Петра Могилы* — расхожая молитва из книг тогдашнего киевского митрополита.

...*в подмосковном имении* — село Узкое, здесь Соловьев умер 31.VII 1900 г.

С. 551. ...*напечатано в журнале Стасюлевича.*— С 1868 г. и до кончины Тургенев опубликовал в «Вестнике» многие свои повести, рассказы, стихи, стихотворения в прозе, статьи. «Порог» появился в народовольческой прокламации 25.VIII.1883 г. в день похорон писателя.

С. 552. *«.. это будет невыносимо тяжело».*— Стасюлевич в августе 1883 г. перевозил прах писателя на родину (см. его «Похороны И. С. Тургенева», 1883, № 11).

С. 553. ...*не спорь с Владимиром Стасовым* — стихотворение в прозе «С кем спорить?»

...*отдельно от настоящих.*— Очерк об Арсеньеве (см. т. 5 Собр. соч.).

С. 554. ..*покойный Арцимович.*— Статья памяти — в книге Кони «Очерки и воспоминания», СПБ, 1906.

С. 557. ..*библиография работ Кони*, помещенных в журнале (см. Н. Юрский. А. Ф. Кони в истории русской общественности. Пг., 1924).

С. 558. ..*оправдательный приговор.*— 1.X.1905 г. кружок журнала отметил 40-летие службы Кони,— приводится ее содержание.

...*«горестно и трудно»* — А. С. Пушкин «Цыганы» (1824).

«Элизиум теней» — из стихотворения Тютчева (30-е гг.). В архиве Кони есть наброски воспоминаний под этим заглавием (не осуществлены. ИРЛИ, ф. 134).

С. 559. ...*услышать роковое.*— Из знаменитой древнерусской летописи «Повесть временных лет» (около 1113 г.).

...*как сказал Некрасов* — поэма «Несчастные» (1856).

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Очерк напечатал журнал «Европа», 1918, № 4—5; основу составил доклад «О Каролине Павловой», прочитанный в литературно-художественном кружке имени Я. П. Полонского 17.I.1903 г. Черновик — в РО ИРЛИ, ф. 134.

Книга К. Павловой «Стихотворения» издана в Москве в 1863 г. Через сто лет появился однотомник ее — Полное собрание стихотворений, М.-Л., 1964.

С. 560. *Встреча с Мицкевичем* отражена в статье К. Храневича «Мицкевич и Каролина Павлова» («Исторический вестник», 1847, № 3). «Общество филаретов» (Вильно) основано в 1817 г., ставило перед собой культурные и освободительные цели; в 1823 г. раскрыто, Адам Мицкевич и его товарищи после следствия этапированы в ссылку из Литвы в центральные края империи. Литературный салон Зинаиды Волконской (Москва, с 1824 года) посещали Жуковский, Пушкин, Вяземский, Баратынский и др.

С. 561. *Слова любви.*— Мицкевич посвятил любимой девушке стихотворение «В альбом Каролине Яниш» (1829), она ему — ряд поэтических посланий.

...любить все время.— Поэт скончался в 1855 г. Приводится письмо к В. Мицкевичу от 20. IV.1890 г. (А. Мицкевич. Собр. соч. М., 1954, т. V.).

С. 562. *писатель... Павлов.*— В 1837 г. Каролина Карловна обвенчалась с Николаем Павловым. Известный отзыв царя о произведении Павлова обращал внимание недостаточно ретивых и внимательных цензоров на «неприличности» в нем, т. е. имелось в виду антикрепостническое содержание повести «Ятаган» (1833).

...ценителя и знатока ее, как Валерий Брюсов...— В. Брюсов отмечал, что Павлова «принадлежит к числу наших замечательных поэтов» (К. Павлова. Собр. соч. М., 1915, т. I, «Материалы для биографии Каролины Павловой»).

С. 562—563. *завет... обращается в ничто.*— Стихотворение Павловой «Средь зол земных, средь суеты житейской» (1857).

С. 563. *...лекции Грановского* разжигали споры западников и славянофилов.

...чуждых зоологическому патриотизму Языкова.— В 30—40 гг. последний писал на Павлову злые эпиграммы и стихи. Она отвечала призывами устыдиться, одуматься.

С. 564. *В конце пятидесятых...*— После разрыва с мужем Павлова переехала в столицу, а позднее в Дерпт. За Павловым оказались и долги и запрещенные книги — московский генерал-губернатор отправил его в пермскую ссылку. Известный острослов С. Соболевский пустил по Белокаменной эпиграмму: «Ах, куда не взглянешь, все любви могила... Мужа мамзель Яниш в яму посадила» («Эпиграммы и экспромты С. А. Соболевского», М., 1912).

...отрицательное отношение к поэзии...— Д. Писарев, статья «Лирика Пушкина» (1865); М. Салтыков, статья «Стихотворения К. Павловой» (1863); пародии И. Панаева в 50-х годах в «Современнике»; сатира Н. Щербины «Физиология нового поэта» (1853).

С. 565. *...пред чем благоговела* — строки из стихов Павловой «Труд ежедневный, труд упорный!» (1862) и «Дрезден» (1860); «Гр. А. К. Т<олстом>у. (1862).

...сын... давно умер...— Ипполит Павлов скончался в 1882 г. под Москвою.

НЕЗАМЕЧЕННАЯ СМЕРТЬ ЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

На заседании Петроградского Русского библиологического общества 14.XI.1924 г. Кони прочитал доклад об А Н. Пешковой-Толиверовой. В ЦГАЛИ (фонд И. И. Горбунова-Посадова, № 122) хранится машинописная копия статьи, помеченная 25-м сентября того же года. Напечатана в т. 7 Собрания сочинений.

С. 566. *...собрание ценных материалов.*— Архив Толиверовой хранится в ИРЛИ (ф. 227) и ЦГАЛИ (ф. 1674).

С. 567. *...прочувствованные воспоминания* — «Светлой памяти Т. П. Пассек» (журнал «Родник», 1914, №№ 4 и 5).

С. 570. *...в ответ писал ей...*— Толстой—Толиверовой 27.XII.1908 г.

С. 571. *Это описание...*— Помимо «Исторического вестника» (1882, № 8), в «Неделе» (1870, №№ 22—24) она поместила «Между гарибальдийцами. Воспоминания русской» и др.

С. 573. *«...дорогим и блестящим «Незнакомцем»* — в 1909 г. отмечалось 75-летие А. С. Суворина (ИРЛИ, ф. 227).

С. 575. *...прекрасного... стихотворения.*— «Если ты в жизни хоть на мгновенье...» (1899), напечатано в журнале «Женское дело», № 2 за указанный год.

М. Н. ЗАГОСКИН И ЦЕНЗУРА

Публикация появилась в книге Кони «Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки)». СПБ, 1906.

В письме к известному историку и общественному деятелю Г. А. Джаншиеву от 16.V.1897 г. в ответ на приглашение, очевидно, написать в планируемом коллективном сборнике «что-либо самостоятельное», Кони отвечал отказом. «Пробовал я,— пишет он,— рыться в архиве отца, но и там не нашел ничего подходящего». Упоминая о письме Некрасова, письме Никитина, он самым «неподходящим» считает третий материал: «Есть, наконец, чрезвычайно интересное письмо М. Н. Загоскина (автора «Юрия Милославского») о цензуре 50-х годов, но при теперешних цензурных порядках напечатание его могло бы вызвать увечье для Вашего сборника и разные для издания хлопоты» (Собр. соч., т. 8, с. 142). Действительно, появление письма стало возможным после известных свобод и послаблений, в том числе— цензурных, добытых революцией 1905 года.

С. 578. *...редактор-издатель* — отец Кони, Федор Алексеевич, возглавлял журнал в 1848 — 1856 гг.

...страхом перед грозным Комитетом...— В свою очередь, страх перед революционными событиями 1848 года привел Николая I к идее «особого комитета для проверки действий цензурных комитетов, учрежденного под председательством Бутурлина в 1850 году» (об этом комитете над комитетами с сарказмом писал Кони в статье о Д. Ровинском, Собр. соч., т. 5, с. 80).

С. 579. *...Надеждину после запрещения «Телескопа» в 1836 году...*— «Журнал современного просвещения» поплатился за публикацию первого из «Философических писем» П. Чаадаева. В нем сотрудничали Пушкин, Белинский, Герцен, Лажечников, Загоскин...

С. 580. *...басню Крылова* — «Свинья и Дуб» (1834).

Н. ТЕЛЕШОВ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Рецензия опубликована в книге «Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки)». СПБ, 1906. Эта работа Кони была отмечена Пушкинской премией за 1901 год.

АВТОБИОГРАФИЯ

Напечатана в «Вестнике литературы», 1921, № 9. Написана скорее всего в конце 1920 — начале 1921 г.

С. 587. ...*Институт живого слова* был создан в Петрограде через год после установления Советской власти при активном участии и содействии А. В. Луначарского, открыт 15.XI.1918 г. Лекции и практические занятия со слушателями читали и проводили известные ученые, общественные деятели, писатели. Луначарский, например, читал курс эстетики, Кони — ораторское искусство, профессор Энгельгардт — китайскую литературу, в частности поэзию, Гумилев вел курс русской поэзии. По-видимому, обучение было лишено строгой программы, шли не «от предмета», а «от профессора» — иначе как объяснить, что бывший нововременский публицист Энгельгардт смог заинтересовать ректора Института В. Н. Всеволодского-Гернгросса именно китайской поэзией. Читали лекции языковед Л. Щерба, историк литературы С. Бонди, К. Эрберт вел курс «философии творчества». Вообще нацеленность Института была на всестороннее и творческое развитие личности: романтика революции сказалась в этом (см. «Ежегодник РО ИРЛИ». 1977. Л., 1979). Среди «живословцев» и «живословок» оказалось немало учащейся и рабочей молодежи, жадно тянущихся к людям типа Кони, пользовавшегося, как явствует из ряда воспоминаний, необыкновенной любовью и вниманием своих слушателей. Весной 1924 года, вскоре после смерти Ленина, Институт был закрыт.

В мемуарной повести «На берегах Невы» писательница Ирина Одоевцева вспоминает: «Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии «института Живого Слова» и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.

В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуровыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост — очередь желающих записаться.

Запись происходит быстро и просто. И вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает:

— На какое отделение, товарищ?

— Поэтическое,— робко отвечаю я.

— Литературное,— поправляет он...— Имя, фамилия?

Я протягиваю ему свою трудкнижку, но он широким жестом отстраняет ее.

— Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена... И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена — никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!

...Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вско-

ре же отпали и — не получив, должно быть, в Живом Слове того, что искали — перешли на другие курсы» («Звезда», 1988, № 2, сс. 95, 96)

1866 год разбил эти надежды.— Имеется в виду покушение Д. Каракозова и последующая реакция.

С. 588. ...*не считал себя нравственно вправе.*— Баршев стоял на позициях охранительных, это тоже сыграло, без сомнения, свою роль в отказе молодого Кони.

..*вопрос о преследовании автора «Необходимой обороны».*— Министр внутренних дел П. Валуев, как и многие высшие чиновники Александра II, метался между утеснениями и либеральными нововведениями, отражая в этой политике двойственную личность царя.

С. 589. ...*застарелый перелом ноги.*— Несчастье случилось с Анатолием Федоровичем в начале 1900-х годов.

...*мои слушатели обратились в Комиссариат.*— Имеется в виду руководимый Луначарским Наркомпрос.

С. 591. Очерк о *П. Шувалове* вошел в т. 5 Собрания сочинений («Петр IV»).

Посмертно вышел последний (пятый) том мемуаров «На жизненном пути» (в Ленинграде в 1929 году комментировался уже советским исследователем).

Воспоминания о деле Засулич изданы и прокомментированы в советское время (1933 год); *о крушении в Борках* — см. воспоминания в т. 1 Собрания сочинений.

...*некоторые ее грустные стороны.*— Кони стоически переживал трудности, связанные с гражданской войной, послевоенной разрухой. Вопрос об оставлении родины для него не существовал. Младший современник и коллега, известный юрист О. О. Грузенберг, давний знакомый и почитатель Кони, прислал из горестной эмиграции письмо, в котором не только подчеркнул значение Кони как юриста, но и невольно, как гражданина России, теперь уже Советской.

«Вы — *создатель* русского судебного слова и в то же время творец таких совершенных форм его, что немногим удалось не то что сравняться, но даже близко подойти к ним.

Едва начав свою судебную работу, я написал о Вас статью... Напомнить — чем обязаны Вам не только отцы, но и дети.

(Обо мне... Умирал — не умер, воскресал — не воскрес).

Недостает мне России — вот что. Недостает — и ничем не заменить этой недостачи. Никогда я не думал, что так люблю ее, ленивую дуреху. Вернуться — домой — недолго... Что я стану дома делать? Служить нэповцам?!. Еще года за 3 до революции, когда на одном из чествований некий самодовольный буржуй стал в своей речи слишком тискать меня своей любовью, я не выдержал и бухнул: «Единственный дом, где я охотно посещаю буржуазию,— это Дом предварит<ельного> заключения.

А ныне, как я соображаю, и этого удовольствия получить не смогу» (письмо от 30.XII.1923 г. ИРЛИ, ф. 134, оп. 3, № 490).

Необходимо отметить, что в те 10 лет, которые Кони прожил при новой жизни (в возрасте 73—83 лет), как и прежде, дела его не расходились ни со словами, ни с помыслами. Он принял Советскую власть, не ставя никаких условий, не размениваясь на оговорки: это произошло потому, что и теперь он прежде всего думал об Отечестве, бывал озабочен судьбами народа и интеллигенции, а не своей. В первые недели после Октября, пригласив приехать А. В. Луначарского,— сразу сказал: «Мне лично решительно ничего не нужно. Я... хотел спросить

вас, как отнесется правительство, если я по выздоровлении кое-где буду выступать, в особенности с моими воспоминаниями». Зная, что значительная часть академического, интеллигентского «мандарината» (выражение Луначарского) настроена к большевикам враждебно и саботирует не только их политическую, но и культурно-просветительскую деятельность, и понимая, что с той минуты, как нарком просвещения Республики перешагнул порог его дома, началось его сотрудничество с новой властью, а ей каждый к ней лояльный интеллигент важен и ценен, добавил, сознавая высокую значимость своего шага: «Людей, у которых столько на памяти, как у меня,— не очень много!» (А. В. Луначарский. Три встречи. В его кн.: «Воспоминания и впечатления». М., 1968, с. 298). Здесь подразумевалось: «...у вас», но это был не укор, а сожаление, потому что немногие, как он, из старой русской, российской интеллигенции понимали тогда эпохальную значимость происходящего. «...Я чувствую,— говорил Кони члену нового правительства, самого наверняка интеллигентного и молодого в истории всемирных революций,— что в вас действительно огромные массы приходят к власти... Ваши цели колоссальны, ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне — большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил,— все это кажется гигантским, рискованным, головокружительным. Но если власть будет прочной, если она будет полна понимания к народным нуждам... что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал. Я всегда предвидел, что, когда народ возьмет власть в свои руки, это будет в совсем неожиданных формах, совсем не так, как думали мы — прокуроры и адвокаты народа» (там же, с. 301).

Убогая старорежимная обывательщина, бесхребетно страшившаяся как революции, так и контрреволюции, хихикала и злорадствовала: Кони «продался большевикам за сахар», лошадь дали академику, к Кони явились с обыском... все отобрали. Первое было ложью, последнее — полуправдой. Однажды к нему на Надеждинскую (где сейчас на доме мемориальная плита) действительно пришли вооруженные люди. «На основании ордера Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе Коммун Северной области за № 9671 23 октября 1919 года произведен обыск»... У «задержанного гражданина Кони Анатоли» (так!) взяты документы, переписка, деньги, три золотые медали Академии наук, коробка, по-видимому, с наградами, две звезды «серебрыных» (так!), два мундира «форминых» (так!)... Обыск производил комиссар комиссии (подпись), все указанное в протоколе удостоверили А. Кони (подпись), представитель домового комитета (подпись) и дворник (без подписи).

Однако самое интересное развернулось далее. Из Петросовета последовала служебная записка следующего содержания: «С максимальной внимательностью прошу установить причины недоразумения с очень уважаемым А. Ф. Кони и о результатах поставить меня в известность». 1919 год, площадь Урицкого, телефоны такие-то (по-видимому, на следующий день).

Еще через день, 25.X.1919 г., ЧК — возвращено по ордеру гр. Кони реквизированные вещи (перечисляются); медную цепь (так!) конфисковать — согласно распоряжению тов. Жданова от 5.I.19 г. (не того ли самого?!). «Дело о реквизиции у Кони — прекратить» (распоряжение, скорее всего, из Петросовета).

27-го на свет явился следующий документ Петроградского окружного комиссариата по военным делам (заместителя народного

комиссара по просвещению): «Академик Кони является популярнейшим общественным деятелем, работающим с давних пор в тесном контакте с Наркомпросом и сыгравшим видную роль при демократизации преподавания. Читая лекции во многих высших учебных заведениях, в Пролеткульте и пролетарском ж. д. политехникуме, он всюду пользуется огромной популярностью в пролетарских аудиториях.

Имея в виду вышесказанное, компрос убедительно просит вернуть А. Ф. Кони отобранные вещи и медали, которые представляют из себя ценность исключительную (так!) как память о научной деятельности» (подпись).

Та же организация (Дворцовая пл., 10) постановляет:

«Для поездок академика гр. А. Ф. Кони, в связи с его общественною педагогической деятельностью, ежедневно будет отпускаться запряженный одноконный экипаж из авто-конюшенной базы (Конюшенная, 3, телефон 1-17) по его требованию, в часы, назначенные им.

О чем вместе с сим сделано распоряжение управляющему авто-конюшенной базой тов. Осипову, к которому и надлежит обратиться.

Инспектор кавалерии и конского состава (подпись)». (ИРЛИ, ф. 134, опись 4, №№ 361, 360).

С. 591. *...некрологи несколько преждевременны.*

«...я всецело отдался педагогической деятельности и с 1918 года читал курсы уголовного процесса и разработанной мной «Этики общежития» (судебная, врачебная, экономическая, законодательная, литературная и художественная, этика воспитания и личного поведения) в I и II Петербургских университетах, Иинституте живого слова (учение об ораторском искусстве) и в Институте кооперативов. Одновременно я читал отдельные лекции по общественным вопросам, по психологии и по личным воспоминаниям о выдающихся писателях — в Академии наук, в Доме литераторов и Доме ученых, а также в Доме искусств, в Медицинской академии, Политехническом институте и Женских медицинских курсах. Меня приглашали также нередко читать мои воспоминания в Музее города, Музее театров и в разных бывших гимназиях и общественных библиотеках. В прошлом феврале я ездил в Москву читать четыре лекции о Толстом, Достоевском, о психологии памяти и внимания и о самоубийстве. Часть всех этих лекций читалась с благотворительной целью помощи учащейся молодежи, которая своим бескорыстным стремлением к знанию и своей вдумчивостью внушает мне искреннюю симпатию. Особые способности и чуткость проявляют слушательницы, уделяя время на посещение лекций от своих иногда очень тяжелых трудов. В материальном отношении приходилось по временам и подолгу испытывать тяжелое положение. К этому присоединилась постоянно усиливающаяся физическая слабость. Сломанная когда-то нога дала вследствие ошибочного диагноза все увеличивающуюся хромоту, доведшую до того, что я могу передвигаться лишь с двумя костыльками, так что трудно пользоваться трамваем... Дурно сплю и часто страдаю болезненным сжатием сердца (неврозным). Тем не менее стараюсь по возможности приносить посильную пользу, покуда не грянет последний час, которого жду без страха и малодушного уныния, памятуя слова Марка Аврелия о том, что самый постыдный вид жалости есть жалость к самому себе». Это Кони писал О. О. Грузенбергу в 1924 году; высокий духовный настрой автора письма не подлежит сомнению. Письмо помещено в кн. адресата «Очерки и речи». Нью-Йорк, 1944, с. 238, (цитируем по кн. «Современники» К. И. Чуковского, М., 1962, сс. 205—206).

А. Ф. КОНИ. БИОХРОНИКА

1844, 9 февраля — родился в Петербурге.
1855—1858 — учится в немецкой школе при церкви св. Анны.
1858 — перешел в 4-й класс 2-й гимназии (впоследствии Александровской) математического профиля.
1861, июнь — уходит из 6-го класса гимназии в университет.
1861, июнь — декабрь — выдерживает экзамен и учится на математическом факультете в Петербурге до закрытия университета.
1862, август — записался в число студентов 2-го курса юридического факультета Московского университета.
1865, январь — начал работать над кандидатской диссертацией «О праве необходимой обороны».
1865, 11 мая — Кони предложили остаться на кафедре уголовного права Московского университета.
1865, июнь — окончил курс обучения со степенью кандидата прав.
1865, декабрь — диссертация Кони напечатана в виде приложения к Московским университетским известиям.
1866, апрель — назначен на должность помощника секретаря Петербургской судебной палаты.
1866, сентябрь — декабрь — гонения на диссертацию Кони.
1866, декабрь — назначен на должность секретаря прокуратуры Московской судебной палаты.
1867, ноябрь — Кони — товарищ прокурора в Сумском и Харьковском окружных судах.
1868 — награжден орденом Св. Станислава II степени.
1869, лето — путешествует по Бельгии и Франции.
1870, январь — назначен товарищем прокурора Петербургского окружного суда.
1870, апрель—июнь—работает в прокуратуре Самарского и Казанского судов.
1871, май — назначен прокурором Петербургского окружного суда.
1871, лето — путешествует по Бельгии.
1873, сентябрь — путешествует по Италии, заезжает в Неаполь, на Капри.
1874 — награжден орденом Св. Владимира IV степени.
1875, июль — назначен вице-директором департамента министерства юстиции.
1876—1883 — читает лекции по уголовному судопроизводству в Училище правоведения
1877, апрель — назначен директором департамента министерства юстиции.
1877, 24 декабря — назначен председателем Петербургского окружного суда.
1878, 31 марта — участвует в историческом судебном заседании по делу Веры Засулич.
1880 — началось сотрудничество с журналом «Вестник Европы», в котором публиковались литературные произведения Кони; сотрудничество это продолжалось 40 лет.
1881, 2 февраля — первая литературная работа Кони — доклад «Достоевский как криминалист» на заседании юридического общества (опубликован 8 февраля 1881 г.).

1881, октябрь — назначен на должность председателя гражданского департамента Петербургской судебной палаты.

1885, 30 января — назначен обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената.

1886 — награжден орденом Св. Владимира III степени.

1888, октябрь — расследует дело о крушении царского поезда в районе станции Борки.

1889 — награжден орденом Св. Станислава I степени.

1890, апрель — Харьковский университет присуждает Кони ученую степень доктора уголовного права гонорис кауза.

1891, июнь — освобожден от обязанностей обер-прокурора, назначен сенатором.

1892, октябрь — снова назначен обер-прокурором с оставлением звания сенатора.

1895 — награжден орденом Св. Анны I степени.

1896, 7 декабря — первое избрание в почетные академики.

1897 — вышло из печати первое крупное литературное произведение «Федор Петрович Гааз».

1898 — в «Вестнике Европы» опубликован очерк «Иван Федорович Горбунов».

1898 — награжден орденом Св. Владимира II степени.

1900, 8 января — избран почетным членом Академии наук по разряду изящной словесности.

1901, ноябрь — награжден Академией наук Пушкинской Золотой медалью за критический разбор сочинения Н. Телешова «Повести и рассказы».

1903 — в «Русском биографическом словаре» (том IX) опубликованы статьи А. Ф. Кони о родителях — Ирине Семеновне и Федоре Алексеевиче Кони.

1904 — выходит полное собрание сочинений И. Ф. Горбунова под редакцией и с предисловием А. Ф. Кони.

1905, октябрь — награжден Золотой медалью Академии наук за рецензирование художественных произведений.

1906 — награжден орденом Белого орла.

1907, 1 января — назначен членом Государственного совета с оставлением звания сенатора.

1907, октябрь — награжден Золотой медалью Академии наук за рецензирование произведений А. П. Чехова «Очерки и рассказы».

1906 — опубликовал книгу «Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки)». Здесь напечатаны статьи «Федор Михайлович Достоевский», «Иван Федорович Горбунов».

1909, 1 марта — произнесена речь «Памяти Тургенева» на торжественном заседании Академии наук.

1909, март — награжден Золотой медалью Академии наук за критический разбор художественных произведений.

1910 — присвоен чин действительного тайного советника.

1912 — произнесена речь в публичном заседании Академии наук «Иван Александрович Гончаров».

1912 — во 2-м томе книги «На жизненном пути» («Из воспоминаний») опубликованы статьи «Лев Николаевич Толстой», «По поводу драматических произведений Толстого», «Тургенев», «Достоевский», «Некрасов», «Апухтин», «Писемский», «Памяти Тургенева», «Иван Александрович Гончаров».

1914 — в книге «Отцы и дети судебной реформы (К 50-летию Судебных уставов). 1864—1914» опубликована статья «Александр Львович Боровиковский».

1915 — награжден орденом Александра Невского.
1917, май — назначен Временным правительством первоприсутствующим в общем собрании кассационных департаментов Сената.
1917, конец года — начало 1918 — беседа с наркомом просвещения Луначарским.
1918 — 1920 — популярнейший лектор в Петрограде, прочитавший более тысячи лекций.
1918, 10 января — избран профессором кафедры уголовного судопроизводства Первого Петроградского университета.
1922 — в журнале «Общественно-Кооперативной мысли — Производсоюз» № 1—4 (январь—февраль) опубликовал статью «В. Г. Короленко и суд».
1922 — выход в свет 3-го тома книги «На жизненном пути», в которой опубликовал статью «Савина и Тургенев».
1923 — выходит том 4-й «На жизненном пути», здесь опубликованы статьи «Похороны Тургенева», «Ф М. Достоевский».
1924, 9 февраля — на общем собрании Академии наук торжественно отмечалось 80-летие Кони
1924 — в «Чеховском сборнике» печатаются «Воспоминания о Чехове»
1926, март — назначена пенсия по представлении Академии наук.
1927, 17 сентября — скончался в Ленинграде. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Позднее состоялось перезахоронение на Литераторских мостках Волкова кладбища близ могил Тургенева, Гончарова, Лескова, Щедрина, Белинского, Гаршина, Писарева, Михайловского, Гарина-Михайловского, Глеба Успенского. На мраморе слова отца: «Мыслил. Чувствовал. Трудился». Сын завещал похоронить его под плитою с такой надписью.

БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания

Судебные речи (1868—1888). СПБ, 1888.
За последние годы. Судебные речи (1888—1896) СПБ, 1896 2-е изд., 1898.
Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. СПБ, 1897; изд. 5-е, М., 1914.
Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки). СПБ, 1906.
На жизненном пути. т. 1. СПБ, 1912; т. 2. СПБ, 1913; т 3 Ревель — Берлин, 1922; т. 4. Ревель — Берлин, 1923; т. 5. Л., 1929 (посмертное издание). Тома 1, 2, 3 неоднократно переиздавались.
Отцы и дети судебной реформы (К 50-летию Судебных уставов). М., 1914.
1821—1921. Некрасов и Достоевский. По личным воспоминаниям. Пг., 1921.
Воспоминания о деле Веры Засулич. М.-Л., 1933.
Воспоминания о писателях. Л , 1965.
Собрание сочинений в 8 тт. М , 1966—1969.
Избранные произведения. М., 1980.

Основные работы и воспоминания о Кони современников

Н. Юрский. А. Ф Кони в истории русской общественности. Пг., 1924.
Анатолий Федорович Кони. 1844—1924. Юбилейный сборник. Л., 1925.
Памяти Анатолия Федоровича Кони. М.-Л., 1929.
В. И. Смолярчук. Анатолий Федорович Кони (1844—1927). М., 1982.
С Высоцкий. Кони. М., 1988 («ЖЗЛ»).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Кони А. Ф.
К 64 Воспоминания о писателях / Сост., вступ. ст. и комм. Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова. — М.: Правда, 1989. — 656 с., 8 л. ил.

Анатолий Федорович Кони (1844—1927) — выдающийся русский юрист, известный писатель и общественный деятель, чья жизнь была целиком посвящена служению Отечеству. Настоящее издание знакомит читателей с воспоминаниями Кони о писателях — Толстом, Чехове, Тургеневе, Некрасове, Достоевском и других. Эти произведения читаются с интересом, они патриотичны и современны.

К $\frac{4702010100-1793}{080(02)-89}$ 1793—89 84 Р 1

Литературно-художественное издание

КОНИ Анатолий Федорович

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

Составители:
Миронов Георгий Михайлович
и
Миронов Леонид Георгиевич

Редактор С. А. Суркова
Оформление художника С. Н. Оксмана
Художественный редактор И. С. Захаров
Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 1793

Сдано в набор 16.11.88. Подписано к печати 17.03.89. Формат 84×108 1/32
Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 36,54. Уч.-изд. л. 38,87.
Тираж 300 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000 экз.).
Заказ № 52. Цена 2 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

Отпечатано в типографии издательства «Таврида». Крымская область, 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.